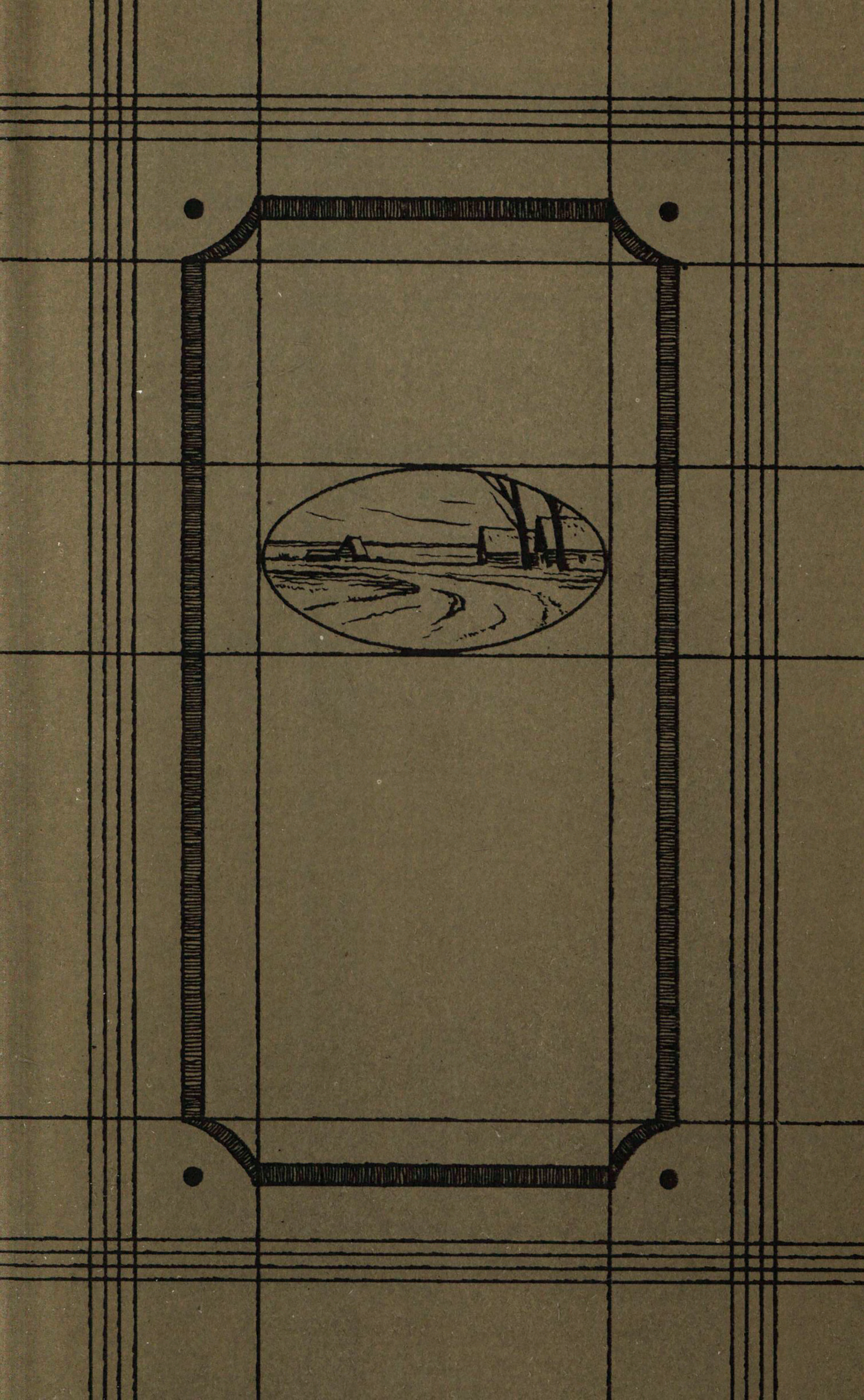
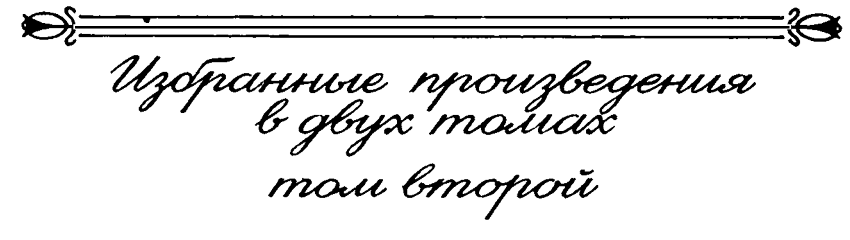
С. В. МАКСИМОВ

Избранные произведения



С. В. МАКСИМОВ



ГОД НА СЕВЕРЕ

Часть третья

ИЗ КНИГ:

ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ

КУЛЬ ХЛЕБА И ЕГО ПОХОЖДЕНИЯ

БРОДЯЧАЯ РУСЬ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

ББК 84Р1
М17

Составление,
подготовка текста и комментарии

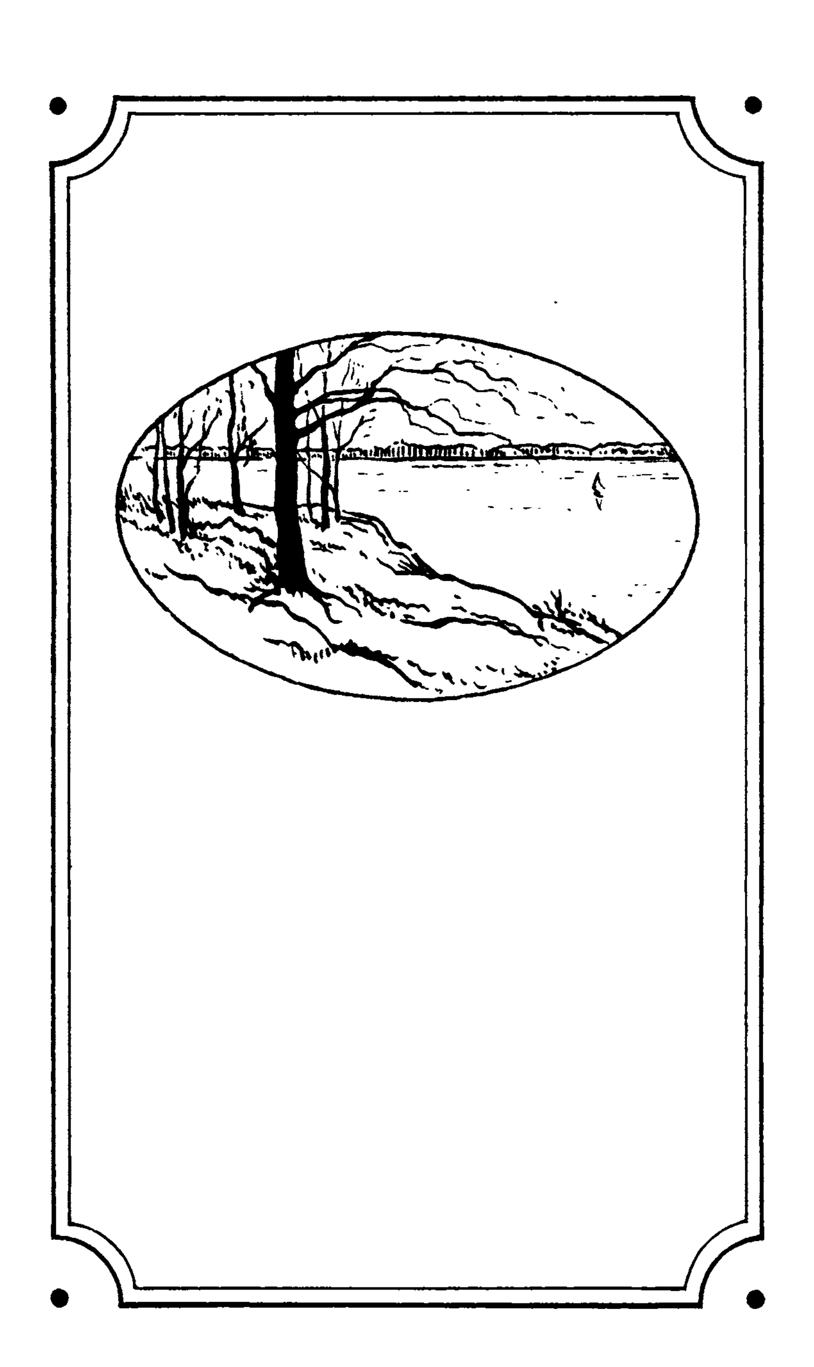
Ю. В. Лебедева

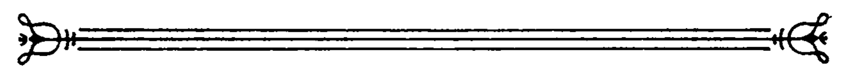
Оформление художника

С. Кузякова

М $\frac{4702010100-113}{028(01)-87}$ 11-87

ГОД НА СЕВЕРЕ





Часть третья

I

НОВОЗЕМЕЛЬСКИЕ МОРЖОВЫЕ ПРОМЫСЛЫ

(Рассказы стариков)

Негостеприимство Новой Земли.— Промышленники, зазимовавшие там.— Моя поездка к океану.— Северное сияние.— Ледяные поля.— Ледяные горы.— Падуны.— Стамики.— Опасность от них.— Горелые чады.— Исторический очерк посещений Новой Земли.— Подробности промысла моржей (разбойного).— Характер животных.— Нападения на промышленников.— Заколки.— Полубарки.— Общие впечатления от видов на Новой Земле (по Бэру).— Белый медведь, его нравы, образ жизни и способы ловли.— Звери на Новой Земле.

— В неладное ты время-то пожаловал, честной господин, в наши украйные палестины,— говорил куйский собеседник на другой день по приезде моем в это из самых ближних к печорскому устью селение Кую.— Приехать бы тебе по весне!..

— Отчего же, Антипа Прокофьич?

— Удрали бы мы с тобой знатную штуку. Взяли бы мы, уж куда бы ни шло, лодку большую, людей бы подговорили, снасти бы опять взяли... Да с божьим бы со святым благословением, худого слова не молвя, протолкались бы туда, на Новую Землю, сами посмотреть, какая она такая есть: та ли несхожая дрянь, как тебе про нее натолковали.

— За чем же теперь стоит дело, Антипа Прокофьич?

— Да теперь ты меня хоть золотом озолоти, не поеду. Первая голова у меня на плечах и шкура невороченная,— надо тебе так говорить.

— Льдов-то уж, что ли, около нее бродячих много?..

— А так тебе много, что в пыль изотрут суденко твое, будь оно хоть самое крупное: лодья бы тебе али шкуна. И никоими ты человеческими силами от льдин от этих не оборонишься. Ходят они такие большие, что и глазом не окинешь: иная кажет верст на десять длиннику, а бывают-де и больше того. Треску, да визгу, да всякого шуму от них! Словно свет-то божий преставляется и антихрист грядет во облацех небесных со звуком трубным.

— Этак-то вот мне надумалось лет тому тридцать назад! — продолжал мой старик, подвигаясь со стулом.— Упромышляли мы зверя на Матке всю весну, все лето и осени прихватили. А зверя

в тот год выстало несосветимая сила, так и лежал по берегу-то плашмя, что поленья. Отстать, кинуть бы — моченьки не хватает: что ни утро, то и подмывает тебя: «И сегодня ступай, коли-де его, руби его!» Пороху было вдосталь, в залишке. Соседи домой побежали, наказали мы им, чтоб прислали другое судно — побольше; подождем, мол, здесь. Авось, мол, зима-то позамедлит, недаром-де зверя идет к нам все пуще да пуще. «Не надо бы зиме ранней быть»,— мерекаем себе да так вот и ждем неделю, другую и третью. Надо бы судну прийти, потому ветра́ все с берегу, горные падают, а по ветру с Печоры до Матки на парусах всего три дня ходу: так завсегда! А тут, глядим, уж и на четвертую неделю четвертый день пошел; потосковали опять, попечалились друг дружке. Защемило наши сердечушки-то туже да туже. В сумнение, в боязнь впали: не бывать, мол, нам эту зиму дома, не нашли, знать, наши судна. Дело худое! Помолился я богу и на пятые сутки и пошел, по своему по обычаю, на море глядеть: покажется парусок — наше судно бежит. Иду это я к морю и думаю, многое разное думаю, о чем бы и не след на ту пору вспоминать, домой, мол, приеду, жена встренет, ребятенки заластятся, соседи с разговорами придут, вина выставлю, пить станем, песни запоем... Думаю все это, идучи к морю, а самому и невдомек, что ветер не вечорошной тянет. Подставил я ему щеку, встоком сказался — ветром тем непутным, что из самой-то голомяни от веков тянет. Так у меня на ту пору ноженьки и подкосились, словно под жилки меня кто поленом урезал: присел нали. Одначе оправился, дальше пошел и море увидал, да белое такое, вон что оленья постель белая. Кругом белое море, а воды на нем ни слезинки, ни капельки: все лед, кругом торосья. И визжат это они, и стонут, не слыхивал так! Антихрист, мол, идет с сонмищем со своим, а кой, мол, тут тебе черт! — лодья деревенская на выручку... Пришел к своим в избу да и взвыл, рассказал им все; только по бедрам ударили да головушку понурили. Теперь-де жди до весны горних-то ветров, а как-никак — зимовать, видно, надо. Помолились мы богу крепко-накрепко — да и зазимовали!..

Старик, опустив голову, смолкнул.

— Наступило, стало быть, для вас самое трудное время! — подсказал я, чтобы подзадорить старика на продолжение рассказа его, и не ошибся. Старик продолжал прежним тоном:

— Самая трудная была та пора! Такая, сказать тебе надо, пора наступила, что еле до весны дожили. Одначе троих горемычных товарищей похоронили там.

— Ты, старик, расскажи, пожалуйста, по порядку.

— Порядки тебе эти — вот какие будут... не соскучился бы ты?

— Сделай милость, рассказывай! весьма обяжешь.

Рассказчик начал не прямо, но предварительно огляделся кругом избы, наполненной в то время слушателями и столько же зрителями, являвшимися, по обыкновению, на всякий приезд мой в любое из печорских селений, и промолвил:

— Из лишних-то кто есть, ушли бы. Вы, бабы!.. Ступайте-ко вон, не мешайте мне! Вели, ваше высокородие!

— По мне, зачем же их гнать? Пускай слушают: не помешают.

— Воют ведь они. Что вот ни рассказываю, голосами воют без удержу.

Сталось по желанию старика, заинтересовавшего нас еще более такой торжественностью вступления.

— Затерло вот этак нас льдами, затянуло кругом, что ни входу, ни выходу. Справа и слева — божие произволение; сверху и снизу — его святая милость. Хочешь ты — в снег зарывайся, хочешь — в избе сиди да надейся. А ведь избы наши — известно: сверху мочит, с боков дует, снизу всего тебя насквозь до последнего суставчика сыростью пробирает, потому избы эти строены и невесть в кою пору, и невесть из чего. Всю вон эту дрянь-то, что и море не держит в себе и что *плавником* зовем по-нашему, мы в строенье пускали: все эти бревна, кряжи, щепу разную, что ухватит волна на одном берегу, а выкинет на другой, да промочит ее всю до сердцевины, да прогноит до слез. Теперь ведь только из привозного-то лесу строить начали, а в те времена что выбросит море, то и наше. В такой-то вот избе и мы сказки сказывали, в кулаки дули, с ноги на ногу переступаючи, да думали: вот, кабы господь снегу накидал к нам побольше, хорошо было бы. И за этим не стояло дело: на Кузьминки (к 1 ноября) наметало его такую пропасть за ночь, что потом целый день отгребались. В избе теплее стало, и пол промерз; не в тумане сидели, по крайности, и ношник не трещал, не брызгал. Так, гляди, иная беда навязалась, а запрежь того поглядишь, бывало, как это оно тебе постоит на небе-то красным таким да большим-пребольшим, так, к примеру, на полчаса по времени, да и спрячется. А тут тебе и выглядывать перестало — скука взяла! Чайки улетели, утки потом, моржи пропали, ни реву, ни свисту — еще того хуже пришло, хоть сам себе в ногти свищи! Один ошкуй пугать приходил да воровать, что упромыслили мы; стали стрелять по нем, убили троих. Мясо собакам пригодилось. Четвертого поранили — думаем, скажет другим, что деремся-де,— не ходили бы; так ин еще пришли: один совсем в избу лез и собаку одну изломал — угодили под сердце, нам же достался. На Веденьев день и дня знать не стало, все едино, что ночь, не светлей ее; ошкуй перестал ходить, в снег зарылся *голодом жить* до весны. «Ладно, мол, свояк, надумал ты этак-то: теперь горем меньше стало!» А до того начнут эти ошкуи в ногти свистать один за другим: таково надрывно и боязко. Перестали свистать — легче стало, и в ушах и на сердце не тягостно. Зато уж опять больно темень-то одолела: ничего не распознаешь. Решили так, что коли-де в одной плошке ношник сгорит — день прошел, в другом ношнике порешилось сало — ночь прошла; и досчитались мы вот эдак-то, по нашему счету, до Рождества Христова. Да не на радость, знать, досчитались: не было у нас из еды ни синя пороха: рыбы какой по осени-то наловили — всю поели; птицы было до Филипповок-то прозапасли, так и той нету, да опять же и грех мясо в пост есть: на том свете и водицы не дадут напиться. Наступило Рождество, а нам и разговеться нечем. День-то сидели горевали; песни было, на утеху свою, к вечеру-то запели, так на голодное-то брюхо голос не потек. Бросили!

Был с нами молодец один — Тимохой звали (помер уж),— ушел,

не сказавши слова. День пропадал, вернулся радостный такой, шутит: «Хотите, говорит, помирать, так сказывайте: могилы-де вырыл».— «Да как же, мол, Тимофеюшко, ты могилы-то вырыл, когда землю теперь и огнем не прошибешь?» — «А я, говорит, в снегу вырыл могилы-то».— «Да мы, мол, не медведи,— смеемся ему.— Ты, мол, дело-то сказывай».— «А какое-де вам дело сказывать: есть, мол, хотите?» — «Ну да как, мол, Тимофеюшко, не хотеть; посмотри ты на нас: осунулись. Опять же целый день тошнит, знобит, не согреемся. Во рту горечь такая, словно смолу ели. Опять же десны припухать стали, а морошку, сам-де знаешь, еще к Николину дню всю поели». И как теперь вижу все это (хоть и тридцать годов прошло): ухмыляется нам шутник, опять зашутил, из избы вышел да принес нам... Принес-то он нам оленя дикого, теплый еще. Стали мы кровь пить, мясо так и не жарили — сырым ели. И ничего, сладко таково! и наелись скоро. Пить захотелось — натаяли снегу, напились. К вечеру голова разболелась, тошнота долить начинала, не выдержали... А Тимоша наш все шутит, ему все смешки да забавы. Допрежь этого с ним не бывало, что ни знали его: думчивый был такой, неприветный. Согрешил я на ту пору, подумал: перед горем, мол, ты, Тимофеюшко, раскудахтался. Ему-то я о том не сказал, а ребятам таки попечаловался. «Так! — говорили,— со большой со тоски дурит, да опять же и вера наша, что, коли-де цинги ты боишься, больше смейся, больше бегай, шевелись: не пристанет она». Вот и Тимофеюшко наш дурил еще день, да и смолкнул. День молчит, другой молчит, на третий к вечеру слег. Слег, что бревно слег, святая душа, богоданный товарищ... милый человек! У нас и сердечушки защемило: так-то вот, мол, все мы под господом! Упаси, мол, ты его, святая богородица! И стало нам таково тошно!..

Старик, смолкнув, прослезился и теперь так же точно, как, может быть, плакал он и при прежних своих рассказах об этом событии, вызывая на то же сердобольных баб-слушательниц. С трудом он оправился потом и продолжал рассказ свой:

— Лежит наш Тимофеюшко на нарах, лежит — охает. Кто из нас ни подойдет, опросит: что, мол, ты, друже? «Ослаб!» — сказывает. Ослаб да ослаб, охать стал пуще, по ночам вопит блажным матом. Мы опять к нему: не надо ли, мол, тебе чего? «Ничего, говорит, не надо!» Да и дать было нечего. «А вот, говорит, во рту горечь»,— и плюнул, чернетью такой плюнул, словно из трубы из печной. И десны показал — пальца в два раздуло десны те. Дотронулись мы до них пальцем — а из них кровь пошла. Стали оглядывать: бледной такой лежит, синие щеки и осунулись, под глазами синяки в пятак медной. Ноги загноились, и смердит, больно смердит,— головы даже болеть у нас почали. Глядим, этак после Крещенья, у него руда пошла из носу и изо рту, стало его так сшибать, что вот закроет глаза и лежит без памяти, словно мертвый. Опомнится, опять окликнем: не надо ли, мол, чего? (все себя-то да и его надували). «Вот, говорит, что надо: коли живы будете, без меня... да домой сбежите, родительское свое благословение, навеки нерушимое, посылаю всем, и ругать, мол, себя не велел...» Стал он тут наказывать про родных так слезно,

голосом дрожит, самого так и ведет... судорога!.. головушкой-то своей победной покачивает. Мы тоже за ним: невтерпеж уж стало! — ревем! И не было тут ни единого человека, чтобы у которого слез не текло! Больно уж печально было смотреть, как душа-то человечья тяготится. Глядим опять: закатил наш Тимоша глаза свои, да с тем мы его и видели! Помер, несчастным делом. Григорий молитву читал, я обмыл его; собча могилу выкопали в снегу на другой уж день. Весна, смекаем, придет, да отойдет мать сыра земля — туда спрячем. Так и сделали. И все наш Тимофеюшко опосля кончины своей нам мерещился, душеньки наши томил, словно камень тяжелый на все накладывал. И теперь вот... уж очень обидно вспоминать про его про кончину! От слез не удержишься, хоть и стыдно бы старику!..

— Ты позволь, ваше высокородие, отдохну я маленько: дух переведу! — перебил свою речь рассказчик этим запросом.

Старик после того молчал долго, до того долго, что заставил даже вмешаться в нашу беседу стороннему слушателю. Тот говорил:

— Ты бы рассказал, дядя Антипа, его милости, что дальше с вами было, хорошо тоже было! Послушай-ко, честной господин.

Запрощик привздохнул, старик не упрямился:

— Хорошего, надо бы говорить тебе, мало же было. Хорошего тут все, что еще троих товарищев потеряли: двое от той же от цинги истаяли, хоть и олешков ловили, теплую кровь пили; опять же и в песнях, и в плясках недостачи не было — бегали, сугробы раскапывали; зря, ради дела, гору обледенили водой — катались с нее, и саночки такие сколотили. Всего было! Третий товарищ, по очереди, за пищей ходил: с ружьем, тоись, за оленями, да и не возвратился. Надо бы медведю съесть, так на ту пору хивус пал такой, что всю нашу избушку завалил сажени на три глуби. Заблудился, стало, да и замерз. Нашли после далеко, верст за десять, что кисель: совсем загнил. Тоже слезы были, могилку копали большую, да и всех в одну и положили, и крестом осенили деревянным. И теперь крест-от этот знать. Вот что ни бываю на Матке, у креста этого завсегда по праздникам молитвы пою, какие знаю. Очень ведь уж печальна, твоя милость, жисть-то наша промысловая: бабам, кажись бы, в этом деле и толку не было. С одних бы с гореваньев повымерли!

— Позволь, ваше сиятельство, водочки выпить, с твоего позволения. Грешу с юных лет, да и рассказывать вольнее станет! — опять так же неожиданно перебил свою речь рассказчик.

Желание его было немедленно исполнено. Но старик все еще молчал, как будто припоминая что-то, и опять настолько же долго, что заставил прежнего запрощика подзадорить себя новым советом.

— Ты расскажи, дядя Антипа, что вы на Благовещеньев-то день делали: занятно!

Последнее слово относилось ко мне.

— Я тебе по порядку лучше, как было! — начал старик. — На Афанасья (8 января), так, надо быть, по нашему счету, первой мы свет увидели: заря занялась, мы и ношник погасили, так, эдак на часок места. На Оксинью-полузимницу (24 января), глядим, и солнышко на горах заиграло: хоть и не видать еще было его, а поиграло-

таки с час места. Смотрим, на Стретьев день (2 февраля) оно, батюшко красное солнышко, во всей-то во своей красоте из-за гор-то и выглянуло. И так мы ему все обрадовались: заплясали, целоваться начали, ей-богу!.. Отец, мол, ты наш родной, при тебе теперь не скучно будет, радость ты, мол, наша! Так это все ему, что человеку, мы и обсказывали в очи, ей-богу!.. Словно одурели все, зиму-то, что медведи, вылежавши.

Прошли на ту пору Евдокеи (1 марта), прошли, по нашему счету, и Сорок мучеников (9 марта); показались по снегу проталинки, мягкие места по тундре-то отходить стали. Около Благовещенья заприметили, что мох закудрявился,— отошел, значит. Ну, думаем, божья благодать осеняет. Ошкуй проснулся; прошел вдалеке мимо нас в море, где уж на то время полыньи стали заприметны. Наступил, значит, и велик день — Благовещенье, большой у господа праздник; сказано: на этот день и птица гнезда не вьет, а по-нашему — на тот день и работать нельзя. Вышли мы потому из избы, стали к востоку да и запели церковные стихиры, какие знали. Пели мы, пока солнышко на виду было; часа, надо быть, три пели, всю всенощну и из обедни, что знали,— все перепели, и таково согласно, что мне, поди, и не сделать теперь так-то. Как теперь помню: голосами закручиваем, выводим, ино протянем,— ну одно слово — дьячки, да и все тут!

Некоторые из слушателей засмеялись. Рассказчик мой объяснил это:

— Вот как про Благовещеньев день ни припомню, всегда им либо, как-де я дьячком пел.— Смешно, вишь!

— Смешно и есть!.. безголосому-то!..— послышался голос из толпы посетителей, и другой:

— Досказывай знай дальше!

— Рассказывать-то теперь легко,— говорил старик,— а тогда больно же *маетно* было. День за день, все в одиночестве: очень тяжело было, не до смешков приходилось!..

— Надо тебе рассказывать теперь вот что! — продолжал старик мой, немного подумав.— С Марьи (первых чисел апреля месяца) во весь тот месяц земли оттаяло много. Мороз, почитай, гулял в кою пору, да ведь уж в наших местах без того не моги думать, нельзя... Так уж от веков! К Егорьеву дню (23 апреля) озерки отошли и ручьи с гор побежали, на вешнего Николу много уж было их. А снег там во все ведь лето виден; как он там от сотворенья-то мира лег, там и лежит, надо быть. Об этом и разговаривать больше не будем. На Федосью (29 мая) два гуся прилетели и гагара. Покричали они, погоготали час, другой, третий и улетели. Дня два потом не видать их было, никого не видать. Передовые, мол, знать, были эти, повестить нас прилетали да осмотреться: хитра ведь птица-то! На третий день слышим: крик да крик, стадо за стадом: и гуси, и гагары эти, утки опять, лебеди, чайки разные; и клуши, и моевна, и сизые тулупаны; и пятушки — все прилетели. Ну... с той поры в пище нам недостачи не было. На этот счет было уж очень хорошо. Опять же крепкие ветры лед понесли в голомя. Губы прибрежные прочищаться начали около Петра Афонского (в первых числах июня); щавель показался,

на горах цветы, какие есть: зверобой (чернобыльник), травка мелконькая такая зазеленела. Лето пришло, и сердце отошло. Слава, мол, богу! Хоть другого чего и мало растет на Матке, ничего больше не будет — на иной ерке, эдак в пол-аршина вышиной, пожалуй, почки распустятся, да в лист им не перейти до скончания века. А все же, мол, лето пришло: тундры, каменный берег, озера, речонки все оголились. Стало море, заместо льду, плавник выкидывать: где щепочку, где бревешко; моржи, зайцы морские, нерьпа, белуги выставать стали... Петров день на дворе,— скоро быть нашим промышленникам. А как стал день заместо ночи да крепче пришлось тосковать нам, со дня на день дожидаючись,— смотрим: парусок-от осенний по лету уж по этому и забелелся, да не один, а пять... шесть... семь... да и больше. Ну, радостей тут — известное уж дело! — много было всяких. Тут опять слезы, да уж не такие, не прежние: эти ведь лучше, слаще!..

— Вот тебе и все! — завершил свою речь старик, приподнявшись с места с сияющим, веселым лицом, на котором легко можно было читать всю историю дальнейшей встречи с родными, дорогими людьми.

— Мы ведь уж нонче не зимуем, а как вот Успеньев день на дворе, так и норовим с летней-то бежать к домам. Дома лучше! — добавил рассказчик.

— Где же вы наступившее лето взяли? — спросил я его, чтобы вывести на новую откровенность.

— Да соблазнились харчами-то; на Матке летовали,— отвечал он как-то неохотно.

— Что же делали?

— Упромышляли.

— А как? Это ты не рассказывал.

— Ты, ваше благородье, вот что: дай мне отдохнуть и рюмку водочки! Завтра я забегу к тебе наутре и всю правду истинную, как умею, расскажу. Теперь ты поезжай на устье, посмотри: скоро полая пойдет (отлив начнется) — заживет вода. Любопытно!

В этот день я действительно решился ехать посмотреть на широкую Печору в зимнее время. Олени были готовы. Мы вышли на улицу.

Стоят олени, по обыкновению понурив головки и положив ветвистые рога свои на спину, и, по обыкновению, стоят подле них легонькие санки на высоких копыльях, по-туземному — *чунки.* Здесь так же, как и на Мезени, упряжь оленья веревочная, привязанная к чуркам и потом к самым саням. Здесь также кожаная лямка, обходящая вокруг шеи животного и заменяющая в этом случае хомут, называется *подер;* и также между ногами, от шеи к чуркам, пропущена кожаная же лямка, называемая *сса.* У левого крайнего оленя сса эта подлиннее других, и потому олень этот *передовой* и *главной,* по той причине, что к голове его привязана *метыне* — единственная, длинная вожжа для всей четверни. И знаю: дернет, соберет вожжу эту до половины в руку проводник на всем бегу оленей, все они повернут в сторону и остановятся. Знаю: будет проводник, во время

езды, подергивать и похлопывать этой метыне по боку передового с одной стороны и с другой, будет пинать оленей в зад длинным березовым шестом своим, *хареем,* кончающимся на одном конце костяной, из мамонтового рога, шишечкой. Разница перед мезенскими обычаями здесь состояла только в том, что дощатая настилка сверху чунки покрыта была не оленьей шкурой (по-туземному *постелей*), а шкурой белого медведя и вместо мезенского гогоканья и олелелькания здесь понудительные крики на оленей слышались: «кыса-кыса!» Во всем же остальном поразительное сходство: те же пугающие, опрокидывающиеся назад чунки и не совсем сваливающие вниз потому только, что спереди сдерживает санки в колебательном (дрожательном) состоянии оленья упряжь, а сзади острые концы дугообразных нижних полозьев чунки, легкой на ходу и удивительно приспособленной к не сильным, хотя и бойким на бегу, маленьким оленям. Наконец, и здесь те же предостережения провожавшего меня доброго, гостеприимного и словоохотливого люда, вроде следующих:

— Тут в чунке-то, под мехом, ременные петелки такие есть, так держаться надо: тогда и на кочках не опружит тебя.

— А кочек-то этих по пути тебе теперь много будет: держись только! Дорог-то ведь у нас из веков не проложено: челком (целиком) ездим, как олешки надумают.

— Ног-то ты не клади на чунку: сшибет, пожалуй,— да опять же и малица-то сверху колен полезет — озябнешь. Спусти их лучше да поглядывай, а то, вишь, ноги-то у тебя длинные — задевать за кочки станут, да и опять же не сшибло бы.

— Озябать станешь, рукава-то у малицы спусти да и рожу-то всю под мех спрячь, коли дыханье захватывать станет. Ишь ведь какой холодище завязался, а там у окияна еще лютей!..

Едва ли против какого холоду не устоит тяжелая, неловкая, безобразная, но страшно теплая самоедская одежда, получившая право гражданства и у русских туземцев. Без этой одежды нет возможности ездить по нашему холодному северу, и волей-неволей всякий должен надевать на ноги сначала меховые чулки (шерстью к телу и длиной выше колен) из оленьей шкуры, называемые *липты,* потом *пимы* — род сапогов, красиво сшитых из разношерстных (шерстью наружу) лент меховых (камусов), снятых с оленьих ног и разукрашенных по местам разноцветными лоскутками сукон, и, наконец, при крепких морозах, сверх всего этого, калоши — *тоборы, топаки* по самоедскому названию, полуголени — по русскому. Распашные шинели, шубы здесь также не имеют никакого смысла и необходимо заменяются *малицей* — меховым, шерстью к телу (из оленя же), мешком, у которого снизу широкое отверстие — полы, отороченные меховой разношерстной же лентой — *пяндой,* а сверху узенькое отверстие, в которое с трудом пролезает голова и которое имеет меховой воротник. Теплая, с полы надеваемая, а потому и похожая на стихарь, малица во время сильных вьюг и морозов неудовлетворительна. Она покрывается *совиком* — такой же малицей, но с тем главным отличием, что у совика к воротнику пришит меховой же колпак («куколь» по-туземному) и притом совик наде-

вается шерстью наружу. Куколь его не исключает, впрочем, употребления теплой шапки, которая шьется колпаком с длинными ушами (также пестро изукрашенными) из шкуры молодых оленей — пыжиков. В таком бесконечно теплом наряде можно было ехать не только к океану, но, пожалуй, даже и на Новую Землю, и притом в какой угодно холод.

До того места, которое мы назначили целью поездки, на этот раз было верст сорок, т. е. ровно на три доха для бойко и вприскочку бежавших оленей. Дох или дух этот состоял в том, что проводник мой, сидевший на облучке слева, собирал в руку вожжу — метыне — до половины длины ее: передовой олень дергал вправо и увлекал за собой всех остальных четырех, которые мгновенно останавливались как вкопанные. Они тяжело и порывисто дышали, пуская пар клубом, жадно схватывали мягкий пух с лежавшего под ногами их снега, опять усиленно собирали воздух в течение каких-нибудь десяти минут. Провожатый мой выводил их вперед, выравнивал шестом своим, бежал сначала несколько вперед вприпрыжку, затем мгновенно вскакивал на облучок. Олени, положив свои ветвистые рога картинно на спину, снова пускались своей легонькой рысистой побежкой дальше, до нового, после малого, большого доха. Эти 20 верст ехали мы меньше часу времени, тем более что (как говорил проводник) запряжены были важенки (самки), более легкие на ходу и реже пускаемые в езду, чем работящие быки (взрослые самцы-олени).

Мы уже близки к цели: дали последний, самый большой, дох оленям и едем после него довольно долго. Вон вдали шевелится весь тот снег, который казался до того неподвижно растянутым полотном. Шевелится он на всем неоглядном пространстве, раскинутом впереди до бесконечности. До ушей долетает сначала глухой гул, и потом, по мере приближения к *зажившему* морю, выделяются из этого шума отдельные звуки: то как будто неистово щелкает что-то, то раздается невыносимый визг и треск, то как будто раскатистый всплеск какого-то громадного морского чудовища. Далеко разносистые, попеременно сменяющие один другой, резкие звуки продолжают увлекать внимание. Белая сплошная даль засерела. Видятся отдельные льдины, неподвижная окраина берега, темные полосы воды и кругом безлюдье и дичь, которая как будто тоже приготовилась смотреть и слушать. Страшна казалась эта мрачная даль, хотя и была она полна жизни дикой, своеобычной.

Мы остановились. Проводник мой оговаривается при этом:

— Ну, уж дальше ехать нельзя: дальше небо досками заколочено и колокольчики не звонят...

Дальше, как известно, целые ледяные острова, увенчанные до облаков поднимающимися ледяными же скалами в 400 и больше футов высотой и в 100 и более миль в окружности. Целую вечность бродят они с одного конца Ледовитого моря до другого — американского, перенося на своих хребтах моржей, тюленей и ужившегося с полярным холодом и тепло одетого ошкуя. С ужасным громом разламываются эти ледяные исполины, рассыпаясь мелкой пылью,

которая пенит и бурлит воду иногда на пятиверстном расстоянии. Чудные картины являют они в иную пору — картины, напоминающие изумрудные дворцы волшебных сказок, когда зажгутся и заиграют от лучей солнца все эти ледяные арки, столбы, конусы, и в каждой капельке которых играет оно всеми семью роскошными цветами радуги.

Это — «ледяные поля», нарождающиеся в крайней океанской дали и приплывающие оттуда величиной иногда в несколько верст, толщиной аршина в три. В движении своем они повинуются ветру, а с другой стороны — морскому течению. При такой совокупности двух сил бродят они быстрее всех, предостерегая о своей близости и величайшей опасности яркой белизной. Надвигаются они неприметно и неожиданно, как ночные воры, и затем встречное судно либо перерезают и опрокидывают на себя, либо проламывают бок, пускают ко дну и наваливаются всей своей громадой с той тяжестью, померить которую недостанет человеческих сил. Удастся судну убежать от одного чудовища, навстречу, вблизи и подле прилезло другое: в океане и Белом море таких бродячих (всегда врассыпную) полей несчетное множество. Имея под водой значительную покатость, они опасны, как черпак. Проплывая мимо прибрежных ледяных припаев, эти поля ломают их — вскидывая огромные обломки на свои хребты, где они становятся стоймя горами, и очень быстро: вода, зачерпнутая вместе с ними, не успевает стекать и льется с них потоками. В это время не дремлет стоящий наготове ловкий кузнец — мороз в 40—45°, который приковывает захваченное черпаком в прихотливые фигуры. Не успевшие сбежать потоки и водопад он искусно обращает в сосульки, в прихотливые сталактиты: то в виде небывалого чудовища, чудовищной птицы, страшной, но красивой. Иногда льдины скучиваются и громоздятся так прихотливо, что представляются волшебными городами. И так как в громадах океана все громадно, то и ледяные горы доходят высотой до 60 сажен; когда они рушатся в морскую бездну, то родятся пучины с круговым водоворотом, и морское волнение, следующее затем, дает себя знать далеко от места гибели этих гор. Разрушаются ледяные поля от встречных течений, из которых одно производится случайным ветром, другое — вечное от вечного движения вод. Тогда страшные ледяные массы вертятся решительно как мельничные жернова, а будучи надломлены и потрясены — поля эти черпают краями своими массу воды и, перекидывая ее через себя, производят могучие водопады. Они не перестают появляться и в то время, когда гора сядет на мель, а случайность морского волнения покатит чрез нее свои волны. Этих обмелевших полей, называемых по-архангельски «стамухами» и «стамиками», в устьях мелеющей Печоры очень много.

Стамикам в форме огромных ледяных бродячих островов выходят навстречу и неровный бой так называемые «падуны» (они же «падежи», «отпадыми») — тоже ледяные горы, но высотой не больше восьми сажен, зато погруженные в воду корнями своими до 50 сажен. Падуны приходят из своих мест рождения, по всему вероятию — из громадных сибирских рек, во всяком случае, они несомненно

«отпадыми», оторвавшиеся от крутых речных берегов, от гор и возвышенностей. Насколько опасны сверкающие белизной, пленительные наружным видом, но коварные в деле ледяные поля — стамухи, настолько менее опасны эти падуны-горы, хотя они и страшнее видом и главное — ужасающим шумом и треском. Как будто засела там живая артиллерия и палит из пушек и одновременно из мелкого ружья. То почуется живой базар: и гудит он, и галдит. Это либо свищет ветер, влетающий порывами в промежутки льдин и ломающий звонкие, как стекло, сосульки, либо трещат самые горы и их выступы под нажимом клещей такого богатыря, как полярный мороз. От этого и не так страшна встреча судов с падунами, которые и в темное, и в туманное время дают знать о себе за несколько верст, и при этом обыкновенно движутся очень медленно, так как глубоко погружены в воду и подчиняются лишь местным течениям, которые сильны на поверхности, но слабы на глубине. Запоздалое или зазевавшееся судно успеет повернуться, переставить паруса и уйти прочь, а пожалуй, и пройти мимо под самой стенкой крикливого и хвастливого падуна. Наваливаясь на поля, падунные горы рушатся на встречных, исчезают сами, но образуют из полей-стамух падуны-горы с ужасающим треском и громом.

Все это пришло на память и на соблазн воображения в то время, когда припаи широкого, как само море, устья Печоры зажили, вероятно под влиянием силы прилива или отлива. Хотя эти припаи тянутся от берегов вглубь ровным полем, иногда верст на 15 и 20, но они не знают покоя: их обрывают ледяные поля, их обламывают порывистые и крепкие ветры. Все эти соображения успокаивают рассудок, силятся обуздать воображение, но живые картины, разыгравшиеся во всю мощь, не позволяют опомниться и сладить с собой, сладить с невольно навеянным и неизведанным ощущением страха. Не привычно уху и глазу, не усвоено с детства.

Шум и бестолковый гул, несущийся со стороны моря, начинают заметно стихать. По-прежнему, обгоняя один другой, носятся в воображении дальние родные виды и картины, бог весть чем и зачем вызванные на эту пору, как будто в контраст настоящему зрелищу: и любящая родная семья, и искренний, дружеский, дорогой кружок семьи приятельской, отделенные теперь двухтысячным бесприветным пространством. И еще дороже и ценнее кажется все дорогое наболевшему сердцу, и еще благотворнее, живее и нагляднее рисуется мирная, сосредоточенная в кружке и обусловленная обычной колеей жизнь, знакомая и родная с детства. А тут обок живет расходившееся море, но живет какой-то бесцельной, по-видимому, непонятной жизнью, заключенное в тесных рамках замершей и уже окончательно бесследно вымершей природы.

Живут еще олени, и живет проводник — подневольные мученики капризов чужого произвола. Олени, выпряженные, пробивают копытцами намерзший снег, инстинктивно отыскивая под ним лакомую и единственную пищу свою — сочный и сытный белый мох. Проводник, сосредоточенно-молчаливый, обрубает топором ветвистый рог у одного оленя и вызывает этим меня на вопрос:

— Зачем ты это делаешь?

— Да, вишь, мешают: заплетает! — отвечает он резко и сердито.

— А лучше бы, по-моему, так оставил: красивей.

— И что красивей! — знамо, красивей, да, вишь, мешают: с другими сплетаются, опять же ерку задевают по дороге.

— Сами ведь они на зиму-то сбивают их! — продолжал рассуждать проводник, как будто награждая себя за долгое, часовое молчание во все то время, когда кормились привезшие нас на это мертвенное безлюдье олени.

Отрубленные рога брошены подле дороги. Окружающая нас бесприветная среда продолжает тяготить своим безлюдьем попрежнему. Печора заметно успокаивается: отлив кончился, разломанный лед далеко отнесло вдаль, прибрежье мрачно чернеет от наступающих сумерек, которые казались бы глубокой, черной, волчьей ночью, если бы поразительная белизна снега не бросала от себя просвета на все видимое пространство. Чуть-чуть мерещился вдали огонек ближнего к нам выселка в две избы. Олени наши отдохнули, проводник удовлетворил своему желанию оставить одного из них без правого рога. Мы поехали назад.

Мороз крепчал и становился едва выносимым: то щипнет он лицо и заставит спрятать его под куколь совика, то пропустит холодную струю под теплый мех малицы и пробежит мелкими струйками по всему телу. Но ни малейшего ветра. К тому же и самый воздух как будто застыл сплошной ледяной массой, и страшно, и холодно. По-прежнему сосредоточенно-молчаливо, поталкивая друг друга в бок, бегут олени в неоглядную даль, расстилающуюся перед ними, и по-прежнему беспрестанно толкает проводник хареем то того в бок, зад или ногу, то другого, третьего и четвертого. На подорожной кочке тряхнет сильно и свалит в рыхлый, мягкий снег. Проводник при этом посоветует спустить ноги вниз и крепче держаться за ременную петельку и ничего не скажет, когда вывалит нас обоих, когда ляжет чунка наша на бок и спутается веревочная упряжь.

Справа и слева, спереди и сзади опять залегает неоглядная снежная степь, на этот раз затененная довольно сильным мраком, который в одно мгновение покрыл все пространство, доступное зрению, и, словно густой, темный флер, опустился на окольность. Вдруг мрак этот исчез, началось какое-то новое, сначала смутно понимаемое впечатление, потом как будто когда-то изведанное: весь снег со сторон мгновенно покрылся сильно багровым, как будто занялось пожарное зарево, кровяным светом. Не прошло каких-нибудь пяти мгновений — все это слетело, снег продолжал светиться своим матово-белым светом.

Недолго, думалось мне, будет он белеться: вот обольет всю окольность лазуревым, зеленым, фиолетовым, всеми цветами красивой радуги, вот заиграют топазы, яхонты, изумруды...

Рисуются уже дворцы в настроенном под общий лад воображении, как в волшебных сказках, пожалуй, даже как в театральных «Армидах», «Фаустах»...

— Сполох играет! — давно уже и несколько раз повторял между

тем проводник. Я инстинктивно обернулся назад, к северной стороне неба, но там уже прежний мрак, кромешный мрак, словно мрачное дождевое, ненастливое облако залегло и ширилось на всю четверть круга видимого горизонта, как бы нарочно заслоняя от нас так сильно нахваленное и так давно выжидаемое северное сияние. Как бы нарочно для него целых две недели не было ни пург, ни хивусов, ни заметелей и стоял леденящий холод по всем окрестностям Пустозерска,— обстоятельство, как известно, необходимое для того, чтобы играл сполох, т. е. был бы виден во всех полярных прибрежьях.

Где же лучше (думалось мне) видеть его, как не здесь, у океана, в безбрежной степи, в каких-нибудь 400—450 верстах от страшной Новой Земли? И вот, как будто назло, темное облако заслонило его теперь. Становилось, не шутя, и обидно, и досадно.

Я покручинился ямщику, но тот отвечал успокоительно:

— Теперь непременно взыграет, благо начал; вот олешкам стану дох давать — гляди, сколько хочешь!

— Вон тебе — любуйся! — прибавил он потом, и еще что-то, и много чего-то...

Я уже всего этого ничего не слышал: я был прикован глазами к чудному, невиданному зрелищу, открывшемуся теперь из темного облака. Оно мгновенно разорвалось и мгновенно же засияло ослепительными цветами, целым морем цветов, которые переливались из одного в другой и, как будто искры, сыпались бесконечно сверху, искры снизу, с боков... Ничего не разберешь, ничего не сообразишь для одного, цельного впечатления,— все мешается и путается. В глазах рябит и становится больно. Дашь глазам отдыхать на стороне, но там встречают они прежний мрак, обрамляющий чудное, невиданное зрелище. Обращаешься опять к нему, но уж там явились новые виды. Как будто огромная, всемирная кузница пущена теперь в ход; и только не видишь рабочих, не слышишь молотов за дальностью, близорукостью. Видишь один громадный горн, бегающие в нем искры — и все это горит таким ярким светом, какой едва ли придется видеть в другом из чудных зрелищ чудной природы, кроме северного сияния, проживи хоть и более тридцати, пятидесяти лет. Так думалось мне на ту пору, и невольно шли на память бессознательно выученные в детстве, теперь, при наглядном сравнении, поразительно верные стихи Ломоносова, который знаком был с красотой явлений полярного неба в ранней юности:

Лице свое скрывает день,
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы черна тень,
Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна, звезд полна:
Звездам числа нет, бездне — дна.
С полночных стран встает заря:
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огнь моря?
Се хладный пламень нас покрыл,
Се в нощь на землю день вступил!
О вы, которых быстрый зрак

Пронзает в книгу вечных прав,
Скажите, что вас так мятет,
Что зыблет ясный нощью луч;
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч,
Стремится от земли в зенит?
Как может быть, чтоб мерзлый пар
Среди зимы рождал пожар?
Там спорит жирна мгла с водой
Иль солнечны лучи блестят,
Склонясь сквозь воздух к нам густой;
Иль тучных гор верхи горят,
Иль в море дуть престал зефир
И гладки волны бьют в эфир? *

— На Матке, сказывают старики наши, больно страшно сполохи играют, да и то по деревням порато же сильнее. В иную зиму все небо горит, столбы ходят да сталкиваются промеж себя, словно солдаты дерутся, а упадут — таково красиво станет! Эдак чаще! А что видишь теперь — так редко же, все больше кажут зарей дальной. Самые страшные в большой холод живут, и тогда словно света представленье, и привычны мы нашим делом, а крепко пугаемся. На Матке-то, слышь, старики сказывают, трещит даже сполох-от, словно из ружей щелкает. Страшно, очень уж страшно! — рассуждал мой проводник на пути нашем в село Кую.

— Не так долят нас сполохи по зимам — это любопытно, с этим весело,— как вот по летам на Матке, когда эти проклятые *горелые чады* ** завяжутся. Просто, сказать тебе, в сырую землю ложись и гробовой доской накрывайся! — говорил мне тоже в куйской избе, на другой день по возвращении туда, мой вчерашний словоохотливый собеседник, старик Антипа Прокофьич.

Явился он, по обыкновению, веселым таким, по обыкновению, подал мне руку; охотно сел, похвалил меня за поездку, находя, впрочем, в ней больше храбрости и решительности с моей стороны, чем чего-либо другого. Выпил чашку-другую чаю, закурил сигару (бывалый, начитанный, но не раскольник, помор для забавы не прочь потешить себя этим зельем, выросшим, по их мнению, из головы евангельской блудницы) и продолжал обещанные рассказы о моржовом промысле на Новой Земле в таком порядке.

Считаем не лишним предварительно и коротко проследить исторические судьбы искони негостеприимной Новой Земли. После трех неудачных экспедиций Виллоуби (в 1553 г.), Барроу (в 1554 г.) и Пета с Джакманом (в 1580 г.) [1], видевших Новую Землю только издали, первым вступил на ее берега, в 1609 году, англичанин же Гудзон [2], за год до того нашедший остров Шпицберген. Гудзон видел только западный берег ее, но Вуд [3], отправившийся в 1676 году

* 11-я ода Ломоносова: «Вечернее размышление о божием величии при случае великого северного сияния». Изд. Смирдина, том 1, стр. 30.

** *Горелые чады* (по туземному названию) — одно из физических явлений, случающихся на Новой Земле при ужасных раскатах грома, сопровождаемых при этом горьким, удушливым, густым дымом, *чадами*, покрывающим все прибрежья. Бывают они обыкновенно при продолжительно покойной летней погоде.

и едва не погибший там, успел исследовать горы и дал об этом полярном Эльдорадо кое-какие более положительные и достоверные сведения, чем все прежние предшественники его. Голландцы были немногим счастливее англичан, лучше воспользовались только материальными средствами, предложенными им богатством морского зверя на Новой Земле (один только Баренц [4] в 1594 году сделал нечто для географии, осмотревши тот же западный берег и пробравшись до северной оконечности острова); таковы экспедиции Нидерландских генеральных штатов в 1595, 1596 (того же Баренца), 1609 и других годах: все ловили зверя, птицу, собирали пух — и только. С той же целью ездили туда русские поморы, но, естественно, гораздо прежде голландцев и англичан, особенно если принять в соображение то, что в XVI веке Россия отправляла за границу *рыбьи зубы* (моржовые клыки) и белых медведей. В 1768 и следующем году явился на Новой Земле с ученой целью первый из русских штурманов — Розмыслов, описавший часть восточного берега и Маточкин Шар. В 1807 штурман Поспелов, а в 1819 лейтенант Лазарев [5] описали юго-западную часть острова; капитан Литке [6] (с 1821 по 1824 г.) подробно весь западный берег, а подпоручик Пахтусов [7] (с августа 1832 по ноябрь 1833 года) описал и восточный берег, до того времени считавшийся почти недоступным. 1834 год он продолжал опись северной части восточного берега вместе с прапорщиком Циволькою. В 1837 году Циволька [8] опять был на Новой Земле, командуя судном экспедиции, отправленной Академией наук под начальством академика Бэра [9], но безвременно погиб в следующем году, провожая новую экспедицию, снаряженную правительством для описи северо-восточного и особенно западного берегов. Это была последняя ученая экспедиция, хотя ежегодно с той поры предпринимаются богатыми поморами новые экспедиции, но с прямой коммерческой целью, без всякой другой. Большая часть судов, являющихся на Новой Земле, принадлежит предприимчивым кемлянам — прибрежным жителям дальнего Белого моря. Затем охотнее являлись здесь мезенцы, в последнее время уступившие свое место более предприимчивым и ближайшим к Новой Земле жителям — ижемцам и пустозерам. Жители Усть-Цылемской волости являются там только в качестве наемных работников — покрученников. Хозяева, кроме ижемцев, бывают из Пустозерской волости и из селений: Оксина, Тельвиски, Никитц, самого Городка и Куи.

— Побежишь по весне на Матку, известно, сейчас думаешь: пронесет-де тебя туда и обратно благополучно — без большого барыша не вернешься. Такое уж сокровище земля эта! Прибежишь, ну, уж известно, сейчас богу помолишься и сейчас озираться, все ли тут ладно: становище на полуденную ли сторону смотрит, изба есть ли. А есть изба — известно, всю ее оглядишь: где промыло ее, расшатало за зиму-то — планочку приделаешь, окно мохом заткнешь,— и пойдет она тебе в услугу на все лето. Там уже, известно, купеческих обрядов своих не соблюдаешь: все благо. И не умоешься в который день, богу забудешь помолиться, выспишься, где приткнет тебя усталость,— все с рук сходит, все во душевное удовольствие. Надо быть, человек уж таким сотворен, что куды ты его ни сунь —

везде найдется свое дело править. Так, по мне! Не знаю, что твоя милость на это скажет?

— Ну, так вот и ладно! — продолжал он потом, после моего ответа, все тем же полушутливым, полувеселым тоном.— Вот как там это мы все около себя-то обставим, как быть надо богатому хозяину,— сейчас сети смотришь: которые для нерпы, для рыбы гольцов. Опять же носки точить начинаем: это для моржей. Я тебе так и сказывать стану про них, как велел *. Видал ты моржа живого?

— Где же мне его видеть, старик?

— И то, парень, негде. На картинке-то вон он у тебя похож же. Большой же ведь он у нас живет; косатки только поменьше-то, а то все эти белуги, нерпы там, зайцы, лысуны — все помельче его. Одно тебе сказать: жиру из него пудов по пятнадцати, по двадцати вытапливаем, из большого-то. В продаже его, со всем — и с тинками (клыками), и с харавиной (шкурой), рублей в пятьдесят на серебро считай. Вот он какой! Даром, что некрасивый да неуклюжий: рыжий весь ** и сверху перепонка такая, сеткой, с волосами же — алаперой зовем (с битого снимаем ее, и легко таково!), головища большая, на морде щетины насажены, что усы у кота. Шея толстая, словно бревно проглотил. В плечах широкой да грудастый такой — богатырь, что вон в сказках рассказывают. Вот эдакое-то чертово чудище еще страшнее кажет, как ты ему в морду взглянешь: глаза (маленькие пущай) так все и налились кровью, словно бы вон от пьянства у которого лихого человека. А не видит, ничего-таки не видит глазами этими: слепой, значит! Нос-то у него небольшой и кверху вздернут, и воду в ноздрях держит и высоко выбрасывает, а погляди-ко, какой он на нос-то лютой, коли по ветру пойдешь! Так уж и норовим подходить, когда ветер от него тянет. Да пущай, об этом после! На груди у него *катары*, словно две ноги, коротенькие да толстые лапы перепончатые, на них острые когти. Изо рта-то к ним идут тинки — ими он и страшен нам. Вот он какой! Недаром морским чудищем прозывают.

Ходят они от веков стадами — *юровами* такими, *кожами* зовем, и все чаще там, где духу человечьего меньше. На Колгуев, к примеру, самоедские семьи на житье в недавнюю пору выехали — и зверя туда нынче меньше ходит. У нас на устье, на Тиманском берегу, где жилья наставилось много, не слыхать моржа, разве уж который блудящий, когда все его юрово перебито,— да и то редко. Ходят они больше на Матку, и ходят по весне, на полой воде (тогда и добывать его трудно); по летам бьют его в воде; проедают на ту пору кожу ему ковшаки — червяки такие в конец перста: столь толсты! Тогда лезет он на берег *костливой* — чесаться. Лежат до грозы: грянул гром — не любят, сейчас побросаются в воду. По осеням морж на льдины идет

* Ловля гольцов и ленной птицы: гусей, уток, гагар — в большом количестве производится на острове Колгуеве (см. ниже: «Остров Колгуев»).

** В черном морже, водящемся в Карской губе, сала — не более 10 пудов; в сивом, живущем в Студеном море, несколько больше черного. Но обе эти породы моржей на Новой Земле — редкие гости. На Костином Шаре водятся моржи с особенно большими клыками. Старики помнят и свидетельствуют, что когда-то моржовое юрово забралось в Печору, вверх верст на 200.

и ложится *казак с казачихой кучиться, париться* — детенышей выводит, значит. Маленького моржа зовем абрамкой: этому и году еще нет; годовалого — кырчига. Эти моржовые детки ласковы и тоже, матерей своих вымет, промеж себя стараются ладить артели, по-нашему «юрова». Да зовут, однако, и «юро» — по простоте для смеху в речах.

Душину моржи в ту пору, когда кучатся, пускают такую, что нос зажимай да и беги на край света; больно смердят, потому и лежат они друг на дружке,— сказывают все в одно слово,— больше четырех недель: видали же наши! На ту пору мы вот по духу-то и узнаем, где они там по берегу-то залежку свою сделали,— это к осени. А летом известно: выстал он из воды, ухватился за берег, алибо за край льдины тинками, приподнялся, выполз на берег — и ляжет тут, у самой воды, и спит. Другой выстанет рядом — тоже ляжет, третий опять, четвертый... Выстал который да видит, что другой залег уж тут; он не поглядит, в другое место не пойдет, а возьмет тинками да и отодвинет и сам ляжет на его место: столь ленивы. Эдак-то накладут они такую залежку, что который первый-от выстал — версты за две уж от берега очутится. Это в хорошие годы! Спит морж крепко, шибко крепко, потому знает, что сторож (у них тоже, что у гусей, всегда сторож) своих не выдаст: услышит дух человечий — сейчас своим голосом скажет: «Близко-де, ребята, спасайся!» Тут только бульканья считай: почнут опрокидываться ко дну. Затем ближе к краю и спать ложатся. Не спят когда, от безделья потехи затевают: возятся, колют друг дружку тинками, играют — и нет того тинка, на котором бы зарубок не было понаделано, всегда этого много. Спит ли, не спит ли морж — ревет бычачьим голосом,— у него это первое дело, без того не бывает. Все воет, все ревет: вот и по тому опять узнаем, по реву-то по этому, где они наледицу сделали, где их много, значит. А заслышали дух ихний, алибо рев, да особливо когда ветер от них, тут уж мы, известно, не даем маху: тут-то нам и праздник великой, и веселье. Успеешь лопотинку на себя — какая под руку попадется — надеть да и на обнаряд, не думая, не гадая долго. Спихнем лодочку *стрельную* * на воду, прихватим с собой *кутило***, моржовку безотменно *** и по-

---

* *Стрельная* — легонькая лодка, которую удобно могут нести на плечах два человека; это — едва не челнок по величине своей. Иногда при этом промысле употребляют и карбасы с нашвами, или набойками (фальшбортами).

** Носок, кутило, спица — род копья, рогатины с довольно значительной зазубриной (хвалят корельской работы). При этом оружии необходимы также окованные железом березовые дубины. К носку привязывается обыкновенно хвостик, или трос,— длинный ремень сажен в 50 из моржовой же кожи. На другом конце этого троса привязывается бочонок, ведер в десять, называемый *баклажкой*, набитый вплоть обручами, для того, чтобы зверь не мог разбить его своими клыками.

*** Большого калибра винтовки, необыкновенно тяжелые, сделанные аляповато доморощенными способами в деревенских кузницах и потом уже выверенные самими владельцами. Это безобразное оружие в руках опытных поморских стрелков имеет поразительно дельное применение. Редкий заряд, как известно, промышленник пускает мимо. В моржовку идут большие пули, которых приготовляют из одного фунта только десять. Моржовки сильно отдают, но «сгоряча-де не слышим этого,— говорят поморы,— пока не засаднит щеку Да на это на все мы не взираем...».

плывем ко льдине ли, к берегу, где только учуем зверя: все то равно. Ездим больше двое: один гребет взад от себя, чтобы меньше шумела вода, не будила бы зверя. Я завсегда стою с кутилом наготове, потому люблю забаву эту. Тут приглядка первое: весельщик умей тебя так к зверю подвести, чтобы весь он лежал перед тобой, как на блюде, всего бы его тебе было видно. Подъехали, например: обманули сторожа (этот, известно, все караулит: опустил эдак голову, думаешь — дремлет, смотришь — опять поднял ее и опять слушает). К самому зверю подъехали, вижу я его: спит, скорчившись по своему обычаю. Знаю, что кутилом так-то его не возьмешь: проскользнет какой хошь острый носок между морщинами. Кожа его — известная кожа: толще ее и на свете-то есть ли? Промахнуться — стыд, по-моему: пусть промахивается малый ребенок, а не наш брат. Я вон на веку-то своем на руку за вторую сотню *разбойных-то моржей* считаю. Вот потому, как ты подъехал, буди моржа, крикни шибче, сколько мочи хватит, как на лошадь: «тпру! мол, тпру!» А у кого губы толстые и не может он эдак-то, тот вопит: «тару-тару». Крику этого он не любит, сейчас испужается, вздрогнет, проснется, спрямит, значит, складки на теле — тут ты только что глазом мигай, принимай моржа: бросай ему в зашеек * спицу! Зверь сейчас трусу праздновать: наутек! Тут метальщик успевай трос выкидывать с баклажкой весь в ту сторону, куда морж упал. Весельщик умей вовремя отскочить, отгрести лодку, а то упадет зверь в суденко — добра мало. Морж и смирен на берегу-то, пожалуй, и спать охочий, и человеческого духу боится, а встретится с тобой глаз на глаз — уважения не дает большого: сейчас в драку. Он тебя под лапу сгребет да в воду утащит, либо тинками прошибет лодку — всех в море пустит. С ним умеючи надо, потому, раненный, он гневен, раненный, он что бешеный, буян. Сунется в воду и опять кверху лезет, затем что рассол ему разъедает рану, а баклажка свое творит: далеко вглубь не пускает. Он смекнет это и сейчас начнет баклажку тинками бить, да как обручей-то вплотную насаживаем на ней, так ничего он тут и не сделает, только досыта тешится. Вот — и все! А выстанет он из воды, *даст духу*, тут ты опять не зевай, бери его на *затин*. А на затин взять, надо тебе говорить, дело большое, это дело не всякий сможет, сноровка великая требуется. Первое тебе — умей вовремя из лодки на берег али на льдину выскочить; второе опять — умей пешню крепко упирать и угоди поскорей обмотать на нее трос; третье — от тебя большой силы в этом обряде требуется. Ну, уж и о другом ни о чем не думай и на тот час не робей! Сумеешь пешню упереть вовремя — зверь не уйдет от тебя; кинуться — не кинется, редко же это бывает, а выставать станет чаще, чего и надо! Походит-походит в воде колесом, да все в круги, и выстанет, потому трос задержит его на глубине, а уж там, известно, упереться ему не во что, силой тут ничего не сделаешь. Выстал зверь, ты опять держи ухо

* В зашейке у моржа отверстие величиной, говорят промышленники, в трехкопеечную медную монету. Сюда преимущественно и стараются угодить для того, чтобы успех был вернее. Никогда не случалось, чтобы убивали моржа при этом до смерти; прямая цель здесь — сильнее поранить его, а главная — иметь на кутиле, т. е. почти в руках.

востро: наматывай знай трос на пешню больше, лучше, ближе к концу и к зверю. Он в воду ушел, а ты на пешню налег да и придержал ее крепче. Он опять выстал, а ты еще круче навернул троса. А доберешься до баклажки — зверю идти некуда: в воду не пускает его затин да опять же он и натомился, крепко изустал. Тут ему стреляй в зашеек, там у него кость тоньше (на висках ее не пробьешь; расплющится пуля, а толку не будет). Не угодишь пулей — зверя лютее не бывает: он и ревет на ту пору зычно, что уши ломит, на льдину лезет, пугает тебя всяким делом, пока ты его не уложишь вовсе. Тогда его бери на каток (ворот) и кати на льдину, что сальную бочку; тут твоя сила нужна и ничего уже больше! Свежуем (пластаем) мы их всегда на льдинах тут же...

Морж редко делает нападения, по словам поморов, и если бывали подобные случаи, то они исключительно производились молодыми, неопытными зверями. «С нами,— толковали поморы,— тоже не находка моржу вести дело — моржовка не промахивается»,— и все-таки рассказывают при этом один особенно поразительный случай. Морж (из молодых), раненный, но, по несчастью, не принятый на затин, бросился на промышленника и, ухвативши его под правую ласту, увлек с собой в воду. Долго они не показывались, и именно до тех пор, пока зверь не заблагорассудил, выставши в другой раз, бросить промышленника из-под ласты; по счастью, тот попал на берег, хотя с вывихнутыми рукой и ногой. На другой год он опять явился на Новую Землю за моржами, но, говорят, состоял уже в весельщиках. Другой случай с канинским самоедом поразителен более плачевным исходом: ранивши моржа, самоед брал его в затин не на пешню, а обмотал трос, по личному капризу, около себя и, не имея силы упереться ногами в прибрежные камни, был увлечен зверем в глубину. Вытащили его уже, естественно, мертвым. Когда зверь тащил его в воду, случившийся тут же другой самоед хотел ухватиться за товарища, помочь ему; но несчастный, увлекшись работой и, видимо, рассчитывавший на безраздельную будущую прибыль, закричал на другого, чтобы тот «не трогал его, не мешал ему»,— прибавляли ко всему этому печорские рассказчики. Третий характеристический случай нападений моржа на промышленника, рассказанный мне самим участником, кончился, по счастью, удачно. Он состоял в том, что раненый морж вскочил в карбас и, не сообразивши дела и, по-видимому, сам испугавшись редкому порыву личной храбрости, сидел, поводя своими кровавыми глазами то на одного промышленника, то на другого; сидел долго, давши, таким образом, возможность одному из своих противников осторожно вытащить из-под боку ружье — моржовку, которой и убил смельчака зверя наповал тут же в лодке, без всяких затинов и прочего. До победы промышленнику довелось, конечно, досыта намучиться и напугаться при виде, прямо на глазах, черной головы, широкой вздутой морды, кровяных выпученных глаз, сверкающих клыков, которые как длинные усы спадают на грудь и столь могучи, что рвут с морского дна длинные стебли водорослей и прокладывают себе путь сквозь льды и скалы. На морде торчат волоса толщиной в соломинку. Кто поручится, что

этот урод, ни вол, ни конь, ни кит, сдуру не вздумает драться либо топить. Странный дикий рев, слышный на часовом расстоянии, достаточно убеждает, что зверь не из смирных, а из сердитых. Четвертый морж, мгновенно вскочивши в карбас, до того перепугал промышленников, что все они повыскакали в воду и ухватились руками за борта; погибли бы они, если б хозяин судна не нашелся прежде всех других. Он ударил зверя пешней и этим заставил его выскочить обратно из карбаса в воду.

— Не страшен тот морж, у которого тинки вместе идут,— страшнее тот, у которого тинки врозь пошли (продолжал потом рассказчик, как бы отвечая на мою мысль). Этого и зовем мы разбойником. Страшно с ним глаз на глаз сходиться, когда он лежит перед тобой и пешню свою держишь ты еще в руках наготове, а всадил ее, на берег выскочил — тогда с сердца что гора свалится, словно из бани вышел. Так — на затине. А то берем мы их еще на *заколках* *. «На заколках бывает звериная поколка». Это уж очень любопытно бывает: тут словно под пьяную руку в плясе ходишь. Помнишь только одно, что тебе весело, сердце твое от радости надрывается — ничего другого не видишь и знать не хочешь: одного зверя дубиной пришибешь, другого. Третьему зверю в зашеек спицей угодишь, четвертого уходишь! Один потом с перепуга заторопился, через голову перекувырнулся; другой тоже пополз на катарах своих, да не смог, толкает неуклюжей тушей своей боковых и передних. И ты ревешь блажным матом — сколько силы хватит,— пугаешь их, и они со страху воют и оборониться от тебя не смогут, не сдогадаются. И смешно, и приятно! Эдак-то вот, в добрый час, ползаколки и наколешь целой-то своей артелью. Кровища их ручьями течет. Остальные сами лезут на смерть. Станешь после счет им подводить — оно и благовидно. Водки-то уж после того на радостях-то великих и не жалеешь: пьешь ее, когда есть, в великом числе. С эдакой работой хоть бы век вековать! Это ведь совсем не то, что вон когда не успеешь выскочить на затин да потащит тебя зверь-от и с карбасом да почнет вертеть да мотать из угла в угол, из стороны в сторону. Ладно, коли коршик сумеет подладиться к зверю или ты успеешь догадаться да буек к оборе-то привязать (буек этот после покажет, где зверь возится) да в добрый час скинуть его в воду. А то бывало и так (да и зачастую!), что и заматывал зверь, таскивал карбас-от ко дну. Так и складывали промышленники наши свои буйные головушки,

---

* Заколки эти делаются всеми артелями съехавшихся на Новую Землю промышленников, и большей частью летом и осенью, когда звери *на местах,* т. е. когда они для совокупления выползают на берег. Удача заколки и успешные результаты ее зависят непременно от того, чтобы звери возможно дальше заползали на берег. Иначе успех довольно сомнителен и на заколке не может быть поколки. Точно так же не могут быть удачны нападения на зверя поздней осенью, когда промышленники рискуют встретить на возвратном пути к берегу намерзший тонкий лед, по-здешнему *налыс,* между которым протолкаться с карбасом — нелегкое дело. Когда же моржи не спят наледицей, или на местах, тогда принимают их на хитрость: выбирают льдину ропачистую, т. е. высокую и негладкую, и за ее ропаками прячутся в лодке. Лодку эту подводят к моржовой залежке так близко, чтобы можно было через эту льдину стрелять из моржовок, нередко в упор.

бессчастные сердечушки. Бабы после, сколько ни реви на погостах, тут ни в чем не помогут. Так-то!..*

Вот тебе все, почесь, и про Матку! Не сказал, однако, что живет там еще ошкуй, да тому всех лучше. Полежит на солнышке, в воду сходит за рыбкой, моржовые залежи заприметит — сейчас на обман сзади ползет к ним и норовит всадить свои когти в загривок. Бесится морж, а везет да стонет; везет и в воду, везет и опять на берег, коли не усноровит ошкуй переломить его до воды поперек. Силен ошкуй, крепко силен, на то и ноги коротки, и вся сила его в ногах этих; а нападать на человека не охотник, разве уж глаз на глаз по нечаянности сойдемся. Бьем мы их мало, хоть и хорошее сало они дают. Старики, покойнички, сказывали, что один из наших молодцев заприметил, что из его ямы на становище повадился ошкуй топленое моржовое сало пить. А черт-от этот может выпить пудов десять сала за один раз, недели на две вперед про запас. Молодец устерег, запалил его насмерть, подкатил бочку да и вычерпал в нее из медвежьего брюха все ворованное сало,— тепленькое еще было оно. Всех-де насмешил. Впрочем, у нас живет такая поговорка: «дай бог промышлять моржа на берегу, а ошкуя на воде». Тако правило это для каждого умного и не горячего человека! После Успеньева дня к Рождеству богородицы мы домой бежим, а там уж известно: и сказывать не стану!..

Так заключил свои рассказы куйский собеседник про *разбойные* промыслы — разбойные потому, что и сам промышленник, отправляющийся на Новую Землю, из глубокой старины зовется *разбойным человеком.* Разбойну свою, состоящую, кроме главного продукта — сала, из клыков и шкуры, продают поморы, по обыкновению, в то время года, которое издавна русский народ богато обставил еженедельными торгами, ярмарками, базарами. Зимой свозят они промысла свои на близкие торги: кемские промышленники в Шунгу (Олонецкой губернии, Повенецкого уезда), мезенцы и печорцы в Пинегу на Никольскую ярмарку, на Вагу, в селение Кривое (Яренского уезда Вологодской губернии), но большая часть идет в руки чердынцев, приезжающих сюда обыкновенно по летам.

Жители пермского городка Чердыни и его уезда являются на Печору в каюках и полубарках. *Полубарка* — грузовое судно с отлогой крышей на два ската, длиной 8—12 сажен, шириной $3^1/_2$—$5^1/_2$; глубиной по борту до $1^1/_2$ сажен. Груза поднимают они от 2 до 3 тысяч пудов. *Каюки* длины одинаковой с полубарками, шириной от 3—$4^1/_2$ сажени, с каютой в корме; вершина носа загибается внутрь судна. Груза подымают от 7 до 9 тысяч пудов. Чердынцы, на возвратном пути своем домой, по Малой Печоре встречают пороги (числом до 3-х), а при соединении ее с Большой — *заструги* (песчаные отмели) и потому разгружают суда свои до половины на *повозки,* находящиеся наготове у пристаней Подчерья (в 700 верстах от Пустозерска) и близ Усть-Шугоры (в 850 верстах оттуда же). Пристают у Якшинской пристани уже в Чердынском уезде. Чердынцы

---

* К сожалению, положительные факты доказывают, что редкий год на Новой Земле обходится без подобных злоключений...

привозят в этих судах хлеб — в виде муки ржаной, крупчатки, круп, гороху, солоду — и товары: простые белые холсты, крашенину, синие пестряди, довольно значительную часть чаю (печорцы до него страстные охотники, как самоеды до вина), русский сахар, ситцы, сукна, бумажные и шелковые платки, косы, ножи, железные гвозди и часть свинца. Являясь около 15 июня в селе Ижме, они в середине лета выплывают в устье Печоры и заходят от него морем верст за 15—20 в губу, где пустозеры ловят семгу. Рыба эта, как и звериное сало, покупается, таким образом, на месте на наличные деньги, но чердынцы предпочитают свои товары отдавать в долг, за которым и являются в другой раз уже зимой. Каюки чердынские — маленькие походные лавки — пристают там, где заранее каждому определено место: одному в Тельвиске; другому в Куе, третьему — в Никитцах. Товары отпускают на веру, да и покупатели берут, не справляясь о цене, которая скажется после летних промыслов. Да с нуждой и закабаленным должником разговор короток: «Не по карману тебе цены, заплати старый долг, а рыбы твоей нам не надо,— у других-прочих нагрузимся». Идет за семгу и хлеб, и соль, и столь же важный товар, каково прядево или пенька на канаты и сети. С чердынцами стали ездить за легкой добычей и устьсысольцы, которые немногим получше: торгуют очень искусно и не вредят только друг другу, не сбивая цен.

Через руки кемских и мезенских промышленников моржовые продукты идут на иностранных кораблях за границу: ворванное сало в большем числе, кожа в меньшем, но как отличный материал для подкаретных ремней, на гужи к хомутам (туземцы употребляют ремни эти в оленьей упряжи, для тросов при ловле того же моржа). Мелкое зубье идет на костяные поделки вроде запонок, пуговиц и тому подобного. Клыки, или тинки, немногим уступая слоновой или мамонтовой кости, расходятся по окрестным холмогорским деревням, издавна известным в России своими костяными изделиями. Тинки эти, отличаясь от мамонтовых сужелтью в сердцевине, весят обыкновенно (в паре) до 20 фунтов, и только уж от самых огромных моржей получаются тинки весом на один пуд в паре клыков.

В заключение, нелишним считаем прибавить, что Новая Земля, представляя богатые материалы для пользования ее сокровищами, до сих пор еще находится во враждебном отношении к своим соседям. Причиной тому одни полагают негостеприимство ее берегов, на которых гниющие морские травы (особенно тура, морской горошек) производят вредные испарения, развивающие цингу. В тот самый год (1857), когда я собирал эти сведения и выслушивал рассказы туземцев, летом после моего отъезда на Новую Землю ижемцы отрядили промысловую партию в 28 человек на трех лодках. Ушли весной,— осенью вернулись только шестеро: все остальные, в середине лета, один за другим пухли и помирали черной смертью (от цинги). Уцелели шестеро оттого, что умудрились поймать диких оленей и пили теплую кровь. Спасшиеся от смерти привезли домой всякого зверя и птицы на 1500 рублей, по 250 рублей на брата, да страшный процент двадцати двух неповинных смертей, когда и без того на Пе-

чоре не тесно. Вот почему Новую Землю стараются избегать. Другие видят в значительно ослабевшем желании поморов извлекать выгоды из Новой Земли ту причину, что предприимчивые хозяева упали духом при частых неудачах соседей (особенно в последнее время). Третьи, наконец, оправдывают этот грустный факт тем, что между всегда смелыми и толковыми поморскими кормщиками нет людей, хорошо, безусловно хорошо, знакомых с наукой кораблевождения. Как бы ни были правдоподобны эти частности, все-таки, в общем, должно согласиться с тем, что промысловые артели обряжаются из рук вон бестолково: хозяин, как монополист, видит в своих покрученниках простое орудие для своей личной прибыли, не принимая (и, к несчастью, не столько не умея, сколько не желая понимать) ни его высоко-человеческого достоинства, ни его требований как разумного существа. Сырой избой, утлым судном, наполовину порченой провизией, рваной одеждой, скудным вознаграждением за труд обставляется безжалостным монополистом всякий покрут, снаряженный им на Новую Землю за моржами. Вот, кажется, почему обратилась теперь большая часть печорцев и мезенцев к родным рекам, богатым семгой и другой ценной рыбой, и почему почти только одни самоеды *крутятся* на новоземельские промысла,— самоеды, не сознающие еще своего нравственного человеческого достоинства и злоумышленно хитрыми своими соседями поддерживаемые в животном, невежественном коснении. Из дальнего кемского Поморья идет сюда крайняя, рваная, беззащитная бедность, у которой нет иной веры, как веры в случай, и надежды, *всегда кроткой посланницы небес*, хотя, в этом случае, не всегда оправдывающейся.

Вот что рассказывает об этой земле очевидец (академик Бэр): «Неизъяснимая грусть овладевает душой всякого человека, даже грубого матроса, при взгляде на эти обнаженные, безмолвные, безжизненные области, где нет ни дерева, ни кустарника, ни даже высокой травы. Сердце сжимается, но в этом грустном чувстве есть что-то великое, торжественное. Ступайте в средину Новой Земли: перед вами с одной стороны разливается вдалеке безграничное море, а с другой стелется на необъятное пространство пустыня, которая ожидает еще жизни и жителей. Мне казалось, что настало первое утро сотворения мира и юная земля, только что отделившаяся от вод, не успела еще одеться в свои пестрые и зеленые ткани и ожидала прибытия жизни. Но всмотритесь ближе. Здесь уже есть что-то похожее на жизнь, на движение. Вот вдали шевелится одинокий зверек, по воздуху изредка пронесется чайка, или пробежит по земле пеструшка. Да этого мало, чтобы оживить картину. Нет шуму, нет настоящего движения жизни,— в особенности если посетите Новую Землю в то время, когда стада гусей, уронив у озер свои перья, улетят отсюда. Повсюду глубокое безмолвие. Птиц в этой земле очень мало, и они безгласны; даже насекомое жужжанием своим не напомнит вам о себе. Только по ночам слышен иногда крик полярной лисицы. Даже в долгие ясные дни напрасно вы станете прислушиваться: ни одного звука,— повсюду могильная тишина. Вся природа как бы в онемении. Смотря на кустарники, мы привыкли видеть их

колеблющиеся листья и слышать их шелест. В Новой Земле растение прильнуло к почве так, что и дуновение ветра не досягает его. Оно совершенно неподвижно, как театральные декорации. Вы не отыщете на нем даже насекомого. Нам попался только один жук *Chrysomela*, кажется, нового вида. Но кто бы подумал, в летние дни, в местах, согретых солнцем, вы иногда увидите трудолюбивую пчелу! Она едва жужжит, как у нас в сырое время. Мух и комаров здесь поболее, но их с трудом должно отыскивать. Они едва летают, едва живут. Не опасайтесь их докучливости: «здешний комар потерял даже инстинкт, увлекающий его к человеческой крови, которой нет и в заводе на его полярной родине».

Западный берег Новой Земли, который один только и известен, к которому исключительно пристают живые люди, посещающие ее именно с запада, западный берег окружен множеством утесов, или торчащих над поверхностью моря, или скрытых под водой. Южный берег низменный: на берегах Нехватовой реки, текущей в Костином Шаре,— длинная равнина, но и она обставлена грядами скал, в две тысячи футов вышины. Далее к северу горы становятся и еще выше, тянутся семейно рядами и редко имеют острые вершины. К северу они постепенно понижаются. В долинах, примыкающих к берегу, уже вечные ледники. Вдоль покатостей тянутся щелья — невысокие, из сплошного шифера, возвышенности,— покрытые также вечными снегами, которые тают и бегут ручьями во время короткого лета. Почти утвердительно можно сказать, что новоземельские горы — продолжение гор Уральских: есть и каменный уголь, и слоится также серый, без примеси камня, известняк. Разница состоит лишь в том, что на громадах скал не видно ни тундр — ни сухих, ни влажных. Горы эти настолько же голы, как и те, которые идут под водой между Вайгачем и Новой Землей и, как стена, задерживают лед, плывущий к западу от Карского моря. Это место промышленники издревле называют непроходимым.

Новоземельские низменности представляют такие места, где вязнет нога: сюда от недавнего разложения скал налилась вязкая черноватая глина, да к тому же снежная и дождевая вода, беспрестанно стекая с покатостей, издавна образовала наплывы, покрытые редким мохом. Самовидцы, ходившие по этой земле, говорят, что хотя ноги путника на этой грязи и могут промокнуть, но идти можно смело: твердый грунт лежит тотчас. Зато глаз не встречает мест, покрытых сплошной зеленью или даже густым мохом. Как исключение выдалось одно место, покрытое травой погуще других и прозванное промышленниками гусиной землей (тут линяют полевые гуси), но и здесь обманом зрения рисуется обширное поле: за зеленеющие поля глаз сплошь и рядом спешит принять бедную осоку, иногда просто каменья, даже и не зеленого цвета. Шкерц и известь, скоро расслоиваясь, даже и не умеют удержать на себе никаких наростов, да и порфир, менее уступчивый выветриванию, обложен лишаями, похожими на струпья, и потому кажется как бы обрызганным разноцветными пятнами.

Отсутствие всякой растительности составляет главную черту

Новой Земли. Хотя и встречаются изредка нежные цветы, облитые живой краской, но они очень низки и едва показываются из земли. Им от веков не удалось еще утучнить родимую почву так, чтобы дать место новым и свежим потомкам. Незабудки расстилаются кое-где пестрым ковром, но зато на большинстве других растений — сухие листья, прозябшие за несколько лет. Новоземельские растения — прозябения с весьма короткой и быстрой жизнью, которая ускоряется чрезвычайно длинными днями и в продолжение нескольких недель не скрывающимся солнцем. Все-таки, несмотря на это, здешние растения и позже всходят, и медленнее развиваются. Во всяком же случае, растительное царство Новой Земли поддерживается приносными дарами соседней земли. Гостеприимство им незавидное: счастлив тот гость, который укрепился корнем в щелях почвы, высохшей летом и надтреснувшей на тысячи многоугольников. Эти части успевают выразиться пестрой смесью: подле одного цветка садится другой, совершенно разнородный. Даже мох не обильно рассыпает здесь семена свои. Вечный снег и от него чрезвычайный холод по окрестностям одинаково повсеместен, будет ли он в извилинах, обращенных к северу или к югу. Только отдельные возвышенности освобождаются от снегу, когда обогреваются солнцем со всех сторон. На три фута в землю слоится уже чистый лед, который, по всему вероятию, помнит время мироздания, лежит многие тысячи лет. Вся растительная жизнь на Новой Земле сдавлена между верхним слоем почвы и низменным слоем воздуха; оттого растения мало поднимаются над земной поверхностью и неглубоко уходят внутрь.

Самое убийственное впечатление производит здесь то, что во время ходьбы, сколько вы ни удваиваете шагов, предметы остаются на том же расстоянии. Нет ни жилища, ни деревца, по чему можно бы судить об отдалении. Здесь от ясности и прозрачности воздуха все кажется близким, но в то же время все в одном и том же отдалении. В ясные дни воздух почти бесцветен: на ослепительно белых горных вершинах местами прорезаются черные скалы, но в воздухе ни малейшего цветного отлива. Экспедиция, отправленная королем датским Фридрихом II в Гренландию, в виду ее берегов воротилась назад, не исполнив назначения, увлеченная оптическим обманом этим: ветер надул паруса, судно летело как птица, но берег стоял все в том же отдалении.

Из зверей на Новой Земле самый могучий из всех, деспот северных стран с гигантской силой и бесстрашно свободный — белый медведь, очень похожий на нашего косолапого Мишку Топтыгина. Белый лишь вытянут в длину больше нашего плясуна на 7—9 футов. На жадно вытянутой шее насажена голова, которая немного напоминает овцу и под острым, выбегающим вперед носом представляет пасть, отступающую назад. Эта пасть усажена зубами, маленькое ухо хоть и срезано, но слышит издалека, как кошачье. Рев похож на сиплый вопль, но иногда переходит в неистовый вой, столь дикий, что, может быть, подобного и не найти в царстве животных. Шерсть на нем совершенно белая, серебряная, жестка, как щетина, и вырастает на мездре толщиной в лубок: шубы из нее не сошьешь,

но подстилать под ноги, вместо ковра, очень годится, потому что чрезвычайно прочна. У стариков серебряная шерстка желтеет. Белый медведь весь покрыт мехом; голы только кончик носа, края губ. У него здоровые когти и темное кольцо вокруг глаз. В такой шубе этот зверь шутя ходит навстречу леденящим морозам: где, по-видимому, все живое должно исчезать — белый мишка жив и бодр. На Новой Земле он даже зимует, и притом в местах самых морозных, именно в горах стран, которые стоят далеко на севере. Он даже выводит детенышей около Рождества, так что во время беременности самки температура бывает ниже нуля градусов и полярная ночь занимает более половины этого времени.

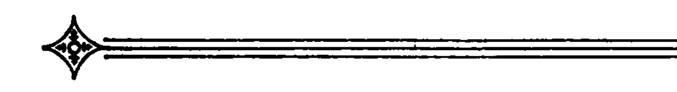
Бьют его очень мало, больше за то, что пугает и опасен тем, что соблюдает на льдах и в безлесье скверную привычку лесного родича: гнуть людей и животных поперек и переламывать. Глуп еще тем, что ходит на огонь и в промысловые избы лезет непрошеным гостем. Бродяга он настоящий и, во всяком случае, непоседливее своего лесного брата: белый медведь живет во всех местах Ледовитого моря. Его видали в 86 верстах от твердой земли. Он останавливается на островах, плавает на льдах; нагулянный жир делает его одним из лучших пловцов на свете. Он ныряет между льдинами, шатается по каменистым берегам и лазит по ледяным горам, как лесной его брат по деревьям за пчелами. На ледяных горах белому медведю поживиться нечем, но на ледяных полях, а особенно на низменностях необитаемых островов для него готова пища сытая и обильная. Где лежат моржи, тюлени и другие сальные морские звери, туда ошкуй, или белый медведь, ходит охотно под ветром. Особенно хорошо он видит и чутко нанюхивает. Он может поддерживать свою жизнь не иначе как только непрестанным трудом: замерзлая вода служит плотом, на котором он спускается в море; в незамерзшей воде он находит пищу. Как деспот северных стран, он ненавидит всех и считает всякого своей добычей и собственностью, бросается даже на те сальные бочки (весом иные до 80 пудов), которые называются моржами. Морж бесится, ревет от боли, но везет медведя в воду, вывозит опять на берег, если не успеет ошкуй изломать его до воды. Обессилевшего зверя медведь съедает, но не брезгует и трупом своего брата. Зимой и летом ему житье всех лучше: всегда готова пища,— трупов убитых и брошенных зверей он первый гость и лакомка. Нет пищи или сыт — он полежит на солнышке, погреется, сходит в воду за рыбой. Когда гольцы идут, он встанет поперек реки и свое тело, как невод, распустит. Когда сыт, тогда любит свистать в когти и тем наводит большой страх на промышленников, а так как ошкуи любят ходить стадами, то свисту такого бывает довольно во всю зиму. Спать он не ложится, спячки не знает: вся жизнь его проходит среди одной вечной зимы. На человека нападает только в тех случаях, когда сходится по нечаянности глаз на глаз. Тогда и бьют его из моржовок или принимают на рогатины.

Вообще он зверь очень сильный, и особенно велика эта сила в коротких ногах, на которых он кажется неуклюжим; не большой мастер ходить по земле (ходит прыжками). Вообще на белого медведя

не слыхать крупных жалоб от наших русских охотников. Для людей он соблазнителен нагулом очень нежного и хорошего сала, которое не воняет. Матери, завидев людей, защищают медвежат и не убегают прочь. Медведи сыты и от охоты за тюленями; сядет он у расщелины льдины, куда нырнул тюлень, и сторожит: не двинется, не шевельнется, словно замер, как настоящая охотничья собака. Но лишь завидел, что тюлень стал опять выставать, чтобы набрать в свои легкие свежего воздуха,— медведь растянулся во всю длину, передние лапы сложил кольцом. Лишь только зверек из воды — железный ошейник готов, и с такой пружиной, которая не соскакивает. В бою с глазу на глаз медведь смешон и малоопытен: идут двое, один хочет направить удар в один бок, медведь старается ухватиться лапами за этот бок, оставляя другой без защиты. Идет один и твердо держит копье, подстрекая медведя к нападению, сам охотник прикидывается трусом и указывает ту сторону, в которую намерен бежать. Медведь оставляет свое место, охотник тотчас займет его; зверь старается опять занять покинутое место и спихнуть охотника, но здесь-то его и встретит копье, которым стараются попадать в бок, под левую лопатку.

В соседях с медведями бегают по Новой Земле белые и голубые песцы. Шкурки голубых в большом почете и в хорошей цене. Водятся еще лисицы и волки, но зверей этих ловят мало: некогда,— после Успеньева дня надо поторапливаться: зима ходит там быстрыми шагами. Намерзший тонкий лед, по-тамошнему «налыс», налипает по берегам так рано, что на обратном пути с промысла трудно бывает сквозь него проталкиваться.

Много еще на Новой Земле пеструшки (полевой мыши), но мало волков и лисиц. Все животное богатство в морских волнах. Из птиц на берегу белая сова, которая здесь и зимует, подорожник, водяная курочка, сокол; летние гости: полевые гуси, ледяная утка, музыкальный лебедь, но и тех неизмеримо больше на острове Колгуеве: на Новой Земле им почти нечем питаться. Ужасная страна! — страшная уже тем, что здесь предел всепобеждающей человеческой силе: здесь победитель природы едва ли в силах надежно укрепить ногу».



II

СЕЛО ИЖМА

Общий вид селения и характер зырян, по личным наблюдениям.— Разные способы ловли мелкой рыбы.— Быт зырян, домашний и общественный.— Река Ижма.— Первые выходцы и родоначальники.— Старинные бумаги.— Огородничество.— Национальный промысел зырян.— Борщееды.— Белкованье.

— Поедешь ты в Ижму — увидишь там храмы божьи каменными и во всем благолепии; угощать тебя будут по-купецки; станут тебе сказывать, что в бога веруют,— не слушай: врут! Тундра у них грехом на совести давно лежит. Смотри не поддавайся же этим зырянам: плут народ!..

Подобное предостережение и, пожалуй, наставление, сказанное мне за неделю назад добрым рассказчиком моим в Пустозерске, пришло мне на память именно в то время, когда передо мной открылась вся Ижемская волость *, крайняя (по Печоре) в Архангельской губернии, со всеми своими наглазными мелочными подробностями. Не хотелось верить предостережениям этим на первых шагах и при первом взгляде, тем еще более что действительность уверяла в противном. Правда, впрочем, то, что поразительными казались огромные каменные церкви с громким звоном, с громким, согласным пением на два клироса, с звонкими голосами дьяконов, с иконостасами изукрашенными сверху донизу образами в серебряных, позолоченных ризах, щедро облитых богатым светом, и с духовенством в глазетовых облачениях. Так везде, во всех селах Ижемской волости: в Сизябе Мохче, в самой Ижме,— и как нигде в других местах Архангельской губернии, исключая только самого губернского города, древних Холмогор и трех-четырех еще не упраздненных монастырей (н считая здесь необыкновенно богатого Соловецкого). Ижемски церкви, все до одной, вплотную были набиты народом, молившим не старым крестом. Слышались в толпах этих и удушливый ста ческий кашель, и неугомонный плач и визг грудных малюток, и по час звонкие, нескромные вскрики подростков. Виделись и те, и другие, и третьи: мужчины на правой стороне, женщины на левой, без исключений, по старому русскому обычаю. Между тем в большей

---

* На реке Ижме в 100 верстах к югу от Усть-Цыльмы, в 40 от Печоры, в 62 от устья реки Ижмы.

половине архангельских сел и даже городов духовенство исправляет службы в пустых, холодных, со сквозным ветром церквах, едва не на ржаных просфорах, в полуистлевших ризах, при свете четырех-пяти желтых восковых свеч на всю церковь, при разбитом голосе дьячка, звучащем еще печальнее при такой печальной обстановке. Не так, далеко не так в богатых церквах Ижемской волости, где дома духовенства — лучшие дома в целом селении, где церкви решительно-таки несравненно богаче, чем в самом Архангельске. Где же справедливость в словах честно изжившего век, воспитанного в безыскусной, патриархальной простоте и уважаемого всеми соседями моего дальнего приятеля:

— Станут они тебе сказывать, что в бога веруют, не слушай: врут!

Первые моменты знакомства с Ижмой решительно не говорят этого, напротив, наглазной обстановкой доказывают совершенно противное. А между тем второе показание старика оказывается справедливым. Радушно встречает меня хозяин отводной квартиры, не позволяет пить моего чаю, и не шутя ворчит на это предложение мое, и чуть не бранится. Тащит он, суетясь, как угорелый, снизу несколько тарелок: с баранками, с изюмом, с пряниками, с кедровыми орехами-меледой,— откуда ни берет бутылку хересу, графин водки и все это просит потреблять вместе, валить в кучу. Наливает густого, как пиво, дешевого чаю, просит сахар класть в стакан и как только возможно больше — не жалеть; обещает принести сливок и приносит такие густые, о которых редко где имеют понятие в другом месте губернии, кроме Холмогор; божится, что обшарит завтра всю волость, чтобы достать лимону; обещает того, другого, всего... Неужели и после этого должно давать веру словам моего пустозерского приятеля? — Нет, что-нибудь далеко не так!

Следующий день исключительно покушается разбить все оставшиеся сомнения, если не разбивает их окончательно: с утра являются один за другим седые, почтенные старики просить отведать их хлебасоли, и потом встречают на крыльце, и суетятся приветливо и, видимо, чистосердечно. Не зная, чем занять гостя, потчуют меледой, горсть которой, без сноровки и привычки, в полчаса не общелкаешь. Не зная, чем чествовать,— ставят на стол осетрину — диковинку своего края, вывозимую из дальней Сибири, с Оби, вареные оленьи языки, оленьи губы, удивительно вкусные, редкие свои блюда, и квас, как лакомство, заменяющее здесь неведомое пиво. Семгой, как дешевой рыбой, они даже и не угощают и, оправдываясь, толкуют:

— Непроваренная, она не здорова, свежая скоро приедается.

По этой причине везде по Печоре для ухи (по-ихнему щербы) режут на мелкие куски и варят. Потом вываливают куски на лоток, солят и остуживают. В уху прибавят несколько горстей муки и снова варят.

— Нарочно по твоего высокоблагородья на вечор олень колотлы, отведуй: очення нам отлично буде! — приговаривают зыряне при этом бойким русским говорком, хотя и с неверным выговором слов и с неверными ударениями на них, делающими речь ижемцев похожей на

цыганский говор дальней России. Сам язык зырянский, более, впрочем, приятный в устах женщин, чем мужчин, бьет ухо богатством неприятно-гортанных и шипящих звуков. За стол с нами женщины не садятся — приносят только с низкими поклонами блюда и сейчас удаляются, не примолвив ни единого слова. Собеседники мои не пускают родного моего языка в исключительное употребление, при задаваемых вопросах обращаясь к сотрапезникам на зырянском языке. Пусть же они как-то подозрительно переглядываются и выпрашивают друг у друга ответов на эти запросы, обращенные исключительно к их житью-бытью, к оленеводству. Я готов, на этот раз, объяснить все это про свой обиход так: гортанность их языка — тем, что он отрасль чудского; отсутствие женщин — старым вековым обычаем (доселе соблюдаемым) видеть в женщине исключительно рабыню, а не человека; страсть к родному языку — прирожденным правом всех народов. Можно бы объяснить и переглядки, и косые взгляды, и их недоверчивость к вопросам, и их нежелание прямо и словоохотливее отвечать на них — тем, что зыряне большую часть года проводят в среде соплеменных семей и не привыкли к новым, свежим людям. Пожалуй, даже, наконец, объясню это себе просто привычкой, родовой народной особенностью. Но, несмотря на все это, ответы оказались многознаменательнее и важнее, чем казались на первых порах. В этом деле, как и во многих других подобных, помог мне случай. Оставалось потом выследить его по горячим следам.

Дело происходило вот как.

Беседовали мы о разных мелочах вшестером, и результатом беседы нашей было: для них — то, что выпили два самовара больших-пребольших и общелкали большую, глубокую тарелку, насыпанную верхом кедровыми орехами; для меня — несколько скудных, впрочем, сведений, которые почти все заключались в следующем. Река Ижма обставилась высокими берегами, обрамленными людными зырянскими селениями, рощами лиственничных деревьев и богатыми сочной травой пастбищами и сенокосами. Все это, взятое вместе, поражает картинностью видов не только заезжих, но и привычных туземцев в летнюю и весеннюю пору. Немногое теряли эти приглядные виды и зимой, на мой взгляд, давно уже отвыкший ото всех поразительных картин на архангельских равнинах.

Вообще реку Ижму хвалят за красоту прибережьев и сердито бранят ее характер. Все красивые и довольно высокие берега (конечно, и здесь, по закону природы, правые) заняты селениями, которые и любуются на низменности левого берега, с раскинутыми по местам лугами. Зато самая река крайне мелководна, хотя и насчитывают у ней до 30 притоков: косы нередко во всю реку, беспрерывно либо камни — бойцы и одинцы, либо каменистые переборы и отмели. То и дело видны «заколы» из часто набитых кольев, иногда до половины реки, для лова рыбы мордами. О бечевнике до сих пор никто не подумал, а кто выдумает тянуть лямкой лодку, тому по берегу налита липкая грязь, накидан валежник и предстоят крутизны, покрытые лесом. Тем не менее в селениях избы с трубами и большими окнами, внутри очень опрятные.

Рыба, попадающаяся в Ижме, довольно мелкая, и насчитывают ее до 12 сортов. Семга заходит редко, и самая вода речная отличается тяжелым вкусом, по причине значительного раствора нефти,— обстоятельство, заставляющее предпочитать речной воде колодезную. При ловле рыбы (исключительно в печорских участках и на озерах по тундре) до сих пор соблюдается старинный обычай на всех тонях: для всякого человека-путника варить щербу из свежей, сейчас пойманной рыбы и не скупиться отпустить и с ним рыбы, в надежде на будущий обильный улов. Рыбу ловят обыкновенным установившимся способом, общим всем приморским местностям. Речные способы мелкой рыбной ловли известны в трех видах. 1-й: *поездом поездовать:* два рыбака плывут в особых лодках не в дальнем друг от друга расстоянии, насколько позволит то сделать длина сети. Сеть эту без матицы (мешка) держат за тетиву, погружая подводную часть ее при пособии шестов, которые и держат в руках (иногда употребляют грузева — каменные якоря — кибаса). Плывут обыкновенно вниз по течению: первая попавшаяся рыба толкает в сеть и потрясает палки. Осторожно рыбаки съезжаются вместе и вынимают сеть. 2-й способ: *лучом лучить.* Лучат темной осенней ночью и для этого на носу лодки укрепляют кол (накозье) аршина в полтора, на нем козу — решетку железную с торчащими кверху зубцами, между которыми кладут куски просушенных и просмоленных комлей и пней и зажигают их. На носу же, у огня, становится рыбак с острогой (в $2^1/_2$ сажени длиной). Он высматривает спящую рыбу и дает знак осторожно гребущему товарищу остановиться, сам в то же время пронзает щук, налимов и другую речную рыбу. 3-й: *неводом*, как и в Усть-Цыльме, как и в кемском Поморье, как и во всех остальных местах огромной России, где только водится какая-либо рыба,— способ один и тот же. Можно отметить одну любопытную особенность — оригинальный прием, подмеченный на берегах Северной Двины, именно — в Холмогорском и Шенкурском уездах. Там, приступая к подледной рыбной ловле, разрезают хлеб на «шахмачи», т. е. куски. Их бросают в невод и волокут его по льду на некотором пространстве. Затем все участники артели (обыкновенно от 20 до 30 человек) садятся вокруг невода и съедают шахмачи, воображая в них первую добычу лова. Только после этого обряда решаются приступить к работе, и приступают тотчас же: наблюдает старик, называемый babровшик; долбари пробивают проруби, вилочник (он же и рельщик) гонит под лед жердь с веревками или тетивой, и лямошники тянут этими веревками сеть под водой. Замечательно, что эти рыбаки, как сумочники-торговцы, нищие, мазурики, коновалы и проч., говорят между собой на искусственном языке: у них невод — румага, заяц — лесной барашек, изба — теплуха, озеро — лужа, ворона — курица, сорока — векша, и проч. Первую выловленную на выбор самую большую продают на свечу в церковь. Babровшик бьет вичью за пересол ухи, за ссору, кражу и за нарушение условного языка. При «подледной» продалбливают долбари обыкновенно четыре проруби: круглые три все в ряд, а четвертая четырехугольная. Это называется приволокой. Сюда вытаскивают сеть, которую успевают из одной проруби в другую

пронорить, т. е. провести «походню», или веревку (привязанную к неводу, либо перемету, либо поплави). Поплавью (плавной сетью), шириной в 2—3 сажени, длиной до 150 и более, ловят, между прочим, в Северной Двине верст на сто от устья в сторону Холмогор семгу с последних чисел июля до конца сентября. Ловить стараются по ночам, так как семга, завидя поплавь днем при свете, старается проплывать под ней. Эта-то семга «двина» и появляется в обеих столицах: в Петербурге в дорогих фруктовых магазинах и в Москве в лучших трактирах — первой и ранней, как лакомство, очень вкусное при малом засоле и очень дорогое по причине спешной доставки.

Судов здесь строят мало, довольствуясь рубкой мелких, вроде карбасов, лодок и челноков, закупая крупные или в Мезени, или заказывая их в дальней Кеми. Наконец, если ко всему этому прибавить то, что здесь на домах (кстати сказать, хотя и двухэтажных, но содержимых довольно грязно, сравнительно с Пустозерском) по потолкам и под полами не насыпают земли на том основании, что будто бы строения скорее гниют, и что здесь балконы и ставни не составляют особенной необходимости против вьюг и метелей, как по Печоре,— то опять-таки, наконец, во всем этом едва ли был не весь результат начатой нами беседы...

Ижемцы мои заметно скрытничают, как будто чего-то опасаются, частенько переглядываются, вдруг круто переменяют разговор, совсем неожиданно и преимущественно в тех местах, где он принимает более оживленный характер.

«Нет, что-нибудь да не так!» — думалось при этом мне, избалованному, может быть, словоохотливостью и откровенностью недавно покинутых добрых пустозеров. Слова одного из тамошних: «Хитрый зыряне народ, ты смотри не поддавайся им» — восставали, как живые, по-прежнему.

— Хитрый народ вся эта «Ижемца»! — так обычно называют всех зырян, присоседившихся своими селениями к русским печорцам, гораздо позднее поселения последних на устье р. Цыльмы. При этом собирательное имя, обращенное в собственное, с ударением на последнем слоге, обязательно склоняется грамматически, с неизбежным печорским причокиванием,— говорят: «у ижемчей, в Ижемчах» и т. п. Это слово совершенно вытеснило название зырян и на этот раз основательно в том смысле, что ижемцы на коренных зырян теперь мало похожи. Народное присловье, обозвавшее их борщеедами, насмешкой этой не отделяет от устьцылемцев: и эти, в стране, где плохо прививается огородничество, вместо капусты квасят и запасают впрок на зиму дико растущие на лугах деделюшки, или деделю (она же борщ, пучок, по ботанике — Heradeum borealis).

Попробовал я обратиться с вопросом о том, существуют ли между зырянами какие-нибудь предания об их далеком прошлом; но получил в ответ немногое: что в чудских могилах при устье Ижмы с Печорой, в горе находили, лет тому 20 назад, монеты, что попадаются там же мамонтовые рога (кости), хоть и редко; что есть-де крест по пути в Сизябу, на могиле Киприяна, одного из друзей Аввакума, сосланного сюда за раскол и которому отрубили здесь голову за то же самое;

что в селении Усть-Ижмы есть *поганый курган,* на месте которого в *досельную* страну был чудский город; что, раскапывая курган, нашли там копье...

Спросил я об истории и причинах выселения их, по преданиям, в дальнюю страну из стран пермских — центра заселений зырян, по крайней мере в то время, когда застали их на этом месте история и Евангелие, но собеседники мои как-то уж особенно дико переглянулись и замолчали, все до единого, еще сосредоточеннее и упорнее. Пришлось остаться на этот раз при тех же немногих сведениях: что грабежи и обиды казаков, ходивших через места их прежних заселений, у истоков Ижмы, в Яренском уезде Вологодской губернии, с верхотурскою казной в Москву, заставили их всем населением выбраться на благодарную, хотя и дальнюю местность устья той же реки; что население Ижмы увеличилось впоследствии выходцами из ближней Усть-Цыльмы, значительно населенной и сильной уже в то время своими материальными средствами; к зырянину, выселившемуся сюда из Яренского уезда, из деревни Глотовой, присоседились братья Чупровы из Усть-Цыльмы и с собой распространили право, данное грамотой Грозного Ластке, распространили на эту местность. Собственно же на ижемских зырян выслана была владетельная грамота царями Михаилом и Алексеем (в 1627 и 1649 гг.). Грамоты эти пропали: «Взял чиновник губернатора и увез в Город (Архангельск)». Селились здесь и самоеды, теперь утратившие свою народность и свой родовой тип под влиянием зырянского, который только некоторой смуглостью лица (и ничем другим внешним) отличается от славянского. Здесь пролегала сибирская дорога при царях и Великия и Малыя и Белыя России самодержцах...

Старинные бумаги, уцелевшие в церквах и правлении от пожаров и крайнего невежества хранителей и попавшие в мои руки, говорят тоже немногое: одна повелевала давать только сотнику стрелецкому гребца и не давать того же простым стрельцам города Архангельска, идущим в Пустозерский остров, на том основании, что «они сами под собою грести могут». Второй — указом (7196 г.) царя и великого князя Федора Алексеевича — повелевалось уничтожение тарханных грамот на сальные промыслы в пользу Троицко-Сергиева монастыря, доходы с которых от этого года должны были обращаться уже в государеву казну. Третьей — указом (7205 г.) царя Петра Алексеевича — делалась память голове и целовальникам таможенного и кружечного двора, чтобы они, при недостатке в холмогорском вине, прикупили бы «где пристойно самою малою ценою без передачи». В четвертом свитке (длиной $4^1/_2$ сажени) подробно означаются правила таможенного сбора с проезжающих в Сибирь и обратно из Сибири русских и тамошних купцов (в Ижме была таможенная застава), указывается на некоторые злоупотребления, бывшие при этом деле, и приказывается вести книги. В пятом свитке, самом древнем из имеющихся у меня по времени, содержится указ царя Алексея Михайловича (7186), которым велено было ижемцам везти лес и строить четыре острога для ссыльных в Пустозерск исторических раскольников: протопопа муромского Аввакума, симбирского Ники-

фора, распопы Лазаря и старца Епифания. Из старинных же бумаг, сохранившихся в церковном архиве, более замечательной, сравнительно с другими, можно считать указ (1760 г.) архиепископа холмогорского и важеского Варсонофия, которым приказывалось разыскать попа, провинившегося в том, что он, за пуд трески, покрыл одного раскольника, освободивши его от исповеди и святого причастия. Архиерей приказал обрить ему за это полголовы и послать в Архангельский монастырь на вечную работу, с тем, опять-таки, чтобы по прибытии его на место обрить ему там остальные полголовы и полбороды. Как видно по розыску, священник, испугавшись подобного решения, бежал, и как думают, в топозерские раскольничьи скиты. Вот все сохранившиеся в Ижме старинные бумаги!..

После двух неудачных попыток наконец обратился я к своим собеседникам с вопросом о тундре и, не допытываясь прав их на владение ею, произвел, однако же, заметное волнение. Они заговорили скоро, поминутно искоса взглядывая на меня теми недоверчивыми, подозрительными глазами, какими встречают всякого нежданного и незнакомого человека, явившегося врасплох посреди закулисных, семейных занятий, принявших форму давнишней законности и обыкновенно скрываемых от чужого глаза. Смущается и попавший не вовремя. Так было и с нами. Ижемцы долго еще толковали на своем наречии, которое для меня уже не могло быть непонятным. Смысл его казался уже достаточно подозрительным для того, чтобы, сообразив дело, припомнить преследовавшее меня до тех пор предостережение пустозерского старика, что «тундра у ижемцов давно тяжелым грехом лежит на совести».

Крайне сомнительными показались, на ту пору, и заискивающие ласки, и угощения, и уклончивость в ответах: ижемцы объявились мне не столько хитрыми, по понятиям и предостережениям хорошо знавших их, сколько простодушными и неумелыми до конца устоять в этом, все-таки замечательном, проявлении развитого человека, а не полудикаря, полуоседлого зырянина, каковы проявления хитрости. Собеседники мои говорили немного и вдруг смолкли все, как бы громом пришибенные, как бы выжидая решительного удара с моей стороны, раз уже на веку своем испытавши злоключение подобного рода и, с той поры, привыкши видеть во всяком новом лице своего врага, непримиримого и заклятого. Некоторые оправдывают этим их скрытность, сильное поползновение к обману. Что же до меня, то сцена эта имела наталкивающие, побудительные значение и смысл. Всем, что довелось узнать об этом деле впоследствии, поспешу поделиться с читателями в следующей статье.

Теперь же считаю обязанностью своей досказать об ижемцах все, что привелось узнать в весьма недолговременное пребывание между ними.

Волость Ижемская, значительно разбогатевшая в недавнее время, имевшая еще в начале нынешнего столетия деревянную церковь (и только в одном селе Ижме), теперь имеет там три богатых, каменных и еще четыре села. Во всяком случае, эти обстоятельства, свидетельствуя о достатке крестьян, несомненно указывают таким

богатством на присутствие в характере жителей волости предприимчивости, толковости, находчивости, изворотливости — одним словом, всего, что характеризует коммерческого человека, будь он даже и дальний печорец, удаленный от главных центров русской торговой деятельности. В последние десятилетия видали малицу ижемца и в Москве, и на Нижегородской ярмарке, и в костромском Галиче: является он здесь как представитель оптовой продажи скупленных на родине мехов и там же выделанных звериных шкур и лосин. Не гнушается ижемец и мелочной торговлей в меньших размерах по соседним печорским селениям; они доставляют туда все необходимое в деревенском быту и сбывают это с поразительной честностью и добросовестностью, нанесшими в последние годы значительный ущерб давнишней торговле пермских чердынцев. По всем вероятиям и наглазным приемам, с какими повели дело ижемские зыряне, можно наверное предсказать, что в недолгом времени Печора более не увидит чердынских каюков. Они уже и в последние два года значительно уменьшились в числе и в количестве привозимых ими товаров. Вот что говорят голые факты.

Следивши далее за присущими особенностями в характере ижемца, помимо его скрытности и подозрительности, невольно приходишь к не менее замечательной особенности его. Это — безусловная вера старым преданиям в быту домашнем и общественном и в слепом повиновении их подробностям без оглядки, без дальних размышлений и строгого анализа по требованиям века и по неизбежной встрече и знакомству с жизнью столичной и больших торговых городов. До сих еще пор ижемцы, свято соблюдая, в большей или меньшей степени, затворничество женского пола, не пуская жен и дочерей своих на глаза всякого гостя (кроме крайне почетных), сохранили всю целомудренную чистоту нравов. Сравнительно с соседней Усть-Цыльмой (которая в этом случае значительное подспорье) Ижма, в этом отношении, поразительна во всем Архангельском краю, составляя удивительное, замечательное исключение. Сохраняя от старины некоторые игры и забавы: летом на лугах беганье взапуски, зимой катанье с гор,— ижемцы установили и твердо хранят обычай, позволяющий эти удовольствия девушкам отдельно от молодцов. Только оглашенные женихи имеют еще некоторое право (и то весьма редко) играть публично с невестами. И здесь, сговорившись с девушкой, жених не видит ее до самого дня свадьбы; та оплакивает свою волю и в роковой день является закрытая фатой или платом. В этот плат завертывается ломоть, отрезанный от свадебного благословенного каравая. Ломоть этот съедается потом молодыми до брачного стола, в котором они не имеют права участвовать, ограничиваясь только потчеванием гостей, между которыми всегда дорогой и счастливый тот, который явился в Ижму с чужбины; поэтому всегда стараются высматривать в толпе свадебных зрителей кого-нибудь из устьцылемцев и пустозеров. Зырянка, сделавшись женой, становится с той поры и рабыней: если помощницей ее в трудных черновых работах бывают по большей части самоедки и бедные устьцылемки, то все-таки уход за ребятами поглощает у ней большую часть жизни.

Зыряне, как известно, плодятся изумительно, от достаточной ли жизни или от постоянного почти пребывания отцов в среде семейств — решить это положительным образом нельзя. Но, чтобы нагляднее убедиться в том, стоит только обратить внимание на деревенские улицы в солнечный день и на церкви в большие праздники: все они до половины наполнены ребятишками.

Между другими остатками старины следует обратить внимание на обычай зырян в день Богоявления, после освящения воды, кататься с криком и возможно быстрее на лошадях и оленях кругом селения Ижмы и по улицам его. Этим, как говорят, прогоняют они злого духа, побежденного святым церковным обрядом.

Огородничество у ижемцев, в исключение с прочими печорцами, довольно развито: садят капусту, редьку, репу и лук и часть овощей имеют возможность даже пускать в продажу печорским жителям вплоть до Колвинского погоста. Когда по северной России затевались картофельные бунты — ижемцы съездили за семенами и посадили его в своих огородах и роздали своим родственникам.

Замечательно также то, что в языке зырян недавно явилось слово «грабить», всецело с русского языка, до тех пор не вызывавшее необходимости. Как известно, ижемцы десять лет тому назад не употребляли замков, заменяя их удобно деревянными задвижками, и то исключительно для блудливой рогатой скотины. Теперь и между ними стали появляться воры, по-своему хитрые. Так раз являются к богатому мужику двое из соседей просить чего-то в продажу. Разговорились. Как будто на зло им является другой (не участник дела) просить пимов. Хозяин посылает жену свою поискать на чердаке лишних, и та, вместо пимов, ухватилась за ноги в пимах. Мошенник зарылся там в малицы, надеясь обобрать все в то время, когда его соучастник будет растабарывать с хозяином. Впрочем, в последнее время некоторые попытки злых людей неоднократно венчались успехами. Вообще старожилы жалуются уже на порчу нравов и начавшееся пренебрежение к коренным обычаям: на повсеместно распространившееся, особенно между молодым поколением, куренье табаку, на излишнее употребление вина и водки до буйного, опьянелого состояния, на частое посещение ими усть-цылемских раскольниц. Указывают даже на некоторых из своего женского населения с крайним недовольством и презрением. Все-таки по-прежнему в большие праздники ходят они по родным угощаться чаем и обедом. Тещи потчуют зятьев своих сметаной, намечая в чашке предварительно по три раза крест ложкой. По-старинному, богачи, снабжая деньгами взаймы своих бедных единоплеменников, заговаривают у них честное слово не сказывать о том никому, на том соображении, что бедняк знает богатого и без повестки, с нуждой своей придет к нему. Обвесившись зеркалами и картинами, выкрасивши полы свои краской и обив стены московскими обоями, зыряне все-таки бросают куда ни попало скорлупу орехов и сигарные окурки, предпочитают снять с блюда приглянувшийся жирный кусок прямо пальцами, хотя и давно уже высмотрено ими и приложено к делу употребление ножей и вилок. По-прежнему же, они около Николина дня (6-го декабря) сгоняют

к селению своему оленей, бьют их из ружей, полагая в том потеху и истинное свое наслаждение. По прежнему и истинному обычаю они привязывают к церковной ограде тех оленей, которых жертвуют на увеличение церковного благолепия. Пожертвованные олени, лошади, бараны и телята, при окончании службы, продаются церковным старостой желающим, а вырученные деньги поступают в церковную кружку, или на украшение храма, или на пособие церковникам. Богомольный зырянин всегда готов приставить свечу к домашней иконе, хотя бы и не было особенного побудительного к тому случая, приговаривая: «Авось бог мне и простит какой грех!» — и всегда готов *нарезаться* вином до омертвения сил во всякий праздник, и даже далеко до обедни. Если некоторые в украшении храмов зырянами видят простое тщеславие, оправдываемое только слишком дальней, заискивающей целью, все же в ижемцах, раз навсегда, должно признать положительную честность, патриархально соблюдаемую во всех коммерческих предприятиях. Давши слово, зырянин верен ему до гробовой доски. Этот общий слух основан на множестве повсеместных фактов.

Слепая приверженность к старине, с другой стороны, породила (как и естественно) между зырянами ту простодушную простоту, которая, по народному присловью, хуже воровства и, по общим законам природы, служит на горе и подчас на несчастие самого простодушного простака. Так, зыряне, любя принять и угостить гостя, сами, в свою очередь, сильно любят угощения, полагая в том свое благополучие, и видят уважение к своей личности во всяком поклоне стороннего человека, хотя бы человек этот и делал то преднамеренно, с заискивающей целью. Тут зырянин забывает все стороннее, все свои выгоды и сделки, и чтит гостеприимство как гостеприимство, и забывает (если только не прощает) долг в 6000 руб. асс. (как и сделал один из ижемцев) за то только, что при первом пробуждении его в доме должника были ему готовы лошади, чтобы ехать на завтрак, потом на обед и на вечернее угощение, всегда обильное, сытное и жирное, и готов даже, в простоте сердца, прихвастнуть (вернувшись домой без денег, но с подарками) тем почетом, который получил он от толковых и истинно уже хитрых должников своих. Зато скуп он до крайности и кремнем смотрит на все, что зарыто и заперто в его больших кованых сундуках. Таковы, по крайней мере, ижемские зыряне старого закала! Они умеют бражничать, умеют и копейку зашибать. Одних замшевых заводов у них насчитывается до 30-ти. Никакой статьей произведений печорского края они не брезгуют. Птица, рыба, оленьи шкуры, рога, языки, сало оленье и говяжье, масло коровье, песцы, лисицы, куницы, выдры, моржовая и мамонтовая кость (рога), пух и перья, гагарьи шейки и прочее — все в руках ижемских зырян, этой смеси коренных зырян с людьми русской крови новгородского происхождения. С товаром своим они везде поспевают: и на Никольскую ярмарку в Пинеге, и на Маргаритинскую в Архангельске, и на Евдокиевскую в Шенкурске, в Кострому и Галич, в Москву и Нижний. Неизвестно, что выработает себе и чем заявится новое поколение, но пусть оно будет так же стойко в данном

на честь слове; пусть будет так же изворотливо в коммерческих предприятиях и не гнушается мелочными из них сначала, пусть будет так же патриархально, единодушно и взаимно помогать друг другу; меньше пьет вина, которое положительно гибельно для всякого неразвитого человека, тем более полудикого инородца (самоеды спились окончательно!). Пожелаем, наконец, чтобы меньше обижали они этих самоедов, т. е. совсем перестали выезжать с бочками хлебного вина в тундру.

Впрочем, как известно, громадное большинство зырян не только ижемских, но и всех остальных печорских — коренные, так сказать, природные звероловы, уходящие на промысел даже в зауральские леса с бывалым вожаком и в артелях человек до десяти. Берут в лесах все, что попадется: всякого зверя и птицу; но в барышах насчитывают больше всего белку, или векшу (Sciurus vulgaris), кочующую несметными стаями по сосновым лесам и кедровым рощам. Когда она «течет», т. е. обещает улов, это видят зыряне и по урожаю еловых шишек, и по птице клесту (Loxia curvirostra,— у ней скрещенный клюв). Эта птица — вожак беличьих артелей, а потому, как только она появится, зырянские артели спешат выбрать своего вожака и также идут в сосновые леса месяца на три. Вожака за почет не обременяют никакой поклажей: всю ее раскладывают по артельным нартам. В них: сухари, сушеные пироги с крупой, мука, крупа, сало, а главное — порох, свинец и запасные ружья,— всего на каждого пудов до 12-ти. На лыжах и ламбах везут они на себе длинные легкие нарты по крутым спускам гор, по глубоким сугробам. Для того на них зипуны немного ниже колен с меховыми рукавами и рукавицами и старые рваные малицы на тот случай, когда придется переменить белье из той пары, которая взята с собой. Привалы делаются дня через два или три, а здесь и еда: для себя — любимые блины на сале и сушеные пироги, истертые в кашу, которая зовется «рогожой» (да такова и с виду), для собак — беличье мясо. С удачного промысла иной приносит до 500 беличьих шкурок, а хороший стрелок, при счастье, убьет в один день до 20 штук.

— Утром (говорят они), как выйдешь, ин — ничего, холодновато. Ну, а как завидел белку, одну да другую,— начнешь поскорее ходить, и станет жарко, как в огне.

По кряжам, т. е. по сортам, ценятся в торговле беличьи шкурки, и «дошлая» (хорошо выцветшая) белка «зырянка» полагается в лучших сортах и покупается кармолами на Пинежской и Краснослободской ярмарках подороже прочих сортов. В «зырянках» пушистый хвост белки опытных стрелков не обманывает. К сожалению, только необходимо сказать, что, за истреблением лесов, и там начали старики опускать головы и поговаривать: «Где куница жила, там теперь и белки не найдешь».

III

ТУНДРА

Физический вид ее и нравственное значение по отношению к промыслам.— Веретеи.— Горностаи.— Куница.— Песцы.— Зайцы.— Орудия ловли лесного зверя: черканы, ставки, приводы.— Пеструшка-мышь.— Дикие олени и олени домашние.

Начинаясь у прибрежных песков реки Мезени и в дряблых, но еще высоких и густых кустарниках, обрамляющих лесистые берега этой реки повыше города Мезени, тундра *, названная по имени этих реки и города, бесприветной пустыней тянется до берегов дальней Печоры. С лишком тысяча верст легла на этом безлюдье, и пятьсот верст прошли от тех мест, где начинается безграничная равнина Ледовитого моря, закованного в гранитные берега, до тех дремучих лесов, которыми обросли южные половины уездов Мезенского и Пинежского и которые известны под именем *Тайбол* — нижней и верхней. Начинаясь на севере голым морским гранитом, тундра потянулась к югу огромным болотом, со всеми его характеристическими особенностями: почти сплошным зыбуном, местами ржавым из избытка железных руд, местами белым от огромного количества растущего на нем ягеля (белого оленьего моху). Кое-где мелькают по зыбуну этому те *чернеины* — по-туземному, те водные источники — попросту, которые всегда любят обставлять себя (по общим законам природы) целыми рощами деревьев, хотя бы даже и скудными, и приземистыми, как на этот раз. Реки эти, речонки, ручьи, огромные озера и простые *калтусы* (болота, покрытые сверху водой) образовались преимущественно на тех местах, где тундра — эта черная грязь, наполовину с песком и сгнившими корнями водорослей, насквозь прохваченная обильной влагой,— не могла держать в себе воду, а тем более произращать на поверхности своей что-нибудь живое и прозябающее. Там, где влажная тундра как бы истощается в своих силах и перестает обильно выделять из себя воду, являются кочки, как бы остатки старых древесных пней, на значительном простран-

* Мезенская тундра называется *Канинскою* на Канином полуострове, *Тиманской* между Чешской губой и Печорой и *Большеземельской* между Печорой и Уральским Камнем. Там, где болот нет и являются моховые пастбища, тундра называется уже *лаптой* или *гладью*. Таковы в Тиманской тундре: Малая земля и Морская лапта, в Большеземельской: Воронова гладь и Колвинская лапта.

стве, по летам вплотную почти усыпанном кустами сочной и крупной морошки, водянистой вороницы и только в южных частях тундры — малиной. Кочки эти — *веретеи* — единственные почти сухие места по всей тундре, еще способные держать ногу человека и волка, хотя тоже не имеют в себе настолько питательных соков, чтобы произращать что-нибудь красивее и выше *сланки* — этого уродливого, коленчатого, вьющегося плющом можжевельника, в $^1/_4$ аршина вышиной. На всем этом пустынном пространстве право исключительного господства и жизни принадлежит только волку, да оленю, да мелким лесным зверям. Человек здесь временный гость, и то по зимам.

Летом, когда от жарких солнечных лучей отойдет тундра, растаяв на $^3/_4$ аршина в глубину, и покроется даже кое-где зеленью, являются целые облака комаров и оводов, преимущественно там, где сверкает на солнце зелень и где нет вблизи прохлады, выделяемой глубокими озерами и прозрачными реками тундры. С приближением мрачной, богатой густыми туманами осени все это исчезает без следа. Верхний слой тундряных болот, оттаявший в летние месяцы, начинает застывать и в конце января становится сплошной ледяной массой, способной держать на поверхности своей глубокие, ослепительной белизны, снега. Одни только самые жидкие и самые зыбкие болота не замерзают во всю зиму, продолжая выделять обильные пары сероводородного газа. И таких много по тундре. Вся она с января уже скована в одну плотную ледяную массу, представляя такую же огромную равнину, как летом, но на этот раз снежную и, стало быть, еще более бесприветную, более мертвенную, хотя и значительно чаще посещаемую человеком. Правда, что (почти через всю зиму) в редкую неделю не беспокоят снега тундры сильные погоды разного рода: *падь* — пушной, крупный, хлопьями снег, застилающий свет божий; *поносуха* — когда один только ветер распоряжается уже наметанной падью, готовым снегом, перенося его огромными охапками с одного места на другое и с этого на третье, четвертое и т. д.; *хивус* — исключительная особенность полярных и приморских стран — та же обильная падь, но при сильных ветрах и *заметелях*, когда валит снег сверху и несет его с боков и снизу; *рянда* — тот же густой снег, но падающий при теплой погоде в мокром состоянии; *чидеги* — весьма мелкие, но частые дожди при густом тумане и преимущественно при горных ветрах, и т. д. Зато в другое время, когда не поднимается этих погод и страшные, полярные холода затягиваются надолго, стоят неделю, другую и больше, не возмущаемые ветрами,— в северной стороне неба играют красивые светлые *сполохи* (северные сияния). При свете их и луны, почти полмесяца гуляющей по звездному небу, творится иная жизнь, своеобразная, но полная интереса и практического значения для временных посетителей тундры. Это время особенно дорого и для самоеда, из веков хозяина тундры, и для русских, недавних выселенцев на те места ее, где прошла рыбная река своим устьем и где встречается гранит, к которому прицепляет мезенец свою утлую избенку.

В это время, и особенно в начале зимы, начинается периодическое переселение лесного зверя, как говорят, из стран заураль-

ских и значительное передвижение тех лесных зверей («горных» по-туземному названию), которые выбрали себе тундру местом постоянного пребывания. Огромными вереницами в тесных рядах бегут, под предводительством своего королька, горностаи (Mustella erminea) — эти своего рода по кровожадности крысы, превратившиеся из бурого летнего в поразительно белого и уродливо длинного зверка, с черным, мягкопушистым хвостиком. В различных, бесконечно прихотливых изгибах и полосах по снежной тундре намечают они следы своими круглыми лапками, заостренными крошечными пятью ноготками. Бегут они, серебрясь на солнышке шкурками, в прямом направлении на север, где предполагают найти себе любимую свою мясную и рыбную пищу в остатках от трапезы блудливого волка, жадной лисицы и зловещего ворона. Обезнадеженные скудностью пищи в придорожных местах Большеземельской тундры, горностаи разбивают огромную массу свою: по Мезенской тундре они уже рассыпаются отдельными небольшими отрядами и все-таки бегут под предводительством одного вожака, опытного и наделенного от природы большим инстинктом. Посчастливит им судьба — они, с первыми признаками весны, поспешат возвратиться опять на старые места; изменят вожаку его инстинкт и опытность — они делаются добычей *пастей.* Всегда голодные, всегда бегающие по тундре для приискания пищи, горностаи охотно хватают всякий кусочек рыбы и мяса, хоть бы кусочки эти и были приманкой, положенной на *насторожку* (дощечку) *кулемки* (особого снаряда с таким механизмом, что насторожка соединяется с другой дощечкой — гнетом). Наступит вожак на насторожку, чтобы достать кусочек, верхний гнет опускается и тяжестью своей придавливает головку зверка. Все другие из ватаги горностаев, без предводителя, некоторое время бегут кучей и потом рассыпаются в одиночку, когда уже легче гибнут они или от тех же кулемок, которых такое несметное количество привязано к лесинкам по всем тундрам (и собственно Мезенской, и Тиманской, и Канинской), или делаются добычей кровожадной лисицы.

Одновременно с горностаями является в тундре и редкая гостья — куница (Mustella martes, лесная желтодушка, лучший сорт). Вырывая себе нору, зверек лежит там, *уркает* (говоря местным выражением) и как будто выжидает чуткой собаки, которая указала бы хозяину это место. Приходит зверопромышленник, сгребает снег с указанного собакой места, прислушивается к урканью и затем начинает стучать, выпугивать зверя из норы. Куница выскакивает, но немедленно же попадает в сети, заранее расставленные кругом роковой норы ее. Не то бывает с песцами — аборигенами тундры, в огромном количестве населяющими ее и составляющими главный предмет звериных промыслов.

Песец (*псец* по-туземному выговору), как бы выродившаяся собака (Canis lagopus), ледовитая лиса, с сиповатым, густым голосом, похож на лисицу: с таким же пушистым хвостом, но с более тупым рылом и с меньшими и кругловатыми ушами, чем у последней. Вырывая себе норы со множеством выходов, песцы, называемые

«вешняками», в апреле уходят туда щениться и теряют в это время всю свою белую шерсть. Щенки их, называемые «копанцами», в апреле «норниками», потом в июне подрастают, хотя еще отец и мать их остаются по-прежнему безобразно голыми. В августе являются и отец, и мать, и сами щенки-норники уже «крестоватиками» — с серой спиной, пересеченной крестообразно серыми же полосами на загривке, идущими под лопатки. В октябре, на короткое время, крестоватики превращаются в *голубцов-чалков* одноцветно серых (дымчатых); затем в ноябре называются *недопесок впробель,* и только около Николина дня (в декабре месяце) являются они настоящими песцами *(рослопесцами)* с совершенно уже белой шерстью на всю зиму. До того песец все еще был «недопесок», не дошлый, не поспелый, «недолис». Голубые песцы вообще редкость в природе и потому особенно дороги; в Мезенской тундре они не попадаются, а живут почти исключительно на Новой Земле, равно как и на Колгуеве; относятся и белые песцы на льдах, на которые они набегают. Голубые песцы подвержены тем же изменениям в шерсти, с той только разницей, что они голубеют по всем частям тела, когда спина еще остается серой. Академик Лепехин, разбирая сходство песца с лисицей, говорит, между прочим, следующее: «Я держал песца с лисицами в одном амбаре; лисицы между собой вязалися; напротив того, с песцом никакого союза приметить не мог».

Сверкая на солнышке белой шерсткой и резко отливая ее от окрестного снега, бойко бежит песец за добычей один, редко вдвоем: пушистый хвост его заметает след. На всем пути не попалось ему ни одной кулемки, ни одной западни: видно, добежать ему до озера и вытащить оттуда рыбу на лапке. Видно, и опять ему придется бежать тем же путем не один раз вперед и обратно. Поднявши голову, песец продолжает бежать все вперед. Повертывая по временам головой и обнюхивая окрестный воздух, зверек настораживает круглые свои уши, дрожит весь и вдруг припадает к снегу. Видно, донесла струя воздуха до чуткого носа его незнакомый, враждебный запах человека. Зоркие глаза его тоже не обманывают: из лесу показался мезенец верхом на лошади и с ружьем. Зверек не верит близости несчастья, не возвращается назад, а, приподнявшись, продолжает бежать прежним путем все вперед, по-прежнему сверкая на солнышке серебристой, соблазнительной шкуркой. Человек между тем, зная обычаи зверка, старается его *облукавить:* всякий раз, когда бегущий зверек оглянется, он повертывает лошадь в сторону и как будто едет мимо. Зверек простодушно верит человеку, начинает бежать заметно тише, как бы старается отдохнуть, и наконец совсем припадает на снег и не встает во все время, пока враг его делает на лошади круги все больше и больше, все ближе и ближе, на расстоянии ружейного выстрела. Песец продолжает сидеть на одном месте, зорко выслеживая за кругами лошади, не сводя своих черненьких глаз с рокового места, и наконец окончательно прикурнет головкой в снег, закроет мордочку своими лапками, когда заприметит ружейное дуло: как будто потерявшись окончательно в надеждах, он не находит иного спасения и другого исходу. Пуля, пускаемая всегда верной

и опытной рукой, попадает прямо в голову и подкидывает зверка в предсмертных судорогах на месте и перебрасывает с одной стороны на другую. Неподвижно распускается тогда его пушистый хвост по снегу, обагренному теплой красной кровью.

Здесь песец в явной и почти равной борьбе с человеком, который, в то же время, живится на его счет и другими путями, по большей части в тех случаях, когда зверь еще не вытравлен из норы. Обыкновенно, услышавши то же урканье, приставляют к норке капканы — железные западни, в которых зверь ломает лапу, но уже не вытаскивает ее назад; также ставятся *черканы* — доска с дырой, в которую мог бы пролезть песец; по бокам дыры — *захабы* (планки), сделанные для того, чтобы в них входила лопатка. К лопатке этой приделывается тетива от *креневого* (деревянного) лука, помещаемого обыкновенно внизу доски или собственно черкана. Зверь, выходя из норы, обыкновенно должен просунуть голову в отверстие черкана и в то же время наступает на лук, который спускает тетиву, а затем и прикрепленную к нему лопатку на отверстие: таким образом лопатка эта придавливает шею, середину туловища, зад зверя. Черканы теперь оставляют, заменяя их по большей части капканами, на том основании, как говорят поморы, «что иные-де черканы по неделе живут, а зверь лукавит, не лезет: хитер стал, хоть и смел от природы». Раз облукавленный и уцелевший, зверь охоч поддаваться ловушкам. В черканах песцам сжимается голова или схватывается середина туловища. Наконец ставят *кулемки* — бревно на двух кольях, падающее и давящее, с той разницей, что песцовые делаются ящиком, чтобы сохранить попавшегося зверя от его же собрата-песца, который может прийти сюда и съесть несчастного без дальних опасений.

Зайцев, которых так много по тундре, ловят обыкновенно на петлю, сделанную из белых тонких, но крепких ниток. Петлю эту вешают на приподнятый очап и наставляют его на тропе, которую прокладывают зайцы. Днем зверь убегает назад при виде петли, зато ночью всегда попадает в нее. При этом очап поднимается вместе с зайцем и таким образом давит его до смерти. Случается, конечно, нередко, что иные зайцы срываются и убегают вместе с гнилой петлей.

Теми же снарядами, как песцов, ловят и лисиц (Canis vulpes, она же и «хвостунья»), которые тоже выкапывают себе норы и с той же целью, чтобы кидать там щенят. Лисица мечет их обыкновенно слепыми и уходит из норы за пищей, оставляя щенят своих на произвол судьбы. Большей частью удел их таков: поздней весной отыскивают эти норы промышленники по чутью собак или по личным приметам; нору разламывают шестами или, затыкая палками все отверстия ее, выкуривают потом дымом сначала самок-матерей и крючьями уже вытаскивают потом самых щенят, лисьих или песцовых. Способ выкуривания особенно вреден потому, как известно, что ни песец, ни лисица в окуренную нору раньше десяти лет не вернутся,— обстоятельство, заставляющее их уходить дальше из Мезенской тундры.

Вытащенным щенятам (иногда штук по 12 из одной норы) надламывают одну ногу и воспитывают их потом в избах, сначала на

молоке, потом на кусках оленьего мяса или рыбы. Нередко они околевают от чаду и духоты, нередко перегрызают друг другу горло, чтобы освободиться из плена, нередко убегают, и с переломленной ногой, в лес, улучив первый благоприятствующий случай. Большей частью доживают они до той поры, когда хозяину придет пора пустить их в дело (обыкновенно в октябре). Тогда строго наблюдавший за ними до той поры хозяин обыкновенно наступает ногой на сердце каждой лисицы поочередно и имеет затем непопорченную мягкую *пушнину*, которую легко может сбыть за хорошую цену на Пинежской ярмарке галицким купцам. Любя в полдень лежать в норе, лисица охотница бегать по снегу в лунную ночь и тогда обыкновенно выслеживается охотниками на лыжах. Мягок еще оставленный зверем след — он недалеко: пробираясь от лесинки к лесинке, осторожно ступая, лисица не любит бегать скоро, особенно если и охотник *у ней под ветром*, т. е. не доносится до ее чутья его вражий запах. Лисица тогда подпускает охотника к себе на ружейный выстрел. В некоторых случаях охотники прибегают к хитрости: они пищат по-мышиному, легко ворочают зверя назад и таким образом заманивают его на верную погибель.

Не избегающая от ружейного выстрела, изредка попадающаяся в капкан, лисица трудно дается и на отраву, и на *ставки*. *Ставка* — огромное полено, в которое врезываются два ствола ружейных (дулами врозь) таким образом, что имеют один кремневый курок. Курок этот при насторожке приподнимается и слегка удерживается на пружинке, к которой привязана веревочка. Малейшее поддергивание веревочки спускает курок. К веревочке этой, проведенной на сторону, против дул, иногда сажен на 5 длиной, привязывают наживку: кусочек сала, мяса и проч., обыкновенно на оленьей косточке. Ставка эта зарывается в снег; дула от сырости накрываются тряпкой. Зверь хватает наживку, дергает веревочку и, спустивши курок, таким образом сам вонзает в себя пулю из которого-нибудь дула (в медведя и волка попадают обе). Не всякий зверь пропадает от ставки, как уверяли меня многие, особенно хитрит в этом плутоватая лисица: она часто оберет все разбросанные кусочки, которыми замаскировывают главный кусок наживки, и ни в каком случае до нее не дотронется. Часто находят курок спущенным, оба дула без зарядов, но не видят убитого зверя. И тут плутни лисицы: она выгребет осторожно глубокую яму подле наживки, ложится в яму возможно уютнее, срывает лапкой роковой кусок и стреляет из ставки поверх себя, на ветер. Но охотник и это предусмотрел, и в этом случае является победителем: он кругом наживки разматывает и привязывает к ней под снегом сетки, какие плетут для птиц куроптелей. Лисица путается в них и делается уже добычей с цельной шкурой. Известна также хитрость лисицы в этом случае, когда она прячет, замаскировывает свои следы следами, заранее проложенными зайцем, как уже окончательно безопасными. Но и здесь зверолов не дается в обман: он осторожно и терпеливо поднимает снег, подкладывает туда капкан и немилосердно сердится и бранится потом, если в капкан этот попадается не лисица, а другой заяц. На ставку также охотно

идет и бестолковая росомаха, но ее, как и белок, стреляют больше из пищалей и дробовок. Все эти способы исключительно пригодны для одних волков. Медведь гнушается и не признает ни одной из ловушек: с легкостью щепы ломает он все кулемки, капканы, ставки, черканы,— идет только на ружье — на очную, благородную ставку и на не всегда верную погибель. Волк — из веков хищный, вечно голодный, вечно бродящий попарно и в стаях, всегда хитрый и предусмотрительный, с неизбежным своим раздирающим душу воем, всегдашний неприятель смирных и беззащитных — и здесь, в тундре, является врагом и ненавистным страшилищем для оленей. Стада волков этих вырезают иногда довольно значительные косяки в оленьих стадах, иногда истребляя за одну ночь все достояние какого-нибудь бедняка-самоеда. Носясь по тундре широкими прыжками (большей частью в небольших стаях), волки нападают на оленя сзади, прогрызают ему горло и потом съедают его всего, оставляя одни только кости. Не находя оленей по пути или напуганный выстрелами бдительного сторожа их, самоеда, волк охотно хватает отраву.

Отрава, или, по-туземному, *привада,* состоит обыкновенно из сулемы или цилибухи, растертой на терпуге. Цилибуха смешивается с оленьим мясом, нарубленным кусками, или с кусками ворванного сала, с целью отшибить характеристический запах растения. При намазывании приманки соблюдают непременным условием то, чтобы она была покрыта именно тем веществом, которое любят звери в тот год. По понятию и приметам звероловов, тундряные звери в один год предпочитают ворвань, в другой любят рыбу, в третий — мясо, падаль и т. д. Замечают также, что отрава из цилибухи исключительно действует только на тех животных, которые родятся слепыми. Приманка в форме колобков (счетом штук до сорока) складывается в оленью брюшину и, завязанная оленьими же жилами и замороженная, зарывается в снег где-нибудь у кустарника, к которому отраву эту и привязывают веревкой. При этом замечают, что за отраву хватаются большей частью молодые волки и околевают потом не дальше ста сажен от рокового места. Старые волки не только не едят ее, но даже предостерегают и молодых, почасту ложась на то место (хитрая лисица объедает отраву эту только сверху и тотчас же отбегает, помахивая головой и фыркая). Зато старые волки делаются добычей другой приманки — сулемы, обернутой обыкновенно в воск, которому дают, по старому обыкновению, форму бочоночка и который намазывают по поверхности кровью, ворванным салом, опять-таки для того же, чтобы удалить недавнее присутствие человеческой руки на этом месте. Иногда — и то самые смелые из охотников — прибегают к более простому средству истребления волков. Выбравши то время, когда ветер несет к лесу, промышленники бросают эти привады (обыкновенно в этом случае падаль) около своих избенок-караулок и с заряженными ружьями ждут появления зверей. Сначала являются лисицы: эти едят и дерутся, перехватывая друг у друга куски из лап и даже прямо из зубов. Немедленно приходят волки: эти едят жадно, но едят дружелюбнее лисиц. Иногда на подобного

рода приманку приходит столько зверей, что количество убитых в один вечер награждает охотников за половину зимнего промысла, требующего, во всяком случае, огромного терпения, не без крайнего, конечно, умения и ловкой предусмотрительности. Любой из тундряных зверей нелегко дается в руки: тот же волк, который любит *жировать* (жить) в норе, как песцы, лисицы и куницы, строго блюдет за своей норой и ни за что не заявит этого места врагу-человеку. Если оленье стадо случайно подойдет к его берлоге, волк не спрячется в нее, а спокойно отойдет в сторону, и уйдет, пожалуй, далеко оттуда к другому стаду, и там начнет промышлять все-таки для того же, чтобы не узнали норы его.

В некоторые годы все эти звери — горностаи, песцы, лисицы и даже волки — *текут за пестрой и белой мышью-пеструшкой.* Эти серовато-желтые с пятнами животные отличаются от мышей-полевок длинными когтями и короткими формами, круглой головой, расщепленным до носа рылом, скрытыми в густой шерсти ушами. Маленькие глаза смотрят пронзительно и злобно: им, как жертвам, нужна осторожность и уменье высмотреть прилежащие пути, хотя бы они и ходили громадными толпами, которые при движении мышей этих кажутся беспредельными. Тогда все нипочем: ни озера, ни реки (пловцы они замечательные), ни горы, ни пропасти (акробаты они цепкие), — безбоязненно проходят они и селениями, и городами, равнодушно подставляя жертвы и под лошадиные копыта, и на клюв хищной птицы, и на крепкие зубы куниц и лисиц. Внезапно появляются опустошительные набеги этой самой плодовитой и самой вредной из мышей, и так же внезапно же исчезают. Тундра архангельская на время пустеет, и постоянные ее пушные жители начинают голодать, до новых переселений. Переселения эти, случающиеся обыкновенно раз в четыре года и всегда всем почти количеством наличного зверя, опустошают, однако, тундру на время. Через два-три месяца она снова наполняется вновь прибегающими зверями, а нередко и старыми, вернувшимися, и снова манит звероловов на промысел и на верный и богатый барыш.

Когда-то по тундре водились огромные стада диких оленей, наделенных от природы способностью никогда не делаться ручными и домашними и отличающихся от последних только более быстрым бегом и прирожденной ненавистью к ним. Теперь большая часть стад диких оленей ушла в самые глухие, безлюдные места, каковы окрестности северной оконечности Уральского Камня, даль Канинского полуострова, острова Вайгач, Колгуев и Новая Земля. Там они уже безопасно могут прыгать по девственным гранитным скалам, не боясь, что самоед пришлет к их дикому стаду, как бывало, домашнего оленя с напутанными на рога петлями и веревками, с которым бы им привелось драться, запутаться рогами в веревках и, стало быть, поддаться хитрости и погибнуть. Теперь тундра сделалась почти исключительным, необходимым и единственным в то же время местом жительства для домашних оленей, большая часть стад которых принадлежит ижемским зырянам, потом жителям Пустозерской

волости, мезенцам, меньшая — устьцылемцам и самая малая, сравнительно ничтожная,— самим самоедам (имеющим, впрочем, вековечные права на исключительное обладание тундрой).

Бесполезная по виду и ничтожная сама по себе, растительность тундряных болот — ягель, или, проще,— белый олений мох (Lichen rangiferinus) один и исключительно обусловливает всю важность значения тундры для этих небольших животных, с тонкими, короткими ногами, с хвостом, находящимся в зачаточном состоянии, с ветвистыми рогами,— именно этих красивых оленей, которых причисляют обыкновенно к породе лапландских. Ни одно животное, как давно и положительно известно, не приносит столько существенной пользы и не служит большим подспорьем в жизни северных людей, как это, и ни одно, в то же время, не нуждается настолько мало в личных услугах и уходе за ним человека, как олень самоедской и лапландской тундры (Cervus tarandus). Олени представляют одну из самых прекрасных пород не только между жвачными, но и вообще между млекопитающими: в них стройные формы соединены с силой. Тонкие ноги жилисты и приспособлены к продолжительному бегу и к добыванию пищи из-под оледенелого снега. Туловище обладает превосходными качествами для упряжи. Это приземистое тело, укрепленное на коренастых ногах, уподобляет оленя верблюду полярных стран. Не замечательный ростом и легкостью форм, этот верблюд арктических стран так же быстро бегает по снегу, как тот по пескам, щелкая звучно при каждом шаге широкими копытами, которые раздвигаются. Темная густая шерсть на шее, образующая гриву, характеризует его как обитателя снежных и морозных стран. Звучной побежкой рысцой бежит он по снежным равнинам тундры, как молния мчится по крутым склонам: быстрота его вообще изумительна, но он скоро устает.

Человеку он не обязан положительно ничем: так же свободно и на вольном просторе родится он, через 40 недель по зачатии, теленком, где-нибудь на лесной окраине, когда весенний снег начнет таять, и так же с первых же недель по рождении (обыкновенно на четвертой), вместе с молоком матери, становится необходимым для него лакомый мох — ягель. Три, впрочем, первых дня новорожденный неповоротлив, но через неделю уже так быстр на бегу, что поймать его невозможно. Мать всегда при нем и криком, топаньем передними ногами предупреждает его о близости врага; ее «пыжик» тотчас припадает к траве или заваливается за высокие тундряные кочки. Родись теленок раньше весны, ему не прошибить молодым и еще несильным копытом того толстого слоя льда, который хранит под собой этот мох; но природа идет за него: тающий снег оголяет мхи, и олень-*теленок* легко через лето делается *пыжиком;* через полгода — *неблюем;* потом, через год,— *хорой,* если он самец, и *сырицвй,* если самка. Отелившаяся, в свою очередь, сырица начинает быть *важенкой,* а самец-хора — *лоншаком* (от лонской, прошлогодний, т. е. перегодовалый). Так же точно, как кладеной лоншак зовется после того *быком* и употребляется для езды, важенка, лишенная от природы способности телиться, зовется *хапторка* и *яловая,* если она

и рожала, да год после того *не обходится* *. Летом (в июне и июле) взрослые олени обыкновенно линяют и делаются к осени или серыми, или белыми, или коричневыми. В августе они скоблят свои рога, в октябре их сшибают и остаются комолыми во всю зиму до весны, когда опять нарастают рога, в виде сосудистого нароста, покрытого множеством бородавок, который потом припухает и вздувается, вследствие отложения внутри костяного начала, выходящего в виде рогов, покрытых кожицей, нежной, очень раздражительной и наполненной кровью. (Сосудистый нарост этот некоторые считают тонким гастрономическим кушаньем.) Олень скучает во все это время: укрывается в тени и влаге, поникает головой, боясь ежеминутно разбередить свои новые рога. Через девять недель по рождении рога молодого оленя окончательно готовы, кожица остается еще на них, но обтирается потом животными о деревья. Рога эти у молодых бывают белые, у оленей среднего возраста — бурые, а у стариков — совершенно черные; на третий год у оленя на рогах шесть концов, на четвертый — восемь (по четыре на каждом), на пятый десять и т. д.

Робкие по виду, терпеливые до последней степени, олени, сильно свыкшиеся с холодами полярной страны, в короткое лето, на три только месяца посещающее тундру, терпят муки, равняющиеся трем годам возможных для них страданий: будь эта поездка аргишем с кладью, с седоками, долгие ожидания хозяев где-нибудь у дверей сельского кабака, без пищи иногда по целым суткам; будь это, наконец, даже зимние пурги, силой своей сшибающие оленей с ног и слепящие им глаза,— все это ничего перед теми страданиями, которые испытывают олени по летам. Мириады комаров, покрывающих в то время тундру, оводы особой породы (Oestrus tarandi), проедающие кожу животного и оставляющие под ней свои яички, которые превращаются потом и там же в насекомое, заставляют оленей с храпом бегать кругами, до истощения сил, или спасаться в ближних реках или озерах, которые они легко переплывают. Олень заходит туда по самую шею и стоит тут иногда по целым суткам, и это единственное спасение их. Человеку-хозяину опять-таки решительно нет никакого дела до того: пусть ноют и гноятся у оленей копыта после гололедицы,— бьет в голову, когда она, после вымочивших ее дождей, замерзает от мгновенно закрутившихся холодов; пусть прибегают и режут оленьи стада медведи и волки,— человек-сторож покрутит головой, опять пересчитает стадо, опять недосчитается, но помочь ни в том, ни в другом случае не может. С этими обоими врагами олень старается расправиться сам. Медведя он бодает рогами, волка бьет копытом так, что тот падает оглушенным; но совершенно бессилен с оводом. Этот кладет на спину яйцо, из которого выползает личинка, внедряющаяся в шкуру. Здесь олень питает ее, претерпевая ужасные муки затем, чтобы на свою же голову воспитать куколку, из которой снова вылетает молодой враг на все будущее лето. Здесь для него человек не только бесполезен,

* Уродливость рождения теленка от теленка называется *неудый.*

но и совершенно бессилен. Виноват он в другом: не выдумал мер устранять ту повсеместную распространенность повальных болезней всякого рода, и особенно сибирской язвы, которая, проходя из конца в конец тундры, словно вихрем валит с ног все стада оленьи и уже не поднимает их вовеки. Целыми десятками лет приготовляется потом новое население для тундры, через пятнадцать лет достигающее только половинного количества против прежнего, несмотря на то, что олени замечательно плодовиты. Когда-то богачом между хозяевами оленьих стад считался тот, у которого было 6, 5, 4 тысячи оленей,— теперь, после последнего сильного падежа, самый богатый ижемец имеет их только 2000 и самый бедный самоед-оленевод — только 10 штук, имев прежде до 80 штук. Каждый битый олень, со шкурой и мясом, в продаже круглым счетом стоил до 6 руб. сер. Промышленные ижемцы продают отдельно: вкусные жирные языки (по 20 коп. сер. пара), рога (по 30 коп. пуд), сало в нетопленом виде (по 2 руб. 50 коп. пуд), постели — шкуры животного, замшей, в выделанном виде (от 1 руб. 50 коп. до 2 руб. 20 коп. за штуку) и.в сыром виде (по 25—40 коп. за шкуру), *камусину* — шкуру с ног, идущую на рукавицы, продают также особо, равно как шерсть оленью, выстриженную в пушном состоянии, и мясо в мерзлом виде (от 75—80 коп. за пуд). Мягкие шкурки пыжиков идут на шапки, шестимесячных неблюев на малицы (и это самые прочные и потому дорогие — до 15 руб. сер. штука). Малицы же из постелей взрослых оленей от 3 руб. сер. не восходят свыше 10 руб. за штуку (та же цена и совикам).

С судьбами этих животных, как известно, издавна уже тесными и неразрывными связями соединена судьба целого племени, теперь значительно уменьшившегося в численности своей, но все еще младенчествующего в патриархальной грубости нравов, это —

САМОЕДЫ

При этом имени, как живая, перед глазами восстает теперь в моем воображении жалкая фигура приземистого, низенького самоедина, с лицом, обезображенным оспой и украшенным снизу реденькой бороденкой, плохо выросшей, сверху черными волосами, торчащими копной. При входе в дверь моей комнаты он обеими руками быстро схватил с головы своей шапку-пыжицу с длинными ушами, разукрашенными по местам разноцветными сукнами, и повалился в ноги. Тяжело приподнявшись, он промычал, искоса взглядывая на меня:

— Чум ехать, ну!..

Он махнул при этом правой рукой с шапкой в сторону окна, уставившись потом глазами в землю.

Это был мой проводник, присланный самоедским старшиной,— истинный тип, годный для фотографии как лучший образчик самоедского облика.

— Водки хочешь? — спросил я его.

— Ладно!

Самоед при этом слове, покрутивши плечами и засучив рукава, сделал три шага вперед.

Он выпил. Я предложил ему закусить тарелку с семгой, но самоедин презрительно махнул рукой, отвернулся и обтерся потом подолом своей малицы. Чтобы не заставить его дожидаться меня на морозе, крепко закрутившем в то утро, я предложил ему первую попавшуюся под руку сигару. Самоедин, откусивши порядочный кусок, спрятал его за щеку, а остальную половину сигары утащил в рукав. Я остановил его советом:

— Курить это надо. Не ешь — скверно!

— Сожру, хорош... порато.

— Едят ведь, едят, ваше благородье! Ты его не замай! — объяснял откуда ни взявшийся хозяин, который покровительственно похлопал самоеда при этих словах по голове и потом продолжал:

— Им этот табак пуще водки. Привозим же мы им в чумы-то дергачу этого; за ручную горсть песца отдают.

— Ты смотри, Васька, надевай шапку-то,— сегодня шибко холодно: за язык хватает!..

Замечание это относилось к самоеду, и ко мне другое:

— Завсегда без шапки, какой ни жги их мороз, разве уж когда ветром крепко шибать станет, надевают ее.

— Крестивой ты? — спросил я самоеда.

Вместо ответа самоед запустил руку под малицу и с большим трудом просунул из-под бороденки и воротника малицы медный надломленный крест. Словесный ответ за него держал опять-таки хозяин, все с тем же покровительственным тоном:

— Крестивые они, все крестивые: любого спроси — крест покажет, а чтобы эта вера...

Хозяин, не кончив речи и покрутив головой, обратился к самоедину:

— Ты, Васька, ступай к оленям: не запутались бы. Начальник сейчас выйдет!

— Веры этой нет у них,— продолжал он вполголоса после того, как самоед захлопнул за собой дверь,— вон ихний бачко, пожалуй, сказывает, что на Колгуеве-де двадцать семей окрестил, а что проку? Окрестить самоеда легко. В церкву они не заглядывают, а и пригонят которого — на пол ляжет. Детей крестят молочников, а гляди, лет в десять, а то и позднее; жену берут зря, что полюбовницу, и никаких таких обрядов при этом не делают, и про законы около этого дела не слыхать. Заплатит жених за жену, что спросит отец, оленями ли, песцами ли алибо деньгами, да и живет, бога не ведая. И если возьмет он одну жену, тем не довольствуется: гляди, другую присмотрел и ту к себе тянет. Иньки-то, известно, дерутся же промежду собой: одна, значит, над другой старшо́й хочет быть, а ему ничего! — не его дело. Вера их — известная вера: обшарь-ко его хорошенько, запусти ему руки за пазуху, так вот — не стоять мне на этом месте! — божка, чурочку такую деревянненькую, безотменно вытащишь. Он и сечет его, коли что не по желанию его сделается;

он ему и кусочек оленьего мяса в рыло тычет, коли что благополучно сойдет; а нет, так и бросит, другого сделает, с другим уж водится. Спросишь: крестивой, мол, ты? «Крестивой!» — скажет, а божок в кармане.

Какую ты веру от них захотел, когда вон они песцов едят? Поезжай — сам увидишь!

Мы отправились. Опять снежные поляны раскинулись со всех сторон; скакали впереди саночек наших олешки, понурив головки; олелелькал на них проводник, и приходилось мне прятать свое лицо под совик, поворачиваясь спиной к северу, откуда тянуло невыносимым морозом, при полном безветрии. Совик скользил по малице, и малица — по пимам, оставляя колени неизбежному влиянию мороза. Дали мы первый маленький дох оленям и в конце второго выехали из кустарника на новую поляну. Вся она на этот раз уже была подернута густыми сумерками, но в трех разных местах ее мелькали огоньки: один — словно теплина, которые раскладывают волжские пастухи на ночнине, два других пускали пламя и дым, густой, стоявший неподвижным столбом. Увлекли меня эти приветливые огоньки в дальнее прошлое: на этот раз хотелось видеть стреноженных лошадей, глухо побрякивающих в ночной тишине колокольцами; хотелось слышать хлопанье плети, свист живого человека, крик коростеля, засевшего глубоко в траве. Уже едва не чуялся свежий, живительный, здоровый запах только что скошенной травы. В светлых образах восставало все это в воображении, как родное, никогда и никем не забываемое, как контраст, наконец, всему тому, что развернулось теперь перед глазами в действительных образах, далеко не таких. Кругом — олени. По всей поляне разбрелись они, и белая поляна превратилась почти в сплошную серую: один постукивает то правой, то левой передними ногами в снег, перестает на время, наклоняется, как будто обнюхивает место, и опять начинает стучать копытами, сменяя одно другим, и стучит долго, настойчиво. Другой олень стоит неподвижно на одном месте, как будто врос в него, уткнувшись мордой в черную тундру; несколько других оленей бегают в круги; двое дерутся рогами. Над всем этим глубокое, невозмутимое ничем молчание.

Как копны, как стоги снега, уединенно стоят поодаль конусообразные чумы — цель поездки. Входим в ближайший или, лучше, пролезаем в него через узенькое и низенькое отверстие и дальше лезть уже не можем: прямо посредине чума разложены горящие дрова, над ними кипит котелок и клокочет вода. Дым свободно лезет в отверстие наверху, и все-таки этого дыму остается в чуму в таком избытке, что дым ест глаза и затрудняет подняться на ноги. Садишься на корточки именно затем, чтобы прекратить слезы и что-нибудь видеть и не достояться до головной боли и угара. При свете довольно сильно разгоревшихся дров видишь изумленные, недоумевающие лица: одно, сколько можно судить по ребенку на груди, принадлежит *иньке*, может быть, жене хозяина чума, другое — ему самому, потому что все остальные моложавы, хотя уже с поразительными задатками на то, что через пять-шесть лет они решительно, капля в каплю, будут

походить на отца или, все равно, на мать. В чуме тепло, сколько можно судить об этом по тому, что у мальчишек на рубашках расстегнуты вороты и видны голые, смуглые груди. Самоед-хозяин стружет ножом мерзлую рыбу и, видимо, с наслаждением ест эти стружки. Инька, покормивши ребенка, садится с иглой и сшивает оленьими жилами одну оленью постель с другой: видимо, приготовляет совик или малицу. Ребятишки, тоже как будто освоившись с новым лицом, продолжают делать свое: один скоблит оленью постель, другой мастерит какую-то игрушку. Все это творится в глубоком, сосредоточенном молчании.

Осмотришься кругом: закоптелые и значительно подержанные *нюки,* те же оленьи постели, лежат на шестах (по-самоедски *умах*), сближающихся к верхнему отверстию. Оттуда по временам как будто дунет кто-то, и чум вслед за тем вплотную наполнится дымом, который слепит глаза и мешает производить дальнейший обзор жилища. Вырвется этот дым на волю, и опять все старые виды: инька шьет, муж ее стругает рыбу; над котлом в дыму и на деревянной решетке коптится или вялится мясо — может быть, *песцевина* (мясо песца), может быть, *лисицовина* или, наконец, даже оленина. По временам мясо это пускает от себя неприятный, одуряющий запах, и, того гляди, не усидишь дольше в чуме на этом ковре, плетенном из тростнику ерки, подле этих *лат,* или деревянных досок, которыми огорожен со всех сторон огонь.

В чумах богатых самоедов есть еще одно отделение, называемое *синикуй,* противоположное входу: здесь некрещеные помещают своих божков, крещеные вешают святые иконы. Синикуй завешивается оленьей шкурой, которая и поднимается в то время, когда в чуме сделается уже невыносимо чадно. Вход в чум оставляется при постановке всегда под ветром. Разбивают чумы, естественно, там, где поблизости нет других чумов, и для того, чтобы олени с оленями не сходились и не путались между собой.

— Давно ли вы стоите здесь? — спросил я самоеда, чтобы о чем-нибудь заговорить с ним.

— Вчера,— отвечал он урывисто, по обыкновению, и, по обыкновению, потупил глаза.

— А когда снимаетесь?

— А вон!

Самоед тряхнул головой и, не ответив ничего больше, медленно приподнялся с места, отбросил рыбу в сторону и, накинувши на себя малицу, вышел вон. Я стал прислушиваться: глухо раздавался вдали лай собачонок по разным местам на поляне, мать-самоедка и ребятенки стали спешно подбирать подручное, укладывая потом все это в коробки, плетушки, мешки. Я поспешил вылезть на воздух. Навстречу попадается самоед, останавливается и всматривается в меня, тоже как будто недоумевая и удивляясь.

— Что так рано снимаетесь? — спрашиваю я его, желая хоть этим вопросом вывести его из недоумения. Самоед улыбается, однако находится на ответ:

— Олешка моих съел... велит дальше!..

С этими словами ловко бросает он петлю на рога набежавшего на нас оленя. Этот испуганно останавливается и дрожит всем телом. Самоед привязывает его к чуму; ловит другого, третьего.

Между тем три хохлатых собачонки продолжают обегать, с удушливым лаем, вокруг стада, останавливаясь перед теми оленями, которые, не слушаясь лая, еще щиплют мох. Собаки лают на них долго и много,— наконец и этих спугивают с места, и их обращают в бегство на настроженный аркан хозяев. Вскоре много уже оленей стояли привязанными к чумам; остальные сбиты собачонками в неподвижную и послушную кучу. Откинутые от чумов санки стоят уже наготове, нагруженные кое-каким мелким скарбом, снесенным иньками; на остальные из них складываются затем нюки, поднючья (те же оленьи шкуры, которые в чуме заменяют нижнюю настилку). На третьи санки кладут шесты, на четвертые садятся ребятенки, по одному и по два, на шестые мать с грудным ребенком, на седьмые бросают хохлатых собачонок, сделавших свое дело и прикурнувших, на восьмые, передние, садится сам хозяин чума — и аргиш готов. Едет он на другое место, где больше моху, еще не вытравленного, и где также оставит после себя тундру взбитой и такой же почернелой, как и эту, которая лежит теперь перед глазами моими во всем пустынном однообразии. Скрипит вдалеке аргиш и чернеет еще некоторое время перед глазами моими. Наступивший мрак, усиленный длинной тенью придорожного леса, закрывает все это, а быстрота бегущих оленей уносит от слуха и скрип санок, и урывистые вскрики путников. На новом месте, верст за 50 отсюда, разобьют в полчаса эти же чумы самоеды и опять постоят на нем два, много три, дня, как бы исключительно для того, чтобы перебраться на иные места.

Вот почему самоеды всегда зависят от прихоти своих оленей, которым нужна свежая пища, новые места, и *становятся чумами* там, где указывает инстинкт этих животных. Вот почему и самая жизнь самоеда тесно сливается с проявлением животного существования тех же самых оленей. Поставлены они в необходимость отыскивать себе пищу там, где она есть,— и самоеды плетутся за ними туда же, как верные слуги. Этим оправдывается и кочевая жизнь этого инородческого племени северной России, и вся немногосложность в обычаях и внешних обрядовых проявлениях домашней жизни. Около оленей за людей отвечает собака, которая и здесь, в тундре,— дорогой и неизменный друг человека, и самоеды ее ценят высоко: за лучшую дают два, три и даже четыре оленя. На тысячу оленей достаточно трех таких сторожей да столько же и людей — работников, нанимаемых на год за пять и шесть оленей, при готовой пище и одежде.

Хвалят и тундру:

— Иногда едешь целый день — олень копыта не замочит. По тем местам белый, черный и красный мох. Где белая головка травы (болотный пух) словно снег лежит, там мокро, там болото — туда не ходи. Озера — глубоки: спускали на дно веревку во сто сажен, а дна не достали. Озера — все рыбные: одним неводом вытащишь

не на один день и еще половину бросишь — соли нет. Годом родится морошка — ее весело собирать и запасать. Птица всякая есть, какая только бывает на свете. На четверке оленей, без остановки, зимой можно сделать верст до пятидесяти, и еще за десять верст по дыму чутким носом узнают, чей там чум, заколол ли приятель оленя на угощение и есть ли у него водка в запасе: без пиров и гостей бы что же и за жизнь? Сами работать не привыкли, да и зачем, когда для стада есть собаки, а для дома в чуме жены и дочери, иные и живут только одним шитьем.

Самоед, как известно, плохой семьянин. Взявши себе жену непременно из чужого рода *, хотя бы и сестру жены своего брата, самоед живет с ней как бы только для того, чтобы не остаться холостым, и невыносимо бьет ее, если заметит неверность, и преспокойно отвязывает и уводит оленя от саней своего соперника. Жену покупает он за несколько песцов, лисиц или оленей, при посредстве эву (свата), который является в чум отца невесты с деревянным крюком от котла и не выпускает орудие это из рук до тех пор, пока будущий тесть не изъявит своего согласия. Оба соблюдают при этом возможно глубокое молчание, стараясь объясняться одними знаками. Отец невесты кивает головой на предложение свата, который тотчас же передает ему бирку для того, чтобы тот нарезал на ней то число зарубок, сколько хочет он взять за дочь свою животных. Сват срезывает из них, сколько покажется ему лишних. Условливаются о дне размена выкупа, и являются в невестин чум артелью, и здесь угощаются сырым оленьим мясом, и уходят, оставляя в чуме только жениха и невесту. В полночь жених уезжает домой и является опять к чуму невесты уже в назначенный день свадьбы. Но чум заперт, свадебный поезд даром не пускают: требуют подарков, а потому и обмениваются ими. Потом обводят невесту с ее приданым и жениха с его выкупным три раза кругом невестина чума, а затем, три же раза, кругом женихова. В этом весь свадебный церемониал у некрещеных самоедов! Не оборвется ничего в оленьей упряжи во время этих объездов — супружеская жизнь молодых должна идти во взаимном согласии и верности.

Сделавшись женой и приготовляясь быть матерью, самоедка считается всем соплеменным ей населением тундры нечистою и сквернит своим прикосновением все, до чего ни дотронется. Переступит она через веревку, через оленью упряжь — муж поколотит ее, приругает и тотчас же поспешит окурить вереском ту вещь, чтобы сделать ее опять годной для употребления. В последние недели перед родами самый чум сквернит роженица: бедный самоедин старается не быть в нем, особенно в последние дни перед разрешением иньки; богатый спешит выстроить для нее особый чум и называет его *сямай-мядыко* (поганый чум). Здесь, при помощи другой опытной иньки — пови-

---

* Родов самоедских, как известно, шесть: 1) *тыссыи* (около Пустозерска, самый многочисленный); за ним 2) *логей* (к северо-востоку от Печоры), 3) *выучей* (к востоку от логей, ближе к Уральскому хребту); 4) *хатанзей;* 5) *валей;* 6) *уанойта.* Эти три последних рода живут по большей части в работниках у ижемцев.

тушки, самоедка делается матерью, при соблюдении некоторых суеверных обычаев. Если роды трудны, бабка заключает, что причиной тому измена супружеской верности кого-либо из супругов, и потому настойчиво требует признания с обеих сторон. Новорожденного обмывают теплой водой и кладут закутанным в олений мех в лубковую колыбель, на дно которой засыпаются мелко истертые древесные гнилушки и опилки. После того бабка очищает чум и людей от предполагаемой скверны — водой, в которой сварена березовая губка. Через восемь недель роженица, окуренная оленьим салом, имеет уже право разделять с мужем скудную трапезу и почитается чистой до начала новой беременности. Ребенок родится, почти всегда и без исключения, с наследственными болезнями и через несколько недель после появления на свет уже покрывается злокачественными сыпями и язвами, между которыми опытный глаз может различить и сифилитические, чесоточные, и, наконец, оспенные, большей частью все вместе, потому-то, собственно, и называются все эти болезни *ныркомм, мирскими,* как будто без них уже и нельзя появляться самоеду на свет божий!

Не всегда при рождении, большей частью через год и больше, дают новорожденному имя, по первому попавшемуся на глаза предмету. Назовут его *Пайга,* если в этот день выловится много рыбы пеледи; *Мюс,* если он родится во время езды аргишем; назовут *Тенеко,* если много попадается в капканы, по тундре, лисиц; *Сармиком,* если попадутся волки; *Тагана,* если ребенок окажется слишком хворым. Недавно умер *Немза,* названный так потому, что он родился как раз в то время, когда явился в том чуму академик Кастрен — *немец,* изучавший, по поручению гельсингфорсского университета, наречия чудского племени. Замечательно, что и у крещеных по два имени: одно старое, а другое новое. Так точно случалось спрашивать многих: один сказывался Николаем Ханалисовым, а у самоедов известен был под именем *Ягро;* другой был записан Васильем Судковым, а обзывался соплеменниками Майдна, и т. д. Самоедский старшина, снабжавший меня в Пустозерске оленями, был некрещеный и потому носил одно только имя самоедское, не имея русского. Он был записан при клейме своем так: Хыла Маленбаев Явулевич.

Не особенно крепким здоровьем пользуется самоедское племя и во всю остальную жизнь, посреди мелких тундряных промыслов: горных за лесным зверем, рыбой и птицами,— и морских — в покрутах, по найму от богатых соседей, зырян и русских. Страдая, почти поголовно, глазными болезнями от сильных ветров, разгуливающих по тундре, от едкого дыма чумов и от грязной жизни, самоеды в то же время не избегают и цинги (для них всегда смертельной), и болотных злокачественных лихорадок.

Лишенные всякой помощи, исключительно полагающиеся во всех житейских невзгодах на кудесников своих, *тадибеев,* прибегая в суеверном страхе и при болезнях к их шарлатанству, самоеды мрут, не достигая 50 лет жизни. Ревизские сказки, составленные посильно верно, указывают на грустные результаты: в последние 83 года вымерла половина почти всего самоедского населения тундры.

Обстоятельство это почти прямо указывает на то, что оседлые племена, следуя еще неизведанным историческим законам, в недальние десятки лет уничтожат это кочующее племя, поработив его своему влиянию. Уже в настоящее время можно указать на несколько селений, в которых воочию совершаются эти поучительные преобразования. На р. Колве, при впадении ее в Усу (приток Печоры), выстроилось уже порядочное селение (изб в 20) при тамошней церкви, и самоеды, живя в них оседло, охотно женятся на зырянках и в облике и в характере значительно теряют свой врожденный самоедский оттенок. На р. Пёше, в пустозерской деревне Тельвисочной, совершается почти то же, хотя несколько и в меньших размерах. В Ижемской волости, где самоеды крещены все поголовно, они сделались решительными зырянами: забыли родной язык свой, бреют усы и стригутся в кружок. Большая часть пустозерских самоедов бойко говорит по-русски и нередко заходит в церкви, как бы в наглазное оправдание давно сложившегося про них русского присловья: «и в самоедах не без людей».

Все эти обстоятельства, вместе взятые (особенно принимая при этом в расчет и значительную смертность), обещают, во всяком случае, уже недолгое историческое будущее самоедскому племени. Так же, может быть, переломают шесты, прорвут в целом месте чума нюки и вынесут в это отверстие и последнего некрещеного мертвеца-самоеда, и так же положат с ним в гроб ложки, чашки, харей, санки надломленными, и так же, может быть, убьют на его могиле оленя и съедят его тут же, в сырых, еще дымящихся теплой кровью кусках и в тот еще раз, когда останется только маленькая горсть самоедов-язычников, как делает это в настоящее время еще большая половина мезенских самоедов.

Окончательному обращению их в христианство много препятствуют, по общим слухам, зыряне, которые уверяют их, что коль скоро они окрестятся, то неизбежно подвергнутся рекрутской повинности. Тогда-де не посмотрят ни на их дряблое телосложение, ни на непривычку и неуменье жить в неволе: в теплой избе, пожалуй, даже в казарме, а не на оглядных тундряных степях. Вообще зыряне имеют сильное влияние на самоедов и, в этом последнем случае, много способствуют поддержанию в своих неоплатных работниках по тундре их старых верований и суеверных обычаев.

Не зная песни, не приучившись находить в ней какое-либо иное значение, кроме бессвязного, бессмысленного мурлыканья себе под нос, от скуки и с примера соседних русских, самоеды не хранят (почти вовсе) и преданий о прошедших временах. Ведутся между ними еще кое-где два предания о недавней борьбе их со своими соплеменниками-карачеями. По одному из этих преданий, большеземельские самоеды стреляли во врагов своих *через каменное окно,* или, лучше, проход в Уральских горах, до того узкий, что при проезде через него посылается передовой повестить впереди, чтобы едущие с той стороны пережидали: двум рядом проехать уже нельзя. Другое предание говорит, что самоеды, в сообществе сибирских остяков, отправились на войну с карачеями, оставив жен своих у какого-то

озера, которое зовется теперь *Невод-озеро* (в переводе с самоедского). Долго не возвращались самоеды назад: жены съели все запасы хлеба, ели птиц, стали есть мышей. Мужья все не являются; приходится умирать с голоду, и тем более постыдной смертью, что есть горшок, да нет ложки, есть невод, да нет лодки. Одна самоедка ухитрилась, привязав к одному концу невода ковш, который и был отнесен ветром к дальнему берегу. Стали вытаскивать — невод оказался полон рыбы.

Во всем самоед — раб старины, как и всякое другое неразвитое племя. До сих еще пор боится он злых наветов тадебциев — духов, которые ничего не способны делать, кроме зла. До сих еще пор безусловно верят тадибеям — тем избранным, святым людям, которые одни только способны умилостивлять всю злую воздушную силу. Во всех неожиданных и тяжелых испытаниях и невзгодах самоеды по-старому прибегают к помощи тадибея, всегда самого плутоватого и самого толкового изо всего племени, большей частью старика и даже во многих случаях старухи. Захочется тадибею выпить водки и напиться пьяным, он придумывает для самоеда какую-нибудь смертельную болезнь. Самоед простодушно верит, позволяет делать над собой всевозможные истязания и не стоит за последним песцом, чтобы добыть кудеснику вина. Так же точно и сам от себя самоед зовет тадибея на роды иньки, и заклинать ветры, и лечить от действительно гнетущих его болезней. Во всех случаях является тадибей обманщиком, ловко пользующимся простодущием земляков, и во всяком случае готов *бить кудес* свой и не перед своими, лишь бы только напоили его за то пьяным или дали ему столько же денег на выпивку.

Я был личным свидетелем его проделок и потому спешу передать обряд *битья кудес* (самбадавы по-самоедски) так, как он представился моему вниманию.

Тадибей наш явился приглашенным именно с той целью, чтобы показать внешний обряд битья кудес, и потому, смекнувши, вероятно, о том, что будет иметь дело с неверующими, пришел немного навеселе, заручившись, естественно, не одной чаркой водки для вящего вдохновения. Как теперь вижу его в хохлатой шапке из меха росомахи, с наличником, из-под которого выглядывало его красное, лоснящееся, скуластое лицо, с плутовато бегающими глазами. Встретив его нечаянно и в сумерки где-нибудь в лесу, не на шутку можно бы было перепугаться и отвести взор подальше от его неприветливого и действительно странного взгляда. Не удивительно, что он заставляет дрожать самоедов, прибегающих к его помощи и, сверх того, уверенных в том, что тадибей живет запанибрата с злыми духами и к служению им приготовляется долгим навыком, живя лет по десять за Уральским Камнем в науке у остяцких шаманов.

Тадибей и в наш чум пришел также увешанным бубенчиками по швам малицы, с оловянными бляхами по спине и плечам. Бляхи эти ширкали и шумели при каждом движении. Кроме бубенчиков, одежда его опутана была суконными лентами разнообразных цветов,

как редко, пожалуй, украшает свою пеструю паницу иная щеголиха-самоедка. Тадибей не изменил заученной важности приемов, сухо и величаво раскланявшись на все четыре угла чума, по которому разместилась вся наша неверующая компания. Истинным, опытным артистом и знатоком дела, словно не раз уже дававший концерты при огромном собрании столичного люда, казался мне и на ту пору этот полудикарь, полуизувер, полуплут, стоявший некоторое время неподвижно. Не шелохнулась ни одна из его блях, не ширкнул нескромно ни один из бубенчиков, но в лице его можно было прочитать плутоватую улыбку, предательское подергивание левого глаза. Еще мгновение — и кудесник дергал уже над головой своим пензером * раз, два и три... Он присел, закрывши лицо руками. Поднявшись в другой раз, он выхватил из-за пазухи деревянную колотушку, обвитую оленьей шкурой, и начал колотить ею в бубен сначала тихо, потом все учащеннее, так что рука его уже ловко прыгала по инструменту, как рука опытного барабанщика по барабану. Он то присядет, дико взвизгнув,— то опять начнет сильно колотить, причем пензер издает глухие, неприятно тупые звуки. Вдруг он закричал лихорадочным голосом, пуская целый поток разных непонятных слов на том гортанном и подчас носовом языке, который одинаково неприятен и в устах мужчины, и в устах женщины из самоедов.

Двое из проводников наших, самоедов, при первых звуках его крика выползли из чума; нам самим становились неприятны эти звуки и кривлянья, которыми сопровождал кудесник обильный поток своих слов. Верных четверть часа кричал он и бесновался таким образом, вертясь на одной ноге с пензером над головой и уже реже постукивая в него колотушкой. Наконец он упал в изнеможении на пол. Судороги подергивали его несколько мгновений, он как будто усиленно всхлипывал, и не успели мы броситься к нему, чтобы поднять его, тадибей был уже на ногах и шарил что-то за пазухой. Не успел я выследить и за этими движениями его, как один из наших вырвал из рук кудесника нож, примолвив:

— Ногами ты дрягай, сколько хочешь, а уж рукам баловать не дам воли! Это ты опять-таки затеял не дело. Ну тебя!.. Знаем мы вашего брата, видали уж не единый раз. Теперь, брат, ты нас не надуешь — шалишь! — продолжал ворчать проводник мой во все время, пока отдыхал кудесник, видимо пораженный неожиданностью перерыва в обдуманных и заученных издавна обрядах.

---

* *Пензер,* род решета, одна сторона которого, вместе с боками, обтянута шкурой убитого самим тадибеем оленьего теленка. Другая сторона пензера открытая и внутри имеет посредине перекладину, от которой идет к боку другая, служащая вместо рукоятки. На обеих перекладинах вырезывается по семи идольских лиц. Шкуру для пензера тадибей собственноручно очищает от жил и потом сушит ее на медленном, несильном огне. При этом деле не должна находиться инька, как существо нечистое. Палка, которой колотит кудесник в пензер, называется *ладуранец.* Шапка, сшитая белью (нитками), а не оленьими жилами, по обыкновению, и украшенная по местам пуговицами, медвежьими костями, иногда теми же оловянными бляхами, называется *сеебопць.* Колотушку-ладуранец тадибеи заменяют иногда заячьей лапкой.

Лежа на полу, он поднимет то одну ногу, то другую, повернется на левый бок и потом медленно передвинется и ляжет на спину. По лицу его струится обильный пот. Узенькие глаза подернулись какой-то влагой. Он тяжело дышал. Немного погодя он сел, мутно обводя кругом всего чума глазами, и как будто ждал чего-то таинственного. Рассыльный, выхвативший из рук тадибея нож, и здесь его не оставил:

— Вставай-ко, брат, ей-богу, вставай! Не пужай ты меня. Боюсь я их, ваше благородье! — обратился он ко мне, как бы с оправданием.— Знаете: пугают. Ножом-то своим вот так и тычут около сердца. В один бок его в брюхо всунет, из другого вытащит. Вставай, брат самоедушко, вставай!

Кудесник послушался-таки его, но не был тверд на ногах и стоял перед нами, понурив голову,— и весь дрожал.

— Умаялся,— объяснил рассыльный.— Не легкое, вишь, дело-то, не легкое!

— Воды не хочешь ли? — обратился он к нему и, получив согласие, напоил его водой.

Тадибей, оправившись, обратился к нам с вопросом, высказанным слабым, удушливым голосом, но довольно понятно русской речью, из которой видно было, что он хотел показать еще один кудес, употребляемый при заклинании ветров. Но и здесь суетливый рассыльный предупредил нас:

— Не надо, тадибеюшко, не надо, Христос с тобой. Знаем: сядешь ведь к жаровне, начнешь по уголькам стучать палочкой, мычать, да хухукать, да раскачиваться во все стороны, да носом-то в уголья норовить — не надо! Не глядите, ваше высокородие! Отдохни, тадибеюшко!.. На вот, прими кубок вина да денег три цалковых... Это тебе за потеху.

Мы уже не слыхали последних слов, поспешив выйти на свежий воздух. Рассыльный догнал нас уже на дороге и встретил замечанием:

— Смерть боюсь кудес этих, а глядеть люблю! Жилы все тебе тянет, кровь носом просится, а не ушел бы из чума-то до утра, все бы глядел да пугался...

— Зачем ты нож-то у него вырвал?

— А зарежется, гляди. Этак-то уж было на Индеге в тундре. Один экой-то пырнул себе в брюхо, да и с места не встал. Знаем уж мы это! в свидетели потом придется идти: ты же в ответе пуще других будешь. Скажут, зачем не остановил. Так вот поглядеть, без всего без этого, любопытно!..

— С нечистой ведь они силой знаются пуще колдунов наших — оттого ведь у них это. Самоеды вон и нечистую-то силу эту видят: белые-де такие, что снег белые, и все-то, слышь, в палец, а пугают: языками дразнятся. Да вот как бы дело-то теперешнее не ночью было, рассказал бы я тебе больше противу того...

Тем и заключил свои толки рассыльный,— но и на другой день, вопреки обещанию, рассказал немногое: что самоеды-де божков своих называют ***хегами*** и ставят их у неводов и звериных норок;

что есть-де еще *сядеи*, которых они на горах оставляют; что этих они секут, когда провинятся в чем, но что хег боятся, потому-де, что хегов тадибей освящает; что с самоедом можно пить водку сколько хочешь, но что только надо спешить самому напиваться скорей да и уходить из чума, а то опьянеет самоед прежде — драться полезет, лицо печенкой сделает; что самоед в драках этих силен на руках, а на ногах некрепок. Вот и все те сведения, какими мог я поживиться от бойкого рассыльного, который все-таки любит больше глазеть, чем замечать и понимать высмотренное, по обычаю всех неграмотных мужичков русских. От других уже (и многих) привелось мне узнать впоследствии о том главном значении, какое имеют зыряне по отношению к тундре и к самоедам.

Вот как сложилось все это немногосложное дело.

Толковые, сметливые зыряне, давно имея множество случаев вглядываться в характер своих туповатых соседей, пришли к весьма положительным и верным заключениям, что самоеды, из веков обреченные на борьбу с природой и множеством препятствий, поставляемых ею для достижения ими прямой цели, трудолюбивы. Особенно видят они это по тому, что редкий из них когда-либо сидит без работы. Знают зыряне, что трудолюбивые и терпеливые самоеды в то же время верны, по простоте сердца, данному слову: умирал обещавший — за него являлся брат, другой какой-либо родственник, взявшийся при смертном одре исполнить его обещание (это факты, и даже недавние); что самоед, если и захочет схитрить в чем, то легко ловится и в этом. Так, например, он ни за что не возьмется поклясться на голове ошкуя, в простоте сердца уверенный, что медведь этот съест его за обман на первом же дальнем морском промысле. Но главное, и что особенно зыряне приняли к сведению, и на чем преимущественно основали они дальнейшие планы к исключительному обладанию тундрой,— это непомерная страсть всего самоедского племени к спиртным напиткам.

Зыряне много не задумывались и, сговорившись раз между собой, привели дело в исполнение. Сколотивши кое-как достаточную сумму денег (помогать друг другу, из числа своих единоплеменников, у них до сих пор — святое коренное правило), они покупали обыкновенно бочку спирта. Ее везли в тундру, преимущественно в те места, где разбивалось больше чумов и, стало быть, где больше предполагалось добытого промысла.

С льстивой речью, почетным поклоном, с добрыми пожеланиями всякого благополучия, на *все четыре ветра,* входит зырянин в чум самоеда, преимущественно богатого. Самоед располагается в его пользу, сажает поближе к огоньку, спрашивает согласия заколоть оленя, чтоб угостить потом дорогого гостя парной печенкой, еще дымящимся сердцем животного. Зырянин благодарит и предупреждает своим угощением: без дальних разговоров тащит из рукава кубок (полуштоф) спирта, щедро разбавленного водой. Самоед давно уже знаком с этим напитком, любит его, считает необходимостью и ежедневно бы пил его помногу, если бы только

взять было где: кабаки все — по селениям, которые далеко ушли от чумов, ехать туда далеко да и некогда: лесной зверь ежедневно лезет в пасти, кулемки, сети, капканы и черканы. Самоед готов уже сам купить, но зырянин желает сначала попотчевать даром, а потом уже потолковать о цене.

Пьют. У самоеда глаза искрятся, сердце обливает маслом: любо ему, что зырянин и иньку потчует, и подростку-сыну подносит вина,— и те пьют охотно, по давней привычке. Самоед, пожалуй, рад и тому, что зырянин пьет всех меньше, им же больше достанется,— и глаз не спускает с рукава гостя: не вылезет ли оттуда еще кубок водки, на пущую его радость и веселье. Но кубка не видать. Зырянин самодовольно улыбается и выжидает своей поры. Самоед не замедлит сказаться.

— Изволь! — принесу и еще кубок, да только этот будет денег стоить! — отвечает зырянин на запрос собеседника, по-самоедски конечно, иначе у них бы не состоялось беседы (тогда самоеды не умели еще говорить по-зырянски да и зыряне, знающие только один свой язык, не ездили еще в тундру). Приносилось вино. У самоеда нет денег, а есть лисица, только вчера задавленная. Зырянин и этим не гнушается; осматривает лисицу: нога была переломлена, кормилась дома и вся в ость ушла, пушистая такая,— десяти штофов стоит: за полуштоф взять, пожалуй, можно. Самоед не стоит за этим: зверь не сегодня завтра другой набежит, много его таскается по тундре, а вино может уехать в другие чумы, и тогда его не догонишь, пожалуй. Распивается и этот кубок, самоед уже потчует зырянина, свою иньку и сына. На третьем полуштофе самоед раскутился: напоил даже маленьких, разбранил зырянина за то, что тот мало пьет; требует еще водки; зырянин объявляет, что вся. Самоед не верит, говорит, что не стоит за пушниной, была бы водка. Зырянин выговаривает черно-бурую лисицу, трех песцов, пару оленей живых и — если не дрогнет рука, не треснет язык! — шкуру медведя, да уж кстати и сани, на которых бы можно было свезти выменянное. Он получает все это охотно, тем более что не упираются ни отец, ни мать, ни дети: они же помогают все это положить на новые сани и привязать поплотнее, чтобы что-нибудь не свалилось.

Зырянин далеко уезжает к другим чумам. Самоедин просыпается поутру, вспоминает вчерашнее и жалеет только об одном, что не купил еще кубок вина про запас, на похмелье.

В других чумах с зырянином ни хуже, ни лучше: самоедское племя — что один человек, с одним обыком (давно уже это все знают и не спорят). В дальних чумах другие также готовы все до единого менять шкуры добытого зверя и живых оленей на кубки сомнительного достоинства вина, хотя, впрочем, и не потерявшего способность туманить глаза и совсем отнимать скудные остатки соображения. Через неделю, много через две, ижемец, таким образом, возвращается в свою волость с пустой бочкой, но не с одними санками и не порожними. Вместо восьми оленей, привезших бочку, приводит он домой десять, двадцать, тридцать и более.

Успех одного соблазнил и многих других. Из редкой деревни по волости не поехали таким образом три-четыре дома, даже с ребятишками на подмогу, и редкому зырянину случится быть битым от догадливого самоеда. Многие стали возить туда и другие товары кроме вина; но все приезжали обыкновенно домой с большими барышами. Все незаметно богатели *: в какие-нибудь два десятка лет те же зыряне, которые нанимались в работу к богатым пустозерам, сами теперь сделались хозяевами. Случился, наконец, и более крутой поворот: богатые самоеды, державшие стада штук до тысячи, пошли в пастухи к этим же стадам по найму от новых хозяев — ижемцев и благодарили еще, хвалили хозяев своих за то, что они не погнушались их скудостью и не пустили их *на едому*, а взяли в кабалу. Установившийся между печорцами термин «жить или сидеть на едоме» относительно самоедов означает то же, что в остальной России *побираться Христовым именем*, т. е. жить мирским подаянием, милостыней. Самоеды или на чунках, забравши всех ребятишек, идут на зиму к городам, преимущественно к Архангельску, Мезени, Пинеге и даже к Холмогорам, или нанимаются к пустозерам в дома. Самоедки, давнишние испытанные мастерицы шить, работают из-за одного прокормления всякую одежду по готовым выкройкам. Ребятишки тоже помогают в этом матери или бродят по избам и собирают остатки от стола достаточных крестьян Усть-Цыльмы, Пустозерска и деревень богатой Ижемской волости. Говорят, таким образом сидят на едоме до ста семейств пришедших в крайность самоедов.

Мало-помалу богатели таким образом ижемцы в ущерб самоедам, увлекая в такой же промысел и дальних пустозеров. Некоторые из соблазнившихся легкостью барыша и простодушием самоедов прибегли к постыдному, более крутому средству: они просто стали воровски, в темные ночи, уводить оленей из стад и, выучившись ловко вытравлять старые клейма, накладывали новые, свои. Правда, что в настоящее время строго запрещено зырянам и русским возить в тундру вино, ловить в озерах рыбу, строго следят за кабалой и на базарах за фальшивой монетой, которой самоеды привыкли бояться, не выучившись распознавать. Правда, что молодое поколение зырян негодует искренно на прежние нечестивые порядки отцов и дедов, но все-таки самоеды ловятся и на фальшивые деньги, и на фальшивое вино, хотя и значительно реже против прежнего.

Нечистые дела соседей до некоторой степени пробудили в самоедах чувство самосознания и даже мщения, как это доказано недавними примерами. Один самоед уже запродал крестоватиков и лисиц за условное количество хлеба одному из пустозеров и пил за-

---

* Г. В. Иславин [10], автор весьма замечательного сочинения о самоедах, между прочим, вычислил барыши ижемцев при мене с самоедами следующим образом: за полпуда соли самоеды дают или белого песца, или оленью постель, т. е. за 35 коп. сер. платят 1 руб.; или за пуд муки — 3 песца, т. е. за 85 коп. сер. — 3 руб. сер.; или за три пуда масла, по 7 коп. сер. фунт, берется 14 песцов, т. е. за 8 руб. 40 коп. сер.— 14 руб. сер. Эти цены как бы уже установлены по таксе.

ручную, но пустозер, напившись раньше, заснул. Самоед не потерял ни сознания, ни присутствия духа настолько, что с деньгами и запроданными крестоватиками ушел и сбыл добытых им песцов другому хозяину на другой же день, а на третий «*провалился* в тундру, где его и с собаками теперь не сыщешь», как выразился мне сам обманутый. Другой случай, удививший весь туземный край, совершился за несколько дней до моего приезда. Один ижемец *жил в оленях* на тундре и преспокойно ковырял ложки или чашки в то время, когда двое самоедов поочередно отгоняли от него стада оленей. Когда уже таким образом отогнали они половину, зырянин заметил это, заметил и обоих грабителей-самоедов. Воры, не думая долго, бросились на пастуха и, чтобы он не кричал, набили ему в рот несколько горстей моху. По счастью, все это видел находившийся вблизи другой пастух-ижемец: он побежал на помощь. Один самоед выстрелил в него, но не попал. При мне же (в Мезени) самоед отвязал оленей от санок пустозера, ехавшего под хмельком с мерзлой рыбой на Пинежскую ярмарку.

Если теперь не поддаются самоеды обману русских полицейских чиновников (как бывало прежде), которые, вместо того чтобы сбирать ясак с головы оленя, брали ту же, назначенную правительством, сумму с копыта,— зато они до сих еще пор не знают настоящей суммы подати, особенно дальние. Русские и здесь придумали средство поживиться: они, за известную плату самоедскому старшине, берутся собирать ясак с самых дальних и, приезжая в отдаленные чумы, получают не рубль узаконенный, а два, два с полтиной, смотря по тому, сколько захочется взять с этой суммы процентов за проезд туда и хлопоты при этом.

Все-таки во всех самоедских племенах еще до сих пор, при полном безверии, пропасть суеверий, и притом самых фанатических. Правда, что они уже не верят святости тадибеев, в том случае, чтобы от них, по прежним преданиям, могла отскакивать пуля, особенно после того, как попытал это один мезенец и положил кудесника насмерть одной пулей. Зато все-таки считают злым знаком, если во время жертвоприношения попадет на платье капля крови. Не верит самоед также счастью на седьмой неделе и считает седьмую зарю при болезнях роковой. Он непременно сожжет те санки, на которых когда-либо случайно родила инька, и заколет тех оленей и отдаст мясо их собакам. У тех санок, на которых возит идолов своих и которые пускает вперед аргиша, самоед непременно сделает семь копыльев и нарубит семь рубежков на полозьях. Остров Вайгач и на нем гору Уэсако считает жилищем самого невидимого Нумы, ни за что не ляжет спать в одном чуме с крещеным, и проч., и проч.

Дикий остров Вайгач, до сих пор посещаемый промышленниками, имеет на мысу Болванском глубокую, скалистую пещеру с двумя отверстиями: широким к морю, узким к вершине утеса. Здесь стоял идол Весак с семью лицами, которому приписывали гул ветра в пещере и которого обставляли самоеды множеством других болванов. Все эти идолы были сожжены миссией, снаря-

женной для крещения самоедов, под председательством архимандрита Сийского монастыря Вениамина [11], в 1827 году. Отец Вениамин, между прочим, сообщает любопытные сведения о том, что крещенные им самоеды Большеземельской тундры «наперерыв обегали друг друга, чтобы прежде других позвонить в колокола, что им доставляло величайшее удовольствие». Вениамин обратил к православию 3303 человека, перевел на самоедский язык Новый завет и составил грамматику и лексикон.

Можно еще многое сказать о суевериях самоедов, если бы в то же время соседние русские, при всей своей набожности, были бы менее их суеверны *.

До сих еще пор самоеды, в простоте сердца, щеголяют ременными поясами (ни), пестрыми ситцевыми маличными рубашками, разноцветными суконными лоскутками, песцовой опушкой на женских паницах, не подозревая, что давно уже висит над ними громовое облако, и тундра, укрепленная за ними, может быть, целым тысячелетием, перейдет в руки самых злых врагов, которых они, по простоте своей, считают теперь лучшими друзьями.

---

3 февраля (1857 г.) я был уже в Холмогорах. Передо мной мелькали старенькие домишки этого самого древнего города в Архангельской губернии. Под окнами моими бродили рослые коровы; *заугольники* прятались по домам; не видать было на улице ни одного человека.

Раза два являлись ко мне до того костяники, приносившие свои безделушки, сделанные из моржовой и мамонтовой кости. Хмурилось небо, заволакиваемое снежными темными облаками, хмурился, казалось, и самый город, бедный, старый, как будто обезлюдевший. В тот день я намеревался оставить Холмогоры, а с ними и весь архангельский край, с которым успел свыкнуться в течение года, сделавши по нем более четырех тысяч верст. Передо мной лежала дальняя дорога в не менее интересные страны прибрежьев озер: Ладожского и Онежского. Не вдаваясь и не загадывая о будущем,

---

* Замечательно, между прочим, то обстоятельство, что жители Городка (Пустозерска) дали обет не делать вечеринок по зимам и посиделок на святках в одну из самых морозных зим, какие когда-либо стояли в том краю. С той поры нет у них ни хороводов по летам, ни ряженых на тех же святках. Летние холода — тоже величайшее горе: они влияют, между прочим, на сбор ягод: черники, брусники и морошки, составляющих примечательное подспорье в зимнем продовольствии, — иные запасают одной морошки до 40 пудов. В холодные лета мало ловится белой рыбы, поздно приходится ставить тони, и т. п. С роковой зимы и самые праздники, называвшиеся *сборными*, приняли иной характер. В условленный день сходятся все молиться богу (как, например, в Пустозерске день Параскевы Пятницы, так в Виске и Оксине в Николин день). Те, у кого есть знакомые, входят в дом: пощелкают там орешков, напьются чаю, выпьют водочки, пообедают и к вечеру гости уже восвояси.

я, против воли, увлекся воспоминаниями о недавно покинутых краях.

Припоминалась богатая жизнь поморов, обставившихся зеркалами, картинами, и, рядом с ними, дырявая бедность корелов и лопарей, почасту без куска хлеба, с одним сухоядением. Восставала и жизнь ижемских зырян, тоже с зеркалами, чаем и картинами, и опять-таки, обок с ней, кочеванье полудиких самоедов, в лохмотьях, по чужой прихоти, по чужому произволу, на бесприветных полянах тундры. К какой, думалось мне, прямой положительной цели ведет их судьба в этих кочевьях? Чем кончится эта затеянная не на шутку борьба, это столкновение более развитого народа с полудиким, патриархально-недальновидным, беспечным племенем? Кончится ли это горячей стычкой, ожесточенной с обеих сторон, или кротко и мирно (как и надо ожидать) войдут самоедские племена для слияния в другие, соседние им, и исчезнут посреди их навсегда и без следа, как и сделалось уже с пермскими вогулами? Или...

— Дай денег куска для хлеба куска! — шепелявил в дверях моей холмогорской квартиры маленький самоеденок и бойко глядел мне в глаза; двое других прятались за мать. Мать выступала вперед, низко кланялась и говорила то же. Вся семья в лохмотьях, между которыми даже трудно высмотреть характеристические особенности костюма; у одного мальчика плечо голое; у другого прорывается малица на груди. Крайняя, вопиющая бедность!

— Где ж ваш отец?

— На кабак пошла.

— Откуда же он денег взял на вино?

— Мы давал.

— А сама-то ты пьешь?

— Пью.

— И эти деньги пропьешь?

— На муж отдам, хлеба купим, олень кормим... эти деньги не пьем.

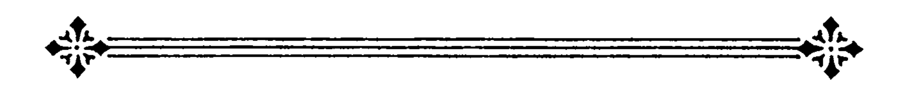
— А муж-то их в кабак унесет?

— Унесет.

Все эти ответы самоедка дает таким спокойным тоном голоса, как будто отвечает на вопросы: ест ли она, спит ли, просит ли милостыню.

Также вчетвером, с теми же оборванными ребятишками, из которых одного, закутанного в мех, везли на маленьких саночках другие два мальчика, промелькнула передо мной самоедка под окнами крайней избы на другом конце города, когда я выезжал из него на петербургскую дорогу. Мелькнули еще потом три-четыре таких же пестрых группы с такими же ребятенками, при тех же саночках и вымаливающими под окнами милостыню шепелявыми, звонкими голосами. Все это вскоре сменилось белым снежным безлюдным полем, лесом вдали, ямщиком прямо перед глазами, почтовыми лошадьми с разбитыми ногами, с неизбежным колокольчиком под дугой.

Долго еще потом преследовали меня подробности последнего свидания с представителями самоедского племени: инька, вымаливающая куски хлеба и молоко для ребятишек и оленей и отдающая деньги мужу; муж, пропивающий эти деньги в кабаке, из которого выталкивают его потом на мороз. Крепко выспится, привычным делом, самоед на снегу, придет в чум, больно прибьет иньку, прибьет ребятишек, оберет деньги (если они есть) и опять полезет пропивать их в пользу откупа, ни на малейшую для себя; снова инька начнет стучаться по подоконьям... И так во всю зиму, до той поры, когда начнет таять снег и придет самоедам пора убираться в дальнюю тундру и не показываться в городе до первого снегу и морозов.



IV

ОСТРОВ КОЛГУЕВ

Слухи о нем.— Настоящее его значение и физический вид.— Промыслы птиц: гусей, гагар, уток.— История заселения острова.— Самоедские семьи на Колгуеве.— Выселки в необитаемые места.— Староверы.— Гагары.— Шпицберген.— Грумаландская песня.

— По три дня молебны я совершал, накануне отъезда святых тайн господних приобщился, а когда с семейством прощался и благословлял его своим греховным благословением, в душе такое стеснение и сомнение возродилось, что даже готов был отказаться навеки от исполнения долга. Но, сочтя все сие попущением духа тьмы греховныя и помолясь в сиротеющей семье своей молитвою на путь шествующим и с коленопреклонением в последний раз, заплакал я, горько заплакал, как младый юнец, и отправился. Пять дней мы боролись с морской стихией, преодолевая ее напор и волнения, и на шестые сутки — богу поспешествующу! — узрели наконец вожделенный берег острова Колгуева. За все страдания, о коих считаю за благо промолчать, вознаградил себя тем святым делом, на которое уготован и освящен: съезжая с пустынного Колгуева, не оставил я на нем ни единого из живущих там самоедских семейств неокрещенным, во Христа Спасителя не верующим.

Вот что слышал я про Колгуев с одной стороны, и с другой от промышленников:

— Остров этот не страшней Матки (Новой Земли). Страшно только для непривычного человека проехать полтораста верст *полым* (открытым) морем. Если промышленнику брезговать Колгуевом, так незачем было ему и на свет божий родиться.

На печи лежа, кроме пролежней, мало чего другого нажить можно, а с морем игру затеешь — умеючи да опасливо — внакладе не будешь. Нам, поморам, в морских плаваниях не учиться стать. Мало того что малый ребенок умеет веслом владать, баба, самая баба — уж чего бы, кажись, человека хуже?! — а и та, что белуга, что нерьпа,— лихая в море. Смело давай ей руль в лапу и спать ложись, не выдаст: не опружит и слезинки тебе единыя не покажет...

Вот что рассказывали потом другие и третьи:

— Об одном тебе, твоя милость, тосковать надо, что ходят теперь там льды да торосья — не проступишься; а приехал бы по лету, мы бы с тобой и разговоров долгих не имели: взяли бы тебя в охапку, по рукам, по ногам вязкой (веревкой) связали, положили бы в карбас и крупного бы суденка не брали. А что Колгуев этот? Колгуев этот все равно что дом наш родной; полтораста этих верст мы бы на попутничке и в сутки бы обработали. Ты бы лежал да во сне хваленую свою родину видел; мы бы паруса ладили да песенки бы свои задвенные попевали. Никому бы это в обиду! Верь ты богу! Слушай-ко!

Видал ты, как журавли да гуси летят по поднебесью? Ноги вытянут взад, крылья распустят, носы вытянут, загогочут. Артель свою на многие пары разобьют, вперед толкового вожака пустят, и — помни! — безотменно одного вожака вперед пустят,— и полетят. Знай ты это: весной эти гуси летят к северу, они летят на наше море, на острова наши, а пуще на Колгуев. По осени гогочут в небе — стало, от нашей ловитвы остаточные, в теплые страны уходить хотят. А там к весне опять прилетят к нам с новой силой своей, с первачками — выводками. Нашему брату то и на руку. Вот почему мы очень больно любим Колгуев: нам он пуще Моржовца, Вайгача да и Матки самой, потому ближе да и повадливее.

К показаниям мезенцев можно прибавить еще то в особенности существенное и едва ли не главное, что остров Колгуев можно считать более гостеприимным и удобным к заселению, чем два других принадлежащих России океанских острова: Новая Земля и Вайгач. То же самое говорят и факты: Новая Земля, доступная только летом, весной и осенью пагубна для промышленников своим скорбутом, от которого тает не одна жертва, и притом ежегодно; ни теплая оленья кровь, ни моченая морошка, ни постоянная деятельность и движение не спасают *летняков* * от смерти. Таков и Вайгач, отделенный от матерой земли пятиверстным проливом (Югорским Шаром), остров более длинный, чем широкий, утесистый, низменный, окруженный бесчисленным множеством рифов, корг, но богатый пушным зверем и перелетной птицей,— древнее святое место язычников-самоедов. Правда, что и Колгуев долгое время носил незаслуженное имя негостеприимного и также пагубного для заселения острова, но позднейшие факты решительно говорят противное. Правда, что 85 лет тому назад Бармин, архангельский купец-раскольник, выселил на собственное иждивение на остров Колгуев сорок человек мужчин и женщин, желавших основать там скит, но все переселенцы эти вымерли в один год (спаслось только четверо). Справедливо также и то, что раскольники эти большей частью были люди престарелые и принадлежали к строгой аскети-

* Все отъезжающие из домов в дальние промыслы носят название *летняков*, потому что они дальше лета не промышляют, и *разбойными людьми*, потому что промысел крупного морского зверя, как уже сказано издавна, слывет *разбойным*. Под этим именем попадается он и в старинных актах, даже времен Марфы Посадницы, Великого Новгорода.

ческой секте, допускающей, из набожности, в некоторые установленные ими месяцы прием пищи только один раз в неделю. Академик Озерецковский, сопутник Лепехина в его ученом путешествии по северным берегам России, в 1772 году встретил на реке Снопе (впадающей в океан на Канинском берегу) двух из барминских прозелитов, до того зараженных уже (до переселения еще на Колгуев) скорбутом, что «вонь из их ртов оттолкнула меня к дверям избы (как пишет автор); лица их были пребледные, крепости в теле никакой не находилось, и я с сожалением смотрел, что бедные люди пылают суеверием и на Ледовитом море». И потом далее: «Я представлял голодным раскольникам нюхальный табак, уверяя их, что он очищает грудь от мокрот, производя частое откашливание, но убеждения мои были тщетны и отвергнуты тем, что табак родился от блудной женщины, что доказывали книгою, писанной в лист полууставом, где прегрубо была изображена женщина и представлен табак, из нее выходящий».

Переселения в леса Печоры и Вычегды вообще для гонимых за раскол не были редкостью, и доказательства тому прямые — в распространении старой веры между русскими печорцами. Не один раз звероловы находили не известные никому небольшие общины. Попадалась под ноги им едва приметная тропа и приводила в чащу кустарников, на берег речки, а здесь стоит изба, и в ней живут неведомые люди, которые говорят по-русски, принимают ласково, угощают радушно и за все это просят клятвы никому об них не рассказывать. На Печоре расскажут такой случай. На том канале (называемом Екатерининским), который соединяет Печору с Волгой, у унтер-офицера пропала дочка. Пошла она в лес по ягоды гулять — и исчезла. Искали ту пропажу по болотам, по лесам, по мелким частым пескам и нашли ее в той избе, на которую натолкнулись лесные промышленники. Дело огласилось. Земское начальство пустилось в поиски по замеченной тропинке; избу нашли, беглых поймали, а девица сгинула — пропала. Узнали еще, что отшельники жили в изобилии, сеяли хлеб, садили огород, имели скот и, видимо, находились в общении с другими общинами.

На Колгуеве живут более ста самоедов, лет пятьдесят назад тому выселившихся сюда или на правах оленных пастухов по найму от мезенских богачей, или, наконец, по доброй воле (хотя это, впрочем, и меньшая часть). Переселенцы эти прекратили всякое сношение с материком и уже успели значительно обсемениться. Посещавшие остров береговые жители видели там и грудных детей, и подростков, не замечая в них никаких проявлений особенных болезней (кроме свойственных всему самоедскому племени оспы и сифилиса). На себе самих они не испытывали ни малейшего признака всегда ненавистной и всегда погибельной цинги, но даже, вернувшись домой к осени, неизбежно встречали такого рода приветствие:

— Разнесло тебя, сват, раздробило; уж и впрямь сказать, тебе одно надобно: либо с Мурмана тебя принесло, либо с Колгуева. Хорош островок — дай ему, господи, многие годы!..

Все благоприятно на нем: высокое, скалистое положение острова, пять значительных по величине рек с пресной водой (Великая, Пушная, Кривая, Васькина и Гусиная), также несколько пресных озер близ середины острова и самая середина эта, значительно поднятая над окрайными берегами, стало быть, обусловливающая постоянно передвижение воздуха морскими ветрами, отсутствие значительных по высоте скал, громоздящихся на других островах плотными стенами, допускающими частый застой воздуха, который заражается там летней порой зловредными испарениями гниющей морской туры (морского гороха); наконец, сильное течение океана, прямо направляющееся мимо этого острова на Новую Землю. Все эти видимые причины обусловливают возможность существования на острове Колгуеве жителей. Правда, впрочем, и то, что не удивят, не обессилят привычного самоеда никакие физические невзгоды и лишения, если же он из веков сумел приноровиться к своему дымному чуму. В нем, лежа перед разложенным в середине костром, нагревает он один бок и в то же время студит другой: полежит и повернется.

Мезенские промышленники, одинаково привычные и к чистой, теплой деревенской избе, и к самоедскому чуму, живут на Колгуеве только летом. Правда, что и для них, как и для самоедов, по колгуевской тундре растет несметное множество морошки и настоит тяжелый труд, требующий напряжения физических сил и усидчивой работы. Во всяком случае Колгуев — весьма гостеприимный, далеко не погибельный в ряду других островов нашего Северного Ледовитого океана.

Если самоедские семьи удерживают на Колгуеве богатство оленьего моха, выстилающего все покатости острова, и, стало быть, легкая возможность прокармливать оленьи стада, вывезенные сюда из мезенской тундры,— то мезенских промышленников влечет Колгуев богатством перелетной птицы, в несметном количестве наполняющей его.

— Если бы вся-то округа наша приехала сюда и все бы суда свои, и крупные и мелкие, привела с собой, то и того бы на всех хватило. Таково обилие птицы всякой на острове этом! — говорили мне все мезенские поморы в один голос и как будто сговорившись.

— Ездим на Колгуев артелью, ездим и в одиночку, как кого бог надоумит. На то у всякого свой царь в голове; это известно,— рассказывали мезенцы.

— Лодку обряжаем мы на ту пору не с большим запасом, меньше новоземельского, потому на Колгуеве самоед живет, и плохой у них тот человек, который оленя поскупится для гостя зарезать — заедят все другие. К тому же у нас с ними таков уговор и обычай, чтобы каждая артель по бочке соленых гусей на харчи самоеда, при отъезде домой, беспременно отдавала. Так уж и ведем с коих пор.

— Ну вот, едем мы, значит, на Колгуев греблей, либо бежим паруском — как кого господь взыщет. Слушай: море тебе либо

тишью да гладью отдает, либо вольненькой, легонькой морянкой в бока поталкивает, а не то и всем взводнишшом мотает, словно со зла да на смех.

Слушай опять: нашему брату это горе — лихая потеха, без нее нельзя, мы уже с ней свычны от той поры, как на дыбках стояли, а без матери и пищи насущной промышлять могли. Едем мы на Колгуев день, едем другой,— а чего боже сохрани! — и третий, особо если в гребле идешь от самого матерого берега: небо тебе сверху, небо с боков да море — наше поле. Ничего не видать кругом, словно и свет-то тут весь к исходу подошел, словно и конец его там и нет тебе дальше никакого спасенья. От скуки хлебца потреплешь, семушки поешь, коли есть она у тебя да не забыл ты ее прихватить с собой. Ладно! Поешь, значит,— насытишь свою утробушку богоданную, перекрестишься раз, другой, третий, ребят чередных в веслах оставишь, сам на боковушку ляжешь, соснешь, сколько сил твоих хватит: хорошо же ведь это, благодатно на ту пору бывает. Верь ты в этом слову моему нелживому! Скуки мы тут никакой не замечаем и вспомнить-то об ней и в ум не приходит. Право, так. Ладно, ну! слушай же дальше.

Едем опять, позевываем, разговор — какой наклюется — ведем, в лихой час и песню рявкнем всей-то артелью, ведем ее, сколько опять-таки нашей силы хватает. Бывает же и эдак: что пред тобой грех-от этот таить! Едем, едем: Колгуев запримечаем, словно камень какой вдалеке,— радуемся. А камень этот в неделю только и обегаем вокруг на лыжах; верст же ста три с половиной легко тут, большой остров, из самых больших — в этом и спору быть не можно. Едем мы опять-таки, стало быть, все ближе да ближе; речонки его, что в море выбежали, камни поодиночке, чум какой — все видим, все богатство его великое видим, все до пустяка последнего: тальничек его — лес дремучий, что от земли поднялся на пол-аршина да и зачах на века вечные, не пошел выше; морошку видим, что во все лето созреть иным годом не успевает; самоедскую рожу видим. Стой, значит, братцы, приехали; молись богу да и ступай к знакомому самоеду оленя свежить, водкой поить крестивого. И тут опять-таки хорошо, вальяжно бывает! Не наскучил ли?

Круто оборванная речь требовала поощрения:

— Весело начал, скуки не жду. Продолжай, пожалуйста!

— Не опять ли с начала, как в сказке про белого быка, что наши старухи на печи рассказывают. Ну, ин быть по-твоему: поведу с конца. Слушай и не мешай ты мне, коли я распоясался. Таков уж человек от бытия своего, с самого с рождения. Нам ведь у моря горевать нечего. «Не унывай!» — и в Писании сказано.

Вот и приехали, и выпили крепко-накрепко, и поплясали, пожалуй: ведь без того и дела не начнешь. Выпей, опять-таки сказано, выпей, морской человек, только не пьянствуй: в пьянстве зло, а не в выпивке. Так и мы: выпить выпьем, а дело смекаем.

На ту пору... (стану я говорить, уж откашлявшись) на Колгуев птица прилетела вся и ведет безустанный крик,— в Соловецком от чаек такого не бывает! Разговору да крику дает она на ту

пору много, только привычному человеку и выносить: тут и гусь гогочет крепче всех; тут и гагка своим горлышком звонит, словно в стеклушки; тут и утка — олейка (Anas rutilia), чернет (нырок — Fuligula cristata и F. glacialis) — сычит, словно пьяный мужик с перепою. И чайку слышишь, и всех слышишь, и безотменно всему этому крику порато шибко радуешься. Так ведь и надо. Дай же я опять откашляюсь!

Слушай опять, коли нравится: известно уж, на всем нам на этом веселье одно остается: кому ружье продувать, кому в продутое заряд всыпать, а кому и правое око к прицелу да и в лютого врага-супостата. Май месяц, июнь опять берем мы эту птицу таким побытом — на стрельну, на гнездах. Кто горазд стрелять — много берет, кто послабее — ликуй, Исаия... А впрочем, всем благополучно, внакладе никто не останется. Убитую мы птицу в кучи складываем, лежит она, матушка, тухнет, коли дожди льют, а не то и сама подпревает. Нам это ничего, потому на больно-то хорошее не поважены,— едим и таких всласть да прихваливаем! Нам к душине-то этой, после мурманской трески да гридинских сельдей, не привыкать же стать. Ну вот, полежат у нас набитые гуси, подождут своего череду, когда мы стрелять поустанем или порох под исход пойдет — мы их посолим, в бочки сложим. Новинку станем отведывать — за уши тоже дерем друг друга, с приговором: все как быть по христианскому по обычаю...

Ведай же дальше вот что: перед Прокофьевым днем (в начале июля) гуси-*яловики* (бездетные) линять начинают, на самый Прокофьев день (8 июля) у них глухая лёнь бывает. Лённый гусь летать уже не может: пера на нем мало, пух словно выщипал кто. Сидит тот гусь словно обиженный, и молвы лишается, и сидит прикурнувши, прячется, и от человека таится, словно стыдно ему наготы-то своей, как бы и наш брат православный человек без малицы — решительное подобие! Вот как сел этот лённый гусь на малых озерах да пустил большое в запас, чтобы ходить туда за пищей денной,— мы порох прячем далеко, о ружьях и не вспоминаем, а беремся, вместо них, за сети. Тут уж не работа, а масленица, и дело вот какого толку и приноровки.

На всех тех переходах из малых озер в большое, где гусь ходить любит, мы распутываем сети свои, крыльями далеко по сторонам, в середине — у малых озер — воротца оставляем для входу птицы. У воротец из тундры делаем въездец такой: к озеру покатый, в середине круга крутой-прекрутой, чтобы не мог гусь драла дать назад, коли попал он, по нашему веленью, в матицу сети. Сделаем мы все это (а дело и часа времени не займет) — спускаем собак, сами шумим да лаем, чтобы знал гусь, что ему из малого озера в большое выходить надо. Тут наш брат сноровку знай: не потянул бы передовик гусь в гору, помимо сети твоей. Потянул один — за ним и все побегут (таков уж у них досельный обычай!). А побежали гуси в гору, ты за ними и на оленях не угонишься: круто (шибко) бегают. От собак бегут они в воду, от человека в воду — это тоже примета; так и знаем, а потому и творим дело с опасом, не борзяся и малым ребя-

там не подобясь. А попал один гусь в воротца, за ним и другой, и сотый побежит. Тут только прыгай за ним да лови в охапку, да отвертывай головки. А это уж малого ребенка рукоделие — легкая забава, безобидная!..

— А не побегут в воротца?

— Да на это человеку и хитрость дана, для этого человек и бородой опушается — по мне, это так, да и эдак, пожалуй, что вот есть и такие хитрые серые гуси — гуменниками мы их зовем,— что хитрей зверя трудно найти, не токма какую глупую, слабую птицу. Любит гусь этот таиться — не скоро ты его отыщешь. Да и отыщешь, дело вести с ним — не мутовку лизать.

Мы хитрую эту птицу, на лодках выезжаючи, на середину озера с опасом с великим сгоняем, да и тут он тебе козлы ставит: человека он видит, человека он за врага знает и творит с ним всякую кознь. В середину озера он нейдет, на этот раз кучевой артели до смерти боится. Мы и собак держим на этот час на привязи, чтобы не лаяли, не пугали, и веслами легонько гребем, не токма разговор, и дух-от, пожалуй, в себя вбираем. А гусь все свою жизнь бережет, все опасается, все оглядывается, все не тянет в круг. Один и на на берег выйдет, пожалуй, и все оглядывается, все человечью-то нашу хитрость ни в грош не ставит, надсмехается. А побеги он, побеги Христа ради! — все за ним, все за ним!.. хоть побожиться.

Рассказчик привскочил с места, махал руками, учащенно крестился и, не говоря уже ничего дальше, крутил только пальцами и кистью правой руки, показывая, вероятно, движением этим тот счастливый момент гусиной ловли, когда они, стянув сети, чтобы не пускать своих живых пленников обратно в воду, начнут вертеть им злополучные головки. Долго рассказчик не мог собраться с силами, продолжая крутить уже под конец обеими руками, головой и плечами, возбуждая этими движениями неудержимый общий смех.

— Гусь-*клокот* (белолобый, Anser albifrons) дурак, у того и голова-то, коли не коровья с дурости с его, так я уж и не знаю чья! — выговорил наконец рассказчик забавно прерванного им рассказа.

— Гусь-клокот,— говорил он потом,— башковатостью-то своей разве только с одной казарой спорить может (черный гусь, он же и «немок» — Anser torguatas). Эта сударыня такая несосветимая неумытная дура, что сама в наши промысловые избы заходит; да на смех мы и сами ее туда загоняем когда, от большого безделья. От слепоты ли это она дурит, с большого ли перепуга, человека-то ли она больно любит, или уж от рожденья у ней на это такая слабость — сказать не могу!

Рассказчик опять перевел дух, тем более что последние слова свои говорил он так бойко и скоро, что с трудом можно было уследить за ним даже со стенографом.

— И вот! — продолжал он, охорашиваясь и несколько с торжественным видом, высоко поднявши голову.— И вот, ваше высо-

кое благородие, не торговый ты человек, мой гостенек дорогой! — вывозим мы с Колгуева острова гусей этих самых, по общей сметке, сказывают, сто тысяч штук. А могли бы и больше — ну, да это ладно! об этом я тебе и вспоминать больше не стану, а поведу тебе речь свою к концу и на пущую докуку о том, что на наш Колгуев еще груманские гаги прилетают, и зовем мы их турпанами (Oedima nigra, нырок, синьга). Это — не то тебе утка морская (каумбах), не то настоящая гагка, а прилетает ее на Колгуев несметное тоже число. Садятся они больше на летней (южной) стороне, на мелях Кривачьих или Тонких Кошках (корги-то эти и море почесть никогда не топит, не заливает водой). Сидят они тут, не кри́чат в кругах, а выгонишь их в гору к сетям — бегут недолго, сейчас отдохнуть сядут, потому больно жирны и пахнут. Тут их не стреляй, а то все в растеку ударятся, а гони опять: безотменно в сети попадут, ингодь тысяч пять, а не то и все пятнадцать за один раз. Щипать их только трудно бывает после: твердо, туго, докучливо, опять-таки оттого, что крепко жирны *. Чем больше лодок пущаем в ход, тем и удачи больше имеем. Тут вся хитрость подогнать их к берегу, не пускать в голомя. А затем угодишь собрать их в табун и — погонишь. Бегут они, с боку на бок переваливаясь, боковые покружатся около середних да и устанут, и эти сядут. А там только отделяй в кучи шестами по участкам да и гони потом, в какую сеть пожелаешь. Идут охотно, без разговоров, словно человек из бани вышел, да крепко запарился, да на печь полез спать после того и разговору держать никакого не может. Верь ты и в этом моей совести, как своей: врать мне не из чего! Берем мы с гагар и гагки (она же и гавка, и даже гагун,— Somateria molissima) этой опять подать яйцами. Яйца кладут они на воду на мелкое место, на холмушки, на травничек. Тут и собираем, и едим в отменное свое удовольствие. Гагар мы, пущай, и не бьем, потому гагара крепко рыбой пахнет.

— С гагарами уж самоед расправляется **. Это уж ихнее

---

* Известно также, что знаменитый гагачий пух сбирается нашими поморами в гнездах, которые и выстилает птица этой пушниной. Гагачий пух имеет, впрочем, то неудобство, что, худо вычищенный, в излишке пропитанный жиром, он скоро скатывается в плотный войлок. В иной год его добывали до 60 пудов.

** Крикливая гагара (Uria troile) замечательна еще тем, что дает со спины и с брюха легкие, мягкие, теплые белые шкурки, из которых туземцы делают меха для шубок, душегреек и салопов. Из шеек гагар (сизых с белыми крапинками, расположенными четырехугольником в середине) делают также род птичьего меха, употребляемого на шапки, муфты и т. п. Мех этот красив и оригинален, и, сверх того, на дожде и снегу непромокаемый, делается еще красивее, еще чище и сизее (см. также статью «Печорский князь»). Ее не следует смешивать с той «гагаркой» (вшивкой, Colybus anritus), которая слышна и видна на озерах близ Северной Двины, с длинной шеей, рогастой головой и несоразмерными с туловищем крыльями. Про нее рассказывают, что будто бы, прилетая ранней весной, когда на полях и лугах стоит еще вода, она вьет гнездо на кусту и к нему привязывает его на свитой из прошлогодней травы длинной веревке. Гнездо, конечно, плавает, хотя и привязанным, и в него она кладет яйца. Когда вода сбудет, гнездо опустится на сухую землю.

дело. С тем и будет! — кончил речь свою рассказчик, закруглив ее, по обыкновению всех своих земляков, долгим и низким поклоном.

— Что же затем еще есть у тебя?

— А затем и их щиплем, и их солим, что и гусей же. Штук по сту, по полутораста в одну бочку прячем. С тем и в торговлю пускаем, а дальше тебе и сказывать нечего!..

Дальше сказать можно еще то, что дурной, скудный посол, хотя и хорошей заграничной солью, а главное при этом — неопрятность и крайняя небрежность и неуменье, делает из этих жирных и вкусных гусей такой скверный продукт, который и разит неприятным запахом псины, и на вкус отвратителен для всякого непривычного человека. Не в особенном почете колгуевские гуси и у туземцев, хотя и считаются праздничным блюдом. Богатые ижемцы, например, даже не едят их, а в Архангельске те же гуси, свезенные на мезенских лодьях для продажи, раскупаются только бедным, неприхотливым соломбальским и кузнечевским населением города, по самой дешевой, почти баснословной цене (по 6 и по 7 коп. сер. за штуку). Причину всего этого надо искать в том давно установившемся и, по несчастью, еще справедливом до сих пор мнении, что и помор архангельский, так же как и всякий другой русский человек, на трех сваях стоит: «авось», «небось» да «как-нибудь»; хотя тот и другие давно и хорошо знают, что знайка бежит, незнайка лежит, что во всяком деле почин дорог. Архангельцы стали же в последнее время высылать в столицы и хорошую рыбу, и хорошо просоленных сельдей.

Между тем Колгуев и кроме птицы богат очень многим. Мезенцы ограничиваются почти исключительно добычей гусей, морских уток и гаги, пух которой по осеням убеляет все южные склоны островных холмов. Печорцы промышляют тут песцов и волков, имеют здесь часть оленей; остальные промысла предоставляются уменью и толку самоедов. Эти стреляют по берегам нерьпу, которая любит понежиться одинаково и на льдине, как и на шероховатом оголяемом в морской отлив камне, и моржей, морских зайцев (Phoca barbata, с более длинной и густой шерстью, чем у нерьпы), которые, хотя и редко, но выстают и здесь, так же как и на Новой Земле. Неводят самоеды и жирных, всегда прибыльных белуг, хотя большая часть этого корыстного, сального зверя ускользает от рук и угребает потом и к полюсу, на свободу, и в Белое море, в более опытные и навыкнувшие в деле руки. Рыба, изобильно населяющая островские реки и озера, как, например, гольцы, сиги, омули и кумжа (форели), вылавливается исключительно для местного употребления и, во всяком случае, во всякое время способна обусловливать в известной степени и существование переселенцев, и возможность дальнейшего посещения этого острова береговыми соседями его. Дикий лук и щавель, клюква и морошка, топливо, в избытке выбрасываемое морем на островские берега, служат немалым подспорьем ко всему вышесказанному, чтобы окончательно увериться в возможности дальнейшего заселения Колгуева. Ошкуй (белый мед-

ведь) часто, правда, бродит по острову и творит свои неладные медвежьи штуки, но против него найдется и горячая пуля, и меткий выстрел, и верный взгляд. Дикие олени, в свежем их виде, дают вкусную и здоровую пищу. Множество песцов и лисиц, издавна сделавшихся уже аборигенами здешних хотя и пустынных, но здоровых климатом мест, могут служить целью небезвыгодной и нетрудной ловли. Впрочем, все-таки на Колгуев приезжает немного: не более 50—60 промышленников, но и тем одних гусей удается вывозить штук до 100 тысяч да от 70 до 100 пудов гусиного и утиного пуху, пудов 50 мелкого перья, штук до 400 лебяжьих шкурок.

Кривая река и Гусиная давно уже известны мезенцам как довольно удобные становища для судов; а губа Промой, далеко врезавшаяся узким рукавом своим в остров, также давно уже служит безопасным рейдом для самых крупных беломорских судов, каковы лодьи и шкуны.

Ждет ли остров Колгуев (для того, чтобы приносить собой большие выгоды туземному краю) честно задуманной, умно поведенной кампании, или его также постигнет такая же плачевная участь, какую несет от русских промышленников богатый, хотя и дальний Шпицберген,— решить не беремся. Во всяком случае, по всем слухам, по общему мнению и по личным соображениям, Колгуев далеко не того стоит, во что сумели оценить его до настоящего времени все знающие и посещавшие его. Жаль, если какая-нибудь предприимчивая и понимающая дело компания не удержит мезенцев от береговых промыслов, которые успели уже приучить их к лени и к какой-то апатии, особенно если принять в соображение слобожан (жителей города Мезени) и соседей их к югу по реке Мезени. Пример на глазах: богатый Шпицберген (Грумант по архангельскому наречию) брошен русскими в добычу голландцев и норвежцев, которые выбивают там и китов, и огромные юрова (стада) моржей, и белуг, и других крупных и мелких зверей. Крайняя ли отдаленность этого острова (более 600 верст от берега), нездоровый ли климат его, несчастные ли попытки туземцев, из которых самая последняя огласилась на всю Россию неслыханным в тех местах кровавым преступлением *,— причиной этому, но, во всяком случае, Шпицберген уже не посещается русскими промышленниками. Словно путь к нему зачурован и заказан вперед на неисчетные годы.

Только песня одна, нехитро сложенная, хотя все-таки оригинальная сама по себе, может быть, будет ходить в народе, а может быть, и забудется так же скоро, как забыли поморы путь на давно знакомый им Грумант. Случайно попалась песня эта в мои руки от одного из мезенских стариков. Спешу привести ее здесь всецело, со всем ее нехитрым, доморощенным складом и смыслом.

---

* Происшествие это, со всеми своими ужасающими подробностями, своевременно объявлено было в «Морском сборнике» (1853 г., т. IX, № 6), и потому повторять его теперь было бы совершенно излишним.

Уж ты, хмель, ты, хмель кабацкой,
Простота наша бурлацка;
Я с тобою, хмель, спознался,
От родителей отстал,
От родителей отстал —
Чужу сторону спознал.
Мы друг с другом сговорились
И на Грумант покрутились:
Контракты заключили
И задатки получили.
Прощай, летние гулянки:
Под горою стоят барки!
Мы гуляли день и два,
Прогулялись донага.
Деньги все мы прогуляли;
Наши головы болят,
Поправиться хотят.
Мы оправиться хотели,
Но у коршика спросились;
Коршик воли не дает,
Нас всех на лодью ведет.
Якоря на борт сдымали,
Паруса мы подымали,
Во поход мы направлялись,
Со Архангельском прощались:
Прощай, город Архангельск!
Прощай, матушка-Двина!
Прощай, бражницы-квасницы
И пирожны мастерицы!
Прощай, рынок и базар!
Никого нам здесь не жаль.
Уж мы крепость * проходили,
До брамвахты доходили.
На брамвахте прописались,
В Бело море выступали.
Бело море проходили,
В океан-море вступили;
Океан-море прошли,
До Варгаева ** дошли.
Мы на гору выезжали,
Крепка рому закупали;
Мы допьяна напивались,
Друг со дружкой подрались.
Уж мы на лодью пришли,
Со Варгаева пошли.
Прощай, город Варгаус,
Нам попало рому в ус!
Прощай, бирка с крутиками,
Село красно со песками!
До Норт-Капа мы дошли;
Оттуда в голомя пошли;
До Медведя *** доходили,
И Медведь мы проходили;
Больши льды вдали белеют,
И моржи на льдах краснеют.
Заецы **** на льдах лежат,

* Новодвинскую, расположенную в 17 верстах от города Архангельска, на восточной стороне, близ березовского устья р. Двины.
** Вардэгуз — небольшая норвежская крепостца.
*** Медведь-остров.
**** Конечно, морские (Phoca leporina s. barbata).

Нерьпы * на лодью глядят.
Во льды мы заходили,
И между льдами мы пошли.
Еще Груманта не видно,
А временятся Соколы **.
Мы ко Груманту пришли,
Становища не нашли, —
Призадумались немного;
Тут сказал нам коршик строго:
«Ну, ребята, не робей,
Вылезай на марса-рей;
И смотрите хорошенько!
Что мне помнится маленько:
Этам будто становье,
Старопрежно зимовье!»
«Ты правду нам сказал! —
Марсовой тут закричал
И рукою указал: —
Мандолина против нас,
И в звворот зайдем сейчас ***.
В заворот мы заходили,
В становье лодью вводили,
Чтоб зимой тут ей стоять,
Нам об ней не горевать.
Тут на гору **** собирались,
Мы с привалом поздравлялись;
В становой избе сходились,
Крестом богу помолились;
Друг на друга мы взглянули,
Тяжеленько воздохнули!
«Ну, ребята, не тужить!
Надо здесь зиму прожить.
Поживем, попромышляем,
Зверей разных постреляем!
Скоро темная зима
Проминуется сама;
Там наступит весна-красна, —
Нам тужить теперь напрасно».
И, бросивши заботу,
Принялись мы за работу:
Станову избу исправить,
Полки, печку приналадить,
От погод оборониться
И теплее согреваться.
А разволочные ***** избушки
Строить, будто как игрушки,
Научились мы тотчас.
Поздравляю теперь вас!
По избушкам потянулись,
Друг со другом распростились,
И давай здесь зимовать,

---

* Обыкновенный тюлень (Phoca vitulina s. annellata).

** Грумантские (шпицбергенские) горы. Временятся — по временам показываются еще тускло, как бы в тумане, по зависимости от преломления лучей в воздухе. Предметы отдаленные приближаются либо изменяют свой вид.

*** Эти последние строки, несмотря на всю наивность формы, имеют тот многознаменательный смысл, что поморы, имеющие плохие карты и матки (компасы), ездят большей частью *по своей вере* (говоря их выражением), т. е. по приметам, на память, а стало быть, и всегда наугад. Так, по крайней мере, действуют они с первого дня своего политического существования.

**** На берег.

***** Промысловые.

Промышлять, зверей смекать *
По избушкам жить опасно,
Не пришла бы смерть напрасно.
Мы кулемки ** становили:
Псечей черных наловили,—
А оленей диких славно
Мы стреляли преисправно.
Белой ошкуй господин —
Он к нам часто подходил,
Дикарино мясо кушать
И у нас в избах послушать,
Что мы говорим.
А мы пулю в бок дадим,
Да и спицами *** в конец
Заколаем наконец.
Медведь белой там сердит,
Своей лапой нам грозит
И шататься не велит.
Там без спицы мы не ходим:
Часто ошкуя находим.
Темну пору проживали,
Николи не горевали;
Как светлее стали дни,
С разволочных потянулись,
В станову избу пришли —
Всех товарищей нашли.
Как великий пост пришел —
Слух до всех до нас дошел,
Как моржи кричат, гремят,
Собираться нам велят.
Карбаса мы направляли,
И моржов мы промышляли
По расплавам и по льдам,
По заливам, по губам
И по крутым берегам.
И моржов мы не боимся
И стрелять их не стыдимся.
Мы их ружьями стреляли,
И носками принимали,
И их спицами кололи,
И вязали за *тинки* ****.
Промышляли мы довольно
И поехали на лодью;
Лодью мы нагрузили
И отправились мы в ход,
С Грумантом прощались:
Прощай, батюшка, ты, Грумант!
Кабы больше не бывать.
Ты, Грумант-батюшка, страшен:
Весь горами овышен,
Кругом льдами окружен.
На тебе нам жить опасно —
Не пришла бы смерть напрасно.

---

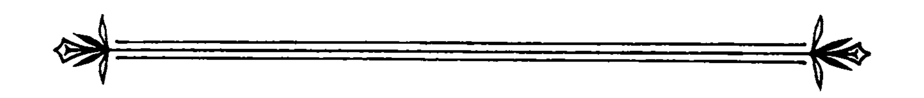
* Искать и ловить.

** Ловушки для мелкого зверя, как-то: лисиц, песцов, куниц, горностаев, выдр и проч.

*** Рогатина — копье, даже в иных случаях — род багра с острием и зазубриной или крюком ниже острия. Впрочем, багор этот чаще носит название *носка*.

**** Клыки.

Приводя эту длинную, наивную по своей форме песню, мне все-таки кажется, что и сквозь простые, нехитрые слова ее и подражательный размер (веселого и скорого напева) можно видеть горькие слезы скучного одиночества — бог весть в каком месте, решительно на краю света, те горькие слезы, которые доводится испытывать только на море, когда на волоску висишь от смерти, когда, забывая все остальное, видишь и бережешь только одного себя. Нет для берегового человека лучших поговорок, как: «хвали море, а сидя на берегу,— с моря жди горя, а от воды беды», и все-таки, оттого, что «дальше моря, меньше горя...».



V

БЕРЕСТЯНАЯ КНИГА

Береста, собственно верхний светлый слой, наружная оболочка березовой коры, имеет, как известно, огромное приложение к практической жизни простого русского человека. Она представляет легкий, подручный и удивительно пригодный материал под названием скалы — для растопок печей, теплин — на пастбищах, овинов — по осеням, на исподнюю покрышку кровель вместо леса, под тес, на обертку комлей столбов для охраны от гнилья и проч. Береста, с другой стороны, служит дешевым и удобным материалом для разных поделок, необходимых в домашнем быту. Если следовать строго систематическому порядку постепенности в описании всех практических применений этого продукта, имя которого стоит в заголовке этой статьи, то как на первообраз этого применения можно указать на те самоделки-ковшички, которых так много плавает во всех придорожных ключах для услуги утомленного летним зноем путника, не всегда запасливого, хотя подчас и сметливого. Второй вид применения бересты, естественно, тот сосуд, который так пригоден и в дальних странствиях на богомолья, и в ближних на страды и годовые праздники и в котором пригодно держится в деревнях и сотовый мед, и густая, вкусная брага, в котором, наконец, привозятся в столицу национальные лакомства, будет ли это уральская икра, или лучший вятский (сарапульский) мед, или даже каргопольские соленые рыжики и ярославские грузди. Сосуд этот зовется бураком в средней и южной части России, и туесом — по всему северу и по всему сибирскому краю. Ступанцы — те же лапти, только не липовые (не лыковые) и не веревочные, шептуны, служащие простому народу вместо туфель,— всегда целыми рядами видны в любой крестьянской избе под печными приступками подле голбца, плетены всегда из лент бересты. Ступанцы эти, как туфли, надевает и баба, идущая из избы загонять в загороды коровушек и овечек, и мужик, которому надо проведать коней, наколоть дров, накачать воды из визгливого колодца. Берестяные же плетушки — саватейки, содержащие внутри себя всю необходимую подручную лопоть (одежду и белье), торчат сзади, на спинах всех тех странников — калик перехожих, которые можно видеть значительными толпами и по троицкой дороге за Москвой, и в уродливых лодьях на Белом море между Архангельском и Соловками. Они же торчат

и за плечами бродяг, толпами идущих из Сибири в Россию, с каторжной неволи на лесное и степное приволье. Из той же бересты сшивают тунгузы конскими волосами свои летние юрты — *урусы*. По Ветлуге (в Костромской губернии) береста породила новую и довольно значительную отрасль промышленности: там из бересты гнут круглые табакерки-тавлинки, которые, с фольгой по бокам и ремешком на крышке, обошли всю Россию, удовлетворяя неприхотливому вкусу небогатых нюхальщиков. Один из умерших уже в настоящее время мастеров своего дела, в первых годах настоящего столетия, в одном из дальних и глухих мест нашей России, делал для себя и по просьбе коротких знакомых целые картины и портреты, вырезая и оттискивая их рельефом на той же бересте *. На этом, по-видимому, и должна остановиться всякая иная попытка к усовершенствованию и дальнейшему приложению такого грубого, но прочного материала, какова береста. Но мне удалось в мезенских тундрах найти новую редкость, указывающую на то, что береста может служить материалом для составления целых *книг*, и если не вовсе может заменить бумагу, то, во всяком случае, и легко, и удобно служит заменой ее в крайних случаях при ощутительном недостатке.

Живущие в тундре (*в оленях* — говоря местным выражением) по целым годам удалены бывают от людей и всякого с ними сообщения за непроходимыми болотами летом, глубокими и непроезжими снегами — зимой. Скитаясь, по воле и капризам оленей, с одного места на другое, живущие в тундрах (даже и русские) привыкают к однообразной жизни и разнообразят ее только охотой с ружьем, с неводами, с капканами и проч. Но бывает и так, что судьба и обстоятельства загоняют в тундру и тех из русских, которые привозят с собой грамотность, так значительно развитую в тамошнем краю, забывая часто бумагу. Изредка (в год, в два — раз) наезжающие из *Городка* (Пустозерска), по пути на пинежскую Никольскую ярмарку, привозят с собой только чай, кофе и сахар; предметам письменности тут нет места. Между тем темные осенние и зимние ночи с коротеньким просветом способны нагонять и на привычного человека тоску и скуку, которые были бы безвыходны, если бы и здесь не явились на помощь грамотность и уменье писать.

Из пережженной березовой корки делается клейкая сажа, которая, будучи разведена на воде, дает довольно сносные чернила, по крайней мере такие, которые способны оставить очень приметный след по себе, если и обтираются по верхнему слою. Орлы и дикие гуси, которых много по тундре и которым трудно улететь от меткого выстрела привычных охотников, дают хорошие перья. А вот и подручная, всегда удобно обдирающаяся по слоям береста, кото-

* Автор этой статьи видел два портрета его работы, замечательные по чистоте, оригинальности отделки и по разительному сходству: портреты фельдмаршалов Кутузова-Голенищева Смоленского и Барклая-де-Толли, вырезанные художником в 1820 году.

рую можно и перегнуть в страницы и на которой можно писать и скоро, и, пожалуй, четко *.

Беру отрывок из путевых заметок, и именно то место, где вписались подробности приобретения этой редкости.

...Едва только аргиш ** наш успел остановиться, олени повернулись в левую сторону и стали как вкопанные. На крыльце высокого, по обыкновению, двухэтажного дома показался человек, окладистая седая борода которого, резко отличаясь от серого воротника оленьей малицы, бросилась в глаза прежде всего и необлыжно свидетельствовала о том, что борода эта принадлежала самому хозяину. По обыкновению высокий и широкоплечий, старик этот не представлял, по-видимому, ничего особенного: та же приветливая, полунасмешливая улыбка, свидетельствующая о том, что старик рад нежданному гостю, та же суетливость и предупредительность в услугах, с какими поспешил он отряхнуть прежде всего снег с совика и с какой он наконец отворил дверь в свою чистую гостиную комнату, приговаривая:

— Просим покорно, просим покорно! Не ждал, не чаял — не обидься на нашей скудости. Милости просим, богоданный гость!

Все, одним словом, по обыкновению, предвещало и впереди тот же неподкупно радушный прием, с каким встречает русский

---

* Считаю нелишним коротко проследить исторически и постепенно за совершенствованием материалов для письма. Камень — первый из них, таковы скрижали закона Моисея [12] (за 2995 лет до Р. Х.), памятники египетские, индийские, мексиканские, тмутараканские, оршинские и двинские; затем дерево — таковы русские образа и кресты, законы Солона [13], римские tabulae (впоследствии вощеные ceratae, cerae), история Гезиода [14] писана на свинце. Сивиллы [15] писали свои пророчества о судьбах народа на *пальмовых листах* (у индийских браминов французский турист Лавелле видел целую книгу из пальмовых листьев). Сиракузские судьи имена изгнанников писали на *оливковых листах.* При Александре Македонском делается известен *папирус* — нильское растение biblos. Птолемей Филадельф [16], основывая Александрийскую библиотеку, приказывал уже все книги писать на папирусе и запретил вывоз его из Египта, когда Евмен [17], царь пергамский, начал основывать в своей столице новую библиотеку — соперницу Александрийской. Евмен придумал новый материал из звериных кож, выделанных по особому способу и получивших название, по столице царства, — *пергамента.* Этот материал сделался более употребительным и распространенным до тех пор, пока не сделалась известна бумага, образцы которой впервые были привезены в 1470 году двумя испанцами с Востока (вероятно, из Китая). Мексиканцы, извещая Монтезуму [18] о прибытии испанцев, послали ему *полотно*, на котором в лицах, рисунками, было изображено это происшествие. У греков существовал, хотя и незначительно распространенный, род бумаги из листов внутренней древесной коры и значительно сходен с charta bombicina — род бумаги, приготовленной из хлопчатой бумаги. Шелковые и бумажные ткани, слоновая и другая кость, рассматриваемые как материалы для письма, относятся уже к позднейшим временам, когда значительно развилась письменность, когда уже человек не мог затрудняться в выборе материалов для этой цели. В подобных попытках стали видеть только простые изобретения, которые, делая честь сметливости и находчивости их изобретателей, в деле письменности не произвели значительных улучшений и переворотов. Сюда же мы относим и значение *бересты.* Бумага получила полное и неотъемлемое, вполне заслуженное ею право гражданства и повсеместного употребления.

** *Аргиш* — поезд в 5—10 санок оленьих. *Чунка* — санки с высокими копыльями и оленьей веревочной упряжью.

человек всякое новое лицо — нежданного, потому, стало быть, еще более дорогого гостя.

Старик и в комнате продолжал суетиться: помогал стаскивать совик, советовал поскорее сбросить с ног пимы и липты *, тащил за рукава малицу, вытребовал снизу старшего сына, такого же рослого и плечистого богатыря, и велел ему весь этот тяжелый, неудобный, но зато страшно теплый самоедский наряд снести на печь и высушить.

— Чай, не свычно же твоей милости экую лопоть-то на себе носить, тяжело, поди!

— Ничего, старичок, попривык!

— Тепла ведь, больно тепла, что баня! Озябли эдак руки-то — спустил рукава да и прячь их куда хочешь: под мехом-то им и не зябко. Затем и рукава под мышками мешком, пошире делают. Мы вон малицу эту и по летам почесть не скидаем — все в ней.

— Надевать-то уж очень трудно, видишь, с полы надо, как стихарь. Распашные лучше, по̂ мне, а то чуть не задыхаешься!

— Да уж надевать, знамо, привычку надо: мы так вон просунем голову — и был таков! У вас ведь там, в Расее-то, все, слышишь, распашные.

— Все распашные: тулупы, полушубки, шубы, шинели, пальто.

— В наших местах они не годятся: не устоят! У нас тянут и̂ну пору такие холода, что нали руду носом гонит, а дышим — так все под ту же малицу, весь в нее прячешься, и с носом, и с глазами: такие страшные холода стоят! А вот ведь без оленьего-то меху что ты поделаешь?

— Теплый мех, старичок, очень теплый и мягкий такой, а, пожалуй, и не слишком тяжелый.

— Одно, вишь, в нем не хорошо: мокра не терпит; промочил ты его в коем месте, так и норови скорее высушить, а то подопреет мездра и всю шерсть выпустит: не клеит, стало, не держит! Ну, и дух дает тоже...

— Шевелись же, ребятки, шевелись — давай самовар поскорее! — прикрикнул он на своих сыновей, из которых трое были налицо и тоже пришли посмотреть и поклониться новому, незнакомому человеку.

Явился самовар, против обыкновения, довольно чистый и, по обыкновению, большой — ведра в полтора. Старик, предоставив старшему сыну распоряжаться чаем, сам скрылся и пришел уже в синей суконной сибирке, по-праздничному, и с бутылкой вина в руках.

— С холодку-то, ваше благородье, ромцу не хочешь ли? — пособит. Из Норвеги возят наши поморы. Хорошее вино, не хвастаясь молвить: из Слободы вредкую чиновники наезжают — хвалят.

Два сына явились между тем с тарелками, на которых насы-

* *Пимы* — сапоги, а *липты* — чулки из оленьего меха, преимущественно из камусины или шкуры, снятых с оленьих ног.

паны были общие поморскому краю угощения: на одной медовые пряники, на другой кедровые орехи, на третьей баранки.

Начались потчевания, раза по два, по три, почти через каждые пять минут.

— Спасибо, будет! — взял уж, будет с меня!

— Бери, ваше благородье, не скупись: добра экого у нас много; у чердынцев почесть возами покупаем на целый год. Орешки-то вон эти на безделье очень забавны. Дела-то ину пору нет, скламши-то руки сидеть несвычно: возьмешь вон этих орешков — щелкаешь их помаленьку, ан словно и дело делаешь, а время и идет тебе не в примету. Прекрасная забава!

Началось угощение чаем, густым, как пиво; но старик не с того начал:

— Садись, ваше благородье, вон под образа-то; сделай милость!

— Спасибо, старик, все ведь равно: мне ловко и здесь!

— Нет уж, сделай милость, садись в передний угол, не обидь!

— Не хлопочи, старик, и здесь также хорошо: стакан есть куда поставить...

— Нет, да уж ты не обессудь нашу глупость: садись в большое место — гость ведь... У нас, твоя милость, таков уж из веков обычай, коли и поп туда засел, да нежданный гость пришел на ту пору — мы и попа выдвинем. Нежданный гость — почестен гость! Да что это я твою милость не спрошу, как тебя величать-то? благородный ты или высокоблагородный?

— Все равно, старик, как хочешь.

— Нет уж, коли есть разнота эта, пошто не по-нашему?

— Имя ведь есть у меня, а то зачем нам чиниться: в гостях ведь я у тебя, не следственные допросы отбираю?

— Да ведь как кому? новой (иной) вон и обижается, коли не чином его взвеличаешь — оговаривают. Так уж и зовем всех высокоблагородными — и не обижаются. Как же имячко-то твое святое?

— Сергей, старичок!

— Слышь, Мишутка, поищи-ко там у меня в акафистах акафист Сергею Радонежскому [19] да положь там к божнице! — обратился он к одному из сыновей и потом ко мне:

— Ужо на молитву к ночи встану: прочитаю. Его, стало, святыми молитвами мне бог ноне гостя послал; он вымолил...

Когда именинник-то бываешь: по лету али по осени? родился-то на этот день али пораньше? Тропарь... постой, тропарь-то ему как! Да: «Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа-бога...» — знаю. Да, великий был постник, великий подвижник и воин по бозе: еще был в чреве матерне — три раза проглаголал в церкви, по рождении в пятки и среды не вкушал матернего молока в знак великого своего постничества, от мира бегал и в пустыне водворихся, чаях бога, спасающаго от малодушия и бури житейския,— продолжал, как бы про себя, рассуждать старик, подтверждая то мнение, которое составилось о нем и в ближних, и дальних местах печорского края. Говорили, что старик читает много и знает

много, что такого книжника не найти нигде во всем архангельском краю, что он самый сведущий из той семьи стариков, почти вымершей в настоящее время, которая, состоя при Соловецком монастыре в обязанности штатных служителей, знала церковный устав лучше монахов, образовывала клиросный хор. К опытности этого старика обращался первый архимандрит, составивший певческий хор из монашествующей братии, до того не участвовавшей на клиросе. Но главное, что особенно могло влечь к беседе со стариком, это именно то, что он знал много о старине архангельского края, тщательно собирал и берег как зеницу ока старину эту и в памятниках письменности: в старинных грамотах, сказаниях, книгах — и был обладателем единственной библиографической диковинки, о которой ходили какие-то смутные слухи. Старик показывал ее только коротким и близким землякам, но прятал от всякого незнакомого, чужого глаза. Все предвозвестия были вообще неблагоприятны. Личный опыт был тоже не на стороне успеха в настоящем деле: архангельский люд уже осмотренной западной части губернии доказал на деле какую-то замкнутость и поразительную скрытность в сообщении пустейших даже сведений о своем житье-бытье. На все вопросы у всех был один ответ: «Страна наша самая украйная, у край моря сидим; люди мы темные, дураки, грамоте и маракует кто, так и то через пень в колоду; рыбку вон сетями разными промышляем; тоже опять суденушки строим, а то мы люди темные, какие уж мы люди — самые заброшенные; никакого начальства большого не видим, рыбку вон ловим, суденушки строим...»

Со стариками-кремнями было еще труднее водить дело: спросить о старине и прямо начать говорить о деле — испортить дело навсегда: он окончательно запрется и станет на одном, что он «человек темный и вести дело с большим начальством несвычный; старины придерживается по привычке только, а не со злого какого умысла».

Повсеместный ли раскол, частые ли разыскания беглых из Сибири в местах беломорских со всеми неблагоприятными, запугивающими острастками со стороны неопытных следователей причиной всей этой скрытности — решить трудно. Можно положительно и наверное сказать одно только, что и будущему собирателю всяческих сведений предстоит такая же неутешительная и обидная трудность, с какой боролся и пишущий эти строки. Одна надежда, единственная возможность услышать кое-что, найти что-нибудь — случайность и крайнее уменье, приноровка к делу. Легче объехать всю почти непроходимую Архангельскую губернию в полгода и в летнюю пору, чем собирать все народные редкости, которыми давно и справедливо славится этот дальний, сплошь почти и без исключения грамотный и толковый край.

С этими же неблагоприятными и неутешительными мыслями и предположениями сидел и я в избе мезенского старика, удивленный и его начитанностью, и редким патриархальным порядком, который ввел он в семье своей, напоминавшей всецело добрую, но уже отжившую свои века, старинную допетровскую жизнь на-

шего обновляющегося отечества. Особенно поражало непривычный глаз отсутствие женского пола, чего нигде нельзя встретить, хоть бы привелось объехать всю Россию из конца в конец, заглядывая даже в дальние, глухие закоулки ее.

— Разве вы, старик, живете без женщин?

Старик спохватился, как будто испугался чего-то:

— Нет, мы не такие, как нам можно без женщин? Живем мы по христианскому закону. Ты так и пиши. А то пошто без женщин, как можно без женщин?

— Да куда же я буду писать-то, старик?

— Ну, да кто тебя знает, куда? Известно, уж туда, куда тебе надо. Затем ведь ты, чай, и ко мне?..

— Ты меня, кажется, старик, не за того принял?

— Нешто ты не из земских? Может, из молодых. А каков таков ты есть — мы и не видывали, да и не чутко, чтобы там, на Слободе-то, новые были какие. Дали бы знать, коли бы были: есть такие благодетели... Ты не обессудь наш глупый мужичий разум: сказываем то, что на ум идет, по простоте ведь.

Каков же таков ты-то, ваше сиятельство, не в обиду тебе вопрос этот?

Я сказал. Старик придакнул, ребята, сыновья его, насторожили уши.

— Так пошто же это тебя послали-то сюда, сказываешь?

— Смотреть вот, как вы живете здесь, чем промышляете...

— Как живем? да вот по боге живем-то; христианских душ не губим: ты в наших местах и не услышишь этого, хоть все объезжай. Каков вот свет-от божий стоит, не токма убивства, воровства-то, ваше сиятельство, не слыхать, да и не услышишь. В бога веруем, троицу святую почитаем и в сыне и в духе, в триех ипостасях — все по христианскому закону, как глаголали святые отцы и пророки. А промышляем-то? Да все рыбку промышляем-то, потому — море близко. Хлебушка у нас не дает бог; ячмень — вот туда пониже сеют, да и тот больно плох — одно, выходит, звание. Лес тоже у нас опять жидок, ни на какую поделку не способен; карбасишки шьем, пожалуй...

— Вот затем-то я и приехал, чтобы посмотреть, как вы рыбу ловите и карбаса шьете.

— Так! Рыбу-то, вишь, мы ловим сетями такими, неводами зовутся... Семгу, навагу, сельдь вредкую попадает тоже. В озерах — по тундре-то нашей много же озер этих живет — щук ловим, окуней, лещей опять... А карбаса *вичью* шьем — это такое коренье бывает, вичье.

Старик видимо уклонялся от разговоров и дальше во весь день твердил только одно, что сторона их украйная, места бедные, еле концы с концами сводят, что все зависит от моря: даст бог рыбы — даст бог и хлеб,— истины, давно уже известные в мельчайших своих подробностях. Ими, и почти слово в слово, начинались все мои прежние беседы с поморами: со стариком не ушли мы и на пядень дальше. Даже известие, что снаряжают также артели за

морским зверем на Новую Землю, было для меня вовсе не новостью. От главного, необходимого предмета разговора мы ушли далеко. Старик как будто смекнул уже о цели настоящего моего посещения и как будто старался забить разговор, вводя подчас совсем постороннее и не идущее к делу.

Раз я попробовал:

— Слыхал я, старик, что ты человек толковый, грамотный, разные старинные бумаги собираешь?

Старик отвечал на это решительно:

— Пошто же это ты взвеличал-то меня, не ведаючи?

— Многие сказывали, и все в одно слово.

— Ну, пущай их сказывают: зла я отродясь никому не делывал, все по божьему закону, не изобижал никого. Я не лучше же других, коли не всех еще хуже. Что я? Персть есмь, я не человек, поношение человеков и унижение людей...

— Вот ведь ты и самолюбив же еще, старик, хвастаешься.

— Пошто хвастаюсь? не хвастаюсь. Ты вот прихвалил на первых порах, а теперь и обзывать. А что этих бумаг старинных — так их у меня и в заводе не было. Нету таких, совсем нету!..

— А про акафисты-то сказывал.

— Ну, да вот еще псалтырь новопечатная есть. Принесите-тко, ребятки, показать его сиятельству. Начальник наезжал позапрошлый год — видел и ничего не молвил. «Держи, говорит,— эту можно». А то какие такие старинные бумаги — нету таких...

— Ты, старик, не думай худа какого!

— Пошто думать? Христианская, чай, в тебе душа-то; да вон и сказываешь еще, что не земской. А каких таких тебе старинных, досельных бумаг надо — не знаю; да и нету их у меня. Нету ведь, ребятишки, чего его милость спрашивает?

Сыновья подтвердили, молча кивнув головами.

— Ведь я, старик, не отнимать приехал: есть да покажешь — спасибо, а нет — так ведь не драться же стану.

— Да это точно, что не драться же станешь. Да ведь чего нет, так и не покажешь. Так ли?

— Худа ведь, по мне, в том нет, старик, что ты держишь старинные грамоты в свитках, сказания, лечебники... По мне, это тебе еще делает честь, как человеку толковому и любознательному.

— Вот ты опять начал! Знамо, худа тут нету, да и добра большого не вижу.

— Добро уже в том, что ты знаешь больше другого.

— Да, это точно, что я, мол, как будто бы де и книжник какой. Это точно. А все же ума, поди, не прибудет, коли не дал бог при рождении...

— Ведь правишь же ты семьей, сыновей вырастил...

— Детей-то народить нехитрая штука: и набитые дураки, слышь, умеют!

— А в почтении их к себе держишь?

— Да это ведь батюшки еще, покойничка, наука: не сам же ведь я придумывал — по готовому ведь! И как же сыну теперича

кровному почтение отцу не оказывать? На то я их поил-кормил. Жисти своей, может, половину в них положил, заботился о них. Да отец родной сына убить за непослушание может, и суд не тронет...

— Они ведь тебя и слушают, повинуются, чай!

— Этим что гневить бога: все — в послушании и любви, мирно живем, по всей, выходит, правде божьей.

Старик, видимо, попал на живую струну, говорил долго и много. Рассказал он всю биографию и отцовскую, и свою собственную, и каждого сына порознь.

— Ну, да ладно, постой-ко ужо! Слышь-ко, ребятки, тащи-ко сундук-от, что с книгами, правой-от.

Такое выгодное для меня, хотя и далеко не предвиденное заключение произошло, по всему вероятию, от внутреннего довольства старика, успокоившегося в своей семье, ступающей каждый шаг по его приказу и указанию.

В сундуке оказалось много старых печатных книг: Брюсов календарь, несколько других, позднейших, до десятка печатных монографий — Житий святых, московского издания, так называемых «петушков», письмовников Курганова [20] и т. п., занесенных и сюда, вероятно, владимирскими ходебщиками-офенями. Но все это было не то, чего мне хотелось. Благодарность и осторожность требовали с моей стороны еще большей и едва ли не самой нужной в настоящую минуту скромности.

Сундук был отнесен нетронутым — обстоятельство, видимо расположившее старика окончательно в мою пользу. Он велел принести другой сундук с старопечатными, но и отсюда выбрать было положительно нечего: то были старопечатные требники, псалтыри, минеи — вообще книги, более или менее известные. И этот сундук унесен таким, как был. Старик окончательно повеселел и ожил.

— Ну, постой же,— говорил он,— коли ты такой до старины падкий, покажу я тебе книжку, какой ты, чай, и не видывал. Принесите-ко, ребятки, берестяночку-то, голубушку. Пусть полюбуется: эдакия ведь, все сказывают, на редкость и в наших местах.

Ее-то мне и было надо — книгу, писанную полууставом на бересте, так тонко и удачно содранной и собранной, сшитой по четверткам, что принесенная редкость смотрела решительной книгой. Разница только та, что листы берестяные склеивались между собой, но отдирались один от другого и легко, и без всякого ущерба. Писанное разбиралось так же удобно, как и писанное на бумаге, буквы не растекались, а стояли ровно, одна подле другой: иная бумага хуже выделяет буквы, и только один недостаток — береста разодралась, от частого употребления в мозолистых руках поморских чтецов, по тем местам, где находились в бересте прожилки. Книжка была кое-как, доморощенным способом переплетена в простые, берестяные же, доски, и даже болталась подле веревочная петелька, вместо закрепки, а на одной доске торчал деревянный гвоздичек для той же цели. Старик весело улыбнулся на мой восторг и впился в меня взором.

— Батюшка еще, покойничек, выдумал,— говорил он,— жития разные вписывал и другое прочее, что полюбится да придет ему по нраву, и я от себя писал. Таково-то легко: почесть, что не хуже бумаги. Перо только помягче надо...

— Сколько же, по твоему счету, времени этой книге?

— Да вот мне восьмой десяток на выходе, а я, что ни живу, помню ее, да все такую же. Батюшко-то, надо быть, до рожденья моего писать ее начал. Уж такой был старик книжный да любопытный!.. Царство ему небесное! Такой грамотей, что тебе архиерей иной! Псалтырь всю да евангелия, глаза зажмурив, на память валял! А там эти великопостные службы — нипочем. Смеялись даже, бывало: тебе, говорят, что царю Василию, хоть сам Шемяка глаза-то выколи — любого попа загоняешь, и глаз-де не надо. Во какой был!

— Хороша твоя книжка, старик, очень хороша.

— Любопытна?

— Да так любопытна, что я у тебя и купил бы ее охотно, денег бы не пожалел.

— Книжка-то, вишь, не продажная: отцово наследие. А деньги пошто не жалеть? — деньги нужное дело, без них нельзя. Тебе ведь, поди, много еще ездить надо...

— Да уж не пожалел бы!

— По-нашему: береги денежки смолоду — на старости слюбятся, как во вкус войдешь. А ведь тратить их тоже не учиться нам стать — с крылышками ведь они. Я вон и ребятам своим то же кажиной день твержу.

— Уступи, старик, по гроб обяжешь.

— Нет уж, я тебе лучше рыбинки какой ни на есть на дорогу дам, поважнее будет: вишь, у нас места какие, кроме снегу, ста на три верст ничего не найдешь — снежные палестины!

— Я тебе за рыбу-то деньги заплачу и за книжку тоже...

— Опять-таки, зачем мне твои деньги? Береги их, а у меня свои есть, своих много денег. Чай, и на Слободе об этом говоруны-то тамошние сказывали, что у старика денег много, да скуп, мол, старик: задатков не дает да и промысла-де старик перестал обряжать, все по одной скупости. На чужой ведь роток не накинешь платок. По мне, мели Емеля — твоя неделя, а меня не убудет, мое при мне и останется. А твоих мне денег и даром не надо: твои деньги не даровые, чай, тоже...

— Я не стою об них, не пожалею.

— Мне с тебя, с заезжего человека, брать деньги — грех; на том свете покоя за это не дадут. Скажут: стяжатель, мытарь и фарисей, кощей семижильный — вот что скажут. Рыбку бог дает даром, бери сколько сможешь,— даром я и делиться ей должон с тем, у кого нет. А пошто я с гостя-то стану брать? Гость — посланец божий, милость его за какое твое доброе дело...

— Да ведь рыбу-то ловишь же, хлопочешь, трудишься!

— Чего трудишься-то? Рыбка сама идет... Рыбка для гостей не продажная; ты ведь съешь ее — продавать в чужие руки не

станешь. На доброе здоровье она тебе пойдет, и меня добрым словом помянешь. Нет, рыба моя тебе не продажная и книжка тоже не продажная — наследие!.. И на что она тебе?

— Покажу таким, которые в этом толк знают, пользу найдут. У тебя так же заглохнет, и никто ничего не увидит и не узнает. Тебе-то тут пользы уж положительно нет никакой.

— Мне какая польза? — это точно. Да что в ней и смотреть-то будут? Ничего такого в ней запретного нет.

— Да и не надо.

— Так пошто просишь ты ее?

— Показать, как доказательство, что захочет русский человек писать — и без бумаги найдет средство, если уже крепко шевелится в нем это желание.

— Так вот, вишь, книга-то не продажная. Еще, чего доброго, ты за мной же пришлешь после да в тюрьму либо в какое другое место и посадишь...

— За твое-то одолжение, за твое доброе дело?

— Оно, правда твоя, что не за что. Да, вишь, ведь вы, чиновники, народ такой — не в обиду тебе молвить. Это начнешь-то сперва, как бы и ладно, мягко расписываешь, а как выжилишь все, так и начнешь гнуть, и жестко покажется... Ты меня извини на глупом моем слове. Люди мы простые, пряники едим неписаные да и свету-то почитай только в свое окошко и видим. Книжка опять-таки, стало быть, выходит, не продажная. Ты и не проси по-пустому, не замай меня — лучше мы с тобой по знати, так,— миром да согласием... Возьми сколько желаешь отступного, а меня ты не засуди, ребята тоже, жена, детки: есть кому старика пожалеть. Взвоют ведь, больно взвоют, ух как взвоют!..

Старик крутил головой, сыновья вышли из горницы. Мне становилось тяжело и безысходно, слезы подступали к сердцу и... прекращаю, впрочем, описание дальнейшего и скажу в коротких словах, что старик согласился наконец уступить мне книгу уже на третий день по моем приезде. Старик уносил книгу с собой, никак не решаясь оставить при мне. Видимо бывал недоволен, когда я принимался ее рассматривать, брал из рук и сам ее оглядывал. Всякий раз надо было усиленно просить его, чтобы он опять ее принес снизу. Согласился же он отдать после долгих и многих хлопот, и то уже достаточно подстрекнутый сыновьями, из которых одному почему-то особенно хотелось угодить мне.

— Отдай, батюшко: вишь, ведь ему больно хочется, что мучишь-то?

— Отдай... отдай! — рассуждал старик.— Ну, отдай ты сам! Что меня учишь? Не знаю, что ли?

— Да я бы, брат, давно отдал, кабы моя была! Вишь, он затем и приехал!..

— Пошто затем приехал? — в гости ко мне приехал. Не надо говорить так, обижать не надо... отдай!.. ну, отдай сам. Так ин, вишь, у тебя-то нет, нет у тебя-то, а я отдай! Что мне отдавать-то?..

— Деньги возьми, старик! — не даром же ведь. Я даром ни за что не возьму!

— Деньги возьми! — ворчал старик. — Сколько же ты дашь?

— Я не оценщик: спроси, сколько тебе самому лучшим покажется. Я торговаться не стану, если только не превысит моих наличных.

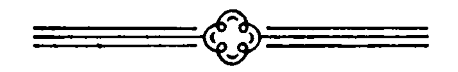
— Сколько же у тебя наличных?

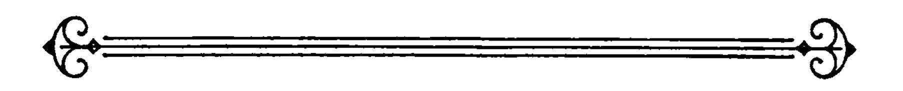
— А это мое дело!

— Знаю, что твое дело! Книжке-то, вишь, цены нет, дорога книжка!.. Что с тебя взять?..

Старик долго еще продолжал толковать все в том же роде и высказывался почти теми же словами. Часто накидывался и ворчал на сына, как будто досадуя на его вмешательство, и наконец мы с ним порешили.

Четверня оленей, запряженных в те же высокие чунки, давно уже ожидала меня у крыльца. Скуластый, истый монгол, самоед-работник стоял уже наготове с длинным шестом-хареем. Еще несколько других чунок, с шестами и оленьими шкурами для походной палатки — чума — на безлюдной и неоглядной снежной степи, также были готовы. Оставалось садиться и ехать с прежним гиком, похожим, впрочем, более на откашливания и заменяющим бойкие ямщицкие выкрики дальней России. Ехали прямо, без дороги, через пни и кочки, по звездам и подчас по ветру, заметающему свой след на снежных сугробах. С моей стороны требовалось только, чтобы крепче держаться за ременные петельки, прикрепленные к чунке, и смотреть, чтобы опять не потянуло совик и малицу к коленям и выше: тогда до чума пришлось бы не согреться и без причины сердиться и на самоедский наряд, без которого нельзя обойтись в тех местах, и на неудобную чунку, на которую нельзя положить ног и расположиться так, как в благодатной кибитке, и, наконец, на полярный холод, и даже, пожалуй, на себя самого.





VI

ПОЕЗДКА ПО РЕКЕ МЕЗЕНИ

Подробности пути.— Рассказы ямщика о разных видах зимних погод.— Лесная драма.— Икота и стрелье.— Дело о колдунах.— Юрома.— Предание о разбойниках.— Иов праведный.— Пашко.— Село Ущелье.— Предание о чуди.— Чучпала.— Характер русского населения.— О свадьбах.

В декабре месяце 1856 года я был на реке Мезени. 12 числа этого месяца я оставил бедный, с великой нуждой влачащий свое обыденное существование, город Мезень, чтобы направиться вверх по реке, уделившей свое негромкое имя этому городу. Путь мне лежал в дальние печорские страны. Дорога тянулась по берегу реки мимо множества деревушек, которые рассадились так часто, как бы и на людной Волге. Близость моря, богатого барышным, сальным морским зверем, под рукой широкая, многоводная, обильная семгой река, вся обросшая по берегам густыми, первозданными лесами, где так много и дичи, и красного зверя, а дальше беспредельная тундра с роскошной пастьбой для оленей, неисчислимыми стадами горностаев, песцов и зайцев — обусловили по берегам реки Мезени это многолюдство населения, сгруппировавшегося по преимуществу в низовых частях реки. Здесь деревни и села так часты, что не успеешь проехать пяти-шести верст, как, глядишь, уже и рассыпалась перед тобой черная группа изб, всегда приглядных по внешности, всегда двухэтажных — по неизменному обычаю целой губернии. В любую из них взойти любо: чисто прибрана большая изба с полатями и огромной печью, хотя эта изба и про себя держится, хотя тут и ребятишки водятся, хотя тут возится и хозяин со своими рыболовными и другими снастями, и хозяйка со своими домашними приборами. Правда, что и здесь полати устроены так низко, что об них неосторожный и недогадливый гость может стукнуться лбом. И здесь духота и спершийся воздух бывают едва выносимы; и здесь двери, ведущие в сени, не отопрешь, если не имеешь долгой привычки к тому; и здесь визг грудных ребят и крики телят, запертых в подызбице, в соединении с криком кур, которым легко расшуметься да трудно уняться. Все это легко может выгнать проезжего вон из избы. Для этого у мезенцев есть особый покой — гостиная горница, всегда старательно вытоплен-

ная, с кроватью за ситцевым пологом, со столом, лавками и стенами, тщательно вымытыми и выскобленными. У редкого нет самовара, фаянсовой посуды, ножей, вилок, и у каждого — полный угол божьего милосердия.

Хорошо везут проезжего человека сытые, легкие на бегу мезенки (хотя, некогда известная, порода лошадей этих теперь уже измельчала и заметно пропадает). Разговорчив и словоохотлив и сам мезенец — хозяин этих лошадок, подрядившийся за казенную цену свезти седока верст за тридцать к своему побратиму и благоприятелю, у которого ведутся такие же сытые, бойкие лошадки.

Особенно помнится мне один из этих ямщиков, подрядившийся со мной на вторую станцию от города. Быстрее других снарядил он тройку и с бойкими приговорами (против общего обыкновения) уселся на козлы, я — в теплую, обитую оленьим мехом, кибитку.

В кибитке тепло и покойно. По сторонам необыкновенно тихо. Занимались сумерки: снежные поляны по сторонам отливали менее резким светом, выплывавший месяц собирал свои силы, чтобы осветить нам дальнюю дорогу хотя и мертвенным, но уже привычным и теперь легко выносимым блеском. При такой обстановке легко как-то сосредоточиваются мысли на одном предмете, хорошо, много и долго думается и редко хочется спать. Бог весть о чем думалось мне на ту пору, но, по-видимому, думалось долго, потому что с козел послышался запрос:

— Чудак ты, прямой чудак, ваше благородие! Едешь ты с ямщиком пятую версту, а его ни о чем не опросишь...

— Отучился: все вы какие-то неразговорчивые. Пробовал я не один раз — и закаялся, ответу не получал.

— От иного ты точно не получишь, особо от казенных ямщиков, которые с почтой ездят. Это точно по тому по самому, что казенный ямщик всю свою жизнь в тоске проводит. Ему всякий спрос от проезжающего колом в горле становится, всякий проезжий казенному ямщику надоел. А иной до разговоров охотлив, речист!

— А ты из каких?

— Да за кого почтешь, потому как мы всякому ответ умеем отыскать. Отыщем, может, и тебе. Спроси-ко меня, о чем хочешь!

— Ну, да вот теперь ночь-то светлая...

— Светлая оттого, что месяц светит и небесьев (облаков) нету. А вон видишь, к месяцу-то маленькое облачко придвигается.

— Вижу: сиротливо оно такое, словно оторванное, и негустое...

— Ведаешь ли ты то, каку облачко это силу в себе имеет?

— Кто его знает!..

— А я знаю: сила в нем велия. Облачко это пургу несет, метель зачнется. Потому как оно клочьями, оттого в нем и ветер засел. Вона, гляди-ко, сколько их прицепилось!

Действительно, цепляясь одно за другое, тянулась уже целая длинная вереница жидких, млечного вида облаков из дальней мглы горизонта по направлению к нам — чего мы до той поры не замечали. Откуда взялись мгновенно облака эти — понять было невоз-

можно: небо до того времени отливало поразительно чистой бирюзой.

— Берутся они бог весть откуда и собираются, и невесть как скоро,— объяснял ямщик.— Вот теперича мы с тобой и столько верст вперед не заберем, что отъехали,— гляди, какая страшенная заметель поднимется. А потому эта заметель поднимется, что облаков-то уж этих оченно много притянулось! Знай это!

Оправдались слова ямщика. За последней деревушкой, глянувшей на нас множеством огней по сторонам, направо, налево и прямо, и обдавшей нас дымом и той заметной теплотой, в которой слышится присутствие домовитого русского люда, теплотой, растворенной и запахом ржаного хлеба, и запахом горелого масла или сала, дымом лучины и прочего,— за этой деревушкой, в лиственничном глухом лесу, при самом въезде в него, нам слышались первые признаки приближавшейся бури.

Небо по-прежнему отливало своей светлой, веселой бирюзой, и только кое-где прорезывались на нем вытянутые кучки млечных ветряных облаков, но лес вдали начинал гудеть. Над нами уже визжали раскачавшиеся верхушки высоких столетних сосен и лиственниц. По местам из лесу вырывалась бойкая и сильная струя ветра, бросавшая в нас клочья рыхлого снега. Чем дальше в лес, тем сильнее визжали верхушки впереди и точно так же позади нашей кибитки и лошадей. Немного погодя по лесу разносился уже сплошной гул, в котором по временам можно было различать уже скрип и треск. Ветер поразительно быстро крепчал в своих порывах и силе. Лишь только мы въехали и спустились с довольно крутого, высокого берега в реку, там на всем ее пространстве зги не видать было и лошади начинали уходить в снег по колена. С трудом нащупывали они наезженную дорогу, по счастью обставленную догадливыми мезенцами вешками. С горы несся гул, который на вольном просторе реки превращался в пронзительный, назойливый свист. Лошади с трудом ступали вперед в тех местах, где на берегу выгибалась лощина, река ли то или простой овраг. Там ветер метался по рыхлому снегу с каким-то шипеньем. Огни соседней деревни сиротливо прятались от нас: то мелькнут все разом, то все разом исчезнут в беспредельной, незримой неизвестности. Из лесу, который потянулся берегом, за деревней, слышался уже оглушительный треск, — может быть, валились старые, одряхлевшие деревья, случайно пощаженные прежней бурей. В час времени пурга расходилась так, как будто бы она уже крепчает не первые сутки.

— Сказывал ведь я, сказывал, ей-богу, сказывал тебе, что наши бури круты живут. Это заметель, пурга, а то хивуса, те еще озорнее живут, ей-богу, озорнее живут, те подолгу, те не скоро укладаются. Это ничего: эта заметель. Пошалит вот ночь одну, да и отстанет, ей-богу, отстанет. Потому она в одну ночь отстанет, что много силы вначале кладет. А кладет она, не жалеет свою силу — ее и не хватает. Ладно ли тут тебе, под болоком-то (под кибиткой)?

— Не знаю, как тебе, а мне ладно, хорошо.

— Ну, и слава богу. И мне ладно — привышны. У нас нет ведь

той недели, чтобы не эдак-то, нету. А мне ничего, я и уши подвязывать не стану.

— Не надуло бы, а то стрелять начнет — в неделю не уймешь.

— Ничего, нам это привышно, ей-богу, привышно. А я ушей завязывать не стану!

Однако, как ни божился, как ни уверял меня ямщик, по торопливости его речи, по рукам, которые ни минуты не оставались покойными и подергивали вожжами, видно было, что он и погодой тяготился, и зябнуть начинал. Последнее проверялось простым наблюдением над его плечами, которыми время от времени он передергивал. Видимо, он хотел казаться терпеливым и привычным. Ветер действительно сдавал крепким холодом. Он распоряжался, по-видимому, готовым материалом, не нуждаясь в новом и свежем.

— Ветер-от снизу метет?

— Снизу, проклятый, снизу!

— Я люблю в эдакую погоду ездить: мне это потеха.

— Что хорошего-то, что?

— Много хорошего в голову лезет: все такое отрадное припоминается, легко и сладко думается.

— Нечего думать, ничего не думается; ей-богу, ничего не думается. Очи слепит.

— Памятью много видишь.

— И память знобит, всего тебя знобит.

— Да ведь это на козлах только у тебя.

— Все едино. Бог всем равен и силу такую дает ровную. Ты меня этим не обманывай!

— Садись сюда ко мне, здесь теплее будет.

— А ты-то куда же?

— А я на козлы сяду.

— Ну, врешь, ей-богу, врешь, не сядешь. Потому твое дело боярское, где тебе — не усидишь. А нет, вот лучше — знаешь ли что?

— В первую деревушку к знакомому тебе человеку заехать.

— Вот из твоих бы уст да богу в уши: отгадал.

— И заедем, за чем стоит дело?

— И, ей-богу, заедем, к тетушке Маремьяне заедем. Она баба ладная: у ней и яйца есть, и яичницей тебе ублаготворит.

— Так с тем и ладно: сворачивай!

— А вот постой: деревушка-то ихняя помеледится.

Скоро помеледилась и деревушка своими огнями, словно искорками, ближе, ближе. Лошади лениво тянулись вперед, но, приближаясь к деревне и взобравшись на гору, инстинктивно почуяв ночлег, ускорили бег, поматывая гривами, густо запушенными снегом.

— Тпру!

Изба тетушки Маремьяны чернела перед нами, бросая красный, яркий свет из окна, рисуя его четырехугольным пятном на снегу подле нашей кибитки. Ямщик пошел стучаться. Слышу голоса, целый разговор между ямщиком и бабой. До меня долетают только немногие слова:

— Чего нельзя? — говорил мой ямщик.
— Приступило: мутит! — слышался голос старухи.
— Али опять с ней...
— Нанесло, родименький мой, к непогоде, знать, нанесло-то.
— А ты бы ее к отцу-то Андрею: отчитывает...
— Возила, не помог...
— Ну, прости! Ладно, коли нельзя.
— Не взыщи, родименький, прости!.. Постучись к Матвею-то — пустит!..
— К Матвею и поедем!

Между тем из избы вырывались время от времени какие-то дикие крики, подхватываемые ветром и потому отрывочные. В них слышались то лай собаки, то плач грудного ребенка, то густой, хриплый бас, то глубокие-глубокие вздохи, сопровождаемые судорожной, сильной икотой. Неприятное положение слушающего усиливала еще более и сдержанная тишина кругом, и темнота ночи, и нечаянность этого явления. Рисовались неведомые и невидимые страдания и многое из того, что так тяжело и безысходно ложится на душу.

Ямщик повернул лошадей, сел на козлы, оттуда снова послышался его голос, довольно покойный уже и сдержанный:
— Девка у ней в избе-то, девка-икотница.
— Отчего же?
— А сто бесов у ней животы гложут, оттого, сказывают, и выкрикивает.
— Да не от другого ли от чего?
— А и не меня спроси — то же скажут. Весь народ на том решил... И батюшка утверждает: так это, «так это и по Писанью, слышь».

Вот и изба дяди Матвея. Суетится он прибрать с полу сети, радостно, весело приговаривает: «Милости просим, милости просим». Зажигает сальную свечку и ставит на стол, передвигает стол этот с одного места на другое; цыкает на крикливых ребятишек. Одного, самого маленького, ползавшего по полу медведкой, посадил на полати и пригрозил ему пальцем. Бабу услал за водой, наладил самовар и застучал чашками, вытирая их рукавом рубахи.

Вошел в избу и ямщик мой на ту пору, помолился богу, разболокся и сел в задний угол, почесывая затылок, плечи и спину и позевывая с выкриком и краткой молитвой.

Уже самовар шипит на столе, чай готов. Хозяева уселись в стороне в сосредоточенном молчании; ребятенки с полатей внимательно следят за движениями на столе и подле. Воспоминания об икотнице выплывают снова всецело и возбуждают во мне самый живой, безотлагательный интерес. Я хотел уже завести о ней разговор, но ямщик предупредил меня:
— А что, дядя Матвей, Анютка-то Маремьянина опять вопит?
— Вопит, слышь,— отвечал дядя Матвей.
— А что, как у них дело-то?
— Да ничего...

— Чего она-то?
— Видел: все по-старому, все по-стародавнему — вопит.
— А он-то?
— Да не чуть ничем ничего.
— В солдаты, слышь, отдавать хотели.
— Не чуть ничего. Увезли, слышь, на город, а что сталось? не доведомо.
— Станового, сказывают, мирить просили. Чего становой-от?
— Просить-то просили, да ничего и он не сделал. Призывал, слышь, уговаривал, батюшку-попа вывозили, и тот пытал — ничем ничего не вышло. При них, слышь, в комнате-то завопила, ругательски ругалась. Только-то и было!
— Ну, а Борька-то?
— А Борька-то, что собака, все при ней, что вар пристал — не отстает.
— Без него-то почитай, сказывают, ей хуже бы было.
— Дурну бы беспременно какую ни на есть сделала над собой,—вступилась хозяйка.— Уж ножа бы не минуло дело.
— Ну, ножа не ножа, тетушка: взяла-то уж ты больно круто. До ножа-то, толкуют, не доходило же николи.
— Доходило, родимый, доходило, и не единова.
— Да отчего же это у ней, хозяева, что причиной-то послужило?
— Да порчена, почтенный, порчена.
— Давно ли?
— С год уж, ваше благородье, будет.
— Кем же?
— А Христос ведает: надо быть, какой такой злой человек портит.
— Когда же она больше выкрикает?
— Да вот когда в церкве со святыми дарами выходят — тогда кричит, шибко тогда кричит, и хоть не видит она этого, не слышит, а уж взопит, начнет ее ломать да мутить. Молитву-то, слышь, когда читают над ней, она, слышь, и не ругается, не корит никого. А без того ину пору так расходится, что из избы вон беги: прибирает такие слова, что и в кабаках не услышишь и другой хмельной да блажной человек с одури-то с пьяной не вывалит. На ту пору ломает ее и коробит — трем мужикам удержать впору.
— А часто ли случается с ней этак-то?
— Да вот по воскресеньям за обедней навсегда. Опять же и в будни, когда завопит, так и знай: где-нибудь в селах по соседству обедни поют, алибо какую требу правят. Духу она табашного не любит. Ходят вон наши ребята на Город (в Архангельск), берут эту проклятую повадку — в трубки-то курить. Дымят тоже, окаянные, что трубы наши непрочищенные. Ревет она тут шибко, да недолго...
— А еще когда?
— Да вот не сказывай при ней горя-то — тогда по целым суткам ревет без уйму.

— Какого же горя?

— А спрашивай об этом большака самого, Матвея-то: он у нас лютой на разговор-от. Молчалив — дока, а распояшется — наслушаешься...

Дядя Матвей, при последних словах, самодовольно рассмеялся: явный признак, что он в духе и рассказать не прочь.

Вот что он мне поведал:

— В наших местах икота эта не в диво: у нас, почитай, чуть ли не каждая баба икотница; всем это из веков. Анюткино дело особо. Это дело неспуста. Тут я, как своим разумом ни раскладывал, ничего не вышло, ничем ничего не придумал...

Надо тебе рассказывать наперед вот что: как в нашем крестьянстве нет этого, чтобы женихи невест выкрадывали, а сходятся и живут по родительскому указанию, то ты и не волен брать того, чего тебе брать не указано и нельзя.

— Да ты что-то не то начал, не так сказываешь,— перебил я его.— Не служил ли ты в выборных?

— Было это дело, было: шесть лет головой сидел, а сказываю я тебе все это к тому, что и Петрушка, и Анютка, и Борька — враги себе были и супостаты, а мира не слушались. Стариковым указам тоже не повиновались, а сказывали наказ свой — вот это отчего. Дело шло вот как: Петрунька с Анной-то сошлись, приглянулись друг дружке на святках там, что ли, слюбились. Петрунька ей гостинцы стал носить; она без него и в хоровод не выступает. Так у них шло все хорошенько, и не один день, не неделю. На беду, было тут Борька в ихнее дело ввязался: к Анютке же любовь свою возымел. Это опять-таки ничего: девке же лучше, коли два парня любят; один другому не мешают: я, говорит, беру свое, ты — твое, и колиде не в прибыли, так и не в убыли. Идет у них дело так миром: не бьются, драк больших не бывает, друг на друга с жалобой не ходят, хоть и крепко поругаются когда промеж себя. Да уж, знать, это дело такое: коли два одну тягу тянут — без ссоры, без брани нельзя тут. Девка клонит к одному, клонит и к другому — как и быть надо по-бабьему. Известно, в бабьем деле первое — слабость и опять-таки мнение такое, что вы-де там как хотите, так промеж себя и ведайтесь, а мое-де дело девье, за кем-нибудь за одним замужем быть: на двух-де мужьях и поп-батько не повенчает. А коли-де замужем не быть мне, так и на свет, мол, божий незачем было нарождаться. Так это! Берет Анютка подарок от одного да и от другого рыла не воротит. Мил-де, мил и ты, моя пташечка, пригож-де, мол, и ты, моя душечка. Вот-де одному мой поцелуй, а вот-де и другому. Плут же была девка — что и говорить! Любились они так-то долго, любились да и спохватились, что-де на народ идет все дело это: не больно же красиво выходит. Послушать толков соседских — хорошего мало сказывают; в лица посмотрят — смеются все. Стало все это им в примету, стали они и об венцах подумывать.

Родители, известно, на все на это дело сквозь ладонь смотрели, стало, ничего не видали, потому как нынче не тем уж свет живет. В старину, слышь, бери ты ту девку, которую родитель укажет,

сам выбирать и думать не смей. Родители на тот случай и обычай такой имели, что коли много детей, так по мере силы-возможности с каждым во всей своей деревне породниться. Оттого-то вот у нас везде, поди, плохой тот сосед, коли свояком либо сватом не доводится. Так в старину. А ноне: бери ты ту девку, которая по скусу придет, полюбится, была бы только работная да здоровая. А которая наша оржануха неработная, которая нездоровая, когда в воле родительской все вырастают. Потому-то вот у нас теперь и свадьбы глаже, и дела все эти идут инако: поженятся — меньше печалуются, меньше промеж себя досады держат. Право, так! Слушай же теперь, какое у них дело потом вышло, самое такое нехорошее дело вышло, что и сказать не можно. Слушай же все про нашу про икотницу.

Перво-наперво пришел к Анютке Петруха и сказывает:

— Я, — говорит,— не какой злой человек; честь твою и свою и бога знаю — пойдем под родительское благословение.

— Ладно,— сказывает она ему. — Ты мне не противен, а люблю-де я тебя, как подобает невесте.

С тем и разошлись. Про все про это проведал Борька, тоже к Анютке пришел и то же ей сказывать стал. Анютка и ему сказ такой же сделала, что и Петрухе:

— Проси-де и ты благословения родительского.

Борька скажи об этом ребятам, скажи и супротивнику своему. Полаялись они, посчитались на ту пору крупно, однако до драки не дошло дело.

Петрунька опять к Анютке:

— Ты,— говорит,— что это такое надумала, неладная такая, неумытая.

— А ничего,— говорит прорва девка,— я такого худого не надумывала. Что-де ты на меня накинулся-то, из каких корыстей?

— Да не я ли,— говорит Петруха-то, — первый твоего согласия просил; не я ли де первый за твое девичество заступиться хотел?

— Ты,— говорит Анютка-то,— ты, противу этого и слова сказать не смею.

— А не я любить тебя стал прежде всех? Борька-то на тебя еще и не взглядывал. На то время, что ты ему, что попова пегая кобыла — все было едино.

— И противу этого,— сказывает Анютка,— ничего супротивного такого молвить не смею.

— Да с чего же,— говорит,— ты взбеленилась, что обоим нам одно сказывала, а?

И пристал: к одному слову десяток привязывал, воспылал духом, потому обижен был.

Анютка собралась с силой, оправилась да и ответствует:

— Мне-де, Петр Иваныч, что ваша любовь, что Борькина, все в один скус, потому как мы — девушки и нам не замужем жить не приводится.

— Да ведь обоих-то и поп не повенчает, да и мы не сживем: без кровавого пролития тут делу не быть — сама рассуди!

— Рассудить,— говорит она,— я этого не могу, потому как

невеста должна больше плакать и потом мужа слушаться и быть ему верной до гробовой до доски. А вы,— говорит,— если желаете меня получить оба, так и рассудите своим советом.

— Да дура,— говорит,— не опять же ругаться!

— Отчего-де и не поругаться, коли у вас, сказывают, уж было дело такое.

— Не драться же на смех всем, на свое горе.

— А уж это как,— говорит,— вы сами рассудите. Я опять-таки одно говорить навсегда должна, что как люблю тебя, так и Борьку, в одну силу.

— Да, черт,— говорит,— нельзя ведь эдак-то. Не бывает ни с кем!

— Это,— говорит ему Анютка,— я рассуждать не могу, потому как сердцем своим чувствую.

— Да, дьявол,— говорит,— в сердце-то у тебя жернов скипелся, квашня вскисла, лешая! Ладно-де, нишкни ужо!

Пригрозил ей, значит, да с тем и ушел, а Борька пришел.

— Помири ты нас, — сказывает.

— Да мне,— говорит Борька-то,— с Петрухой и встретиться опасно, потому, когда он об этом деле заговорит, не сумею ответ дать. Он речист, противу него нету у нас такого ни единого.

— А черт,— говорит она-то,— велел вам раньше-то промеж себя не столковаться. А то на-ко к какому концу привели.

— Я,— говорит Борька,— говорить не больно лют — сама знаешь: прибрать эдакое подходящее не могу, сейчас к сердцу кровь подольет. И не то де мне на ту пору на Петруху сердце рвется, не то де по тебе обливается. Сердит я на ту пору на Петруху, крепко сердит, хуже он мне врага лютого, и к тебе-то бы поластился, и нет мне радости пуще тебя. Ты так вся в очью и лезешь, словно ластишься.

Топнула, слышь, на него девка-то, на парня-то, топнула потому, как он очень смиреной был:

— Ведайтесь вы, слышь, сами про себя. А я-де обиды такой долго выносить не стану. За третьего-де пойду, и за самого-де за уродливого.

Тянется у них опять дело это долго, и стали ходить по деревне нехорошие слухи. Петруха-то к колдуну ходил, а Борьку-де от Анютки водой не отольешь, все у ней сидит либо за ней что тень мотается. И гармонию для ее прохлаждения на Слободе купил.

Стали наши земляки призадумываться да на свое мерекать; надумывались на то, что дело крепко на худое пошло; миру это дело самое судить надо. Сговорились, как бы эдак у кабака хоть бы сказки рассказывать; старшину и писаря на ту сходку залучили. Ребят не было — позвали. Пришли.

— Так, мол, и так, братцы!

— Знаем-де.

— Девки наши в сумление приходят, стыдятся.

— И это-де знаем.

— Метнули бы вы жеребей что ли: кому вынется, тот оженится.

Петруха таково на нас косо поглядел и таково-то усмехнулся криво, что обидно нам всем стало: так вот все мы и переглянулись. А Борька — ничего.

— Ладно,— говорит,— давай, Петруха, метнем жеребей?

— А ты,— говорит ему Петруха,— в Город-от ездил, другой головы не купил про запас.

— Нету,— сказывает Борька-то.

Смешно нам всем на слова эти стало.

— Так купи,— говорит,— купи.

Смолчал Борька. И мы молчим: что дальше будет, а дело, мол, хорошее, надо быть, будет. Так все и молчим, да ладно. Впору писарь догадался и молвил:

— А что-де ты, Петруха, скажешь, когда мы-де тебя засудим?

— А засуди,— говорит,— ты ведь — чу! — затем и приставлен.

Да зубаст же и писарь-от:

— Я,— говорит,—могу сделать такое, что тебя на *кобыле* поженят.

— И это, слышь, ты можешь, потому ты такой уж у нас.

— Так помни-де, слышь!

— И беспременно попомню, когда-де и на кобыле-то этой и помирать стану, попомню. Благодарю, слышь, покорно на ласковом на твоем слове.

И поклонился; низко поклонился, в пояс писарю-то Петруха поклонился. Молчим мы все, потому как уж всем очень жутко стало: и Петруху-то как ровно бы жаль. А Борька, что малый ребенок, стоит да ухмыляется. Что писарь ни скажет, то его и начнет подергивать, словно он гоготать хочет.

Ладно, ну, толковали долго они промеж себя, и мы думали долго — что гуси на Колгуеве! — куда-де ветер потянет, туда и мы пойдем. Не сдавался Петруха, как его ни стращал писарь и все-то законом своим. Да тут у нас старичок был, ветхой такой (на прошлой неделе помер): кому какой совет надо — все к нему; у всех, стало быть, на почете. Он вступился.

— Полно,— говорит,— вам беду по пальцам мотать, говорили бы дело, коли около него охаживаете. Вот что, братцы!

— Чего, мол, дедушка Калистрат! — миром-то ему все так разом,— сказывай-ка, мол, сказывай! Человек-от, мол, ты божий, роженой уж такой,— послушаем: эдак, кажись, лучше будет!

Стал он говорить:

— Девку постегать надо, покрепче...

Да Петруха перебил:

— А кто,— говорит,— первый кинется, я-де его ножом, и кто-де совет-от такой подаст, я и его...

Смолчал дедушка, слова не вымолвил, только закашлялся. Долго ждали, а он и опять начал:

— Вся беда от девки идет, вся беда от нее. Сама девка злу корень. В ней либо бес засел, либо так дурит. Вот ты коли оленя в поле выпустишь да дашь ему там подольше пожить — он одичает, в руки не дается, и ты его не поймаешь. Не поймаешь его потому,

что он от твоей руки отстал, дух-от твой позабыл, и есть ему на диком олене поблажка. Дикой олень затем, вишь, и дикой, что один он там в тундре-то, никто его не поучит. А хоть бы и девку взял: девка что? В девке уж баба от рожденья от ее сидит. Норов-от этот, что ни на кривой оглобле, ни на свинье не объедешь, сидит уж в девке...

Мы было посмеяться, да нет, глядим, словно бы и ладно. А Борька захохотал: Борьке это спуста показалось. Петруха стоит не шелохнется, глаза в землю, что бык, и уши, словно бы от стариковых-то слов, прядать начали: очень, стало быть, слушает.

Калистрат свое:

— У девки только одно разное с бабой: ей бы только почету и пуще почету от всякого, хоть сам черт тут будь, ей все равно. Они вон и до хороводов люты, и на поседках они развеселые такие, а все оттого, что и тут, и там подарков ждут, орехов да пряников. А на их пустоту это и ладно, им тут и душевное ликованье. А гляди, пройдут веселья, они словно в воду опущены и хвост поджали. Вот и любуются они все зауряд, потому это для малых ребят занятно, мурашки по сердцу сыплют. А привяжется супротивник — еще того пуще, еще любей. Вон хоть бы Петрухино дело...

— Да ведь она мне, дедушко Калистрат, пуще всех (Петруха-то!). Я ведь уж ее давно знаю, прежде всех.

— У меня (дедушко-то ему), у меня, слышь, жеребеночек был: сам выпаивал, сам выхаживал да выглаживал, раз по десятку на день ходил к нему. Стал он и жеребцом, сел я на него: объеду, думаю. Сшиб ведь, окаянный, сбрыкнул меня.

Борька на слова на эти расхохотался вслух, чуть нам и всем от того не весело стало; хоть и не пора бы, не время. Петруха стоит упершись, словно его в землю вкопал кто.

Старик подводил все, подводил и подвел к тому, что как-никак, а Анютку постегать надо было. Так уж вышло.

Как услыхал слова-то эти Петруха, так зарыдал даже, заревел быком, да и со сходки опрометью: думали, за ножом побежал.

— Нет, слышь (старик-от), душу свою заложу, а он такого дела не сделает.

Да и сказал-то он так, словно сам Петруха это самое вымолвил.

Девку-то мы постегали. Я уж про это и сказывать не стану, нехорошо...

— Больно девку-то постегали, больно же они ее постегали,— вступилась в это время хозяйка, до той поры молчавшая.

— А ты бы не разговаривала, потому как мы это от тебя слыхивали не один раз. Нам речи твои не на новях.

— Да не смолчишь ведь, воля твоя! — не смолчишь. На-тко что выдумали, не надо бы этак-то...

— А ты вот ужо молчи: палатский управляющий наехать к нам хочет, я тебя в губернаторы к нему попрошу. Ладно ли так-то?

Хозяйка замолчала.

Муж продолжал:

— Ты, ваше благородие, наших баб об этом деле не спрашивай.

У них ведь свое. Пошто, слышь, на ихний суд дела этого не клали. Пытали же они судачить. А все, опять-таки, от самой от девки. Первое вопила она крепко в правлении, а жалоб из ее слов никаких на ту пору признать нельзя было: словно она одеревенела. Собрались к ней опосля того наши бабы в избу (как ведь им, сорокам-щебетухам, не собраться!). Кои улещать стали, кои взвыли, потому женская слеза — море, а потом, баба и разобрать ведь не может, которая беда своя у ней, которая чужая. Распустили наши бабы нюни свои, а того не знают, что Анютке-то все это и крепко на руку. Пришла, слышь, в избу: молчит, трепаная такая, волосья не прибирает и сидит под образами, и в большом, выходит, месте. Бабы ей свое ведут:

— Что-де, мол, родненькая наша, больно тебе?

Молчит.

— Которые, мол, стегали-то?

Молчит.

— Ну, да, слышь, ладно; пущай бы де уж заместо тебя Петруху-то, алиб-де Борьку положили.

— Так она, родной наш, головонькой на эти слова покрутила, а молвить чего — не молвила! — опять вступилась хозяйка.— Лукерья (баба у нас такая есть) на эти на слова такое сдумала, что, мол, писаря бы... Так ухмыльнулась и веселее словно бы стала.

— А вон,— говорит,— ребятам от этого не легче будет; обоим им это самое в обиду. Потому ты, мол, Аннушка, за них ведь, за обоих. А их дело мужское — надрываньям-то твоим они веры...

И на это на все она никакого обсказу не делала.

— Христос, мол, над тобой, а ты ратуй, ратуй во имя господне. Кто ведь правее, над тем эдакое чаще бывает.

На слова на эти в горлышке у ней, у сердобольной, ино крякнуло что, и грудь ходуном почала ходить; а сама молчит.

— Известно уж, мол, обидно все это (мы-то). Обидно это самое потому, как на стеганую девку худая слава ложится, всякий попрекнуть ее потом может, а ребята озорные. Да и опять же наши мужики одумаются опосля — сами жалеть станут тебя. Помяни ты наше слово!

Опять она головушкой помотала, и так-то круто и долго. А все неладная эдакая, молчит, все молчит, будто слушает. Мы опять:

— Больно, мол, это нехорошо. Неладно в деревне жить после сечева после этого распроклятого. На самих бы, мол, на большаках стряслось все это.

Она опять ухмыльнулась.

— Ты, мол, Аннушка, наплюй, коли сможешь. На-ко, мол, место какое — девку сечь задумали! Это, мол, и бабе-то так нейдет, да и не бывает. Девонька-то у нас разумная была, сама бы могла рассудить, которое так, которое нету. Свой бы суд себе смогла дать. Верно это слово?

Вот тут насилу-то на эти на слова она заревела (ну, мол, слава богу!). Заревела она, что дождем прыснуло, долго ревела (мы уж и не подговаривали ничего). Головонькой-то своей

бесчастной то в угол ударит, то ее на стол-от положит, а на нас не глядит. Руки свои ломать почала, а слов никаких не дает. Зло нали нас всех взяло: чего, мол, она речам-то нашим веры не дает, чтоб ей пусто было! Нас ведь, мол, не старшина к ней подослал, алибо не волостной писарь. Мы, мол, от своего ведь сердоболья все это, по своей охоте. Поревела это она, поревела — да и молвила:

— Ладно, мол, ладно!

— Да ладно и есть! — вступился хозяин.— Молчи же теперь, слезай с колокольни. Я сам сказывать буду.

Вот очень хорошо. К ночи-то приходил к ней Петруха, а затем и пропал, ушел от нас, а далеко ли — неведомо. Да я твоему благородью лучше покороче сказывать стану. Петруха вернулся, а пришел пачпорт выправить: в Питер наладился, на лесные дворы,— и с Борькой, одначе, не простился. Вот с той ли (не упомню) поры, как Петруха-то простился с ней, али с сечева-та с нашего...

— Да на первую ноченьку ведь она взвыла-то после сечева, что это ты, словно забыл? Петруха-то к ней с порчей-то и приходил, затем и приходил — это уже свято.

— Вот с тое с самое поры,— продолжал хозяин, не обращая внимания на замечание бабы,— Анютка выкрикать почала, и выкрикает она, сказывают бабы, и на мир, и на писаря, а больше все, слышь, на свою девью красоту да на Петруху. Борька у ней так живмя и живет, очень его выкрики-то ее занимают. Помянет когда икотой его-то имя, хохочет: любо. Не знаем, что будет. А посватается Борька да коли Петруха письмо отпишет — быть делу, быть свадьбе и нам пировать на ней. Ведь Борька-то мне родным приходится: племянник внучатный по родной по тетке по своей.

— А икоты этой, ваше благородие, в наших местах довольно! — заключил свою речь хозяин.

Действительно, болезнь эта, местно называемая икотой, частая и повсеместная во всем том краю. Икотой страдает верная четверть всего женского населения по правую сторону от реки Северной Двины. Дальше к западу от Двины болезнь эта пропадает и в кемском Поморье является под новой формой (несколько слабее) и под новым названием *(стрелье, щипота)*. Это прострел, усов, ветреное, колика, вызывающая крики и требующая заклинаний для выхода ее из больного человека «на уклад, на железо и на масло». «Тянись — не ломись и не рвись, всегда, ныне, и присно, и во веки веков, аминь».

Икота обыкновенно начинается под тем же видом, под каким является и просто спазматическое сокращение грудобрюшной преграды (диафрагмы); начинаются громкие крики, затем истерический плач или смех, в некоторых случаях общее параличное состояние и обморок, сопровождаемый всеобщей слабостью, острой болью в груди и голове. У некоторых припадки эти продолжаются часа полтора-два; у других, преимущественно у

старух, часто по нескольку часов (5, 6 и 7). Икота иногда (и даже в нередких случаях) переходит и на мужчин, и тогда тому человеку усвоивается имя *миряка,* а женщине — кликуши, икотницы. Туземный люд приписывает причину этой болезни, естественно, злому духу, и некоторые — порче лихого человека.

Так думают все страждущие, которые особенно часты по Пинежскому уезду, по преимуществу около города Пинеги. Недаром туземный народ, между другими остроумными прозвищами и остротами над соседями, дал пинежанам прозвание икотников. Между тем, во всяком случае, причина болезни этой требует строгого научного обследования, требует очистки медицинской критики от всей той массы народных суеверий, наплывших на болезнь в течение долгих веков. Известно, что оба уезда (Мезенский и Пинежский) наполнены гнилыми болотами. Пишущему эти строки довелось на реке Кулое, верстах в 20-ти от города Пинеги, на расстоянии четырех верст слышать и едва выносить крепкий сероводородный газ при 20 градусах мороза в воздухе и видеть некоторые места болота непромерзшими и отдававшими свежим белесоватым паром. Между тем в некоторых деревнях икота повсеместна, носит хроническую форму. В других, и часто ближайших, она пропадает вовсе. По преимуществу болезнь эта присуща женскому полу. В пинежском уездном суде сохранился судебный акт, содержанием которого спешу поделиться с читателями.

Крестьянин Пильегорской волости, Михайло Петров Чухарев (19 лет от роду), портил икотою свою двоюродную сестру Офимью Александрову Лобанову. «И ту сестру,— сказано в прошении,— теперь злой дух мучит». Чухарев на допросе показал, что «учил его тому той же волости крестьянин Федор Григорьев Крапивин, который,— сказано в показании Чухарева,— в пьяном виде вызвал меня из того питейного дому на улицу, советовал: «Не хочет ли научиться на народ пускать боли, под названием икота?» Я, по молодости своих лет и глупости, изъявил согласие. После чего учил меня значащимся в особом листе обстоятельствам таковое зло производить, и впоследствии времени до нынешнего хотя совесть меня мучила и сам терзался, но сделать такого вредного для народу случая боялся».

Вот как учил колдовству Михаила Чухарева Федор Крапивин: «При самом начале действия снять с шеи крест, положить в сапоги под пятку, подержать полсутки, говорить слова: «Отрекаюсь бога и животворящего его креста, отдаю себя в руки дьяволам». Шептать в соль, упоминая имя человека, коему зло намерен сделать, не иначе, во-первых, как родственницы; упоминать слова: «Пристаньте сему человеку скорби под названием икоты, трясите и мучьте (назвать имя человека) до скончания жизни». После, вынувши из сапога крест, повесить на стену. В то время будут дьяволи у тебя.— Помешкая сутки, переменить по-обыкновенному наперед: (т. е. надеть крест), тогда дьяволи от тебя отойдут, а будут мучить того, на кого сие учинишь. Соль же столовую бросить на дорогу или в другое место, коим тот человек ходит. С данным мне от

Крапивина неизвестным кусочком, менее горошины, похожим на липучую, черную серу, с приговором: «Как будет сохнуть соль сия, так сохни и тот человек, кому такое зло учинишь; отступите от меня, дьяволи, а приступите к нему». И невдолге сходить ту соль разрыть и сказать: «Поди, дьявольщина, от меня прочь!» И таким образом накануне прошедшего Богоявления господня двоюродной сестре своей, крестьянской женке Офимье Александровой Лобановой, такое зло учинил, которую злой дух мучит. После же сего действия, через один день, при начале сну, пришли ко мне в огненном платье три нечистые духа, из коих один сказал: «Я пойду, куда ты послал». А двое требовали тоже должностей. Чего испугавшись, призывая имя божие, и оным отогнал от себя, и более не видал. И после оных, когда, будучи в глубоком сне, видал прихожего неизвестного мне старика в черном платье, седая борода, отговаривал меня от такого зла уклониться, обратясь к богу, просить прощения; отчего пробудясь, призывал бога к избавлению от врагов, и теперь от его милосердия не отрекаюсь».

На допросах Крапивин показал, что у исповеди был в прошлом году, а у причастия когда был — не упомнил (обыкновение, нередкое между мезенцами, вообще склонными к расколу). Сотский Кузьма Любимов показал, что Крапивин «человек сумнительный». Староста от женщин слыхал, что Крапивин накладывает болесть под именем икоты; какой-то Иван Попов — что болезнь на женский пол напускает. Семен Макаров наслышался от многих людей, «между разговорами, что он на женский пол налагает, под названием икоты, болезни, каковою болезнию и жена моя страждет». Сама Лобанова показывает, что «болезнь икота у ней сначала в горле стояла, а потом опустилась пониже, открылось кричание, и икание, и жатье у сердца, а, в рассуждении, оную получила действительно от брата двоюродного, Чухарева», и за то будто бы, что она не дала ему поносить для праздника кушака *каламинкового*. Другие бабы (всего 16, все икотницы) сознаются в том, что у причастия не бывают оттого, что болезнь не терпит. Одна показывает, что получила две болезни, и одна особенно мучит, и «при всем мучении употребляет при болезни сей скверно-матерные слова». Но кто напустил болезнь — обе эти бабы не знают. Чухарев в кабаке говорил сидельцу следующее: «Дядюшка! сегодняшнего числа Иванова Попова дочь Анна бранит, будто я напускаю икоты на людей, и похвалилась, что и сама меня попомнит».

Далее следует решение суда: «Чухарева наказать кнутом, дав, по крепкому в корпусе сложению, тридцать пять ударов, и по наказании отдать церковному публичному покаянию, что и предоставить духовному начальству. Касательно до Крапивина, то как Чухарев уличить его не мог ничем, а верить ему, Чухареву, одному не можно, и за справедливое признать нельзя, и упоминаемый Крапивин, ни с допросов, ему учиненных, ниже на очной ставке, данной ему с Чухаревым при священническом увещании, признания не учинил, то в рассуждении сего, яко невинного, учинить от

суда свободным и по настоящему, теперь нужному для посеву хлеба времени и домашних крестьянских работ, препроводить его в свое селение, а Чухарева содержать под караулом». Дело решено мая 17-го 1815 года.

Начиналось утро самой ранней порой, когда я оставил новых приятелей своих и интересную кликушу. В воздухе разлита была та теплынь, которая неизбежно следует за всякой крутой вьюгой. Здесь, на Мезени-реке, в теплоте этой чуялись еще вдобавок та живительная свежесть и легкость, которые последуют в благодатное лето после благодатного дождичка в благодатных странах дальнего Приволжья. И что за прелесть, что за картинность прибрежных видов, разбросанных щедрой рукой по крутым берегам Мезени! Широкой белой поляной отделяет река цепь одних видов от других, им противоположных. И что за разнообразие в мельчайших подробностях картин этих! Не утомляет глаз и на этот раз ни неизбежное однообразие лесов, ни докучные пихты, ни досадные сосны. А как хороши должны быть эти рощи лиственниц, бесконечно и неисчислимо засевших по берегу, когда они все свежо и весело зазеленеют весной, когда и мезенец не посмеет попирать своими безобразными валкими санями родной широкой и богатой реки своей. Глядишь по сторонам — и не наглядишься; на сердце весело, и находишь отраду и зимой и в глухом, дальнем краю архангельском.

— А что, ямщик, весело ехать-то, хорошо!..

— Не больно же...

— Да полно, так ли?

— Дорогу-то уж очень перемело, лошадям тягостно.

— Так, чудак, неужели мороз-от лучше?

— Безотменно лучше: подобрало бы, выгладило бы. А то, гляди, какая пушнина лежит, что пух: хуже песку.

— Да зато тихо...

— Тихо — не лихо, да езда лиха,— сказывает пословица, так-то...

— Веселей сидится, веселей думается...

— Весело сидеть на всяком месте, которое не жмет да не колет.

— Ну, а думается?

— А думается, по тому и думается, каково на сердце. Ладно там, не скребет — и хорошо, а не...

— Ну, будет; дальше не надо...

Этот ямщик оказался резонером, как и все прежние, недавние; видно, все уж они таковы. К счастью, вот и смена, и новый ямщик, и новое место: людная деревня, рассыпавшаяся по крутому и высокому берегу. Из-за домов видится деревянная церковь. Стало быть, село.

— Как зовется?

— Юрома.

Поднимаемся на очень крутую гору с великим трудом, чуть не скатываясь вниз и навзничь. Перед нами, на самом юру, чистенький, чуть ли не новенький домик священника. Вот он и

сам перед нами с гостеприимным приветом и ласковым, отогревающим словом и делом.

— Вам надо посмотреть нашу диковинку,— говорит мне отец Михаил и ведет в церковь.

Церковь старинной постройки (по церковному памятнику, 1687 года), довольно большая, из поразительно толстых бревен и оригинальной архитектуры.

— По народному преданию (рассказывает отец Михаил), церковь строил богатырь (по-здешнему «батырь»), именем Пашко. Будто бы своими руками, на собственных плечах, валил он эти громады одна на другую, один, без посторонней помощи. Силы он был необъятной, а чтобы судить об ней наглядно — он оставил народу на память деревянную модель руки своей.

— Вот она! — говорил он мне в церковном притворе.

Громадный кусок дерева, длиной в высокий рост человека, обточенный с одной стороны в подобие руки человеческой. Рука сжата в кулак, и кулак этот шириной своей равняется четырем, если не пяти, головам взрослого человека. По запястьям и вдоль всего локтя и сгиба нарезаны орнаменты на манер балясин, и, вероятно, рука эта предназначалась для колонн, подпирающих потолок. Вероятно, поскучал изобретательный, хитрый на выдумки, строитель наделать таких рук до десятка и заменил их простыми, едва отесанными, но зато более благонадежными столбами, которыми подпирается потолок в настоящее время. А рука так и осталась без употребления в углу церковном, и благодарная память народа к строителю не позволила загнить руке этой вне церкви. Богатырь ли это был или скромный и несильный мужичок, строитель, может быть, с Пинеги (лампоженская церковь, в 3 верстах от города, во всем подобна юромской), решить невозможно. Между тем предание о богатыре Пашко все-таки живет в народе, и вот что о нем рассказывают:

— Пашко, уроженец соседней с юромской деревни (до сих пор называющейся именем богатыря — Пашкиной), раз пахал землю на берегу реки, в то время, когда по реке плыли сверху семь человек разбойников. У разбойников было крепкое, темное слово. Сказывали они это слово на ветер, нес это темное слово ветер на заказанное место, и стала у богатыря лошадь как вкопанная и не шла по полосе дальше вперед. Не стерпел силач Пашко такой обиды, а замка от заговору — темный человек — не знает. Надо донять злых людей хитростью и своей мощью. Посылает он своего работника по берегу наследить разбойников, куда они придут, где остановятся, и только бы на одно место сели: на воде они сильны, не одолишь. Разбойники свернули в реку Пёзу — так работник и сказывает.

Рассказывают также и другое, что Пашко не сробел, когда встала его лошадь, он послал и свое запретное слово, и лодка разбойничья встала и с места не тронулась. Да атаман был толков, знал замок и сказывал: «Братцы! есть кто-то сильней меня, побежим!» И побежали. Зашел Пашко по пути за товарищем Тропою,

таким же, как и он, силачом, и от его деревни * и с ним вместе повернул на лес. Нагнал Пашко разбойников на реке Пёзе (приток Печоры). Разбойники наладились кашу варить, да видит атаман кровь в каше, пугается крепко и товарищам сказывает: «Беда-де на вороту,— скоро тот, кто сильнее нас, сюда будет!» И не успел слов этих всех вымолвить, явился сам Пашко; одного разбойника убил, и другого, и всех до седьмого. Остался один атаман; бегает он кругом дерева, и исстреливает Пашко все дерево в щепы и не может попасть в атамана. Накладывает на лук последнюю стрелу и крестит ее крестом святым. Валится от этой честной стрелы враг его и супостат на веки вечные.

До сих еще пор старожилы показывают на пезском волоку (предполагаемом соединении реки Мезени с Печорой) то дерево, которое исщепал своими стрелами богатырь Пашко, и до сих еще пор всякий проезжий человек считает неизменным и безотлагательным долгом бросить охапку хворосту на проклятое, окаянное место могилы убитого атамана. Там уже образовался огромный курган. А за Пашко осталось на века вечные от этого дела прозванье *Туголукого* **.

Преданием о разбойниках, и притом не слишком дальним по времени, встречает и следующая деревушка-станция. Разбойники тех мест напали на богача и, вынуждая у него денег, его самого палили снизу на каленой заслонке и обсыпали сверху горящими листьями веников. Не добившись толку, они плотно заперли, заколотили и зажгли дом богача, полагая ему смерть от задушения. На счастие, мимо бежала старуха. Она слышала крики, сама, в свою очередь, перепугалась и закричала и таким образом собрала соседей, которые и успели переловить извергов. Все они против села Юромы, на другом берегу реки Мезени, в деревушке, были биты кнутом, прочим в страх и поучение.

Новое предание о разбойниках слышится еще в повести о житии Иова Праведного, мощи которого под спудом хранятся в селе Ущелье (в 3 верстах от деревни Березника). Здесь на крутом картинном мысу, или щелье ***, Иов основал в 1614 году, по грамоте новгородского митрополита Исидора от 1609 года, монастырь (потом пустыня, и с 1838 года приход).

В 1628 году, когда вся братия была на сенокосе, в монастыре оставался один Иов. Разбойники требовали у него денег и, получивши отказ, «огнем жгоша его и в неистовом исступлении своем вервиею влачаху его по земле, яко иссохшему от поста телу его всему изъязвленному быти и членам телеси его оторгатися от

* До сих пор существует, при проходе на пезский волок, деревня Тропины. Этому Тропе также, в свою очередь, народным преданием приписывается построение церкви в селе Койносе (в 1657 году, по церковному памятнику). Койнос — на реке Мезени, 140 верст от Юромы и около 250 верст от Мезени.

** Полагают, что имя *Пашко* происходит от уменьшительного имени Павел, а Тропа — от Евтропий.

*** Щелье — мыс речной, с оврагом и крутизнами. Особенно богата ими река Мезень, и оттого на ней деревни и села: Долгощелье, Белощелье, Конещелье, Защелье, Палощелье, Усть-Щелье и проч.

такового лютого мучения. Последи же разбойницы, немилосердно отсекши честную его главу, отъидоша»,— сказано в рукописном житии праведного. В ущельской церкви сохранилась кокора, на которой он был убит и которая облита была кровью (кокора эта теперь вся обгрызана, потому что щепы от нее, по народной вере, взятые в рот, успокоивают зубную боль). Указывают также и место убиения Иова за селом, под горой, на мосту, которого теперь уже нет, потому что ручей, отделявший церковь от села, уже пересох. Овраг, ведущий из селения на отдельную, высокую и крутую церковную (некогда монастырскую) гору, глубиной в 12 сажен. Гора обросла густым лиственничным лесом, из-за которого в просеках открываются редкие по красоте своей виды на дальний берег с людной деревней Березником и опять-таки с густыми лиственничными рощами.

С селением Койносом пропадают предания о разбойниках, которые, по всему вероятию, были беглые литовские люди и русские изменники, пользовавшиеся смутным временем, рассыпавшиеся мелкими шайками по всему лицу русской земли и пробиравшиеся к богатым Соловкам и торговому Архангельску.

Взамен преданий о разбойниках выступают вперед более древнейшие предания о чуди — аборигенах всего северного края России, о той *чуди белоглазой,* имя которой слышится и по реке Онеге, и по реке Пинеге. Здесь в некоторых местах пугают словом «чудь» капризных и плаксивых ребятишек. По реке Мезени показывают во множестве вещи, с общим названием чудских: кольца, выкопанные из земли монеты и проч. Я видел в деревне Березнике серебряные серьги затейливой, хотя и аляповатой работы, носившие тоже название чудских. Может быть (и по большому вероятию), они несравненно позднейшей работы и идут по наследству из рода в род, может быть, они просто-напросто новгородского дела и, может быть, даже времен самых первых заселений мезенского и вообще всего двинского края. Предания о чуди все-таки здесь еще живы и повсеместны. Более типическое предание удалось мне услышать в деревне Чучепале, самое имя которой, по этому преданию, происходит от чуди, и вот по какому поводу.

Повыше деревни (хотя и самая деревня стоит на довольно возвышенном месте), по берегу реки Мезени, на высокой горе в лиственничных рощах, стоял некогда город, населенный чудью. Новгородцы, расселяясь по реке, выбрали и соседнее предгорье, как место удобное и картинное. Первые годы соседи жили в миру, да строптива была чудь и не угадала *новгородской чести,* не подладилась под *новгородскую душу*. Задумали люди свободные, люди торговые и корыстные избыть лихих белоглазых соседей и для этого дождались зимы морозной и крепкой. Прямо против городка чудского на реке Мезени прорубили они лед поперек всей реки и сделали таким путем широкую полынью. Погнали они чудь из города в ту сторону, где лежала эта полынья: провалилась вся чудь от мала до велика, потонула. Стало то место реки называться *кровяным плесом* (называется оно этим именем и до этого дня), и прослыла

деревушка новгородская Чудьпалой затем, что тут последняя *чудь пала.*

По иному преданию, распространенному в других местах Архангельской и в некоторых соседних губерниях, чудь в землю ушла, под землей пропала, живьем закопалась. Сделала она это по одним — оттого, что испугалась Ермака [21], по другим — оттого, что увидала белую березу, внезапно появившуюся и означавшую владычество Белого царя [22].

На высокой горе, где предполагался чудский город, указывают на высокий курган как на последний остаток, на последнюю памятку о погибшем народе, коренное имя которого стерлось теперь с лица земли, оставшись только в отростках: корелах, лопарях, зырянах, вотяках, чухонцах, в мордве и проч. Досужие люди раскапывали в том месте курган, но ничего, однако, не нашли там. Такой же клад, схороненный «чудями», ищут между вековыми соснами даже на Печоре, там, где впала в нее с левой стороны речка Крестовка (в 90 верстах ниже Усть-Цыльмы), где выровнялся высокий берег, называемый Крестовским материком. И здесь до сих пор еще ничего не нашли.

Деревня Чучепала лежит от села Койноса в 14 верстах. А вот и Койнос — людное село, но бедная церковь, деревянная, в некоторых местах заплатанная, холодная и в службах по зимам едва выносимая. Бедны все примезенские церкви, но беднее койносской нет другой. Священнические ризы — тлен, иконы с почернелыми, едва приметными ликами. Все глядит поразительной ветхостью и скорым, неизбежным разрушением.

— Отчего же это, отец Евграф? — спрашивал я у священника.

— По всей Мезени народ склонен к расколу и еле держится, и только около коренных обрядов. В церковь почти совсем не ходит и если является, то только ради угождения палатскому начальству, раз в году на исповедь. У причастия никто не бывает. Ждут только решительного человека, чтобы впасть в неизлечимый и неисправимый раскол, как устьцылемцы на Печоре, кемляне и сумляне в Поморье.

— Кто же ими руководит?

— Есть у них толковники, начитанные и зубастые, в спорах неуступчивые. В тундре скиты настроены, где целыми артелями блюдут о древлецерковном благочестии, по их словам, но в самом деле купаются в прелюбодеянии и угождениях плотской и мирской жизни.

— А ваши-то прихожане нравственны?

— На поседках по зимам, не боясь ничьего глазу, мужики обнимают баб и огни гасят... На масленице, когда с гор катаются, девки среди бела дня сажают к себе ребят на колена и катают их вниз на салазках... В хороводах девки всегда крепко нарумянены; да и вообще этот обычай румяниться и белиться повсеместен, особенно с Азополя... Поп к ним со своей нуждой не ходи: либо ничего не дадут, либо сдерут такую цену, что после в два месяца не сберешься духом; разбойники!..

— А любят они старинку, держатся ли ее?

— Да в этом одном все и спасение-то свое видят. Хуже свадеб их я ничего не видывал. Перед обрядом свадебным ведется обычай кормить молодую горячими, маслеными блинами. Блинами этими она оделяет подруг, бросая в них как ни попало и не обращая внимания на то, пачкает ли она их новые нарядные платья или нет. Для них это все равно: было бы только приложено усердие да соблюден обычай. После самого обряда бракосочетания жених держит свою голову высоко и вообще гордо затем, чтобы не первым поцеловать молодую. Та, кое-как, с великим трудом и то на цыпочках, достает мужнино лицо и чмокает, но тотчас же и начнет голосить, притворствуя: «Насрамил ты меня, набесчестил — погубил ты мою девью красоту!» На паперти *крутят ей повойник;* она при этом обряде упирается, лягается, кричит, не дается, но обычай и сила берут свое. В сани мужнины она в повойнике садится уже охотно и радостно.

Когда приведут молодую от венца к мужу в избу — она закрыта. Отец молодого поднимает платок — молодая не дается. Ее хлопают затем ковригой хлеба по лбу и сулят денег, жита, нарядов. Она ни на что не соглашается. «Ну вот же,— говорит отец,— даю тебе сына своего». Тогда она и фату открывает. До сих еще времен существует обычай красть невест без ведома родителей, по любви. И бывает тут иногда неспроста, не по одному виду, а хуже: одному жениху отморозили руки, заставив его простоять битых семь часов на тридцатиградусном морозе у дверей его богосуженой, но не суленой. Только это несчастие и случай и умилостивили отца и мать невесты; а парню-то она *порато горазно* полюбилась.

— А чем же живет народ по-преимуществу?

— Деревянную посуду приготовляет: чашки, ковши, прялки, ложки, блюдечки, и очень красиво, и очень много, так много, что вывозят даже на Пинегу. Некоторая часть из народа уходит на морские промыслы, и большая половина занята ловлей лесного зверя и птицы. Для птицы они прокладывают тропы и зовут эти тропы — путиками. Идут эти путики одного хозяина вдоль нашей безграничной Тайболы на великие десятки верст.

Простоты в них, доброты, предполагать надо, много: живут в старине, любят дом и семью — там всегда хорошо. Столицы, фабрики и людные города уничтожают добродушие народа, портят их нравственно.

В нашем народе и доброта, и простота — все это есть, но портит их раскол и старые заповеди. А есть и между ними уроды.

— Какого же рода?

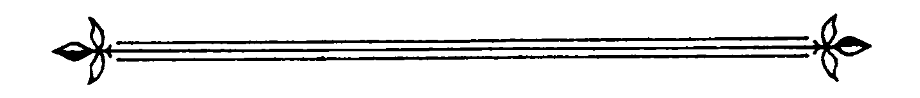
— А вот вы поедете на Печору, встретите отца Николая. Его об этом спросите!..

— Я вам непространно повествовать буду,— говорил мне отец Николай,— вкратце изложу вам предмет предлагаемой вами беседы. Ехал я к приходу летним путем, по рекам — в лодке, по переволокам — образом апостольского хождения; в стороне доводилось неоднократно и рев лесных обитателей из звериного рода слышать на страх, и пение пернатых на услаждение... Да нет-таки, я вам

лучше коротенько. Похвалю вам обычай оставлять для путешествующих, но заблудших странников брашно (хлеб, соль и рыбу), которое обретали мы в каждой лесной избе, и почасту в избытке. Но заблудились, потребили все запасное свое и начали уже изнывать тяжким гладом. На видимое счастье наше, напали на охотника с реки Мезени, избыточествовавшего запасом своим. Просили поделиться — отказал: для себя, сказывал, припасал, а на странников наткнуться не полагал, дескать, никакие надежды. И сам ел при нас. Думал я, раскольник то был, а стал молиться — истинный крест Христов на перстах своих изобразил. Сказал же нам, однако, что поблизости старообрядский скит есть. Содрогнулась в нем душа, по-видимому, и временно отстал от него дух тьмы. Пришли к скитникам. Скитники жили в достатке и моим нарядом не побрезговали: приняли, насытили и молитвословия не воспретили. Отдохнул я с семьей, сном подкрепился. Приступили с прошением ко мне: «Почитай нам, батько, правило: мы помолимся!» — «Да ведь я по своему требнику стану: по вашему дерзать не могу!» — ответствовал. «Нам, говорят, все равно, была бы молитва твоя угодна и не с сердца срывалась». И молитвословил я своим греховным молением, и возносил умиленные мольбы ко всевышнему, да приобщит сих заблудших овец к стаду Христову избранных и от веков возлюбленных.

— И не столь они злы, как говорят, и не обрядами они тяготятся и по ним разделение свое от нас чинят,— прибавил потом отец Николай.— Тут полагаю причину более важную и более знаменательную...

— Да ведь это, батюшко, давно уже известно. Мы об этом потолкуем с вами когда-нибудь после, на досуге.



VII

ПОЕЗДКА ПО РЕКЕ ПИНЕГЕ

Город Пинега.— Красногорский монастырь.— Предания о князе В. В. Голицыне.— Веркольский монастырь.— Икота.— Село Кевроль.— Путики для лесной птицы.

Почтовый колокольчик отболтал свои последние трели, казенная кибитка обхлопала последние ухабы и выбоины — перед нами ряд домов с городской обстановкой и принадлежностями, перед нами весь налицо маленький уездный городок — Волок по народному прозванию, Пинега — по казенному. На этот раз в нем ярмарка, называемая и в официальных бумагах, и на простом ходячем языке Никольской. Это было 6 декабря.

Пинежская ярмарка, как и все собственно народные ярмарки (называйте ее даже базаром), ни в чем не разнится, ни в чем не отступает от множества подобных народных сходок, разбросанных десятками тысяч по всему лицу русского царства. Не имея официального характера, не обставленная казаками и жандармами, она носит на себе все признаки старинных русских мирских сходок. В ней все непринужденно и искренно, все живет нараспашку, без дальнего спроса о том, так ли это надо или иначе. Затронутая самым живым интересом — интересом барыша (хотя бы в некоторых случаях и копеечного),— она шумит, как вообще шумит русский человек, когда он очутится на полном просторе, на широкой, собственной, нестесненной воле. Она кричит потому, что кричит петухом и всякая барышная копейка, по смыслу народного присловья. Далеко разносится ярмарочный гул затем, что гулу этому есть где разгуляться по широким тундряным полянам, обступившим город. Прислушаешься к гулу, и бог весть что почудится в этом гуле: и звон золотых в засаленных, но крепко сшитых мошнах ижемских зырян, счастливо сбывших свои меха и пушнину в надежные и искусные руки галицких купцов, и звон серебряных денег в руках архангельских и вологодских краснорядцев, продавших линючие и залежавшиеся московские ситцы в руки холмогоров и печорских зырян (гуртом) и в надежные руки соседних баб и девок. Слышится в народном ярмарочном пинежском гуле и глухое побрякивание медяков — тяжелых денег, доставшихся оборышем,

незавидным излишком на горькую долю самоедов, явившихся сюда из-за тысячи верст, из дальних тундр своих, целыми аргишами — вереницами оленьих санок, нагруженных мерзлой и соленой рыбой: чирами, пелядами и семгой. Чуется в пинежском ярмарочном гуле и безнадежный визг последней копейки, поставленной ребром мужичком с той же Пинеги или с ближней Двины из-под Холмогор, продавшим какой-нибудь десяток пар рябчиков или чухарей (глухарей).

Во всем остальном Пинежская ярмарка опять-таки, как капля воды на другую, похожа на все ярмарки и базары. Те же питейные дома, соблазнительно застроившие все входы и выходы города, те же питейные выставки под полотняным колоколом на бойких местах, по случаю такого горячего и суетливого времени (только три или четыре дня дышит своим разгаром ярмарка в Пинеге). На ней услышишь в народном гуле печальный крик мужичка, который воспользовался людным сбором и, повесив свою лохматую шапку на длинную палку, просит сказать православных: не видал ли кто выкраденной лошадки с такой-то приметой или такой-то сбежавшей коровы. Здесь легко выслушать, из общей свалки криков и возгласов, редкий плачевный звон вновь вылитого колокола, сбирающего подаяние на подъем и благополучный подвес на колокольню. И здесь — повелительные предостережения едущих «поберегись», и здесь между серым народом неизбежно толкаются поп с попадьей, приторговывающиеся к кобылке или ситцам. Породистые девки, все в красном, стоят, скрестив на плотных и высоких грудях руки, тупо поглядывая на проходящих. Здесь опять-таки наследишь и мелкие обманы торгаша, крупные обманы крупного торговца. Не увидишь только ярмарочных представлений в виде райков, балаганов с «петрушками» и «шире-бери», потому что здесь к этому непривычны. Все-таки заметишь сосредоточенную на местных пунктах хлопотливость, охаживание и облаживание известных целей в крупном, гуртовом, широком размере. Это — оптовая покупка мехов и дичи. Меха пойдут в Москву; дичь, в виде куропаток и рябчиков, уйдет в Петербург, и только мерзлая и соленая рыба — по ближнему соседству. Незначительное (по сравнению с прочими оборотами ярмарки) число костей и рогов моржовых и мамонтовых, добытых на Новой Земле и на Печоре, попадет в руки архангельских и холмогорских костяников.

Ярмарка, вымирающая ночью до единого воза и человека, уже с 6 декабря, положенного законным началом для нее, начинает терять все более и более характеристический вид. Завтра опять наедут с ранних утренних потемок возы из ближних деревень, но уже гораздо меньше, и собственно ярмарка, по общим слухам, кончилась еще накануне, в сочельник. Перекупают и скупают все привезенное еще до рассвета и по дворам. Рыночной продажи и по мелочам положительно нет — пару рябчиков, рыбу достать весьма трудно и почти невозможно: все закуплено оптом и передано извозчикам. С меня просили 50 копеек серебром за пару рябчиков, тех самых рябчиков, которые, привезенные в Петербург, на Сенной

площади будут стоить 40 и 50 копеек,— все по той причине, что ярмарка оптовая: не хочется развязывать воз и путать партию считанного товара. Стало быть, ярмарки, в ее общепринятом значении, в Пинеге нет: это просто-напросто обусловленный обычаем срок для съезда продавцов к своим доверителям. Так идут кожи, дичь, рыба печорская, мясо, звериные шкуры и по рознице остаются гнилые лоскутья, выдаваемые за ситцы, да пыжиковые изделия (шапки и рукавицы), да крестьянские лошади, да мелкий хлам деревянный и железный. На тот год (1856) все стоило дорого и значительно выше против прошлогоднего: на лесного зверя, говорят, лов был плох, рыба тоже ловилась незначительно, а недавняя война влияла на возвышение цен и на мясо, и на пищу, и на другие крестьянские продукты и изделия.

Народ пьет горькую, но не крепкую водку и орет к вечеру песни. Расчетливые оптовые продавцы, ижемские зыряне, начинают в теплых квартирах галицких купцов свои торговые разговоры с чаю, до которого страшные охотники, и оканчивают сделки бутылками хорошего хересу, привезенного архангельскими купцами прямо с биржи и не фабрикованного. Ничем особенным не сказался первый день ярмарки. В единственной городской церкви, каменном соборе, освящали воду, звонили в колокола — да и только! Да народу пьяного было очень много.

7 числа меньше возов; расплата оптовых торговцев по домам; изредка опоздалые, задержанные пургой возы, плетущиеся на оленях по улицам. Гуще набито народу около продавцов красным товаром. В толпах этих пестреют оленьи совики и малицы мезенцев и реже — овчинные тулупы и полушубки верховиков (с Северной Двины, из Шенкурска).

8 числа ярмарки почти уже нет; многие квартиры опустели, и весь городок, значительно обезлюдевший, готов погрузиться в долгую спячку до 25 марта, когда начнется снова базарный крик, но уже значительно не в той мере и силе. Этот крик последний в году: это ярмарка, называемая Благовещенской, последняя для Пинеги.

9 числа я покинул этот город для Печоры и снова еще раз встретился с ним на обратном пути оттуда через полтора месяца. Встреча эта была нерадостна и не могла уже задержать меня надолго в городе, который глядел уже на тот раз тоскливо, безлюдно, как глядит и всякий другой архангельский городок, бедный средствами и скудный жителями.

До 1780 года Пинега была деревней *Волоком* и Большим погостом: Волоком называлась она затем, что стоит на четырехверстном пространстве, отделяющем реку Пинегу от Кулоя, через которое переволакивали некогда на себе суда из одной реки в другую. Указом от 20 августа 1780 года волость названа городом Пинегой по реке, протекающей подле. В него переведено было и воеводское правление, переехал и сам воевода из города Кевроля (за 130 верст на реке же Пинеге). Кевроль стал, в свою очередь, бедным селом, под именем Воскресенского погоста, заменив прежнее

название Пинеги, и не выиграл многим и старый Большой погост с новым названием — Пинегой, хотя уже здесь и давно существовал широкий и бойкий торг, один раз в год, на Николу. В 1781 году императрица Екатерина II приказала отпустить из казны 8 тысяч рублей на построение в новом городе каменной соборной церкви. В мой проезд собор этот, перестроенный вновь, освящен был архангельским и холмогорским архиереем.

Вот все, что можно сказать о Пинеге, не забывая того, что вблизи этого города находится место, более замечательное и интересное по своим историческим воспоминаниям, это — Красногорский монастырь.

Монастырь этот лежит в 10 верстах от города на высокой горе, носившей некогда название Черной. Путь к монастырю лежит мимо множества маленьких деревушек, рассыпавшихся по реке Пинеге, неширокой, но картинно обставленной крутыми горами и засыпанной высокими лесами и рощами. Крутая, с трудом одолимая гора ведет в монастырь; на самой возвышенной точке ее расположены каменные строения этой небольшой и бедной обители, обнесенные деревянной стеной. Вид с колокольни поразителен, восхитителен; лучше его не найти во всей Архангельской губернии. Провожавший меня монах, сказывавший, что отсюда видно верст за пятьдесят, прибавил: «Сам владыко залюбовался!..»

Вот краткая история монастыря Красногорского, как рассказал ее автор описания Архангельской губернии, священник Козьма Молчанов (СПб., 1813 г.). «В лето 7111 (1603), в царство Бориса Федоровича Годунова, некто Воскресенския кеврольския церкви игумен Варлаам, по некоторому явлению, ему бывшему, возымел обещание находившийся у него образ пресвятой богородицы Владимирския из Кеврола перенесть на эту Черную гору и поставить на оной; к исполнению которого предприятия получил и случай удобный, а именно бывшего на ту пору в Кевроле за своими делами юрольского священника Мирона; почему оную икону для отнесения на ту Черную гору и поручил помянутому священнику. Ибо Юрольская волость, где священник сей жительствовал, лежит близ той Черной горы за одной рекой. Священник Мирон оную икону принес и поставил на Черной горе, как приказано было от игумена Варлаама, и потом близ той иконы водрузил крест и около оного креста огородил досками; а потом и там, по совету некоего монаха Ионы, близ оных мест, во время Гришки Самозванца, от гонений польских и литовских странствовавшего, и по увещанию прежде упомянутого игумена Варлаама, принял монашество, а наречен будучи Макарием, начал жительствовать на этой горе. Напоследок сам отлучился в Москву бити челом царю и великому князю Василию Иоанновичу[23] всея России о даче на той Черной горе под монастырь места; а Иона, там оставшись, начал рубить лес и готовить на церковное строение и поставил себе келью на упокоение близ показанного креста. Спустя несколько времени возвратился из Москвы Макарий и привез от царя и великого князя Василия Иоанновича всея России данную 7114 (1606) августа в 28 день грамо-

ту, которой повелено Черную гору написать за ним, черным попом Макарием. По поводу чего в следующую зиму отправился оный Макарий в Новгород к преосвященному Исидору[24], митрополиту новгородскому и великолуцкому, церковных ради потреб и антиминса на освящение церкви. Преосвященный Исидор, слышав, что не было на Пинеге в близости иного монастыря, поставил его игуменом и дал ему посох и настоятельную грамоту, дабы на Черной горе устроить общее о Христе братство. Таким образом, игумен Макарий из Велико-Новгорода возвратился в осеннее время; а монах Иона с прочими трудниками между тем состроили церковь, которую все с окрестными священниками и освятили соборне во имя Похвалы пресвятыя богородицы. В сем монастыре имеется и другая чудотворная же икона, называемая *Грузинской*, после пленения Грузии в 7130 (1621) году персидским Аббас-Шахом[25] купленная у персиан бывшим для торгу в Персии ярославского купца Григория Лыткина приставником Стефаном, сыном Лазаревым, и потом им, Лыткиным, лета 7138 (1629) августа в 22 день при благоверном государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче и по благословении святейшего патриарха Филарета Никитича[26] московского, при Киприане[27], митрополите Новгородском, и при игумене Черногорского монастыря Макарии в оный Черногорский монастырь принесенная, в честь которой после того он, Лыткин, и церковь прекрасную воздвигнул. Сверх того, обе чудотворные иконы жемчугом и дорогими каменьями украсив, дали в сей монастырь много церковных утварей и поучительных 147 книг, с которого времени и монастырь уже стал именоваться Красногорским. Выше упомянутая церковь в Красногорском монастыре 7119 (1611) года сгорела, по сгорении которой за скудостью сперва пристроен был для священнослужения алтарь к келье, потом, при державе блаженныя памяти императора Петра I, по грамоте Варнавы, архиепископа холмогорского, 1722 года июня в 3 день данной, заложена новая каменная церковь с теплой трапезою; а в оной престол пресвятой богородицы Владимирския, который и освящен, по грамоте архиепископа Варнавы, 1726 года февраля в 28 день данной; а в большой холодной во имя пресвятой богородицы грузинския престол освящен в 1735 году марта в 22 день при державе блаженныя памяти императрицы Анны Иоанновны Германом архиепископом. Тогда же монастырь получил на постройку церкви жалованья 1000 рублей». Икону ежегодно приносят из монастыря в Архангельск. Празднование ей установлено 22 августа. В алтаре богоматери та створчатая деревянная киота, в которой будто бы «принесен был на Красную гору образ Владимирския богоматери из Кевроля».

Недаром же полюбился Красногорский монастырь и сосланному в Пинегу князю Василию Васильевичу Голицыну[28] — любимцу царевны Софьи Алексеевны[29], некогда сильному своим государственным влиянием и некогда славному на всю Русь несметными богатствами. Удаленный от дел сентября 9 в 1689 году, он сперва сослан был с женой и детьми в Каргополь, а потом 5 марта

1691 года переведен на вечное житье в Пустозерский острог. Двадцать лет томился он в этой ссылке, получая 13 алтын и 2 деньги (40 копеек) на содержание в день с семейством своим. Имел несчастие потерять здесь старшего сына, который помешался от тоски. Осчастливленный некоторыми льготами, он переведен в 1711 году в Пинегу, где, по народному преданию, получил из Москвы свой конский завод и бесплатно выдавал крестьянам на Мезень и Пинегу кровных кобыл для улучшения породы туземных лошадей. Говорят, что это обстоятельство было главной причиной тому, что мезенки сделались известной породой; говорят, что у двух-трех богачей по Мезени до сих еще пор сохраняются образцы чистой, беспримесной породы лошадей княжеского завода.

Князь Голицын любил ходить из Пинеги в Красногорский монастырь, подолгу сидел в деревнях, смотрел на хороводы и учил крестьянских девушек петь московские песни, которые действительно выдаются из ряду туземных и слышатся только пока в одних этих восьми деревнях, отделяющих город от монастыря. Указывают на рощу, расположенную под монастырской горой, в которой, по народному преданию, особенно любил гулять и любовался князь Голицын и на красивый монастырь, и на живую ленту реки Пинеги, бегущей в прихотливых, светлых коленах, змейкой, далеко в беспредельность — туда, где за вологодскими лесами лежит каменная Москва, дворцы царей, терема кремлевские, монастырь Новодевичий...

Роща эта, расположенная на длинном мыску (наволоке), образованном изгибом реки Пинеги, теперь сделалась так редка, что служит только одним едва приметным признаком некогда густой и, может быть, расчищенной рощи. Тут, по монастырским книгам, поблизости стояли в старину монастырские строения, положенные по уставу вне монастыря. В 1713 году В. В. Голицын скончался в Великопинеге. Тело его было перевезено и погребено в монастыре Красногорском, по духовному завещанию князя. Дети его возвратились в Москву. Могилу князя, накрытую простым диким камнем, показывают аршинах в двух от церкви против алтаря. На мой проезд камень этот высоко засыпан был снежным сугробом, те же сугробы окружали всю церковь; никто не прочистил ни тропинки, никто не обмел самой гробницы. Монахи говорят, что надпись на камне нельзя разобрать: лет уж 10 ее смыли дожди и снега. Вся память об некогда знаменитом князе осталась в некоторых вещах, завещанных им, а может быть, и подаренных его детьми монастырю. Пролог, прописанный по листам рукой самого князя, на доске имеет надпись: «Сию книгу положил в дом Пресвятой Богородицы на Красную гору князь Василий Васильевич Голицын». Другие руки свидетельствуют, что «сия книга его милости и светлости». Тут же видны следы детских рук, пробовавших почерк. Книга пожалована в 1714 году. В келии у настоятеля хранится шитый шелками образ богоматери с тропарем кругом. Точно такой же шитый (изящно) шелками образ распятия, по венцам пронизанный жемчугом; такая же плащаница, с изображением снятия со креста,

и воздухи [30] хранятся в соборном алтаре на стене. Все они, говорят, шиты руками царевны Софьи Алексеевны. В алтаре же на стене висит старинное зеркало, довольно большое, створчатое, украшенное по рамкам фольгою и позолоченными орлами, чистой и изящной (по времени) отделки. Зеркало это, по всему вероятию, принадлежало князю и подарено ему, может быть, также царевной. В настоятельских кельях, и притом в страшном небрежении, без рамки, в углу, сохранился почернелый от времени портрет царя Алексея Михайловича, писанный масляными красками, хорошей работы, по всему вероятию также собственность князя В. В. Голицына и, очень может быть, подаренный ему самим царем. В монастырском синодике на вечное поминовение князей Голицыных записаны 20 имен, внизу которых рукой самого князя вписано его имя (род. 1643 г.), имя Евдокии (жены или дочери?), князей Михаила (младшего сына) и Алексея (старшего сына, помешавшегося от тоски).

Таковы сведения, которые удалось собрать о знаменитом ссыльном в самом монастыре Красногорском и его окрестностях *. Некоторые из простонародья прибавляли, что-де князь крепко держался старинки и был раскольник...

Между тем наступал последний месяц года, назначенного мне сроком от морского министерства для обследования и изучения прибрежьев Белого моря. Вдали предстояло еще много дела: часть Двины от города Холмогор до монастыря Сийского, с которого дорога поворачивает на петербургский тракт. Вся южная часть уезда Пинежского должна была ускользнуть от моего внимания и изучения — часть, которая представляла, по-видимому, и по общим слухам и уверениям, так много интересного. Там и село Кевроль, или, иначе,— Воскресенский погост, бывший воеводский город, и село Чакола-древняя — самые первые новгородские заселения в том краю, там множество преданий о чуди, в большем числе и интересе, чем пойманные мной на реке Мезени, как уверяли. Там, по уверению Молчанова (автора описания Архангельской губернии), «крестьяне понятливы, несколько корыстолюбивы, грубы и необходительны», там, наконец, монастырь Веркольский с своей стариной и богатствами старинной письменности. «Сей монастырь,— говорит священник К. Молчанов в своем описании,— состоит на своем содержании на Пинеге реке, вверх по той реке, от Пинеги города в 151 версте, в волости Веркольской. Начало свое восприял со времени явления мощей и ныне в оном монастыре опочивающего святого и праведного *Артемия Веркольского* чудотворца, который родился в лето 7040 (1532), скончался 7052 (1544) года июля в 23 день, на двена-

---

* Из описи, составленной по открытию Архангельской губернии в 1784 году казенным зданиям, в посаде Кулое (Пинежского уезда) в 30 верстах от города показан дом князя В. В. Голицына. На этом основании некоторые полагают, что он здесь и умер, а не в Великопоженском погосте.

дцатом году от рождения своего. Обретенные мощи его 7085 (1577) года, в 33 год после преставления его, положены были сперва в паперти у приходской веркольской церкви святого Николая Чудотворца; из паперти в предел перенесены 7091 (1583) года; потом, по свидетельствовании, по указу Макария, митрополита новгородского, и обретении оных подлинно нетленными, также по сочинении ему жития и службы, из предела поставлены внутри той же церкви, в 7118 (1609) году декабря в 6 день. После того мезенский и кеврольский воевода Афанасий Пашков, получа скорое от бога, при помощи праведного Артемия, сыну своему в учинившейся тяжкой болезни облегчение, в знак своего за то благодарения, близ той Никольской церкви в 7152 (1446) году построил своим иждивением прекрасный во имя великомученика Артемия храм и окрест оного ограду и кельи для жительства монашествующих. Первый строитель в новопостроенный монастырь определен Рафаил, а в бельцах Родион Макарьин, при нем черный священник Иона, которые, таким образом, не успели лишь составить в оном монастыре общежительства, как в лето 7147 (1639) июня в 24 день оные храмы сгорели; почему они над мощами святого и праведного Артемия сотворили часовню. Наконец, вскоре после того, от царя Алексея Михайловича, по челобитью кеврольского земского старосты Филиппа Козьмина Драчева с мирскими людьми, прислана в Кевроль к воеводе грамота о построении новой церкви, где обретены мощи чудотворца Артемия, что они и исполнили. Лета 7157 (1648) ноября в 14 день воевода Григорий Аничков и кеврольской десятины заказчик священник Иоаким Васильевич, дьякон Дометиан и прочие духовного и мирского чина люди, приехав в Веркольскую волость и пришед в монастырь, пели молебен, воду освятили и потом честныя мощи того святого, положа в новую раку, перенесли из часовни в новопостроенную церковь св. великомученика Артемия и поставили честно на южной стороне».

«Государского жалованья в сей монастырь было:

От царя и великого князя Алексея Михайловича всея России в Кеврольский уезд, в монастырь св. Артемия, веркольского чудотворца, строителю Родиону Макарьину да черному попу Ионе с братией, по нашему указу и по обещанию сестры нашей, благоверныя царевны и великия княжны Ирины Михайловны, послано к вам в монастырь чудотворца Артемия веркольского церковного строения: Евангелие напрестольное, крест благословляющий, ризы, и стихари, и иное церковное строение с крестовым нашим дьяком Игнатьем Яковлевым; что церковного строения прислано, и тому послана к вам роспись под сею нашей грамотою за дьячьею приписью, и как сия наша грамота придет, а крестовый наш дьяк Игнатий Яковлев к вам приедет в монастырь, и вы б у него церковное строение, по росписи, каково под сею нашею грамотою, приняли все налицо, и велеть записать в книге именно, чтоб то наше церковное строение вовеки было неподвижно; а как то церковное строение у крепостного нашего дьяка Игнатия Яковлева примете, и вы б о том к нам отписали; с ним же, Игнатием, и его отпустили, а на

Москве отписку подать, и ему, Игнатью, велели явиться и в приказе большого дворца боярину и дворецкому князю Алексею Михайловичу Львову, дьякам нашим Ивану Федорову, да Давиду Дерягину, да Смирнову Богдану. Писал на Москве 7158 (1650) года генваря в 26 день».

По счастью, монастырь этот (единственный во всей Архангельской губернии) случайно обошелся без ссыльных и не видал мучений жертв своих. Даже и в то время, когда сильно разгорался и судим был повсеместный сильный раскол, здесь не было ни одного страдальца, которыми наполнены были все русские монастыри, а по преимуществу архангельские.

Возвращаться назад в любопытные страны медвежьего угла по рекам Кеврол и Чаколе для меня уже было поздно и некогда. С стесненным сердцем должен был я сесть в Пинеге в кибитку для того, чтобы ехать на Двину, в давно знакомые Холмогоры.

Глухой, девственный лес сменялся деревушкой, деревушка прорезала лес и облагалась полянами. Стояла зимняя пора — стало быть, все было однообразно. Здесь возят как-то вяло; на многих станциях приходится сидеть подолгу. Самые деревушки глядят каким-то бездольем и сиротливым видом, хотя широкая река и не пропадает у нас из виду, преследует нас своими изгибами на всем долгом пути, хотя в то же время и близимся мы к богатому подвинскому краю.

— Чем вы промышляете?— спрашиваешь в каждом селении, и в каждом селении получаешь один ответ:

— Да путики кладем, птицу ловим, зверя бьем по этим путикам.

Путики — это лесные тропы, которыми испрорезаны все Тайболы, и Верхняя и Нижняя, все леса, которыми заросла правая (от реки Северной Двины) и огромная половина огромной Архангельской губернии.

Путик прокладывает себе всякий, которому припадет только охота к лесному промыслу, но в большом количестве прокладывают их мезенцы, а особенно пинежане. У старательного и домовитого промышленника таких путиков проложено до десятка, и редкий из них не тянется на 40, на 50 верст; некоторые заводят свои тропы и гораздо на большее пространство.

Путик этот прокладывается просто: идет мужичок с топором, обрубает более бойкие и частые ветви, чтобы не мешали они свободному проходу. В намеченных (по приметам и исконному правилу) местах вешает он по ветвям силки для птиц, прилаживает у кореньев западни для зверя. Каждый так наметался и так обык в долгом опыте и приглядке к делу, что уже твердо помнит и подробно знает свою тропу и ни за что не перемешает свои путики с чужими. Верный исконному обычаю и прирожденному чувству понимания чести и уважения к чужой собственности, он и подумать не смеет осматривать, а тем паче обирать чужие путики, хотя бы они тысячу раз пересекли его путик. В местах, близких к селению, каждому, естественно, мало заботы о том, где бы отдохнуть и приклонить свою голову. У русского человека кумовства до Москвы

не перевешаешь. В местах, удаленных от селений, охотники часто по общему сговору ладят промысловую избу (кушню), а то обходятся и с простым шалашом, особенно в раннее осеннее время. Охотник уже не думает о комфорте, мысль о котором архангельскому промышленнику наверное никогда не придет в голову.

В одной из деревень (кажется, Кузомени), по пути от Пинеги к Холмогорам, я напал на охотника, сединой запушившегося на исконном лесном промысле. Не пошел он на ту зиму затем, что крепко уж болезнь его стала ломать, силу отняла. Разговорились мы с ним, и не стороной, а прямо-таки подошли с ним к делу.

— Кто же повадливее, кто легче идет на добычу: зверь или птица?— спрашивал я его.

— Да прямо сказать хитро, а пожалуй, и не сможешь вдруг,— отвечал он мне.

— Ну, а как же, однако? Подумай-ко, пожалуйста!

— Известно уж одно: всякому своя жизнь дорога, всякий ее блюдет и хоронит от недоброго конца: человек ли то али птица. Однако птица меньше об этом смекает: птица только легче, скорей наутек, а то птица проще, глупее (надо бы твоей милости так сказывать). Зверь хитрей: у того обыку пуще, тот завсегда умнее птицы.

— Отчего же это, как ты полагаешь?

— Да уж это богу весть, как полагать-то...

— Однако как ты сам-то думаешь об этом?

— Так, стало быть, сам господь их сотворил. Его святая воля на то, надо быть, была. Может, оттого птица глупее, что перьями да пухом обросла, а зверь шерстью. Может, оттого, что у зверя четыре ноги, а у этих две только. Я уж не знаю, отчего это,— не думывал. Примечать-то раньше не догадался, а охотник бы я и до этого. Да теперь уж стар стал, не смогу, и память-то хлябать почала. А вот, постой-ко! Я лучше тебе особняком об них, по порядку. Может, и сам смекнешь, али что надумаешь — тогда легче.

— Сделай же милость!

— Вот возьмем на первую пору хотя бы белку (я ведь с ружьем люблю; силки-то и ставил когда, так от нужды от великия). Белка еловый лес любит, а пуще лиственницу. Мало там станет пищи: она за нуждой своей за великой и в сосняги потянется — делать-то нечего! Это бывает после осенней Казанской, тогда на белку и охота, потому она на ту пору выспела, пушистей стала, серой стала. Тогда она отменно хороша, на зиму теплой шубой запаслась; охотнику в лес надо. А для этого собака да лыжи пригодны. Без лыж по нашим по лесам, где наворочено те снегу, что пушнины, нельзя; без лыж ты дальше дому своего не уйдешь. А собака в этом деле что жена хорошая. И собака та хороша на белку, которая не выпустит зверя с глаз со своих: ее белка не боится, а, гляди, еще и не любит ли ее...

— Как так?

— Да замечал я вот что: собака лает — белка играть начинает; собака пуще — зверь еще пуще резвится, с ветки на ветку прыгает, а держится все на одном дереве. Другие дураки-охотники себя оказы-

вают. Этого белка не любит, она сейчас наутек и с глаз твоих сгинет. Особенно не любит она человека, когда «по ели идет»...

— Это что же такое?

— А когда, значит, она из лиственных лесов в еловые перейдет и в них ходит, а это бывает в Кузьминки (в начале ноября), тогда и охоту мы начинаем, сказывал ведь я. У нас на все — надо тебе молвить — на все своя примета есть,— без того плохой ты охотник. Сказывать ли тебе про приметы-то наши?

— Да хоть сам-то я и не охотник, а по мне, это-то и есть самое интересное, об этом-то мне и хотелось бы от тебя слышать...

— Ну, так и слушай! Есть белка разная: есть белка *ходок*, есть *сидячая*. Одна не любит шататься, другую ничем не удержишь; она раньше других и леса меняет. И всякая погода на нее свою силу имеет: холода стоят — она такая резвая и бойкая, что и хорошая собака ее не доймет глазом, не наследит. Дожди ей — пуще неволи; в дождь белка, что курица, мокнет. Тогда она покой любит, спит больше. Когда шибко ветрено — белка с дерева сходит, по земле прыгает; почует собачий лай — прислушивается. От прыжков от ее смеху не оберешься: очень забавно! А тут-то охотнику и хитрость нужна.

— Чем же бьете вы их?

— Да пулей, из винтовок четверти в три либо в четыре длиной...*

— Ну, а про рябчиков-то?

— Да ладно! У птицы нет заветного места, не как у зверя. Затем ей, надо думать, господь бог и крылья дал, и пером одеял. С Евдокей к Благовещенью рябы эти выбирают такое место в лесу, чтобы полянка али лужок были близко.

— Всегда уж так?

— Нету; самки яйца кладут — так уходят в чащи по этой по самой причине.

— Что же ты про них знаешь?

— Выведут самки детенышей — сейчас летят на лиственницу к рекам, потому в лесах и местах таких берега есть, кустарники. Кислица есть, трава есть такая в три листика, горькая (вероятно, трефоль). Это они едят. В глухое лето самки самцов покидают: не надо стало. А вот поспеет брусника, так они опять вкупе, токовать начинают, на свисток ** прислушливы, любят. Рябина обсыпаться начнет — рябов не удержишь, не сидится им, перелетают с места на место. В этих самых в лесах рябиновых (а то и в березниках, и в ольховниках) алибо близ воды какой (у ключей, у рек) они целыми артелями остаются на зиму: в снег зарываются. Там им тепло! Да не будет ли рассказывать!

— А про охоту-то?

---

* Ствол винтовки до $3^1/_2$ линий длины; кременные замки об одном взводе с боевой пружиной, открытой наружу. Спуск курка укрепляется на шпильке палочкой. На палочке этой (из дерева или из оленьего рога) сделана зарубка. Отскочит зарубка — немедленный выстрел. Винтовки такого устройства покупаются охотниками на пинежских ярмарках рублей за 6, за 8 серебром.

** Свистки эти делаются из гусиного пера, налитого водой. Орудие это употребляется промышленниками только в марте.

— Охоту с Успеньева дня начинаем, чтобы угодить к Никольской (ярмарке) побольше, себе на барыш. Тогда, я сказывал, рябы кучатся, голоса подают. Сила их иногда несосветимая: плодовиты шибко. Стреляем мы их до Евдокей, потому на Благовещенску (ярмарку) поспевать надо. Стреляем поутру рано и перед солнечным закатом: тогда лучше. Такую примету имеем, что подымется стадо, прошумит таково сильно, далеко не отлетает: тут же сядет поблизости. Это уж обычай у них такой — верно слово! Выстрелами метим в крайних: в середку стада попадешь — разлетятся, и невесть куда, и тогда уж на дерево не садятся, а в траву, на землю. Здесь сто глаз и на затылке имей — не сыщешь. В одиночку стрелять не охота, набалованы, да и никак ты серенькую их шкурку от земли не распознаешь. Опять же из винтовки ты не убьешь ни ту птицу, что летает, ни ту, что бегает. Винтовка любит сидячую птицу. Да вот, к примеру, поднялось их над твоей над головой пар пять либо шесть, а убьешь одного ряба — благодари бога, это его милость: он тебе послал! Охотнику с рябами трудно, это и не я скажу тебе.

— Отчего же, когда они стадами летают. Ведь это что за воробьями...

— А ты не серди меня: слушай, да потом и сказывай! С первого Спаса они по земле ходят, пищей запасаются...

— Так что же из этого?

— А то из этого, что на дерево рябов посадить — штука распрехитрая. Тут ты подкрадись так, что, перво-наперво, сумей, чтобы он не слыхал тебя на хворосте, а второе — умей сделать так, что у тебя на руках на твоих шум вышел, подобие, как они сами шумят крыльями. Да я тебе еще штуку подведу, запрос задам.

— Сделай милость!

— Ты мне ряба зимой застрели. Застрелишь ли?

— Я не охотник. Стрелять не умею да и боюсь.

— Ну, так и Христос над тобой! Стало быть, слушай последки мои да и не мешай уж мне! По зимам-то ведь вьюги живут. Ты вот на Печору-то ездил, знаешь, что это за пакость такая. Ты мне лёт от них услышь-ка на ту пору — так, стало быть, и не задорься, не ходи! Зато благодать нам на этих рябов, когда небушко пасмурно да дождем сдает, а по летам, когда ягод много. Вот когда занятно! И опять же, коли весна стояла холодная да подогнало дождливое лето — рябов не будет...

— Отчего же?

— Селетки все повымерли.

— Это что же такое?

— А молоденькие, выводки. Те ведь, где их насидят, там на все лето и остаются, разве к реке ближней подвинутся. А тут тебе и все: больше и не спрашивай, да и сказывать нечего... Прощай. В Усть-Пинеге вспомнишь про меня, мне икнется, а я тебя и помяну молитвой своей. Прощай же!

Вот и Усть-Пинега, большая деревня, счастливая своим местоположением на устье двух больших рек, Пинеги и Северной Двины,

а потому и богатая, хорошо обстроенная. Остается одна станция до Холмогор.

— А водятся ли у вас икотницы?

— Не чуть. Под Волоком (Пинегой) так, слышь, их много живет. А заводился у нас миряк...

— Так что же?

— Перестал.

— Отчего же перестал?

— А исправник с окружным сговорились да и отстегали.

— За что же?

— Стало, так надо было начальству...

— Отчего же он выкрикать-то стал, миряком-то сделался?

— А некрутчины, сказывают, перепужался, надуть захотел.

— Да ведь есть с чего и перепугаться?

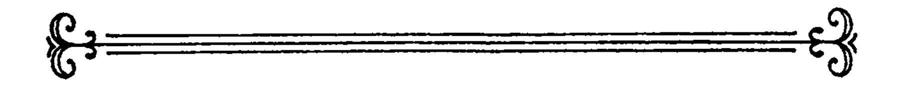
— Известно, есть с чего. Страшно. У нас, слышь, песня про это сложена. Так без слез ни единый человек не сможет.

— Спой-ка, ради Христа!

— Да так, спуста-то, нельзя: на голос не поднимешь!

Надо было прибегнуть к хитрости. Сам я запел свою песню. Ямщик ее молча выслушал, на второй подтянул, к третьей пристал и в конце ее уже заливался смело и весело.

— Распелись мы с тобой,— на добро ли только? Не перестать ли лучше? Вот и Холмогоры!..



VIII

ПОЕЗДКА ПО РЕКЕ ДВИНЕ

1. ДВИНСКИЕ УСТЬЯ И ОКРЕСТНЫЕ С АРХАНГЕЛЬСКОМ СЕЛЕНИЯ

Никольский Корельский монастырь.— Ссыльный расстрига Федос (Феодосий Яновский). — Предание о Марфе Посаднице. — Вечевой новгородский колокол. — Ланоминка. — Остров Марков. — Еще предание о Петре Великом. — Новодвинская крепость.— Соломбала.— Наружный вид и характер поселения.— Весенний карнавал.— Пригородные жители.

Река Северная Двина, при простом (даже поверхностном) взгляде на карту Европейской России, принадлежит к числу самых больших рек и должна по всему занимать важное место между всеми другими реками. Так говорит географическое положение ее, так говорят факты, к тому же приводят и исторические данные. Иначе и быть не могло. Двина должна быть главной между всеми реками севера Европейской России. Соперницы ее в нравственном значении для края, как, например, Печора, слишком удалена от всевозможных пунктов деятельности и, проходя малонаселенными, скудно одаренными природой местами, еще ждет своего будущего, может быть и блистательного. Река Мезень, обставленная теми же неблагоприятными, как и Печора, условиями, идет из тех стран, где как будто бы вымирает в огромных вологодских лесах и зыбучих болотах всякая торговля и промышленная деятельность. Онега, поставленная сравнительно в лучшее положение, засыпана множеством порогов, по местам неодолимых, в большей части случаев враждебных для всяческих сношений. Правда, что некоторым числом порогов (в меньшей мере и в слабейшем качестве) снабжена и Двина, но зато за ней уже вековые права на то, чтобы быть пока единственным и главным подспорьем для всей беломорской торговли.

Образуясь (близ самого города Устюга) из двух значительных по величине рек: Сухоны и Юга,— Двина уже в самом начале течения своего является со всеми задатками на право быть судоходной. Пробираясь лесами и болотными низменностями в начале, Двина берет из них весь водяной запас из ключей, маленьких речонок, озер и речек, так что уже у Красноборска она является рекой значительной ширины и глубины. Далее на пути своем по покатостям к северу, набираясь водной массой из значительных притоков своих, каковы: Вага, Емца,

Сия, Пинега и другие,— Двина поразительно ширится, размывая рыхлые, тундристые берега свои. Но в то же время, встречая на пути плотные глинистые хрящи, река часто разбивается на множество рукавов, *на виски*, оставляя всегда один из них широким, глубоким и главным. Особенно чаще начинают завязываться рукава эти по соединении Двины с Пинегой, когда Двина, под городом Холмогорами, имеет уже до восьми рукавов. Далее, за Архангельском, она уже разбивается на новые рукава и четырьмя (не считая побочных) главными устьями вливается в залив Белого моря, названный ее именем.

Триста верст кротко, тихо, величаво течет Северная Двина по Архангельской губернии. Обставленная с самого начала своего высокими и крутыми, глинистого свойства, берегами, которые подчас засыпаны вековым красным лесом, она за рекой Сией (верстах в 150 от устья) ведет с собой уже, по обыкновению всех русских рек, два различных берега: левый луговой и потому низменный, правый продолжает быть гористым во все время до последнего конца течения реки. Скупая на картинные виды в начале, она окончательно тяготит однообразием своих берегов на половине протяжения своего к северу. Глинистые берега ее прорезаны оврагами и щельями, которые страшны своей мрачной бесцельностью и неизвестностью; рябит в глазах однообразие цветов, и томит безлюдье береговых окраин. Чаще попадаются селения в верховьях, и постепенно начинают пропадать они по мере того, как река близится к устью. Здесь, в одном месте, как будто судорожно спешит сосредоточиться вся жизнь и все живое, чтобы потом набросить на всю окрестность мрак и тяжесть безлюдья. И это место — Архангельск.

До Архангельска с Двиной еще можно отчасти примириться, зная, что участь безлюдья — участь общая всему северному краю, но зато трудно приладиться и предугадать все капризы, все нечаянности, какими богаты в весеннюю пору берега двинские. От них подчас (и нередко), без всякого предупреждающего шуму, отрывается огромная земляная глыба, подмытая водой, просочившейся из окрестных болот. С шумом и брызгами валится она в воду, засоряя прибрежья, обездоливая стреж речной, и долго потом ходит на том месте вода в круги, отшибая длинными и крутыми волнами, и неизбежно гибнет в этом водовороте неосторожный и недогадливый карбас. Вот, может быть, отчего Двина не воспевается ни в одной из народных песен, не получила никакого ласкательного, хвалебного эпитета, какие любил придавать русский народ своим любимым рекам, каковы: Дунай, Дон, Днепр, Буг и Волга. Между тем Двине принадлежала почтенная и завидная роль в истории нашего севера.

Обращаюсь прямо к устьям реки, предоставляя себе право следить за прочим значением Северной Двины и историческими судьбами ее потом.

Самое северное устье Двины — *Березовское* — рукав *Березовский* — шире других, глубже и потому возможен для плавания больших кораблей. Она имеет между спопутными островами (свыше десяти) ширину от 3 верст до 250 сажен и два желоба, или стрежа, которые ведут к двум мелководным грядам. Гряды эти на туземном

языке называются *барами*, хотя бы песчаные из них и можно было бы назвать *застругами*, применяясь к туземному говору, а каменные из них — *переборами. Старый бар* (100—400 сажен шириной) с 1776 года служит корабельным фарватером и на $^1/_4$ фута мельче *Нового*, собственно *Березовского* бара, или, проще,— *Ляги*. От Березовского устья идет к северу широкий, мелководный плес — Сухое море, образованное наносными песками рек Ката и Мудьюги и впадающее в море узким проливом, под именем *Железных ворот*. С северной стороны их лежит узкая песчаная коса Никольская; на ней башня. На острову Мудьюгском одиноко стоит с 1842 года маяк, при котором живут сторожевые лоцмана. На берегу его створные мачты показывают направление фарватера; в воде плавают бакены для означения пределов его через мелководье и вколочены шесты с голиками, на расстоянии меньше версты, на крайне опасных мелях.

Влево от Березовского (под городом Архангельском) отделяется Мурманский рукав Двины (от 170—500 сажен шириной), пропускающий только мелкие суда и промысловые лодки за крайним своим мелководьем (от 6 до 40 футов). Сопровождаемый множеством отмелей, Мурманский рукав выпускает из себя, в свою очередь, обширный мелководный плес, метко прозванный *Поганым устьем*, глубина которого доходит по местам только до 5 футов.

Третий рукав, или устье, Двины — *Пудожемский* — идет от города на протяжении 45 верст, в ширине от 300 до 600 сажен, а на самом северном конце разливается до $4^1/_2$ верст. Рукав этот пригоден только для самых мелких судов (глубина 17 футов) и опасен ложным фарватером — *заманихой* — и дальним мелководьем, доходящим только до 2 футов: пообещает проход, заманит, суда зайдут по неведению,— и обманет; надо судам повертываться назад, в обратную. Собственно все двинские устья опасны, сверх всего, правильными приливами во время разлива реки, называемого *манихой*. Маниха случается за $3^1/_2$ часа до полной воды и продолжается не долее $^1/_4$ часа. При отливе она неприметна; период возвышения воды продолжается несколькими минутами долее, чем понижение. У соломбальского адмиралтейства возвышение прилива до $2\ ^3/_4$ фута, без пособия ветра. Неправильность такого морского прилива сказывается тем, что следом за ним вода либо возвышается едва заметно, либо вовсе не поднимается, а иногда даже вершка на три понижается. Вода дрогнула на убыль — значит, «маниха палая», затем «идет большица» — прибылая вода, которая правильно возвышается до окончания прилива. Эта маниха «прибылая».

Последнее, четвертое, самое южное устье — *Никольское* — отделяется от Пудожемского рукава и идет на запад между шестью островами, и течет *висками* (мелкими рукавами, то же, что на Волге воложки, на Печоре шары, по Двине и Вычегде полои), которые соединяют его и реку Малокурью с устьем Пудожемским. Никольским устьем проходят крупные морские суда (глубина Никольского рукава доходит до 30 футов), и на баре, у острова Ягры, до 8 футов в малую воду.

Таков географический вид устьев Северной Двины. Предоставляя

дальнейшие скудные подробности их описания специалистам, спешу обратиться к берегам этих устьев и поискать на них жизни, которой вообще не похвалится ни одно из устьев больших русских рек, всегда засыпанных песками, обездоленных растительностью и всеми признаками и задатками для живой, сосредоточенной и упорной деятельности. Не похвалятся и двинские устья жизненной деятельностью прибрежного человека и многолюдством заселения, и едва ли не меньше всех они имеют на то право. Недаром народное присловье выделило мудьюжанина, как человека совсем нехорошего, от которого нельзя ждать ничего доброго: скудное житье в забытом богом месте выучило их изворотливости в делах, а на беду и рядом с этим — резко сказывающейся плутоватостью. Песчаными отмелями, косами, как бы временно выплывшими из моря, чтобы вскоре затопиться снова водой, глядят все острова двинских устьев в частях их, ближних к морю. На некоторых нет вовсе никакой растительности, на иных она вся выяснилась бедно и тускло в тщедушном ивняке, и как бы затем, чтобы далее вовсе перейти в мертвенную бесплодность неоглядного моря — Белого моря.

Насколько развита здесь населенность — для этого обращаюсь к последнему из устьев, к Никольскому.

В $4^1/_2$ верстах от Никольского бара и в 34 верстах от Архангельска, у Никольского устья реки Двины одиноко белеются стены бедного полуопустелого третьеклассного монастыря Никольско-Корельского, достопамятного тем, что сюда в 1553 году пристал англичанин Ченслер, отыскивавший путь в Индию и нашедший у царя Ивана Грозного гостеприимство и ласку и получивший потом право на торговлю с Россией. Это был первый шаг к основанию заграничной торговли России морским путем, чрез Белое море. Здесь-то, подле монастырских стен, и существовала корабельная пристань иностранных судов. И вот почему англичане долгое время и новый порт свой, город Архангельск, называли *портом* Святого Николая. С 1584 года обезлюдело место под монастырем, со времени заведения нового, хотя и дальнего порта. Безлюдьем глядит оно и теперь, и тоскливо смотрится на дальнее, беспредельное море, на пустынный берег монастырский и на туманность противоположного и, наконец, на бревенчатые, старые стены монастыря Никольского. Веет от них дальней древностью. Каменное строение монастырских церквей относится ко временам царя Алексея Михайловича (между 1664—1673 гг.). Носятся в воспоминаниях грустные картины при одном представлении о причинах основания стен этих и самого монастыря.

Восстает из дальних веков увлекательный, но еще не разгаданный образ Марфы Борецкой, посадницы Великого Новгорода, которой повиновалась строптивая республика, с которой считался небоязливый и очень хитрый царь московский, Иван Третий. Сильная нравственным значением своим среди свободного народа, богатая земельными владениями, угодьями и деньгами, владетельница многих вотчин за смертью мужа, независимо от сыновей, счастливая, наконец, семейной любовью и сыновьями, Марфа — как говорит народное предание — отправила двух из них, Антона и Феликса, осмотреть свои помор-

ские вотчины. Вотчины эти, рассыпанные по всему западному берегу моря, не были еще на тот раз подарены игумену Зосиме — основателю Соловецкой обители. Благополучно осмотрели сыновья Марфы все дальние от Двины вотчины, осматривали уже ближние к Двине на левом берегу моря и, счастливые окончанием поручения, плыли уже на Холмогоры к Никольскому устью. Случилась ли крепкая буря, вез ли их несведущий кормщик, обманул ли плавателей фальшивый прилив «маниха» — предание молчит, но утверждает, что сыновья Марфы потонули и потом уже на двенадцатые сутки выброшены были морскими волнами на берег. На том именно месте и погребены были тела их, и тут же вскоре Марфа поручила построить монастырь с церковью во имя святителя Николая, подле которых и находятся (на северной стороне) гробницы потонувших.

Марфа, тоскуя о сыновьях, награждала между тем монастырь вотчинами, подарила сенокосные луга, тони и солеварницы и прислала от себя на то грамоту такого содержания: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Се аз раба Божия Марфа, списа сие рукописание при своем животе, поставила есми церковь храм святаго Николы, в Корельском, на гробех детей своих Антона да Феликса, а дала есми в дом святаго Николы куплю мужа своего Фелиппа на Лавле острове село, да в конечьных два села, по Малокурье пожня и рыбныя ловища, и по церковной стороне и до Кудмы, и вверх по Кудму и до озера, а в Неноксы вместо засеки и полянка, приказываю дом святаго Николы господину своему деверу Федору Григорьевичу и его детям, и Леонтею Аввакумовичу, и зятю своему Афромею Васильевичу, а на то Бог послух и отец мой духовный игумен Василий святаго Спаса; а кто се рукописание приступит или нарушит, а наши памяти залягут, сужуся с ним перед Богом в день Страшного суда...»

Переходя от воспоминаний о судьбе несчастных сыновей Марфы, получаем, при виде церкви Успения, новые тягостные впечатления. Здесь под храмом долгое время существовала тюрьма, и в ней заключались государственные преступники. Здесь страдал, лишенный сана, новгородский архиепископ Феодосий Яновский при Екатерине I, по расстрижении «Федос».

Этот соперник и враг Феофана Прокоповича, забравшего силу и прославившегося в силу громадного влияния на церковные дела многочисленными заточениями личных врагов из духовных лиц в отдаленные сибирские монастыри,— Феодосий Яновский обвинен был за дерзость против Екатерины I, за бранные слова на дворцовый караул и проч. Действительно, он виновен был в приверженности к лютеранству, неблагодарности к благодетелю своему Великому Петру, выразившейся оскорблением при его погребении Екатерины, и недружелюбием и хулой на всю его семью. Его политические убеждения достаточно высказаны в выдуманной им присяге. Глас народный клеймил его названием еретика, и ходили довольно справедливые слухи о том, что он не только не советовал поклоняться иконам и священным предметам, но и насмехался и кощунствовал: обдирал серебряные ризы с образов, выжигал с драгоценных священных риз серебро для своего обогащения и т.п. Когда его «обнажили» от архиерейского

сана и под именем «чернеца-расстриги Федоса» привезли на устья Двины, то поместили здесь так, что он прожил в заточении только 7 месяцев и 11 дней. Его сначала поместили под ветхой деревянной церковью в нетопленом и сыром подвале, двери которого были заколочены и запечатаны губернатором архангельским «своею печатью». Получал он только хлеб и воду; из платья оставлено только то, что на нем, да постель; денег ничего не дано. Приобщать его заказано раз в год, в великий пост, не в церкви, конечно, а в тюрьме. Губернатор Измайлов, навестивший заточника через несколько времени, отписывал в Петербург, что узник еще жив. Ему отвечали: «Когда придет крайняя нужда к смерти чернецу Федосу», губернатору отпереть и распечатать двери, духовнику причастить тут же в темничной келье; дверь опять запереть и запечатать и хранить накрепко. Посланный сюда из Петербурга ревизор нашел, что у Федосовой кельи окно велико,— велели окошко закласть кирпичом, так что новое имело $^{1}/_{4}$ аршина в длину и $^{1}/_{2}$ аршина в ширину. Мост (т.е. половицы) из той кельи были выбраны — и узник покинут на сырой и холодной земле. Когда велено было перевести его из-под церкви в новую тюрьму и последняя была готова, Федос уже не имел силы перейти в нее — его перенесли на руках. Он успел проговорить при переносе: «Ни я чернец, ни я мертвец,— где суд и милость?» Измайлов сказал ему с сердцем, «дабы он лишнего не говорил, а просил бы у бога душе своей милости!». Потом спросил: не желает ли он духовника? И на тот вопрос ничего он, Федос, не сказал и глаз своих, как они у него закрыты были камилавкою, не открыл. Сидел он и здесь «за тремя дверями и замками и за печатьми», и у последних дверей поставлен караул — один часовой из гвардии, а другой из гарнизонных, с ружьем. Показалось, что и тут близко люди ходят,— велели поискать такое место, чтобы не ходили люди мимо, и тут построить другую тюрьму, где сделать печи и настлать деревянный пол, и печь топить с надворья, «устье печное чтоб близ караула было». Это распоряжение уже опоздало. Губернатор получил от фендрика рапорт, что «оный Федос, по многому клику для подания пищи, ответу не отдает и пищи не принимает». Велено фендрику еще покричать в окно, как возможно громче, и ежели, по многому крику, ответа он не даст, то на другой день тюрьму, распечатав, отпереть и его, Федоса, осмотреть. Фендрик покричал, отпер тюрьму, осмотрел и 5 февраля с нарочным солдатом отписал в Архангельск к губернатору, что «оный Федос умер». Тело его похоронили при деревянной больничной церкви, где хоронят монахов, но петербургская тайная канцелярия велела «учинить анатомию, из Федосова тела внутренности вынуть», а если искусных людей не обретается, то положить тело в гроб, засмолить и отправить в Петербург на почтовых лошадях от гвардии с урядником и с двумя солдатами, с подтверждением, якобы едут с некоторыми вещами. Указ о том последовал 20 февраля, а 2-го марта писано: «Мертвое тело не возить»,— но и на этот раз опоздали. Кабинетский курьер встретил тело в 60 верстах от Каргополя, осмотрел его в деревне тайно, наедине: «не явится ли на том теле каких язв,— и того не явилось». 12 марта 1726 года тело похоронено в Кирилловом Бело-

зерском монастыре, как ближайшем (см. сочинение мое «Сибирь и каторга»).

На соборной колокольне (каменной, с часами) висит колокол с двумя надписями, из которых первая гласит, что «лета 7182 (1674), июля в 25-й день, вылит сей набатный колокол в Кремле городе у Спасских ворот, весу 150 пудов». Во второй надписи видно, что «7189 (1681) года, марта в первый день, по имянному великого государя царя и великого князя Феодора Алексиевича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, указу, дан сей колокол к морю в Николаевский-Корельский монастырь за государское многолетнее здравие и по государским родителям в вечное поминовение неотъемлемо при игумене Арсении». Основываясь на первой надписи (невырезной), народное предание говорит, что этот колокол — знаменитый *вечевой новгородский*, который был привезен Иоанном вместе с Марфой и другими знатными новгородцами в Москву. Марфа была посажена в тюрьму, а вечевой колокол, который она умела своевременно употреблять в дело и не употребляла его предательски, был повешен у Спасских ворот и назывался *набатным.* Вскоре будто бы колокол разбился или был разбит нарочно, а в 1674 году перелит в новый, со второй, приведенной выше, надписью (вырезной). Предание это может подлежать некоторому сомнению, тем более, что новгородская летопись не упомянула (а может быть, и забыла упомянуть) о том, что вечевой колокол перевезен был в Москву. Народ же архангельский, получивший бытие и живший новгородским именем, под новгородским влиянием и с новгородским духом, мог приписать никольскому колоколу это предание. Тем более можно это предположить, что и предание об основании монастыря тесно связано с именем Марфы. Некоторые скептики отвергают даже подлинность грамоты Марфы, выданной монастырю, и почитают ее подложной, но неловкой подделкой корыстолюбивых монахов.

В двинском летописце под 6927 (1419) годом упоминается, что этот монастырь «мурмане (норвежцы и датчане) пожгли и чернцов посекли». Церковь Сретения с приделом Зосимы и Савватия Соловецких, построенная в 1719 году на гробах усопших детей Марфы, сгорела и вновь отстроена в 1735 году.

Таковы исторические данные о монастыре Никольском Корельском, скудном в настоящее время числом своей братии и постепенно приходящем в упадок. Бедно глядит и соседняя с монастырем (к юго-востоку) небольшая деревушка.

Не меньшим безлюдьем встречает всякого и другое селение двинских устьев, расположенное близ истока Березовского устья в 27-ми верстах от Архангельска,— Лапоминка. Зато селение это выстроилось при гавани, которая почитается лучшим и даже единственным местом для зимовки больших военных судов. По этой причине здесь построены в 1821 году новый дом и казармы для караульного офицера и матросов, назначавшихся к зимовавшим военным судам. Гавань эта устроена в 1734 году. «В 1805 году,— как говорит г. Рейнеке в своем географическом описании Белого моря,— в остережение от желтой горячки, свирепствовавшей в Испании, устроен на острове Чижове

карантин для приходящих судов. В 1812 году действие карантина прекращено. В 1815 году строение это перенесено с болотистого острова Чижова на материк к устью реки Лапы». «В свободное от службы время,— говорит он ниже,— смотритель и нижние чины занимаются охотой в лесах и рыболовной ловлей». По берегу гавани расположены строения, а у северного конца его устроены деревянные пристани.

По пути от Лапоминской гавани к Архангельску, на песчаных, скудно покрытых чахлыми кустарниками прибрежьях Березовского устья Двины, находится, в 20 верстах от города, Новодвинская крепость, основанная Петром Великим в 1701 году. Сам государь присутствовал при заложении этой крепости на Липском острове и жил в домике, выстроенном на острове Маркове. Остров Марков лежит в нескольких саженях от крепостного берега. Проход между ним и крепостью в начале прошлого столетия заграждался цепью, и в письменных видах, выдаваемых на пропуск кораблей, писали коменданту, что дозволяется пропустить судно *по-за Маркову острову*. Впоследствии проход этот обмелел, особенно с 1747 года, и с того времени отменено было это препятствие к замедлению судов и значение Новодвинской крепости как места охраны ослабело. Правда, однако ж, что она в Крымскую войну вооружалась некоторым числом батарей. Крепость имеет вид квадрата, с четырьмя бастионами и одним равелином. Вокруг вала фассебрея окружена водяным рвом, а наружная сторона главного бруствера, также эскарп и контрэскарп одеты тесаным плитным белым камнем. Внутри крепости находятся несколько казарм для гарнизона, дом для коменданта и церковь во имя апостолов Петра и Павла. В церкви порядочная живопись на голубой камке, утварь и ризы, подаренные Петром, и особенность, нигде в православных церквах не допускаемая: лавки, поделанные рядами, как в немецких кирках (теперь их уже нет). Строения все деревянные. К югу, на пушечный выстрел, построено несколько домиков для отставных женатых солдат и офицеров. Вне крепости, в нескольких саженях от нее, под деревянным навесом хранится, как святыня, тот домик, в котором жил преобразователь России на острове Маркове. Оттуда перенесен был домик этот с горы, когда лед двинский начало спирать на мелководном проходе и остров Марков сильно заливать водой. Дворец начал уже загнивать, но был при перенесении поправлен, несколько подновлен и все-таки представляет уже некоторый вид заметного разрушения. Вскоре по построении, Новодвинская крепость выдержала испытание от набега на двинское Березовское устье шведов.

Вот что рассказывает об этом событии современник его, архиепископ Афанасий, в своих записках.

1701 года 24-го июня на двинское Березовское устье пришли свейские ратные люди на четырех военных кораблях, на двух фрегатах и одной яхте под английским и голландским флагами и стали ввечеру близ острова Мудьюгского на якорях. Поутру на другой день капитан мудьюгской заставы, полагая, что суда эти торговые, приехал их осматривать с одним прапорщиком, писарем,

с 16-ю рядовыми, барабанщиком и двумя толмачами из архангельских горожан. Солдаты были спрятаны. Но когда вошли досмотрщики на суда, то принуждены были сдаться военнопленными. Неприятели допросили их о состоянии крепости, о проходе по Двине до Города и рассадили их всех порознь. Потом, за четыре часа до ночи, неприятели отрядили фрегаты и яхту под теми же флагами в Двину с провожатыми: монастырской служкой Иваном Рябовым, взятым у Сосновца, и переводчиком Дмитрием Борисовым, захваченным в Мудьюге. Не доходя крепости, они были встречены другим осмотром, явившимся из крепости в числе 35 человек. Этих встретили они тоже ласково и дружелюбно, приняли их к фрегату, и с ними последовало бы то же самое, что и с прежними, если бы один из стрельцов не дал знать своему голове об опасности, заметив в пушечное окно вооруженных людей. Отпихнувшись от фрегата, новодвинские стрельцы поплыли обратно, направив судно так, чтобы поднявшимся бортом защищаться от выстрелов. Однако пятеро из них были убиты и шесть человек ранены. Прочие, доплыв на судне к мели, вышли на берег и лесом пробрались в крепость. На неприятельском судне, в свою очередь, убит был командир. Там пленные сговорились между собой так, чтобы завести неприятелей в прилук крепости на мель, что и исполнили, хотя и не совсем удачно. Фрегат и яхта сели на мель, другой фрегат, шедший сзади, остался на вольной воде. Виновники неприятельского злоключения были умерщвлены; спасся один Рябов, притворившийся мертвым за трупом своего товарища Борисова. С крепости между тем началась пушечная стрельба; убито было несколько неприятельских и один стрелец из наших. У фрегата, стоявшего на вольной воде, отбит был руль, люди с обмелевших судов бросились туда на мелких лодках. Из крепости посланы были стрельцы, которые и взошли на разбитый фрегат и яхту, а другие добрались до них вброд. Здесь нашли они бочку патронов и, заряжая ружья, много пороху второпях рассыпали по палубе. Фрегат пустился в бегство, но один пушкарь успел направить на убегающий фрегат пушку, которая была прежде заряжена неприятелями, и зарядил ее чиненым ядром. От этого двойного заряда и от начиненного ядра по выстреле много посыпалось искр, от которых взорвало порох, оторвало корму у фрегата, семь человек убило до смерти и десятерых ранило. Неприятели на остальном фрегате старались поспешно удалиться. Приделав к нему руль от спопутного затопленного и заброшенного промыслового судна, они вскоре достигли своей цели и, таким образом, вышли на взморье к прочим своим кораблям. «Сим кончилось неудачное их на город покушение; однако великое они после в Поморье сделали разорение...»

В 1702 году 29-го июня, в день тезоименитства своего, Петр I присутствовал уже при освящении крепостной церкви. Освящение совершал архиепископ Афанасий. Храм был украшен большими и маленькими знаменами. Из окон и кровли были свешены разные знамена и флаги. По окончании обряда и по выходе царя из церкви войска выпалили из ружей. Тогда загрохотали и крепостные пушки. «Стоящий на церковном крыльце государь слушал с несказанной ра-

достью»,— говорит летописец и потом прибавляет: «По сем великий государь отправился на другую сторону через Двину в шлюпках во свой дворец. В сей день, еще два дня торжественные за собою ведущий, был стол у его величества всем знатным чиновникам и стрельба продолжалась до самого вечера. Сего стола великолепие довольно показывают сороковые бочки, пополам распиленные и наливаемые ренским вином и простым, и пиво, каждому открытое».

На дальнейшем пути к Архангельску, по скучной пустынной и однообразной дороге, находится при двинском рукаве Маймаксе (в 7 верстах от города) верфь, заведенная сначала архангельским купцом Прокофьем Пругавиным (в 1766 г.) и приобретенная потом Брантом *. Тут же, поблизости, паровой лесопильный завод того же Бранта [31], заведенный им вместе с Классеном в 1822 году. Тут же, на правом берегу Маймаксы, был прядильный завод купца Митрополова и складочные сараи для хлеба. Все это с 1822 года запустело.

Довольно густым березником идет дорога на дальнейшем протяжении своем от Новодвинской крепости и от речки Маймаксы по тому острову, который носит общее название Соломбальского. На то время, когда я совершал эту поездку, стоял сентябрь месяц; лист на деревьях начал уже желтеть от крепких утренников, посреди дня и к вечеру надолго устаивалась еще жара — летняя жара. Мириады комаров, преследовавшие нас на всем прежнем пути, не отставали и едва ли не увеличились в своем докучливом, невыносимом числе, когда мы проехали березник и обнаружились первые домики, как бы предместье следующего затем адмиралтейского казенного селения Соломбалы. Глубокие пески, тянувшиеся всю дорогу от крепости, на этот раз были с трудом одолеваемы парой измученных зноем лошадок. Песками этими засыпаемы были и все улицы селения, расположенные в симметрическом порядке и в замечательной прямизне. В такой же точно прямизне и в таких же порядках тянутся эти улицы и за предместьем селения, так называемым Березником.

Ряд двухэтажных домов, крытых и обшитых тесом, идет по обеим сторонам. Дома кажутся на вид, пожалуй, и приглядными, если только может это делать крайняя бедность и если только может это позволять скромный достаток, приютившийся тут. Дома эти принадлежат тем матросикам, которые обязаны работать в адмиралтействе и успели завестись хозяйством или вследствие умения зашибать и беречь копейку, или вследствие брака и по наследству. Присутствие хозяев не трудно наследить тотчас же, обратив лишь внимание на нижний этаж дома, заставленный горшками герани, из-за которой выглянет и запачканное личико ребенка, и лоснящееся от безмятежной жизни и красное от избной духоты лицо или хозяйки дома, или ее дочери-невесты. Нередко пробежит туда и отец или

* Из других корабельных верфей (теперь упраздненных) находились в соседстве с Архангельском еще две: 1-я, Гомовская или Фразерская, в 8 верстах от города, и 2-я, верфь Быковская (в 5 верстах), принадлежавшая первому ее заводчику, архангельскому купцу Никите Крылову, и учрежденная в 1732 году.

муж, в парусиновой куртке и матросских чикчирах с казенных работ в адмиралтействе на новые труды домашние для поддержания семейства. Потому большая часть домов или даже едва ли не все обвешаны вывесками, которые гласят, что в нижнем этаже дома живет сапожник, башмачник, портной, столяр, слесарь, литограф, резчик печатей и костяных безделок и проч.

Соломбалу справедливо и безошибочно можно назвать мастерской Архангельска, который находит здесь всевозможные роды ремесл, хотя представители их и не из лучших мастеров, хотя работа их всегда грубовата и не удовлетворит даже и не слишком взыскательному вкусу. Все это, конечно, зависит от того, что соломбальские мастера, как и все казенные по всему лицу русского царства, берутся за дело не по призванию, а по воле начальства. Некоторой сносной отчетливостью отделки отличаются только те предметы ремесл, которые часты и обыденны в домашнем и общественном быту, которые потребовали, стало быть, навыка и частых занятий, как, например, сапожное, столярное, башмачное и проч. Есть, пожалуй, и бриллиантщики, и часовые мастера, и мастера золотых и серебряных изделий, но эти мастера — *мастера-горе,* по народному выражению.

Вторые жилья, или этажи, соломбальских домов глядят значительно наряднее и как бы говорят сами за себя, что там поселился народ далеко не тех убеждений и не того сорта, как те, которые заселили нижние этажи домов этих. Из верхних этажей услышишь и унылые, словно надорванные звуки разбитых, дешевеньких клавикорд. Подчас вырвется оттуда и дребезжанье гитары, и визг скрипки, которыми разбивают свою тоску и скуку или жены офицеров, успевших на долгой службе обзавестись и большой семьей, и маленьким хозяйством, или флотские штурманские офицеры, загнанные обязательствами службы на дальний Соломбальский остров к беломорскому флоту.

Вот почему Соломбала носит все признаки военного городка. Где ни ступишь, куда ни пойдешь — непременно встретишь или морского офицера, или матросика рабочего экипажа. Выйдешь на рынок, обставленный наскоро сколоченными лавчонками, ларями и столиками,— и тут Соломбала не утрачивает своего характера. Тот же отставной небритый матросик, та же бойкая щебетунья, матросская женка,— торговка; холостой матросик или рабочий с иностранного судна, весь в синем, с перепачканным и бог весть сколько времени не мытым лицом, рабочий с иностранного купеческого судна — покупатели. Разные предметы носильного платья и прочие «необходимые прихоти» (табак, мыло, черствый пирог с палтусиной, окаменелые пряники и баранки) — предметы продажи и купли, грошевой оборот торговли и копеечный процент прибыли в награду за дневное страдание на жаре и пыли, посреди бестолкового, бесхарактерного базарного говора. Видишь подошвы, подгорелый «товар» на голеница — предмет предпочтительного интереса и заботы матросиков. Видишь готовые полотняные рубахи и прочие принадлежности несложного гардероба — вещи, до которых так падки заезжие корабельщики.

Соломбала не теряет своего военного характера и на дальнейшем протяжении своем, и за речкой Соломбалкой, рассекающей селение на две половины. Через речку перекинуто несколько мостов и для пешеходов, и для конной езды. Тянется в стороне бедный, как будто выщипанный, садик, видится большая каменная церковь. Но церковь носит название морского Преображенского собора. Его помогали строить пленные из дванадесяти язык, соорудившие ограду (самый храм праздновал столетний юбилей в 1876 году). Против него тянутся две огромных казармы для нижних чинов рабочего экипажа, идут строения адмиралтейства и выставляет свою мачту дом главного командира порта — дом, выстроенный по всем прихотям современного вкуса, изящно, удобно и поместительно.

Соломбальское адмиралтейство отделяется от селения деревянным забором и так же, как и селение, разрезано на две части речками Соломбалкой и Курьей. Малое, или лесное, адмиралтейство по берегу Двины укреплено сваями, но сваи эти почти уже сгнили и представляют вид некоторого разрушения. Большое, или старое, адмиралтейство имеет берега поднятыми деревянной набережной. Оно вмещало пять эллингов, на которых до 1807 года строились военные корабли и фрегаты. Северное, или новое, адмиралтейство с 4-мя эллингами, на которых производилось строение военных кораблей и фрегатов.

Как почва земли внутри адмиралтейства, так и внутри всего Соломбальского селения образована из того балласта, которым грузятся иностранные корабли, в большей части случаев приходящие сюда за товарами, но не с товарами. Насыпь эта успела уже заполнить многие низменности, овраги и болотистые места в селении; она же значительно подняла и двинские берега. Вот почему весьма важно то обстоятельство, что почва Соломбалы образована из разнообразнейших пластов берегов Немецкого моря. Обстоятельство это получает еще большую важность по той причине, что Соломбала подвергается ежегодно, во время весеннего разлива вод, значительной опасности. При вскрытии реки лед обыкновенно спирается на мелководьях двинских устьев и там стоит долгое время. Вода на ту пору выступает из берегов и затопляет все Соломбальское селение (поднимает водопольем — по местному выговору). На мой приезд лед вынесло скоро в море и вода в Соломбале стояла невысоко; но вот что рассказывают об этом явлении те, которым ежегодно приводится испытывать разливы весенних вод.

Взморье все уже потонуло в воде; река вздулась и хлынула из берегов с ужасным ревом вначале и с сосредоточенным молчанием расплывается по улицам, постепенно топит все и, размывши мостки, несет их по улицам, которые на этот раз имеют вид каналов. Меньше чем в три-четыре часа вода, скопляясь, понимает собой нижние жилья соломбальских домов, доходит до верхних. Хватает она все забытое, попавшееся ей на пути: кадку, зыбку ребенка, стул, стол,— и все это несет, бьет в щепу о спопутные углы. Все население выбирается на верхние этажи, на крыши или размещается на карбасах и лодках и с веселыми песнями, с громким смехом ездит из улицы в улицу, из дома

в дом. Едет в тех карбасах и чиновник, и офицер на службу, едет и праздная молодежь от крайнего безделья на пущее веселье и удовольствие. Всем весело, всем отрадно; не весело, может быть, тем только, у кого большая заблудившаяся льдина выломила крышу, снесла утлую хату, разбила угол, стекла, вышибла двери и проч. и проч. Говорят, что картина соломбальского потопа полна интереса, забавных эпизодов, двусмысленных острот и каламбуров. Рассказывают, что на этот раз в Соломбале происходит род разгульного карнавального веселья на манер Венеции, Парижа, Рима. По этой причине каждый соломбальский дом обязан иметь наготове лодку. На случай подобных нечаянностей, строились и дома с особенной архитектурой: узкие с фасада на улицу, длинные во двор, они тесно пристраивались один к другому и имели крытые дворы, так что, с птичьего полета, крыши селений представляли сплошную массу, неправильную, но оригинальную. На этих крышах укрывали скот и другие принадлежности хозяйства — обыкновение, теперь оставленное по той простой причине, что такой сплошной ряд крыш усугублял свирепость пожаров, по счастью, однако, редких в Соломбале. Теперь почти не увидишь сплошных крыш и часто поставленных домов. Соломбала имеет уже поразительное сходство со всеми пригородами больших городов, хотя взять петербургские Пески, Выборгскую сторону, московские Бутырки и проч.

Скучное и однообразное зимой, Соломбальское селение оживляется летом со времени открытия навигации. Архангельск как будто вымирает на все это время, уступая все свое Соломбале. Шумная деятельность здесь сосредоточивается, помимо рынка и рыночной площади, естественно, в *гавани*, которая тянется за адмиралтейством и морскими казармами по направлению к Маймаксе. Двина тут так глубока, что позволяет иностранным купеческим кораблям становиться о берег, крутой и значительно приглубый. По берегу Двины тянется ряд домов приглядного вида. Это или купеческие конторы с надписями «office», или пакгаузы, или гостиницы, с названием taverne и с прибавлением, в большей части случаев, имени города, откуда являются в Соломбальскую гавань пришельцы: London, Madride, Brüssel, Paris и проч. Здесь в любую пору летнего дня, если только не побояться мириад комаров и песчаной пыли, встретишь новые, своеобразные картины, хотя в больших случаях одно и то же: важных каптэнов с женами, или разгуливающих под ручку по палубе, или по берегу, или шкиперов, задравших ноги на крылья городской пролетки. Увидишь страшных бульдогов, привязанных на корабле, юнг-мальчишек с котлами и чашками у нарочно устроенных на берегу закопченных кухонь, асеев * — рабочих матросов,

---

* Слово *асей*, как известно, происходит от английского «I say» — «послушай» — слова, часто попадающегося в разговоре иностранцев, которые, в свою очередь, русских, имеющих с ними сношения, прозвали словом *слишты*, от «слышь ты», — так же нередко в языке наших православных. Этим именем *слишты* обзывают они всех работников русских при нагрузке судов и другого названия не знают. Говорят: «найми мне два *слишты*» (т. е. двух работников); «приведи десять *слишты*». «Кто подбил глаз?» — «Асеи». — «С кем напился?» — «С асеями», — и проч.

болтающихся по палубе. Услышишь, точно откашливания, монотонную песню-припевок, которую целый день повторяют для подспорья работе дрягилей шкивадоры[32] русские и которой не место в печати.

Здесь, в этой же гавани, полной на ту пору и своеобычной жизни, однообразной только в целом, с трудом уловимой в подробностях, увидишь подчас и кровопролитные сцены, без которых почему-то редко обходится столкновение русской национальности с другими, чужеземными. На моих глазах одного извозчика травили бульдогом, другого матросика избили до полусмерти за какую-то резкую, крепкую насмешку над одним из вспыльчивых и гордых асеев. Можно, пожалуй, заметить и другое, что способно отвратить и глаза, и напугать воображение при самом терпеливом внимании. Все-таки не надивишься довольно шумной и разумно сосредоточенной деятельности в гавани. Восстает живым образ Петра, опять-таки первого основателя заграничной торговли в таком обширном и шумном размере, и снова останавливаешься на воспоминаниях о нем.

Раз — говорит предание — он гулял на том месте, где теперь селение, и увидел крестьян и крестьянок окрестных деревень, жавших рожь в окрестных полях. Долго смотрел государь на работы и на разноцветные, разнообразные группы жнецов и надумал дать им пир тотчас же и тут же, на открытом воздухе. Тогда же он отдал приказание об этом Меншикову, который, однако, отговаривался неимением столов и скамеек. Петр приказал снести с поля снопы. Из высоких велел сделать столы и накрыть их скатертью, коротенькие и маленькие снопы употребить вместо стульев. Импровизированный бал состоялся: было шумно и весело. Государь был доволен выдумкой и пиром и в заключение пиршества сказал, обратившись к приближенным:

— Вот настоящий «соломенный» бал!

С этих слов государя будто бы и начинавшемуся впоследствии строиться на том месте селению дано было имя, напоминавшее слова Петра,— имя *Соломбалы.*

Исторически достоверно то, что начало заселения Соломбалы современно началу архангелогородской казенной верфи, около 1700 года. На островах этих, близ верфи, отводились места чиновникам и рабочим людям, и таким образом, год от году, селение распространилось, как свидетельствует о том г. Литке. Но так же исторически достоверно и то, что имя Соломбалы упоминается двинским летописцем еще в XVI веке, а имя реки и, стало быть, самого селения по корнесловию — чудское. Вот почему мы имеем право сомневаться в справедливости вышеприведенного народного предания, относя его к сочинениям грамотеев позднейшего происхождения ввиду того, что это уже не первый опыт в объяснении названий натяжками по соблазну созвучий.

Соломбальское селение, примыкая с одной стороны к Двине, с другой к Маймаксе, с двух остальных сторон омывается рекой Кузнечихой — рукавом Двины. Прямо против адмиралтейства за рекой

Двиной и за устьем Кузнечихи всплывает остров Моисеев. На нем разведен сад, носящий характер некоторой дикости, построена беседка, но гулянья там не состоялись, за домовитостью ли архангельских жителей или по другой какой-либо причине — неизвестно. Прежде на этом острове, укрепленном обрубами и каменьями, была казенная ветряная мельница, на которой выпиливались нужные для кораблестроения доски. Тут же стояла «светлица о десяти красных окнах со стеклянными окончинами». В ней-то и останавливался Петр I во время троекратных приездов своих в Архангельск.

От Моисеева острова, против самого адмиралтейства, растянулась параллельно мель, оставившая глубокий, быстрый, но тесный проток. Мель эта часто мешает благоприятному спуску нового корабля из адмиралтейства.

Смотря из адмиралтейства, невольно увлечешься живописными разнообразными видами, которые располагаются по ту сторону реки Двины. Вот, вырываясь из теснины Моисеева острова, Двина ширится на трехверстном пространстве и чуть виднеются селения * противоположного берега. Вдали теснит ширину реки новый остров, длинный и песчаный, из-за скудной, обманчивой зелени его выясняется и серебрится над ней крест кег-островской церкви. Налево потянулись здания длинного города Архангельска, который в целом не лишен картинных, увлекательных подробностей: вон развалины немецкого гостиного двора, огромный завод Бранта, прихотливые дома архангельских негоциантов. Ближе к ним белеется каменное здание полубатальона военных кантонистов, с которым соединяются теперь для меня и приятные, и грустные воспоминания о том добром и честном человеке, которые так редки на земле и с трудом достаются на долю странников, заброшенных на чужбину. Шлешь ему благодарный привет, и несешь горячую и искреннюю слезу на его раннюю, скорбную могилу, и желаешь ему вечной памяти, заслуженной им честной жизнью и незлобными сердечными отношениями к людям и ко всему в жизни...

Влеве стоит кузнецовская церковь и дальше, в стороне от нее, желтеют здания военно-сухопутного госпиталя. Опять чернеет масса

---

* Жители пригородных селений занимаются по большей части работами на судах или по найму в конторах архангельских негоциантов. Некоторые строят суда и занимаются всякой другой плотничьей работой. Немалая часть уходит в Петербург на лесные дворы; остающаяся дома ловит рыбу, по преимуществу семгу, в Двине, зверя и белугу в двинских устьях, на отмелых местах. Женское население пригородных селений почти исключительно занято тканьем полотен, получивших некоторую известность и справедливую оценку даже по дальним местам России. Женщины эти толпами ходят по Архангельску и по гавани с кусками своей *клетчины*. Лен для этих полотен они покупают (в Архангельске, как известно, лен не родится), очищают сами, вычесывая начисто над водой до тех пор, пока ни с одной мочки не падает в воду ни кострики, ни пыли. Полотна эти тонкостью, белизной и шириной не уступают привозным и не имеют, однако, ни той плотности, ни той крепости. Здесь не лишним считаю упомянуть о той страсти к коммерческим предприятиям, которая так сильно развита во всем архангельском женском населении. Доказательством тому — подгородные ткачихи, соломбальские матроски и кузнечевские солдатки. Рыба треска, самодельные компасы, бураки, ковши, старое тряпье, поношенная рухлядь — все идет в оборот, и ничто долго не залеживается дома.

вод в широком рукаве Двины — реке Кузнечихе. Виднеется мост, перекинутый из Соломбалы на противоположный берег и сооружаемый ежегодно на сваях при громкой и заветной, общей всей России, песне:

Чтой-то свая наша встала?
Закопорщика не стало.
Ой, ребята, собирайся:
За веревочку хватайся!
Ой, дубинушка, ухнем!
Ой, зеленая, сама пойдет —
Ухнем!

Перейдем по этому кузнечевскому мосту в Архангельск.

2. АРХАНГЕЛЬСК

Его история и настоящий характер города, по личным наблюдениям.— Первый руководитель и толковник.— Собор и исторический крест.— Памятник Ломоносову.— Немецкий гостиный двор.— Немецкая слобода.— История города.— Пребывание Петра I.— Царские торги.— Иноземный торг и его характер.— Упадок промыслов и торговли русских людей.— Шаньги и анекдоты о них.— Ярмарка.— Ваганы.— Характеристика подвинян народными прозвищами и присловьями.

Поздним зимним вечером подъезжал я в первый раз к Архангельску. Неприятности дальнего, с лишком тысячеверстного пути возымели всю свою силу: чувствовалась физическая истома, нравственная пустота, болел весь состав тела, ныл, кажется, каждый мускул, воображение наполняли какие-то мрачные, невеселые образы. Тягостные впечатления принесли за собой прошлые сутки, ничего хорошего не сулили будущие. Так, по крайней мере, казалось на то время, когда привелось осиливать последние версты. Как будто вдвое-втрое ленивее плелись почтовые лошади, как будто сильнее и чаще обстукивала последние ухабы и выбоины неладно кроенная, но крепко сшитая почтовая кибитка. Как будто назло, в этот раз и самое небо глядело сумрачнее, затянутое сплошной грядой облаков: ни звездочки на нем, ни искорки. Сверкнет своими невеселыми огнями спопутная деревушка, обдаст она теплом своим, и опять непроглядная лесная чаща впереди и по бокам, и снова ровная поляна, отдающая матовым, мертвенно-синим снежным отливом. Волк бы взвыл, собака бы взлаяла, хоть бы сторож, наконец, где-нибудь стукнул в доску спросонья — повеселил бы изнывшую от сосредоточенной тоски душу, оживил бы истомленное до крайних пределов воображение.

Почти пластом, бездыханным трупом лежишь себе в кибитке и думаешь думу: отсоветую я другу и недругу одним разом, без ночевок, одолевать в дороге большие пространства; скверно: аппетиту лишаешься, сон не берет. Скажу я им: «Хорошо ездить на петербургских тройках верст за тридцать, пожалуй, и за сорок; недурно проехать и сто верст; но верст за сто уже утомляют; еще и еще дальше они едва выносимы, а за пятьсот уже каждая верста себя сказывает, каждая верста ложится на плечи тяжелым гнетом, давит сердце,

тяготит душу, мертвит тело. Да и зачем такой риск, зачем такое самопроизвольное мученичество? Неужели только затем, чтобы разом бросить себя в дальний омут и уметь потом выбираться оттуда? Неужели затем, чтобы разом испить горькую чашу, а не пить ее по каплям? Неужели и опять-таки затем, чтобы слышать, как ямщик слезет в последний раз с козел и подвяжет, в первый раз на всем пути от Петербурга. колокольчик?»

Колокольчик подвязывается затем, что начинается губернский город (уездные города, как известно, не удостоены этой чести), а в нем конец странствиям и мучениям: в губернском городе есть гостиница с теплым чаем, с кушаньями, есть и другие благодати...

— Куда тебя везть? — спрашивает между тем ямщик мой под Архангельском.

— В гостиницу.

— А здесь нету гостиницы, нету ни единой.

— Вези на почтовую станцию.

— Да там не становятся: комнат нету.

— Что же мне делать?

— А вот толкнемся в трактир: может, пустят.

— Сделай милость!

Толкнулись в трактир — пустили. Отгородили в бильярдной один угол ширмами — сталась комната. И то слава богу. Теперь я в новом городе, на новом месте, обок с новыми впечатлениями.

Начну дело с аза, по обычаю всех туристов, по обыкновениям всех проезжих. Начну с вопросов у трактирщика. Вот он и сам передо мной: толстый такой и как будто готовый править свою должность, отвечать на вопросы. Похвалю я ему родной город — он еще пуще разговорится.

— Хорошенький ваш город, большой такой.

— А вот завтра посмотрите,— а я вам его не похвалю.

Прикидывается, думаю. Подзадорю его иным путем.

— Городу вашему нельзя быть некрасивым, нельзя быть небогатым: стоит близко моря, большую торговлю ведет и заморскую, стало быть, и народ — умный, оборотливый, смышленый...

— Гордый! — добавляет хозяин и затем молчит.

Думаю: «Не разговорчив» — и опять начинаю:

— Таких городов у нас немного: Одесса, Астрахань, Рига, Ревель...

— Петербург,— добавляет хозяин и опять молчит.

Думаю: «Надоело ему со всяким проезжающим толковать одно и то же» — и говорю:

— Ложились бы вы, хозяин, спать: пора уж, что беспокоитесь?

— Нам это в привычку; а мы заезжему человеку рады. С новым человеком как-то и говорить приятно.

«Льстит,— думаю,— как и всякий, кому до кого какая нужда надлежит». Я попросил сесть — сел; попотчевал чаем — не отказался! Уставивши блюдечко на ручных рогульках, смотрит мне в глаза и как будто говорит своими: «Спрашивай, спрашивай, не бойсь: теперь отвечать тебе стану с большой охотой».

— Вы здешний?

— Родителями произведен в здешних местах, хозяйство от них получил и сам тридцатый год оное в протяжении произвожу, вот уже тридцатый год...

— Стало быть, всех знаете?

— Последнего ребенка у самой задней соломбальской женки знаю, а в городе-то так и...

Хозяин поперхнулся чаем и закашлялся.

— Весело живут здесь?

— Не могут. Больше у нас немец преизбыточествует...

— Ведь немцы повеселиться любят, этим их попрекнуть нельзя.

— Наши немцы особенные.

— Чем же, хозяинушко?

— Да, во-первых, народ все коммерческий; а во-вторых, немец... надо быть, так говорить...

Хозяин опять замялся.

— Наш немец, теперь это бы к примеру самое взять,— особенный.

— Все-таки я, хозяин, вас понять не могу.

— Немец так уж господом богом создается, чтобы ему немцем быть, и никаким другим человеком.

— Да ведь это и русские так, и французы, и все... Аккуратны они, что ли?

— Насчет окурату они первые — это точно. Русского они духу не любят — это второе.

«Ну, слава богу! — думалось мне,— разразился: кажется, сказал, наконец, что хотел».

— Как же они русского духу не любят?

— А первое: всю коммерцию отбили. В старину наших кораблей от русских шло много за границу, а теперь ни одного, все от немецких контор. Второе: за русского они свою дочь не отдадут ни за что, образ сыму в поручительство. Третье: у них клуб свой, нашим дворянским брезгуют, бывают там так только, из приличия,— это третье. А зачем они — опять-таки скажу вам — русского духу не любят: из благодарности к тому, что мы им и место отвели, и все сделали.

— Да вы, хозяин, патриот большой.

— Тоись как?

— Родину свою очень любите.

— Не скажу этого и хвастаться не стану тем, а что немцев не люблю и веры в их хитрость не имею, так это скажу и вам, и флотскому офицеру вчерашнему сказывал, и приказным нашим сколько годов то же твержу. А вы меня извините! Немец наш — народ-хитряк. Вот по гильдии положено столько товаров за границу пущать, свыше нельзя, опять немцу нельзя товар на местах по городам скупать. Не положено, что тут делать? Немец тут и придумал штуку свою, особенную, немецкую штуку придумал. Он набрал из наших русских, тутошных, ближних, столько, сколько ему надо, записал их в гильдию — и ступай торговать, товары скупать на его, немцово,

имя, а самому русскому прибыли, окромя того, что купец-де стал и брюхо отращивать всякое право имеет,— другой вольготы нет. Загребай чужой жар своими руками...

— Да правда ли это, хозяин?

— Вот поспрошайте — то ли увидите. Увидите здесь то, к примеру, что все здесь немцы что один человек: и говорить они умеют по-нашему бойко, и к нашим, которые капиталом посильнее или которые на полном от всякого почете, они ласки свои приладят и в маклеры его, на безответное, глупое место посадят, как пить дадут. А то в браковщики, в старосты, в другую какую должность выберут: ты-де только своей-то торговли не заводи, а мы-де тебя своими крохами не обидим, с голоду не уморим.

— Вы, хозяин, просто сердиты на немцев, они не такие!

— Еще хуже, сказать не во гнев вашей милости. Народ на лесть, на хитрость такой ловкий, что хоть рукавицы на руки-то надевай — не ухватишь. Опять же гордости в них — велия сила. Компанию только меж себя и водят и завсегда впереди нашего города идут. Русский, я вам говорю, человек никакой силы не имеет.

— Да отчего же? я все-таки понять не могу.

— А вот посмотрите, как они это ведут. А по моему понятию, надо быть, так, что немец-народ один дух в каждом человеке держать может, а по-моему, артели их плотнее, благонадежнее бывают наших. Они это безотменно лучше наших делают. Ты к немцу хоть сто русских приставь: он все немец будет.

— Вот это, хозяин, верно. Теперь я несколько понимаю и даю себе слово поверить ваши слова своими наблюдениями на деле. А теперь еще один вопрос: кто составляет вторую половину жителей?

— Половина эта самая малая, половина эта — не половина. А это чиновники, народ заезжий, все больше из Петербурга; долго жить здесь не думает — на многое и внимания своего обращать не хочет: «Мне, говорит, что? вы хоть все перегрызитесь, а меня не трогайте, потому что уже маленько и в престарелых летах; да, признаться, служить у нас и не думаю долго. А меня-де лучше оставьте в покое, сделайте милость...»

— Да ведь есть же, я думаю, и свои, здешние, чиновники, которые здесь родились, здесь и служат.

— Как же! прибегали тоже приказные сказывать, хвастаются, что свою-де родословную, слышь, книгу завели и двоих-де уж записали. Теперь, мол, в чужих губерниях нуждаться не станем. Да ведь эти, которые здесь родятся, больше мелкота-народ. В них ведь силы никакой, как и в пузыре мыльном. Опять же они *эдак* любят...

Хозяин при этих словах сжал кулак, давая тем знать, что они взять взятку любят.

— И это ужасно любят...

Хозяин пощелкал себя по шее: пьют-де.

— Да ведь и ссыльные чиновники не все уезжают, другие, чай, остаются здесь на вечное житье.

— Бывает, да редко. Ну, а те, известно, волей-неволей в немецкую же шайку поступить должны; потому им и течение-то такое, что прямо в омут, а там стоит мельница, ладная такая, что другую сотню лет стоит,— молоть умеет первейшим сортом — русский-от дух одним сором закидает, и не прочихаешься. Да что вам говорить много: город наш на немцах стоит, немцами руководствуется. Не знаю вот только, на немцах ли ему помирать-то придется... А не желаете ли вы поесть чего?

Круто оборванная речь хозяина пришлась кстати. Я согласился. Но что есть?

— У нас одна только рыба. Мясного употребляем мало, да и теперь же пост великий. Вот треска!

Попробовал — и не мог есть, как ни был голоден.

— Палтаса, стало, и не подавать! — решил хозяин.— Палтас еще хуже. А вот селянка из свежей рыбы двинской.

Селянка оказалась сноснее; но приятнее и отраднее всего показался следующий за тем сон, крепкий, живительный, каким только и умеют пользоваться дорожные и крепко истомленные трудной, ломовой работой люди.

На другой день солнце осветило передо мной сначала огромную торговую площадь с рыбными рядами, с довольно большой толпой мужиков с возами дров, которые протянулись под гору к широкой Двине, засыпанной на ту пору снегами и обставленной по местам дорог вешками. Потом осветило солнце и самый город, по которому я ехал с одного конца на другой.

Видел я одну бесконечно длинную улицу с каменными и деревянными домами в начале: по некоторым казенные надписи, по другим частные, гласящие, что тут магазин, тут лавка с тем-то и тем-то и что принадлежит она купцу, носящему в большей части случаев немецкую фамилию. Видел я бесконечно длинную улицу, почти единственную улицу города, тянувшуюся версты четыре, а может быть — и пять верст, вблизи от набережной, от берега Северной Двины по направлению к Кузнечихе и Соломбальскому портовому селению. Видел я налево, за каменной оградой и рядом деревьев (на то время оголенных и обсыпанных инеем), Троицкий кафедральный собор, основанный 11-го октября 1709 года и оконченный в 1765 году, двухэтажный, высокий, величественный. Соборная церковь прежде была деревянная, основанная в 1584 году, с пристройкой, сделанной в 1664 году. Церковь два раза сгорела. Петр Великий назначил для собора новое, нынешнее место, а собор до сих пор хранит о нем память, драгоценную по многим отношениям. На правой соборной стене, под полукруглым балдахином, опирающимся на две колонны, хранится деревянный крест, сделанный руками Петра на память спасения в Унских рогах. Этот крест сосновый, имеет 5 аршин в вышину и 4 аршина в ширину. Концы его сделаны в виде полукружий с шариками на оконечностях. Крест, от времени и долгого пребывания на открытом воздухе, потрескался и покрылся сизым цветом, но еще можно видеть резную надпись, сделанную руками самого Петра:

«Dat
Kruys ma
ken kap
tein Piter
van a ch.
S. t.
1694».

Император Александр I повелел перенести этот крест в Архангельск из Пертоминского монастыря в 1805 году, как гласит надпись на доске, поддерживаемой ангелом. Другая доска (также поддерживаемая ангелом) повествует о причине, побудившей Петра Великого соорудить этот крест и перенести его потом на собственных плечах до того места, на которое вступил он после бури. В соборной ризнице память о Петре сохраняет риза зеленого бархата, сшитая из кафтана царя, и два саккоса, пожалованные им Афанасию в 1702 году. Видел я за собором городскую площадь, окруженную соборами, церковью архангела Михаила, построенною, в 1769 году, на месте бывшего Архангельского монастыря, и церковью Воскресенской, столько же древнею, как старо само заселение города. На площади, около которой некогда сосредоточивались и первоначальное заселение города, и первые торговые операции его, стоит памятник. Не нужно было говорить — кому, но я все-таки спросил извозчика:

— Кому этот памятник?

— Тучи у господа бога отводил на небесах.

— А кто он таков был, где родился?

— Не знаю; колдун, надо быть, какой.

Вот новый урок соорудителям, сумевшим в лице Ломоносова изобразить римского гражданина в тоге, с гением у ног, а не простого мужика, с приличными, более понятными и ясными атрибутами, или что-нибудь вроде этого. К тому же памятник мал, пропадает в массе зданий и не пользуется ни хорошим видом, ни хорошим местом.

Налево по пути объявилось полуразрушенное каменное здание, которое извозчик называет монетным двором (на самом деле это развалины *немецкого* гостиного двора) и говорит:

— Пытали ломать, и подрядчик на кирпичи нашелся — не осилили, и подрядчик отказался. Известка так спеклась, что камни и лому не давались. Да и кирпичи — тяжелина такая, что ноне таких и не делают. Пытали каменщики печи из них складывать, так тоже, слышь, отказались: все плечи-де обломали, одной рукой не сдержишь и не перевернешь, как бы надо по-ихнему...

Некогда на этом здании было шесть башен (теперь уцелело только две). Говорят, что подробности плана этого гостиного двора, назначенного для складки товаров, составлены были рукой самого царя Алексея Михайловича и приведены в исполнение нарочно присланными сюда из Москвы иноземными инженерами Петром Марилисом и Вилимом Шарфом. Прежде это заме-

чательное по старинной архитектуре здание тянулось по реке на двести сажен и имело в ширину шестьдесят. Теперь половина его сломана (с большими усилиями), и невозможно разобрать ни места ворот, ни места верхних светлиц, где жили иноземные гости, ни галереи с арками, которые служили для сообщения их с русскими торговцами, ни среднего корпуса, куда сходились для торга и мены и где стояла стража, возбранявшая частые общения купцов русских с немецкими. Во всяком случае, обширность дворов и прочность постройки свидетельствуют наглядно о том, насколько обширен и прибылен был древний торг, благотворно влиявший на те северные города, которые теперь стоят захудалыми, как Великий Устюг, Вологда, Каргополь и даже несчастная Чухлома, вызывающая нынешнею скудостью своей основательные насмешки.

Рядом с этим зданием по набережной Двины тянутся иные развалины, которые, собственно, и были монетным двором, составлявшим часть таможенного замка. Кирпичи для обоих работаны были в Голландии и привезены сюда на кораблях. Общий вид развалин, в среде других и с Двины, представляет увлекательную картину. Вблизи они веют стародавностью: седое время буквально изгрызло окна, крышу, четверо ворот; кое-где завязались по стенам, на крышах башен и в окнах растения.

Площадь заключается гауптвахтой со стороны проспекта и старинным зданием думы к стороне Двины. От гауптвахты пошла опять улица со сплошным рядом домов, по большей части деревянных, чистеньких, опрятных, в большей части случаев обшитых тесом и окрашенных всевозможных цветов красками. Это — немецкая слобода, где ютится все коммерческое население города. Влево, к Двине, красуется большая лютеранская церковь св. Екатерины, построенная в 1768 году; далее — реформатская, выстроенная в 1803 году. Направо и налево начинают свертывать с главной улицы переулки, но те и другие идут недалеко: с одной стороны обрывает их Двина, с другой пересекает второй (но и последний) городской проспект, идущий параллельно с первым. За этим вторым проспектом пойдет уже вязкое тундряное болото, которому и конца нет на дальней Корелии.

Обрамленная с двух сторон мостками, Немецкая слобода в одном месте пересекается городским садом, небольшим, чахлым, редко посещаемым; со многих других сторон тянутся значительной величины пустыри, за длинными безобразными заборами и без этих заборов. Пустыри эти — давние следы давнего пожара, испепелившего большую половину Архангельска. Один пустырь, как говорят, залег на месте театра. У каменного здания полубатальона военных кантонистов оканчивается Немецкая слобода, затем что слева уже тянется река Кузнечиха, а по берегу ее и в глушь подгородного болота — бедная слободка того же имени, населенная потомками двух, некогда бывших здесь, гайдуцких полков, переформированных потом в два гарнизонных батальона. Утлые домишки, утлые мостки, узенькие, запущен-

ные улицы, пустынные огороды кругом — вот главные и единственные характеристические признаки этой бедной подгородной слободки.

Такую же бедность являет и другая подгородная слобода, на совершенно противоположном краю длинного и скучного Архангельска, при въезде из Холмогор. Слободка эта носит название Архиерейской, затем что тут существует архиерейский дом, со времени перенесения епархии из Холмогор, подле Архангельского монастыря.

Архангельским монастырем, собственно, и начинается город Архангельск, получивший от монастыря и свое имя в народных устах, хотя правительство и назвало его вначале (в 1584 г.) *Новыми Холмогорами.*

Город этот начинался, собственно, на средине настоящего Архангельска, там, где лежит теперь городская площадь, на месте, называемом *Пур-наволок.* Здесь построена была деревянная крепость — острог, в виде продолговатого четырехугольника, о двух этажах, с шестью башнями и старинными бойницами, или амбразурами. С речной стороны он окружен был земляным валом и палисадом, внутри разделен стенами на три части: верхняя называлась русским гостиным двором, в верхних палатах которого хранилось казенное вино; нижняя часть острога, по Двине, носила имя немецкого гостиного двора, с портовой таможней. Средняя часть, собственно крепость, с бойницей и башнями, занимаема была монастырем, который впоследствии переведен был, после пожара в 1637 году, на нынешнее свое место за городом, по указу царя Михаила Федоровича. Место это носило название урочища *Нячеры.*

Первыми обитателями Новых Холмогор были ратные люди — стрельцы; через три года, в 1587 году, учрежден был здесь посад. В нем жили деревенские пахотные люди и небольшое число посадских, переведенных сюда из разных двинских деревень и посадов. Им дарована была льгота на пять лет освобождением от платежа всех государственных податей, а после истечения срока всякие раскладки позволено было делать им самим. Тогда же много семей оставили Старые Холмогоры и поселились в Новых. В 1702 году сюда переведено было воеводское правление.

Монастырь Архангельский — один из древнейших в России, судя по сохранившейся грамоте, выданной от одного из новгородских архиепископов, Иоанна (там было три: два в XII веке и один в XIV-м).

В грамоте года не означено. Вот ее содержание: «Благослови архиепископ новгородский Иоанн владыко у Св. Михаила вседневную службу и благослови игуменом Луку к Св. Михаилу, и буди милость Божия и Святыя Софии и Св. Михаила на посадниках двинских и на двинских боярах и на боярах новгородских, на владычине наместнике, на купецком старосте и на всех купцах новгородских и заволоцких, и на игуменах и на попех и на всем причте церковном, и на соцком, и на всех крестьянах, от

Емцы и до моря, что есть потребовали милости Божией Св. Михаилу вседневную службу, и вы, дети мои, потщитеся о милостыне к Св. Михаилу, и к игумену, и ко всему стаду. А ты, игумен, с собором и со стадом Св. Михаила, Бога моли за всех крестьян, и буди милость Божия, Св. Софии и Св. Михаила на всех крестьянах и владычне благословение Иоанново». Место первоначального Архангельского монастыря, картинное и удобное для стоянки торговых кораблей, укреплялось вначале на сваях и стойках, по причине топкости тундристых мест. Тогда же проводились и каналы для спуска воды. В монастыре церковь каменная, выстроенная в 1683 году. В нем же семинария, имевшая вначале содержание от монастырей и церквей отсыпным хлебом, а с 1784 года получившая штаты.

В Крестовой церкви нынешнего архиерейского дома хранятся драгоценности, напоминающие собой снова Петра Великого. Это — карета, подаренная им архиепископу Афанасию, два флага, которые поднимались на яхте царя во время поездки его в 1693 году к Поною и Трем островам, и небольшие пушки, взятые со шведских кораблей в 1701 году, во время нападения их на Новодвинскую крепость.

Тут же, неподалеку от монастыря, новые воспоминания о Петре. На месте, называемом *Бык,* он велел построить хлебные магазины, в 1700 году, и сюда же вскоре приказал перевести из соломбальского адмиралтейства выстроенную одновременно корабельную верфь. Вскоре здесь заложены были два 54-пушечные корабля. Встретились новые неудобства; быковская верфь оставлена и переведена на старое место, но на Быке стали строить потом купеческие суда, и опять-таки недолго; доки и эллинги сгнили теперь, не оставив следа.

Между тем, заботы Петра об усилении заграничной торговли способствовали в то же время к разрастанию и усилению города. Архангельск становился людным и сильным по мере того, как далеко еще не наступило время создания Петербурга. Еще до сих пор ходят народные предания о великом строителе русского государства, свидетельствующие о крайней его заботливости и внимании. Обо многих из них я имел случай говорить прежде. Приведу теперь остальное.

Рассказывают, что государь целые дни проводил на городской бирже, ходил по городу в платье голландского корабельщика, часто гулял по реке Двине, входил во все подробности жизни приходивших к городу торговцев, расспрашивал их о будущих видах и планах: все замечал и на все обращал внимание, даже в малейших подробностях. Раз, говорит предание, он осматривал все русские купеческие суда. По лодкам и баркам взошел на холмогорский карбас, на котором тамошний крестьянин привез для продажи горшки. Долго осматривал царь товар и толковал с крестьянином. Нечаянно подломилась доска; Петр упал с кладки и разбил много горшков. Хозяин их всплеснул руками, почесался и вымолвил:

— Вот те и выручка!
Царь усмехнулся.
— А много ли было выручки?
— Да теперь немного, а было бы алтын на сорок.
Царь пожаловал ему червонец, примолвил:
— Торгуй и разживайся, а меня лихом не поминай!

Как велика была забота Петра об архангельских торгах, видно из того, что он завел, по указаниям Ивана Феркелена, свои собственные, так называемые царские, торги. Начались они с того, что Петр поручил иностранным купцам купить в Голландии, на его счет, торговый корабль и привезти к будущему году сукно для войска. Сукно это в следующем году было привезено и, под присмотром присяжного проводника, отправлено в Москву. В 1695 году государь писал к воеводе Апраксину: [33] «О корабле будет писать Франц Тиммерман. Я ему прикажу по-прежнему для кораблей вывесть». Вывезены были мелкие ружья. В 1696 году было у Архангельска 20 иностранных кораблей, а в следующем году привезены были поташ, смольчуга и табак для войска. В 1700 году число иностранных кораблей возросло до 64, в 1702 году — до 149. В следующем году, на счет государя, привезены были: сера горючая, свинец, сукно, которые тогда же, под присмотром целовальников, и отвезены были в Москву, в 1705 привезены для конницы седла и совершена огромная закупка хлеба, назначенного в Швецию, но приостановленная по случаю военных действий. В 1707 году привезено было опять сукно, а в следующем отправлены поташ и смольчуга для продажи. В 1709 году привезена, на государев счет, медь, а в 1714— снова сукно. Но в этом же году государь усмотрел злоупотребления по казенной торговле хлебом. Виновными оказались и сами купцы — русские и иностранные, и архангельский губернатор Курбатов с комиссионером царским Соловьевым. Главным предводителем запрещенной торговли хлебом оказался иноземец Шмидт. Государь простил виновных, но отозвал Соловьева из Голландии, а дела свои поручил иноземцу Любсу. Волковский, следователь нечистого дела, не ехал по требованию царя в Москву, продолжая кончать следствие, и за то подвергнут был царскому гневу и казни: он был осужден и расстрелян по указу государя. Любс впоследствии оказался также неверным интересам Петра: он прибавлял расходы, убавлял приходы. Об этом узнал царь в Голландии; узнал о гневе царя и виновный, поспешивший тотчас же оставить Россию. К тому же приготовилась и жена, но Петр приказал задержать ее в Архангельске и в 1720 году привезти ее в Москву. У Любса оставалась единственная дочь; во имя ее Любс поспешил просить государя о прощении вины своей. Государь великодушно простил, но с условием, чтобы он выдал дочь в замужество за сына придворного врача, Гофи, родом тоже голландца. Любс согласился, и вина ему была окончательно прощена и забыта.

Между тем число приходивших кораблей то уменьшалось в числе своем, то увеличивалось: в 1717 году было их 146, в 1718—116. Отпуск смольчуги и поташа был прекращен от казны и сделан свободным для всего купечества русских городов. Значительному ослаблению

привоза и отпуска, естественно, способствовала возраставшая торговля Петербурга.

О прежних, допетровских, торгах беломорских осталось мало преданий, но в руках наших сохранилась грамота, достаточно свидетельствующая о состоянии торговли в то время. Нелишняя она и в настоящее время по своему характеру, близкому к современному положению. Смысл ее может наглядно указать и на то, поскольку торговля беломорская находится в руках русских и поскольку в руках немцев теперь, когда со времени этой бумаги проходит уже вторая сотня лет. Уважая в грамоте этой ее историческую важность и применимость к современности, приводим ее целиком в том виде, в каком она сохранилась. Вот эта *челобитная царю государю и великому князю Алексею Михайловичу всея Великия и Малыя и Белыя России самодержавцу от соцкого Прокофья Онфимова Городчикова и всех посадских людей Архангельского города:* «Жалоба, государь, нам на торговых иноземцев голанские и амбурские и бременские земель: живут они, иноземцы, у Архангельского города с нами, сироты твоими посадскими людишками, в ряд, и поставились они, иноземцы, своими выставочными дворами на наши на тяглые места, а на твои, великого государя, гостиные торговые дворы, которые у Архангельскова города, они, иноземцы, дворами своими не ставились, и теми своими выставочными дворами они, иноземцы, тех земель нашу искони вечную мирскую дорогу заперли, и скотишку нашему на мирскую искони вечную дорогу от их дворов учинился запор, и проходу скотишку нашему нет, и нам, сиротам твоим, для дороги проходу нет, и прохожей мост они разломали и разбросали, а числом у них, иноземцев, выставочных дворов на наших тяглых местах у Архангельсково города восьмнадцать. А дворы, государь, они, иноземцы, поставили с амбарами и с погребами и с выносными поварнями, мерою под двором по сороку сажен и больше. Да с нами ж, государь, сироты твоими, поставились в ряд иноземец Яков Романов Снип, возле наши мясныя лавки двумя амбары, да иноземец Вохрамей Иванов поставил за мясными нашими лавками поварню в речную сторону для-ради топленья говяжья сала и кожного сушенья, и тем они, иноземцы Яков да Вохрамей, наши мясные лавки заперли, а от Вохрамеевы поварни нам, сиротам, со скотишком к мясным лавкам и проезду и проходу не стало, и тем запор учинили. И тех, государь, земель иноземцы выставочные свои дворы и анбары и погребы и поварни отдают в кортом своей братии торговым иноземцам, и тем они, иноземцы, корыстуютца. А мы, государь, сироты твои бедные людишки, от тех выставочных дворов и анбаров и погребов и поварен вконец погибли, обнищали и одолжали великими долги, что они, иноземцы, завладели нашими тяглыми месты. А твоих, великого государя, податей с нами, сироты твоими, с тех наших тяглых мест вряд не платят, *да они же, иноземцы, разъезжают по волостям и покупают у волостных крестьян скот и рыбу и всякой харч, и тем они, иноземцы, покупкою своею нас, сирот твоих, изгонямот, а твою, великого государя, теми отъезжими торги с волостны-*

ми крестьяны они, иноземцы, пошлину обводят и пошлины не платят, а у нас, сирот твоих, не покупают. А у нас, государь, сирот твоих, никаких больших торгов нет, опричь мяса и рыбы и всякого харчю, и оттого мы, сироты твои, от них, иноземцев, вконец погибли» и проч.

Доказательства упадка Архангельска и его окрестных местностей окажутся налицо, даже если мы возьмем для примера занятия горожанок и работы окрестных крестьянок. Где теперь те промыслы, которыми эти женщины славились в конце прошлого и начале нынешнего столетия? Горожанки ткали золотые и серебряные позументы, вязали шелковые женские пояса, шерстяные, нитяные и бумажные чулки и колпаки, ткали тонкие полотна и продавали на еженедельных базарах. Если искать всего этого теперь — не найти; если пуститься в расспросы — не избежать насмешек над простодушием. Прежде весь край вокруг города Архангельска до Холмогор, восточный, южный и большая часть западного берега Белого моря: многолюдные раскольничьи скиты, заселенные острова и деревни — наполнены были пряхами. Они перепрядали мягкий шенкурский лен весьма тонко, ровно, гладко и крепко, хотя и чрезвычайно медленно по причине простых одноручных пряслиц. Зимой из этой пряжи они ткали полотна: парусину, равентух, меховину, верховья, пачесья, салфеточное, скатертное и самое тонкое, плотное и широкое полотно, не уступающее голландскому. Последнее обстоятельство вынудило патриота-наблюдателя тех времен высказать следующие интересные соображения, обращая внимание правительства. Место для беленья полотен способное есть город Архангельск, ибо оно совершенно сходствует с Голландией: там приморский воздух, тот же и здесь; там пресная вода перемешана с морской, та же и здесь; там прилив и отлив водный, то же и здесь; там порт многочисленных кораблей, то же и здесь; там белят во время стужи, а здесь хотя и горячий и Италии не уступающий климат, «но довольно для беленья прохладен», и проч. Быстрое и основательное обогащение одной торговой фирмы и известное всюду теперь грибановское полотно достаточно свидетельствуют о том, что предположения П. И. Челищева не были пустой мечтой и что он был человеком светлого ума, дельного образования и благородного, независимого образа мыслей.

Между тем шли для меня дни за днями. Дни накоплялись в недели; мелькнуло этих недель шесть — прошел пост. Наступила Пасха. Замелькал мимо моих окон архангельский люд с праздничными визитами; звонили целую неделю колокола двенадцати архангельских церквей; проснулось городское общество после долгого великопостного застолья и задало себе два бала в обоих клубах: благородном и немецком. Балы эти, из которых один почему-то назывался семейным вечером, не имели ничего типического, кроме этой бесхарактерной толкотни под звуки довольно

сносного оркестра. Я все еще продолжал возиться со своими книгами, с «Губернскими ведомостями», все еще вел приготовительное книжное знакомство с губернией, путешествие по которой ограничено было годичным сроком. Мало-помалу, хотя и медленно, исподтишка начало подбираться и весеннее время, подмывая огромные сугробы снега, закидавшего улицы на значительную высоту. В городе ждали актеров, ждали севастопольцев, которые должны были явиться предвозвестниками весны, и здесь столько же живительной, как и повсюду на всем земном шаре. Я успел уже свыкнуться с треской, привык к пирогам с палтусиной, попробовал шанежек. Со многими из туземцев познакомился, много их успел полюбить и искренно, и сильно. Целые вечера проводились в живых приятельских беседах. Было весело подчас, но не покойно от той тяготы, которую налагала неизбежная и неотразимая обязанность дальнего странствия по прибрежьям Белого моря.

Тем временем нельзя не остановиться здесь для немаловажных сообщений. *Шанежка* — архангельское лакомство, род булки, с рыхлой внутренностью, с исподкой, поджаренной на масле, и облитой сверху сметаной. По преемству от первоначальных насельников Сибири из этих северных местностей, шаньга распространилась и в этой стране, сделавшись лакомым и любимым кусом. Ее знают и ею потчуют во всех тех местах, где лапти переселенца намечали начальные черные тропы, по которым шла потом русская вера и укоренялся православный обычай. Вкусная шанежка составляет исключительную привилегию архангельских жителей, получивших за то от всех соседей прозвание *шанежников*. Рассказывают, по поводу шанежек, исторический анекдот о Петре. В то время когда уже основан был Петербург и к тамошнему порту начали ходить иностранные корабли, великий государь, встретив раз одного голландского матроса, спросил его:

— Не правда ли, сюда лучше приходить вам, чем в Архангельск?

— Нет, ваше величество! — отвечал матрос.

— Как так, чем хуже?

— Да в Архангельске про нас всегда были готовы оладьи.

— Если так,— отвечал Петр,— приходите завтра во дворец: попотчую!

Царь исполнил слово, угостивши и одаривши голландских матросов.

Рассказывают и местный бытовой анекдот. Напекла любящая жена строгому мужу этих самых шанежек и стала поджидать возвращения его с работы. Пришла к ней в то время нежданная гостья — кума; надо ее, конечно, угощать, а, кроме яшных оладышек, ничего в доме нет. «Садись, кума, и ешь». Ела кума с охоткой, булочки пришлись по вкусу. Съела она целых восемь, последнюю, девятую, «стыдливую» оставила. Глядела-глядела хозяйка куме своей в рот, махнула в отчаянии обеими руками и вскрикнула:

— Доедай, кума, девятую-ту шанежку: мне, *однако,* от мужа битой быть.

Слова эти ушли в присловье, которым подсмеиваются над архангельскими горожанами, а слово «однако» тут очень кстати как любимое, которым часто пользуются и часто злоупотребляют, вставляя некстати. По одному этому слову можно признать архангельского человека, которого в сердцах так и бранят все прозвищем «шаньга кисла». Они же и кровельщики, некогда уходившие в промыслы даже до самого Питера. Один так-то заработался или загулялся — долго не возвращался домой. Жена соскучилась ждать и поехала повидаться. Дошла до Зимнего дворца, увидала на крыше статую, одну из них приняла за мужа и закричала на всю Дворцовую площадь:

— Иваныч, слезь с кровли! Я к тебе приехала.

Слова эти разнеслись не только по архангельским окрестностям, но и по всей Руси как насмешка над самым северным простодушным людом.

Пришла и весна — мать-красна. Унесла Двина лед в море, очистились улицы и от воды вначале, и от грязи потом. Быстро зеленела трава: в сутки с небольшим раскинулась она веселым зеленым ковром; скоро завязались и лопнули на деревьях почки. Приехали на судах севастопольцы. Я был увлечен в общественную жизнь (которая забила сильным веселым ключом) и на время схвачен был ее водоворотом. Тянулись праздники за праздниками. Севастопольцам все были рады.

Наконец и это все миновало, и жизнь общественная опять заключилась в свою обычную среду, потянулась своей обыденной колеей. Многие из достаточных жителей выбрались на дачи за город в соседние деревни: на Кег-остров, в Красное село, в Сюзьму. Севастопольцы принялись за работы в порте. Становилось душно. Закипела деятельность коммерческая в соломбальской гавани. Архангельск, как бы сосредоточившись весь там, начинал стихать и смолкнул совсем, когда я отправился в дальний путь по беломорским прибрежьям. Многое я имел случай видеть там и слышать. Обо всем этом я постепенно говорил прежде в надлежащих местах.

В сентябре месяце я вернулся обратно в Архангельск и не узнал его. По городу реже разъезжали каптэны, значительно опустела гавань, и как будто в замену ее начиналась не менее шумная деятельность в самом городе, для которого наступило время Воздвиженской ярмарки. Вся она сосредоточилась около городской пристани, которой, между городскими рядами, предшествует довольно большая площадь. Площадь эта на то время служила рынком. Вся Двина пред ней вплотную почти установлена была беломорскими судами разных величин и наименований: виднелись огромные и безобразные лодьи, не менее безобразные, хотя и меньшего калибра, раньшины; выделялись каюки, барки, полубарки, шняки, паузки, шитики; виделись плоты разных видов и наименований; шныряли между ними легкие карбасы и мелкие лодки. Шум и деятельность имели характер огромного, людного базара. Все эти суда привезли поморскую рыбу с дальних беломорских

берегов и Мурманского берега океана: треску, палтасину, семгу, сельдей, сигов и другую. Все эти суда нагрузятся потом хлебом, солью, лесом. Архангельский люд, на половину своего количества, нашел здесь себе работу; даже бабы — по-здешнему «женки» — заняты выгодной поденной работой. Часть их занялась промывкой на плотах крепко просоленной трески; часть расселась у наскоро сплоченных столиков и прилавков с подходящим и идущим товаром: шерстяными чулками, перчатками, сапогами, ситцем, носильным платьем в виде готовых красных рубах, овчинных полушубков. Между товарами этими реже других бросается в глаза значительное количество самодельных грубой работы компасов, имеющих на языке поморов название маток. Попадаются книги, картины московского изделия, героического и юмористического смысла; бьет в глаза пропасть деревянной посуды.

Народности спутались, расшумелись, занятые сосредоточенно собственными интересами; но несколько привычному взгляду можно отличить тут и рослого богатыря помора-кемлянина, сумлянина, раздобревших на мурманской треске и чистой, неутомляющей работе, и робкого с виду, менее разбитного и говорливого жителя Терского берега. Подчас толкается тут, на рынке, и узкоглазый, коротенький, коренастый лопарь, и бойкий, юркий матросик, остряк гарнизонный солдатик, и идет с развальцем шенкурский мужичок * — *ваган кособрюхий, водохлеб,* с кривой подпояской, с огромной ковригой хлеба за спиной и за одним плечом, с вязкой луку за другим, с деревянной ложкой на манер кокарды за ленточкой поярковой шляпы грешневиком. Между другими поморами можно отличить и мезенцев, прозванных *сажоедами* и *чернотропами* (за то, что у них и избы обвесились, как бахромой, сажей, и дороги и тропинки их от этой сажи черные, черна и обувь их, всегда замаранная), и собственно поморов из-под Кеми и Сумы, прозванных, в свою очередь, *красными голенищами* за ту обувь, бахилы, которую они имеют обыкновение шить из невыделанной тюленьей кожи. Резко выделяется изо всех подвинский житель, с виду угрюмый, но в самом деле ласковый, склонный к сближениям, острый на язык, но в то же время хитрый и пронырливый. Все это народ с издревле проторенной и прямоезжей большой дороги из Москвы в чужие страны — народ тертый и искусный. Из деревни Заливья (Холмогорского уезда) явля-

* Жители Шенкурского уезда, называемые ваганами по реке Ваге, протекающей по уезду, и верховиками, исключительно занимаются, как известно, полевыми работами (хлеб у них родится хорошо) и работами лесными: сколачиванием плотов, сидкой дегтя и пр. Промыслы их не входили в программу моих занятий, и потому я там быть не успел, и по сроку, назначенному для путешествия. В Архангельске являются шенкурцы на судах, в качестве рабочих и лоцманов, провожающих к порту вятский хлеб и другие товары. За то, что они привычно ходят по городу и на базаре кучками, толпой, не надеясь на свои единственные силы и на личную находчивость и сметку, их прозвали «араушками», «араушкой» (бродят артелью, аравой). Впрочем, под этим прозвищем известны в Вологодской губернии и те зыряне, которые толпами или аравами бредут на Двину наниматься для сплавов судов с сыпью, или хлебом, в Архангельск.

ются сюда купора, выделывающие бочки для идущего за границу хлеба. Из села Емецкого — искусные строители больших лодок, называемых холмогорскими карбасами. Куростровцы, круглые земляки знаменитого Ломоносова,— издревле гончары. Еще до Петра по Двине «не боги горшки обваривали, а все те ж куростровцы» (у одного-то из них и разбил царь Петр хрупкий товар, лазавши по судам и сорвавшись с кладки). Могут указать в этой рыночной толпе и «матигоров-чернотропов», осмеянных за то, что занимаются кузнечеством и, конечно, пачкаются сажей и углем, но зато снабжают весь север теми ружьями, с которыми воюют на море и в лесах (эти же матигоры — «воры» за бывалый случай, теперь полузабытый: «Богородицу украли, в огороде закопали»). В этой же рыночной толпе выделят бранью, укором и накриком мудьюжанина — жителя селения, лежащего на одном из четырех устьев Двины, при самом завороте Зимнего берега, где поставлен маяк. Бесплодная земля и удаление от прочих жилых мест выучили, на большой голодке, пускаться во вся тяжкая, изворачиваться и плутовать. Всякий недобрый человек обзывается «мудьюжанином»: чего уж тут ждать хорошего. Обругают ховрогора «беспутным» — очень обидным для этого придвинского жителя бранным словом, вынуждающим ответную драку, и при этом расскажут бывалый случай. Когда-то они, переезжая через Двину на карбасе, опрокинулись. Многие утонули. Уцелевшие стали отыскивать товарищей. Закидывали сети и вытащили 50 утопленников, а переправлялось их всего 40. При этом ховрогоры будто бы старались уверять свидетелей и клялись в том, что они многих спутников своих недосчитываются. Словом сказать, о придвинских обитателях ходит недобрая слава, именно по причине житья их на большой старинной дороге. В особенности народные присловья не хвалят тамошних женщин. Некогда про все Подвинье сложена была целая обличительная песня. В цельном виде она не сохранилась, и от нее остались лишь осколки, которые и пошли в оборот в виде присловий. Песня велась от самой Вологды и зацепила, конечно, Холмогорский уезд. В нем, сверх прочих более шаловливых: «по девичникам ходить да куманчики кроить — бутырчанки» (из деревни Бутырок), т. е. не столько обряжать дом и хозяйство, сколько заботиться о нарядах. «Сойтиться да побасить, по головушке погладить — девки сорочински». «Из окна рожу продать, табаком торговать — херполянченки» (из деревни Херполе). У девиц-горчанок (деревня Горская) «высокие поклоны — низкие поклоны», и т. д. На том же архангельском рынке не редкость встретить привезшего кладь товрянина (из деревни Товры). Большая часть подвинцев уходят наживать копейку на дальних заработках,— товряне же уперлись на своем и уходом на чужую сторону не соблазняются. Это породило у соседей насмешки над ними — говорят: «товряне дома углы подпирают, кнутом деньги наживают», т. е. любят домашнее хозяйство и, в подспорье к нему, занимаются извозом. Над ними, может быть, и не насмехались бы, когда бы они были от досужества своего сыты. Впрочем, и над собой эти насмешники подтрунивают тем, что

на чужую сторону ходят «не деньги наживать, а лишь время провожать». Так поют они и в одной из своих юмористических песен.

Прислушавшись к говору, трудно отличить поселенцев одной местности от другой, тем более что говор имеет по всему северному краю поразительное сродство и сходство, как коренной, беспримесный новгородский говор, перенесенный через Уральские горы и распространившийся по всей Сибири.

Веденская ярмарка пустила по городу тот неприятный одуряющий запах, которым отдает треска, но у бедного обитателя Кузнецовской и Архиерейской слободок за обедом — любимое, вкусное и лакомое блюдо. Блюдо это, при иной обстановке приправляемое цельным, нефабрикованным вином (которое, по словам знатоков, в редкость и для Петербурга), — блюдо тресковое не пропадает и на столе богачей архангельских.

Снова обращаешься, по поводу ярмарки, к расспросам у старожилов и слышишь от них, что:

— Веденская ярмарка — кроха и большая, а соломбальская гавань, против ее, каравай большой. Берет тут деньгу богатый помор; кроха малая перепадет и на долю его работника. Вся сила в большом капитале: к нему скоро прирастает другой; а малый капитал так весь и рассыпается в брызгах. Помору-работнику надо купить подарок жене и ребятенкам да и себя побаловать. А богачу покупать нечего: у него и так всего вдоволь. Чаю, сахару и посуды он и в Норвеге купит, и ценой подешевле гораздо.

— Приносит ли пользу Веденская ярмарка городским торговцам? — спрашиваю я.

— Да разве это торговля? — отвечают мне. — Торговля эта с крохи на кроху мелкотой перебивается: бабе от продажи на дырявое платьишко хватает, да и с голоду не мрут. А детям, особенно девкам, много не надо — тем и корабельщики надают. Об этих родители не кладут своей заботы.

— Зачем же они трудятся, зачем торгуют, когда нет в том прибыли?

— А уж это стих такой в городских наших, струя такая ходит, ровно бы болезнь падучая. Как усидишь дома, как не разложишь лавочки, когда и сосед то же делает и без гроша не гуляет, а кофей пьет, треску ест со сметаной и картофелем. У нас в городе-то все торговцы, и нет того человека, у которого бы поднялась против этого дела совесть. Торговлей не брезгают. Опять же на рынке разговор всякий идет, драки бывают, а это, на дырявый бабий язык, и ладно!

— А каков мужской пол из простого люда? — спрашиваю я.

— Да мещане все хорошие работники и все при деле. Пьянством и другим бесчинством попрекнуть нельзя. Да и здешнего горожанина редко увидишь на улице...

— На улице все я вижу военный народ: солдат и матросов...

— Вот этих похвалить хорошим нельзя. Да вот лучше расскажу я вам недавний и смешной случай. Пошла одна женка

в торговую баню помыться; принесла с собой ребенка, да забыла мыло. Ребенка положила она в корзинку с бельем и пошла в ближнюю лавочку за мылом. Купила мыла, вернулась назад. Хвать корзинки — нет корзинки. Взломала руки свои бедная, взвыла недаровым матом, а беде пособить надо. Не спит целую ночь,— думает в полицию подать объявление. В тот же вечер в соломбальских казармах перекличка была. Вызывают солдат по именам. В казарме тихо, только и слышно с разных сторон: «я» да «я»; да вдруг и раздался сторонний голос: закричал под одной койкой ребенок. «Вора выдала речь»,— и сталась баба с ребенком, матрос с линьками. Ребенок-от, стало быть, спал крепко во всю дорогу, а ночь была темная на ту пору, осенняя.

— Ну, да уж этого объяснять не надо: и без того понятно.

— Когда же к нам, на Мезень? А от нас и на Печору пробраться вам будет любопытно! — говорили мне тамошние поморы.

— А вот поправлюсь от дороги да путь встанет, замерзнут Тайболы! — отвечал я и наконец дождался-таки своего времени.

Грустно бывает расставаться с насиженным местом, тяжело покидать многих людей, с которыми успел и сойтись, и смолвиться! Предчувствуя тягости дальнего пути, неохотно садишься в кибитку, с трудом борешься с наплывом грустных впечатлений и волей-неволей подчиняешься неизбежному закону обстоятельств и гнету житейских случайностей.

То же сталось и со мной и в конце октября 1856 года, когда я оставлял Архангельск во второй раз. В феврале следующего года я был неподалеку от него, в Холмогорах, в каких-нибудь семидесяти верстах, в девятичасовом перегоне.

— Съездите в Город? — спрашивали меня там.

— Может быть,— отвечал я вначале.

— А не мешало бы съездить! — напоминали потом.

— Едва ли поеду! — отвечал я на это потом, по долгом размышлении. Недоставало для меня на тот раз того дорогого человека, которого рано похитила могила, и боялся уже я Архангельска, и говорил уже наконец всем одно:

— Нет, не поеду, ни за что не поеду...

В конце февраля я уже оставлял архангельский край для Петербурга, и, признаюсь, не жалел об этом.

3. ХОЛМОГОРЫ С ОКРЕСТНОСТЯМИ

История города.— Секретная слобода.— Преображенский собор.— Голландская порода скота.— Костяника.— Посещение Петра Великого.— История заточения брауншвейгского семейства.— Предания о Ломоносове и место его родины.— Лопаткии.— Село Вавчуга.— Баженин и предания о Петре I.— Путь на Холмогоры.— Развалины крепости Орлеца.— Городок.— Упраздненные монастыри.

Три раза приводилось мне быть в этом городе. Безразлично и смутно мелькнул он в первый проезд мой, сумерками, из Петербурга в Архангельск, когда я был истомлен и с лишком тысячеверстным путем, и пятидневной сосредоточенной скукой.

Во второй проезд, когда уже порядочно примелькались в глазах сотни поморских селений и три других города, когда привычка успела заковать воображение и все помыслы в одну тоскливую и безразличную среду, когда можно было положительно сказать себе, что хуже виденного и до сих пор изведанного не будет,— Холмогоры показались мне и тогда беднейшим из самых бедных городков нашего обширного и разнообразного русского царства.

Обязавши себя пристальнее вглядеться и короче познакомиться с городом, я, и после того, пришел к тому же заключению, что над Холмогорами лежит роковая судьба безлюдья и бедности. Видно, такова и его участь, какова участь многих других древних городов России; видно, и здесь придется сказать себе: «Беда тому городку, подле которого выстроится и расселится богатый и торговый сосед, со свежими силами, новыми взглядами на вещи, с современным пониманием дела. Обезлюдеет и загниет древний городок, и останется за ним старая честь, честное, неопозоренное, почтенное имя — и только».

Такова точно и судьба Холмогор по отношению к ним Архангельска.

Считаю первым долгом припомнить историю Холмогор и выяснить настоящую плачевную судьбу города — судьбу незаслуженную, но неизбежную, по смыслу всех судеб исторических.

Строен ли он аборигенами северного края, белоглазой чудью, или торговыми предприимчивыми новгородцами — за этим ходить

далеко и безуспешно *. Положительно известно, что места, на которых раскинулся город, издавна служили местом торжищ, сходок, базаров для двинских купцов. Три деревни: Курцево, Качковка и Падрокурья (именами этими называются и теперь части города Холмогор) — служили именно этими местами для торжищ и не имели правительственного значения: воеводы жили на Матигорах и Ухт-острове. Имени Холмогор еще не встречается, и, вероятно, его не было, по крайней мере в XI веке. В этом веке поселились в трех деревнях заволоцкие купцы, прибывшие сюда из великого и торгового Новгорода. Удобство места при широкой и глубокой реке, прошедшей здесь многими рукавами, могло соблазнить купцов с первого взгляда, и незачем было, по-видимому, искать из-за хорошего лучшего. Тут же так близка была река Пинега со своим устьем — Пинега, прошедшая через места, богатые лесной птицей и пушным зверем. Мезень посылала сюда свое сало, добытое из морского зверя; Печора — меха и кость. На все это заявлял сильное требование Новгород, все это шло из Новгорода в руки Ганзы, в заморские страны. Шла туда же унская и нёнокская морская соль, скупаемая на Двине вологжанами и устюжанами **.

Росла двинская торговля (преимущественно солью) ***, разрастались вместе с ней и торговые деревни. К ним пристроились даже три новых селения: слобода Глинки и приходы Никольский и Ивановский. Ширясь строениями, все шесть слобод пришли наконец в ближайшее соседство, удержали до некоторого времени самостоятельность с именами посадов, но потом получили одно имя *Холмогор*. К этому имени присоединилось название города, и летописи начали уже чаще вспоминать об новом городе и приводить в сказаниях его настоящее имя. Много было толков о происхождении этого названия; производили его от финского слова «*kolm*» — три (деревни), но Крестинин понимал это проще. Он говорит: «Город лежит на острову. К западу от реки Онгоры, в расстоянии около двух верст, находится высокая гора и на ней старинная и главная деревня Матигоры. К югу за Курополкой, в расстоянии около пяти верст, по западному рукаву Двины, стоит на высокой горе деревня Быстрокурья, против лугового Паль-острова; высокая Ровдина (Родионова) гора и того же имени деревня, обтекаемая восточным рукавом Двины, составляет также соседственное место к Холмогорам. Самый восточный берег Двины, где против Ровдиной горы находится знатная деревня Вавчуга, представляет ненизкую гору. Толь

* По свидетельству Крестинина [34] — автора «Начертания истории города Холмогор» (СПб., 1790 г.), издание Озерецковского,— «в 1738 г., ноября 26, в большом архангелогородском пожаре городская ратуша сгорела с письменными древних лет холмогорскими делами».

** По грамоте 1550 года, одни холмогорцы имели право скупать соль на месте.

*** Крестинин говорит: «Не только холмогорцы, но и все заволоцкие монастыри соляным торгом обогащались и для того на Холмогорах содержали монастырские дома, кладовые, амбары и прикащиков-монахов». Вольная соляная торговля продолжалась до начала XVIII века.

прекрасные виды естества, без сомнения, подали причину назвать описуемое здесь селение *Холмогорами,* речением, сложным из *гор и холмов*».

В первый раз новгородская первая летопись упомянула о городе под 6909 (1401) годом в следующих словах: «Того же лета, на миру, на крестном целовании, князя великого Василия повелением, Анфал Микитин да Герасим Рострига с князя великого ратью наехал войною за Волок и взял всю двинскую землю на щит, без вести, в самый Петров день, христиан посекли и повешали, а животы их и товар поимал; а Ондрея Ивановича и посадников двиньских Есипа Филиповича и Наума Ивановича изымаша. И Степан Иванович, брат его Михайло и Микита Головня, скопив около себе важан и сугнав Анфала и Герасима, и бишася с ними на *Колмогорах*, и отъяша у них бояр новгородских Андрея, Есипа, Наума».

Между тем город, усиливаясь многолюдством, обстраивался домами и церквами, но не богател капиталами даже и в то время, когда поморы начали свозить сюда морские промыслы, состоящие в рыбах, треске и палтасине, и в кожах морского зверя. Поморы выменивали это на хлеб, привозимый из плодородных стран, с реки Ваги и дальней Вятки. Но Холмогоры не богатели. «Сие происходило,— справедливо думает Крестинин,— оттого, что главные капиталы торгующих купцов из Новгорода проистекали и туда же возвращались; частью же потому, что монахи большими соляными торгами монастырям знатную прибыль от сего товара разделяли неощутительным образом с холмогорскими купцами и своим перевесом приводили их в ослабление нечувствительно. Монахи от избытков мирского богатства украшали свои монастыри каменными зданиями и великолепием, а холмогорцы не могли воздвигнуть ни единыя каменныя церкви прежде 18 века».

К тому же вскоре быстро и сильно развилась торговля при порте Святого Николая, где образовался у монастыря Архангельского целый город, открытый в 1585 году воеводами Нащокиным и Волховым. Стали туда приходить иностранные корабли. Холмогоры потеряли с той поры всю свою материальную силу и нравственное значение и вели свою историю в бедных, незнаменательных и скудных чертах. Вот все исторические предания Холмогор в хронологическом порядке и повременной постепенности.

В 1587 году прибыл сюда первый двинский воевода, князь В. А. Звенигородский. Им расчислены и вновь положены *сохи,* с которых казна должна была собирать свои доходы. До того времени правили двинской землей наместники и тиуны, но как те, так и другие вели долгую систему несправедливостей, обид и притеснений всякого рода, так что при управлении последнего из наместников, Семена Микулинского-Апулкова, обнаружилось, по свидетельству двинского летописца, «что наместник *оброк* сбирал на себя, а дань государю. *Оброк* этот (та же взятка) превосходил государственную подать. По писцовой книге 1623 года вид-

но, что всего денежного сбора было «тридцать девять рублев; двадцать пять алтын, полторы деньги». На Рождество Христово волостные старосты с предписанного числа сох приносили наместнику полоть мяса, десять хлебов, коробью овса, воз сена. На велик день (святой Пасхи) — полоть мяса, десять хлебов. На Петров день — одного барана и десять хлебов. Тиун получал против наместника половиной меньше. Как те, так и другие имели право брать вместо припасов деньги. Наместников, в порядке правительственных распоряжений, заменяли земские головы и двинские судьи, товарищи земских голов, избираемые из двинян голосами народа». Они — говорит двинский летописец — судили на Холмогорах в верхней и в нижней половине до воеводского приезду. При нем начали на Холмогорах селиться англичане, строить собственные дома, каких не видывал город: строили амбары и учредили свою торговую контору. Тогда же Холмогоры из посада переименованы были в город, имевший уже три (деревянных) церкви: Спасопреображенскую, Крестовоздвиженскую и святого апостола Иакова — брата господня.

При воеводах исторические события записаны двинским летописцем в таком порядке.

В 7116 (1608) году, при воеводе И. В. Милюкове-Гусе, двинский *народ* судил и осудил на смертную казнь, как врага отечества, дьяка Илью Иванова сына Елчанина. Дьяк этот при участии самого воеводы был неумолим и крайне неумеренным в своем лихоимстве. Особенно обнаружилось это лихоимство в то время, когда он решился всеми мерами препятствовать двинянам отправлять на морскую службу *даточных* (вольнонаемных ратников), которые должны были противостоять полякам и русским изменникам. Воевода, во время народного суда, лишен был на три дни власти и содержался под крепкой стражей. Дьяк же лихоимец, 10-го генваря, после трехдневного заключения в тюрьму, был осужден и опущен, с камнем на шее, в реку Двину.

В 7121 (1613) построен был деревянный острог за Глинками, в нижней половине, на самом берегу Двины. Острог тогда же населен был стрельцами и в конце года имел уже случай счастливо противостоять нападению поляков и русских изменников, пришедших сюда с Ваги (см. далее: «Сийский монастырь»). В 1621 году острог этот, во время весеннего ледохода, сломало, и потому вместо него выстроен был, между Курцевским и Глинским посадами, новый острог. Оба посада эти в 1636 году потерпели опустошение от большого пожара, причем сгорела Владимирская церковь...

В 7163 (1655) переведены из города двинские стрельцы, разделенные на два приказа, в Москву, а на места их присланы смоленские и дубровские гайдуки (460 человек). В следующем году, на иждивение и трудами двинских жителей, выстроен был на острожном месте деревянный город вместо палисадника с двойной рубленой стеной, пустота в которой заполнена была землей. В 1674 году в этом замке построена была *первая* каменная па-

лата для воеводского заседания с дьяком во время суда и расправы.

В лето 7187 (1678), по указу государя царя Феодора Алексеевича и по благословению верховных пастырей, на Холмогорах, декабря 11-го дня, был пост всенародный от утра даже до вечера, соединенный с церковной молитвой по великопостному уставу; тот же пост был и на другой день, но только от утра до отпуска литургии. А постилися все люди, не исключая младенцев, «за озлобление и скорбь от нашествия турского султана». В мае следующего года привезены были сюда и виновники двухдневного поста — пленные татары и турки в количестве 240 человек. Через два года они были увезены обратно, кроме тех, которые успели уже в эти два года окреститься.

«В лето 7191 (1682), октября в 18-й день, прибыл на Холмогоры и принят с великой честью от всего народа первый архиерей новоучрежденныя епархии холмогорския и важеския, архиепископ Афанасий. Он расположил епископию свою на городище, которое от сего времени городком прозвано». Афанасий начал свое правление тем, что выстроил каменные и новые деревянные церкви и в том числе застроил соборную, кафедральную во имя Спаса-Преображенья, огромностью и великолепием — первую церковь по всей Двине. Она была окончена в 6 лет с лишком и освящена уже в 1691 году. В 1688 году, августа 14-го дня, архиерей освятил Успенскую церковь нового женского монастыря, в котором первой игуменьей поставлена мать Афанасия, «благословением своего сына», — добавляет летописец.

В 7197 (1688) произведен в мирской избе уравнительный оклад для платежа казенной подати с тяглых домов девятью присяжными. Обложены были некоторые в 2 алтынах и затем от $6^1/_2$ до 3 денег с *пирогом;* сверх того, нашлось 922 человека бездворников.

«В лето 7201 (1693), июля в 28-й день, около полудня великий государь Петр Алексеевич прибыл к Холмогорам по ровдогорскому протоку на судах, вышел на берег из дощаника перед стенами деревянного города, шествовал через сию крепость к соборной церкви в карете. Перед церковью встретил его величество холмогорский архиерей с духовенством. Государь, по совершению в церкви краткия молитвы, изволил обедать с боярами, по прошению архиерея, в доме его епископском. Царь обнощевал на судах, а на другой день после обеда у воеводы шествовал по Двине к городу Архангельскому. Как прибытие, так и отбытие его величества препровождаемо было на Холмогорах колокольным звоном и стрельбой из 13 городовых пушек (привезенных сюда еще в 1613 году из города Архангельского)».

«Холмогорское гражданство в почесть царю государю, сверх хлеба и соли, подвело двух великорослых быков. Почесть сия принята милостиво, и быки отправлены в Москву по царскому повелению».

«В лето 7202 (1694), в 17-й день июля, великий государь царь Петр Алексеевич миновал Холмогоры, шествуя к городу Ар-

хангельскому на судах по восточному рукаву Двины реки (из села Вавчуги от Бажениных). В 1702 году Петр Великий через Холмогоры с сыном своим, великим князем Алексеем Петровичем, плыл на мелких судах».

Таковы известия о пребывании Петра Великого в городе Холмогорах. Народное предание сохранило еще прозвание *заугольников,* которое будто бы дал великий государь холмогорцам, видя, что они на первый приезд его прятались по домам, а потом, постепенно привыкая к царским очам, начали выходить, но при приближении царя снова прятались за углы, в калитки и оттуда уже глядели на Петра.

— Боялись они того, чтобы царь не взыскал с них, не потребовал к ответу, потому что все ведь наши предки были беглые новгородцы!

Так мне объяснял это событие старик-холмогорец, подтвердивший это предание, но крепко обидевшийся, однако, когда я его в шутку назвал заугольником.

В 1698 году, на 10-е число октября, весь Глинский посад города Холмогор опустошился большим пожаром, начавшимся от двора Соловецкого монастыря. «Сей пожар (прибавляет Крестинин в своем «Начертании» истории города) достоин памяти не столько по великой гибели имения жителей Глинского посада, сколько потому, что сие несчастное приключение было поводом к уменьшению граждан и к упадку всего Холмогорского посада. До сего времени холмогорские купцы и ремесленники, во время ярмарки, проживали в соседственном городе Архангельском летнее время, а осенью возвращались в домы с желаемыми прибытками от торговли; но после сего пожара многие из холмогорских граждан не захотели на месте погорелых своих домов строить новые домы и начали поселяться в городе Архангельском...»

Промежуток времени между началом и половиной прошлого, XVIII столетия для Холмогор не замечателен ни одним из особенно важных событий. Но в 1744 году случилось событие загадочное для туземцев, печальное по своим последствиям и в самой сущности.

Вот что рассказывают об нем.

В 1744 году, 26-го октября, вечером, когда архиерей Варсонофий в своей крестовой церкви служил вечерню, является в алтаре дворцовый офицер с приказанием, чтобы епископ немедленно очистил свой дом и выехал бы в другой. Варсонофий противился, указывал на краткость срока, на невозможность найти удобное помещение в бедном городке; но пристав, именем царским, приказал архиерею молчать и немедленно же приступить к исполнению его требования. Варсонофий перешел жить в деревянный дом за озером, построенный им для лета. Старый, огромный дом архиерейский строен был архиепископом Афанасием (на 6500 рублей, шесть лет); служил с 1691 года, в течение всех пятидесяти лет, жилищем холмогорских архиереев. В 1744 году взят он был в казенное ведомство. Его огородили со всех сторон длинным и

высоким тыном с заостренными наверху бревнами и плотно скрепленными между собой. Внутри обширного двора построена была вскоре казарма, подле ворот тогда же поставлена другая казарма.

Таинственность приготовлений и построек, совершенных в изумительно короткий срок, наводила ужас на всех холмогорцев, но ничего нельзя было выведать. На расспросы у приставников получались: грубые советы молчать, впредь не спрашивать, часто сильные угрозы и в редких случаях — одно гробовое, упорное молчание. День и ночь кругом зачурованного острога ходила стража, не подпускавшая к мрачному зданию, на ружейный выстрел, ни одного человека. Никогда не отпирались ворота, ведущие из острога к стороне Преображенского собора; по временам только скрипели они, когда приезжал в Холмогоры архангельский наместник, и опять замыкались эти ворота на неизвестный срок и время, когда через полсутки уезжал наместник назад. Строго запрещено было холмогорцам толковать между собой об этом здании на домах. Зорко следила стража за всяким. Только украдкой успевали передавать друг другу холмогорцы, что за высоким тыном заключен какой-то *секретный арестант*. Но и это слово брошено было на общее любопытство как-то случайно каким-то солдатом, и то под пьяную руку, в крайнюю минуту сердечной откровенности.

Усилившаяся в городе дороговизна на съестные припасы возбудила общее недовольство, которое сдерживалось всеми про себя. Не сдержал это один только холмогорец, который раз решился высказаться главному приставу, генералу.

Генерал велел смельчаку замолчать и пригрозил даже тем, «что может-де быть и хуже и он может сделать так, что завтра же ему совсем не дадут есть...».

Холмогорцы продолжали оставаться в неведении и только безнаказанно могли видеть одно,— что у старшего генерала и у всех его помощников, офицеров, мундир был с одним эполетом. Раз какому-то счастливцу удалось обмануть бдительность сторожей и сквозь щель в частоколе острога увидеть высокого, худощавого старика, с седыми волосами, в бархатном кафтане с светлыми пуговицами, подле него женщину, всю в черном, и четырех малюток. Старшие гуляли по роще, примыкавшей к дому, младшие катались в шлюпке по пруду, которым заканчивалось огороженное тыном место. Между тем мог он различать двух мальчиков маленьких и двух девочек-подростков. Гораздо позднее какой-то солдат, и тоже под пьяную руку, проболтался, что маленьких не учат грамоте и никакому рукоделью и что-де это так и велено. Раз, и тоже случайно, узнали холмогорцы, что двух барышень привозили в Матигоры на святках, на крестьянские посиделки. Одни полагали причиной такой льготы большой подкуп, другие положительно не верили, и все до единого, в течение целых *тридцати семи* лет, не знали, кто были заключенные, за что они привезены сюда и подвергнуты такому строгому аресту?

В 1781 году вдруг неожиданно отворены были ворота, сломан острог, уже заметно одряхлевший от времени, и в старом,

опустелом архиерейском доме велено было поместить вновь учрежденную мореходную школу.

Тогда только холмогорцы узнали, что здесь была заключена бывшая правительница государства, принцесса Анна Леопольдовна, с супругом своим принцем Антоном-Ульрихом и детьми [35], но все-таки боялись еще рассказывать и толковать между собой вслух.

Несчастные пленники привезены были сюда, как известно, из Раненбурга. Вместе с Анной Леопольдовной, кроме мужа, привезены были две малолетних дочери, принцессы. Здесь у заключенных родились еще двое: в 1745 году принц Петр и в 1746 принц Алексей. Здесь же в 1746 году, от родов и тоски, умерла принцесса Анна, и здесь же, наконец, скончался в 1776 году и принц Антон-Ульрих.

Рассказывают, что, когда мореходная школа переведена была в Архангельск и место это назначено было в 1798 году для Успенского женского монастыря, находившегося до того времени в трех верстах от города, и когда рыли фундамент для соборного храма, землекопы нашли гроб, в котором лежали чьи-то кости, заключенные в бархатный кафтан. Некоторые приняли это за кости Антона-Ульриха, другие предполагали в них кости его камердинера или кого-либо из ближних приставников, потому что и эти не выпускались за стены таинственного здания и, вероятно, погребались также внутри их.

В 1781 году, по повелению императрицы Екатерины II, брауншвейгское семейство — сироты Анны Леопольдовны — были освобождены. Тайно, ночью, их перевезли на приготовленную на Двине яхту. Яхта привезла их к Новодвинской крепости (по другим, к Архангельску, в дом Крылова — единственный существовавший тогда каменный дом). В новом месте заточения принцессы содержались также под строгим секретом и крепким караулом, пока готовился фрегат «Полярная звезда». На этот фрегат их и посадили, также ночью, 30 июня 1781 года. Свидетели этого события рассказывали, что одна из принцесс, словно помешанная, дико блуждала кругом глазами, а другая вырвалась из рук, билась грудью о землю и не хотела идти на фрегат. Когда все усилия ее оказались тщетными, она схватила в руки горсть земли и, горько и безутешно рыдая, безропотно уже подчинилась судьбе. Фрегат «Полярная звезда» отвез принцесс в Данию, в Берген, где, как говорят, старшая умерла от тоски; другая, младшая, пережила всех своих родных и умерла в глубокой старости в конце 40-х годов.

— За что же, вы думаете, сосланы они были сюда? — спрашивал я рассказывавшего мне об этом событии холмогорца.

— А они против царицы Анны Ивановны пошли. Раз государыня-то пригласила его, Антона, войска осматривать. Антон и задумал умертвить государыню и для этого приготовил убийц, расставил их подле моста, через который им надо было проезжать к войскам. Мост был на тот случай надломлен. Один из заговор-

щиков известил обо всем этом государыню. Та повелела расставить стражу по лесу, саженях в пятидесяти от моста, и «как-де белым махну, тогда вы и хватайте заговорщиков». Так и сделано. Заговорщики все переиманы. Они же тут и на предводителя своего указали. Когда их прислали к нам, на Холмогоры,— жили они у нас бедно: все свои дорогие вещи, все свои бриллианты на свои нужды продали; Антон послал два письма в Питер. Одноде, слышь, не дошло, а в другом он писал такое, что пущай-де я за свои грехи мучаюсь, по делам; за что дети-то, мол, мои, неповинные младенцы, богу негрешные, страдают? повели их помиловать. Царица Елизавета взяла старшего сына (Иоанна Антоновича?!) и указала ему быть при дворе, жить во дворце, как словно бы царевичу. Он и жил, да раз зашалил что-то, ему Разумовский князь и пригрозил пальцем. Вспыхнул. Стал сердиться да и вымолвил, что я-де царем буду, а ты-де мне грозить не смеешь. Тот молвил государыне, что вот-де змею подле себя отогреваете. Его и сослали в Шлюшин город, а там и убили...

— У нас тут (говорили мне другие) старушка жила, Анна Ивановна (умерла в прошлом, 1855 году); она была жена одного из приставников. У ней было много вещей этих принцев (после смерти за бесценок распродавали ее наследники). Скатерти были, салфетки, ножи, вилки, ложки с вензелями, булавка была с орлами (в собор завещала на образ), оловянные тарелки были с орлами же по краям.

— А вот тебе на память две пуговицы, с его, слышь, кафтана спороты! — говорил мне в заключение мой рассказчик-старик.

Пуговицы эти, сохранившиеся в моих руках, не представляют ничего особенного: они медные, с чеканенными резными кружочками; на некоторых из этих фигур сохранились как будто краски зеленая и синяя. Чекан очень красив, и фигуры затейливы...

Фрегат «Полярная звезда», отвозивший холмогорских пленников, возвратился в Архангельск. Все участники в этой экспедиции, разделявшие плен брауншвейгского семейства, были щедро награждены царскими милостями. Матросы получили за городом земли для обработки под хлеб, были освобождены от податей и составили, таким образом, небольшое, но особое сословие *вольных мореходцев*. Потомки их в небольшом уже числе населяют и теперь так называемую *Секретную* (а иногда и *Морскую*) слободку, расположенную в полуверсте за городом и в версте от Девичьего монастыря. Но слобода эта приходит год от году в запустение и разрушение, а Девичий монастырь, стоящий на месте заточения, усиливается числом инокинь и средствами к дальнейшему безбедному существованию. В нем каменная церковь во имя Успения, каменные кельи для игуменьи и монахинь; ограда вокруг монастыря тоже каменная. Церкви Зачатия св. Анны, вошедшей в ограду, удалившую от света семейство Анны Леопольдовны, теперь уже не существует.

Бантыш-Каменский [36], во II томе своего «Словаря достопа-

мятных людей русской земли», в биографии Иосифа Ильицкого, архимандрита полтавского монастыря, сообщает следующее: он отправлен был императрицей Екатериной II, в 1794 году, в Ютландию к содержавшимся в городе Горсензе, под датским присмотром, несчастным детям правительницы Анны и Антона-Ульриха, герцога брауншвейг-люнебургского. Он застал в живых только принца Петра и принцессу Екатерину, родившуюся 15 июля 1741 года, принцесса Елизавета, умная, переписывавшаяся неоднократно с императрицей, скончалась в Горсензе до прибытия Иосифа (в 1782 году). «Принц Петр, по словам архимандрита Иосифа, был крепкого и здорового сложения, небольшого роста, имел важный вид, который соединял, однако ж, с чрезвычайной робостью и до такой степени простирал оную, что прятался каждый раз, когда узнавал о приезде к ним датского наследного принца; великого труда стоило уговаривать его являться к Фридриху *; принцесса Екатерина лишилась слуха в тот самый день, как брат ее Иоанн лишился престола; ее тогда уронили. Главное, единственное увеселение их состояло в картах, и Иосиф принужден был принимать участие в их невинной забаве. Серебряный рубль, с изображением младенца-императора,— рубль, которым чрезвычайно дорожила принцесса Екатерина, напоминал им о прошедшем величии. Они говорили только по-русски, почему не могли сами объясняться с принцем. Смотря на них, Фридрих и супруга его изъявляли сожаление; датский придворный штат находился в Горсензе безотлучно. Принц Петр скончался на руках Иосифа (1798 г.), как истинный христианин, с твердым упованием на всемогущего, на 52 году от рождения; принцесса Екатерина переселилась в вечность в 1807 году, по отъезде в Россию архимандрита Иосифа. Четыре гробницы отраслей Иоанна, заключающие бренные останки их, стоят на виду в горсензской лютеранской церкви. Сведения сии, сообщенные мне Иосифом, чрезвычайно любопытны для отечественной истории. Тайна прошедших лет не может быть тайной в наше время. Потеряв всю свою важность, сливается она с обыкновенными событиями и составляет, так сказать, звено оных. Архимандрит Иосиф ** подарил мне рисунок, изображающий первоначальное место заключения детей правительницы Анны в Холмогорах,— подарок драгоценный, как произведение руки принцессы Екатерины, не учившейся рисовать, но за всем тем искусно представившей свое уединенное убежище. Дом, занимаемый ими, был довольно обширен, о двух этажах; кроме высокой ограды, церкви, пруда и нескольких рассаженных в разных местах деревьев, ничто не увеселяло взора их!»

Подле самого монастыря, в нескольких саженях от него, стоит с отдельной церковью 12-ти апостолов старинное и величавое

* Датская королева, как известно, была их родственница, и по ее-то ходатайству Екатерина II освободила их из Холмогор.

** Умер 20 сентября 1824 г. Он, по словам того же Бантыш-Каменского, свободно объяснялся на латинском, французском и немецком языках.

своей древностью, напоминающее архитектуру московского Успенского собора здание (холодного) Преображенского собора, в настоящее время лишенное уже своей кафедры. Храм этот некогда почитался лучшим во всей губернии, но теперь он уже изменился во всей внутренности к худшему: позолота местами сошла, местами почернела; живопись значительно стушевалась. Собор обдает и поражает с первого взгляда особенной мрачностью, в смеси с величием, особенно если сосредоточить свой взгляд на стенах южной и северной стороны. Вдоль этих стен стоят гробницы, накрытые черными бархатными пеленами, под которыми погребены в склепах тела бывших важеских и холмогорских владык. Тут, над каждой гробницей, висели портреты усопших с их биографиями (за сыростью портреты эти сняты). Тут можно было видеть и умный лик первого архиепископа Афанасия — любимца Петра, ревностного противника раскола при самом его начале. Афанасий был без бороды, которую он имел право, по преданию, брить после того случая, когда на московском соборе наскочил на него Никита Пустосвят [37] и в ярости вырвал ему одну половину бороды, так что последняя уже не могла расти на прежнем месте, образовавши шрам. Тут же рядом с Афанасием погребен и преемник его кафедры — Рафаил, затем Варнава и Герман, Аарон, строгий по делам управления, взыскательный Варсонофий, тот Варсонофий, который велел одному священнику, взявшему с раскольника взятку — пуд трески, обрить полголовы и полбороды. Затем, здесь же, в Преображенском соборе, похоронены Иоасаф, который первым из архиереев переехал жить в Архангельск, и Аполлос.

Из других церквей холмогорских нет ни одной, замечательной древностью: теплая соборная во имя святых двунадесяти апостолов построена в 1761 году; тогда же выстроена и каменная глинская церковь о двух апартаментах. Другие церкви: Введения во храм, нижнепосадская Рождества Христова и кладбищенская западнокурская во имя Покрова пресвятыя богородицы.

Из других остатков древности памятны были жителям остатки крепостного вала со впадинами (вероятно, амбразурами); но теперь их замыли дожди и весенние разливы Курополки. Некогда вал этот одет был деревянным срубом, который после сгорел, говорят, от молнии. С трудом, но еще можно (по летам) наследить остатки рва, окружавшего крепость...

Г. Верещагин, автор «Очерков Архангельской губернии», находит, что дома Курцева и Глинок — самые старинные, потому что в один этаж. Но это слабое доказательство, и тем более, что под домами у них кладовые. Он же сам ниже удивляется огромному количеству чуланов, амбаров, кладовых, говоря: «Комнат всего две, много — три, остальное пространство огромного дома занято пустыми чуланами», *пустыми* оттого,— прибавлю я от себя,— что торговля Холмогор пала, а множество чуланов и кладовых надобились тогда, когда процветали в том краю заволоцкие торги. Правда, что до сих еще пор дома, по старому завету и обычаю, строятся странно и неудобно: «Крылец нет, и надобно

много умения, чтобы из входа, сделанного прямо в стене, добраться до лестницы и не попасть либо в чулан, либо в хлев». Хлевов и скотных дворов в Холмогорах оттого много, что, как известно, главным промыслом здешних жителей служит скотоводство, и именно разведение коров голландской породы. В другом месте г. Верещагин чрезвычайно справедливо замечает, «что холмогорцы сущие нелюдимы», и потом прибавляет: «Всякий дом всегда заперт, и надобно стучать большим железным кольцом, приделанным к воротам, чтоб войти в него. Незнакомого не тотчас впустят: сперва расспросят его через маленькое окно, кто он, откуда и зачем, и потом уже, если нужно, отворят ему дверь». Показание это бросается наблюдателю с первого взгляда, и справедливость его продолжает преследовать во все время пребывания в этом городе. Холмогорцы в этом отношении истые *заугольники*.

Голландская порода рогатого скота прислана была сюда еще Петром Первым, который в следующем же по присылке году (1693) получил в подарок от города двух великорослых быков. В 1819 году доставлено было сюда, по высочайшему повелению, из Англии, еще 16 коров и 6 быков. Они не привились к туземным породам: скот этот вскоре же исчез, как бы не выдержавши соперничества с голландским скотом, успевшим акклиматизироваться в особую породу, известную под общим именем *холмогорской*. Порода эта отличается крупным ростом и особенно славится своей молочностью: некоторые коровы дают от 2 до 3 ведер в сутки. Холмогорский скот обыкновенно отправляется в продажу (в Петербург до 500 голов) живым; много мяса отправляется в Англию; большая часть съедается корабельщиками в архангельском порте, так что в самых Холмогорах мясо и дорого сравнительно, и иногда его труднее достать, чем, например, дичь или рыбу. Разведению скота в Холмогорах много способствуют сочные луга, окаймляющие Холмогоры и соседние деревни. Особенно скот резко бросается в глаза, сопоставленный с другими поморскими породами. Приземистый, дряблый скот стран поморских, воспитанный на приморской траве и соломе, подчас облитой особым пойлом из сельдяных головок, в сравнении с массивным холмогорским, не больше как телята. Говорят, однако, что остальной поморский скот выгодней и благодарней холмогорского (особенно скот мезенский) для откармливания. Уверяют также, что порода холмогорского скота с десятками лет заметно измельчала, но что, наконец, и в настоящее время отхаживаются в иной год такие крупные животные, которые дивят даже привычных знатоков.

Вторая причина известности во всей России, доставшейся на долю Холмогор, имеет своим основанием промысел костяными поделками, которые вытачиваются по всем соседним с городом селам и деревням. Преимущественно же развит этот промысел на Матигорах (по всей волости), в Ухт-островской волости, но в самых Холмогорах он уже оставлен, да и держался, как говорят, недолго. Основателем этого промысла, по преданию, почитается

зять Ломоносова, Головин[38], научившийся этому мастерству в Петербурге. Вернувшись на родину, он завещал это мастерство своим землякам, из которых Лопаткин остался в предании, как лучший знаток своего дела. Он имел случай поднести свои изделия в 1818 году императору Александру I. В настоящее время промысел костяными изделиями значительно распространился. Некоторые костяники переселились даже в Архангельск. Требования на костяные поделки идут часто с заграничных кораблей, куда изготовляются по большей части из говяжьих костей шкатулки с арабесками на крышке и по стенкам, подобранными разноцветной фольгой. Много поделок из тех же костей в виде ножей, чайных ложек, вилок идут по крайне дешевым ценам внутрь России. Предметы настольной, кабинетной роскоши: ножи для разрезания печатных листов, шахматы, фермуары, иконы, вырезаемые по киевским и московским святцам, делаются большей частью по заказам и по значительно дорогой цене. Цена эта заметно спадает на предметы уже готовые (по большей части наперстки, игольники, игрушки, изображающие всегда одну и ту же пару оленей, запряженных в самоедские санки). Все эти вещи (большие доходят до 25 рублей серебром) на заказ стоят в высокой цене; но принесенные на дом, особенно перед большими праздниками и перед ярмарками (когда костяникам преимущественно надобятся деньги), отдаются ими почти за бесценок. Причиной того, надо полагать, во-первых, трудность сбыта в коммерческие руки, и отчасти топорную аляповатость самой работы. Некому доставить костяникам хорошие, правильно начерченные рисунки (работают они большей частью на память, на мах, или по рисункам, ими же безобразно начерченным); некому показать костяные безделки поразительно изящной заграничной нюренбергской работы, в сравнении с которыми наши холмогорские не выдерживают никакой критики. Между тем некоторые мастера, по лучшим заграничным рисункам, умеют делать безукоризненные вещи (таков, например, был Бобрецов на Матигорах), и между тем ни один из них не грамотный, не умеющий рисовать, и все до единого прибегают еще к секретам (по одному, например, приготовляют цепочки из бесконечно мелких колечек, продетых одно в другое). Кость в сыром, невыделанном виде холмогорские костяники покупают обыкновенно на двух пинежских ярмарках (Никольской и Благовещенской), куда моржовые клыки и мамонтовые рога привозят с дальней Печоры ижемские зыряне и самоеды Большеземельской и Канинской тундр.

Три раза в год отправляются большие гурты рогатого скота в Петербург; костяная работа занимает не одну сотню рук; в городе есть два кожевенных завода; на улицах то и дело слышишь звон почтового колокольчика; мимо Холмогор прошли два больших главных русских тракта, а между тем город так беден. Дома расшатались и погнили, узкие и кривые улицы, вытянутые какими-то углами на пространстве двух-трех верст, глядят печально и неприветливо; внутренность церквей потускнела от запустения

как будто и от крайней скудости; мосты во многих местах рухнули; с некоторых домов сорвало крыши, сорвало, наконец, и стропильный остов. Окрестные деревни обстроены втрое лучше; соседние сельские церкви не только не уступают, но даже в нередких случаях и превосходят убранство церквей.

— Отчего это? — спрашивал я у холмогорцев.

— Оттого,— отвечали мне,— что наши купцы все в Архангельск выехали, и сколько их нет там из русских богатых — все были наши холмогоры. Двое из здешних ладят и в будущем году отписаться туда же. Лови их! А в деревнях соседних богачи попадаются оттого, что либо дочка нашего богателя туда отцовские деньги увела, либо холмогор наш богатый с хорошей женой своей приютился. Бывает и эдак! Жить-то ведь, по здешнему понятию, все едино — в деревне ли, в городе...

— А отчего у вас так много кабаков? Такого поразительно большого количества я встречал мало, не только в вашей губернии, но даже и в очень многих других. Кабаки эти чуть ли не на каждом перекрестке.

— Думаешь, пьем много?

— Непременно.

— Нету, ей-богу, нету! Нам пить не на што. А кабаков этих много оттого, что у нас каждую неделю торги живут: вся окольность съезжается.

Базар этот я видел. Он такой же людный, такой же шумливый и разнообразный, как и везде в тех местах, в которых живет промысловый и толковый народ. Холмогорские торговцы, подперши шестом крышки своих лавок, разложили красные товары: всякую мелочь вроде платков, тесемок и лент; в них сильно нуждаются соседние девки и бабы. Сюда же навезено было много железа из матигорских деревень, которые все почти и по преимуществу заняты кузнечным мастерством. Охотно разбиралась деревенскими и поморская рыба; между сортами ее особенно резко давала знать о себе любимая треска, отшибающая, по обыкновению, крепким аммиакальным запахом. Много видно было посуды деревянной и железной, много веревочной и кожаной сбруи и очень много сортов кожи всякого рода, которая преимущественно разбирается по мелочам вроде подошв, голенищ, кнутов и проч.

Костяники в этот день ходили по домам в числе четырехпяти человек. Между изделиями их попадались по большей части распятия и разного вида образа, выточенные из моржовой кости, менее белой и плотной, и из мамонтовой, отличающейся от всех прочих поразительной белизной и млечностью цвета.

В полдень этого дня (четверга) по домам слышались многие и долгие разговоры о соседних новостях. Деревенские родные навестили холмогорских хозяев и угощаются сдобными тетерками на хорошем масле — булками, как архангельские шанежки (род оладий), как приволжские жаворонки, составляющими здесь местную характеристическую особенность. К вечеру на улице раздавались долгие и громкие песни, слышался гульливый крик и

шум. Ночью, по временам, разносились усиленные крики, затевалась как будто драка, может быть, с пролитием крови, с синяками по лицу и под микитками... Холмогорский базар разнообразили только пестрые самоедки с саночками, где в меховых тряпицах завернуты были их безобразные ребятишки. Кучи других ребят в рваных малицах сопровождали матерей, вышедших сюда на едому.

— Весело же вы завершили вчерашний базар! — заметил я своему хозяину.

— А чем, батюшка, весело?

— Да у кабаков и шуму много было, и без драк не обошлось дело. Это хоть бы и в Рыбинске...

— Ведь это не наши, ей-богу, не наши: это ведь, чай, самоедь, а то, может, и кузнецы с Матигор. Те ведь у нас люты на выпивку-то, злы...

— Видел, что и вы по домам угощались сытно, много и весело.

— А не будь гостю запаслив, будь ему рад — по пословице. Чайком мы вечор побаловались, а вина мало же пили...

— Съестного, харчей много было наставлено.

— Да ведь у нас родится хлеб-от, и хорошо родится, лучше архангельского. Мимо нас и пшено не обходит: и им запасаемся. Нам ведь этот базарный четверг — что праздничный день, что воскресенье. А ведь, по нашей по холмогорской пословице, «деревенская родня — что зубная болесть»,— ее унять надо, уважить ее надо. У архангельских вон и рубль плачет, а у нас и копейка скачет, с того самого времени, как и город-от наш задвённой стал здесь...

— А скучно у вас, тоскливо, беден ваш город!

— У нас и на это пословица слажена: «прожили век за холщовой мех». Что станешь делать? Коли не мил телом — не приробишься делом...

— А хорошо вы вчера торговали?

— Да ведь у нас, как и у всех: запросишь по-московски, так с большим барышом будешь; потому наши деревенские в ситцах толку не знают. На чае так вон ты их не надуешь. Спитого-то да высушенного не подложишь им, сейчас вызнают: «Вон-де твой-от чай плесень выдернула — такова не надо, а давай-де настоящего московского».

— Стало быть, вы нечестно торговлю ведете, оттого и не богатеете.

— Да ведь нам с тобой света божьего не перестроить. Очень трудно! А лучше так: чьей речкой плыть — той и славой слыть... Как коровушка не дуйся — не быть бычком.

— Поеду-ко я от вас на Вавчугу. Там, сказывают, лучше торговое-то дело стоит, честнее ведется.

— Поезжай с богом, посмотри. Старик там больно добрый живет — угостит.

Мимо окон нашей избы пронеслись сани с двумя молодцами,

перевязанными через плечо полотенцами; на расписной дуге три колокольчика, на молодцах новые синие суконные сибирки.

— Свадьба! — заметил хозяин.

— А часто они у вас налаживаются?

— Да дома больше народ живет, на сторону мало ходят: часто свадьбы бывают.

— Как же у вас этот обычай ведется?

— А опять-таки по пословице: «выбирай корову по рогам — девку по родам». Берут больше ровню, потому всякий знает, что наказанным умом да приданным животом немного наживешь. А женятся: богатому как хочется, а бедному как можется. Чай, ведь так и везде. А деньги да живот — так и баба живет. Затем живут как смогут, потому опять, что всяк ведь дом потолком крыт...

— Нет ли у вас при этом каких обыкновений?

— А об этом надо тебе у женщин спрашивать. Это уж ихное дело.

Бабы не сообщают ничего особенного против того, как ведется свадебное дело и в Поморье, и на Мезени, и на дальней Печоре, по старому, исконному, новгородскому обычаю.

— Нет ли других каких-либо обыкновений, примет? — спрашивал я у женщин.

— Да насчет коровушек...

— Сказывайте, сделайте милость!

— А вот, если поднимется лед на реке в скоромный день — коровы в этот год много молока давать станут; вскроется река в постный день — много будет рыбы, а молока мало. Так это навсегда! Когда новую коровушку купим да в хлев приведем, завсегда приговор такой держим: «Хозяинушко! вот тебе скотинка — люби ее да жалуй, пой-корми, рукавичкой гладь, на меня не надейся!» * Вот даве про свадьбы-то спрашивал — слушай: коли попадет навстречу поезду воз с дровами — молодым счастья не будет. У кого в церкви сгорит больше свечи, тот и помрет скорее;

---

* Мне раз привелось слышать разговор двух хозяек. Вот он почти слово в слово:

— У моей-то коровушки *межеумолок. Запуск*-от я ей делала две недели назад, стало, *новотёл*-то погодить надо: пущай *молочничек*-то пососет подольше. У ней небольшой межеумолок — хорошая коровушка. Запуск-от всего две недели бывает до *телева.* Придет *новотёл:* кашки сварю, сенца ей на блюдце положу, овсеца дам, хлебца: стану *молить* коровушку.

О смысле слов этих догадаться нетрудно.

В другой раз, проходя по задворью и видя доившую бабу и ее соседку, пришедшую к ней покалякать, я слышал привет последней:

— Море тебе под буренушку!

Вот, кстати, несколько слов из словаря холмогорских коровниц: недойка — молодая телка, вступающая в права и значение коровы; одрань — старая, изнуренная, негодная скотина; нетель — ялова; черна — скотская чума; переходница — та телка, которая четыре года не телилась; отъемыш — отнятый от матки теленок; его пускают на отпой и впоследствии замечают, что мясо яловой коровы лучше, чем коровы стельной, и проч., и проч.

опять же кто всей ногой на коврик встанет — одолят чирьи. Останутся после венца молодые вдвоем; и кто первый говорить начнет, тот и на всю жизнь большаком останется. Беременная баба не ругайся: дитя будет и злое, и совсем нехорошее. Коли хочешь, чтобы дети велись, не умирали, в кумовья зови первого встречного... Ну, а дальше-то там, чай, как и везде...

— А что, например?

— На мизинце пятнышко беленькое завелось — счастье, на среднем — радость, на безымянном — несчастье, на указательном — печаль, на большом — обновка.

— Ну, а дальше?

— Иголкой и булавкой или острым чем не дарись: поссоришься. Нож купи хоть за копейку. В середине нос чешется — о покойнике слышать, кончик чешется — водку пить.

— А разве вы пьете?

— Бывает,— добавил за рассказчицу хозяин,— бывает, да только не при людях, а в уголке где. Таков уж обычай. А вот тебе и моя примета: чешется лоб у меня — с кем-нибудь поздороваюсь; затылок зачешется, так либо прибьют, либо облают крепко. Это верно! А вот тебе и еще случай со мною: слушай-ко!

Потерял я лошадь, искал всяко — не нашел. Да сдумал, продам-ко я ее в шутку — найдется. Бывало, слыхивал, эдак-то с другими не один раз, а десяток. И молвил сыну: «Купи, мол, Климко, серка!» — «А что, слышь, возьмешь?» — «Да с тебя, мол, не дорого: всего пятак». И деньги ему велел найти, и взял их. На утро слышу, сказывают соседи: «Конь-де твой, Селифонтьич, ходит за оленником в Онгоре» (место у нас есть такое). Так вот ты об этом об деле как тут хошь, так и думай!

— А вот я хочу, хозяин, на родину Ломоносова проехать. Слыхал ли ты про него?

— Как не слыхать, знаем. Да ведь давно уж это, очень давно было. Непамятно! Ты вот на Вавчугу-то поедешь — мимо будет, остановись, спроведай!

Последние слова эти, не имеющие смысла, пришли мне на память и не выходили из головы во все время, пока мы осиливали переездом узкую, вытянутую в целую версту и кривую улицу города Холмогор. Звучали они, как бы сейчас вымолвленные, и тогда, как мы спустились с крутого берега в ухабы рукава Двины — реки Курополки и раскинулись позади нас в картинном беспорядке по крутым горам и по предгорьям старинные Холмогоры. Переехали мы и Курополку и втянулись в ивняк противоположного городу отлогого берега реки этой.

— Вот и Кур-остров! — послышалось замечание ямщика.

Замечание было излишне: я и без него уже давно знал, что это Кур-остров, что на острову, образованном тремя рукавами Двина (Курополкой, Ровдогоркой и Ухт-островкой), лежат две казенные волости: Кур-островская и Ровдогорская.

— Вот и Кур-островская волость, смотри!

Вижу впереди множество деревушек, рассыпанных в беспо-

рядке и не в дальнем расстоянии одна от другой; вижу между ними церкви, но это уже другое село — Ровдогоры. Слышу снова запрос ямщика:

— В которую же тебя деревушку везть велишь?

— Да в Денисовку, в Денисовку, и ни в какую другую...

— Не знаю такой, да и нету такой — ведь и даве так докладывал.

— Да быть, братец ты мой, этого не может.

— А оттого и может, что мы здесь родились и не токма тебе деревни эти, и хозяев-то почитай в кажиной избе знаем в лицо и по имени. А деревни, какую сказываешь, не слыхали...

— Может быть, иначе зовется...

— Поспрошаем; может, и правда твоя. Эй, ты! святой человек! какая такая есть у вас тут деревня Денисовка?

— А может — Болото; вон оно! — слышится ответ от прохожего, и снова разговоры ямщика:

— Болото, так Болото; в Болото мы тебя и повезем, так бы ты и сам сказывал. А то тут где их разберешь? Вон, гляди, три двора, алибо и два только: гляди, и деревня это, и деревне этой свое звание. А сколько этих деревень-то тут насыпано? Несосветимая сила! всех не вызнаешь...

Вот и Болото — деревушка в пять дворов.

— Да это ли, старичок, Денисовка-то?

— А была допрежь, была Денисовка, звали так-то, звали. Ноне, вишь, Болото стало.

— А в которой избе, на котором месте Ломоносов родился?

— Не знаю, родименькой, и не спрашивай: не знаю, про какого ты про такого Ломоносова спрашиваешь. Не чуть у нас эких, не чуть. Может, тебе костяника надо, так вон на Матигорах Бобрецов живет, Калашников...

— Нет, этот ученый был и давно умер, в Питере жил...

— Не слыхал. Убей ты меня — не слыхал!

— Звезды он все, дедушко, считал; на небе, как по книге читал, все разумел, самый умный был человек, самый ученый. Здесь родился, отсюда в Москву ушел.

— А ты спроси-ко на селе у дьячка: тот что-то, паря, сказывал экое-то. Вот я теперя припомнил, сказывал он что-то, да я не помню вплотную-то. У нас ты тут в деревне ни у кого не узнаешь. И разговору такого не было. Поезжайте-тко! Вон село-то!

Поехали, приехали и — слава богу! — добились кое-какого толку. Дом, в котором родился гений математики, давно, давно рухнул и снесен. На его месте выстроен был другой, но и тот также рухнул и также, в свою очередь, был снесен. Теперь, может быть, и стоит какой-нибудь дом, а может быть, залег какой-нибудь пустырек, без следа, без памяти, и никому до этого нет дела. Нет, может быть, дела оттого, что далеко ездить сюда тем, для которых дорого и перо, которым писал Ньютон, и чернильница, из которой брал чернила Лейбниц, и полог кровати, за которым спал Вольтер, и проч., и проч. Один только дьячок да какой-то досужий сель-

ский старичок помнили об Ломоносове, интересовались его именем и делами. Вот что могли сообщить они мне оба, общими силами, и вот что можно было слышать об нашем гениальном ученом в 1856 году неподалеку от его родины, в каких-нибудь двух верстах от того места, где родился Василью Дорофееву его гениальный сын Михайло.

Василий Дорофеев был раскольник и, может быть по обычаю своих единоверцев, считающих первой обязанностью иметь сына, разумеющего церковную печать, отдал Михайла в науку. Учил его дьячок, живший на селе, в $2^1/_2$ верстах от деревни. По свидетельству Степана Кочнева, доставившего академику Озерецковскому краткую записку (9 июля 1788 года) о жизни Ломоносова, учителем грамоты был той же волости крестьянин Иван Шубной (отец Федота Ивановича Шубина [39], известного впоследствии академика). «И обучился,— говорит далее Кочнев,— в короткое время совершенно, охоч был читать в церкви псалмы и каноны и, по здешнему обычаю, жития святых, напечатанные в прологах, и в том был проворен, а притом имел у себя природную глубокую память. Когда какое житие или слово прочитает, после пения рассказывал сидящим в трапезе старичкам сокращеннее, на словах обстоятельно». Василий Дорофеев был мужик зажиточный, и в то время, когда еще велся обычай в Кур-островской волости обряжать дальние покруты за треской и морским зверем на Мурманский берег океана, он был одним из трех хозяев, рисковавших этим делом. Теперь промысел этот оставлен всеми подвинскими жителями, и оставлен давно воимя нового дела — хлебопашества, которым занимаются и жители Кур-острова. Нестарый годами, крепкий силами и духом, Василий Дорофеев выезжал и сам туда ежегодно, брал с собой и старшего, единственного сына, обязывая его приучаться к делу с азбуки промысла, с трудной и безотрадной должностью зуйка. Зуек артельный (обыкновенно мальчик-подросток) обязан оставаться на берегу: чистить посуду, носить воду, готовить кушанье, обивать сети, обирать рыбу и чистить ее, обязан, одним словом, почти целые сутки быть на ногах. Нередко случается так, что посланный за чем-нибудь зуек долго не возвращается; его ищут и находят где-нибудь на половине пути растянувшимся на земле: он крепко спит. Сон схватил его вдруг, подкосил ноги и положил плашмя на землю на том месте, где, что называется, час приспел и где уже нет никакой возможности разбудить его до той поры, пока он не проснется сам по себе и не придет в себя и в новые силы, истощенные нередко двух- и трехсуточным бодрствованием.

— Михайло Васильевич Дорофеев (рассказывали мне) на Мурмане собирал из мальчишек артели и ходил вместе с ними за морошкой; нагребет он этих ягод в обе руки да и опросит ребятишек: «Сколько-де ягод в каждой горсти?» Никто ему ответа не сможет, а он даст, и, из ягодки в ягодку, верным счетом. Все дивились тому и друг дружке рассказывали; он-то сам в этом и хитрости для себя никакой не полагал, да еще и на других на ребят

сердился, что-де они так не могут. Стал он проситься у отца в Москву в науку: знать, Мурман-от ему поперек стоял в горле. Не пустили. Он и сбежал, один сбежал, так и в ревизских сказках показан.

Далее Кочнев продолжает: «Как мать его умерла, то отец его женился на другой жене, которая была, может быть, причиной, побудившей оставить отца своего и искать себе счастья в других местах. Взял себе он пашпорт не явным образом, посредством управляющего тогда в Холмогорах земския дела Ивана Васильевича Милюкова, с которым, выпросив у соседа своего Фомы Шубного китаечное полукафтанье и заимообразно три рубля денег, не сказав своим домашним, ушел в путь и дошел до Антониевасийского монастыря, был в оном некоторое время, отправлял псаломническую должность, заложил тут мужику-емчанину взятое у Фомы Шубного полукафтанье, которого после выкупить не удалось, ушел потом в Москву...»

— На дороге он и фамилию себе новую придумал, назвался Ломоносовым,— продолжал мой руководитель.— Родных он своих не знал и не вспоминал о них. Когда отец его утонул на рыбных промыслах в устьях Двины и сам он был уже в Питере в большой чести и славе, выписал к себе сестру с мужем. Сестра отдана была на Матигоры за крестьянина. Сестру свою в Питере сажал с собой рядом, куда ни поедет, в санях ли, в карете ли, а зятя становил на запятки. Сестра его этим поскучала, да раз и выговорила: «Не прилика-де мне с тобой рядом сидеть, когда муж мой на запятках стоит». Послушался, стал и зятя сажать с собою рядом... Вот и все, что знаем.

— И только?

— Да зашибал, слышь, крепко: тем-де и помер. Чай, сам знаешь, сам слыхал. Ну, да опять же до янарала дослужился, янаралом был...

— Да ведь он не таким генералом был, как вы думаете. Он ведь звезды-то на груди не носил. Был он генерал, да только с другой стороны, и звезду носил, да не такую и не там, где обыкновенные, простые генералы носят...

— Ну, да твоей милости это лучше знать. А мы что знали, то тебе и сказывали. Не погневайся!

Академик Озерецковский, совершавший путешествие в северные страны с Лепехиным, товарищем по службе и занятиям с М. В. Ломоносовым, в то время, когда еще жив был последний, успел, кроме краткой записки о жизни ученого сотоварища, составленной Кочневым, найти первые стихи Ломоносова и указ императора Павла. По известию, сообщенному Озерецковскому стариком Гурьевым, земским Кур-островской волости, видно, что «за просрочку данного ему, Михаилу Васильеву, 1730 года пашпорта и не явившегося на срок, приказом тогдашнего ревизора Лермонтова показан он в бегах, того ради из подушного оклада и выключен. А платеж подушных денег за душу Михайла Ломоносова производился, по смерти отца его, со второй 741 до второй же 747 года

половины из мирской общей той Кур-островской волости от крестьян суммы».

Далее в описании путешествия Лепехина следуют стихи Ломоносова в Московской академии за учиненный им школьный проступок. Calculus dictus.

Услышали мухи
Медовые духи,
Прилетевши, сели,
В радости запели.
Когда стали ясти,
Попали в напасти.
Увязали бо ноги.
— Ах! — плачут убоги,—
Меду полизали.
А сами пропали.

Надпись учителя: «Pulchre «Стихи на туясок».

В заключение своих сведений о роде Ломоносова Озерецковский приводит копию с указа императора Павла I. Вот она.

«Указ нашему сенату.

В уважение памяти и полезных знаний знаменитого Санкт-Петербургской Академии наук профессора, статского советника Ломоносова, всемилостивейше повелеваем рожденного от *сестры* его *Головиной* сына, Архангельской губернии, Холмогорского уезда, Матигорской волости, крестьянина Петра, с детьми Василием, Иваном и с потомством их, исключа из подушного оклада, освободить от рекрутского набора. Августа 22, 1798. В Гатчине».

Земский Гурьев, в своем известии, между прочим, говорит следующее: «Побег Ломоносова означен в ревизионной сказке по прошествии срока данного ему в 1730 году пашпорта. А перепиской писца Афанасья Файвозина 1686 года книги нашей Куроостровской волости по тогдашнем Ломоносовом роде никакого знания отыскать не могут».

Не мог отыскать «никакого знания» о Ломоносове в деревне Болоте и позднейший (1847 года) посетитель места его родины г. Верещагин, автор «Очерков Архангельской губернии». Он говорит, что еще недавно существовал родной дом Ломоносова, но давно в нем никто не жил; время разрушило этот дом, и какой-то земляк Ломоносова намеревался выстроить себе на этом месте дом. Г. Верещагин прибавляет далее: «Род Ломоносова давно уже здесь прекратился, и никто из здешних жителей не носит этой фамилии, как потомок знаменитого предка. Есть, правда, в этой же деревне крестьянин Лопаткин, считающий себя в родстве с фамилией Ломоносова, но соседи Лопаткина, бог знает почему, лукаво посмеиваются, когда заговоришь с ними о степени этого родства.

— Вишь,—прибавляют они,— Лопаткин продал какие-то бумаги ломоносовские одному чиновнику (П. П. Свиньину [40]). так, может, потому и родня».

Лопаткин этот известен был как лучший из туземных костяников, основатель этого рода промысла в том краю. Он имел слу-

чай поднести свои изделия императору Александру I, посетившему Холмогоры в 1818 году.

12 сентября 1826 года начальник главного штаба генерал Дибич, по повелению императора Николая, из Москвы, потребовал от губернатора Миницкого сведения о крестьянине Иване Федорове Лопаткине: точно ли он внук известного сочинителя Ломоносова, каково его поведение, состояние и чем он занимается? Миницкий послал подробный генеалогический список и так аттестовал Лопаткина: «Поведения хорошего, к землепашеству и скотоводству рачителен, а более занимается из костей разного рода токарной работой и околочиванием вещей, каковому искусству приобучает желающих, и работников для сего содержит». В заключение Миницкий писал: «Если Лопаткин удостоился всемилостивейшего благоволения государя императора, то лично изъяснял мне, что он не желает освобождения от подушного оклада и рекрутской повинности и осмеливается просить себе другой награды. Посему я и имею честь, со своей стороны, ходатайствовать о награждении его, Лопаткина, серебряной медалью на аннинской ленте. Матери же его Матрене Лопаткиной, по известному скромному и честному ее поведению и как она была любимая племянница Ломоносова, а ныне находится при старости лет в бедности, то не возможно ли пожаловать ей единовременно тысячу рублей». Представление Миницкого было уважено: в январе 1827 «внуку известного сочинителя Ломоносова», в поощрение искусства резьбы его на кости, пожалована шейная медаль с надписью «За полезное», а матери его выдана тысяча рублей. Известно, что со смертью Михаила Васильевича род его прекратился в мужской линии, так как ни он, ни его брат сыновей не имели. Единственная его дочь, вышедшая замуж за библиотекаря при императрице Екатерине II, имела только двух дочерей, Екатерину и Софью, о судьбе которых сведений нет. Потомство же его по женской линии, от единственной его сестры Марии, продолжало развиваться на родине.

Скуден вид окрестностей деревни Денисовки: низменный остров, едва не понимаемый в полую воду разливом Двины; низенькие болотистые кочки, рассыпанные между деревнями, которых так много на Кур-острове; серые бревенчатые избы деревень этих; кое-где незначительной высоты холмы, затянутые мохом; болотины между этими холмами с просочившейся грязной водой; прибрежья, со всех сторон затянутые чахлым ивняком, из-за которого в одну сторону видны Холмогоры со своими старинными церквами, давними преданиями. Повсюду жизнь, закованная в размеренную, однообразную среду, в одни помыслы о тяжкой трудовой жизни на промыслах. Нет ничего в этой жизни резко поэтического, нет ничего, могущего питать душу и сердце.

Из-за того же ивняка, с противоположной стороны, на горе открывается новый вид: вид села Вавчуги. Там еще живут свежими преданиями о Петре Великом, там еще недавно был он, гостил не одни сутки у богатого, умного владельца Вавчуги Баженина [41], которого любил ласкать и жаловать великий император. Вот все,

что было перед глазами Ломоносова во время его безотрадного, бедного впечатлениями и воспитанием детства! Вот чем питался он в самую свежую, в самую впечатлительную пору своей честной жизни!..

Вот и сама Вавчуга на крутой горе, по трем уступам, или террасам которой Баженин выстроил свои владения. На нижней террасе, ближней к реке, существовали его корабельные доки, теперь лесопильный завод. Далее, на середней террасе, выстроен его двухэтажный дом, шитый тесом, большой и по образцу всех архангельских изб, но только в заметно больших размерах и большей чистоте. На самой верхней террасе, на вершине Вавчужской горы, красуется сельская церковь старинной постройки, с колокольни которой открываются чудные и разнообразные виды, как говорят, больше чем на семьдесят верст. На эту колокольню входил с Бажениным Петр Великий, три раза навещавший Вавчугу. На этой колокольне, по народному преданию, великий монарх звонил в колокола, тешил свою государеву милость. И с этой-то колокольни раз, указывая Баженину на дальные виды, на все огромное пространство, расстилающееся по соседству и теряющееся в бесконечной дали, Великий Петр говорил:

— Вот все, что, Осип Баженин, видишь ты (а глаз досягал чуть не до самого Архангельска) здесь: все эти деревни, все эти села, все земли и воды — все это твое. Все это я жалую тебе моей царской милостью!

— Много мне этого,— отвечал старик Баженин.— Много мне твоего, государь, подарку. Я этого не стою. Я уж и тем всем, что ты жаловал мне, много доволен.

И поклонился царю в ноги.

— Немного,— отвечал ему Петр,— немного за твою верную службу, за великий твой ум, за твою честную душу.

Опять поклонился Баженин царю в ноги и опять благодарил его за милость, примолвив:

— Подаришь мне все это — всех соседних мужичков обидишь. Я сам мужик, и не след мне быть господином себе подобных, таких же, как и я, мужичков. А я твоими щедрыми милостями, великий государь, и так до скончания века много взыскан и доволен.

Милости государя состояли в том, что Баженин получил сначала звание корабельного мастера, а потом вместе с братом (Федором) назван именитым человеком гостиной сотни, мог отправлять свои корабли за море с разными товарами, имел право держать пушки и порох, мог, без всякой пошлины, вывозить из-за моря все материалы, нужные для кораблестроения, нанимать шкиперов и рабочих всякого звания, не спрашивая согласия местных властей. Все это Баженин получил за то, что был одним из первых и лучших ценителей начинаний Петра и был первым основателем и строителем *первого* русского коммерческого флота. Все это совершилось таким образом.

Давно когда-то, еще в XVI столетии, в селении Вавчуге по-

строена была лесопильная мельница, принадлежавшая некоему Ивану Попову. Один из наследников этого Попова, в 1671 году, передал мельницу и всю землю подле (занимавшую пространство в 5 сох) холмогорскому посадскому человеку Баженину. Баженин завод перестроил «без заморских мастеров по немецкому образцу», успел выиграть дело, заведенное с ним каким-то иноземцем Андреем Крафтом. Грамотой царей Иоанна и Петра Алексеевичей Вавчуга * передана братьям Бажениным в их полное и потомственное владение. В первое посещение свое Архангельска (1693 г.), 21 сентября, Петр I с Холмогор изволил, по словам продолжателя двинского летописца (Иова, холмогорского протопопа), «с немногими шествовать в малом корабле в Вавчугу для осмотрения пильные мельницы и оттуда выехать на Крылово, а оттоле шествовать сухим путем». Место Вавчуги полюбилось царю, и он внушил Бажениным мысль основать здесь корабельную верфь. В том же году Баженин начал строить корабль, за изготовлением которого с сосредоточенным вниманием следил Петр все время, пока жил в Москве. Весной следующего года (1694) готов был и спущен с вавчужской верфи *русский первый корабль* с первым русским коммерческим флагом — «Святой Петр», отправленный в Голландию с грузом русского железа. Баженин между тем деятельно продолжал постройку военных и коммерческих кораблей, гукоров и гальотов, так что в 1702 году Петр, в третий и последний раз посетивший Двину, сам спустил в Вавчуге два новых фрегата.

Народное предание рассказывает при этом следующее.

Баженин ждал царя с великим нетерпением, которое в конце возросло до такой степени, что старик перестал ждать в Вавчуге — выехал к царю навстречу. Ехал скоро,— насколько сильно было в нем желание поскорее лицезреть Петра и насколько быстро могли везти ямщики, хорошо знавшие, что Баженин — друг царя.

На одной из станций — именно в Ваймуге — Баженину показалось, что ямщик не скоро впрягает лошадей и таким образом как бы намеренно задерживает момент свидания его с Петром. Баженин вспылил и ударил ямщика в ухо, но так неловко, что попал в висок, и так сильно, что ямщик тут же на месте упал и умер.

Между тем приехал Петр. С Бажениным отправился он в Холмогоры и в Вавчугу. В Вавчуге пировал. Съездил в Архангельск и поехал назад, в Петербург; Баженин его провожает. В той же Ваймуге, где Баженин убил ямщика, собрались мужики царю пожаловаться, что зазнался-де Осип Баженин и никакого суда на него не найдешь. Прямо сказать мужички не смели, а придумали сде-

* В двух верстах от Вавчуги лежит село *Чухченема*, Никольская церковь которого была некогда монастырем. Монастырь этот приписан был к Троицко-Сергиевской лавре (как видно из грамоты Ионы, митрополита сарского и подонского, 1619 года). То же должно сказать и о Кривецком погосте (на левом берегу р. Двины, при впадении реки Обокши), и о Моржегорском селе, стоящем при впадении в Двину реки Моржовки. В последнем из них находилась пустынь Николая Великорецкого, основанная царем Федором Алексеевичем; а в Кривецком погосте существовал при Михаиле Федоровиче, около 1619 года, монастырь Успенский.

лать это дело так, что, когда вышел царь из избы к повозке, мужики стали перешептываться промеж себя, потом громче переговариваться:

— Баженин мужика убил. Мужика убил Баженин!

Услыхал Петр — улыбнулся. Остановился на одном месте да и опросил весь народ громким голосом:

— Ну так что ж из того, что Баженин мужика убил?

У мужиков и ноги к земле, и язык к гортани прилипли, стоят и слушают.

— Это ничего, что Баженин мужика убил. Больно бы худо было, кабы мужик убил Баженина.

У мужиков и ушки на макушке. Царь продолжал:

— Вас, мужиков, у меня много. Вот там под Москвой; за Москвой еще больше; да на Казань народ потянулся, к Петербургу подошел: много у меня мужиков. Вот вас одних сколько собралось из одной деревни. Много у меня вас, мужиков, а Баженин — один.

С тем царь и уехал.

В это же посещение Вавчуги, как говорят, царь подарил Баженину медальон из кизиля с своим портретом, вырезанным собственными руками. Медальон этот с двумя царскими грамотами хранился у покойного владетеля Вавчуги, гостеприимство и любезность которого делали их доступными вниманию всякого проезжего. По третьей грамоте Петра Алексеевича разрешалось Бажениным строение кораблей и беспошлинная вырубка 4000 дерев (2000 в Архангельске и 2000 в Каргополе).

Впоследствии, когда беломорская торговля упала и уничтожены были все привилегии, какими пользовался Баженин, дела их пришли в упадок. Предание указывает на какого-то Кочнева, бывшего у Бажениных приказчиком. Этот Кочнев будто бы злонамеренно вел дела своих доверителей, обворовывал их и впоследствии сам строил корабли и крупные суда на собственные, наворованные деньги. Вавчужская верфь потеряла свою нравственную силу и значение. Но старший Баженин до конца своей жизни не переставал пользоваться в окольности всеобщим почетом и уважением. И до сих пор живет в Холмогорах присловье: «словно у тебя Баженин в гостях!» — когда замечено будет, что в комнате собралось много свечей, хотя бы то произошло и случайно.

Впрочем, следует дополнить, что наружное почтение, оказывавшееся братьям Бажениным, было скорее вынужденным и лицемерным, чем заслуженным. Так, по крайней мере, следует думать о том самом Осипе Андреевиче, о тяжелом и забалованном нраве которого сохранилось рассказанное выше народное предание. Замечательно, что оно подкрепляется и документальными данными, недавно отысканными в подвалах холмогорского Преображенского собора и опубликованными в печати в 1877 году. В одном из этих актов именно этот самый Осип Баженин, владевший Вавчугой вместе с родным братом Федором, назван был «самосильным, самовольным и самосудным». Судя по судебному делу, начатому тог-

дашним холмогорским архиереем Варнавой, Осип Баженин являл в себе ту двойственность характера русского человека, которая особенно свойственна была этому переходному времени борьбы старых народных порядков с новыми петровскими. Будучи передовым человеком в делах, вызвавших одобрение великого преобразователя России, Баженин оставался человеком старых привычек, и в семейной жизни показавшим грубое самоуправство и безграничные насилия. Избалованный удачами в общественной деятельности, он был прихотлив в семейной жизни и не терпел никаких препятствий своему нраву. Будучи женат два раза, он уже в преклонных летах домогался развода, чтобы вступить в третий брак, и, не получив архиерейского разрешения, повенчался со своей работницей. Жена законная вступилась за свои права, и началось любопытное дело, которое тянулось целых десять лет (с 1713 по 1723 г.). Архиерей Варнава, приняв сторону несправедливо обиженной, осторожными и настойчивыми действиями сумел осветить отношения супругов и разъяснить характер самого Баженина, оказавшегося виновным и перед церковным и общественным судом.

Осип Баженин обвинял жену, Прасковью, между прочим, в волшебстве, имевшем будто бы вредные последствия для его здоровья, называя ее волшебницей и чародейкой: призывала знахарей, лила в умывальник и в питье наговорную воду, сыпала какое-то неведомое зелье, посещала какие-то подозрительные дома. По допросам и следствии оказалось лишь то, что, заметив охлаждение мужа, старинная русская женщина оказалась верной завещанным от предков преданиям, в советах со знахарями и в невинных чарах искала возможности возвратить любовь мужа. При этом и самые чары были невинны и забавны. Главная состояла в том, что чародей велел отыскать «первородного» человека, сходить ему к ручью, который течет в Двину повыше часовни Архангельского монастыря и зимой не мерзнет, и взять из него воды. Над ней чародей говорил, наклонясь, слова, между прочим, такие: «И спущаются со Христом с небес тридевять ангелов золотоперых и золотокрылых и с собой спущают тридевять луков и тридевять стрел, и стреляли они сквозь семеры облака, и отстреливали они рабы божьей и уроки, и призоры. Как с гоголя вода катится, так бы катилась с тоя рабы, с ясных очей, с бела тела и с ретива сердца, и век по веку и отныне и до веку». И по той воде ножом чертил. Ту воду гонимая жена пила и ею умывалась. Подозрение архиерея, выраженное вопросом: «Не через образ ли перепускал, яко в сказках иных?» — также не оправдалось допросами, а обиженная простодушно созналась, что «пользы от воды никакой не было». Муж в то же время прибегает к побоям, которые она терпеливо и молчаливо переносит, заставляет прислугу не почитать и бранить ее, а в одной телогрейке в трескучий мороз выгоняет из дому и отнимает все ее приданое; она начинает жаловаться и предъявляет иск. Опираясь на благоприятелей в губернской канцелярии, Баженин, при их помощи, знает о ходе розысков, а надеясь на покровителей в столице — вступает в решительную и открытую борьбу с епископской

властью, вынужденной вмешаться в семейные дела супругов. На разводе и запнулась своеобычная воля Баженина.

Варнава указом вызвал мужа к очной ставке с женой и потребовал работниц его, женку и девок к допросу. Осип ответил, что в духовный приказ он не будет, а для допросу работниц его пусть приедет к нему в дом судья, а преосвященному архиепископу велено дела вершить, а не разыскивать. Чтобы положить конец розыску, он уехал в Каргопольский уезд Новгородской губернии. Здесь позвали священника в церковь под видом служения молебна, а на самом деле — силой принудили его венчать. «А после венчания (показывает священник) я почал вечерню петь, а они все разъехались». Баженин прибыл с новой женой в свою Вавчугу. Варнава же, узнав, что «он брачился с рабыней своей в неуказные святые дни после праздника Рождества Христова до праздника святых Богоявлений», предписал священнику вавчужской церкви в дом к Осипу и «соплетенной с ним жене» не ходить, мира и благословения не давать, молитв церковных с верными их не сподоблять и с ними не молиться, пока не придут в покаяние. Кроме того, объявлено было всем окрестным сельским пастырям и всем христианам об отлучении от церкви. По всем церквам прибиты были листы с прописанием беззаконий Баженина во всенародное известие. Таким образом дело о разводе обратилось в розыск о двоеженстве. Архиерей в своем решении опирался на то, что «многим явился в народе соблазн и претыкание и образ начатка злого дела», а потому требовал устранения незаконной жены и выдачи приданого законной.

Осип Баженин послал к архиепископу письмо, вовсе не имевшее характера челобитной, а напротив — полемическое сочинение, в котором лесопромышленник и кораблестроитель вступает в пререкания и ученый спор по церковно-судебным вопросам с архиереем, принадлежавшим к непоследним проповедникам того времени и, во всяком случае, получившим образование в Киевской академии. Торговец гостиной сотни обратился к представителю церковной власти даже с укоризнами и называл его то превосходительством, то высочеством, а в конце сказал: «Не имей, мой государь, опасения, а я истинно не опасен вашего гнева. Мы и много знаем, да молчим до времени». Это полемическое произведение, «паче же пашквиль», по определению Варнавы, занимает вместе с возражениями архиерея не последнее место в письменности петровских времен, но дело исправления Баженина оно не произвело и раскаяния не вызвало. Он по-прежнему жил в Вавчуге и не ехал в город Холмогоры к покаянию и не подчинился церковному запрещению. В день святой Пасхи он ходил в церковь, и угощал священников не только своего, но и соседнего, и, сказав последнему: «Ты, батько, в гости ко мне на гору»,— угощал обоих обедом. В то же время Баженин успел съездить два раза в Петербург для подачи жалоб сенату и для испрошения отсюда того, что не благословлял местный владыка, а вернувшись — старался воспользоваться каждым удобным случаем, чтобы, не подчиняясь Варнаве, войти в

общение с церковью. Этого ему не удавалось, а между тем ни из сената не присылалось никакого указа, ни из патриаршего приказа ответов на донесения архиепископа, благодаря предстательству приближенных царя. Предлагалось лишь склонять Баженина к добровольному покаянию, что и старался всемерно достигнуть Варнава, командируя протопопа Архангельского собора (Баженин имел особый дом в Архангельске, где обычно и проживал подолгу). Строптивый и обнадеженный сильными властями, с подкреплением раболепством местных чинов, не покорялся: он довел себя даже до такого своевольства, что во время самого архиерейского служения вошел в собор, «кричал нелепо, и от народного возмущения и пребывания грешника в церкви божией мятеж и едва не остановление службы божией». Владыка велел ему «выступить в преддверие», т. е. указал ему место оглашенных. Это происходило в 1718 году, и только в 1723 году тяжкая предсмертная болезнь вынудила Баженина обратиться к архиерею с прошением о помиловании и милостивом благословении. Последний распорядился удостовериться архангельским священникам в нелицемерном и бесподложном покаянии и допустить, «яко немощна суща и при смерти», к исповеди и приобщению святых тайн. Мирволившее ему архангельское духовенство, знавшее и общественное его положение, дало самое благоприятное свидетельство; конечно, между ними и во главе стояло и то лицо, которое, за спиной Осипа, полемизировало со своим епархом. Баженин не только сподобился примирению с церковью, но и удостоился, при многочисленных свидетелях, слышавших раскаяние, соборования маслом, так как приближался смертный час. 18 августа 1723 года он скончался. Варнава разрешил архангельскому протопопу проводить тело до Вавчуги и совершить погребение подле гробов родителей.

Род Бажениных, как и всех архангельских, происходил из Великого Новгорода. Первым прибыл в Холмогоры еще в XVI веке прадед Осипова отца Андрея — Симеон. Сын его Федор был игуменом Архангельского монастыря и послан в Сибирь для обращения инородцев. Сын Федора Кирилл был дьяконом в холмогорском Преображенском монастыре, обращенном в 1639 году в собор, и «за изрядство голоса» был взят в Москву в дом царского величества. Сын его Андрей был сначала холмогорским, а потом архангельским купцом. Женившись, он получил в приданое Вавчугу с лесопильной мельницей, которая и досталась сыновьям его, Осипу и Федору. Осип умер бездетным, но от Федора пошло потомство, из которого последним в роде Бажениных был Никифор Степанович, скончавшийся в 1862 году, гостеприимством которого и воспользовался пишущий эти строки. Впрочем, как уже сказано, лесной и корабельный промысел Бажениных прекратился еще до смерти этого последнего в почтенном и столь знаменитом роде.

Каменная церковь села Вавчуги была построена в 1737 году племянником Осипа — Денисом — и до 1848 года считалась родовой Бажениных, а в том году отписана в епархиальное ведомство как обыкновенная сельская.

Еще одни сутки виделись мне Холмогоры, во всем своем безотрадном разрушении и ветхости,— виделись уже в последний раз. Я поехал в обратный путь на петербургский тракт. Дорога шла берегом Двины. Попадались людные и относительно богатые селения. Мелькали одна за другой почтовые станции, и они даже начинали напоминать о лучших местах, чем те, которые доставались на мою долю в течение целого года. И от них как-то отвык глаз, и забылась их всегда однообразная, казенная обстановка со смотрителем в почтальонском сюртуке с светлыми пуговицами, с неизбежным записыванием подорожной в толстую книгу, с неизбежной жалобной книгой, припечатанной на снурке огромной печатью к столу. Пошли, по обыкновению, мелькать по сторонам березки и на каждой версте пестрые казенные столбы с цифрой направо, с цифрой налево. И опять неизбежный станционный дом с печатными приказами в черных рамках за стеклом. Один приказ не велит брать лишнее число лошадей против того числа, какое прописано в подорожной; из другого видно, что на такой-то версте мост, на такой-то сухие ямы и овраги, на такой-то гать, которая в ненастное осеннее и весеннее время неудобна для проезда. Все, одним словом, так же, как и по всей длине почтовых дорог, искрестивших матушку-Россию вдоль и поперек на бесконечные верстовые цифры. Разница та, что дорога идет вдоль Двины, но река эта засыпана снегом. Здесь идут два тракта, и петербургский, и московский вместе, до Сийского монастыря, где они разделяются: московский идет на село Емецкое, петербургский — на монастырь и следующую за ним станцию Сийскую.

Не доезжая до монастыря 60 с небольшим верст и в 30 верстах от Холмогор (между станциями Ракулой и Копачевской), на самом берегу реки Двины, в двух верстах от деревни Паниловской, видны до сих пор развалины Орлецкой крепости, как говорят (на мой проезд они были засыпаны глубоким снегом). Видны будто бы остатки каменной стены и вала, подле которого тянется глубокий овраг, служивший некогда рвом.

Крепость эта имеет свою историю. Вот что рассказывает об этом новгородский (первый) летописец под 1342 годом:

«Того же лета Лука Варфломеев (сын новгородского посадника), не послушав Новгорода и митрополича благословения и владычня, скопив с собою холопов сбоев (удальцов бездомовных, большей частью боярских слуг), и пойде за Волок на Двину, и постави городок Орлец, и скопив емьчан (прибрежных жителей реки Емцы — притока Двины), и всю землю Заволотскую по Двине вси погости на щит. В то же время сын его Онцифор отходил на Вагу (дальний приток Северной Двины); Лука же дву сту (с лишком с 200 удальцов) выеха воевать, и убиша его заволочане, и прииде весть в Новгород: Лука убиен бысть. И возсташа черныи люди на Ондрюшка, на Федора, на посадника на Данилова, а тако ркуши: яко те заслаша на Луку убити — и пограбиша их домы и села, а Федор и Ондрюшка побегоша к Копорью городок, и тамо сидеша зиму всю и до великого говения. И в то время прииде Онцифор и би

челом Новугороду на Федора и на Ондрюшка: те заслаша моего отца убити. И владыка и Новгород послаша архимандрита Есипа, с бояры, в Копорью, по Федора и по Ондрюшка. И они приехаша и ркоша: не думали есмы на брата своего на Луку, что его убити, ни засылали на него — и Онцифор с Матфеем взвони вече у святей Софии, а Федор и Ондрюшко другое съзвониша вече на Ярославле дворе, и посла Онцифор с Матфеем владыку на вече, и не дождавши владыки с того веча, и удариша на Ярославль двор. И яша ту Матфеа Коску и сына его Игната всадиша в церковь, и Онцифор убеже с своими пособницы; то же бысть в утре, а по обеде доспеша весь град, ся сторона себе, и она себе. И владыка Василий с наместником Борисом докончаша мир межи ими. И возвеличен бысть крест, а дьявол посрамлен бысть».

Во второй и последний раз мелькает в истории имя крепости Орлеца в 1398 году, когда двинская земля покорилась царю московскому Василию III Дмитриевичу [42]. Такими подробностями обставляет это событие новгородский летописец.

После Пасхи на весне новгородцы говорили своему владыке Иоанну:

— Не можем, господине отче, сего насилия терпети от своего князя великого Василия Дмитриевича, что у нас отнял у святей Софии и у великого Новагорода пригороды и волости, нашу отчизну и детину; но хотим поискати святей Софии пригородов и волостей своей отчизны и детины.

И целовали на том крест святой действовать заедино, как братья.

Били челом владыке о том же посадники: Тимофей Юрьевич, Юрий Дмитриевич и Василий Борисович с боярами, детьми боярскими, жилыми людьми, детьми купеческими и со всем войском:

— Благослови, господине отче, владыко! Или паки изнайдем свою отчину, паки ли свои головы положим за святую Софию и за своего господина за великий Новгород.

Владыка благословил воевод и войско; новгородцы простились с ними. На пути их за Волок на Двину к крепости Орлецу встретили их недобрые вести, принесенные правителем архиерейских волостей Исаиею, который говорил, что московский боярин Андрей с Иваном Никитиным и двинянами покорили Вель, на самую святую Пасху, и взяли с каждого человека окуп; что на Двину приехал уже от великого князя в засаду князь Федор Ростовский; что велено ему городок блюсти, судить и брать пошлину со всех волостей новгородских и что двинские воеводы Иван и Конон, с друзьями своими, разделили уже новгородские волости и имения бояр на части.

— Братие! — говорили воеводы,— аще тако сдумал господин наш князь великий с крестопреступники с двинскими воеводами, лучши есть нам умрети за святую Софию, нежели в обиде быти от великого князя.

Затем отправили отряды на Белоозеро и покорили все белозерские волости и пожгли их. Сожгли старый городок белозерский

и не сожгли всего затем только, что взяли «60 рублев окупа, много полона и животов». Потом покорили волости кубенские, город Вологду, сожгли город Устюг и только одни сутки не дошли до костромского Галича. Добычи много взяли с собой, много побросали на месте, затем что множества ее не могли поместить на судах.

Из-под Устюга (через 4 недели) шли они по Двине к городку Орлецу, где на то время заперся со своим войском наместник московский, князь Ростовский. Четыре недели стояли новгородцы (в числе трех тысяч) под этим городком, сделали засады, стреляли из них и наконец заставили осажденных выйти из городка и с плачем бить челом о помиловании.

«И воеводы новгородские, и все вои,— по словам летописца,— по своего господина *по новгородскому слову* челобитье прияша двинян, а нелюбья им отдаша». Воевод Ивана и Конона с друзьями их взяли в плен; одних казнили, а главных виновников (4 человека) заковали в цепи. С князя Федора Ростовского взяли *присуд* и пошлины, которые успел он собрать, но самого простили. С московских купцов взяли 300 рублей; 2000 рублей и 3000 лошадей с самих двинян «за их преступление и за их вину».

«Сице бысть божие милосердие,— заканчивает свое сказание летописец,— столько прошед русской земли и у столь твердого городка не бысть пакости в людях, токмо у городка единого человека убиша, детьского Левушку Федорова посадника, а *город разгребоша*».

В том же уезде, близ Шарапова и села Емецкого, между озерами Задворским и Яфанским, возвышается естественная плоская возвышенность, в которой насчитывают с версту длины, сажен 50 ширины и 5 в вышину. Ее называет народ Городком, хотя, по всему вероятию, здесь не было никакого жилого сооружения, а возвышенностью этой пользовались в переважные времена Новгородчины, устраивая здесь за́секи, как в месте, для этой военной цели очень удобном. Для этого целиком рубили деревья и заваливали ими либо место перед крепостью, либо дорогу. Вершины и сучья обращали наружу, с целью затруднить неприятельские приступы.

Той же древностью преданий встречает и село Емецкое, богатое и в настоящее время и имевшее некогда большое историческое значение, владевшее некогда двумя монастырями: Ивановским (женским) и Покровским (мужским).

В 1603 году, во время набегов на двинские страны литовских людей, холмогорские воеводы разломали церкви и кельи женского Ивановского монастыря (стариц перевели в мужской Покровский, оттуда, в свою очередь, вывезли старцев в монастырь Спасский). Вместо монастыря выстроен был острог, выкопан ров, поставлен частокол (в 1760 году, когда выгорело все село Емецкое, сгорел и острог, так что теперь нет и следа его). Вот что повествуется об этом событии в памятнике монастыря Сийского.

«В Важской уезд набежали многие воры польские и литовские люди, русские изменники из-под Москвы и из иных многих

русских городов и на Ваге и в Важском уезде многих людей мучили и побивали, животы их грабили и никому проходу и проезду из города в город не давали, и в Двинской уезд, в Емецкой стан, выезжали и многих крестьян побивали и грабили, и хотели идти к Холмогорам безвестно и двинян побити. Воеводы, стольник князь Петр Иванович Пронской и Моисей Федорович Глебов, послали на Емецкое, «ради осадного времени», сотника стрелецкого Смирнова-Чертовского да с ним Архангельского города стрельцов сто человек. Они же отправившись, на Емецком воров много побили из осады из дворов, и три знамени у них отбили, и два человека языков поймали и на Холмогоры привезли, и на расспросе языки воеводе сказали, что на Ваге воров тысяч до семи, и приходу их чают на Холмогоры вскоре, потому что они не чают на Холмогорах острогу. И того ж года, декабря к 8 числу, к вечеру, воры под острог пришли. И из острога воевода и дьяк выслали высылку: сотника стрелецкого Смирнова же Чертовского и с ним холмогорских стрельцов и холмогорских охотников, и воров встретили в Ерзовке; и воры хотели их от острогу отлучить, начали на лошадях объезжать, и сотник, видя то, с ратными людьми назад возвратился и в острог пришли здраво. И идучи в острог, посад за перелогом против острогу сожгли и церковь Зосимы и Савватия зажгли для того, чтобы ворам близ острогу не засесть, и воры, стояв под острогом три дня, побежали назад на Вагу, а инии в низовския волости и в Поморье, множество русских людей там жгли и мучили, грабили и побивали; у Архангельского же города не были, а пробежали мимо».

Емцы (названные так по реке Емце, впадающей в Двину поблизости) были одним из первых новгородских заселений в этом краю. И теперь оно красуется хорошей каменной церковью с поразительно высокой колокольней в четыре яруса и рядом красивых домов своих: общим видом село неизмеримо лучше города Холмогоров.

15 верст считают прямиком наперерез расстояния, лежащего между двумя недавно разделившимися дорогами (московской и петербургской) от села Емецкого до монастыря Сийского. Прямиком этим, для сокращения пути и времени, привелось ехать и мне. Через полтора часа времени по выезде из села передо мной белелись уже каменные стены и церкви и весь монастырь был на виду.

4. СИЙСКИЙ МОНАСТЫРЬ

История основания.— Преподобный Антоний.— Предания и история заключения Филарета Никитича.— Обратный путь из Архангельской губернии в С.-Петербург.

Вот краткая история этого монастыря.

У крестьянина деревни Киехты (в пределах двинских и близ Студеного моря-океана), именем Никифора, родился сын Андрей. Родились у него и другие дети, но благообразнее и даровитее Андрея не было, и потому он, по словам Пролога, «по времени вдан бывает в научение книгам, яко же обычай имать детем... Потом же научен бысть иконному художеству: и тако пребывая, повинуяся во всем родителем своим; земледельчеству же не внимаше, но паче прилежаше рукоделию». 25-ти лет остался он после родителей сиротой, ушел в Новгород и там пять лет работал на одного боярина. Здесь он женился, но через год жена его умерла, и вслед за нею умер и господин, которому служил Андрей.

С этого времени Андрей ищет уединения и идет в самые дальные и пустынные места на реку Кену, впадающую в Онегу. Здесь, в пустыне Пахомиевой, он находит временное успокоение. Напрасно предваряет его Пахомий о многотрудности поприща, им избираемого. «Скорбно место сие,— говорил он ему,— братия здесь непрестанно труждается: одни копают землю, другие секут лес, иные возделывают нивы, никто не остается праздным». Андрей остается в монастыре, получает имя Антония, вскоре сан священника, но вскоре же оставляет и этот монастырь, ища большего безмолвия и уединения. Берет он с собою двух иноков, Александра и Иоакима, и с ними приходит непроходимыми дотоле дебрями и лесами до темного потока реки Емцы. Здесь строят они церковь во имя святого Николая и кельи вокруг; к ним присоединяются еще четыре инока. Семь лет подвизаются они в этом уединении, но местные жители, опасаясь, чтобы пустынники не отняли у них земли, заявляют свое недовольство, и преподобный Антоний принужден искать новое место для пустынножительства. На пути он встречает жителя Яминского стана, именем Самуила, вышедшего на промысел на

Лешьи озера. Антоний спрашивает его, не знает ли какого-либо места, удобного для поселения иноков. Самуил привел его на дальнее озеро, называемое Михайлово, в которое впадала река Сия. Река эта, проходя через многие озера, открывала живописные виды во всей их первозданной, нетронутой дикости. Тут Антоний водрузил крест, поставил потом часовню и хижину для себя и братии. Дикие звери обитали в соседней тундре и лесах, и никогда, от начала мира, не обитал тут человек. Изредка приходили сюда окрестные жители для ловитвы, и потому преподобному привелось переносить скорби от чрезмерной скудости: часто не было откуда взять хлеба. Братия не ослабевала, своими руками очищая лес, копая землю и сооружая обитель. Об этом сведал некто Василий Бебрь, сборщик пошлин архиепископских Великого Новгорода, послал на монастырь разбойников, но злое дело кончилось тем, что сам же Василий пришел просить прощения у святого.

Между тем разнеслась молва об Антонии по окрестным пределам: многие стали приходить к нему с пищей, деньгами и обетом монашеским. Видя умножение братии, Антоний послал к князю Василию Иоанновичу двух иноков, Александра и Исаию, просить великого князя повелеть им строить новое свое богомолье на пустом месте в диком лесу, собирать братию и кругом пахать пашни. С разрешения Василия Ивановича, св. Антоний начал строить обширную деревянную церковь во имя святой Троицы и сам написал для нее образ.

Однажды, после утреннего пения, когда уже все вышли из церкви, загорелась она от свечи, забытой пономарем перед иконой. В монастыре тогда никого не было: все разошлись по работам, оставались только немощные и больные да служители, работавшие в поварне. Уже пламя высоко пылало в церкви, когда послали известить о том преподобного. Старец был далеко, и, когда возвратился с братией, вся церковь была уже объята пламенем: ничего нельзя было вынести и спасти. Церковь сгорела, остались кельи, и братия, видя новую неудачу на новом месте, хотела разойтись. Большого труда стоило преподобному остановить их. Затем Антоний начал строить более просторный храм во имя святой Троицы. Св. Антоний вскоре принял сан игуменский и все-таки, будучи так крепок и здоров телом, что мог трудиться за двух и за трех, не переставал работать наряду с братией. Не знавший преподобного и видя его распахивающим пашню или очищающим лес в убогой власянице, не мог бы признать в нем игумена.

Опять-таки, избегая молвы и почестей и ища большого уединения, блаженный Антоний выбрал на свое место инока Феогноста, а сам, тайно от всех, пошел вверх по красивой реке Сие до озера Дудницы. Здесь был прекрасный остров, в трех верстах от обители. Кругом было множество озер, чрез которые протекала река, идущая в Двину. Здесь построил он хижину и часовню с образом Николы. Но и этой пустынью не удовлетворился св. Антоний: он избрал новую, за пять верст от первой, на озере Паду. Здесь, в месте,

огражденном горами, покрытыми темным, непроходимым лесом, он поставил себе уединенную хижину, около которой белелись двенадцать берез. Устроил он себе небольшой плот, с которого удил рыбу и при этом обнажал себе голову и плечи, отдавая их на съедение насекомым.

Два года провел в этих пустынях Антоний, и когда Феогност оставил игуменство — преподобный вернулся снова в обитель. Когда он достиг глубокой старости и стали его удручать многие болезни, частью от преклонных лет, частью от напряженных подвигов, братия приступила к нему, прося дать настоятеля. Антоний назначил им строителем инока Кирилла, а на свое игуменское место Геласия, бывшего на то время, ради потреб монастырских, у моря, на реке Золотице, и, по случаю бурных зимних непогодей, не могшего возвратиться к преставлению святого старца. Старец написал завещание, но уже близок был к кончине. От долгого поста плоть его прилипла к костям, так что почти не было видно на нем тела и он заживо казался мертвецом. От многих коленопреклонений ноги его оцепенели, так что сам он не мог уже ходить и его под руки водили в церковь. Сгорбился он от глубокой старости и наконец приблизился к концу своего жития. Со слезами приступила к нему братия, требуя поучения. Старец говорил им много, обещал им, что, если будут иметь любовь друг к другу, не оскудеет обитель и сам он будет духом всегда с ними.

— Где погребсти тебя? — спрашивала его братия.

— Свяжите мне ноги, влеките в дебрь и там затопчите в болоте мое грешное тело на съедение зверям и птицам или бросьте в озеро.

В день воскресный, накануне исхода, приобщился старец еще однажды божественных таин и, когда ударяли к утреннему пению на понедельник, велел обступившей его братии идти на славословие к утрени. Двух только учеников (Андроника и Пахомия) оставил он при себе и велел воскурить фимиам. Когда наступили последние минуты, он и им велел удалиться, а сам, сотворя исходную молитву, сложил крестообразно руки и отошел. Братия, возвратясь из церкви, нашли его уже мертвым и с плачем припали к телу его. Это было 7 декабря 1557 года. Преподобный Антоний пришел на Сию сорока двух лет, а тридцать семь провел здесь в подвижническом житии и пощениях.

Житие этого святого сочинено постриженником обители, иноком Ионою, а хранящееся в монастыре переписано собственной рукой царевича и великого князя Ивана Алексеевича, брата Петра Великого. Там же хранится до сих пор Евангелие, писанное рукой самого Антония, с медными украшениями по углам и середине, грубой самодельной работы, и тут же так называемое Евангелие *априкос* [43]. Евангелие это, писанное четким красивым полууставом, с рисунками на каждой странице, изображающими то, о чем на той странице повествуется: притчи, события из жизни Христа и прочее, изумляет многотрудностью и чистотой работы. Если писал априкос один человек, то это дело должно было занять целую долгую его

жизнь. В алтаре соборного храма хранится власяная риза преподобного.

В 1601 году привезен был сюда, по приказанию царя и великого князя московского Бориса Федоровича Годунова, ближайший родственник недавно умершего царя Феодора Ивановича, боярин Федор Никитич [44] Романов. Привезен был боярин, по народному преданию, вечером. Благовестили к вечерне. Кибитка остановилась у соборного храма. Пристав боярина, Роман Дуров, пришел в алтарь, оставив боярина Феодора у дверей. Кончилась вечерня. Игумен Иона со всеми соборными старцами вышел из алтаря и начал обряд пострижения, к нему подвели привезенного боярина.

Боярин уведен был на паперть. Там сняли с него обычные одежды, оставив в одной сорочке. Затем привели его снова в церковь, без пояса, босого, с непокрытой головой. Пелись антифоны [45], по окончании которых боярина поставили перед святыми дверями, велели ему творить три «метания» Спасову образу и затем игумену.

Иона спрашивал по уставу:

— Что прииде, брате, припадая ко святому жертвеннику и ко святой дружине сей?

Боярин безмолвствовал. За него отвечал пристав Роман Дуров:

— Желаю жития постнического, святый отче!

— Воистину добро дело и блаженно избра, но аще совершиши е, добрая убо дела трудом снискаются и болезнию исправляются. Волею ли своего разума приходиши господеви?

Боярин продолжал молчать.

— Ей, честный отче! — отвечал за него пристав.

— Еда от некия обеды или нужды?

— Ни, честный отче! — опять отвечал пристав.

— Отрицаеши ли мира и яже в мире по заповеди господни? Имаши ли пребывати в монастыре и пощении даже до последнего своего издыхания?

Боярин горько зарыдал на вопросы эти. Ответы, при руководстве игумена, досказывал за постригаемого тот же пристав Роман Дуров, по подсказам игумена.

— Ей богу поспешествующу, честный отче!

— Имаши ли хранитися в девстве и целомудрии и благоговении? Сохраниши ли послушание ко игумену и ко всей яже о Христе братии? Имаши ли терпети всяку скорбь и тесноту иноческого жития царства ради небесного?

— Ей богу поспешествующу, честный отче! — завершил ответами за боярина пристав его Роман Дуров.

Затем следовало оглашение малого образа (мантии), говорилось краткое поучение, читались две молитвы. Новопостригаемый боярин продолжал рыдать неутешно. Но когда игумен по уставу сказал ему: «Приими ножницы и даждь ми я»,— боярин не повиновался. Многого труда стоило его потом успокоить. На него, после

крестообразного пострижения, надели нижнюю одежду, положили параманд [46], надели пояс. Затем обули в сандалии и, наконец, облекли в волосяную мантию со словами:

— Брат наш, *Филарет,* приемлет мантию, обручение великого ангельского образа, одежду нетления и чистоты во имя отца и сына и святаго духа.

— Аминь! — отвечал за Филарета пристав.

С именем Филарета новопоставленный старец отведен был в трапезу, не получал пищи во весь тот день и, после многих молитв, за литургией следующего дня приобщен был святых таин как новый член Сийской обители.

О дальнейшем пребывании в монастыре и о строгости заключения можно судить по тому, что царь остался недоволен первым приставом, Романом Дуровым, и прислал на место его другого пристава, Богдана Воейкова. Этот обязан был доносить обо всем, что говорит вновь постриженный боярин, не позволял никому глядеть на оглашенного *изменника*, ни ходить близ того места, где он был заключен.

В Сийском монастыре до сих еще пор указывают на келью под соборным храмом с одним окном в стене и оконцем над дверями кельи (в 6 сажен длины, в 3 ширины и в 1 сажень высоты), в которой содержался Филарет на первых порах заточения.

И вот что доносил о нем через год (от 25 ноября 1601) пристав Богдан Воейков царю московскому:

«Твой, государев, изменник, старец Филарет Романов, мне, холопу твоему, в разговоре говорил: «Бояре-де мне великие недруги, искали-де голов наших, а иные-де научали на нас говорити людей наших; а я-де сам видал то не одиножды». Да он же про твоих бояр про всех говорил: «Не станет-де их с дело ни с которое; нет-де у них разумново; один-де у них разумен Богдан Бельский [47]; к польским и ко всяким делам добре досуж»... Коли жену спомянет и дети, и он говорит: «Милые мои детки маленьки бедные осталися: кому их кормить и поить? А жена моя бедная на удачу уже жива ли? Чаю, она где близко таково же замчена, где и слух не зайдет. Мне уже што надобно? Лихо на меня жена да дети; как их вспомянешь, ино что рогатиной в сердце толкнет. Много они мне мешают; дай господи то слышать, чтобы их ранее бог прибрал; и аз бы тому обрадовался; а чаю, и жена моя сама рада, чтоб им бог дал смерть; а мне бы уже не мешали: я бы стал промышлять одною своею душою».

Монастырь был строго заперт от всех богомольцев, и никто не мог принести Филарету вести об его родных, хотя вести эти в то время и могли быть не радостны. Жену его Ксению Ивановну, также постриженную (с именем Марфы), сослали в один из заонежских погостов; мать ее, тещу Филарета, Шатову,— в Чебоксарский (Никольский) девичий монастырь; братьев: Александра — в Усолье-Луду к Белому морю, Михаила — в Ныробскую волость, в Великую Пермь, Ивана — в Пелым, Василия — в Яренск, зятя его, князя Черкасского Бориса, с шестилетним сыном Филарета, Михаилом

(будущим царем),— на Белоозеро, и проч., и проч. Вотчины и поместья опальных роздали другим; дома и недвижимое имение отобрали в казну. Один из братьев Филарета, Василий (сосланный в Яренск), после многих мучений от пристава Некрасова, и соединенный в Пелыме с братом Иваном, скончался от долговременной болезни (15 февраля 1602). Михаила Никитича, отличавшегося дородством, ростом и необыкновенной силой, сторожа, по преданию, уморили голодом. Александр Никитич умер от горести и от скудости содержания. Иван, лишившийся владения рукой и едва передвигавшийся от недугов ноги, первый получил смягчение приговора: ему царь, 1602 года, милостиво указал ехать в Уфу на службу, оттуда в Нижний Новгород и, наконец, в Москву. За ним оставлен был надзор, но уже без имени злодея. Смягчен был приговор и над Филаретом.

Вот какая грамота прислана была в монастырь из Москвы от 22 марта 7113 (1605) года: «От царя и великаго князя Бориса Федоровича всея России в Сийский монастырь игумену Ионе. В нынешнем 7113 году марта в 16 день писал к нам Богдан Воейков, что февраля-де в 7 день, сказывал ему старец Илинарх да старец Леванид, февраля-де в 3 день в ночи старец Филарет его, старца Илинарха, лаял, и с посохом к нему прискакивал, и из кельи его выслал вон, и в келью ему, старцу Илинарху, к себе и за собою ходити никуды не велел. А живет-де старец Филарет бесчинством не по монашескому чину: всегда смеется неведомо чему и говорит про мирское житье, про птицы ловчия и про собаки, как он в мире жил, а к старцам жесток, и старцы приходят к нему, Богдану, на того старца Филарета всегда с жалобой, что лает их и бить хочет. А говорит-де старцам Филарет старец: увидят они, каков он вперед будет. А ныне-де и в великий пост у отца духовного тот старец Филарет не был, и к церкви и к тебе на прощенье не приходит, и на клиросе не стоит. А около-де монастыря ограды у вас нет, а меж келий-де от всякой кельи из монастыря к озеру из дровеников двери, и крепости-де ни которые около монастыря нет, а ограду-де монастырскую велели вы свезть на гумно, и он-де, Богдан, тебе и келарю говорил, чтобы вы около монастыря ограду велели поставить и меж келий от дровеников двери заделать, и вы-де около монастыря ограды поставити и дверей заделати не велите, и сторожу-де ты, который стоит у ворот, ходити к нему и про прохожих про всяких людей сказывати ему и детем боярским не велишь. А прежде-де сего старец, приходя к нему, про всяких прохожих людей сказывал, кто какой человек и откуда пришел, и он потому к старцу Филарету и береженье держал. И о которых-де он о наших делех тебе и келарю говорил, и вы-де нашего наказу не слушаете и ставите ни во что, а сказываешь-де у себя наказ свой и в монастырь приимаете всяких прохожих людей иных городов. И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б старцу Филарету велел жити с собою в келье да у него велел жити старцу Леваниду и к церкве старцу Филарету велел ходить вместе с собою да за ним старцу, и береженье к нему держал во всем, чтобы он был у тебя в послушанье и жил бы по монастыр-

скому чину и не бесчинствовал и о том бы еси ему говорил. Только буде он не причащался святыни в нынешной пост и то дело чуже крестьянства и во всем бы ему рассматривал, чтобы он жил во всем по иноческому обещанию, а от дурни его унимал и разговаривал, а бесчестья бы ему ни котораго не делал. А на котораго старца бьет челом, и ты б тому старцу жити у него не велел. О которых наших делах учнет тебе Богдан говорить по нашему наказу, и ты бы и келарь о наших делах с ним советовали, и розни б у вас безлепачныя ни в чем не было, и в оплошку бы нашего дела не ставили. А буде ограда около монастыря худа и ты бы ограду велел поделати: без ограды монастырю быти непригоже, и меж келий двери заделати. А которые люди учнут к тебе приходити, и ты бы им велел приходити в переднюю келью, а старец бы в ту пору был в комнате или в чулане. А незнаемых бы еси людей к себе не пущал, и нигде бы старец Филарет с прихожими людьми ни с кем не сходился, а о всем бы еси береженье старца Филарета рассматривая его, советовал с Богданом Воейковым, чтоб старец Филарет в смуту не пришел, и из монастыря бы не убежал, и жил бы во всем смирно по монастырскому чину, а Богдану бы еси Воейкову велел очистити келью подле себя, а от нас о том Богдану писано ж. Велено ему о всем говорити и советовати с тобою, а одноличнo б у вас во всем было бережно. А о чем к тебе в сей нашей грамоте писано, и то б у тебя было тайно. И учинится какая смута в старце, и не учнет жити по монастырскому чину, или из монастыря уйдет, или какое лихо над собою учинит, и то сделается твоим небрежением и оплошкою. Да что старец Филарет, будучи у тебя, учнет о чем разговаривати, какие прилучные разговоры — и ты б о том отписывал к нам, а отписки велел отдавать в посольском приказе дьяку нашему Афанасью Власьеву».

По ходатайству ли зятя Романовых, Ивана Ивановича Годунова, или движимый общей любовью и сочувствием народа к опальным, Борис начал снимать с Романовых опалу. Княгине Черкасской, Марфе Никитишне, с невесткой, сестрой и детьми Федора Никитича велел жить в вотчине Романовых, в селе Клине (Юрьевского уезда). Здесь, лишенный отца и матери, вырастал и будущий царь России Михаил Феодорович. В 1605 году Борис велел наконец посвятить Филарета в иеромонахи и сделать архимандритом. В том же году, но уже новый царь, Лжедмитрий, вызвал Филарета (после шестилетнего заточения) и дал ему сан митрополита Ростовского, «его же тогда едва священным собором умолиша»,— прибавляют хронографы.

Филарет соединился с женой и сыном: они поселились в епархии Филаретовой, близ Костромы, в монастыре Ипатьевском.

Сделавшись впоследствии патриархом всероссийским, Филарет Никитич не забыл бедной Сийской обители. Он прислал сюда следующие подарки: 1) паникадило большое о 24 рамах, 2) яицо строфокамилово в 104 рубля 60 копеек (под паникадило), 3) ризу атласу золотого по червчатой земле, 4) потир серебряный, 5) дискос, 6) три блюда чеканных, 7) звезду резную и копье, 8) складни на двух

досках с окладом серебряным, 9) кисть для паникадила разных шелков с золотом и 10) сто рублей деньгами. К монастырю, по его же ходатайству, в разное время приписано царем 3333 души крестьян. Между многими приношениями, в монастыре находится Евангелие, присланное в дар великим князем Константином Николаевичем, на память посещения монастыря в июне 1844 года. Евангелие это в серебряной оправе с финифтяными образами, украшенными стразами.

Вот последующие события в истории Сийского монастыря в том виде и порядке, как они означены в монастырской книге «Памятник».

$\frac{7160}{1652}$ года, мая 2-го, митрополит Никон, проезжая в Соловки за мощами св. Филиппа, служил литургию.

1658 года монастырь сгорел и братия едва не разбрелась по другим монастырям.

1692 года патриарший казначей, старец Паисий, завещал монастырю крест господень, в коем кровь и власы и риза Христова, честное и святое древо, и много мощей, и четыре сундука, которые вскрыл в 1696 году архиепископ Афанасий и нашел в них: Евангелие априкос (см. выше) и десять рукописных хронографов.

Далее в «Памятнике» следует ряд грамот. По одной (от Владислава Жигимонтовича) дарована льгота не платить пошлины с дощаников, которые ходят с Холмогор с солью к Вологде для монастырския хлебныя нужды. Ту же льготу повторил в 1613 году и царь Михаил Феодорович. По грамоте 1621 года «монастырских прежних грамот важеским головам рудить» не велено. В 1644 году прислана грамота о невзимании пошлин с продаваемой в Москве монастырской рыбы. В 1646 году Алексей Михайлович дозволил беспошлинно продавать монастырское сало и рыбу и на те деньги покупать хлебные и другие запасы. В 1657 году со старцев не велено брать проезжих пошлин. В 1660 году прислана в монастырь послушная о дозволении написать в монастыре святые иконы иконописцу Федору Усольцу. В 1662 году дозволено монастырю купить в Неноксе соляную варницу. В 1672 году патриарх Иосиф указал игумену Феодосию избрать попа и дьячка с Двины и послать их на Новую Землю для богослужения.

---

27 января 1857 года я оставил монастырь Сийский. 28-го числа мелькнула мимо и осталась назади граница Архангельской губернии, которую привелось изъездить почти вдоль и поперек и истратить на все это долгое время целого года. Расстался я теперь с недавнею знакомою, расстался, может быть, навсегда, и грустно бы, тосковать... Но на душе так весело, на сердце так легко и приятно.

Разболтался я с ямщиком с последней архангельской (Денислав-

ской) станции и поведал ему тут же о своей радости, без обиняков, прямо и откровенно...

— Вот — слава богу! — из Архангельской губернии выбрался. Целый год она меня мучила, целый год ни днем, ни ночью не давала покою.

— А зачем твоя милость туда ездила?

Я рассказал ему во всей подробности.

— Ну, стоило же, паря, для экаго дела свои кости ломать! Нечего же, гляжу, вам там, в Питере-то, делать. На-ко место какое обвалял! Добро бы уж снаряды, лодки и суда ты там смотрел — это, стало, может, так надо. Ну, а песни-то тебе на кой черт?

— Да мне, брат, иная песня пуще всяких судов, пуще всех рыболовных снарядов.

— Ну, это ты врешь — смеешься!..

— Ей-богу!

— Да чего тебе в песне? Песню, известно, девка поет, потому ей петь надо — работа спорится. Опять же наш брат ямщик песню поет оттого, что пять-шесть на голос поднимет да вытянет — гляди, в мыслях-то его перегон на станции и порешился. Тпру! — приехали, значит. В кабаках песню поют потому, что там вино, а в нем дух, сила... Опять же песню эту убогий человек, калика перехожая поет, так тот на песни на эти деньги собирает. Ему это и надо, а тебе-то пошто?

— Мне вот эти стариковские-то песни и краше всех, любопытнее.

— Ну, да это пущай такие поются, что все либо про духовное, либо про старину. В этой и сказку услышишь, и простоишь тут долго: это занятно. Ну, а пошто их писать-то, пошто? Это мне невдомек. Ну, да ладно, знать, ты господин, так у тебя и толк-от господской, особенный. А что радошно тебе теперь назад ворочаться, так это опять же уж у всех одно. И я вон уже назад поеду — в кабак безотменно заверну, коли твоя милость побольше на водочку пожалует.

Просит на водочку и этот ямщик, и все другие. Суетливо, скоро и ловко впрягают они лошадей, и видно: поразвернула-таки их большая почтовая дорога с чистой работой, не слежались их кости, и горошком вскакивают они на свое дело. Они и смотрят как-то весело, и в речах бойчее, и на ответы находчивее, и на жизнь, судя по словам их, смотрят как-то равнодушнее и простосердечнее, чем все те, с которыми привелось мне водиться во весь прошлый год.

С Дениславской станции начал народ покрепче прицокивать и меньше пускает в разговор слов непонятных и новых. Под Каргополем тот же ямщик, восседающий на козлах, та же баба, раздувающая угли в самоваре на станции, нет-нет да и придзекнут по-новгородски, по-волховски.

В последний раз и как бы последним приветом и напоминанием сверкнула вдалеке справа своим порожистым коленом давно знакомая

Онега, не замерзающая в этих местах во всю зиму. Тут уже недалеко озеро Лаче, из которого она берет начало, и далеко ее устье со скучным городком Онегою, с пустынным и гранитным Кий-островом и с выгоревшим Крестным монастырем на нем...

Выясняются новые виды и новые места. Погуще и подлиннее тянутся по дороге лесные переволоки; меньше попадается рек, хотя больше озер, чаще и обширнее деревушки. Как будто самый воздух не так уж тяжел для дыхания, и холод словно умеряет свою ярость и силу. Меньше снегу, меньше пустырей. Реже кресты на перекрестках, но больше раскольников, и много нового, много своего, олонецкого, и как будто, на первый взгляд, лучшего. Может быть, оттого и лучшего, что все это ново, невиданное и неслыханное.

Лучше самого губернского города архангельского края глядит первый по пути олонецкий город Каргополь. Обстроился он множеством больших, красивых и богатых церквей, как бы Галич, как бы Ростов или Углич (17 церквей, 2 монастыря), и ведет сильную и бойкую торговлю мехами (преимущественно белкой) и рыжиками. Но и здесь, в этом городе, воспоминания о политических ссыльных продолжают преследовать: вспоминается А. И. Шуйский [48], которого сослал сюда Годунов и велел удавить, Болотников, атаман Федор Нагиба и другие мятежники времен междуцарствия, которых здесь велено было тайно утопить [49].

Едешь из Каргополя и в летучих наскоро сложенных беседах слышишь про многое интересное впереди. Одни советуют посетить водопад Кивач, воспетый Державиным [50], именно теперь, в зимнее время, когда он особенно картинно страшен и живописен. Другие говорят про Чертов Нос на озере Онеге, где будто бы по прибрежному граниту вырезаны изображения чертей когда-то в века незапамятные. Третьи обещают множество преданий о Петре, построившем в здешнем краю завод, названный его именем и возведенный потом на степень и значение губернского города. По деревням начинаешь уже слышать предания о лесовиках, домовых и водяных, обусловленных общим и метким прозванием *нежить*. Многое новое, и интересное новое, манило впереди: манила Корела, пугающая самую дальнюю Русь своими колдовствами и крепкими чарами, которыми занимаются они с незапамятных времен. Соблазняла дальняя река Выг, корень раскола, сильный и толковый корень, пустивший надежные и крепкие отпрыски по дальним и бесконечно многим местам нашего огромного отечества. Интересовала собой и скорая (в марте) Шунгская ярмарка, где бы еще раз привелось встретиться с поморами, мерзлой рыбой и огромными артелями слепых старцев, по целым неделям распевающими старины, досельные исторические предания о князьях новгородских, богатырях киевских, грозном царе московском и о Петре Великом...

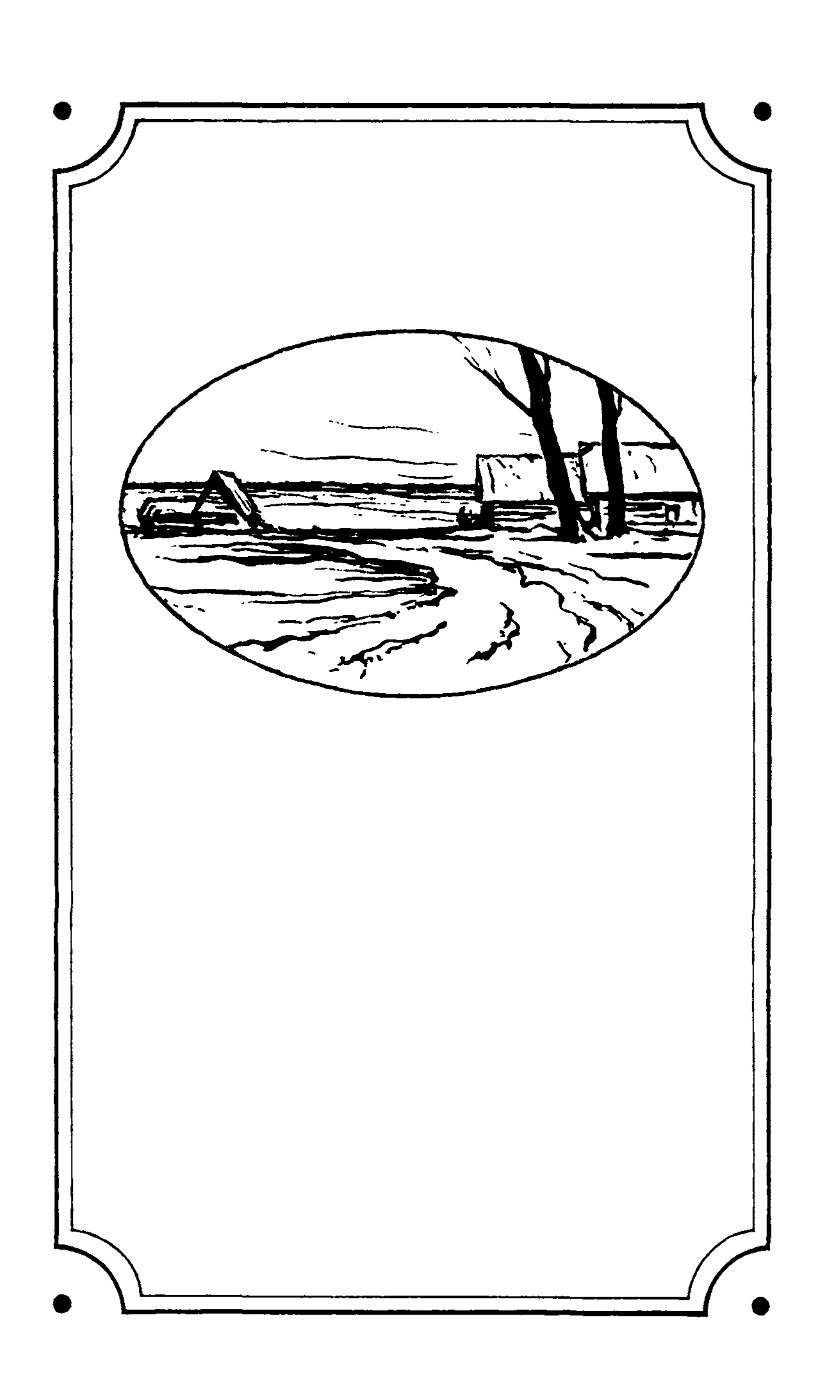
Но опять-таки, истекал казенный срок, назначенный для путешествия: Петербург волей-неволей требовал в свою суетливую, многотрудную и дорогую жизнь, требовал на ответ и отчет...

И вот мелькает мимо богатая и красивая Вытегра со шлюзами и каналом, с памятником Петру Великому на том месте, где он обдумывал план Мариинской системы каналов. Мелькает бедное. но людное Поле Лодейное — *Лодейное* затем, что здесь была когда-то знаменитая во времена Петра Великого олонецкая верфь *лодейная* и корабельная,— верфь, из которой вышли первые русские корабли под императорским флагом. Здесь опять памятник Петру Великому, поставленный на том месте, где был дворец его.

И опять-таки *мелькает* большая и приглядная Новая Ладога со шлюзами же, с каналами, маленький Шлиссельбург с такими же шлюзами... А вот за Шлиссельбургом длинная цепь дач, заводов, фабрик, вот петербургская Нева, Невский монастырь, Невский проспект и вожделенный

КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЮ.

ИЗ КНИГИ „ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ"



ШВЕЦЫ

(Очерк)

К числу необходимых промышленников, составляющих насущную потребность в крестьянской жизни, принадлежат едва ли не более всех *швецы*, которых можно также обозначить именем *деревенских* или, даже лучше, *русских портных*.

В большой части Костромской губернии обязанность швецов исполняют жители одного из самых промышленных и многолюдных ее уездов — Галицкого, который сотнями высылает плотников, пильщиков, каменщиков и печников в Петербург и Москву и столько же разбрасывает промышленников по своей губернии в лице меховщиков, извозчиков, ездящих с мерзлою и сушеною рыбою, со свежими огурцами и проч. Из этого уезда, в конце осени, небольшие кучки швецов плетутся по проселкам и большим почтовым дорогам иногда чрезвычайно отдаленных уездов, каковы, например, северный край Кологривского, по реке Меже и Унже, Ветлужский, Макарьевский, иногда Солигаличский, Буйский и Чухломский. По быту этих-то швецов и обрисовываются картины промысла, представляемые в настоящем очерке.

Замечательно, впрочем, то обстоятельство, что швецовский промысел всегда не зевает укрепляться в той местности, где поживее развита промышленность на разную стать, стало быть, побольше соблазнов на отхожие заработки. На таких простых основаниях завелись швецы в тех центральных пунктах, вокруг которых (иногда на больших расстояниях) всякое иное ремесло знают, исключая этого. Но, само собою разумеется, деревенские портные в наибольшем числе держатся около таких мест, где пристроилось скорняжное дело: выделывают меха, дубят овчины,— как, например, под Романовом (в Ярославской губернии), под г. Галичем (Костромской губернии), где село Шокша выделывает меха, получаемые из Архангельской губернии и из таких далеких мест, каковы печорские отдаленные палестины. В последнем случае швецы пользуются большою известностью, которая дает им смелость знакомить со своим искусством самые отдаленные местности и рисковать выходом на заработки не только в Москву и Казань, но даже и в более далекий Питер. В последнем городе, между прочим, известны шапошники, выходцы из села Молвитина [1] (Костромской же губернии, Буевского уезда). На Волге в большой славе *кислая овчина* — мурашкинцы (из села Мурашкина, Княгининского уезда, Нижегородской

губернии), которые и по присловью — шапками обоз задавили (они тоже зимой шьют полушубки, ходя по деревням, но в остальное время не перестают кормить себя иглой, заручаясь другими заказами). Не боится швецовский промысел и глухих мест, самых заброшенных захолустьев (и даже, кажется, их сильнее долюбливает); так, например, в том глухом углу одного из самых глухих уездов, каков Пошехонский (Ярославской губернии), который прилегает к Вологодской губернии, с деревней Трушковой в центре, все население по преимуществу и почти сплошь — странствующие портные.

В первом случае, когда этот промысел вызывается безвыходною местною потребностью, швецы только временные (осенние и зимние) портные, и тогда они в скромных границах негромкого промысла — ремесленники на короткое время для известного околотка. Количество их считается тогда не сплошь целыми деревнями, а лишь несколькими домами в немногих селениях. Таких мастеров, которые, по пословице, на грош крадут, да на рубль изъяну делают, не помногу, но много во всех уголках России. И если межевать последнюю на губернии в административных границах, а не на украйны и урочища с экономическими гранями, таких швецов на домашнюю потребность в каждой губернии найдется по нескольку кучек в двух-трех уездах. Между прочим, про таковых можно бы и совсем не слыхать, как, например, про тамбовских швецов, которые и шьют плохо, и ходят только по р. Цне, не добираясь до столиц и, стало быть, до ученых исследований и печатных известий.

Но из среды моршанских швецов выделилась историческая личность основателя молоканской веры — одной из наиболее распространенных сект — Семена Матвеича Уклеина, или, попросту и по-молокански,— Семенушки [2].

Будучи уроженцем той местности (под Борисоглебском, Тамбовской губернии), где кормились некоторые от портного ремесла, и он, по завету отца, ходил по деревням с товарищами кроить и сшивать овчины в полушубки про домашний обиход желающих и в казну по подрядам от денежных людей. Поработав у одного из таковых (Побирухина) и вступив в его веру (духоборческую) [3], Семенушка Уклеин рассорился со стариком, ушел от него, покинув жену — дочь Побирухина. Додумавшись до своей веры, во многом отличной от духоборской, Уклеин, под видом и с ремеслом швеца, пошел ее рассказывать везде там, где ему давали работу. В то время когда его товарищи забавляли хозяев в долгие и темные осенние и зимние ночи сказками да загадками, песнями да прибаутками, мистически настроенный и начитанный от книг святого Писания Семен Матвеич проповедовал новую веру: учил держаться одного Евангелия, отвергал церковь и духовенство, советовал собираться на моление для того только, чтобы петь псалмы и слушать и толковать Евангелие. Не побоялся он (когда того потребовали) торжественно войти в г. Тамбов (как бы в Иерусалим), соблазнить в молоканскую веру много народу по Цне, по Хопру. Когда же императрица Екатерина II повелела освободить его из тамбовского острога (куда

попал он после вшествия в Тамбов), он привел в свою секту множество деревень около Новохоперской крепости, под самым Тамбовом (в селе Рассказове), под г. Балашовом. Соблазнил многих из приверженцев духоборства (в Песках) и из исповедников иудейской веры (субботников [4] под саратовским городом Балашовом). Ушел за Волгу и там распространил молоканство по рекам Иргизам и Узеням. Теперь его вера и на Молочных водах в Таврической губернии, и за Кавказом в Бакинской и Тифлисской губерниях, и в Сибири под Томском и на Амуре и на Зее под Благовещенском.

Собственно про этих-то одиночных швецов и предлагается следующий рассказ, поставленный в границы всей безыскусной простоты невинного и полезного промысла.

Не вдаваясь слишком далеко в объяснение причин, по которым бы можно было узнать всю степень важности и значения швецовского ремесла, мы хотим представить простую и нехитрую картину его проявления.

Прямым и неизбежным следствием появления швецов бывают следующие обстоятельства:

Редкий мужичок не имеет на дворе у себя пары две и даже три баранов и овец, составляющих предмет предпочтительной любви и благорасположения хозяек-баб, которые называют этих животных многими ласкательными именами, каковы, например, *бяшка* и даже *яшка.* В продолжение долгого лета эти бяшки до того *закужлявятся,* что к осени потребуют новой стрижки, как бы в замену первой, которая производится в великом посту.

В любой крестьянской избе, в начале ноября или в конце октября, непременно уже открывается следующая семейная картина: все бабы, начиная с *большухи* [5] и оканчивая десятилетней *девонькой,* сидят в *куту*, или заднем углу избы, под полатями, и держат на коленях мохнатого барана или овцу-*яловку*. Бяшка поминутно вздрагивает и жалобно кричит под большими особого устройства ножницами и как бы ждет не дождется, когда кончится эта невыносимая пытка, хотя и приправляемая ласкательствами мучительниц. А между тем огромный *грохот* [6] постепенно наполняется густою волною, которая наконец кладется и в лукошки, за неимением другой подобной посуды. Одновременно с окончанием подобной операции являются в деревнях местные *шерстобиты,* или *волнотепы.* Эти промышленники сортируют шерсть на два отдела: та, которая подлиннее и помягче, назначается для кафтанов и струною *волнотепа* превращается в мочки [7]. Остальная шерсть — густая и жесткая, преимущественно со спины и боков животного, пойдет в продажу и в руках макарьевского и кологривского *валяльщика* превратится в сапоги, которые иной бережливый хозяин четыре зимы носит и не износит, особенно если догадается *подсоюзить* их кожей. Первый, лучший, сорт шерсти, превращенной в мочки, тотчас по уходе

шерстобитов прядется бабами, и приготовленные нитки употребляются для бабьих чулок, или для варежек, или же, наконец, на ткацком станке является сукном-сермягой для *понев* и кафтанов. Может быть, в то же самое время, как бабы исполняют свои обязанности, мужик-большак с сыновьями творит распорядок в подполице или где-нибудь и режет нестриженых яловиц и баранов, для того чтобы после, снявши с них шкуру, иметь овчины для полушубка или даже, пожалуй, и для тулупа. Устроивши таким образом дело, мужичку остается поджидать прихода швецов, которые не замедлят явиться в деревне в средине или конце ноября, но всегда после Кузьмы-Демьяна [8].

* * *

Нетрудно узнать догадливому то ремесло, которым занимаются эти мужички-путники, только что сейчас вышедшие с проселка на большую дорогу и потянувшиеся к виднеющейся вдали черной массе деревни. Почти что новенькие овчинные шубы туго-натуго подпоясаны красными или синими кушаками и надеты на коротенький полушубок. На спине каждого из них крепко привязан небольшой кожаный мешок, укрепленный на груди крест-накрест наложенными ремнями. Внизу ремней из-за кушака торчат огромные ножницы. По ним-то и по мешку назади ясно видно, что путники идут совсем не в Соловки богу молиться или в Питер работой бока протирать: иначе мешок был бы побольше и не кожаный, да и внизу его непременно были бы привязаны пары две или три новых лаптей и, по крайней мере, хоть одна пара сапог. У этих, напротив, даже вместо толстой и суковатой можжевеловой палки видны в руках палочки дубовые, коротенькие, по нарезкам и четыреугольной форме которых нетрудно различить самодельные аршины. Почти все путники немного сутулы и ступают неровным шагом, а не с перевалом, как делают это плотники. Из-под теплой шапки, опушенной у иных барашком, а у других и просто кошачьим мехом, смотрят насмешливые глаза и открытая физиономия: не сонная, как у каменщика и печника, а такая же смелая, как и у иного ярославца — петербургского лавочника. Впереди этой толпы идет парнишко-ученик, который от скуки гоняет носком лаптишек валяющиеся на дороге комки.

В полуверсте от путников показались черные клетухи-бани, предвозвестницы начинающегося жилья. Все они, по обыкновению, обсыпаны большими кучами льняных *отрепьев* — следов недавней бабьей работы. Утро только что началось: в деревне все тихо, и только скрип колодца да дальнее мычанье коровы попеременно нарушают тишину. Из деревянных труб показался черный дым и прямым столбом потянулся к далекому небу.

— Вот он, Починок-то!.. Давно уж мы тут рыщем, а все тебя, молодца, ищем; принимай добрых людей да давай им работу — во льготу! — заговорил один из швецов, слегка улыбнувшись и переглянувшись с товарищами.

— Тереха не утерпел: спозаранку начал белендрясы подводить. Что-то будет, как на работу-то нарвется,— заметил другой швец остряку, всегда неизбежному лицу во всякой швецовской компании.— Говорил бы ты дело-то, путное что-нибудь,— как дела поведем: вот теперь в чем главная причина.

— Как поведем? вестимо, как поведем; нечего тут и разум моторить, коли в деревне весь народ, почитай, на знати. И то молвить, не одни, чай, лаптишки, ходючи сюда кажинную зиму, поизмызгали. Вот дядя Степан седины понабрался, а все, смотри, сюда же лезет. Так ли, дядя Степан, я баю?

— Так, так, Тереха; неча греха таить: скоро двадцать зим минет, как в Починке работу беру.

— Да что тут толковать: толкнемся к соцкому Миките, и дело в шляпе. Поди, он всех баранов перерезал да и овец-то уж, чай, давно пообстриг.

— Эй, вы, люди добрые, нет ли *шитва?* Выходи сюда, кто там жив остался,— говорил Тереха, уже под волоковым окном избы сотского, раза три постучав своим деревянным аршином в доску-подоконницу.

Через четверть часа высунулось бабье лицо, запачканное мукою, и, всмотревшись в путников, улыбнулось.

— Ай, родимые: Тереха, Степан, Петруха, Ванюшка!.. Войдите, ребята, в избу, на дворе студено что-то стало.

— Как живете-можете? — спросила хозяйка, когда швецы, помолившись образам, сели на лавку.

— Твоими молитвами, ничего... живем помаленьку: ни шатко, ни валко, ни на сторону. Где ж у тебя большак-то?

— Да еще третьеводни уехал к барину в город, о сю пору еще не бывал, баял, что долго не будет мешкать. А молодицы-то в баню пошли — лен треплют. Большаков-ребят в Питер отпустили: Гришу в плотники, а Иван, знамо, в печники снарядился.

— Нешто ты, Матрена, Ванюху-то оженила? Кажись, у тебя только одна невестка и была — Аграфена.

— Как же, кормилец, и Иванушку женили, около масленой женили. Хорошая девка попалась — и к работе приобычна, и дела исполняет куды *баско* [9]. Да и то молвить, из хорошего дому ведь пошла: потрусовского старосты Дементья дочка.

— А припасла ты нам работы, тетка Матрена? Ведь вот, поди, теперь и молодицам полушубки надо снарядить. А мы, признаться, на вас только и надежду полагали.

Пока тетка Матрена ходила в голбец *, швецы успели *разболочься* и развязать свои мешки. Вскоре постепенно одно за другим

* Голбцем называют в избе небольшой чулан, с земляным полом, строящийся обыкновенно около печи, под полатями, сейчас налево при входе. Отсюда ведет ход и в подполицу. В голбце ставится домашняя провизия, принесенная из погреба и назначенная на завтрашнее потребление, и кладутся такие вещи, которые должны быть всегда под рукой: топор, лапти, косарь, светец, тяпки и проч., и проч.

показалось из этих мешков: утюги, наперстки, кусочки синего воску, обглоданный мел, наконец, суконный цилиндрик самодельной работы, назначенный для булавок, и игольник с большими и маленькими иглами. Остались в мешке, может быть, только нижнее белье, праздничный чистый платок на шею да новые шерстяные синие перчатки. Хозяйка принесла сырые овчины, извиняясь, что не успела просушить их за отсутствием большака.

— Чего ж у тебя молодуха-то смотрит? Знамо, где твоим старым костям с этим делом возжаться: поди, уж ладышки щелкают. Ну да ладно,— печь топлена, а дело это нехитрое — снарядим сами...

И Тереха с учеником-парнишкой занялся просушкою овчин: он развесил их на шесте перед печкой, несколько раз снимал, чтобы вытягивать руками, а в некоторых местах, для сровнения морщин, ухватывался даже зубами; потом опять вешал и пробовал иголкой в тех местах, которые казались ему просохнувшими. Кончивши это дело, он наметал, намеленной ниткой, *прошивы* и начал кроить, уверенный, что просушенная овчина уже свободно будет пропускать толстую иглу и самые руки его не будут потеть, а следовательно, и затруднять работу. В то же самое время и остальные швецы, Степан и Петруха, кроили сермягу [10], принесенную хозяйкою с подволоки, где висела она для *проветриванья.* Обрезки от овчин и армяка мальчишка-ученик подбирал в то время с полу и клал в хозяйские сумы. Это поступало уже, по общепринятому обычаю, в собственность швецов, хотя между этими обрезками попадались и такие куски, из которых шутя можно составить целую спинку, а чего доброго, и приделать рукава на руки любого верзилы.

Пришедшие молодицы принесли все, какие припасены были ими, нитки. Оставалось только начинать шить; но дело это не состоялось, потому что подоспела пора обеда. Швецы подобрали все, что было на столе, на котором вскоре очутилась огромная чашка со щами. Старшая невестка посолила их, но ушла за хлебом за *переборку* [11]. Молодуха, не заметив этого, посолила в другой раз. Шутник Тереха, следивший за ними, не утерпел и тут, чтобы не отпустить свою заветную шутку: пусть-де посмеются ребята. Он взял из *солоницы* целую ложку соли и размешал ее в чашке уже в то время, когда все уселись за стол.

— Чтой-то, молодец, нешто ты не видал, что я посолила? — заметила молодуха.

— А я, признаться, думал, что уж такой обычай завелся в новом хозяйстве, чтобы все солили,— ответил Тереха и самодовольно улыбнулся, заметив, что обе молодые хозяйки переглянулись.

— Все-то вы, кажись, ребята такие сорванцы, прости меня господи! Вон хоть бы зимусь и в нашей деревне: ваши же, галицкие, ребята были, и Калиной еще и парня-то звали. Шил он у дяди Егора тулуп да и заставил его раздеться всего. Ишь, без того-то, бает, и мерку неловко снимать. Тот и лег на стол: больно, вишь, он прост у нас, куды прост, Матвей-от. И не в догадку ему, что Калина шутки шутит. Этот и мурызни его вдоль спины-то.

да так индо больно, что Матвеевы ребята *по шеям* Калину да и вон из избы.

— И не то бывает, кормилка, коли знать хочешь; ведь недаром и поговорка про нашего брата ходит: швецы-портные...

— Ну, ну, Тереха, видно, мели Емеля — твоя неделя. Ты уж, братец ты мой, не всяко слово в строку мети, нужно и разум знать,— перебил остряка Степан, все время соблюдавший молчание: он давно уже оставил шутки и ведет свое дело серьезно.

— И, дядя Петр! — смалкивай знай невестка — сарафан куплю! Вишь, ведь молодица не знает всех свычаев-то наших. Вот хоть бы, примером, тепереча, слыхала про Власа да Протаса? А нет — так нишкните. Жили, вишь ты, кормилка моя, два брата подгородные, тоже швецы, как бы и мы со Степаном; да и звали-то их по-простецки: сивый Влас да гнедой Протас. Наклевалось им делишко, куды хорошо: у мужика богатого, что деньги помелом метет и лопатой в кузовья загребает. И все бы хорошо, да недоимочка махонькая состояла,— голова-то, вишь, была словно жбан пивной: звон большой, а браги нету,— тоже, как бы вот и ты порассказала, тоже сметка-та к закаблучью, знать, пришита была. Принял он этих молодцов шубу шить себе, а овчин-то дал чуть ли не на две. Влас и Протас, надо вам молвить, знали хорошо, на какую он ногу хромает, и всю его придурь словно по писаному читали. Сговорились они промеж себя да и задумали, в добрый час сказать, в худой промолчать, непутное дело. «Э! — думают про себя,— куда кривая не вывезет, сегодня ухну, хоть утре и будут бока пухнуть».

— Слушай, хозяин,— молвил Протас,— как ты смекаешь, догонит Влас, коли завернусь в эту шубу да вбежки побегу, аль не догонит?

— Нет, догонит! — бает тот. А сам ухмыляется, любо, вишь, на потеху на такую.

— Ан не догонит, хозяин. На что хошь на спор пойду, не догонит.

— Попробуй! — брякнул тот сдуру, что с дубу.

Завернулся Протас да деру задал такого, что любо да два,— индо пятки засверкали. А мужик-то стоит, разиня рот, да любуется:

— Гляди-ко, гляди, ребята, чуть-чуть не догонит; вон как за лес забежит— поравняются... и поймает, беспременно поймает.

— Ишь тебе любо, Тереха,— заметила большуха,— нешто христианское дело затеяли.

— Да и то молвить, тетушка Матрена, быль молодцу — не укора, а мало ли непутных-то делов на белом свете,— ответил Степан.

— У наших ребят руки не болят!...

— Спасибо хозяюшкам за хлеб, за соль да за щи с квасом, а за кашу-то песенку спою,— говорил Тереха, молясь образам.

Когда убрано было все со стола, швецы снова сели за работу. Бабы тоже поразобрали с полок свои копылы [12], и слышно было в избе, как зашумели на полу веретена, обвиваясь новыми нитками.

— Ты из какой деревни, молодец? — начала молодуха.

— Да ты у кого спрашиваешь-то? — сказал Степан.

— Вестимо, кто пошустрей да и позубастей всех,— объяснила тетка Матрена.

— Я-то откуда? да все оттуда ж. Больно молода, много будешь знать — мало станешь спать. Скажи-ко мне лучше: зачем мужа-то в Питер пустила? Неладное дело в вашей стороне ведется: дурак ваш мужик, не тем будь помянут. Женится да и лезет в Питер словно угорелый, как будто мало народу там и без нашего брата шалопая; сидел бы дома, да точил веретена, да жену журил.

— Ишь ты какой сыч, прости меня господи,— заметила молодуха, видимо сочувствуя шутнику Терехе.— Я бы тебе космы-то повытрепала, коли б была женой-то твоей. Стал бы ты у меня по жердочке ходить... Да молвишь ли ты, как зовут-то тебя?

— Меня-то? Терешкой, Терешкой, голубка востроглазая, и парень-то я галицкий ерш [13]. Вон и Петруха ерш, да и мы все тут, почитай, ерши и все галицкие.

— А родня вы промеж собой?

— Да как родня? — когда моя бабушка родилась, вон Петрухин дедушко онучки сушил. Кто у нас не родня? Коли в поезжанах был, так и свой,— вот как в нашей стороне ведется, да, поди, и в вашей так же?

— А ты нешто женат? — продолжала неотвязчивая допросчица.

— Нет еще. Вот уж коли домик путем заведу, а ведь в нашем ремесле из-за хлеба на квас не заработаешь. Теперь все и хозяйство, что вот есть на себе; во дворе скотины — таракан да жуковица, а и медной-то посуды всего одна пуговица.

В таких-то беседах пролетело время до сумерок. Швецы оставили работу. Двое из них, Степан и Петруха, легли на лавке, подложив полушубки под голову. Старшая невестка занялась головою свекрови, которая сначала, словно кот против солнышка, щурила глаза, а вскоре и совсем их закрыла. Тереха в это время подсел к младшей невестке, которая вытирала горшок, и стал балагурить.

Изба приняла тот тихий и спокойный вид, который бывает в самую золотую пору крестьянской жизни и который обозначается русским названием — *сумерничанья.* Тишина в избе дошла до такой степени, что не только слышно мурлыканье кота в печурке *, но даже как баран и овца жевали жвачку в подполице. Это затишье нисколько не нарушалось ни храпеньем большака (который был в отсутствии), ни визгом *меньшака* — неугомонного ребенка, которого еще не было в доме.

Когда уже довольно смерклось, опомнился от забытья Степан. Растолкал Петруху, толкнул в бок ученика и попросил *свету.*

---

* Нелишне припомнить то, что на печь ведет с полу лесенка, называемая общим именем *приступков*, между этими-то приступками и находятся *печурки,* небольшие, в виде окошек, углубления, куда кладутся варежки для просушки, онучки и проч. Здесь же обыкновенно спят и кошки. Верхняя доска приступков, за которую нужно держаться руками, чтобы забраться на печь, называется *причеленка.*

Старшая невестка принесла из голбца треногий светец [14], значительно почерневший от частого употребления и близости искр, и поставила его подле лавки, из-под которой тотчас же вытащила лохань, налитую до половины водою. Ученик-парнишка исщепал целое полено для лучины и высек огня.

Снова началась работа, приправляемая рассказами Терехи. Начал он с шуток и долго болтал молодухе сказку *про белого быка* да о том, что вот *жили да были баран да овца; поставили они стог сенца,— не начать ли-де сказку опять с конца.* Но, видно не найдя сочувствия к подобным рассказам, он начал загадывать бабам загадки.

— Ну, Марья Семеновна, отгани загадку и не хитрую,— сказал Тереха, обратившись к младшей невестке, — слушай! Никто не таков, как Иван Ермаков: сел да поехал, слышь, прямо в огонь.

Задумались бабы все до одной; молодуха было сунулась с «ухватом», да не туда попала. Тереха улыбнулся и покачал головой; что ни говорили бабы, все не то, даже Степан предложил было «пожар», да и он не потрафил. Перебрали наконец все, что попадалось на глаза, но, к несчастию, забыли «горшок» и испортили все дело.

На один горшок — бабий струмент и любимое детище — у Терехи нашлось тридцать загадок,— всего больше. А пошел он по избе глядеть, так загадывал загадку про все, что на глаза попадалось: и про сучок, и про матицу, про тябло — божницу и про ставец — шкапчик. Зарябили в глазах знакомые образы и звания, да так затуманены, что голова разболелась. Но ловкий шутник приемы знал: повел вон из избы и довел до самой двери.

— Ну еще,— продолжал разговорившийся загадчик,— два стоят, два лежат, один ходит, другой водит.

— Дверь! — с радостью закричали все бабы.

Выведя за дверь и задав задачу для бабьей сметки на вольном воздухе, шутник-швец попал чуть ли не в самое богатое место, где для вдохновения загадчиков, дедов и учителей Терехи, не было пределов: выучились они допрашиваться сметки и про такие мудреные задачи, как ветер в поле, гроза в небе, мороз и роса на земле и вся красота поднебесная; надоумели прикрывать иносказанием и все то, что растет в лесу и любезно сердцу, от гриба до ягоды, и все то, что вызревает на огородах: и лук (баба на грядках, вся в заплатках), и редька (пуп в луже, борода наруже), и морковь (девица в темной темнице, коса на улице), и капуста, и хмель — милый друг, и горох, и репа — чего слаще нет. А на соху, на борону, на овин и косу стариковским загадкам, кажется, и счету не подведешь.

Замотал Тереха короткую бабью память и ленивую сметку до того, что самому стало скучно. Уважил он их напоследок и перестал ходить по задам, когда повел свинью из Питера, всю истыкану.

Хозяйки в один голос закричали: «Наперсток»,— и даже дошло до того, что старшая невестка вынула из кармана, который привязан

был у нее на поясе подле левого боку, это орудие и показала его Терехе.

Неугомонный шутник рассказывал потом настоящие сказки, предварив, что это бывальщина и случилось от него по соседству. Рассказанная сказка воодушевила не только баб, но даже и остальных швецов, из которых каждый рассказал также по бывальщине. Невестки только слушали, дивились диковинкам и искренно верили рассказываемому. Одна только свекровь заметила, что песня — быль, а сказка — ложь; но тотчас же рассказала про лешую, которую сама видела, когда, еще бывши молодухой, мыла белье на реке.

— Сидит водяница на колоде, и такая-то большущая да рыжая, а волосищи почитай что не до пят стелются, а вода-то, кормилицы вы мои, так и льет, так и льет с волосищ-то. Взглянула я, родители вы мои, и — обомлела: и поджилки затряслись. Слышу, вот как хоть я вас теперь слышу: захлопала водяница в ладоши да совой и заухала. Как добежала до дому, кормилицы мои,— уж и не помню: словно кто пришиб мне память-то. Опосля мне, как опомнилась, рассказывали, что священника-де призывали отчитывать, так инда перепужалась я водяницы-то...

— Бывает, Матрена Селифонтьевна, бывает. Вот ведь недалеко ходить: бродишь ину пору по лесу за грибами, алибо что... ходишь, ходишь, а все к одной березе придешь. Придешь, ну вот так вот и видишь: береза та, и муравейник тут, около... вон и палку еще бросил на муравейник-то, ну и та... тово... тут,— поддержал старуху Степан.— Да чево, бабушка, вот у меня пара *животов* на дворе стоит. Пришел я раз, коло Покрова: сивко стоит, хоть бы што... а саврасая кобыла, что у благочинного купил, в мыле. В мыле, слышь, Матрена Селифонтьевна, словно кто на ней целую ночь ездил. Что ни говори, а *домовик* это ездит, лесовик это в лесу тебя обходит...

— Ох! что и баять, кормилец, кому, как не ему, домовику этому... Я уж, как из старого дому перебиралась, кирпичик из чела в печи выломила да в *коник* * и положила; вот тебе грех молвить,— а не хочу и таить,— положила. Ну... и ничего: коровушки, благодаря бога, живут, овечки тоже. Вот и гнедку почитай что кажиную ночь гриву заплетает. Подберет эдак, знаешь, косички и репейником поизукрасит: таково-то индо любо да красиво.

Между тем время незаметно подходит к ужину, и молодая хозяйка, накрывши на стол, приглашает швецов:

— Садись и ты, Терентий Иваныч, поужинай, чем бог послал, чай, уж, поди, попроголодался маненько.

— Да у нас, Марья Семеновна, коли признаться сказать, не ужинают,— отвечал Тереха, потягиваясь, а насмешливая улыбка так и прыгает по его рябому лицу.

---

* *Коником* называется род ящика, устраиваемого под лавкой, в левом заднем углу. Ящик этот закрывается задвижкой, свободно двигающейся в обе стороны. В конике обыкновенно запирают кур зимою; летом сидят они на дворе на *наседале,* устраиваемом из жердей где-нибудь в углу. В коник кладут также лапти, топоры, но только в другое отделение, отгороженное от куриного доскою.

— Что ты баешь, не ужинают: да как же ложатся-то?

— Как? а поедят маленько да *так* и ложатся!..

Поработали щвецы и после ужина, вплоть до того времени, как запели вторые петухи. Один только Тереха, кончив незаметно полушубок и наметавши еще рукава на кафтан, завалился вместе с прочими на полати.

На другой день приехал и сам хозяин — соцкий, в то время когда швецы сшили два полушубка, два армяка, теплую шапку хозяину и целую овчинную шубу хозяйке. Хозяин примерял свое, прошелся раза два по избе, заставив баб посмотреть: ладно ли сшито, не мал ли воротник и не жмет ли ему под мышками. Оставшись довольным, он рассчитал швецов по заведенным ценам: отсчитал два рубля за два полушубка, рубль двадцать копеек за два армяка; семьдесят копеек за шубу и пятьдесят копеек за новую теплую шапку *.

— Слушай-ко, Степан Михеич,— заговорил соцкий, доставши из ставца ** бутыль водки и угощая швецов.— Давно меня задор пробирал спросить тебя: куда подевался шоринский Матюха: еще такой песни гораздый был петь, что твой ину пору Терентий?

— Эх! загубил он свою душу, как есть загубил ни за денежку. И не то чтобы запивать что ли *хрушко* [15] стал: еще это куды бы ни шло, а то — как бы тебе молвить?.. Задурил...

— Да чего задурил? — перебил Терентий.— Бахвальство, вишь, в нем завелось, хозяин. Форс-от этот проклятый его и подгогулил. На руку нечист больно стал — вот оно что! Так мы его и не берем по этой причине. И то про нас худая слава. Чего не скажут: и «нет воров супротив портных мастеров», и «словно бы нам только мерку снять да задаток взять», будто бы мы чего получше и не стоим. Не нашей иглой каменные дома выстегивают, и строчка-то наша по тому полотну, какое дают, а кроим — сам видал, чай,— к старой одеже новую прилаживаем, иначе и не примеряешь. Вишь, он какую *однова* штуку удрал у Игнатовских. Надыть тебе молвить, он шубенкой тогда поизносился, ну и армячишко, признаться, с плеч уж полез; а все чихирем-то вот этим не в меру занимался. Пошел он, вишь, к Игнатовским; думает: наши ребята туда мало ходят, коли что и сделаю — не узнают. Понаведался. Дали ему, примерно, работу; свалял себе шубу ночью да и след показал. Сам еще нам и делом-то этим похвалялся; и сошло было с рук. А вот на другом, так словно

* Разумеется, ассигнациями. За починку платят по 50 коп., за вставку двух новых рукавов 10 коп., за шаровары 10 коп., за шубу маленькому 10 коп. С кучеров, за бахвальство, берут за шаровары рубль.

** *Ставец*, или посудный шкаф, небольшой, с двумя полочками, существует только у зажиточных, которые держат и водку постоянно, и самовар, и другую необходимую для чая принадлежность: чай, чайник и чашки. Тут же лежат и ключи от амбаров и погреба. У бедных крестьян ставец этот заменяется простым *залавком*, устраиваемым за переборкою, около печи. Тогда здесь уже ставится какой-нибудь кисель, колобушки, *сулой* (ячменная жидкость для приправы к овсяному киселю) и проч.

на льду обломился. И случилось-то это дело непутное тоже коло нашей деревни: купил, вишь, лошковский мельник Дементий ячменю хорошего, а Матюха на ту пору работал у него да и заночевал, примерно. Встает Дементий мельник поутру да и спохватись ячменю-то; совался мужик туда и сюда: все закоулки поисшарил. Нет ячменю, словно помелом кто вымел; пропал ячмень совсем, и с мешком, и с веревочкой.

— Не видал,— бает,— Матюха, куда ячмень подевался?

А тот, словно правый, за работой сидит и нитку еще в ту пору вдергивал.

— Нет, Дементий Андреич, не видал; слышал, признаться, впросонках, словно твой Жучко на кого лаял, а не видал. И греха на душу брать не хочу; не видал. Ну, заперся, слышь, заперся, словно и невесть что! Да уж по весне узнали, кто греху был причастен: сам же Матюха и привез к Дементию. А ячмень-от был не нашенский, а заморский, еще и у барина-то у Безинского купил. Пошла про Савву худая слава: мы его не берем, одному ходить — неповадно, да все уж и знают; а нет, так и мы подкузьмим. Посовался Матюха туды да сюды: видит — дело дрянь, не выгорает; так он по весне и сгинул, словно топор ко дну. Бают ребята, что в Рыбное [16] потянулся в бурлачину. Ну уж там, знамо, уховерт-народ, не клади пальца в рот, зараз тяпнут.

Только что вышли швецы от соцкого и показались, в полушубках нараспашку, середи улицы, почти изо всех окон послышались приглашения. Между громкими бабьими криками особенно, резче всех раздавался одной.

— Нишкните-ко, ребята, чтой-то солдатка-то больно зазывает? — спросил Степан.— Нешто много работы у тебя?

— Понька * есть, полушубок, кормильцы.

— Ишь ведь, горлодериха эдакая,— бабью работу зазывает: поньку шить; нешто у самой-то руки отвалились? Поди-ко, Терентий, учи ее, глупую, уму-разуму да втемяшь ей хорошенько, чтоб вдругорядь не навязывала чего не следует. Сшей ей полушубок-то да и приходи к нам,— распорядился старик Степан, видимо обиженный и принявший предложение шить поньку за насмешку.

Компания швецов разделилась. Все они разбрелись по разным избам и в одиночку; один Степан вдвоем с учеником, Тереха между тем явился к солдатке.

— Кошку бьют — невестке намеки дают; поньку-то ты шей сама: ваше это дело, бабье, а вот коли полушубок есть, так стачаем. Давай, где он у тебя тут?

— Ишь ведь как ты расчуфырился, словно и невесть что обидное молвила. Я и сама, коли хошь, так сдачи дам.

— Сдачи мне твоей не надо, береги про себя; а мы не то что с бабой, и с волком справлялись! — говорил Терентий уже не тем

* Женское верхнее платье в виде полуармяка, без рукавов, которое шьется самими бабами, потому что работа чрезвычайно простая.

шутливым голосом, а таким, какой был бы даже впору и самому старику Степану.

— Знаешь ли, тетка, как я волка надул? — продолжал он, садясь за работу.— Шел, вишь, я по полю, отседа не видать, бежит серый по лесу да ухмыляется.

— Здравствуй, швец-молодец, дай я тебя съем!

— Дай,— говорю,— запрежь хвост тебе аршином смеряю.— Взял я его хвостище кужлявый, намотал крепко на руку, да и лудил я его аршином по спине, инда самому больно стало.

— А все мне тебя, швец-молодец, съесть хочется. Целый день,— бает,— рыщу: живот подвело!

— Нет,— говорю,— мои кости неломки: зубы не возьмут. Поди, вон баран ходит по горам, авось, может, послаще будет. Прост ведь серый-то, хоть бы вот и ты, тетка Лукерья. Так, что ли, тебя величают? Да ты смотри не обидься!

— Меня-то? Офросинья меня зовут.

— Ну вот, тетка Офросинья, у меня тоже бабушку звали Офросиньей и сестра была Офросинья. Так о чем бишь я тебе молвил?

— Баран там, что ли, по горам...

— Так вот, вишь, пришел он к барану и тоже есть попросил, серый шут. «Вставай,— бает баран,— под гору, а я как раз тебе в глотку вскочу». Распялил серый пасть, а баран как мурызнет его в лоб рогами, так что мой волк *вперемековшки* *. Все, слышь, зубы во рту повышиб, и есть уж нечем стало. Опомнился серый, да позапоздал маленько: швец-то, поджавши ноги, строчку строчил, а баран сено жевал в подполице.

— А вдругорядь ты понек не сули!.. Эдак и сарафаны нашему брату шить доведется,— заключил свою речь Терентий у новой хозяйки.

* * *

Таким образом, переходя из избы в избу, из деревни в деревню, сообща, в компании и в одиночку, особняком, смотря по количеству наличной работы, швецы проходили на чужой стороне далеко за зимнего Николу [17]. Осталась всего неделя до Рождества Христова; ясное дело, нужно провести этот праздник в кругу домашних, по обычаю и по заветной мысли.

И вот швецы уговорились сойтись в первом питейном ближайшего села, чтобы разделить сообща и поровну свои заработанные деньги и опять вместе держать путь на родину. Степан, как предводитель и самый старший между товарищами, производил дележ. Досталось каждому, вместе с заработанными им самим деньгами, около пятнадцати рублей серебром; Степану немного побольше, потому что он ходил с учеником.

Немедленно совершены были *слитки*, или так называемый *запой*,

---

* Местное выражение, означающее: *кувырком; мурызнуть* — ударить больно.

товарищи поздравили друг друга с прибылью. Ученику-парнишке куплены были две бутылки меду и пряники. Тем бы дело и кончилось, если б Тереха не увлекся легким похмельем и не спросил себе кое-чего покрепче да и в посудине побольше. Петруха не отставал и тоже за спасибо угостил товарища. Через полчаса Тереха уже стлался вприсядку по уродливому полу кабака и визжал пьяные и нескладные песни. Собралось народу много, желая посмотреть, как-де швецы запой творят, пляшут и песни галицкие поют. Петруха достал у целовальника балалайку и тренькал на ней для большего задору Терехи. Дело кончилось тем, что мужики-зрители прельстились удальством галицкого ерша и начали его потчевать. Бог весть что бы дальше было, если бы не стояла на стороже братская дружба и опытная старость в лице старика Степана. Он кое-как уговорил товарищей идти, после многих ругательств Терехи и упирательств и руками, и ногами Петрухи. Степан хладнокровно перенес все обиды, держась пословицы: «пьяному море по колена; не сам говорит, а хмель за него распорядок творит».

— Что ж ты не пил, дядя Степан,— а ведь знатную штуку удрали; инда мужики тутошные потчевать начали,— говорил очнувшийся на другой день Тереха.

— Куда уж мне, с своею старостью да с немоготою, тягаться за вами? Бывало, брат, время, тягивал я куды хлестко. Не только тебя, а вот и Петруху бы *завидки* * взяли: штоф ошарашишь — словно ни в чем не бывал, еще косуху в придачу попросишь... только ухмыляешься да и песенки попеваешь. Ноне не то стало: хватишь стакашка три для куражу да от холоду, ну,— и удовлетворен с почтением. Вам, ребята, хорошо, пока вот молодух-то не завели; тогды, вестимо, другую песню затянешь.

Так совершает швец свою нехитрую работу, перемежая ее прибаутками и присказками. Мужик любит его за такие одолжения и не прочь, в длинный и скучный зимний вечер, послушать его веселых рассказов: на то и сказка придумана, чтоб добрых людей потешать. Иной раз и страшно сделается, и чуется привычному уху, как

По селам ткут,
По деревням ткут.
Одна баба-яга,
Костяная нога,
Помелом метет.
Вдоль по улице
Захотелось ей
Все б по Ваниным
Да по Машиным
Все б по косточкам
По ребяческим
Покататися,
Повалятися.

И вспомнит, может быть, мужичок то благодатное время, когда бабушка напевала ему своим дрожащим, старушечьим голосом

* Существительное имя от глагола «завидовать»,— местное выражение.

ту же присказку. И головой она качает, и голос ее как-то страшен стал. Страшно сделалось и ребенку: завернулся он в бабушкину плахту, только видна его головенка; крепко боится ребенок буки. Смотрят его испуганные глазки на старуху, слезинки так и прыгают по разгоревшимся щечкам. Долго глядел он на морщинистое лицо рассказчицы и вдруг заплакал, да так громко заплакал, что самой бабушке страшно стало.

Изо всех сказок швецов про швецов — вот одна самая характерная и любопытная.

Когда-то жил-был царь на царстве, на ровном месте, как сыр в масле. Этот царь охотник был сказок слушать. И послал он по царству указ, чтоб сказали ему сказку, которой еще никто не слыхал.

— За того, кто лучше скажет, отдам полцарства и дочку свою, царевну.

Этой сказки сказать никто не находится.

Приходит из кабака швец, говорит царю:

— Ваше царское величество! Извольте меня напоить-накормить: я вам буду сказки сказывать.

И напоили, и накормили, и на стул посадили.

И стал швец сказки сказывать:

— Как доселева был у меня батюшка, богатого живота человек! И он построил себе дом: голуби по шелому ходили — с неба звезды клевали. У этого дома был двор: от ворот до ворот летом целый день голубь не мог перелетывать. Слыхали ль такую сказку вы, господа бояре, и ты, надежа царь великий?

Те говорят:

— Не слыхали.

— Ну, так это не сказка, а присказка: сказка будет завтра вечером. Теперь прощайте!

И ушел.

И приходит опять на другой день, и говорит:

— Ваше царское величество! Извольте напоить-накормить: я вам буду сказки сказывать.

И напоили, и накормили, и на стул посадили.

И стал швец сказки сказывать:

— И как доселева был у меня батюшка, богатейшего живота человек! И он состроил себе дом: голуби по шелому ходили — с неба звезды клевали. У этого дома был двор: от ворот до ворот летом в целый день голубь не мог перелетывать. И на этом дворе был выращен бык: на одном рогу сидел пастух, на другом — другой; во трубы трубят и в рога играют, а друг у друга лица не видят и голосов не слышат. Слыхали ли такую сказку вы, господа бояре, и ты, надежа царь великий?

— Нет, не слыхали.

Шапку взял да и ушел.

Царь видит, что это человек непутный; жаль стало царевну отдать,— говорит боярам:

— Что, господа бояре? Скажем ему, что слыхали такую сказку, и подпишемтесь.

Бояре согласились, что слыхали-де такую сказку, и подписались.

На третий день приходит этот портной и говорит:

— Ваше царское величество! Извольте меня напоить-накормить: я вам стану сказки сказывать.

И напоили, и накормили, и на стул посадили.

И стал швец сказки сказывать:

— Как доселева жил-был у меня батюшка, пребогатого-богатого живота человек! И состроил он себе дом: голуби по шелому ходили, с неба звезды клевали. У этого дома был двор: от ворот до ворот летом в целый день голубь не мог перелетывать. И на этом дворе был выращен бык: на одном рогу сидел пастух, на другом — другой; во трубы трубят и в рога играют, а друг у друга лица не видят и голосов не слышат. И на дворе была выращена кобыла: по трое жеребят в сутки носила, и все третьяков. И он в ту пору жил гораздо богато! И ты, надежа царь, занял у него сорок тысяч. Слыхали ль такую сказку вы, господа бояре, и ты, надежа царь великий?

Господа видят, что нечего делать: говорят все, что слыхали.

— Ты, великий царь, занял у моего батюшки сорок тысяч денег: вот, вишь, все господа слыхали. А ты мне денег до сих пор не отдаешь.

И видит царь, что дело нехорошее: надо отдать царевну и полцарства либо сорок тысяч денег.

Отдал ему сорок тысяч денег.

И пошел этот портной опять в кабак с песнями.

Вот и сказка вся.

Мало этих рассказов,— швец, за отсутствием большака, наколет, пожалуй, и дров и воды натаскает в избу; сам и лучины нащиплет. Хоть и поведет он на будущую зиму те же обычные прибаутки, какими тешил и запрошлый год, но ведь и то сказать, иную пору и старое годится, коли хорошо да потешно. Так рассуждая, мужичок любит своих швецов-прибауточников и всегда принимает их радушно и для угощенья их ничем не скупится. В свою очередь, и деревенские ребята любят швецов и ни в чем на отстанут от старших: поят их вином, уступают первое место на *супрядках* *, подводи лишь только белендрясы, чтобы и им было любо да и девкам потешно.

Вот почему швец хотя и шабашит в субботу и ничего не работает в праздник, но зато всегда найдет в праздник теплый угол и горячие щи в любой деревенской избе. Впрочем, это и не так необходимо, потому что холостые ребята утром побывают в селе, а вечером уже непременно до вторых петухов сидят на поседках. У женатого швеца своя компания: он или в избе на полатях, или на крыльце кабака *судачит* с словоохотливыми мужичками о хозяйственных делах: каково-то бог даст на будущий год лето, будет ли урожай, да мало что-то снегу выпало: не померзла бы озимь.

---

* Собрание девушек осенью с 1 ноября до 23 декабря, для приготовления пряжи.

Праздник Рождества швец уже непременно встречает за заутреней в сельской церкви своего прихода. И если нет после праздников работ по соседству, он, смотришь, копается около дому: новые дранки на крышу положит; двор вновь выстелет, если есть запасная солома; лаптишки тачает, веревки вьет; себя и своих обшивает, баб уму-разуму учит,— одним словом, исполняет все, что требуется по хозяйству. Там, посмотришь, весной,— он подновляет телегу, снаряжает соху, или косулю, клеплет косы, закупает серпы и незаметно входит в сферу жизни семьянина-пахаря. Чирикает его лопатка по косе где-нибудь на лугах; изогнул он свою спину на пашне и подрезает серпом высокую рожь и пшеницу. Наступит осень — и повез швец-прибауточник целый ворох *снопов* на своем скрипучем *андреце* * в овин. На другой день он или стоит на *запажинах* ** и, высунув из *садила* *** голову, кладет снопы на *колосницы* **** для просушки, или хлопает *молотилом* ***** по высушенным и разбросанным по *току* ****** колосьям. А может быть, везет он, на своем любимом гнедке, в *половни* ******* уже обмолоченную готовую *перхлину* ********.

Одним словом, весною, летом и в начале осени швец ни в чем не отстает от любого своего соседа, мужика-нешвеца. Но лишь только

---

* *Андрецом* в некоторых местах Костромской губернии называется такая телега, которая устраивается, во-первых, отлого назад, так что боковые палки, правая и левая, лежат на земле, а во-вторых — она бывает двухколесная, часто, впрочем, и четырехколесная, но тогда она совершенно похожа на телегу. Все различие в том, что напереди и назади андреца ставится род лесенок, для удобного и большого помещения снопов; а потому и бока андреца гораздо выше тележных.

** *Запажинами* называются в овине доски или лавочки около стен, устраиваемые для предосторожности от искр, могущих залететь в снопы. На запажинах обыкновенно остается много зерен, которые и очищаются метелкой в лукошки.

*** *Садило* — окно овина, в которое принимаются снопы.

**** *Колосницами* называются бревна, неплотно положенные вместе, так что остаются свободные промежутки для протока нижнего жару. На них-то и кладут снопы для просушки. Колосницы эти разделяют овин на две части: для нижней, или *ямы*, они служат как бы потолком, а для верхней, где лежат снопы,— полом.

***** *Молотило* — всем известное орудие для молотьбы хлеба, состоит из длинной палки, или *ручки*, и собственно колотила или *тяпала*, небольшой, в аршин длиною, палки, которая прикрепляется к ручке ремнем и гвоздями.

****** *Ток*, или *ладонь*,— гладкое место, на котором разбрасывают уже высушенные и освобожденные от завязи снопы. Ток этот приготовляется следующим образом: назначают прямоугольный клочок земли, который проходят *косулей*, или сохой; дерн, оставшийся после этой операции, уносят. Оставшиеся коренья вырезают старой косой; потом приготовленное таким образом место, будущую *ладонь*, *осаживают*, т. е. убивают огромной колотушкой или, чаще всего, проезжают, на лошади, огромным цилиндром, каменным и окованным железным листом. Затем несколько раз поливают, и дело кончается — остается обровнять топором края ладони, называемые *берегами*.

******* *Половня* — амбар около овина, устраиваемый для вымолоченной соломы.

******** *Вымолоченная* мякина называется *перхлиной*. Она чаще всего складывается в стога, которые служат приютом для сов и пугачей, а также и для мышей, или *полевок*.

пооблетит весь лист с черемухи, что растет под самыми окнами его избы, и опустеет скворечник, что приделали балуны-ребятишки на длинном шесте подле амбара,— он уже чует близость любимой работы. Кончится в хозяйстве *капустница* *, перемелется собранный хлеб — смотришь, на двор подоспела уже и осенняя Казанская [18], заволокло снежком всю улицу; валит пар в избу, лишь только отворит баба дверь или волоковое окно; а грачи и вороны так и гоношат, чтобы сесть поближе к трубам на крыше. Пришло время ребятам обновы шить к празднику, шубенку какую или армячишко,— чтоб и на зиму заручка была. И вот дня три или четыре ходит швец по соседям до самой Казанской. А там, смотришь, недели через две или три он начал приготовляться и к дальней дороге.

Дня за два хозяин подговорит прежних товарищей и назначит им время зайти за ним. С вечера накануне велит хозяйке приготовлять путину: одежонку, какая понаберется по скорости, лепешку какую-нибудь с творогом, яиц вкрутую. Сделает на другой день *запой* с ребятами-спутниками, и снова поплелись швецы, по ухабистой дороге, в знакомые селения — шутки творить, работу спорить.

Вот вся нехитрая жизнь и работа галицких швецов! Но прежде, чем он сделается независимым хозяином, ему предстоит еще много испытаний, начиная с той поры, как он, парнишкой, расстается с родной избой, до той, когда кончит ученье, т. е. сделается работником-подмастерьем.

Вот как обыкновенно делается это дело: не в силах отцу прокормить большую семью, или проще — зашалился у галицкого мужичка парнишко, ладу с ним не стало, а ведь надо сделать из него путное дело. Вырастет балбесом — ни семье в прок да и себе только маета. Думает, думает отец и ума не приберет,— как бы извернуться с блажным детищем. Ляжет на полати — сон не берет; то и дело перевертывается с боку на бок, только полати скрипят. На лавку ли сядет: закусил клочок бороды и голову повесил, а сам искоса поглядывает и на жену-большуху, и на баловника-парнишку, который вот только что сейчас всех кур, бураком с бабками, перешугал из коника. Выбежали куры посередь избы и закудахтали,— так что насилу *сама* уняла. Сели за ужин; ничего большак не ест и словно не глядел бы ни на что. Лег он спать; опять та же дума лезет в голову: в Питер, Нижний, в Москву пустить — баловаться еще пуще станет без родительского смотренья. Наконец кое-как решил поместить балуна около своей деревни, держась пословицы: дальше моря — меньше горя.

Встал большак поутру — ухмыляется, так что и бабе-жене любо стало. Ломало, ломало вчера, думает она, словно и невесть что приключилось. Бурей такой смотрит,— инда и словечка боялась

* *Капустницею* называется, как всякому известно, время рубки капусты, бывающее обыкновенно не позже 1-го октября,— веселое время девичьих потех и лакомств кочнями.

промолвить: залепит туза, другой раз не сунешься. А сама крепко следит за распорядком мужа: надел он полушубок, платком и кушаком туго-натуго подвязался; надел на ухо шапку-треух, а сам улыбается и хоть бы словечко промолвил. Берет нетерпеж бабу, и только бы спросить, куда-де собрался,— а боязно: ляпнет старый, ни за что ляпнет. Пошел большак к двери и только за скобку...

— Обедать ждите! — таково-то громко промолвил, инда душа в пятки залезла, и повернул на зады. Обогнул вон и бурмистрин овин, и земского клеть назади оставил, и свою баню прошел. Ну, знамо, куда, как не в Демино! — решила большуха, следившая за путешествием мужа.

И действительно,— вот что случилось: пришел большак прямо в швецову избу, что хозяином всегда ходит и учеников берет на выучку.

— А я к тебе, дядя Степан.

— Милости просим! Что тебе надыть, дядя Митяй?

— Не возьмешь ли парнишку на выучку? Я б Ванюшку свово во бы как рад отпустить.

И дядя Митяй показал рукою на сердце.

— Да ты как его хочешь пустить? Работника, сам знаешь, я не держу: один за всем смотрю; а в ученье я уж взял, признательно, одного молодца. Сам и упросил, сам и выбрал изо всей деревни,— что есть смирену. Вишь, ноне я не пойду далеко-то,— хочу около своих походить.

— Яви милость, дядя Степан,— не откажи, уважь просьбу-то! Заставь со старухой вечно бога молить. А уж в другом чем мы не постоим: что хошь возьми, только научи парнишку уму-разуму. Вестимо, как у вас там ведется,— потом и дадим.

— Да как у нас ведется, на сколько зим-то ты хочешь отдать?

— Твое дело, дядя Степан, твое дело; на сколько хошь отдадим: во как!! — говорил обрадованный отец, а сам ухмыляется. Подсел к Степану, и кота гладит, что у того под боком мурлыкал, и шапку с места на место перекладывает.

— Об одном только и толк весь: возьми парнишку, а о зимах не толкуем.

— Берем занятного на три зимы,— заговорил Степан,— а коли туп молодяк да не скоро толку-то набирается, ну — и пять зим живет. Дольше и не держим, да и в заводе нету этого. Одевать-то его сам, что ли, станешь?

— Где самому,— ты уж одень!

— Ну, а заручку дашь, что ли, какую?

— Знамо дело, дядя Степан, масла дам, яиц... коли надыть, сушеной черники. Всего, чего хошь, дадим.

— Яиц мне ненадобе: своих много. А вот кабы медку прислал — важно бы было!

— Ладно, ладно,— меду большущий бурак... ниток... Холста, поди, хочешь?

— Не мешает и это. Ну, а как науку кончит, мне зиму должен

служить без платежа — на *спасибо*. Одежонку всю сошью, а ученье кончит — тулуп бараний, шапку тоже от себя дадим. Ладно ли?

— А ладно,— так проводи утре Ванюшку, и дело шито!

На том и порешили.

Пришел Митяй домой на радостях,— словно сейчас оженился: и весело таково смотрит, и за обедом с лихвой наверстал вчерашний ужин. Потом немного повозился на дворе; разболокся, лег на полати, свесил *с бруса* голову и повел такие речи:

— Спишь, Офимья, аль нету? Да где Ванюшка-то?

— Нет, не сплю, пахтанье пахтаю!

— *Шляки* * считаю! вон вечор Гришка Базихин всего облупил: два десятка гнезд ** выиграл,— отвечали два голоса на хозяйский позыв.

— Утре в ученье идешь! — решительным голосом продолжал отец.— С деминским Степаном сговорился на три либо на пять зим. Обещал шубу сшить. Только меду бурак попросил, да холста, да ниток пять *пасм*. Шабаш, Ванюшка, баловствам твоим непутным, садись за иглу, авось толку-то побольше будет. Приготовь ему, матка, полушубок, портянки. Лаптишки-то сам пособери, какие там есть у тебя, да еще что придется... Шляков, мотри, не бери, пучеглазый, некогда будет баловством заниматься, слышь?..

На другой день мальчишка, со всеми прибавлениями, был уже в швецовой избе, хоть и не дальше пяти — семи верст от своей деревни. Вечером, при огне, он уже получил работу — *задачу:* наложить заплатку на старый хозяйский армяк. Учитель усадил его на лавку, научил класть ноги по-швецовски — калачиком, держать иглу и вощить нитку. Долго возился парнишка с непривычной работой, наконец одолел и отдал хозяину.

— Ишь ты каких косуль накропал! — сказал тот с ободрительным видом и насмешливою улыбкою, рассматривая куда как плохо заштукованную прореху.— Ну да ладно,— на первых порах и то печево, как есть нечево. Опосля смекнешь, коли в толк будешь брать да слушаться. Бают ведь старики: тупо сковано — не наточишь, глупо рождено — не научишь, а коли сметка есть — пойдет дело в *кон* ***. Наша работа нехитрая — мало-мало всякая баба не умеет. Главная причина — не балуйся да не повесничай: запрежь говорю. Денную работу сполняй безупречно, как по писаному; а на шабаш что хошь делай, только чтоб мне не было тошно. Вот как по-нашему! Уж я человек вот каков уродился: имей ко мне лишь обычай да потрафляй, в чем тебе потрафлять мне надыть,— и жить в миру будем, не обижу тебя и отцу твоему угодим. А коли супротивность какая выдет да дело волком в лес глядеть станет — ну, знамо, пеняй на себя да на свою спину; я тебе толком запрежь говорю.

---

* Местное название *бабок*, у которых есть и другое имя — *колонки*.

** Так называются три бабки вместе: из трех гнезд составляется *кон*: цена гнезду ½ коп. асс.

*** Или в *ход*; местное обыкновение употреблять удачу ставке бабок в кон.

– Есть у меня про вашего брата штука, не одного тебя в люди вывела,— заключил наставник и показал ременную плетку.

Плетка эта составляет также необходимую принадлежность всякого швеца, который имеет учеников. Он и носит ее всегда с собою, в заветной кожаной суме. Устройство этого орудия чрезвычайно оригинально: это — длинный, тоненький кожаный мешок, туго набитый куделью и залитый на конце довольно большим куском вару. Пользу ее швец признает по тому обстоятельству, что иногда приходится ему сидеть далеко за полночь при спешной работе. Ясно, что непривычный ученик задремлет или даже просто прикурнет под тяблом. Иглою в бок или кулаком не достанешь иной раз, а плеткой этой как раз пробудишь: плеть-де не мука, вперед наука.

Сначала трудно бывает привыкать парнишке к новому житью в чужом доме да еще и в ученье. Это не то что дома! Здесь встанешь утром спозаранку в такую пору, что дома и бабушка-то только-только встает. Умоешься — поди дров наколи, натаскай их в избу, если не успел сделать это с вечера. Там, немного погодя, за водой ступай на колодец, что посеред улицы да такой крутой, насилу раскачаешь. Воду-то принеси в избу. Глядишь, баба заломается и избу велит выместь, печку выгресть, овец загнать в *изгородь* *, чтоб не бегали по двору; а *сам*-от коней велит напоить: успевай знай пошевеливаться. Трудно парнишке на первых порах, если нет заручного; и рад он, крепко рад, когда подойдет суббота, и побежит он в свою деревню, чтоб за всю прошлую неделю выспаться, в бабки наиграться, да и колобушки домашние как-то повкуснее и посдобнее Степановых, «а, кажись, из такой бы и муки-то сделаны, и опара на дрожжах, и масла нашего клали!».

Разумеется, если у швеца учеников двое живут, им и работа не в работу. За водой пошлют — в снежки прежде поиграют; овец загнать велят — попробуют, не свезет ли какая; а лошадей поить — и ждут не дождутся. Прежде чем доведут они их до колоды, смотришь — скачут два баловника рядком на *выгон;* а сами смотрят, не увидал бы хозяин. Заметил он — на допрос позовет: кто делу зачинщик. Поклеплют ребята один на другого, а не удастся штука, вздерет хозяин обоих; и тут ничего — на людях и смерть красна. Пойдут в сенцы, посмеются оба да еще и спор заведут о том, кого больнее высек, кому больше розог дал; а целый веник истрепал, что лежал в углу подле *приступков*.

Кончится зима, а с нею и швецовы работы,— ученики уходят домой на целую весну и лето. Глядишь, а парнишко уже и *рубец* ** накладывает прямо; так приладит заплату, что и баб зависть возьмет. Пошел парнишко, в куче соседских ребят и девок, за грибами

---

* *Изгородью* называют ту часть двора, которую отделяют деревянной решеткой, а иногда и перегородкой из досок. Сюда *застают*, т. е. запирают, овец, коров, телят. Свинья иной раз вылезает, потому что двери не сплошные, а решетчатые.

** На языке швецов *рубец* означает *шов*, равно как *прошивы* значит заметки мелом, *оторочить* — обшить, *подкодычать* — подшить что-нибудь жесткое и плотное, и проч.

и ягодами летом; играет в городки посеред деревенской улицы или в лапту где-нибудь на лугу. Осень придет,— топит он отцовский овин и печет в *яме* * картофель; капусту рубят дома - ест не наестся сладких кочерыжек,— живот даже вспучит. Да и то сказать: скоро опять в чужие люди придется идти; запас не худое дело.

Через три-четыре зимы ученик делается уже настоящим швецом-работником. Ничто уже не отобьется от его приобвыкших рук — никакая там хитрая выкройка, хоть бы даже придумал ее сам заказчик. Иной задает такую задачу, что и сам-то в толк не возьмет; хочется вот ему положить на карман красную кожу с зубчиками, да так, чтобы было красиво и всякая б девка заметила. Разом смекнет молодец-работник: и тюленьим ремешком обложит, и пуговки красивенькие подберет, и петельки ровненькие сделает,— во всем угодит приятелю. Поневоле тот угостит догадливого мастера в питейном. Иному барскому кучеру захочется, к новой красной рубахе, сделать широкие шаровары из плису, да такие широкие, что вот шел бы он — словно барка по Волге на всех парусах. И тут швец не ударит в грязь лицом и подведет такую штуку, что целую неделю барский кучер будет ходить по двору да ухмыляться: пусть-де девки страдают по его удальству да *потяпкам* **.

Первою мыслью молодого швеца по окончании условного срока ученья — установить свое мастерство и ходить особняком от хозяина,— конечно, в таком только случае, если он не обязан отслужить учителю на *спасибо*. Но ведь и этот же срок имеет конец. Как бы то ни было, задуманное предприятие на следующую же осень приводится в исполнение; но почти всегда кончается неудачно. Поговорка ли, какую сами же швецы про себя сочинили да еще и хвастаются, что мы-де швецы-портные, воры клетные, день с иглой, а ночь с *обротью* (ищем поймать лошадь о трех ногах), а может быть, и такое рассуждение хозяев: «Что поди-де еще к новому-то молодцу привыкай, да на какого нарвешься, иной только взбудоражит все в доме: и невесток перессорит, коли добро это заведется в хозяйстве; а чего доброго, и штуку какую стянет: ведь есть же сорванцов на белом свете; в душу не влезешь, чужая душа — потемки, а грех да беда на ком не живет,— огонь и попа жжет». Вследствие такого рассуждения мужичок как-то туг и неповадлив на прием незнакомого швеца и любит держаться, *по знати*, за старых.

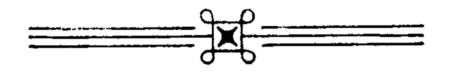
Попробует новичок да на том и порешит, чтоб искать на будущую зиму товарищей,— не возьмут ли в артель. Куда ближе обратиться, как не к учителю: он познакомит, мужички поприглядятся,— а уж там, коли бог поможет, можно и самому учеников понабрать, и хозяйство по-путному обставить.

---

* *Ямою*, как сказано, называется углубление, сделанное в нижней части овина и достаточно широкое для того, чтобы разложить *теплинку* и просушить снопы.

** Простонародное название *ухватки*, но такой, которая исключительно задумана с целью *побахвалить* — покрасоваться

И нигде, можно положительно сказать, нет такого единодушия и товарищества, как в швецовских артелях. Нигде так не оправдывается и не приводится в исполнение заветная поговорка: «один и в доме бедует, а семеро и в поле воюют», как в этом небольшом классе промышленников. Ходят они вместе; деньги делят поровну, безобидно, так что в зиму достанется каждому иногда свыше пятидесяти руб. асс.; никогда не пользуются заслуженною славою хороших людей и мастеров, чтобы отбить у другой компании работу; только вывеси в окно пары две овчинных ремешков — и пройдут ребята мимо этой деревни в свою, знакомую. Не спорят и о том, если перебьет иной швец работу по соседству и засядет там, где другой сидел в прошлую зиму: тут весь народ знает друг друга и сам виноват, если запоздал и прозевал урочное время или худая слава на твою честь легла. В этом обоюдном братстве могут спорить со швецами одни, может быть, земляки-плотники питерские в своих артелях.



БУЛЫНЯ

(Очерк)

Булыня — представитель тех эксплуататоров крестьянской мелкой собственности, которая таким тяжелым трудом наживается и с такою бессовестною беззастенчивостью выманивается различными способами. Тип этот разнообразен и многочислен и появляется в виде торгаша-плута, почти всюду с одинаковыми приемами, хотя и под различными названиями. Сюда относятся и мелкие офени — торговцы (владимирские картавые проходимцы), меняющие на свой залежалый и прогнивший товар домашние изделия деревенского досужества, и разного рода *закупни, перекупни,* известные под именем *маклаков.* У хлебного дела стоят такие выжиги-посредники между базарным продавцом и портовым негоциантом — приказчики какого-нибудь крупного хлебного торговца с Волги, так характерно называемые *кулаки;* у крестьянских лошадей — *барышники,* произрастение бойких конных торжков и ярмарок, умеющие организоваться в шайки артелями и, по подобию офеней и столичных мошенников, для больших успехов в надуванье, придумавшие свои языки, целые словари темных условных плутовских слов и выражений. На инородцев русских (в особенности северных) и преимущественно на сибирских налетают целые стаи торговцев водкой и скупщиков у промышляющих в лесах пушных и ценных зверей и птицу,— торговцы, которые в одно и то же время спаивают водкой диких людей до вырождения породы и обменом на соль, хлеб, свинец и порох дорогих шкурок доводят дикарей до кабалы, до неоплатных долгов. При долгах и скудном вымене хлеба инородцы доходят до отчаяния голодовок и повальной смертности. Таким домашним благодетелям — имя легион, прозвание, наиболее точное и характерное,— *мироеды,* а деятельности и беспредельно вредному влиянию еще до сих пор не установлено никаких преград и не положено никаких препятствий. Кое-какие узаконения выводили лишь уменье обходить их, закупать и подкупать блюстителей закона. Язва задатков, кабальных денег, выдаваемых вперед, и притом в самые тяжелые времена крестьянской нужды и инородческих голодовок, продолжает утеснять бедный люд и господствовать во всей силе на всем пространстве Русской земли. Замечательно при этом, что приемы всех таких мироедов значительно между собою схожи и не представляют особого труда и затруднений для борьбы с ними. Но двойной, а можно сказать — шестерной, мелок, которым записываются отдаваемые в долг товары, если отчасти и пишет

успешно и бойко на слепых глазах безграмотного люда, то, с другой стороны, и приставленные законом и властью, вместо того чтобы быть исполнителями должности и долга, позволяют ослеплять себя избытками от успехов плутовства да сплошь и рядом сами превращаются в тех же кулаков, перекупней, мироедов.

К сожалению, для зла обширное поле в среде долготерпеливого люда, умеющего лишь рассказывать про таких кровопийц подспудные анекдоты вроде того, что одному из них за крестьянские слезы прислали из Питера железную шляпу в полпуда и велели надевать всякий раз, когда надо ему идти в какое-нибудь казенное место или по начальству; другому дали железную медаль в пуд весом и не велели уже снимать во всякое время. Но по этим рассказам можно узнавать только про тех единиц, которые уже очень насолили; те же, которые не успели еще истощить меру долготерпения, продолжают быть для своего околотка *благодетелями:* в одно время и кулаками, и ростовщиками. И нет того пятка-десятка деревень, для которых не существовало бы такого мироеда! Не надо и ходить далеко, и как бы далеко ни зашли вы — везде найдется сих дел мастер, который лишь на старости лет, когда уже очень зазрит совесть, отольет большой колокол для сельской церкви, вычинит иконостас, построит новую каменную матушку-церковь, но опять-таки за себя, а не за грехи людские.

Но не об этих больших кораблях рассказ наш: в тесных пределах деревенских околиц, около которых держатся настоящие наблюдения наши, действует и суетится мелкий плут, более других нам известный и знакомый. Вспоминаем о нем по деяниям и заслугам его художества и досужества.

* * *

С весны уже начинают бабы-хозяйки думать о будущем лете и по приметам, приобретенным навыком или по преданию, судят о нем: стояло на Евдокеи погоже, будет и лето пригоже, по их мнению.

«Дал бы бог на Сороки холодных утренничков,— думают они,— в хлеба недороду не будет; а на Фофана (Феофана, 12 марта) да на Человека божья (17 марта) станут расстилаться по земле густые туманы — и на лен устоит урожай. Не лежали бы только замерзи дольше Благовещенья дня, и выпал бы на этот праздник дождичек теплый». Опытная и бывалая хозяйка в этот день старается всячески избегать взглядов на пряжу, особенно суровую, не стоит под дымом, а на другой день, на Архангела, не станет прясть (работа впрок не пойдет). Другие еще на первый сочельник гадают, вытаскивая из-под скатерти соломинку, и кладут в кутью: какова длинна былинка, таков и лен будет. На Онисима (15 февраля) зорнят пряжу, выставляя моток на утренник, чтобы была пряжа белая.

И вот Марьи (1 марта) — зажглись снега, заиграли овражки; прилетели сверчки и жаворонки; вскоре ворон выкупал в новой воде своих детенышей; там подошли рассадницы, и «разрой берега», и Алексей — «с гор потоки»; на Ирину — «урви берега» засеяли морковь и свеклу; мужик вывернул оглобли и бросил сани

на поветь. Прошло окликанье родителей — пришла пора скотину в поле выгонять и весну окликать. Береза сок дала — по подоконьям пастухи пошли для обдариванья; Еремей — запрягальник; на Власа выпала роса; а вот на дворе и подымай мужик сетево: сей рожь в золу да в пору, топчи овес в грязь — будет князь, прорастет сквозь лапоть. Бабам пора рассаживать по грядам рассаду, сеять горох и засевать льнища льном-плауном так, чтобы успел волокон сделаться длинным, пока прилетят комары, минуют сиверы и явится на двор Елена — длинные льны. Первый засев на Сидора, 14 мая. У хороших хозяев на этот день так и бывает: лены Олене.

С этой поры лен начинает нежиться и крепнуть в корне, чему способствуют большие росы по июньским утренникам; особенно хвалят и верят в росы Федора (8 июня), но боятся рос на Марию Магдалину (22 июля); от сильных рос льны бывают серы и косы, а с первого Спаса всякая роса хороша. На третьего Спаса старозаветные бабы по жниве катаются и приговаривают: «Жнивка, жнивка! отдай мою силку: на пест, на колотило, на молотило, на кривое веретено». Наконец лен зацветает и две недели держится в цвете, после чего семя пойдет в налив, и лен в течение четырех недель станет поспевать, в ту пору, когда хлеб начнут зорнить зорницы. На св. Прокопия озими доходят в наливах, на этот же день и лен урастает, пока бабы полют огороды и дожидаются Ильина дня. Но тогда, говорят, и камень прозябает.

И вот на Нерукотворенного Спаса защипали горох и запахали озими; на Успеньщине обмотали серпы в солому; на Ивана Предтечу поспела брусника, овес созрел; а с ним вместе и лен доходит, как известно: недаром на Лупа (23 августа) льны лупить, а на Ивана Постного последнее стлище на льны. Лопаются сами собой льняные головки, и полетело семя. Пора идти бабам в поле, теребить лен и уставлять его в бабках *, чтобы расщепились головки от солнечного жара и не разлеталось бы по ветру семя. Там — смотришь — полакомились бабы свежим толокном на овсяницах, пирогом с новой капустой в зазимки на Воздвиженьев день и опять идут на льнище развязывать бабки, обивать семя вальками на рогожку и расстилать лен по полю или озими, которая с этих пор называется *стлищем.* Из семени выжмется масло постное; а выжимки — избоина — пойдут на пищу коровам в дуранде.

Отлеживается лен на своем стлище до тех пор, пока не увидит баба, что пробный снопик — опуток — хорошо обивается на мяльне и мало в нем или нет совсем негодной прозелени.

Тогда остается одно: поднимать лен со стлища, топить баню и тащить туда же с повети мялки **, трепалы *** и мочила ****.

* *Бабки* — льняные снопики, низенькие и тоненькие.

** Этот деревянный меч-кладенец, длинный и тяжелый, вкладывается в довольно широкий и глубокий желоб. Желоб укрепляется на ножках, а самая мялка одним концом утверждена бывает на деревянной кобылке.

*** *Трепало* — род деревянного меча или тесака, с рукояткой, около которой наделаны зубчики; на другом конце дощечка эта островатая.

**** Какой-нибудь большой ушат или глубокое и широкое корыто, наливаемое теплой водой при совершении операции.

После Покрова (с половины грязников) настает пора топтать лен, очищать его после просушки и мочки. Отрепье, или охлопки, пойдут на завалины около изб, чтобы сберегалось в них тепло в зимнюю пору и не задерживалась сырость весною. У иных этим отрепьем выстелют хлев или двор, у других они и так сгниют около бань в кучах и размоет их весенними дождями и сыростью. Отоптанный лен бабы начинают расчесывать гребнями и прибирают очески на продажу канатникам и веревочникам. Расчесанный лен называется мыканым и изгребным. Чтобы получить нитку тоньше — перечесывают его в третий раз и называют пачесным; остатки от этого чесанья — изгребье — пойдут мужику в теплую шапку или на стеганье к зиме бабьих понев.

Между тем незаметно в этих работах проходит для баб и Фекла-зоревница; а с ней вместе и овин отпраздновал свои именины, в которые хозяину достался хлеба ворошок, а молотильщикам каши горшок. На Покров было последнее гулянье и первое зазимье; свадьбы кое-где затевались и разыгрывались к Казанской, с которой осенняя грязь, говорят, отстоит от зимы только на три седьмины. Вот уже на дворе и Парасковья-льняница (14 октября). А когда сомнет лен, то на Параскевин день постарается первинки принести в церковь для приклада. Толковая хозяйка не сядет в этот день за пряслицу, боясь ногтоеда и заусеницы, от которых, чего доброго, сведет ей и руки. Лен к льняницам приготовлен совсем в отделке; у доброго хозяина выжато из семян и масло свежее; стоит только садиться за стол, есть кисель овсяный или пшенную кашу с новой начинкой. Молодой на этот обед зовет к себе тестя и тещу и задает им пирушку с вином.

На 29-е ноября справляют Абрама-овчаря: в третий раз, после весенней, начинается осенняя стрижка овец. Затем пройдут шерстобиты, обобьют бабам шерсть — *волну* — мужикам на сермягу; а тут, смотришь, нагрянут и швецы-портные. В деревнях наступают Кузьминки, затеваются ссыпки, на Михайлов день первый мороз нагрянет — запирается простой человек со всей семьей в избу; бабам настала пора затевать супрядки, которые кончаются у них поздним вечером. Настала прибируха — зимняя пора и для мужика, и для бабы. В избах зашумели веретена, затянулась песня; у доброй хозяйки что ни день, то новые тальки выходят из рук гостей-попрядушек; намычки * то и дело вытягиваются в нитки. На пряслице делаются нитки погрубее, на гребне прядут только мастерицы, и не выпрядают всей кудели — намычки, а оставляют изгребье — охлопки, которые идут, вместо ваты, на подкладку под поневы и в шапку.

Богатая баба-хозяйка к концу супрядков уже и не прядет сама: ее дело принимать с веретен на простни или клубки, а оттуда на мотовило, готовые нитки, отсчитывать по четыре, чтоб составить чисменку, и, перевязав веревочкой-пасменником сорок чисменок,

---

* ***Намычки*** — лен, расчесанный предварительно на гребне, когда уже он годен для пряжи на пряслице или на том же гребне.

составить пасму. Двадцать таких пасм, свитых на воробе * в двухаршинную петлю, составят тальку.

И вот в эту-то пору, когда уставит баба в избе станок, натянет с вороба на вертлявый турик все пасмы для основы, приготовит в челнок цевку ** для утока, когда навесит бердо и начнет им прищелкивать уток к основе — является в избе булыня *** — старый знакомый покупщик-барышник.

Он молится иконам, кланяется, желает: «Бог на помочь! челночек в основку!»

— Где же у тебя большак-то, что это его не видать в избе? — спрашивает булыня вовсе некстати, потому что сам же выглядел то время, когда хозяин сошел со двора.

— Да со швецами пошел в кабак раздел делать, Михей Спиридоныч,— отвечает, однако ж, хозяйка, зная, зачем пришел этот плут с беглыми рысьими глазами, которые так и носятся с полатей в кут и под лавки и не поглядят совестливо, не остановятся на месте даже на минуту. Хозяйка спешит сама предупредить булыню, который подошел к стану и рассматривает нитки, навитые на цевках, и готовое уже полотно, намотанное на щеколду ****.

— Тебе, поди, пряжи нужно? — спрашивает она.

Булыня спохватился, чуть было не изменил себе, но оправляется:

— Нет, не нужно пряжи: много и так накупил! Зашел, признаться, погреться только да проведать хозяина: целую почесть зиму не видал. Живем-то далеконько; в ваших местах только по надобности

---

* *Вороб* состоит из двух брусочков, сложенных в *замок* крест-накрест; в обоих верхних концах — дырочки, куда вбиты деревянные гвозди. Оба бруска вертятся на железной палочке, укрепленной в столбик, называемый *бабой*. С вороба пряжа перематывается на деревянные цилиндрики-турики, которые вертятся на своей оси; с турика снуют основу, или основной навой, натягиваемый на станок и продернутый сквозь бердо и ниченки (бердо — длинный гребень вроде рамы с поперечными тоненькими пластинками, а ниченки — нитяные петли, при ударе ногой поднимающиеся и опускающиеся. Между ними продевают нити основы). С вороба свивают пряжу на тростниковые или берестяные трубочки, шпульки-цевки, с них пряжа идет уже на уток; они для этого вставляются в середину челнока. Уточные нити — поперечные нити основ; их-то прибивают бердом одну к другой, чтобы составить полотно, холст и проч.

** *Цевки* — береста, свитая в плотную трубочку; они надеваются на один конец железного прута скальни и обматываются нитками, назначенными для утока. Скальня — два столбика, утвержденные в доску, в верхних концах которых сделаны дырочки и сквозь них продет валик. Один конец валика имеет тяжесть — деревянный кружок, а другой железную спицу для цевки. Со скальни на цевки навивается уточная пряжа; валик скальни вертят ладонью.

*** *Булыни* ведутся только в тех губерниях России, которые смежны или близки к портам: Рижскому, Петербургскому, Одесскому и проч.; часто попадаются они и около тех мест, где сильно развито фабричное производство. Например, богатый фабриками Шуйский уезд (Владимирской губ.) обратил к этому роду промышленности всех мещан и ближних крестьян города Нерехты (Костромской губ.). Издавна уже они прозваны от своих земляков, в насмешку за этот род промышленности, *бегунами* и до сих еще пор *бегают* из одного селения в другое с своим безменом для покупки пряжи. Булыня в некоторых других местах России называется *закупень.*

**** *Щеколда* — тот вал на ткацком станке, на котором наматывается вновь вытканное полотно или холст; она вертится на оси.

бываем,— отвечает наш булыня; но хитрит, как записной плут, которого не очень-то жалуют богатые хозяева, не нуждаясь в их деньгах и при первом же посещении указывая им — где бог и где двери.

Хозяйка опять начинает прищелкивать челноком; булыня бессознательно вертит пустой валик на скальне и опять пробует цевку. Оба молчат; но время дорого для булыни: может вернуться хозяин, хотя и пошел на такое дело, которое не скоро кончают. Булыня первым нарушает молчание:

— Вот коли льну у тебя осталось немыканого, пожалуй, возьмем! — да и то уж так... из повадки хорошему человеку; а у нас, признательно, много накуплено, пожалуй, и не увезешь на одной-то лошади...

— Немыканого нет, а есть изгребной! — отвечает хозяйка.

— Такого не надо! — врет булыня.— Нынеча он совсем не имеет ходу: не берут!.. Хозяин нынешний год в биржах снял подряд на сырье, а ниток и совсем не велел покупать.

— Ладно, одначе, коли залишний есть да не много, возьмем и изгребного! — решает булыня, вполне уверенный, что убедил тупоголовую бабу, которая, пожалуй, сразу-то и не сообразит, что изгребной лен и лучше (т. е. мягче, чище сырья, особенно если пройдешься по нем гребнем раза три-четыре), и дороже.

Но изгребной лен не понравился булыне.

— Не хорошо,— говорит,— трепан; кострики * много осталось, не вся обита трепалом, да и волоть ** коротка, и не так крепка, да и черна что-то... не выбелилась!..

Одним словом, забраковал булыня лен как никуда не годный; другая баба и не вынесла бы, пожалуй, такой срамоты на хозяйстве — вырвала бы лен, закричала б, затопала на барышника, алтынником бы, кулашником нечесаным обозвала, но большая часть поступает иначе.

Пока рассматривал и браковал лен покупщик, хозяйка успела надумать многое, от чего ей сделалось даже жутко.

«Вот,— думалось ей,— купил бы он у меня этот залишек да дал бы. Муж-то не знает, сколько всего льну осталось, совсем не мешается в наше бабье дело; а я бы купила себе бусы (старенькие-то почернели больно) либо позументику на штофную-то душегрейку [1], там с одного краю не хватило; а самому боюсь молвить...»

Булыня между тем успел вытащить из-за кушака безмен и прикинуть лен на фунты, мысленно посулив бабе дать полтора рубля — свою цену, если только упрется она, зная цены ходячие. Между тем для большего успеха он все еще продолжает встряхивать лен и даже швырнул его опять в голбец.

— Надо быть, матерня-лен, что больно в ствол пошел; а не то долгунец либо ростун какой: таких не берем!.. Прощенья просим! — говорил он, взявшись за шапку, но не двигаясь с места.

---

* *Кострика* — кора, верхние наружные покровы льняного стебля.

** *Волоть* — внутренняя выстилка льняного стебля, самая сердцевина, из которой, собственно, и выпрядаются нити.

Булыня угодил как нельзя больше вовремя: в воображении бабы только что начала рисоваться заманчивая картина: как она в новой душегрейке пойдет на село, как эта душегрейка будет топыриться сзади и отливать и беленьким заячьим мехом, и новым золотым позументом... Она остановила торговца, начала торговаться с двух гривен и еле-еле добралась до заветной полтины. Булыня смекнул, что бабе и еще-таки нужны деньги, но ошибся, потому что она была удовлетворена в своих планах и к тому же не имела залишнего льну.

— Может, нитки продашь? — подсказал неотступный булыня.

— Да вот еще не знаю, батько, сколько на кросна пойдет! коли дашь гривенничек за тальку, бери, Христос с тобой!..

Но булыня уже не браковал ниток: цена, запрошенная бабой, была ему с руки, но, чтобы не уйти с такою ничтожною покупкою, он явился соблазнять бабу пряниками, которые выдавал за вяземские, хотя и пек их сам на досуге.

* * *

Таким образом ходит торгаш с своим безменом и сладкой приманкой из избы в избу только от безделья в глухую пору зимы после святок. Настоящее же время его деятельности обыкновенно бывает по лету, когда у баб начнет наливаться лен, заколосится рожь, заиграют по полям зорницы и время подойдет к покосам.

Обыкновенно эти торгаши — доверенные какого-нибудь богатого купца в уездном городе, который приобрел кредит на соседних биржах и буянах [2]. По весне он собирает своих доверителей, оделяет каждого из них достаточным количеством денег, судя по способностям каждого; наконец, тут же выдает свидетельства, выправляемые на свое имя, делает приличное угощение с нужными наставлениями и прощается с ними до поздней зимы. Булыни расходятся по разным сторонам и стараются вести дело особенно от своих товарищей, сходясь в своих интересах только тогда, когда являются на рынках или замечают пройдошество какого-нибудь новичка-перебойщика. С этим у них обыкновенно дело кончается слитками в спопутном питейном, а на рынках сообща подводят любого мужика-перекупня *под обух*, т. е. или заставляют его уехать в свою деревню, не продавши товару, или дадут ему цену свою, меньшую даже той, которую дают они по деревням на домах. Вот почему редкий мужик вывозит свой лен и нитки на базар, а дожидается прихода булыней к себе на дом по лету.

И вот со дня Петра Афонского [3] солнце стало укорачивать свой ход, месяц пошел на прибыль. По гумнам забегали вереницы мышей, по полям зарыскали голодные волки, вороны застлали свет божий, застонала земля. На скотину напала мошка, по лесам полетел паутинник, засвистали перепелы, пчелы полетели из ульев, стала поспевать земляника, по полям показалась кашка и чернобыльник; трава в кое-каких местах пригорела от солнца: скоро наступит Петров день [4], красное лето, зеленый покос, когда и солнышко

играет, и зорница зорит хлеб на полях — одним словом, подходит пора сенокосная. Знает об этом мужичок, но еще лучше знает об этом наш булыня.

Он нагрузил целый воз косами и серпами, стал на ту пору косником, и идет в знакомую деревню прямо ко двору старосты. Отыскав его, кланяется ему парой кос и разукрашенным серпом, просит не оставить в дружбе напредки и скрепить теперь запойным полуштофиком, который на тот грех и тащит уж из-за пазухи.

— Вот,— говорит,— к Демиду теперь пойду, да к Матвею, да к Ильюшке, да к Егору косолапому, не оставь нашу милость!..

— Хорошо, хорошо! — говорит ему староста или бурмистр чванливый, но податливый.— Коли не устоит кто, смекай к Юрьеву дню... [5]

— Я тебе,— говорит булыня,— и грамотку принесу; все пропишу, что кому дам и на сколько заторгую из сырца. По осени опять понаведаюсь с поклоном.

— Ну, ладно, ладно! — отвечает бурмистр,— приноси там какую смастеришь грамотку-то. Ты ведь грамотный, а мне и земской скажет, что ты там настрочишь; да смотри же не больно шибко... строчи-то!..

— Рад служить твоей милости без обиды,— говорит заручившийся торгаш и спешит к какому-нибудь Демиду или Егору косолапому. Отыскивает того и другого где-нибудь на повети; там они либо старые косы клеплют, либо точилки натирают песком со смолой.

Булыня для них старый знакомый, по-старому и входит с масляным рылом, с уснащенной разным доморощенным краснобайством речью. Начинает кланяться, словно кто его сзади за жилы дергает: и плечами перебирает, и ногами заплетает, и шапкой помахивает, как цыган-плясун с диковинными коленами в пляске.

— Как-де ты, дядя Демид, живешь-можешь?

— Твоими молитвами! — отвечает дядя Демид и загремит опять молотком по заклепкам.

— Давай-то бог доброго здоровья хорошему человеку! — улещает булыня. Но дядя Демид не внимает гласу, стучит себе, словно кузнец какой по заказу.

— Не утруждайся: спина заболит! — спешит перебить досадный стук торгаш-булыня.— Нешто у тебя на запасе-то нету новых?..

И дух у булыни замер: вот, думает, скажет, что есть.

— То-то грех, что нет: были летось, да разбились! Вот теперь мастерю клепки, авось, может, выдержат; а в город идти не удосужишься...

— Да на что тебе в город идти? купи у меня!

— Нешто ты ноне не с ложками ездишь?

— Было, дядя Демид, и на это время; сем-ко, смекаю, в другом попытаюсь! Я и серпов привез, коли хошь, и лопатки есть готовые...

— Купилы-то, знакомый человек, притупели: весь измаялся,

одежонка с плеч лезет, ребятишки голы-голехоньки, собаки в избе ложки моют, козы в огороде капусту полют...— отвечает дядя Демид.

— С тебя, дядя Демид, недорого возьму! — подхватил булыня.— Коли надо, две косы так — деньги по осени, ну и серп идет в придачу; а за останное сколотись как-нибудь хоть на половинный пай. Ладно ли я говорю, толковый ты человек? угостил бы я тебя, право; да, гляди, нониче хозяин-то словно кобыла норовистая: закупай, говорит, на свои, коли надо; а я-де тебя не обижу на скличке... Вот оно, дела-то ноне какие стали!

И долго ли разжалобить простоплетенного мужика базарному человеку-пройдохе; трудно ли навязать мужику вещи, очевидно нужные ему для хозяйства?

В других случаях булыня поступает иначе: ему известна вся подноготная в знакомых деревнях. Знает он, в каком доме мужик большаком, в каком сама баба на дыбках ходит, а где и семейная разладица стоит. Булыня умеет в мутной воде ловить рыбу...

«Выведем все,— думает он,— на свою поверхность: на то вот мы у этого дела и приставлены. Вот Иванов день [6] подойдет — на село поедем!..»

И сдержит слово: в Иванов день или в ближнее воскресенье до сенокосной поры стоит он на видном месте в ту пору, когда мужики выходят из церкви, помолившись богу, и одни тянутся за своими бабами на погост, а оттуда домой, другие, позадорнее, спешат, по привычке, проведать Ивана Елкина, чтобы не так же проходил праздник, как будень. Булыня наш таких знает, выглядит их в толпе и проследит в путешествии до старой избенки со сгнившим крылечком и разбитыми стеклами, именуемой кабаком или иногда, для нежного слова,— и питейным.

Булыня здесь совсем другой человек, чем на деревенском повите: он, подкрепившись немного, начинает шутить, как бы и записной завсегдатай, и скоро собирает около себя целую кучу, но не упускает из виду заранее им намеченных. Мужички тем временем выпьют на последние, хотя и всегда незалишние; времени до обеда остается у них еще много, отчего же часок не потолкаться, не побалагурить с досужим человеком. На то в кабаке и лавочки поделаны, и разные инструменты держат: балалайку, гармонию; целовальник на торбане поигрывает [7], и заходят заклятые верезги [8], которые и песню, пожалуй, залихватскую вытянут. Одним словом, мужики замешкаются, а булыня и рад тому: к тому да к другому прицепится со словом, начинает шутить.

— Вот,— говорит,— почтенные! болит у меня бок девятый год, да не знаю в каком месте — снадобился было у старух, да, слышь, надо голову обрить догола, ошпарить да молотком приударить...

В заведение входит новый гость, знакомый, но не нужный булыне, хотя и отвесивший ему поклон. Булыня, к немалому смеху, почтил его приветом:

— Будь здоров, дядя Мирон, со всех четырех сторон!..

Вошедший не обиделся; а булыня успел уже прицепиться к дру-

гому, вырядившемуся в красную рубаху. Он потрепал его по плечу и промолвил:

— Эх ты, щеголь Яшка: что ни год, то рубашка; а портам да сапогам и смены нет!..

Но этот молодец оказался покрутее нравом:

— Да ты что же богачеством своим расчванился? Мы, брат, и в лаптях не спотыкаемся...

Но булыня нашелся и тут:

— Будь же здоров и ты с четырех сторон. Мы, брат, и сами коли дома живем, так едим, пока не упадем, а и на ноги поставят, опять есть станем,— и прочее тому подобное, по доморощенному складу, уменью и досужеству.

Мужикам почему-то весело становится от этих шуток. Булыня смекает свое: берет балалайку и пляшет; бросает балалайку — дергает на гармонии и своей веселостью увлекает всех, но опоминается вовремя. Вскакивает с полу, на котором стлался вприсядку, и задает громогласный вопрос:

— Эхма-хма! денег-то тьма: кого бы, братцы, угостить из вас?

Желающих, разумеется, много; но избранный, лучше — намеченный, один какой-нибудь Егор косолапый, которого и хватает булыня в охапку и тащит к стойке, зная, что этот мужик побогаче прочих: не одни гоны [9] засевает льном и яровыми и, не довольствуясь своею, кортомит [10] чужие земли. Мужик этот, что называется, идет в гору и торговлю смекает, да и не прочь в сделку втянуться. А и втолковать ему что, за стаканчиком водки,— нехитрое дело для привычного человека.

— Сколько ты ноне гонов-то засеял? — спрашивает прямо булыня мужичка, уже порядочно подрумянив его.

Мужичок отвечает.

— А почем продавать думаешь?

— Да каков уродится! — отвечает мужичок.— А ты каким манером покупать норовишь?

— Много засеял — так и сырым возьмем... на пуды! пожалуй, и с посконью купим, нам все едино на брак — в биржевое дело пойдет, сам ты, умная голова, знаешь!..

— Обчесать-то бабам велишь али сам будешь?

— Да коли ранним делом зададутся — отрепли только, расчешут и на хозяйских шофах!.. [11]

Мужичок соглашается и на это, потому что он рад продать, а в рабочих руках у него на дому нет недостатка. Наконец доходит дело и до цен. Булыня, как знаток своего дела, спешит уверить мужичка, что по ономняшным ценам покупать несходно, хоть сам-де на базарах справься, да еще кто знает, каков будет урожай и каков задастся лен в учесе: перед хозяином-де отвечает мошна и спина его, булыни, а не продавцова. Покупаем-де на веру, и то потому только, что знаешь хорошего человека да хочешь от сердца помочь ему, когда нужда приспеет,— на том-де стоим.

Долго они, по обыкновению, не сходятся в цене; но хмель не свой брат, улещанья булыни сахаром обсыпаны. Краснобай этот так мягко

выстилает и уснащивает, что мужику уже стыдно даже и за угощенье, полученное им на чужой счет. Он соглашается и берет задаток. Задаток пригодится ему на подушный оклад, на оброчную статью [12], глядишь — лошадь замоталась, зачахла от волчьего зубу или закаталась от чемеру [13], а время подойдет к тому, что снопы придется свозить с поля. Залишняя деньга мужичку и тут подмога. Он бьет по рукам с булыней, запивает с ним слитки и идет повестить домашних о продаже.

Едва только бабы успеют к осени выщипать лен, булыня идет опять наведываться: сначала, по обещанию, к бурмистру или старосте, а потом и к задаточным.

— Веди его, бабы, в поле: покажи, что за лен выдался!

Здесь сметливый и привычный булыня уже по корню судит о достоинстве закупленного товара: гол корень — волоть плоха и лен плох задастся в учесе, даст много в ческе негодных пачесей. Если корень мохнат и с усиками — лен будет и мягок и ловко потянется в нитку, не будет сечься. Эти сведения необходимы для торговца при производстве будущей расплаты, равно как и то, чтоб не израстался он выше 10-ти вершков в стебле, не текло бы семя само по себе еще на корню да не выбили бы его бабы прежде урочного срока отдачи в хозяйские руки. Булыню не обманешь: он знает, на сколько с пуда кудели выходит фунтов семян, и даже смекнет, пожалуй, на сколько обивается в то же время кострики. Одним словом, не надуют бабы булыню, не надул бы он их при расплате, когда он не прочь толковать и о том, что лен весок оттого, что не той чистотой трепан, много мочен, плохо сушен, кострика мало бита. В этом торгаш — настоящий алтынник, крохобор, кулак-надувало, который к тому же имеет еще и заручку с самой главной стороны. Расплата никогда не обходится без ссоры, но ее умеет русский человек заливать легко и дешево и забывает скоро.

«Не я первый, не я и последний! — думает мужичок.— А все оттого, что к бабьему делу свой мужичий разум приспособил; вон в кузовьях либо в яровых меня не надуешь!.. На том, стало, и стоим!.. Поди, бабам еще хуже достается. С моего гроша не разбогатеет, да и я не обеднею. Господь с ним и с бурмистром-то!» — утешает себя мужик и опять не прочь сойтись в сделке с булыней, который, забравши на воза весь товар, свозит его к хозяину-доверителю.

Здесь — в доме доверителя — делается в урочное время общая сходка, или склик, всех его булыней-приказчиков. Свезенный с разных концов уезда лен в сырье и часто в нитках передается *воротиле* — главному приказчику, который к весне и свозит его на ближние биржи или продает оптом на фабрики скупщикам. Из валовой цены делается расчет — в *руку* — за все убытки, получаемые им при покупке и перевозке к хозяину, который довольствуется небольшими процентами на выданную сумму для купли. Эти проценты при большом хозяйстве, конечно, бывают весьма значительны и дают возможность главному булыне заводить у себя на дому ткацкие станы и мало-помалу фабрику для выделки посконных полосушек,

понитков *, портнин **, равендуков, новин ***, холстов, пестряди **** и проч. Была бы только охота по этому делу да знакомство и уменье держать в руках закупней.

Мелкий булыня продолжает скупать холст домотканый, изделье самих деревенских хозяек. С восьми лет каждая девушка уже посвящается во все тайны хозяйства домашнего; с пяти приучается к прялке; с семи она уже умеет вышивать полотенца (рушники, утиральники), вязать чулки, шить домашнее платье, и затем, после 12 лет, она уже мастерица ткать холсты и полотна.

Холсты и полотна — лакомый кус для торговца-булыни: за суровый холст платит подешевле; за бученый, т. е. беленый, и сами хозяйки просят вдвое дороже.

Ткут они холст пасм 9, 10 и 12 (широкий и узкий). Белят его на солнечном припеке на траве и для этого поливают холодной водой, чтобы не просыхал. Через четыре дни снимают суровье и бучат [14] в небольшой кадке или бадье, куда складывают суровье. Сверху кладут толстую холстину; на нее насыпают золу; весь бук наполняют водою, в которую с раннего утра и до вечера спускают раскаленные уголья, и переменяют их, лишь только они перестают кипятить воду. На ночь бук оставляется с холстом, утром рано разбирается. Вынутый холст снова расстилают по траве и поливают. После трех солнечных дней холст полощется в воде, сушится и снова бучится тем же порядком. После четырех буков холст выходит отличной белизны.

Из холста делают полотенца — непременная принадлежность приданого всякой девушки-невесты. Вышивают полотенца узорами. Узор с древнейших времен нашей истории бывает везде одинаков: древо, лев, орел, звезда, утка и другие. Полотенца эти любят покупать прохожие богомольцы для приношения к святым мощам и для подвесок к честным и чудотворным иконам, и в таком случае полотенцы непременно должны быть с узорами. Они же поступают у невест дружкам через плечо, по образцу кавалерских орденских лент. Этими же полотенцами одаривает кума на крестинах.

Закупень-булыня поступает к хозяину или за порукой от доверенного человека, или на основании испытанной честности. От хозяина идут деньги небольшие, доверие маленькое: он уже сам должен извертываться и изворачиваться, чтобы и на свой пай зашибить копейку. Толковый обыкновенно вкрадывается сначала в доверие хозяина и начинает вести свои дела нешибко: ходит с безменом и скупает немного, что только можно ухватить под мышку, но чем дальше — тем больше. Бабы к нему приглядятся, освоятся с ним, а там — долго ли русскому человеку побрататься со своим свояком. Молодцу доверяют, с молодцем ведут дела. У него завелась залишняя

---

* *Пониток* — ткань, основа которой, т. е. нитки основные, выпрядены из льняных вычесей, а не из изгребья.

** *Портнина* — где и основа, и уток посконные.

*** *Новина* — холст в девять вершков ширины, но если бердо плотнее и в нем более 200 зубцов, то это не новина, а уже холст.

**** *Пестрядь* — грубая ткань, в которой основа красная, синяя, а уток белый или наоборот.

копейка на то, чтобы угостить старинного опытного булыню. За штоф выпытывает молодой от него все тайны будущего ремесла.

— Вот-де ты,— говорят ему,— не покупай льну мокрого да не просушенного; не ходи в тот дом, где большак сам торговец, улучай поймать бабу: с бабами сходнее дела иметь...

Мочки встряхивай хорошенько, чтоб чище были от охлопков; коли попадется под руку трепало, так и сам обей мочки, коли купить тут хочешь. Это опять хорошо и прибыльно, не то сбесятся с жиру; а ты с худобы сблагуешь.

Сначала приглядись к нитяному делу: оно проще, толковитее; а потом, пожалуй, приступай и к льняному, да слушайся смотри — не перечь артели своей: тут рука руку моет, все за одно,— хоть сам пройдись по базарам, посмотри, как стоим за себя, словно за братьев-свойственников. Опять же не дремли, пронюхивай... В деревнях-то со всеми ведись да *всех знай*.

Новый булыня мотает на ус все наставления стариков; без них он бы пропал и с руками и ногами. В следующую же зиму он является в тех деревнях, где снискал доверие,— и меряет пряжу смело, оставаясь в полной надежде утянуть в свою пользу две-три тальки пряжи, моток или два кудели, которые, при окончательной перевеске у хозяина на весах, рассчитываются обыкновенно в его пользу и увеличивают его мошну лишними гривнами и даже рублями. Ловкость булыни в этом случае удивительна. Он, при дальнейшей приглядке к делу, часто поступает напропалую, рискует платиться потерей доверия и собственными боками, но всегда выйдет чист из воды. Его выкупают те же закадычные приятели, от которых он выучивается сноровке. Они готовы уступить ему свои деревни и потом в тех, где прогорел их товарищ, пожалуй, посудачат о нем, поругают за глаза, но с ним же посмеются на сходке в кабаке и еще ловчее подведут свою штýку под доверившихся, да еще и похвастаются ею, как бы делом обыкновенным и законным.

Булыню или вконец загубят неудачи — и он навсегда бросает свое ремесло, принимаясь за другое, или поступает на хозяйские шофы и фабрику. А повезет булыне *одноглазое* счастье — он сам глядит попасть в хозяева. Начинает пореже заглядывать в кабак, наливаясь до последнего нельзя чаем в городских харчевнях, побранивая здесь и главного хозяина, и приказчика-воротилу. Если женат он — жена уже ходит в шугаях; [15] сарафаны на ней ситцевые да кумачные, на крашеные она и глядеть теперь не станет, хозяйство правит из-за наемной работницы, а сама подчас ничего в нем не видит. Наведаются к нему старые побратимы — он к ним словно всем сердцем поворотился: не знает, где посадить, чем угостить; для них — и другого нужного человека — у него и самовар завелся, и чашечки с воробья и с надписями приличных пожеланий. Угощая чаем, нет-нет да и ругнет он хозяина и резко, и зло, но как будто к слову, без умысла.

— Он,— говорит,— пузыри на глазах насыпает, лежит на печи, словно тесто на опаре киснет; а у тебя Андроны едут — Миронов везут, спина свербит, словно перед баней, не ведаешь — куды

сунуться, во что кинуться... Кормит калачом, да по спине норовит кирпичом...

— Добрый он, братец ты мой, человек! — заметит иной раз кто-нибудь из гостей.

— Воды не выжмешь, сам, поди, помнишь! С тобой же и было на скличке-то, когда вперед на подушное денег попросил. Я бы, брат, последнюю рубаху дал, но мне это дело святое: вот как теперича вижу этот сахар... все едино!

Булыня обыкновенно не договаривает, а спешит глубоко вздохнуть, как бы давая намек, что вот-де у меня какая душа широкая и сердце теплое: если хочешь — с ногами полезай, будет место.

Иной гость заикнется про смиренство хозяина и его добрые обычаи, но рассерженный булыня и их отвергает:

— Смиренство его — знамое смиренство: когда спит — без палки проходи смело; а про добрые-то обычаи — натощак не выговоришь. Да и упрям опять же: ты ему хоть кол на голове теши, а он два ставит. На пусто-то николи не плюнет, а все, глядишь, норовит в горшок либо в чашку. Стоит хозяина-то вашего подарить черту, да незнакомому разве, чтобы назад не принес...

И вот, когда наступила вторая весенняя скличка, на которой хозяин-булыня раздает валовые деньги и свидетельства, ругавший его булыня не явился. Хозяин наводит справки. Отвечают:

— Сам хочет хозяйствовать.

— От себя по миру ходить. Что же, со всей дурости-то али только с полудурья? — шутит хозяин.

— Чего,— говорят,— с полудурья: выправил, слышь, и свидетельство на третью гильдию. Да это, говорит, так только: а то бы на вторую, мол, надо. Вот, мол, в город скоро переелу, жить там стану, новый сарай на сто трепален выстрою: назову шофом и работников скличу побольше хозяйского десятка...

— Да что это вы, ребята, в глум ли говорите али и взаправду?

— Тебя, хозяин, пытал ругать, расшумелся — слышь, словно голик по полу,— подвернул работник, себе на уме,— у, костоват! — и работник покрутил головой.

— Ум-то у парня не с шило был, что говорить! — решил хозяин, но не верил слухам до тех пор, пока не почувствовал сам, что под боком у него засел опасный сосед, который сгоряча-то и нанове повел дела так бойко, что многих старых булыней сманил к себе и забрал почти всю окольность. Зачем-то, сказывали, уезжал недель на шесть и вернулся домой в лисьей шубе.

— Стало быть, нашел доверителей! — решил прежний хозяин булыни.— Давай ему бог!.. А сбойливая, братцы, собака все-таки исподтишка ест. Оказал мне смирение — ну и поддался я, старый дурак, на соблазн. Правда сказана: съешь с человеком пуд соли, тогда только узнаешь его. Клал он, стало быть, как вытный приказчик [16], грош в ящик, да пятак за сапог. Не оставьте, братцы, не покиньте! — За порукой я не стою!..

Приказчики дадут слово и сдержат, пожалуй, т. е. на первом же базаре начнут перебивать на залишние хозяйские деньги пряжу и лен,

иной раз и сумеют это сделать как нельзя лучше и удачнее. Новый хозяин даже может увидеть беду на вороту, но не поддастся ей, выдержит напор со славой.

— Это ли беда? — спрашивает он.— Беда из бед, бедней всех бед, когда денег нет; а коли денег столько, что и большой черт не унесет на себе, так нечего надрываться и кручиниться.

— Бейте, братцы, наперебой в мою голову! — говорит он своим приказчикам и, во всяком случае, или выгорит, подымется в гору, если первым поддастся соперник, или, при неровной, но усиленной борьбе, что называется, надорвется — прогорит вместе с ним и закроет хозяйство. Тогда — ясное дело — из этого перебоя выходят чистыми одни перебойщики, от изворотливости которых зависит самим сделаться хозяевами, начиная с мелкого крохоборничества до большого дела на трепальнях и ткацких станках в шофах.

Задорный, хотя и прогоревший булыня-хозяин (если здоровье еще прыщет в нем и гомозится риск) не скоро угомонится, не скоро поддастся неудачам. Испытав их в булынном промысле, он поспешит приняться за другое, более надежное и не шаткое.

Упорно сидит он в избе, пилит, строгает, почти никуда не выходит; вот он выстрогал саженный шест-лучок, толщиной вершка в полтора. На обоих концах его приделал две кобылки: одну большую, другую поменьше. В большой наружную сторону сделал потолще, прорезал в ней желобок и накрыл его кожаным ремнем, объяснив ребятенкам, что этот ремешок называется наволочкой. Прикрепив эту наволочку крепкими бечевками к большому шесту — лучку, он натянул струну, за которой нарочно сходил в город. Настрогал тоненьких лучинок и связал их веревочками в возможно мелкую решетку, длиной в полтора аршина. Затем обточил он из березового полена тоненький брусочек — катеринку. С одного конца выдолбил в нем дыру, чтоб можно было ухватиться большим пальцем, с другого наделал зарубочек вроде пилы; потом выстрогал другую деревянную палочку, которую сносил в кузницу и там приделал к ней железный наконечник.

Палочку эту, или *пику*, он приладил к решетке. Потом, смотрят домашние, мастер упер эту пику одним концом в стену, другим в решетку, от чего та скрипнула и выгнулась в полукружье; тут же привязал он к низу решетки холстинную сетку и весело улыбнулся. Велел бабам нести скорее из голбца остатки шерсти, класть ее на решетку и смотреть на его мастерства шерстобитню. Новый шерстобит приладил узенький ремешок — подкладок, забил его под наволочку, кобылка приподнялась, натянула струну, мастер дернул по струне зубцами катеринки, но струна подалась плохо, как-то задребезжала, нужно было опять поправить подкладок...

Струна ударила сильно и густо и пошла гудеть на всю избу; ребятенки запрыгали на одной ноге, бабы усмехнулись в рукавок и обступили торжествующего мастера. Он двинет по струне катеринкой — струна застонет; ударит по шерсти — взобьет ее, выровняет. За решетку летит уже на пол негодная пыль или сор — подрешетка; на решетке остается шерсть пушеная, кудрями...

Бабы снимают ее в кузовья; мастер смотрит гордо и торжественно. Бабам уже не до смеху, только одни ребятенки продолжают прыгать на одной ноге; а струна все гудит да стонет, а кузов — полней да полней.

Мастер с радости забежал в питейный, поздравил себя и целовальника с новым ремеслом и после Кузьминок, на овчаря, взвалил шерстобитню на плечи, обмотав струну тряпицей, и пошел мерять версты от деревни до деревни, где надобно шерсть взбивать и пушить. Здесь станет он снимать подряд по полтине с лукошка; здесь удивятся ему и, пожалуй, обрадуются, как человеку давно знакомому, давно не виданному, хотя уж и не булыне, а горемычному волнотепу.

Раз пройдется он весной, когда сбивают шерсть-однострижку — старичну. Если есть у него досуг — пройдет и в другой раз по лету, когда готова двустрижка, и непременно бродит в Кузьминки, когда разбивают руно двухгодовалых овец или пушат поярок — молодых первачков-ягнят. Походит он волнотепом много два года, на третий увидит, что ремесло это несытно кормит, благо — поправило немного беду, хотя и не избыло ее совсем в тартарары, да и с его ли задором щелкать струной и стоять у полтинного подряда с дому?

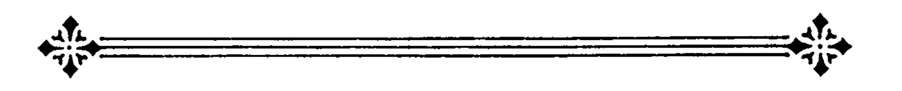
Толковая сметка подмывает его пуще прежнего, а недавно покинутое ремесло булыни стоит перед глазами как живое, только в новом свете и при иной обстановке; привычка берет верх, кропотливое досужество приходит на выручку, и старый булыня из волнотепов незаметно превращается в скупщика, но только не льну, а залишной шерсти. Он порывается открыть новое хозяйство и кое-как, в долг да впоколоть, достигает цели.

Сначала он заводит прялки и сам и жену заставляет выпрядать на них шерсть. Шерсть эту продает он или на базарах, или по домам, или на фабрики в нитках, а часто и в чулках, в варежках и в прочем. Он уже знает, что ту шерсть, которая пойдет на уток, сначала расчесывают гребнем, а потом натирают маслом, а ту, которая годна для основы, моют только мылом. Мало-помалу знакомится старый булыня с валяльным делом, приспособляется различать доброту шерсти, как той, которая снята со спины, так и той, которая обстригается с горла и подбрюшины. Он давно уже знает, что осенняя шерсть — руно — и мягче, и тоньше, и гуще, курчавее весенней; что пуша, снятая с молодых овец — ярок,— самая мягкая, самая нежная шерсть.

Остается ему завестись небольшим хозяйством: смастерить каток, на который будет наматывать шерсть, купить стальной гребень, который перед расчисткой шерсти он будет накаливать в печи докрасна, и обзавестись скребачем — железными граблями. Скребачем валяльщик вспушит сначала шерсть, потом навернет ее на каток и будет повертывать до тех пор, пока слой шерсти не превратится в сплошной, плотный войлок. Войлок этот он будет сращивать — загибать края вместе, чтоб образовать сапог, и потом начинает катать, плотя сапог, т. е. накладывая новые клочки шерсти на *тонины* (где мало шерсти). Затем делает сростку или шов и начинает стирку. В железном котле кипятится вода до ключевого боя и жам-

кается вывернутый наизнанку сапог с головы, закатываемый взад и вперед до половины голенища. Если делается подъем не ниже трех вершков, а носок вытянется в полтора — валяный сапог готов. Он идет купцам на продажу. Белый натирается мелом и стоит дороже, черный для прочности обсоюзивается кожей и носится бережливым хозяином зимы три или четыре...

В новом ремесле старого булыни нет перебоя, хозяйство его идет ровным гладнем. Тут работа не базарная, а домашняя и большею частью по заказу от состоятельных купцов и барышников. Валяльщик ремесло свое чуть только в могилу не уносит с собою. Недруг его не укусит, как ни точи зубы, была бы только у него устойка в деле, вскакивал бы он горошком на дело свое. Встань эта мужика кормит, лень только портит. Недоброму, завистливому человеку долго приходится ждать: у людей голова кругом — а у него еще и не болела.



МАЛЯР

Питерщики — пришельцы столичного города из разных губерний России — составляют, как известно, большую половину всего городского населения. При этом самое большое число захожих работников получает Петербург не из соседних губерний, как бы следовало ожидать, но из более отдаленных. Ближайшие высылают преимущественно чернорабочих — таковы все пришельцы из городов и уездов Петербургской губернии и из губерний Новгородской и Псковской. Отдаленные губернии выставляют своих представителей всегда с каким-либо искусством-мастерством и специальными знаниями по роду промышленности и ремесел, усвоенных известными урочищами или местностями разнообразной земли Русской.

Вся масса пришлого из России в Петербург люда к 1868 году равнялась 539 122. В этом числе мужчин — 313 443 и женщин — 225 679.

В этом случае на первом месте стоят губернии: Ярославская, Тверская и Костромская. Затем следуют в строгом порядке постепенности: Новгородская, Рязанская, Псковская, Калужская, Лифляндская, Московская, Смоленская, Витебская, Вологодская, Курляндская и Эстляндская, Олонецкая и Архангельская.

С крайнего востока, юга и юго-запада приходит народа так мало, что не стоит и упоминать о том. При этом многие из губерний высылают людей какого-либо одного занятия преимущественно перед другими.

Извозчики (ломовые и легковые) приходят большею частию из губерний Петербургской, затем Тверской, Рязанской, Новгородской и, наконец, Калужской. Портные — или петербургские уроженцы, или ярославцы и тверяки. В сапожниках всего больше тверяков (кимряков); между столярами — костромичей. Плотники — либо костромичи, либо тверяки исключительно. Кузнецы — ярославцы и тверяки. Обойщики — ярославцы. Печники — либо ярославцы, либо костромичи. Шапошники и шляпники — костромичи и ярославцы. Половина садовников и огородников — ростовцы; медники — также ярославцы; ярославцев же всего больше в штукатурах; в каменщиках — вологжан и смоляков, в скорняках также все ярославцы (романовцы) и калужане; полотеры — вологжане, и т. п.

Маляры всей своей массой принадлежат Костромской губернии (а потому для обрисовки питерщика и взят этот тип ремесла). Маляры, не ушедшие в побывку на родину, как известно, на осеннее время превращаются в стекольщиков.

* * *

На петербургских улицах разыгрывались обыкновенные будничные сцены: проехала карета с опущенными сторами, коляска с поднятым верхом; пешеходы идут с утомленными, красными лицами; барыня с зонтиком обмахивается батистовым платочком и по временам утирает лицо. За каким-то толстяком плетется огромный водолаз, высунув на пол-аршина красный и сухой язык; извозчик провез кого-то с огромным зонтиком; другой извозчик хитро улегся на своем калибере [1], оборотившись спиной в ту сторону, откуда припекало жгучее солнце; дворники поливают улицу, в надежде угомонить едкую и несносную пыль, поднимаемую и экипажами, и самими дворниками.

С противоположных сторон улицы сошлись два человека: оба мастеровые, потому что оба запачканы краской, но с тем главным различием, что один почти весь белый и рубашка белая, тогда как на рубашке и фартуке другого заметно преобладание двух цветов: черного и зеленого. У первого на лице белильные крапинки, у второго — желтая полоса между левым глазом и ухом, оба в пуховых шапках. У первого в руках огромная кисть и ведерко, а сзади за поясом скирка; [2] у разноцветного нет ничего, и даже сапоги его заметно получше и показистее. Первый непременно штукатур — ярославец, второй — маляр, может быть, костромич, т. е. чухломец. Узнать и это нетрудно: стоит только прислушаться к разговору, который завязался у них после того, как они сошлись и поздоровались. Остановившись посреди тротуара, мастеровые потрясли-покачали руками, оглянули друг друга с головы до ног, по обычаю, и улыбнулись.

— Куда путь-дорога? — спросил штукатур.

— К домам пробираюсь, хозяин послал, вишь, парнишко у нас больно захворал,— ответил маляр.

— А давно хворает? — опять спросил штукатур.

— Да вечор еще в лавочку бегал за квасом.

— Ну, а дела-то твои как? у старого хозяина живешь?.. все у того-то... у рыжего?

— У него еще пока.

— Прощай!

— Прощай, земляк; заходи когда к нам.

Мастеровые разошлись и не оглянулись.

Один в разговоре сильно напирал на *о*, даже слишком, что называется, пересаливал; другой как-то тянул слова и округлял фразу совершенно иным образом, чем первый, который говорил отрывисто и как бы нехотя; напротив, маляр говорил так, как будто он любит говорить и ему это очень приятно. Как бы то ни было,

только давно уже известно здесь, что плотники — галичане, штукатуры — мышкинцы, огородники — ростовцы, колбасники — если не немцы, так непременно угличане, сидельцы в питейных и портерных — рязанцы, т. е. дедновские макары [3], и проч. Так и маляр — если не ярославец, то почти всегда чухломец.

Как же он попал сюда? Да очень просто. Издавна завелся этот обычай ходить на заработки в столицы; знает об этом вот хоть бы и Дементий Сысоев, у которого старший парнишка из годков выходить стал — двенадцать минуло. Дай-ко я пущу его на чужую сторону; кроме добра, худа не видно из этого.

— Слышьте-ко, ребята,— говорил он питерщикам, когда те снова в великом посту собрались на заработки в столицу,— не возьмете ли моего Петруньку с собою, может, пригодится?

— Ладно, дядя Дементий, пожалуй! Да вот, вишь, в чем главная-то причина: нам, признаться сказать, на своих харчах вести его в Питер совсем не рука,— сам знаешь это. Кабы вот ты дал нам пособьишко, что ли, какое — маху бы не дали и дело статочное было. Лиха беда до Питера дотянуть, а там все берем на себя и найдем парню местишко. Да вот нешто не возьмешь ли ты, Егор Кузьмич? — говорили свояки, обратясь к тому маляру, который уже другой год ходил от себя и собирался то же сделать и на это лето.

— Отчего не взять парня? Человек не лишний, коли еще пользы нет в этом. Собери да и по рукам.

Сборы эти недолги: в назначенный день отец уже прощается с сыном.

— Полно, бабы, реветь! Ведь ни на весть какое дело, что в люди парень идет, на путь на дорогу. Собирайся, Петруня, не гляди на бабьи-то слезы: тоску только нагоняют, и ничего путного. Ведь не на смерть идешь, и то сказать: коли бог грехам потерпит,— не далека веха: годка через два придешь на побывщину, и опять, стало, свидимся. То же слово бабы,— да не так молвят! Нишкните же, говорят! Дело толком не дадут молвить: ишь ведь, благо дорвались и обрадовались! — И большак топнул ногой, желая прекратить громкие причитыванья домашних.

Парень *оболокся;* туго-натуго подпоясал овчинную шубу и накинул сверху заплатанный кафтанишко; мать сунула ему за пазуху кое-что из съестного, а сама стала в сторонку между золовками и невестками. Подпершись локотком, бабы как бы поджидали снова того времени, когда можно будет опять напутствовать парня посильными криками.

Большак сел на лавку подле стола и усадил баб, громко прикрикнув:

— Садись-ко вот лучше, да пора и прощаться с Петруней!

В избе наступила тишина. Молча отец поднялся с лавки и начал молиться иконам, подавая пример и остальной семье. Окончив поклоны, он обратился к сыну:

— Ну, прости, Петруня, прости, наш голубчик,— не забывай же смотри стариков: грех тебе будет и никакого талану. Отписывай ты нам, да почаще смотри, как ты там уместишься. Да,

коли надо чего, повести только: все тебе справим по твоему пожеланью...

И не утерпел старик: прослезился и сам, когда начал надевать створчатый медный образ, которым давно-давно благословил умиравший отец его — дедушка будущего питерщика.

Тут в избе опять начался плач, на который чуть ли не вся деревня собралась в Дементьеву избу.

— Ишь, никак Петрушка-то Коряга в Питер собирается?— говорили друг другу соседи и валом валили посмотреть на такое диво.

Виновник всего этого прощался со своими и, тихо всхлипывая, пошел к выходу, прощаясь на пути и с чужими. Дошел Петруха до дверей, да и вспомнил, что маленькая сестра, разбросавши ручонки, спит на материнской постели за переборкой.

«Как,— думает он,— не повидать *напоследях* сестренку: ведь почти что сам ее вынянчил: все, бывало, на закорках таскал и кормил чем ни попало. Вот и теперь вся черникой замарана».

Любил Петрунька сестру, да и она не оставалась неблагодарною: вчера еще где-то пряник достала, пришла в избу и протянула ручонку: «На вот, возьми, говорит, съедим вместе, ты для меня ничего не жалел». Вспомнил он это и, простившись с сестрой, переменил свои сдержанные слезы на сильную икоту: пошел снова к дверям, и начало его подергивать. А бабы-то, бабы-то!..

— Ну, ладно никак, Дементий Григорьич, пора, кажись, эту оказию порешить!... Садись-ка, Петруха, вот так-то: хорошо будет! Прощай, дядя Михей!.. Прости, тетка Орина!.. Марья Терентьева, прости, матушка!.. не поминайте лихом!.. Эй, ну, сивко! трогай!..— И воз питерщиков, труском, потянулся на выгон, за деревенские овины и бани.

Смотришь, там рысцой, да пешочком, да на чугунке сидя, добрались маляры и до Питера. Разошлись они по своим местам, куда кому линия шла, а Егор Кузьмич поплелся с новобранцем в свой угол на Васильевский остров, к Смоленскому кладбищу.

Здесь-то вот и началось ученье Петрушки, пока он не сделался Петром Дементьевым, то есть пока не кончил ученья.

Время это подошло незаметно, но для ученика чрезвычайно ощутительно. Во-первых, потому, что был он в ученье, а во-вторых — оттого, что имел учителя. Известное дело, что хозяин ему не давал ни в чем потачки, хотя на первых порах ученик и был словно бука — тише воды, ниже травы. Сидит в углу, насупившись, словно впервые в свет божий вглядывается, и все ему чуждо. Заставит дело хозяин делать, так точно машина какая: трет ему краски, болтает в ведерке мел и не обернется, не бросит дела, пока не крикнет хозяин и не велит оставить. Спросят ли о чем — ответу не дает никакого; скажет слово, да и то все невпопад. Мальчишки заденут — схватит щепку да и метит в задорных, того и гляди, в лоб или глаз попадет: не вяжись-де ко мне, коли *не замаю*.

Послал его хозяин не то в лавочку за квасом, не то в питейное за очищенной: идет он по панели и видит — какой-то барин, в сюртуке и

без шапки, стоит в дверях нижнего жилья, и слышит Петруха, как зовет его барин и машет рукой.

— Эй, малец! ходи немножко ко мне.

Петруха ни слова в ответ — не спросил, зачем и нужно, и даже не противился, когда два молодца, в сюртуках и с ножницами, схватили его под руки, посадили на стул и начали щипать кто за висок, кто за вихор; досталось даже и уху и затылку, окорнали дочиста хохлатую голову, нагородили лестниц и пустили к хозяину.

А между тем это дело было не последней важности, и вот почему: любил озорник-хозяин показать Петрухе, как колбасники щетину щиплют, и все, бывало, на его затылке упражняется. А не то схватит обеими ладонями за виски, да и велит Москву смотреть: не видать ли Ивана Великого. Да еще подсмеивается — может, говорит, туманом позаволокло, так и не видно. Тут бы и кстати, что ученики-цирюльники удружили, так шутник-хозяин новую штуку придумал: схватит за нос либо за ухо да и спрашивает: чей нос? Тут как ни ответишь — все не ладно; надерет ухо до того, что слеза прошибет и больно станет.

Особенно участил эти шутки хозяин с той поры, как ученик, по его мнению, стал пооперяться и поосматриваться. Пойдет, бывало, за делом да и толкается у колоды и слушает, о чем толкуют дворники, а там начал задевать и встречного мальчишку-сапожника; раз до того осерчал, что поставил посудину со скипидаром к тумбе да и начал сажать сапожнику под микитики: не заметил даже, как какой-то прохожий схватил посудину да *дал тягу*. Как же тут не серчать хозяину и не учить парня уму-разуму? Затем ведь и взял: известное дело!

Но вот хозяин стал Петруху брать с собою на работу и показал ему диковинный город, весь как есть налицо. Что ни шаг, то новость молодцу: на каждом угле только и видно, что навесец с маковниками, пряниками и разными соблазнительными сластями. И продается-то, сколько заметил Петруха, по рознице и не слишком чтобы дорогой ценой: можно купить и на грош, можно и на три копейки. А тут вот тебе баба сидит на *тычке* — на боевом месте, где народу рабочего много ходит, охотников поесть и сердито, и дешево. Словно сорока щебечет она то с тем, то с другим, а народу обступило ее таки очень на порядках: знать, диковинное дело показывает. Не утерпел и Петруха, чтобы не посмотреть, что такое продает она и расхваливает. Подняла баба черную тряпицу, и хоть чихнуть так впору: пронесся парок и защекотал в носу чем-то как будто жареным. Присели зрители на корточки и словно ни живы, ни мертвы от нетерпения; присел вместе с ними и Петруха, и купил бы он, да денег-то больно мало — ровно *ничего*. Вынула торговка большой кусок сычуга, разрезала на кусочки, сгребла в руку и подала первому счастливцу, который тут же и истребил вкусное кушанье. И видит Петруха, как потянулся счастливец-плотник в другой раз, и досада Петруху берет, что плотник еще спорить начал, когда кусок ему показался что-то очень черен.

— Толкуй с тобой, глупым, а еще плотником зовешься, дома рубишь! — щебетала торговка, — словно в первый раз сычуги-то ешь — не знаешь, что это-то самый сочный и есть: вишь, как облепило, — и подливки не надо. Бери-кось небось экую мякоть, а не то опять в чугун опущу, да прихвати сольцы, хоть и солила дома. Ведь на вашего брата не угодишь.

А сама сует ему кусочки в руку да о каком-то *скусе* толкует; выхватил тот из кармана морковь да и начал закусывать.

«Ишь как уплетает! — думал Петруха и щелкал языком, набивая смаку и следя за торговкой. — Вона солдат пришел!.. Знать, знакомый — даром дает. Эх, кабы пятиалтынник али гривенник: всю бы корчагу съел!.. кажинный бы день ходил, — все бы ел!..»

И просидел он тут до последнего куска и долго смотрел вслед отъезжавшей торговке.

А тут рядом другая: тоже с корчагой и на тележке, и кричит она проходившему каменщику:

— Эй, поди-ко, дядя, за копейку горло отрежу!

Оглянулся дядя, посмотрел на торговку, проворчал что-то под нос и пошел дальше.

Петруху мучат соблазны на каждом шагу вплоть до хозяйской квартиры: то квас малиновый продают, то сбитень пьют с молоком и булкой. Там мастеровые какие-то сели на калибер и делятся с извозчиком репой.

«Вот тут, — думает он, — и живи в учениках да ходи в город; хоть бы хозяин-то переехал сюда, — все б, гляди, лучше было. Да нет, поди, не послушает он меня, коли переговорить с ним об этом, да еще, того гляди, Москву покажет. Э, ну его!.. все он с своим показыванием — *нали* надоел совсем, — словно потолковей чего не найдет!..»

Думал да гадал Петруха и наконец-таки напал на то, чего ему надо: решил во что бы ни стало достать себе денег, — прямо к приятелю-мальчишке, с которым свел недавнюю дружбу в лавочке.

— Как бы, Матюха, хошь пятак достать? а то, брат, хочется сладкого, а купить не на что. Стянешь вот морковь с шестка у хозяйки, коли выйдет из фатеры, да, того гляди, увидят и выжмут тебе ее соком? Где ты берешь, паря: у тебя завсегда почти деньги есть!

— Я-то где беру? да либо бабки продаю, либо бутылки эти хозяйские меняю. У нас, брат, не то что у вашего хозяина: добра много. К нам, брат, все разные господа купечество ездят. Работы много, так большие, вишь, и дела ведем. Приедут да все меня вон в угольный погребок и посылают. По три копейки, брат, дают в погребе-то, — хвастался сосед-мальчишка.

— Не возьмет ли меня, Матюха, хозяин-от твой?

— Ладно, коли хошь, я похлопочу. Будет говорить — замолвлю словечко. Да у нас, вишь, все артельный Иван Прохоров делает, всем он и заведует. Работники у нас народ хороший; только дело свое знай да исполняй все, что тебе укажут. Да и ты, поди, краски натирать

умеешь, клей разведешь и белила размесишь. Вот ведь и все, коли хочешь знать! А я с тобой не прочь подружиться: давай-ка вот так.

Матюха взял руку нового друга и, покачавши ее, продолжал опять покровительственным тоном:

— Ладно, ну!.. ладно!.. похлопочу,— только, вишь, у нас больно крут артельный, Иван Прохоров.

— Ишь как у них знатно! Попрошусь-ко пойду к Егору Кузьмичу — не отпустит ли к ним: ему, кажись, все одно и без меня будет. А там бутылки бы вместе с Матюхой продавали!— решил этим Петруха и попросился у хозяина, но, конечно, получил отказ с неизбежным показанием, как кухарки рябчиков да кур щиплют: пора-де, глупый, баловства остановить, семнадцатый год пошел. А не то, так вот-де штука, как чухонцы масло ковыряют.

— Так,— говорит хозяин,— возьмут снизу, да и ведут-ведут, да и ковырнут: тебе, вишь, больно, а маслу-то ничего.

«Ну, нет!— думает Петрушка,— коли на то пошло, хозяин, так больно ты бьешь, хоть на разум наводишь».

И начал с тех пор заговаривать Петруха с хозяином, и довольно частенько: придет к нему и стоит, почесываясь.

— Егор Кузьмич!

— Что, небось опять к соседским?

— Нету, Егор Кузьмич, не хочу, что правда — то правда; много доволен!.. Дай, хозяин, пятак на баню.

Получит пятак, да и купит три банки моченого гороху, если дело зимой, или красного крыжовнику, если дело в урожайное лето. Там, глядишь, опять:

— Егор Кузьмич!

— Что тебе надо?

— Дай я твой полштоф-от, что в шкафе стоит, отнесу назад!

— А Москву видал?

— Видал, брат, Егор Кузьмич,— ответил Петрушка и спрятался за дверь. Но полштоф-таки взял и уже стоял на рынке и щипал *киту* гороху зеленого да запивал его сбитнем. А после:

— Скипидару, Егор Кузьмич, налил: вишь, белила надо было развести, поставил полштоф-от на лестнице, да вон из того дома пришла кошка и разбила. Коли не веришь, осколки тут валяются, сам посмотри!

— Егор Кузьмич!

— Опять дуришь, сорванец эдакой!

— Вахреневские ребята приходили даве; бают: коли хозяин с работы придет, посылай скорей к нам. У них, вишь, Евсей именинник сегодня.

— Ну ладно же, смотри сиди дома; не забегай далеко да и свечей не зажигай, а то знаешь манеры мои?

С этими словами хозяин ушел со двора и пришел уже довольно поздно, приведя с собой двоих, из которых только одного узнал Митька, другой совсем был незнакомый и одет довольно чисто: в сюртуке коротеньком, при часах, и папиросы курит.

На другой день Петруха уже рассказывал своему приятелю, Митьке, следующую историю:

— Хозяин-от мой, слышь, пришел; смотрю я на него. «Вон бери, говорит, Иван Прохорыч, бери этого молодца! Поди, Петрунька, сюда». Вишь, уж они совсем в перевод сладили: я завтра перехожу, а хозяин опосля обещался — с фатерой, вишь, надо, говорит, разделаться! Гляжу, они оба целуются да обнимаются, а ваш-от жмет моему руку. «Небось, говорит, не оставим: не впервые с тобой хлеб-соль ведем; свои, говорит, земляцкие. И кто тебя, говорит, подряд-от эдакой снять сунул, да и работников-то, говорит, все выжигу нанял: у нас не жили — к тебе пришли»,— говорит ваш-от, сам головой качает. Я стою около печи и все слышу: весь разговор-от их взял в толк. Вишь, нашему-то хозяину подошло-то, что хоть по миру ходить, а запрежь козырялся: целый завод, говорит, на подряд сниму и тебя, говорит, Петрунька, артельным старостой сделаю. А сам в те поры ухмыляется. Вот, вишь, Митька, они и порешили к вам; завтра совсем перейдем!

Немногим чем лучше стало Петрухе у нового хозяина, только, может быть, больше перепадало на его долю того баловства, о котором мечтал он. Все-таки незаметно протекло и для Петрухи время его ученичества, и видит артельный, что молодец и ведро окрасит не хуже другого, и фигуры наведет на полу по трафаретке, если заставят, и со шпалерами сладит.

— Могим и это сделать теперича,— хвастался Петруха товарищам.— Лиха беда в шпалере конец найти да надумать, какая фигура к какой идет, коли наставочку придется приложить. Да что, хоть бы и другие ребята: тоже иной раз артельного спрашивают! Что ж, что вывески пишут? и я бы писал, как бы грамоте-то хоть маленько мараковал. Картины, вишь, на вывесках берутся наши ребята писать,— эдак-то и я возьму, да что толку-то: принесешь — приругают только; вон как было с Матюхой, да еще и вывеску-то цирюльник назад отдал. Глаза, слышь, словно очки вывел, да и нос-то, толкует, не тут посадил.

Смиренно сознавался Петруха в своем неуменье исполнять живописную работу, но в то же время получил от хозяина первую месячную плату за житье в работниках, и незаметно перешел он за тот предел, дальше которого нет уже ни пинков, ни щелчков хозяйских: пришла пора самому о себе радеть и стараться.

Между тем подошла масленица со своими самокатами, райками, паяцами, пушечной пальбой и другими затеями. Сказалось это время и мастеровым ребятам: крепко захотелось им позевать на потехи; к тому же работу шабашили. Но ведь вот беда: худая гулянка без денег, а их-то у всех ребят, что называется, *только так*.

Собрались они в кучку и калякают, как бы делу ход дать, чтоб и самим любо было, да и *хозяина не обидеть*, как выразился Матюха. Но где же достать денег, как не у хозяина? И тут беда: один на баню да на *отсыл* забрался столько, что чуть ли не всю зиму придется жить задаром; другой пошел бы просить, да армяк когда-то шить задумал и взял на это деньги, но хоть армяка и не купил, а завел сапоги личные

да гармонию за двугривенный, а все-таки денег нет, да и за хозяином всего тоже очень немного. Думал было и Петруха, как делу пособить, да видит — и ему не везет: недавно денег просил на отсыл, а часто беспокоить хозяина — совсем не годится: в другой раз не поверит.

Судили да рядили ребята: и языком-то щелкали, и затылки чуть не в кровь расчесали, а видят, что ушли не дальше того, с чего начали. Стоят в кучке и молчат, и долго б так было, если бы не закадышный друг косолапый дворник Тихон, всегдашний их советник, а в случае — ходатай и покровитель. Он-то и выручил их из беды, нечаянно вспомнив одно обстоятельство:

— Да что, ребята: нешто забыли, что с Петрухи Кореги магарыч еще надо? Ведь, кажись, третий месяц берет работницкие-то?

— И впрямь, брат Петруха, что ты глыздишь? [4] Поди к хозяину, проси у него.

Промолчал тот, как бы и не его дело.

— Поди же проси, неча отмалкиваться-то! ишь ведь и резоны взяли. Совесть, что ли, зазрить начала?

И ребята начали поталкивать его прямо в калитку к хозяину.

— Ступай, брат; знаем ведь твои счеты с хозяином; знаем, когда брал и сколько осталось. Пихайте его, ребята, в калитку, пусть увидит хозяин да позовет, коли самого честью не упросить.

Петруху уже просунули между вереей и дверью, но он оставался непреклонен.

— Нет, ребята, пустите лучше! Скажу вам всю правду: недавно в деревню брал отсылать,— все деньги забрал, ничего, братцы, не осталось: сами спросите хозяина.

— Нету, брат, врешь,— три рубля твоих за хозяином осталось, ступай! Нешто думаешь, не отдаст, что ли?

— Уж я тебе говорю, не отдаст! Да и что вы, ребята, пристали, словно вар какой! Ступайте сами!.. Ишь и боитесь!

— Э, брат Петруха! корить начал?— Ладно, коли так, удружим сами. Небось любил наш чай-то пить, да еще и лимону раз попросил. Мы, брат, тебе ничего не говорили.

— Нешто я просил вашего чаю-то?— защищался Петруха.

— А лимону-то тоже не просил?

— Отвяжись, Матюха, что ты пристал к нему... ишь каприз взял! Правду молвит хозяин пословку-то: «Кузька, иди молотить!— Брюхо, тятька, болит!— Кузька, иди горох хлебать!— А где, слышь, моя крашеная ложка». Так-то и наш Петруха!— порешил косолапый Тихон.

— Прах его побери, коли товарищей знать не хочет. Сами удружим, когда ни на есть подвернется! Учить еще, вишь, надо, как по дружеству, в согласии надо жить с нами.

Вспылил обиженный: крепко не по нутру пришлись ему последние слова товарищей.

— Ладно, ребята, нишкните, сейчас принесу!— вскричал Петруха и пошел вперевалку к калитке. Ребята за ним и смотрят из-за кося-

ка, что с ним сталось: идет мимо окон, и руками разводит, и, как слышно, ворчит про себя, а на хозяйские окна и взглянуть боится. Отворил вот и дверь в сени и скрылся за нею.

Вернулся Петруха от хозяина с целковым. Немного погодя в ушах ребят послышались учащенные выстрелы, уже на площади, из ближнего балагана. Эта неожиданность так поразила маляров, что они только усмехнулись, разинув рты, и взглянули друг на друга, как бы недоумевая.

Гулянье было в полном разгаре: кучками сбирались тулупы, шубы и полушубки около тех мест, где виднелись кудельные парики, бороды и пуховые шапки, подобные тем, которые надевают тороватые хозяева на огородных чучел. Примкнули и наши ребята сюда и вплоть до вечера слушали потешные остроты паяцев и смотрели, как барышни то и дело прыгают на дощечках. Немало занял их, на обратном пути, маленький мальчишка — кукла в красненькой рубашонке, которая стоит на крышке зеленого ящика и хлопает в медные ладоши. Подошли ребята и, оскалив зубы и приложив ухо, слушали веселенькую песню:

Чики-брики,
Так и быть,
Как бы теток не забыть,
Как бы теток, как бы баб,
Как бы малы-эх ребят.
Живы будем,
Не забудем,
А умрем,
Так прочь пойдем.

— Ну, ребята, хотите что смотреть? и недорого б взял — по грошу с брата! — спросил борода-хозяин по окончании песни.

— Нету, брат, неохота! — отвечали ребята и поворотили оглобли.

— Ну!.. пятак со всех: эй, вы!.. маляры!

— Мелких нету.

— Разменяю!.. сдачи дам!..

— Менять неохота; деньги, вишь, крупны: у тебя и сдачи не хватит.

Ребята, однако, пошутили только из обычая, но, наклонившись и прилипнув глазами к круглым стеклышкам, видели ярко размалеванные картины и слушали бессмертный приговор базарного остряка, на этот раз в таком тоне и смысле:

— Вот я вам буду первоначально рассказывать и показывать иностранных местов, разных городов, городов прекрасных. Города прекрасны — не пропадут ваши денежки напрасно. Города мои смотрите, а карманы берегите.

И пошла писать:

— Это извольте смотреть-глядеть: город Москва бьет с носка и лежачих поталкивает. Ивана Великого колокольня. Сухарева башня, Успенский собор: шестьсот вышины, а девятьсот ширины, а может, и поменьше. Ежели не верите, пошлите поверить да померить.

А это извольте смотреть да рассматривать, глядеть да разглядывать: как на Хотинском поле из Петровского дворца сам император Александр Николаевич выезжал в Москву — на коронацию: антилерия, кавалерия по правую сторону, а пехота по левую.

А это извольте смотреть да рассматривать, глядеть да разглядывать: как от францюського Напольона бежат триста кораблев, полтораста галетов с дымом, с пылью, с свиными рогами, с заморским салом — дорогим товаром, а этот товар московского купца Левки — торгует ловко.

А это вот город Париж, не доедешь — угоришь, а кто не бывал в Париже, так купите лыжи: завтра будете в Париже.

А это вот Летний сад: там девушки гуляют в шубках — в юбках, в тряпках — шляпках, зеленых подкладках. Юбки на ватках; пукли фальшивы, а девицы плешивы.

Ребята смотрят, да не разбирают, что подчас не то видят, о чем толкуется. У раевщика не хватило картины на весь ящик, он к одной картине совсем другую приклеил. Берут ребята на веру и понимают, что тут больше слова, чем самая картина. А слова такие занятные:

— А это извольте смотреть-рассматривать, глядеть да разглядывать: город Цареград. Из Цареграда выезжает салтан турецкий со своими турками, с мурзами и татарами-булгаметами и со своими пашами. И сбирается Расею воевать, и трубку табаку курить, и себе нос коптить, а потому в Расее зимой бывают большие холода, а носу оттого большая вереда, а копченый нос не портится и на морозе не лопается.

А вот извольте смотреть, как князь Меньшиков [5] Севастополь брал: турки палят все мимо да мимо, а наши палят все в рыло да в рыло. А наших бог миловал — без голов стоят, промеж себя говорят, да трубки покуривают, да табачок понюхивают. И это бывает, а бывает, что и ничего не бывает.

А вот извольте смотреть-рассматривать, глядеть-разглядывать, как в городе Адесте, на чудесном месте, верст за двести, прапорщик Щеголев [6] англичан угощает: калеными арбузами в зубы пущает.

Это московский пожар; пожарная команда скачет, по карманам трубки прячет, а Яшка кривой сидит на бочке с трубой, сам плачет да кричит: чужой дом горит.

А вот и Макарьевская ярмарка, что в городе Нижнем бывает. Московские купцы продают рубцы, сено с хреном, суконные пироги с навозом. Московский купец Левка торгует ловко, приехал на лошади: лошадь-то пегая — со двора не бегает, а другая чала — головой качает, приехал с форсу, с дымом, с пылью, с копотью, а нечего дома лопать. Привез барыша три гроша. Хотел дом купить с крышкой, а привез глаз с шишкой.

Ну, теперь будет.

Достаточно смерклось, и ребята отправились в подвал харчевни исполнить обещание — похолить себя чайком-кипяточком.

Этим начались похождения Петрухи: не было ни одного праздни-

ка, когда бы не пил он чаю, от которого недалек переход к меду и пиву. Конечно, на зарабатываемые деньги не разгуляешься, потому что известна залишняя копейка мастерового: только и хватит разве чаю напиться. Выпрошен гривенник на баню, из него три копейки отдано за беленький медный билетик, а остальных, в складчине, хватит раза на два напиться горяченькой водки из-под невской лодки.

Незаметно за длинной порой гороху, гречневой каши с конопляным маслом да тертой редьки с лавочным квасом и луком наступило и то время, когда хозяин оделил трех своих работников, которые были постарше, в том числе и Корегу, деньгами, давши им по рублю серебром на гулянку. Молодцы побрели опять на качели, но не дошли туда, по простому обстоятельству. Дело это вот как случилось.

Идут ребята по Гороховой и толкуют всякий вздор, как взбредет в голову.

Видят, в одном окне хитрая штука: торчит деревянная с золотом птица и вертится кругом, а в зубах у ней бумажник, в котором господа носят деньги и сигары.

— Ведь вот, братцы! — начал Петруха,— кому какой талан дается.— Хоть бы и наше дело теперича взять: поди заставь плотника шпалер натянуть; ан нет! шалишь — не дотянет. Намнясь в Лесном на даче и сами обойщики клеили, да что вышло? нас же, гляди, позвали, потому, значит, что все отклеилось. Выходит, что на то: мы маляры, нам и честь предлежит. Не так ли я, братцы, говорю?

— Умные речи хорошо и слушать. Как же, коли не так? штукатуры, вишь, еще с нами в линию лезут! Да где им, глиняным лбам, сапогам плетеным, такой узор подвести, как я вечор на печи вывел? Мрамор, братец, настоящий мрамор,— никак, значит, не отличишь. Сам ведь видел, Петруха. Хорошо ведь было?

— Что и толковать, паря? Известно, штукатура одно дело: положи, выходит, настилку, примерно,— да и ступай подальше: без тебя, значит, сделаем. Так-то и обойщика дело, чтоб около карет да колясок возиться. А покажи-ка мне эту штуку хоть один раз: подведу, значит, так, что любо да два. Коли на правду дело пошло, так я бы обойщику только и дела давал, чтоб к плотничьим сапогам подошвы *однотесом* [7] подбивать!..— острил Матюха, к единодушному смеху товарищей.

— Стой, ребята!..— громко крикнул косолапый Тихон, незаметно увязавшийся с малярами и до времени слушавший их тары-бары.— Коли так толковать будем, так, тово и гляди, попадем на площадь, а ведь дорога привалы любит и идет-то вон прямо туда! — И дворник указал на одну дверь.

— Нет, я не пойду...— начал Петруха.

— Что же, брат, так?

— Вишь, дело-то это впервые будет со мною, так оно маненько опасно. Коли хотите знать, так я не знаю, как и двери-то туда отпираются.

— Вот, лихая беда узнать единова, а уж попадешь, так оттуда силой не вытащишь. Нешто, Петруха, не пивал еще водки, а, кажись, брат, было дело? — допытывался Матюха.

— Ну, брат, нет! уж этим, значит, ты меня не кори: в чем другом, а этому греху не причастник. Уж, брат, и не кори, — дело небывалое...

— Да идешь, что ли? а то одни пойдем. Смотри, чтоб после попреков не делать. А, Петрух?

— Претит, ребята... неохота!..

— Что это, Петруха, нешто рот у тебя сахарный и водка тебе не по губам?

И ребята ввалились с Петрухой, куда желали. Немного погодя Петруха очутился впереди всех и требовал водки.

Долго морщился Петруха и вздрагивал для потехи всеми членами, словно мороз пробегал мелким горошком по телу: и плечами крутит, и ухает с перекатами да с одышкой; наконец и выпил и начал после оплевываться.

Спустя полчаса Петруха предлагал песни петь. Товарищи решились идти в полпивную, и драл же там Петруха нескладицу своим зычным разносистым голосом! Об одном жалел косолапый дворник, что забыл захватить рукавицу свою, в которой носит жильцам дрова, чтобы закрыть ею, как он называл, Петрухину прорву.

Таким образом издержали ребята все до последней копейки. После этого раза стал Петруха как будто и не тот: стали заводиться за ним и прогульные дни и неизбежные хозяйские вычеты, споры и другие неудовольствия. Начала у него и голова кружиться, когда случалось ему лезть на леса или козла, и синего цвета, бывало, не отличит от белого, а вместо того, чтобы влезть наверх, у Петрухи зачастую подкашивались ноги и он всем туловищем ложился на пол, к общему смеху товарищей. Только хозяйский обычай — не задавать много денег работнику — мешал всем затеям Петрухи, который стал уже теперь просто Петром — у хозяина и Петром Дементьевым или просто Корегой — у товарищей. Наконец стал замечать хозяин, что Корега начал запивать, и совой глядит, и работа не мила, словно впервые спознался с ней. А там уж и слышит сторонкой, что работник начал новых хозяев присматривать, о ценах справляться. Вот он и сам пришел наконец и плачется.

— Из деревни письмо, — говорит, — получил; бают, овин перестраивать надо, на дворе навес настилать новый. Пособи, Кузьма Петрович! заслужим твоей милости, коли не ноне, так на будущую весну пригодимся. Дай, — говорит, — двадцать рублев: до зарезу нужно. А то хоть в гроб ложиться, — так впору. Такая-то напасть подошла!

— Нет денег, — говорит хозяин, — вчера последние вашим роздал. — А сам смотрит на работника, да так смотрит, что смекает тот, что и деньги есть, да дать не хочет: не верит ему.

— Коли так, Кузьма Петрович, — говорит Петруха, — так рассчитай меня; кажись, там еще что-то доводится. Уж я к Андрею Фоми-

чу пойду. Бери, говорит, пачпорт да приноси — тридцать рублев дам, говорит.

Как бы то ни было, но Петруха расчет получил немедленно. Конечно, этот расчет и весь-то состоял из полтинника, да и Андрей Фомич дал ему за остаток лета всего только десять рублей, но все-таки Петруха простился с прежними товарищами, тяжело вздохнул, махнув рукой, и побрел на новые нары.

Андрей Фомич был обстоятельнее и крутее Кузьмы Петровича: он просто не дал Кореге ни копейки вперед и пригнал дело к тому, что тот поневоле должен был работать так, что сам хозяин прихвалил его. Ясно, что Корега наконец взялся за ум и нечаянно сохранил заработанные деньги. Получивши их, он отослал в деревню; сам хозяин и письмо написал, сам и деньги отнес на почту. Мало-помалу вбивался работник в хозяйскую доверенность и даже получил еще три рубля прибавки.

Осенью стал Корега потолковывать и о том, как бы в деревню справиться, откуда уже начали наказывать ему, что пора-де, Петр, и на побывку прийти: шестой год в Питере живешь, а как уехал туда, с тех пор и не видали, да и отписываешь редко: возгордился, что ли? — кто тебя знает. И мир толкует, что «пора-де, Дементий, оженить сына: однолетки его почесть все хозяйками обзавелись, а кой у кого уж и ребятишки попискивают. Пусть приедет парень да посмотрит, а девок у нас, кажись, не занимать стать: сам ты это, Дементий Сысоич, знаешь».

«Знать, тому и быть, чтоб в деревню ехать,— думал Корега.— Ведь и то сказать — не век же бобылем по свету таскаться; посмотрю-погляжу, авось невест и на мой пай хватит. Да вот хоть бы и Матвеева Матренка, коли не померла: знатная, поди, девонька вышла, право знатная!»

И в воображении жениха рисуется облик невесты: полная, румяная девка — кровь с молоком, и брови дугой и словно бор густые, а из-под них смотрят черные большие глаза. Идет она с работы вместе с товарками, косы да грабли на плечах несут; поют девки песни, а Матрена шибче всех задирает, почти одну только и слышно ее, голосистую.

Улыбнулся Корега, укладываясь на нары, и снится ему свой, деревенский, праздник: все девки собрались и ведут хороводы; ребята плотной стеной окружили их и играют, кто на балалайке, кто на гармонии. Вот Матрена, плотная, рослая — гладыш-девка, вышла на середину и разносисто и громко поет знакомую песню, а сама ходит *воробушком*. Откуда потяпки такие, откуда стать и посадка! Мокрая курица перед нею *порука* [8] ее, хоть и эту хвалят ребята. Любо молодцам. толкают они друг друга в бочок, пальцами на Петруху указывают и кричат ему громко, на всю улицу: «Ишь, гляди, ребята, девка Корегу полюбила, сговор был, а все оттого, что в Питере живет да подарков разных навез ей с отцом, с матерью. Вот и сошлись в пожеланиях. Эй, Корега, счастлив, братец, ты!»

Может быть, и еще лучше бы приснилось Кореге, если б только ночь у путного человека была подлиннее, а то так коротка, что не

успел Корега и налюбоваться Матреной. Как встрепенулся утром, так и побрел к хозяину, чтобы застать его дома.

— А я к тебе, Андрей Фомич! пусти в деревню побывать. Назад вернусь — к твоей милости приду, коли не противен стал.

— За чем же дело стало? — ответил хозяин, — собирайся! Нехудое дело родных повидать, а работы, видел сам, вплоть до весны почти никакой не будет. Придешь в посте — понаведайся: может, опять возьму!

— Спасибо, Андрей Фомич, уж не откажи.

И Корега поклонился хозяину в пояс.

— Мы от твоей милости ни за что не отстанем; то исть не в обиду тебе, уж эдакой хозяин, как ты, просто, значит, на редкость. Все ребята это говорят, да и я пытаю хвалить тебя всем: Егорка Семенов затем и пришел к твоей милости от Кузьмы Петрова, что я за тебя крепко стоял; ино, слышь, слеза прошибла! Во как полюбил тебя, Андрей Фомич, и ни за что, брат, не отстану!.. Хоть режь, не отстану. Да и денег твоих, что прибавку положил, не возьму: любя тебя, значит, все дело буду сполнять, только уж ты не оставь попечением, не гони от себя, коли из деревни к тебе заверну.

Понравились хозяину Кореги речи, кусал он свою бороду, пока работник хвалил его и чествовал. Хотел было говорить и сам, да речь не сложилась — только и слов было:

— Ладно!.. тово!.. спасибо, тово... хорошо!.. хорошо!.. Да нет ли, тово, нужды тебе какой для деревни? — спросил наконец довольный хозяин, — пособия там, что ли, не надо ли?..

— Благодарим покорно, Андрей Фомич. Пособие какое же для деревни? Сам знаешь! да и мне тоже немного надо. А мы не из чего твоей милости служим: так, значит, из любви. Вот спроси, брат, ребят наших, хоть сам спроси, что они про меня скажут?

И Корега прослезился.

— Не в обиду ли тебе, молодец? тово... поправки, может быть, дома нужны?..

— Какие поправки, ваша милость, Андрей Фомич? Все твоя доброта сделала: и овин перестроен, и баня новая поставлена, лошадь новую выменяли, овец прикупили... А все твое пособие, Андрей Фомич, — вот ведь ты как человек-от доброхотный: по гроб не забудешь!..

— Ну, что пособие?.. пособие, тово?.. — говорил растроганный хозяин, — коли денег надо — я дам и теперь; вперед дам, сколько, тово... можно, а после сочтемся... ведь за тобой не пропадет!

— Эх, Андрей Фомич, — закричал Корега, — уж коли ты такая душа добродетельная, вот тебе всю душу нараспашку, как отцу родному... Жениться хочу, — понизив голос, продолжал работник, — больно, вишь, пора жениться-то. Невесте подарок бы надо, родным... тоже, ну и свадьбу справлять. А коли не так, так и опосля можно сделать. Коли твоя милость, Андрей Фомич, не согласны, так и отложить дело можем, не важная штука!..

— Зачем же, зачем откладывать?.. можно, тово... и теперь сде-

лать, я рад помочь хорошему делу, в худом только не участник, тово... не потатчик!.. А сколько тебе нужно, денег-то?

— Нет, уж и не спрашивай, Андрей Фомич,— твое дело! Сколько твоей милости, значит, угодно, и на том по гроб благодарны. Сам ведь лучше нашего знаешь, сколько дать, а мы и женимся-то впервые.

— Да ты скажи, примерно... тридцать, тово... рублев будет, что ли?— брякнул хозяин.— Али поменьше возьмешь?..

— Дай уж тридцать пять, Андрей Фомич! Во как благодарны будем!..

И Корега поклонился низко, так низко, что, когда поднялся, все волосы лежали у него на лице, багровом от низкого поклона.

— Ну, ладно, молодец, получишь! слова назад не вернешь. Принеси только записочку с поручительством: сходи к управляющему, что ли... или кто у вас тут заведывает-то? Напиши, что вот-де взял вперед за лето и что обещаюсь-де к хозяину в апреле прийти, ну и все там... как следует.

Уладивши дело, Корега уже подговорил попутчиков, нашел даже совсем из одной деревни; следом за тем выхлопотал поручительство от управляющего и уже спал в вагоне, спал невыносимо крепко: ни пинки перелезавших через него, ни холод, ни говор и шум пассажиров, ни сквозной ветер — ничто ему не мешало. Разве проснется, чтоб выпить сбитню или закусить черным хлебом, что прихватил с собою из города, да и опять завалится под скамейку. Вылезет оттуда да начнет зевать и протирать глаза — смех и шутки пустит на целый вагон, так что иную пору обидно станет и отшутился бы за нападки,— да больно много скалозубов-то. Тратился он мало дорогой, но зато холстинный мешок, что клал он себе под голову и выносил на платформу, любого мог убедить, что Петруха уже довольно поизрасходовался: недаром же целое утро, накануне отъезда, шатался он по Апраксину.

Только тогда поддался Петруха и сделал заодно с попутчиками, когда выровнялось перед ними последнее село по дороге, от которого верст только тридцать осталось и до родной деревушки. Пришли питерщики в это село пешком, да и завернули к знакомому мужичку, что возил купеческие товары на ярмарки и держал для того две тройки.

— Здорово, сват Иван Спиридоныч, мы опять к тебе с прежней просьбой: жениха, вишь, везем, так опять прокатиться захотелось. А за деньгами, сам знаешь, не стоим: почем с брата положишь — и ладно. Знаем, что у тебя вихорь — не кони, да и сам ты даром что стар, а нас, молодых, в этом деле за пояс заткнешь!.. На дыбках стоишь, и ни один почтарь за тобой не угонится,— дружно просили питерщики, хитро подобрав речи.

Знали они, что старик крепко любил своих коней да любил похвастаться и своею стариковскою удалью и уменьем *ямщичничать.*

— Ну, садись, дружки, туда, на задки. Да держись покрепче: сивого мерина в корень пустил, недаром его ребята чертом прозвали.

Попривяжи назади, Еремеюшка, рогожу-то: чтобы коробом, знаешь, стояла от ветру, а шоркунцов-бубенцов по три на каждое ухо я привязал. Да не привязать ли, ребята, колокольчик для задору да и для потехи? Пусть там бабы очи повыглядят, а девки сердца поиззнобят. А дуга-то, дуга-то, ребята!.. десять рублев за одну дугу заплатил: одного золота на *лобанчик* [9] будет. Ишь, индо сизит да солнышком в глаза отдает, коли сбоку посмотришь,— расхвастался старый, подбирая полы и усаживаясь на козлы.

Загремели *шоркунцы,* словно ребятские трещотки на лугах, когда собирают они там лошадей, чтобы вести их купать или в стойло загонять, а колокольчик заболтал языком свою нескладную, монотонную песню. Потом мелкой рысцой ехали ухари наши больше чем полпути. Но лишь завиделись им знакомые деревни верстах в семи, там, за леском да за горкой,— гикнул старый, словно испугавшись, что все зубы изо рта потерял, да и замер его дрожащий голос. Зачастил он, зачастил кнутом по пристяжным, стал на дыбки и шапку как-то ненароком на левое ухо сдвинул. Крикнул еще раз, оборотившись назад: «Держись, ребята! да посматривай, чтоб не растерять вас,— вона и гумна соснинские видно!» Замолол старый, замолол языком что-то складное, вскочил на подножки, закрутил кнутом над головой да и света в глазах не видит: того и гляди, что прыгнет через лошадей да и побежит сам *прытчее* их.

Сидят питерщики, улыбаются да переглядываются; только немного поддает на ухабах, а избы так и летят мимо — сторонятся. И видят они чуть-чуть из-за виска, искоса, что в избах задвижки в окнах поотодвинулись [10], а девки с ребятами выбежали за ворота посмотреть, что за шум и грохот несется с поля, а, кажись, теперь свадьбам не время быть.

— Это питерщики, девки, да не наши; справа-то ровно бы Петруха лошковский. Ишь как парят!— заметил один из парней.

— А крякнут подпруги либо завертки, то и быть бычкам на веревочке!— подхватил другой.

— Ну, нет! Иван Спиридонов не таковский!.. у него все сыромятное, не мочальное, что у нашего брата,— ответил третий.

«Поди, денег много везут и подарков всяких невестам!» — подумали старухи на полатях.

Между тем питерщики, со звоном и присвистом старика-ямщика, из конца в конец раз промчались по своей деревне, другой раз назад, и опять так же, а в третий — рысцой да и легонько: время уж и из саней вылезать, молодецки да осанисто, и разойтись по своим избам.

— Батюшка ты наш, яблочко наливное, красавец ты всесветный! Дождались-то мы тебя!— голосили бабы в Корегиной избе.

И целуют-то Петра, и вдоль спины-то гладят. Три бабы овчинный тулуп снимают, одна берет из рук шапку и положить куда не найдет места. Усадить не знают где питерщика, а сами ревом ревут бабы, не то от удивленья, не то с радости.

— Ишь ведь и приехал к нам, и не чаяли нашего светика! Поешько, кормилец, соломаты [11] с овсяным кисельком. А там разговеемся —

яишенку-глазунью сделаем. Да не хошь ли гороху с толченым луком: ты ведь и до него куды какой охотник был! Не велишь ли к утре из любимого чего приготовить? Ох ты, наш красавец-питерец! Глядите-ко, бабы, как вытянулся Петруня-то наш, и не узнали, коли бы сам не пришел да не сказался! — говорила мать-большуха, угощая сына. А сама из угла в угол бегает словно угорелая, и к сыну-то подсядет да гладит его по голове, и баб-то бранит, что не тем угощают.

Слез и отец с полатей, где нарочно подольше сидел, чтоб угомонились бабы.

— Здорово, Петрован, здорово, питерец! Ишь какой!.. ишь какой!.. — говорил он, целуя сына.

Сыну, на радостях, и кусок в горло нейдет — встал из-за стола и начал оделять домашних подарками: кому платок расписной, с городочками, кому ситцу на рубаху, а отцу столичный картуз привез с козырьком кожаным да перчатки зеленые. Всех оделил, никого не позабыл и не обидел; даже сестренке и той привез картинку.

— Спасибо, Петрованушко, спасибо, — говорил отец. — На радость ты нам вырос на старости лет. А колькой ему годок-то, бабы, пошел — кажись, восемнадцатый...

— Али двадцатый? — отвечала мать.

— Полно, сестра! — подхватила старая тетка питерщика, — ведь Петя родился, еще Онтушево не горело; ровно в тот год, как бурмистр овин новый строил. Пришла я, мать моя, с покосу, а ты уж и с постели встаешь, — совсем отпустило!..

— И, нет, дева, кажись, опосля бурмистрина-то овина. Матушка, а матушка! — закричала большуха и повернулась к печи, откуда немедленно послышался глухой, раскатистый кашель с перхотой, оханьем и вздохами, наконец раздался шепелявый старушечий отзыв:

— Меня, что ли, бабы?

— Который годок внуку-то пошел, помнишь аль нету? — опять крикнула большуха, и опять начался кашель да оханье:

— Не слышу, девоньки, не слышу, что хошь, не слышу. Одолел проклятый кашель, да и уши словно куделей завалило. О чем ты тут спрашиваешь? Кому годок?

— Вот Петровану-то? — И мать указала на сына.

— Ему-то? — И бабушка задумалась. — Ровно бы пятнадцатую зиму живет, — начала она наконец, — вот сёмая пошла, как я ничего не слышу, да пятая, как кашель начал долить. Кажись, так, бабы? аль шестая пошла, как я кашлять-то начала?

— Больше никак будет. Да не в том толк, бабы! — перебил большак и подвинулся к сыну поближе, наказавши своим не спорить, а слушать хозяйские речи.

— Вот об чем разговор будет, — начал Дементий Сысоич. — Невесту присмотреть пора, Петруня! Походи-ко по супрядкам: не приглянется ли какая, а там, на поседках, и переговорите друг с другом. С нашей стороны никакой помехи не будет; коли на то пойдет — сам пойду сватом. А есть у нас про тебя, Петя, клевая девка на

примете — Матвея Чижа дочка, Матрена. Эдаких-то, поди, у вас и в Питере мало, а тебе самому, чай, и не снилась такая.

— Было дело! — ответил питерщик, — об ней, признаться, и дума-то у меня была.

— Вот и ладно, коли так! — решил Дементий. — Коли сойдетесь миром да согласием — и спорить не станем. А перечить да неволить я, брат, сам не хочу: тебе с ней жить. Девка она честная, ведется хорошо, и семья, ведь сам знаешь, хорошая. Мы, признаться, брали уж ее после Кузьминок на испытание: ничего, братец, не грублива, не перекорщица и к работе приобычна. Так ли я, бабы, говорю?

Решила семья взять Матрену, и дело не за многим стало: походил молодец по поседкам, заручил невесту подарками да похвальбой столичной — и стал женишком. Образом *сговорен* благословили, на другой день девишник да *покоры* поезжанам, чтобы больше девкам подарков давали, не скупились. Лишь кончились святки и начали затеваться по соседям свадьбы, и из Дементьевой избы потянулся длинный поезд с колокольцами, прямо на горку, в приходскую церковь. Приехали молодые за свадебный стол: хмелем обсыпали, под образ и хлеб подошли, сели в передний угол, и началось чествованье да угощенье, подслащалась горькая водка сладкими поцелуями, кланялись в пояс и молодые, и родители. Дружка носит да потчует, другой стоит у притолки, подле печи, да приговоры ведет, словно по писаному: не то для смеху, не то уж так следует по заветному обычаю. Вынесли ребятам браги — и хорошо, спокойно было; еще из ружей на всполье стреляли.

Через день *красный стол*, для ребят да девок, развернулся. Словом — сделалось все по старине да по обычаю. По обычаю же пошел молодой с ребятами в приход свой в первое воскресенье после свадьбы; здесь купили водки и пили посередь улицы. Вытащил Петруха из-под полы балалайку, засучил рукава серого кафтана и тешился *напоследях* с товарищами, провожая свою молодость за тридевять земель в тридесятое.

Пришел он домой и принес жене с подругами орехов да пряников сладких. И у них стало так, что вот-де тебе, паренек, — женушка-лапушка, а вот-де тебе, девка, кокуй — с ним и ликуй. Дай же вам бог любовь да совет, живите да богатейте!..

Велся в той стороне обычай, чтоб выезжать молодым в посад на масленице, кататься в посадском поезде. Так сделали и наши молодые. Петр Дементьич запряг лошадку в казанские саночки и коврик на задок выбросил. Сам надел синий армяк, зеленые перчатки, повязался шерстяным шарфом; платок желтый шелковый высунул из кармана, как будто ненароком. Сидит рядом с ним Матрена Матвеевна, словно куколка, в штофной душегреечке и в новенькой кичке с разноцветными подвесками из крупного бисеру на висках и на лбу. Катались они вплоть до прощального воскресенья, пели с посадскими песни и ездили шажком по середке широкой, как поле, посадской улицы. Медленно тянулась песня, и слышался в ней звонкий и бойкий голосок Матрены Матвеевны. Подпевал козелком и муженек ее, питерщик.

Но вот подошло время расставанья с молодой женой.

Слеза в этих случаях идет больше женская. У рабочего с отхожим промыслом по большей части и самая женитьба не такой обряд, чтобы щемил он после сердце при разлуках. Из Питера приходят всегда переделанные, с форсом, с похвальбой, хвастуны и охолоделые. Мужнина ласка — за стыд, женина — в большое неудовольствие, особенно если при людях. Сплошь и рядом случается, что столичные сударки выучивают так, что вызывают на другой стороне прохожих молодцов, а отсюда такая пропасть сказок и рассказов, песен и загадок про отхожего отца и прохожего молодца, что бойкому сказочнику-швецу и в два вечера не пересказать. У новобрачных только и радости и наслаждений по первопутью, когда все свежо и все новенькое.

На эту тему у тех же питерщиков имеется ими же самими сложенная песенка, которую, конечно, они в деревнях своих не поют (разве в подпитии и ради шутки), но которую можно слышать и на костылях при ремонте наружных стен столичных домов, и на лесах с потолков, и от извозчиков, беззаботно возвращающихся с выручкой к хозяевам в Ямскую, и на невских лодках от перевозчиков. Мы слышали незатейливую песенку эту на огородах между Петергофом и Ораниенбаумом и передаем ее в таком виде, как там записали:

Ну, не полно ль те, Ванюша,
С долгохвостыми гулять?
Не пора ль тебе жениться:
Ты не будешь баловать.
Наконец Ваню женили:
Ну, об чем тут толковать?
Посылали в Питер жить,
Снова денежки копить.
Один годик постарался —
Сот пяток рублей достал,
Ему мил домик достался.
Свою женочку достал;
Когда, денежки пославши,
Сам по Невскому пошел,
Свою прежную нашел,
Ну, нечаянно сошлися —
Поздоровкалися.
Как сказал он, что женился,—
Разговор другой пошел:
«Ох ты, Ванюшка-дружочек!
Вспомни рощу и лесок.
Как во рощице гуляли.
Ты с Катюшой баловал.
Катя песенки запела,
Ты в гитару заиграл».
Как вот Груня восставала,
Поправляла фартук свой,
Всем подружкам рассказала:
«Беспокойный милый мой!»
Не московский был трактирщик,
Не последний был красильщик:
Разны ситцы набивал.
Получал денег немало:

По восьми сот рублей в год,
Во деревню не хватало
Двадцати рублей в оброк;
Из оброку была нужда,
Он имел в своих руках
В белом фартучке красотку,
Во сафьянных башмачках.
Придет праздник — в душегрейке,
Сарафанчик с галуном;
У нас последняя копейка
Вылетала кверх орлом.
Мы войдем тогда в избушку,
Когда мать с отцом войдет,
Мы сделаем пирушку,
Только дым столбом пойдет.
Приезжал домой без денег.
Отец с матерью ругал:
«Ты, раск....н сыр, бездельник,
Где ж ты денежки девал?
Как товарищи приходят,
По три ста рублей приносят:
Шестьдесят в оброк относят,
Двести сорок на расход.
От тебя мы не видали
Лет пять больше ничего,
Нам недавно рассказали:
Теперь знаем, отчего».

* * *

Вот сходил наш питерщик в Питер. Зимой, исполняя желание молодухи, опять наведался в деревню, но не тот уж стал. Жена все ему сделай — и дров наколи, да вот он в посад хочет съездить — так и лошадь впряги, навяжи и вожжи, и супонь подтяни. Ребятишки помогут, коли сама не сможешь. Его дело приодеться только, приосаниться, сесть в праздничном наряде да и ехать.

— Да скорей, жена, одевайся: по-нашему, по-питерски. Залежались вы здесь, зажирели, а мужья про вас ломом ломай на чужой стороне. Уж коли в деревню едем, значит, отдохнуть хотим — и все тут!

С этих пор Петр Дементьев всю зиму ничего не делает и лежит себе на полатях, ни рукой, ни ногой не шевельнет, словно другой Илья Муромец *на печи родительской во селе Карачарове.*

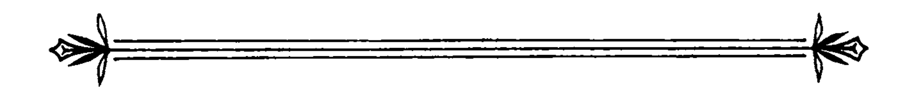
— Обедать готово! — скажет жена.

— Иду сейчас; да что ж вы хлеба-то не нарушали, — чего зеваете? Ваше, бабье, дело за домашним хозяйством блюсти. А поила ли, Матрена, лошадей, а убрала ли, Матрена, шлею-то? Супони не подшила: клочья торчать начали.

— Подай-ко мне трубочку! да уголек принеси из горнушки. А поставьте-ка, Матрена Матвеевна, самоварчик да сливочек принесите. Я полежу вот маненько, что-то всего разломало. И кто ее поймет, эту болесть какую: не то угорел в избе от бабьей стряпни да ребячьего крику, не то поел много жирного? Ох-хо-хо! — проворчит Корега, и затрещат под ним полати.

Будет ходить Корега в Питер, а разбогатеет ли он?

— Да ведь это, батюшка, человеком ведется,— ответит любой из его хозяев.— Коли не пьет, известное дело — приживет с достатком. Летом у хозяина, а посмышленей кто да попроныристей — и подрядец маленький может снять. Зимой, когда глухая пора настает, работы у нашего брата маляра мало, так и к обойщику может наняться, это дело нехитрое. А то со стеклами ходят да посматривают: нет ли где битых. Все на надобности хватит, а об выпивке оставь думать. В нашем ремесле всего больше уменье значит, ну, известное дело, и *черезвым* быть следует, а пуще того грамотным. Вывески славное дело, коли умеешь грамоте! Все наше дело, да в других мастерствах также, портит кутеж этот, с горя и так себе, а нет — так с похмелья. Пропьет все денежки-то, какие накопил, да и поет, что коза на привязи, а там зиму-то за свою глупость с крохи на кроху мелкотой и перебивается. А ведь если правду говорить, на ушко да по секрету: так уж мы хозяйство-то с большими деньгами начинаем, да со своими, с готовенькими.



КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ В КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

Лишь только кончится в овинах молотьба хлеба и время подойдет к так называемым Кузьминкам, простой народ уже начинает, по заведенному порядку, приготовлять зимние развлечения. Во всех деревнях затеваются *ссыпки.* За четыре дня до Козьмы и Демьяна девушки известной деревни ходят по избам и собирают складчину; хозяева побогаче и зажиточнее дают говядины, поросят, кур, крупы, муки, солоду, масла; победнее — яиц, молока, хмелю. Собравши складчину, выбирают и отпрашивают просторную избу и начинают приготовления к празднеству: варят пиво и сусло, пекут пироги, приготовляют лапшу и в самый день праздника открывают пир сытным, жирным обедом. Главными гостями на этом пиру, разумеется, являются деревенские парни в красных рубашках, обязанные принести вина для себя и хозяина избы, орехов и пряников для хозяек и заводчиц пиршества. После обеда бывает первая вечеринка, как бы репетиция будущих святочных посиделок. Какой-нибудь ухарь-парень, засучив по локоть рукава, затринкает на балалайке, и начинаются пляски и песни, продолжающиеся всегда до третьих петухов.

После этого вечера начинаются так называемые супрядки, и именно следующим образом: какая-нибудь хозяйка, баба, накопившая много льну и превратившая его в мочки, идет по домам и приглашает девушек помочь перепрясть ей накопившийся лен. Девушки, одетые запросто, являются с копылами и гребнями к самому обеду, после которого принимаются за работу, и таким образом открывается первый вечер супрядок при тусклом свете лучины в каганце [1]. Чтобы спорилась работа и не клонило ко сну шипенье веретена, нередко запевается заунывная песня, к которой пристают и праздные деревенские ребята. В промежутках между песнями рассказываются сказки и бывальщины, в которых часто принимает участие и сам хозяин, где-нибудь в углу тачающий свой лапоть или зашивающий конскую сбрую. Такая беседа продолжается иногда часов до 12 вечера, смотря по работе или, лучше, по количеству собравшихся ребят-сказочников.

Так однообразно тянутся эти супрядки, переходя из избы в избу,— вплоть до рождественского сочельника. Не бывает их, конечно, в праздники, и не поется песен по субботам. Нередко такого рода посиделки, смотря по обстоятельствам, затеваются и в промежуток времени между святками и масленицей; иногда яв-

ляются даже и на первых неделях великого поста. В исходе этих супрядок, перед святками, беседы несколько оживляются приездом гостей-питерщиков: песни поются тогда веселее, сказки сменяются интересными рассказами о Питере, из соседних деревень являются гостьи-невесты. Местные девушки, в свою очередь, уходят в гости, и самая цель вечеринок принимает более серьезный характер: питерщики выбирают себе невест, с кем вместе жизнь коротать, вместе горе мыкать, с кем жить да поживать — по пословице только, потому что женившийся в конце великого поста оставляет свою *молодуху* и снова идет в Питер на работы.

С приезда питерщиков самая картина супрядок значительно изменяется: работа тянется как-то вяло, девушки чаще начинают вставать со своих мест и выходить в сенцы, да и проказники-питерщики не сидят в сторонке, а норовят подсесть поближе к девушкам и следом за ними выбегать на двор.

Накануне 24 декабря копылы и гребни покидаются надолго, вплоть до 8 января, и не берутся в руки в предчувствии святочных удовольствий. Цель супрядок достигнута: питерщики выбрали себе невест. Остается на святках замысловатыми, комическими ряженьями окончательно расположить в свою пользу сердце выбранной суженой. Недаром же иной навез из Питера целую связку масок, самых смешных, самых уродливых, целую дюжину расписных платков и несколько пачек цветных, самых ярких лент.

На другой день Рождества начинаются святки, или, лучше сказать, *посиделки*, вечеринка, называемая просто *поседками*, иногда *беседами* и даже *беседками*. Выговаривается у какого-нибудь хозяина самая просторная изба из деревни на все время до 4 января, когда бывает последняя поседка. Редко бывает, чтоб она переносилась в другую избу, разве случится в доме несчастие — умрет кто-нибудь из хозяев. В больших селах и деревнях таких вечеринок бывает вместо одной — две, иногда даже и три в один вечер, смотря по богатству деревни, ее народонаселению и по числу наехавших гостей. Не бывает поседок накануне праздников,— зато в праздники они бывают и многочисленнее, и веселее, особенно если деревни лежат по соседству с уездным городом, посадом, усадьбою богатого помещика. Из уездного города и посада приходят гости-канцеляристы, писаря станового, почтальоны, привозят с собой вино, чтоб расположить в собственную пользу местных ребят, всегда враждебно смотрящих на гостей не своего приходу и иногда затевающих с ними на улице страшную свалку. Из соседних усадеб приходят лакеи, улучившие свободную минуту, когда господа лягут спать или уедут в гости. Эти приносят с собою скрипку, почему всегда живут в ладу с ребятами и нравятся девушкам. Иногда — и весьма нередко — сами помещики со всеми гостями, на нескольких тройках, в кибитках, приезжают смотреть, как веселится простонародье, и даже принять некоторое участие в их удовольствиях. Исключительная же привилегия веселиться предоставляется девушкам: ребята обязаны их развлекать и оборонять от незваных и дерзких гостей. Иногда, впрочем, и молодухи, и то разве по просьбе приехавших господ, вмешиваются в толпу веселящихся, потому что,

по общественному обыкновению, замужние женщины должны быть равнодушны к пляскам молодежи и только разве могут, и то тихонько, подтягивать в песнях.

Поседки эти резко отличаются от супрядок, не говоря уже об однообразии последних и веселом разнообразии первых. Даже в освещении, в нарядах девушек и самых удовольствиях существует между поседками и супрядками большая противоположность. Первые освещаются всегда и непременно свечами, доставляемыми ребятами, последняя — непременно лучиной; наряд девушек на супрядках простой, домашний, на поседках — лучший, праздничный сарафан и цветные ленты в косах. На супрядках редко или почти никогда не услышишь ни балалайки, ни даже гармонии, тогда как без них и поседка — не поседка, и потому на прямой обязанности парней лежит, кроме доставки свечей, и доставка музыки. Наконец, прямое и редкое отличие поседок от супрядок то, что на последних невест *выбирают,* на первых окончательно их *побеждают*.

Считаем излишним упоминать, что накануне Нового года на Васильев вечер [2] все девушки ходят завораживаться в баню, овины, на перекрестки дорог, что при этом происходит много комических сцен, производимых шутниками-ребятами, что подобные завораживания совершаются, хотя уже и реже, и в следующие за тем четыре вечера.

И вот, в заключение, по возможности верная картина деревенских святочных вечеринок, конечно ежедневно от различных обстоятельств изменяющаяся, в общем весьма похожая на описанную здесь, одним словом, всегда верная самой себе, иногда даже и в частностях.

Представьте себе большую крестьянскую избу с черными, закоптелыми от дыму, стенами и потолком. Тотчас по входе туда трудно разглядеть собравшееся здесь общество: духота и мрак невыносимы. От жару свечи, стоящие по полкам, надстроенным в параллель скамьям, обтаяли и бросают на все собрание какой-то тусклый и тяжелый полусвет. Изба битком набита народом, так что с трудом можно продраться до средины главного места действия, где на лавках чинно уселись деревенские девушки. Прямо против них на полатях взгромоздились ребятишки, по пояс свесившиеся вниз. Впереди их детских лиц виднеется густая рыжая борода, опершаяся на оба локтя рук и принадлежащая хозяину избы и полатей. Прямо под ними поместилась огромная ватага взрослых ребят. Из их толпы время от времени раздается настраивание балалайки. Налево от них огромная печь, с которой слышны невнятные звуки храпенья кого-либо из тех домашних, которые свое отгуляли. Далее, впереди печки, перегородка, из дверей и через верх которой торчит несколько лиц в кичках или платках, принадлежащих уже отплясавшей молодежи — замужним женщинам.

Вечеринка только что началась. Затрынкала впервые балалайка веселого голубца [3], ей нескладно, но смело подыгрывает гармония. С одной лавки важно поднялись две девушки и, обдернувши сзади свои платья, начинают одна против другой прохаживаться, обмахиваясь платками. Но вот уже одна из них подперлась рукою в бок и притопывает ногами; затем, громко шеберстя башмаками, пускается

прямо к своей *поруке,* взяла назад, еще раза два в сторону и остановилась. Другая делает то же самое точно с такими же приемами, и ей уже время остановиться, как первая, подпершись в оба бока руками, летит ей навстречу и заставляет ее делать то же самое. Сделавши таким образом два-три круга, и порознь, и вместе обнявшись, они кланяются на все стороны и садятся на свои места. Пляска, кажись бы, и кончилась, но музыканты все еще назойливо продолжают веселые трели. С лавок поднимается, с теми же обдергиваньями платья, другая пара, которая пляшет, или, лучше, шаркает, точно так же, как и первая.

Музыканты замолчали. Девушки начинают обмахиваться платками, парни о чем-то переговариваются. Вскоре в избе наступило затишье, нарушаемое изредка щелканьем съемцев по нагоревшим свечкам. Видно, что дело еще не спорится, как будто чего-то недостает для общего удовольствия.

— Что же вы, оржанушечки, замолчали?— раздается голос с полатей,— не заставьте меня, старика, взбаламутиться. А вы, дураки, что глазеете-то?— продолжал старик, опустивши вниз голову и обращаясь к ребятам.

Как будто пристыженный замечанием, робкий, свеженький голосок, приятно дребезжа, запел песню: «Как за реченькой слободушка стоит», смело и громко сопровождаемый всем хором девушек.

— Вот так! давно бы так, Аннушка!— сказал удовлетворенный старик, разглаживая самодовольно бороду и приятно улыбаясь.

Недолго тянулась песня, скоро смененная другою: «Я вечор, млада, во пиру была», а вслед за нею и третья: «Ты скажи-ко мне, воробушек», сопровождаемая пляскою двух девушек, или, лучше, мимикою, представлением телодвижениями всего того, что пелось в песне.

Между тем число зрителей значительно увеличилось, к прежним инструментам присоединились новые, между которыми нетрудно различить даже скрипку и гитару, принесенную из соседней усадьбы помещичьими лакеями. Пляски стали живее и непринужденнее, и вдруг, в самом разгаре их, из дверей и с полатей раздались радостные, громкие крики: «Нишните-ко, ребята, ряженые идут! ряженые идут!»

И в самом деле, отворилась дверь, толпа ребят расступилась, и из густого пару, вдруг обхватившего всю избу, явились посреди избы три фигуры в вывороченных наизнанку шубах, представляющие медведя, козу и вожатого. Они встречены взрывом хохота с полатей и несколькими замечаниями, относящимися к костюму козы.

Началось представление, столь нередкое в деревнях, селах и на площадях наших отдаленных уездных городков, сопровождаемое невозмутимой тишиной. Заметно было, что оно не произвело особого впечатления на зрителей, и только по уходе актеров раздалось колкое замечание из толпы взрослых ребят:

— Мало, знать, Михея-то зимусь собаки сорвали; так он, слышь, сам-от теперь хозяином, а сергачом-то нарядил Степку Горелова.

Только что скрылся медведь, как снова из заднего угла раздались голоса:

— Пойдемте-ка, ребята: что-то больно шибко шаландуются на лестнице, знать, питерщики сейчас нахиряют [4].

Вслед за этими словами из дверей послышался торжественный голос:

— Полно, Офимья, артачиться-то, пойдем; аль не знаешь, что хозяйки добрых людей пущат и всяким словом угощат. Эй! развернися, хозяюшкам в пояс поклонися. Любите и жалуйте, добрые люди!

Последние слова, уже посреди избы, говорил высокий чучело с страшным животом и горбом, в длинном сером армяке, в кудельном парике, с такою же бородою. За поясом его торчал кнут; а возле — длинная, тонкая фигура, одетая в изодранный сарафан, едва доходивший до колен, и с какими-то грязными тряпками на голове. Эта последняя фигура, поклонившись девушкам, садится на пол.

— Что это она у тя севодни больно примахрилась (нарядилась), аль поминки по бабушке Акулине справлять?— заметил какой-то остряк из толпы ребят.

— Глупый ты человек! аль не смекаешь; пондравиться, вишь, вам, молодцам, хочет: знает, что невест выбирать пришли,— отвечало чучело.

— А колькой ей годок?— продолжал неотвязчивый остряк,— коли больно молода, так я и не возьму, чай, деда мово махоньким помнит.

— Что еще, братец: баба, вишь, шустрая, здоровенная. Да вот нишни — посмотрим.— И брюхан с плетью начинает, при общем смехе ребят, глядеть старухе в зубы.

— И впрямь, брат, цыган!— заметила какая-то обидевшаяся баба из-за перегородки.

По освидетельствовании оказалось, что ей два ста без десятка.

— Плясать-де еще может,— заметил цыган. Но Офимья что-то не в духе и не слушается мужа.

Тогда последний прибегает к более действительному средству — кнуту. Старуха быстро вскочила и начала делать сколько умела карикатурные прыжки: то упадет на пол, то снова вскочит и немилосердно стучит своими сапогами в каданс скачкам мужа, распорядившегося уже насчет музыки. Наконец умаялась, упала в последний раз, и брюхан прочел тут же над усопшей приличную торжеству речь, что «баба-де уважительная была, работящая, а, вишь, и померла, желанная моя, касатка моя, раскрасавица ты эфдакая», и, что в груди его сил и духу, начинает, при общем взрыве хохота зрителей, реветь во всю избу. Потом берет с полки свечу и осматривает усопшую: развернул ее головной убор, из-под которого мгновенно выставляется клинообразная черная бородка — причина страшного взрыва смеха, преимущественно с полатей и лавок. Но верх восторга публики произвело то мгновение, когда старуха, как бы нечаянно, подожгла кудельную бороду мужа и этим фейерверком возбудила истинный фурор: у многих девушек от смеху появились на глазах слезы, старику

на полатях поперхнулось, и он сильно закашлял, во всех углах слышались восклицания, оканчиваемые новым взрывом:

— О, чтоб вас разорвало!.. Уморили со смеху, балясники!.. колика взяла!..

Долго еще после представления чихало, сморкалось и кашляло общество, пока наконец не успокоилось и одна, побойчее прочих, девушка не загорланила во все горло песню: «Выйду ль я на реченьку, посмотрю на быструю!» Пляски пошли живее, среди избы толкается уже множество пар, между ними показались даже и парни. Много пропели песен, участники почти уже все переплясались, и вот, будто снова на подкрепление, явилась новая, самая большая орава ряженых, которая потешает неприхотливых зрителей разными шутками и прибаутками.

Между этими шутками наибольшим уважением пользуется следующий диалог, вроде театрального представления, разыгрываемого обыкновенно барскими лакеями. Разговаривают двое: один одет барином, другой рваным лакеем. Разговор этот везде почти один и тот же.

Барин: Афонька Новый!

Афонька: Чего, Барин Голый?

Б: Много ли вас у нас?

А: Один только я, сударь.

Б: Стой, не расходись: я буду поверять, всякого в ремесло какое назначать, в Питер на выучку посылать. Отчего ты, мошенник, бежал?

А: Вашу милость за волосы подержал.

Б: Я бы тебя простил, а может, и наградил: в острог бы тебя посадил.

А: Я, сударь, не знал, а то бы еще дальше забежал.

Б: Где же ты это время проживал?

А: Да все в вашей новокупленной деревне — в сарае пролежал.

Б: А, так ты и новокупленную деревню мою знаешь? Скажи-ко, брат, каково крестьяне мои живут?

А: Хорошо живут, барин: у семи дворов один топор.

Б: Как же они, мошенник, дрова-то рубят?

А: Один рубит, а семеро в трубы трубят. А вот хлеб у них, барин, хорош уродился.

Б: А каков в самом деле?

А: Колос от колосу — не слыхать девичья голосу, копна от копны на день езды, а как тише поедешь, так и два дни проедешь.

Б: Что они с ним сделали?

А: А взяли, собрали, истолкли да и поставили под печной столб просушить. Да несчастьицо, сударь, повстречалось.

Б: Какое?

А: Были у них две кошки блудливы, пролили лоханку, хлеб-то и подмочили.

Б: Что же они с ним сделали? неужто так и бросили?

А: Нет, барин! Они сварили пиво, да такое чудесное, что, если вам его стакан поднести да сзади четвертинным поленом оплести, так будет плести.

Вот и театр доморощенный, но монолог этот смешил девок до

хохоту, а на почтенных лицах вызывал лишь легкую улыбку, да и то в деревнях, что называлось прежде, вольных, т. е. у крестьян государственных [5].

Затем, по данному знаку, заиграла музыка, ряженые пустились в пляс. Кто побойчее выделывал ногами такие антраша и так высоко, что судья с полатей вынужденным нашелся заметить следующее:

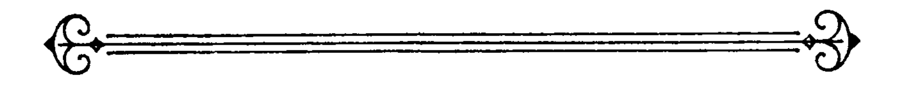
— Ты, сударь, ваше благородье, не очень больно ногами-то дрягай, а то, слышь, запутаешься в бороде да меня вниз стащишь, тогда берегись: осрамлю, как пойду сам плясать.

— А чьи это ребята? — спросил он тихо, наклонивши вниз голову под полати.

— Говорят, вожеровские,— отвечал один голос из толпы ребят,— Андрюха-повар и Матвей-кучер: господа-то, знать, в Безине на менинах (именинах).

Но вот и эти актеры убрались восвояси. Было два часа за полночь. Девушки немедленно составили круг, в котором приняли участие все бывшие в избе, даже старик слез с полатей и пристал к хороводу. Начали хоронить золото, заплетать плетень и завертели сеянием проса [6]. После того изба мало-помалу начала пустеть, ребятишки давно уже убрались с полатей.

Наконец в избе все смолкло, кроме грудного ребенка, но и тот вскоре угомонился, и только изредка раздавался скрип его люльки, качаемой ногой сонной матери, да чириканье сверчка за печкой.



ДРУЖКА

(Рассказ)

I

— Уж куды это меня, свет батюшка, снарядил, снарядил-то ты меня, знать, во чужие люди, что за гостя ли то за нежданного. Уж простите вы меня, мои родители, свет ты мой, матушка — Арина Терентьевна; не давайте вы меня, братцы родные, ворогу вашему, что ни с ветра ли он пришел, с непогодушки. Повопите вы обо мне, сестрицы-голубушки, говарки-подруженьки, мово девичества соучастницы, вы не замайте моей русовой косы, не троньте волосиков моих русыих! Знать, идти уж мне во чужие люди, не видать мне порогу родительского; словно надоела я вам, напостылела; один-то ли был свет, что в окне видела, не видать-то мне и его из-за горючих слез; воздыханья-то мои грудку белую надрывают; вы не троньте меня, мои подруженьки-поперешницы, не замайте моей русой косы, ленточки аленькой...

Долго раздавался вопль на всю избу, долго еще причитывала невеста, обливаясь слезами и покачивая головой из стороны в сторону. Ломает она руки и не смотрит на своих подруг-поперешниц; не слышит даже, как расплели ей девичью косу и накрыли голову чистым рядном; и вопли матери невдомек ей. Выкрикивает невеста во всю избу: недолго уж ей пировать. Пойдет она в чужие люди, в чужие руки,— будет ли так хорошо ей там, как хорошо было дома? — никто не скажет. Хоть на последних порах дайте ей волю натешить свою душеньку — наплакаться. И всего-то ей стало жалко: и кота белобрысого домовита, и стола, на котором обедывала, и лавки, на которой сиживала, и решета, и коромысла, и горшочка, и плошечки. Плачет *сговорена* и соблазнила своих милых подруг: полна изба рева и причитанья, и в ум не возьмет сам большак, кто тут кого разобидел, от кого тут весь сыр-бор горит. Стоит отец середи избы словно громом пришибленный; крикнул бы, топнул ногой на бабью дурь, на грошовые слезы, да опомнился: вспомнил, что уж таково дело бабье: не хитро расплакаться, да трудно уняться. Видит большак, что и сам виноват.

С утра еще вчерашнего дня забрались к нему подсыльные сваты, почесали под бородами и начали закидывать похвальбы на какого-то молодца заезжего. Долго толковали, все как-то не толком да не ладко: не шли их речи прямо к делу, и вертелся хозяин на месте и все кланялся да благодарил за честь. Стали обыкшие в деле своем сваты закидывать намеки поближе, прояснилось дело и хозяину. Видит, в чей огород камушки кидают, да не знает, кто зачинщик,— темна ему эта сторона. А сваты хитрят — ломаются.

— Может быть,— говорят,— и знаком тебе этот молодец, не горд, не хитер, сам напрашивается. И приметы, если хочешь, нехитрые: не комом спечен и облик не блином, лицо и кругло, и румяно.

— И не хитры бы, сваты, речи ваши, а все-таки в толк не возьму. Может, и соседской какой, может, и заезжий честь делает, а все, поди, имечко крещено носит. Назовите как следует, по тому и чествовать станем.

— Зовут-то Степаном, да ребята Глыздой прозвали; а отец его в твоей же деревне соцким состоит. Коли будет твоя воля, так и быть ему зятем послушным, а тебе тестем тороватым. Так бы, по-нашему. Да твое ведь слово дороже.

— Честь ваша перед вами, а мне что за след хорошему делу поперечить. Давай сюда парня, да и с миром!

Парень уж тут стоит, за дверью,— ждет не дождется хорошей речи. Поиззяб он немного (дело было, как и у всех православных — в осенях), да, знать, затем и пришел. Вышли сваты на крылец, взяли жениха за руки и впихнули в избу.

— Кланяйся,— говорят,— отцу названому, да пониже. Вот,— говорят,— так... вот этак!.. и еще вот так!.. Подойди поближе, попроси его родительского благословения да и беги за отцом. А наше дело сватье — мы свое кончили.

Приходит отец жениха, выводят невесту из-за переборки; кланяются друг другу и сватья, и родители. Невеста передается жениху из рук в руки, из полы в полу; целуются. Сватья тащат из-за своих голенищ жениховой водки и, прежде чем совершится *пропой,* затеяли рукобитье. Слово за словом, старшины подопьют напорядках, накричат на всю избу; нацелуются сговорены, и конец *заставанью* — доброму делу.

Поутру другого дня осталось только отца Ивана позвать, благословить сговоренных образом, а там невесте вольная воля — надрывайся хоть так, что как бы с живой лыки драли.

Больше трех раз не удается такое блаженство, да и это-то счастье дается не всякому. А тут мать подстанет к причитываньям и от себя кое-что добавит. Пойте, бабы, во всю мочь, а отец уйдет куда-нибудь подальше к соседям или завалится на печь. Там уж вы его ничем не доймете.

Теперь за женихом одним и вся недоимка: нужно ему в город съездить за меледой-орехами [1] — девичьей потехой, пряников купить на закуску и разных бус и медных колечек; ситцу, сукна-армячины прихватить, плису отцу Ивану на рясу, дьякону пояс, дьячкам по шапке и всем поезжанам по подарку, какой взбредет на разум или приведет доморощенная сметка на память. Нужно только помнить и на лбу зарубить (если скупиться надумает жених), что на девишнике *покоры* начнутся, и хоть так они... в шутку творятся, а все, гляди, на кого нападешь: иным покором прямо в глаза метнут, помутят иной раз и свет в очах. У невесты целая куча подруг защита, да и все за нее, а у жениха только и есть заручка дружка один, да и тот подчас, словно вешний лед, ненадежен.

Главное дело, по всем правам и обычаям, выбрать веселого дружку жениху; а за невестой пойдет либо брат, либо кто из холостых свояков; у этого и заботы немного, хоть и брякнет что невпопад — все с рук сойдет: либо не услышат, либо и совсем не обратят внимания. На женихова дружку вся надежда: им одним вся свадьба стоит, весь пир и веселье.

II

Кого чем бог поищет — так и станет: иному, например, грамота далась — нашел где бумажку, хоть бы волостной писарь из окошка выкинул,— развернет и читает: «Проба-де пера и чернила, какая в них сила, кто меня обманет — трех дней не живет» и проч.

Иному плотничья работа далась: с маху полено крошит и просто — без клинушка. Смотришь, выведет на чистом новом столе и петушка с курочкой, и зарубочки на всех углах с выемками. Другому иное художество далось: подопьет, например, крепко подопьет, ну, и спать бы — так песни любит петь, и такие, что не слыхать по соседству.

Вот Фомка — сорвиголова: слова не даст никому сказать просто: сейчас подвернет свое, щетинистое. Сказку ли смастерить на смех и горе, чтоб и страшная была, и потешная, песню ли спеть, чтобы в слезы вогнать и кончить сиповатым пеньем старого петуха и кудахтаньем курочки; овцой проблеять, козелком вскричать и запрыгать сорокой; собаку соцкого передразнить и замычать соседской коровой; старой нищенкой попросить милостынки (сморщить при этом лицо и погрозить ухватом) — всюду хватало мастера Фомку, оттого и сорвиголова, что перещеголял всех деревенских своим досужеством.

— Ишь *одмен* [2] какой уродился!— толковали ребята.— И чем бы тебя, братцы, чище? А вот поди ты тут!— Рукой махали товарищи и завидовали.

— А ведь ни с чего пошел,— добавляли они, припоминая прежнее время,— так вот: пошел ему талант, что ни день, то вновь.

— Шла мельничиха домой, а мы коров в хлева загоняли. Кто-то стегнул ее плетью, она и вскинулась; грызлась долго, а на Фомку отцу хотела пожаловаться; только ушла, а он, сорвиголова, и глаза скосил, как у Матрены было, и рожу свернул по ее, на сторонку: нос на губу уложил, да как свистнет на нас, и отцу хотел на себя пожаловаться, ну вот словно так, как ругалась мельничиха. А то купец проезжал, так ровно вчера было дело: и вперед выпятится, и волоса на затылке со лба пригладит, и руки оботрет, и крикнет Фомка: «Эй вы, мужики!— посторонитесь».

Дивились молодцы своему товарищу еще смолоду и во всем ему отдавали почет.

В свайку затеют ребята играть,— привычное бы дело, так никто чище Фомки не ввалит ее в середку колечка: свистнет оно, завизжит, прискочит к головке и вопьется в землю так, словно *редька* или *репа* какая. Уговорится в краек попадать, так, посмотришь, и меряют

сто шагов-*пирогов*, если еще и не того больше. А то обманет, ловчак, и взовьет кольцо кверху, ребятам бы мерять *пироги,* а уж колечко у Фомки в руках: подхватил он его на лету и расставил ноги, гордо подбоченившись.

В чехарду сговорились ребята — обочтет их Фомка, чтоб самому начинать, расставит ребят у стены горкой, головы на спины,— а сам разбежится и как раз очутится у самой стены, на загривке переднего. В прятки играть, так и не снимайся лучше: заберется туда, что целый час ребята ищут, да так и бросят. На этот раз не жалел молодец ни лица, ни спины, а царапины и не считал вовсе. Залезет в овин, и кто его знает, на чем стоит и держится; тут бы ему и шею сломить, так цел и невредим, только, говорит, левый бок ломит.

Так-то велось и во всем остальном; любили его ребята и нельзя сказать, чтоб боялись, а, бывало, *сорвиголовой* только в сердцах назовут, и то про себя, потихоньку. Беда, если услышит Фомка.

— И не хотел бы,— говорит,— бить — надоело, да руки чешутся: уж лучше не снимайся, коли кто меня не сумеет побить. Тут уж дело такое, кто кого тронул, тот и в ответе.

— Да ты бы, Фомка, Машке-то, Гришухиной сестре, спасибо сказал,— присоветовали ему раз ребята до супрядок, когда они уже имели право посещать их, но только молча и стоять назади за старшими; дозволялось им залезать и на полати, но они сами стыдились водиться с малолетками.

— А за что же, братцы?— спросил Фомка совета.

— Да, вишь, она тебя полюбила больно. Мне, говорит, изо всех ты что ни на есть лучше. Больно, слышь, волоса шибко вьются, кудри-то кужлеваты очень.

— Бодай ее бык, коли нравлюсь: рассердился бы, кабы захотел,— прихвастнул молодец.— У меня не одни кудри и глаза все девки хвалят. Дай-ко вот я отпущу себе бороду, так и жениться в нашей деревне не стану.

— А чем она хуже тебя. Дай-ко мне ее, так я и умирать не стану. Ее, брат, сама барыня хвалила, как летось ягоды ей продавала.

Впрочем, и у нашего Фомки сердце тоже не камень; хоть и не у себя в деревне, а все где-нибудь по соседству найдется и для него зазноба. Отчего иной раз не потешить себя, не покрасоваться, когда не пройдет ни одна девка без того, чтоб не взглянуть на него и не закрыть своего лица вплоть до глаз рукавом рубашки или ситцевым передником. Стал Фомка мудрить: спознался с писарями-бахвалами и сам незаметно сделался хватом. На первый грош зеркальце купил и увидел, что уж порядочный пушок на обеих губах показался. Стал он и ус свой, и бороду холить: на первый случай, когда пушок стал виться немного, обрил он его, по совету приятелей, в той надежде, что волос скорее полезет. Скоро он и до настоящей бороды дожил. Бросил Фомка стричь волоса в скобку: спереди пустил на всю вольную волю, а сзади подстриг их казачком-лесенкой, и затылок ему писаря выбрили гладко-нагладко. Попались кой-какие деньжонки; он купил гребешок медный и повесил его на гарусный пояс; что ни снимет шапку, то и причешется, что ни соберется куда — вымоется. Стал он молодцом,

и увидели девки, что едва ли Фомка не пригожее всех в деревне: и лицо кругло и румяно, а кудри и курчавая кругленькая бородка — только бы, кажется, ему и годились и на девичью погибель выровнялись.

— Никак Фомка-то сорвиголова Лукерью полюбил,— толковала одна соседка-оржанушка другой.

— Нет, дева, давно бросил, теперь с писарем Григорьем Аннушку сомущают. А все оттого, дева, что пригляден пострел.

— Чванлив только, кормилка, бахвалить стал. А попробуй что не по его сделать, откуда супротивности наберет.

— Уж и ребята-то наши хороши, только и живут Фомкиным разумом, словно нет своего. Что тот ни молвит, то и ладно.

— А будет он на поседках?

— Кто его знает? Вишь, в соседскую деревню повадился: свои, толкует, надоели. А что мы станем делать, коли не придет к нам,— другие ребята и потех не сумеют придумать. Им одним, по правде сказать, и вечеринка-то наша стоит.

Так ли, не так, а девки говорили правду. Фомка с товарищами повытеснил передних — старших ребят — совсем из избы. Иные оженились и бросили поседки, часть разбрелась в другие хорошие места, а и остался кто, так очень немного, да и тот присоседился под Фомкину власть и руку; только старичок чванился немного, а во всем слушал молодого и ему подчинялся. Без Фомки теперь не ладилось дело: ни песня не запевалась, ни пляска не подымала пыль от полу до полиц, и ряженые не плясали бы в избе, если б Фомка велел притворить двери и не пускать никого из посадских. Ссору ли затеет кто из захожих, Фомка сразу опешит его:

— Ты не очень гордобачься; не трогай девку; садись на свое место. Наша девка — не ветошка; а мы тебе укажем, где раки зимуют.

Беда, если гость скажет супротивное слово. Слово за слово, и чем он занозистее, тем и противники горячей.

— Убирайся вон!— кончает Фомка,— нам либо ссориться, либо драться. Лучше уходи подобру-поздорову, да другой раз и глаз не кажи. А упираться стал?.. Хватайте его, ребята, да в шею и спину! Там лестница кочковата для его милости — так свету не давайте, а пусть приглядится пристальнее сам. Укажи ему носом, как хрен копать.

— Силен Фомка, силен в своем слове! Только приказ отдает,— сам и рук не приложит; все ребята делают. А поди сунься поучить — век не забудет,— толковали гости и как-никак, а выводили одно, что нужно Фомку заручать заранъше, а то ни к чему придирается и словами колет: откуда берутся. И рукой крепок, да и ребята больно любят — горой стоят.

— Пойдем-ко, Фома Еремеич,— выпьем крепительного. Да вот пряник вечор купил битый, так не хочешь ли побаловаться немного: и сладко, и горько, знаешь,— все к одному.

— Эх, молодец ты, Фома Еремеич: тобой только и деревня наша стоит, право.

Тогда уж смело подступай тороватый гость,— все заодно, хоть бы и из чужой деревни был.

— Только Машутку мою не трогай,— а то все в твоей власти!

— Гришку Шокиринского не трогать, ребята: из наших будет, хотел вина принести и орехов,— отдавал такой приказ Фомка перед поседками.

— Заноза, сорвиголова! и парень не олух; в работе спешен и песнями умеет потешить, с ним и стог нагребешь шутя, и сноп завяжешь,— говорили старики-семьяне.— Один грех — тороват шибко: не жалеет копейки, коли в бахвальство заберется, а то бы и хозяйство вел хорошо, а разум-то свой, не купленный, доморощенный, и мою бы Груню не обидел, коли б засватать.

— Сказки рассказывает лихо и поговорки плетет, словно сам набирает. Здоров затылок — нечего сказать: лихой малый! А уж выпить надумает, против него никто не возьмет; мало только, плут, с крючка сливает,— толковал целовальник.

— Больно зубаст да привередлив!— отзывались бабы замужние.— Сам, поди, и засватается, если надумает свадьбу играть. Мало учили парня, баловали его отец и мать,— оттого и вышел щетинист. Со старыми, словно с малыми, заигрывает; а не по нем что — грублив; грублив, плут, а уж до поры до времени — сломит голову.

«Эх, кабы Фомка взял за себя!— думали девки,— во всем бы его слушалась; купили бы саночки писаные и все бы катались. В Питер бы пошел: платочков наслал с городочками, душегрейку бы купил, что на подрядчицах наших. Уж и слушалась бы я его, все бы в глаза глядела, и побил бы — не плакала. Да нет, не бывать тому,— супротивница есть; полюбил не меня, а мою разлучницу».

Девки краснели при первой встрече с сорвиголовой и перекидывались словечками. Доходили и до того, что не только сами заговаривали с ним, но и сами первыми заигрывали, щипком или локотком. Фома только оглянется и редкой счастливице погрозит пальцем или язык высунет, а то всем одно:

— Не замайте меня; и без вас тошно. Хороши вы, девки, да лучше вас есть.

Правду сказал Фомка: хороша была Аннушка — и голосом взяла, и телом породиста; на первых порах Фомке и желать лучше нечего. Что ни встреча, то Аннушка и глаза потупит, а заговорит подбочася Фомка — у красавицы и сердечко запрыгает, и в горлышке перехватит, голосок станет словно надтреснутый: говорит, словно боится, и все как-то не то, чего хочется. Заиграл Фомка на балалайке, ударил всей пятерней бойко и порывисто,— у Аннушки не то чтобы озноб, а задрожит-таки улыбка на маленьких губках, и плечиком шевельнет она. Пригласит молодец плясать — не пойдет. Песню ли ухарь запоет про нее, за товарок Аннушка спрячется или убежит далеко.

— Про себя страдает девка. А вижу — любит. И богата же, братцы, Анютка: жили бы славно, все бы пиво варил; бурмистром бы выбрали.

— Барышник ты, брат Фомка, и ничего больше! Послушай-ко,

что она про тебя вечор говорила: мне, говорит, в воду с камнем — либо за Фомку замуж. Я, говорит, его люблю больше всех; братишки, говорит, так не милы.

— Да чего, коли хотите?— подвернул парень.— Раз за руку схватил ее, так не вырвала: стоит сговореной, да как захнычет. Я говорю, чему плачешь? Так, говорит, что-то неладно. А сама уперла глазами в землю и ни слова не молвила больше; вырвалась с маху да и убежала в избу. Ну ее...

— Нет, брат Фомка, не обижай ты девку, а коли за богатством гоняешься, возьми лучше мельничиху Агашку рябую. Та на все удала: и на песни горласта, и слово скажет — словно в кузов ударит.

— Ладно, ну, ребята, молчите до время!

Ребята молчали, и Фомка молчал. Раз пришел к своему закадычному приятелю, становому писарю, покурить картузного да побаловать на балалайке — отвести душу (свою балалайку подарил кому-то); говорят ему приятели писаря:

— Молодец, братец, ты, Фомка. И кто тебя знает, откуда у тебя речи берутся. Не хитро бы, кажется, сказать иное слово, а ты молвишь — что хочешь дай, не сумеем. И как-то это ты и рукой, и языком прищелкнешь, кстати коленком вернешь, плечом шевельнешь, все это впопад у тебя.

— Знаешь, брат Фомка! тебе бы хорошо дружкой быть, и Егору кузнецу за тобой бы совсем не угнаться. Пошли бы и мы, да нет того маху. А уж почет-то какой: одно слово — дружка!

Думал да думал Фомка и — надумал:

— И вправду, господа, дружке много почету; от дружки все идет. Да приступ страшен, одного боюсь.

— Приступу бояться нечего,— утешали его,— тебе бы и начинать. Ведь и все неучеными были, вот хоть бы и мы.

— Да ваше, господа, дело бумажное; у вас и разум с другим складом.

— И тебе его не занимать стать: девки хвалят, ребята любят. Окунись, да и с миром. Умей только слово кстати ввернуть; прибаутки свои давай да чужих поприслушайся. Походил бы по свадьбам, кузнеца бы Егора послушал,— все бы пригодилось.

— Ин вашими устами да мед пить! Попытка не шутка, спрос не беда; ведь наше авось не с дуба сорвалось. Идет битка в кон!

— Ну, вот и пошло!— подхватили писаря и залились дружеским смехом.— Начинай дело, а мы придем да послушаем.

С той поры, где ни затеется свадьба — Фомка как выльет. Случилась она по соседству — молодца все ребята знают, рады ему как баляснику, а не то он сам доймет хитростью и прибаутками; волей-неволей все поддается его желанью. А в своей деревне он сам большой: молодые боятся, а не то он и сам накроет, и от девишника вплоть до конца свадьбы болтается он по весельям и руководит поезжанами. Иной богатый жених поскупится, бывало, ребят угостить. Фомка ведет переговоры, как бы до горшков добраться, что на брусьях лежат, и если не дадут ушата браги, все горшки буйная ватага пошвыряет на

пол. Бывали случаи похуже того: ходил в дело и деготь с песком; зацепляли и поезд на выгоне. У Фомки одно на уме: как бы попристальнее присмотреться ко всем свадебным свычаям, как это там люди женятся и что следует дружке делать, чтобы им одним весь пир стоял. А потехи разные — уже так спроста срывались.

Так ли, не так, а Фомка стоит на одном — выслеживает, что делает один дружка и в чем перехитрит его другой; с чего один начнет и чем другой кончит. Прямой его метой и задачей сделался кузнец Кузьма — старый воробей на мякине. Он уж двадцатую свадьбу говорил, так, стало, был на своем месте. К тому же он и Фомке крепко нравился: все это у него творилось как бы по-заученному, все кстати и на потеху. Запоет прибаутки, и глаза зажмет, и ногой притопывает, ко всякому речь обращает, и не то чтоб облает, а таки иному такое скажет, что того ударит в краску. Никого не пропустит кузнец, всем почет отдаст с прибауточкой: «Все, мол, де вы гости, все равны,— и вот вам всем по серьгам, только на молодых не пеняйте».

Вот к этому-то частобаю кузнецу и поступил в науку, на первую пробу, наш Фомка, в званье *поддружья* и в первый же раз на потеху: что ни скажет кузнец — Фомка такое подвернет, что тот и замолчит, а этот подхватит и начнет строчить — зависть возьмет. В одном сбивался новичок — порядки не сразу понял: как-то много их и все разные.

— Научи, брат Кузьма, порядкам-то всем: вот я тебе и угощенье принес: не погнушайся!

— Коли дружкой быть хочешь, так первое тебе — смелость. Она тебя выведет, она тебя на путь поставит. Записал бы приговоры,— да, вишь, оба мы грамоту-то забыли, а что схватишь сам по себе, так то и ладно.

— Нет, да не о том речь, дядя Кузьма, ты вот указал бы, как там стать и сесть или что там такое. Кое-что уж я и запомнил, одного не пойму: хитер больно девишник. Как это там девки, поезжане... ну и с отцами-то ладить надо.

— С отцами нехитрая штука; где какой, там и ты такой. Коли чванлив да гордость обуяла, ты ему спицу по сердцу пусти, только не коли его прямо в глаз, а то с девишника прогонит. А поезжане эти — такой уж народ, одно, значит, на чужое добро добрались; их ты режь чем ни попало. Им бы попить да поесть, а твой покор да прибаутка что вода в решете. Расскажу-ка я тебе кстати одно дело. Довелось оно мне, как я жил у шерстобита. Был он бедный мужик, пришла дурь да блажь в голову — идти к богатому подрядчику на свадьбу. «Куды, говорит, ни шло, поднесу каравай; ото всего, стало быть, усердия: чем богат, тем и рад». А, правду сказать, каравай-то один и был в целом доме. «Авось,— думает,— позовет; буду сыт и ребятишкам кое-чего прихвачу». Сходил мужик, да на том и сел. «Что, говорю, рано?» — «Хоть бы ты, говорит, Кузьма, горбушку отрезал; а то хоть голодный ложись».

Первое, Фомка, я тебе, брат, вот что скажу: смотри в оба и себя не обидь. Дружке после невесты первый подарок идет; да чтоб и невеста была торовата, да и другой кто надумает дарить, так и он чтобы

тебя не обошел. Подверни ему загвоздочку по душе, чтобы как-никак, а не отвертывался. А чтоб еще крепче дело стояло, так вот послезавтра в Овсяники звали; хочешь в поддружья опять?

— Спасибо, дядя Кузьма, на добром совете, а теперь мы и сами кое-как справимся.

— Как, брат, там знаешь, только меня не обидь. Я, вот видишь, и ребятишек повывел, а все бы побаловать и напредки не прочь. Начинай, Фомка, с миром!

Между тем давно пошла молва по деревне, что никак-де Фомка в дружки хочет идти: был уж в поддружьях и всех напотешил, да и дома все по избе из угла в угол ходенем ходит да прибаутки твердит. И такой бледный да сердитый. Все с кузнецом водится, что ни утро, то он и там, либо заручные пьют, либо о свадьбах толкуют. Фомка с ребятами уж и не водится и девок не трогает; осадила его совсем кузнецова дурь.

Попытался один приятель об Аннушке напомнить.

— Ты бы,— говорит,— хоть словечко ей молвил; шибко, вишь, она кручинится: песни не поет, на девок огрызается; совсем загубил девку.

Но Фомка все приговоры твердит и ходит опять ходенем по избе, горит его сердце завистью, стало ему мастерство кузнеца поперек в горле. Бывали минуты — урывалось у Фомки и бранное слово на соперника, словно и не вместе пили, словно и не по доброму делу учил его тот спроста, с охотки. Опять пошел слух по деревне, что Фомка совсем одурел: и сердится, и ругается, а все приговоры твердит и руками разводит. Случилось это дело как раз на ту пору, когда обыкшие в своем деле сваты засватали девку за Степана Глызду. Ходил Фомка в сердцах и в тот день, как совершилось рукобитье, твердил приговоры и тогда, как завопила девка и причитывали ей подруги. Вот уж Фомка и руками замахал, и ногами затопал, начал хитрые колена отгибать, и пяткой пристукнет, и плечами поведет. Смотрит на него мать с печи и в толк не возьмет, с чего дурит сын, уж не белены ли объелся: вот рукой развел от печного столба прямо к столу и кланяется да ухмыляется, вон скрипнула дверь и отворилась, поднялся пар и завертелся под полатями, охватила старуху холодная струя и ударила в кут. Видит баба, как пронеслась хмара и прочистилось в избе: стоит у дверей Степанко Глызда и дивится вместе со старухой коленам Фомки.

— Ты за мной, что ли?— прямо начал тот и опять засмеялся.

— Не откажи, брат Фомка, уважь!.. ведь уж сговорились!.. Завтра в город еду да вот и зашел к тебе. Хотел было Кузьму попросить, да слышь, ты берешься за это ремесло.

— Ремесло не коромысло, плеч не отдавит. Бери, брат Степка, бери меня! Постоим за себя, а того просто в прах загоним. С твоей легкой руки всех напотешим: и поезжанам скажем слово, и ребятишкам дадим приговор, всем дадим. Как там в избу зайдут, за стол усядутся!.. Нет, да постой, и прежде будет... вот что будет,— и Фомка опять было повел рукой от стола к переборке, но его остановил жених.

— Да уж ладно, Фома, на тебя надеюсь, а после сам все услышу. Ты у нас завсегда был шустрый. Только меня-то, брат, не кори! бери поддружку получше... кого из наших...

— Не нужно поддружья! сам, один справлюсь. Уж не Кузьму же брать. Я твой дружка, а за невестой пусть братишко пойдет. Если Кузьку позовут — не пойду за тобой и поезду помешаю. Слышь, Степка, лучше не ссорься; один буду всю свадьбу справлять; не то вот никуда и не хочу идти, как ни звали все.

— А что тебе, Фомка, из городу привезти? — кушак али гармонию?.. Может, балалайку хочешь?..

— Ничего не нужно, даром иду! только вина давай больше, да чтоб никто в мое дело не мешался!.. Слышь, Степка, купи зеленые рукавицы. А когда девишник?..

— Сегодня и завтра в городе буду...

— Ну ладно, погодим. Зато уж удружу тебе на смех и радость. Не обходи только худым словом да не сказывай ребятам, что с Кузькой не хочу идти. Скажи только Анютке, чтоб она пришла,— пусть ее поплачет!

Фомка опять заходил и опять замахал руками. Долго еще носились по избе его причитыванья, одно другого складней, давно уже и мать его заснула, давно уже и жених был в городе и закупал все, что нужно для свадьбы.

III

Фомка встал — не дождался желанного времени. Рано вставал, поздно ложился; и армяк его синий беспокоил, и плисовые шаровары, и сапоги с крепким подбоем, с гвоздем чуть не в кулак. Наконец удалось ему подобрать, принарядиться и учинить пробу в дружьем наряде; а вот ему поутру, в самый день девишника, принесли полотенце от невесты с кистями, изукрашенное красным подбоем. Перекинул его Фомка через левое плечо и подвязал под правым; взглянул в зеркальце: концы полотенца нахально болтаются, красная рубаха торчит на груди, а шаровары плисовые словно ветром раздуло, и сапоги дехтярные крепко постукивают... Борода расчесана, волоса крепко смазаны топленым коровьим маслом; топнул Фомка ногой, отхватил коленце, перегнулся с правого боку на левый и прошелся раз по избе.

— А что, ребята, будет Анютка в причитальщицах?— спросил он друзей, пришедших за приказами.

— Звали ее, да уперлась — не послушалась. Может, говорит, приду, коли кто-де попросит.

— Ну ладно, братцы. Вечор хотел было в *заседчицы* * попросить,

* Так обыкновенно называют сестру или подругу невесты, которая сидит рядом с ней и торгуется о косе сговорены. Иногда заменяется она братом, который в таком случае редко носит какое-либо другое название, кроме данного ему правом рождения.

да знаю: не утерпела бы — заплакала, надоели мне ее слезы совсем. Поди-ко кто да проси ее от меня. Фомка-де в дружки не пойдет, коли не придешь на девишник. Горшки, братцы, не бить, а набирайте к завтраму сковород да бубенцов; сходите на почту, может, ребята колокольцы дадут. Надо уважить Степку — впервые дружкой иду, так чтобы не ругался после.

Отдав приказания, Фомке осталось только выбрать двух молодцов к лошадям, чтоб они и впрягли их, и сами изукрасили все как следует, а ему сесть только да и ехать в поезде, который, говорят ребята:

— Большой будет: всех наших просили. Степка сам ездил с отцом и матерью да опять же и сваху засылал; долго один бурмистр, слышь, ломался: «Я, говорит, лучше на свадьбу заверну, а на девишнике быть, говорит, мне, старику, совсем не прилика». Степка, слышь, в ноги: «Не обидь, говорит, а мы, говорит, твоей милости всегда плательщики». Тут и отец закинул слово. Подался бурмистр: «Хорошо, говорит, как поразыграются, заверну на часок,— погляжу».

— А ты, Фомка, с чего начнешь?— спросил в заключение любопытный рассказчик.

— Увидишь после! да ступайте вот, скажите там, что сейчас-де идет: ждать не заставит!

Хоть и тотчас же ушли ребята, по дружкину приказу, но ему самому словно жалко сделалось: хоть бы и назад их вернуть. Запрыгало сердце, словно перед бедой какой; словно вот сейчас ему окунуться в прорубь. Побледнел молодец, словно то полотенце, которое подвязал под плечо. Заговорил было опять свое, да защемило горло, и звякнул голос, словно овечья струна на балалайке. Стало Фомке стыдно,— стыдно не людей, а себя самого; рад уж он был, когда бы опять обиделась на него Аннушка и не пришла на девишник, да и остальные девки совсем будут лишние, да зачем и ребята придут.

«Лучше бы сделать дело по-домашнему, чтоб никто не видал,— думает он.— Беда, коли страмоты наберусь, тогда заодно выстрадаю — наймусь прямо в свинопасы или уйду из деревни, чтобы совсем и в глаза ее не видать».

— Нет, Фомка,— вскричал он вслух так, что заставил вздрогнуть свою мать на печи,— окунися смело, не дурачься! Коль взялся за гуж — не говори, что не дюж; на тебе б и стряслось, да и Анютка к тому же будет.

IV

Пока принаряжался дружка и поджидал его жених у себя на дому с ребятами — в невестиной избе уже с утра собрались ее подруги. Лишь только все чинно и тихо расселись по лавкам, невеста была выведена из-за переборки и посажена на видное место. Лицо ее было заплакано, и сдержанные, еще вчерашние, рыдания надрывали ее грудь. Тяжело ей было смотреть на свет божий, досадны казались и веселые лица подруг; пришла пора, по завету, проститься с родителя-

ми. Долго ей не хотелось приступить с прощаньями: желалось бы ей дольше продлить дорогое время, а все, глядишь, нужен же конец, ведь затем и вышла она, того только и ждут и подруги, и поезжане. Нечего медлить. Да вот и дружка — старший брат ее — пришел повестить, что-де «баня готова, милости просим нашего пару отведать, сестрица милая, прощайся с родителями! не век же в девках вековать, не век же и пару в бане стоять». Братьино слово сказано — пора приступить к новым причитаньям. Плачет невеста от всего сердца еще пуще, чем в самый день сговора: не утешат ее подруги. Вот и отец заплакал, и мать надрывается, и брату как-то неловко на месте: машет он веником, что держал в руках. Кое-какие еще соседки забрались в избу, и те, глядя на семью сговорены, заплакали. Тут хоть и за милого друга иди, а трудно, женским делом, не расплакаться, и кто знает, что дальше бы сталось с невестой, если б не увели наконец ее в баню в то время, когда Фомка пришел с ребятами в женихову избу.

Вымылась сговорена с подругами, стоит черед за женихом с приятелями, и слышала вскоре деревня, что и они повершили дело: забили во всю мочь в заслонки и сковороды. Один шутник колокольцем зазвенел, другие подхватили его шоркунцами. Впереди ватаги шел сам дружка жениха, молодец молодцом: знать, будет смел и на девишнике, особенно если в меру подопьет за жениховым обедом.

— Поди-ко,— говорит ему Степка-жених,— купи-ка мне невестину косу, а то и на вечер не пойду, если не принесешь мне косы; стриженой девки совсем не люблю.

— Сколько дашь, по тому и надежду дадим; не скупись только, не срами меня, а то от себя прибавлю.

Фомка принял от жениха два двугривенных, лент клубочек, игольник костяной, пару башмаков, зеркальце с размалеванной картинкой и чрез полчаса сидел уже рядом с невестой и точил лясы; слушал, как она и ему причитывала, да видит как-никак:

— Расплети-ка, свахонька, косу, а то веры не даст жених, как придет на девишник.

Встал Фома, подбоченился и сам дивится своей первой удаче и находчивости. От его слова тут и сваха поднялась, и коса расплелась, и невеста опять стала причитывать. Начали ей вторить подруги, и видит Фомка, что Аннушка тут: все вперед выбирается, чтобы поголосить за невестой. Еще больше красуется дружка, и хотелось бы выкинуть штуку, да не знает, к чему придраться, а невпопад сказать — боится оборваться на первых порах, за ним все девки следят, да и ребята собрались: пришли звать его опять к жениху.

— Милости просим с вашим князем к нашей княгине в гости пожаловать!— говорят ему перед уходом подруги невесты.

— Примите — не погнушайтесь! Рады и мы вашему досужеству угодны быть,— подвернул Фомка, и шапкой хлопнул по коленке, и зелеными перчатками махнул над головой.

Вечером вышли оба на невестин девишник: один с прибауткой, другой со своим холостым горем. Жених гостинцев купил; дружка принес их и раздавал девушкам. Радовалась чему-то Аннушка и

смеялась, как будто и не обижал ее Фомка, и, уж верно, тому, что не обделил он ее хоть чужим добром. Жених подсел к невесте; Фомка к девкам присоседился. Слово за словом, и пошло дело к тому, что хоть бы и пляску затеять, если бы мало-мальски было прилично невесте и позволяли обычаи-свычаи.

— Не пора ли нам, добрый молодец, к домам прибираться?— начал присмотревшийся к делу дружка,— тут и ночь просидишь, а рассвету не увидишь. Нужно невесте отдых дать, и нам с утра будет ломки много. Ты, невестонька наша дорогая, не плачь, не кручинься! завтра придем, напотешим; наш жених берет тебя и не кается, чтобы по любови жить, а не маяться. А пока мы до дому идем, поспрошай-ко кого поприличнее: как тебе во чужих людях жить, чтобы не наприниматься потом лишнего горя, не плакаться на лихую беду; вдвоем придется побраниться, вдвоем и помириться. Хозяйкой, помни, дом стоит, да и нет большака супротив хозяина,— проговорил дружка у порога, когда жених уже скрылся за дверью, чтоб, слушая его советы, не ввести невесту в соблазн и искушение.

Проводив жениха домой, Фомка не вытерпел: захотел вернуться на девишник, куда собрались в это время все поезжане. К вечерку завернул на пирушку и сам бурмистр, чтоб оказать почет соседям, пусть не жалуются: честь лучше бесчестья, а на доброе дело всегда можно удосужиться.

Пока расходились все гости, пообсиделись, пока невеста оканчивала свои обычные приговоры, которые что ни место, то внове и иначе читаются,— подруги девушки затеяли *покоры* [3]. На то их воля, и вся эта вечеринка во всей их власти: это девичий праздник, они тут полные хозяйки. Сам жених не смел бы и глаз показать на девишник, если бы подруги невесты не захотели сделать ему такого почету. Дружка еще может приходить вместо жениха покупать косу; может разговориться, заболтаться и незаметно засидеться до конца вечеринки, но и его хозяйки праздника могут смело выслать вон и притворить двери. Поезжане [4] в этом случае — другое дело: им честь и место, собственная выгода девушек держать их подольше на девишнике, а и самые покоры тоже в их власти, хоть и не составляют они общего обычая.

Развеселились гости от девичьего потчеванья; слышат поезжане, что и до них стали добираться, чтоб на чужие караваи рта не разевали. Но первый покор свату и свахе: запели девушки бойкую, но не слишком веселую песню; растянута она была и отзывалась даже чем-то неприветливым. Вот и весь ее склад, вся хитрость:

> Ой ты, сваха, косые глаза!
> Не гляди под стол: там нет мослов
> На твои глаза на бесстыжие.
> Ой ты, сватушка, косые глаза!
> Что у тебя, сватушко, шея синя?
> Аль на тебе, сватушко, петля была?
> Что у тебя, сватушко, рожа пестра?
> Аль у тебя, сватушко, лягушка — сестра?

Песня эта была вызовом на подарки певицам со стороны жениховых сватов и свахи. А вот и Фомке-баляснику сережка в ухо:

Друженька пригожий на полатки взглянул,
На полатки взглянул:
Трои лапотки стянул.
Сыч-пострел, отдавай скорей!

Дошло дело до поезжан, и песня изменилась в бойкую, плясовую песню, начали корить посмелее, надеясь обильного количества подарков, тем более что и сам бурмистр стал раскошеливаться.

Пели смелые девушки такие покоры:

Как по тыну-тыну все воробьи,
У Степана в поезде все дураки!
Они лесом едут — лыки дерут,
Полем едут — лапти плетут,
Лапти плетут, оборы вьют,
А на двор въезжают — обуваются.

С окончанием одариванья невестиных подруг бусами, колечками, гребеночками настал конец девишнику. Затем, однако, и поезжане пришли, чтобы одарить, а за это взять невестину перину и отнести ее жениху.

Не дают девки перины даром, требуют новых подарков, ухватились поезжане за перину и тянут к себе, дружка и плечом, и коленком стоял за жениха, но все-таки перина не давалась. Пух летел, пылью слепило глаза: стойки были коренастые подруги в своем слове. Делать нечего, жениховы деньги не останутся у дружки в кармане; не сумел он схитрить-догадаться, не умел и силой взять, со всеми своими подручными поезжанами. Отдал Фомка девушкам деньги, данные женихом на заручку, и поволок перину к своему названому князю: пусть его порадуется, что кончено дело, невеста наполовину его, а завтра уж и вся такова будет.

V

Не хвастался Фомка, что в день свадьбы всем им ломки много будет. Еще с утра, раннего утра, тотчас после третьих петухов, поднялись обе избы — и женихова, и невестина.

Утро началось одариваньями с обеих сторон. Фомка у жениха повел такие штуки, что ребята от него сроду не слыхивали, а как начали убирать жениха, помогать ему советами в том, что почище нужно сделать, чтоб вышло получше,— бахвал-дружка из себя выходил. Пуговку жениху застегнет и ту осмеет наповал, да и петелька не по нем; а попался кушак в руки, да не ладился на женихе — Фомка такое сказал, что ухватились ребята за бока, хоть из избы вон. Хохотали чуть не до икоты, так что даже щеки заломило у самых скул. Один так прыскал со смеху, что осовел совсем: кинулся на улицу и начал по снегу кататься.

— Будет, ребята! — прикрикнул Фомка, а сам как ни в чем не бывал, словно и не его дело,— вот эти-то штуки и разбирали ребят еще пуще.

— Да не пора ли уж нам и по невесту? — спросил он в то время, как Степка был совсем готов.

Жених принял благословение и сел рядом с дружкой в свои казанские саночки. Фомка не забыл прихватить целую бутыль водки, и сани двинулись прямо к невестиной избе, где уже расплели невесте косу и натешились слезами и причитаньями.

— А зачем вы приехали? — закинула сваха приезжим гостям.

Начал Фомка свое дело бойко справлять.

Не по дрова, не по сучья,
Не по рожь, не по пшеницу,
А по вашу красную девицу.
Ваша девица в тереме сидела,
Тонко пряла, громко ткала,
Бердо ломала, за окно кидала...

Пошел Фомка набирать, что на языке навертывалось, да остановила сваха новым запросом:

— Да все ли вы, братцы, здоровы?

— Все у нас, свахоньки, здорово,— прикинул дружка.

Все здорово: и быки, и коровы,
И теляки — гладки,
Привязаны хвостами к лавке:
Будет вам и тепло, и привольно.

— Ладно, братцы,— подхватила сваха,— вашими бы устами да мед пить. Коли жених молодец, так поскорей и под венец: с миром да с родительским благословением! — закончила она, чтоб уступить место новым слезам, едва ли не горшим прежних.

Эти слезы нельзя жениху слушать, а потому он уселся раньше в свои сани. Впереди их потянулась целая вереница саней поезжан: в одни села невеста со свахой и своим дружкой, еще подальше отцы посаженые и подруги невестины, за жениховыми санями поплелись пешком и его приятели. Зазвенели колокольцы нескладно, еще безалабернее подтянули им шоркунцы-бубенцы, и грянула зычно ватага провожатых-ребят.

Только лишь повернул весь этот поезд за овины:

— Стой, братцы, у нас завертка оборвалась, пособите подвязать, голубчики! — крикнул Фомка и добился своего: угостил всех поезжан запасной водкой.

На полдороге Фомка опять со штукой:

— Стойте,— говорит,— братцы-кормильцы, взяла вот нас вьюгавялица, зимняя метелица: вьет-метет, прямо в рот несет; дайте, братцы, время глаза протереть.

Попадались какие-то прохожие по дороге, совсем незнакомые люди.

— Милости просим,— приветствовал Фомка,— к нашему князю и нашей княгине хлеба-соли откушать — не погнушаться, авось пойдет любовь да совет от вашего прямого глаза.

— Спасибо на зазыв,— отвечали ему,— пусть их с миром повенчаются!

Но вот уже надели и венец — всем радостям конец. Заплели невесте две косы через руку, накинули бабий повойник, усадили с женихом в одни сани; тут же села сваха. Поезд, с тем же криком ребят, звоном колокольцев и стуком в чугунки и сковороды, поехал в деревню, прямо в женихову избу.

А там уж и пир заготовлен: кругом всей избы протянулись столы, наставлены кушанья и покрыты все одним широким рядном — тонким холстом. Ждут дорогих гостей отцы и матери и обсыпали их при входе хмелем; подвели под каравай с солоницей, дали обоим из одной ложки меду: будьте-де богаты, пейте сладко, да чтоб и самая жизнь-то была не горька.

Усадили потом молодых за стол на переднее место, подложив на лавку пару овчинок — шерсткой мохнатой наверх [5]. Тут же, откуда ни взялась, сваха и ввернула обоим молодым ребенка, посоветовав подержать его в руках.

— Хоть не подолгу, а подержите ребенка, первобрачные мои писаные, князь мой со княгинюшкой; пошли-ко вам господь милости божьей! Не печалься-ко ты, моя косатушка,— невестонька ты наша, гляди-ко, каким молодцом твой голубок-от поглядывает.

— Поцалуйтесь-ко вы, мои писаные-расписаные, да передайте мне чужого-то ребенка, до вас еще не дошел черед,— закончила сваха шутливо сердитым голосом.

— Ну-ко, дружка-разлучник! — крикнула баба на Фомку.

— Что тебе, сваха-косорежка? — ответил обычным ответом всех дружек наш Фомка; выпрямился, осанился, когда поезжане залезли за стол. В руках у него очутилась бутыль с вином, и подвернулась под бочок сваха с рюмкой и стаканом на подносе.

Бойко обвел дружка глазами всю беседу, выпрямил грудь, расправил плечи, крякнул во всю избу, отплюнулся и повел старинные, простоплетенные приговоры:

Стану я, добрый молодец,
От прибоинки кленовыя,
От столба перемычного,
Из-за скатерти браныя,
Из-за сгибня высокого,
Стану я вас величать,
Стану чествовать.

Фомка поклонился важно, и опять откашлялся во всю избу, и левую руку отвел. Сваха присела немного, прищурила левый глаз и замотала головой, одобряя начало и истовый выкрик своего подручника.

Не всякое слово укор,
А и стыд — не дым, глаза не выест.
Приговоры мои — не обида,
Недолго пек, да и солил некруто.
Кому что не по сердцу придет,
Бери свой покор к себе на двор.
Благословите у молодых хлеба-соли отведать,

Гости званые и незваные,
Холостые и неженатые,
У ворот приворотники,
У дверей придверники.
Старые ли старики,
Суконные языки;
Старые ли старухи,
Косые заплатки;
Малые ребятки,
Из кута с полатей
Благословляйте у молодых хлеба-соли отведать!
Тетушки Федоры,
Широкие подолы;
Девицы-молодицы,
Молодецких наших сердец пагубницы.

— А не пора ли нам, свахонька, вином угощать?
— Ну, господин бурмистр, Иван Спиридонович!

Изволь повыступить
Молодых челобитья повыслушать:
Принимай подарок — выпей, утрись,
Богатством своим не скупись.
Ихное дело нанове — надо много:
На шильцо, на мыльцо,
На санки, на салазки:
И тебе, может, пригодится
На масленой прокатиться.
А ну-ка, господа поезжаны,
Давайте молодой на румяны;
Надо нам коня купить,
Чтобы воду возить:
Вода-то ведь не близко
Да и ходить-то ноне слизко.

— Кланяемся вашей чести подарочками! — заключил дружка, приглашая поезжан к чарке и подаркам, которые состояли из платков, кусков полотна, лент, ниток и прочего добра. Видно, что совсем не скупился Степан и не жалел денег для вековечной радости.

Кланяются молодые в землю и долго лежат на полу, пока ломается гость и пока не скажут им, пригубив чарку:

— Горько что-то: не мешало бы подсластить, наши первобрачные!

Молодые поднимаются с полу; подслащают водку: целуются, и снова в землю, и снова просят откушать — не погнушаться, принять подарочек — не почваниться.

Долго еще ломались гости, но все меньше и выше кланялись молодые; время и за стол сесть — отведать хлеба-соли новобрачных: поросенка с хреном, поросенка в квасе и целых двенадцать сортов *квасов,* пока не доберутся гости до жареных гусей и баранов.

Но и тут дело не обошлось без Фомки, без него бы и сваха не тронулась угощать.

Прикрикнул и он в свой черед на нее:

Ну-ко, свахонька-стряпухонька!
Ноги с подходом,
Руки с подносом,
Язык с приговором,
Голова с поклоном,
Отходи-отступай
От печеньки кирпичныя,
От столба перемычного:
Порастрогай-поразломай свои косточки.
А что есть в печи,
Все на стол мечи!

Наконец началось угощение, сопровождаемое постоянными приглашениями отведать.

— Как у вас там хозяйство-то, молодые, идет? — закинул словечко бывалый свадебный гость, чтобы поддержать дружку и втравить ребят: «Пусть-де мелют, было бы только складно, на то и потехи эти придуманы испокон веку».

— Ноне в хлебе недорода,— поймал, чего требовалось, краснобай Фомка:

На низких повымокло,
На высоких повызябло.
Да спасибо, хозяин догадался:
Нагреб ржицы в лукошко
Да и вышвырнул за окошко;
Стала пшеница всходить,
Да повадились свиньи ходить,
Стала пшеница колоситься,
Начали свиньи пороситься.
А пестрая корова совсем сдуровала,
Задние ворота поломала
Да и пшеницу-то всю помяла.

— Ну, а хорошо ли сеяно было? может, и не случилось бы такого горя, коли б лучше по полосам проходили,— опять подвернул подгулявший гость — любитель бывать на чужих свадьбах и мастер поддерживать беседу и веселье.

— Да вот как сеяно! — подхватил находчивый Фомка:

Колос от колосу —
Не слыхать человечья голосу,
Копна от копны —
На день езды,
А коли тише поедешь,
Так и два дни проедешь.

Подобными доморощенными прибаутками забавлял Фомка поезжан-гостей до тех пор, пока новобрачных не проводила сваха в клеть, поставив на часы невестина дружку. Фомка далеко за пенье петухов пировал с оставшимися гостями и не остался в долгу: от души нарадовался и своему досужеству — краснобайству и Степкиной радости — законному браку. Шумели страшно, били плошки, ломали ложки и кидали под стол и под лавки деревянную посуду.

На другой день, чуть брезжится, Фомка был опять на ногах,— осталось еще за ним последнее дело: истопить в свой черед баню и пригласить туда новобрачных.

Эти, проснувшись, отправились на поклон к родителям; затем явились к ним самим с поздравлениями, а наконец и Фомка показался в дверях жениховой избы с веником в руках.

— Экой у вас, сват и сватушка, порог (повел приговоры дружка от самых дверей),— насилу ноги переволок, хоть бы дали чем поправиться!

— Погляди-ко, молодая,— продолжал дружка, допив чарку и не обтирая губ,— какой у вас потолок — черным соболем меня оболок, хоть бы дала чем утереться!

— А привыкла ли ты, молодая, к хозяйству? — продолжал Фомка, получив полотенце в подарок.— Покажи-ко мне свою удаль!

У Фомки откуда ни взялся мешок с рубленой соломой, которую он тут же, в глазах, разбросал по полу. Новобрачная должна была выметать избу, показывая тем, что привыкает к новому хозяйству.

Но Фомка опять охорашивается и веничком помахивает, когда молодая наконец уселась рядом с молодым на лавке и потупилась.

— Князь и княгиня новобрачные! — начал дружка, показывая веник.— В баню иду пару попробовать — годится ли вам попариться? Опарил бы вашу баню, да вот беда прилучилась: веник развязался. Связать бы надо, да нечем; а княжья-то бы баня давно у меня готова!

Надо давать дружке новый подарок. Молодой связал ему веник новым красным кушаком и пошел со своей подругой, за дружкой следом, в баню, где поддают пар брагой и угощают ребят вином.

Ударили ребята, по приказу Фомки, в заслоны и сковороды, и кончил Фомка свое дружье дело на собственную похвалу и утеху приятелей.

Осталось молодым сходить на *спознатки* сначала к невестиным родным и родителям, а наконец ко всем остальным соседям, господам приезжанам, которые сделали им честь: побывали на свадьбе.

Вскоре у невестиных отца и матери будет званый стол для прежних гостей, которые нашлют им предварительно всякого добра из живностей; молодые вином запасутся; придет на этот пир и Фомка. Может быть, будет он шутки сказывать, приговоры подбирать, хоть это уже и не обязанности его, а лежит на доброй воле.

А вам бы, молодым,— любовь да совет! Может быть, и над вами сбудутся кое-какие из поговорок-пословиц, которых так много знает Фомка и которые он так любит твердить всем новобрачным:

Шубу бей — теплее, жену бей — милее.

Не прядет мужик, да без рубахи не ходит, а и прядет баба, да не по две носит.

Жене спускать, так в чужих людях ее искать, а жена не мать: не бить ей стать.

Нет большака супротив хозяина, а хоть и лыком он сшит — все же муж.

В девках сижено — горе мыкано; замуж выдано — вдвое прибыло.

Живите же с миром, добрые люди, чтоб была у вас в доме тишь, да крыш, да благодать господня,— и не сбывалось бы с вами, про что говорят старые пословицы.

А что же Фомка?

Будут его теперь зазывать на свадьбу в дружки; будет твердить все одно и впредь, как заучено; может, ухитрится при случае: придумает что новенькое. Не будет, может быть, часто ходить на поседки. А дальше что будет с Фомкой, если он останется при своем? Дальше надо вспомнить, что по Фомке тоскует еще Аннушка.

VI

— Потерпи, перемогись, Аннушка, ведь не над первой же тобой такая беда сбывается. Все эти ребята таковы, а твой ведь совсем в *дружество* втравился, вот и завтра в Кулагино, вишь, звали. Хоть не пьет, мать, и то ладно; погоди, вот пост наступит; на масленой можешь перемолвить. Ты ему, сычу, прямо в глаза говори, да не бойся, не тронет! — утешали Аннушку подруги, когда той уже невтерпеж стало и высказала она свое горе.

— Вот,— говорит,— все с писарями знается, а чего от них дождаться, от табашников-чихирников? Лягу, девоньки, спать — и все это во сне: Фомку режут. То он тебе согрубить хочет и ногами лягает тебя, то ластится: люблю, говорит, тебя; завтра свадьбу станем играть. И совсем бы к венцу снарядиться — ан!.. и проснешься.

— Да ты, дева, на левом ли боку-то спишь. Вот меня, так что ни ночь — домовой давит!

Но не до ответа было Аннушке; одно наяву, одно и во сне. Фомке сполагоря: его любит девка, а он любит свадьбы да дружьи приговоры; подчас не прочь чокнуться с приятелями на последний грош, на последний кушак, что выгадает после сговоров и в самый день столованья после венца.

— Мне, братцы, одно,— хвастался он писарям,— что коли полюбил работу, да не любит она сроку — изо всех жил потянусь. Само бы дело не годило меня, а я его дождусь, да уж коли и дорвусь до него, так не скоро отстану. Анютка особая статья — погодит, не помрет до той поры!..

— Да кручинится ведь, надрывается!..

— На свою же потеху. На то это ихнее, бабье, дело. Поскулит-поскулит, да и отстанет, тогда опять можно с начатков пойти.

Писарям речь Фомки совсем по сердцу пришлась: смеялись они от души находчивости краснобая и трепали его по плечу, и по спине хлопали, и трубочку закуренную подавали.

— Люблю тебя, Фомка, пуще брата двоюродного. С тобой и умереть, так на потеху. Парень урви да отдай!.. сто рублей не деньги! Ну-ка, брат, выпьем да поцелуемся.

Между тем прошел пост; наступила святая до того теплая, что можно было даже хороводы водить на полянке.

«Вот,— думает Аннушка,— придет мой суженый в хороводы, угожу ему молвить. Как-никак, а все сердце изныло».

Но ошиблась девка в расчетах, Фомка, словно назло ей, затеял в городки играть, а в хороводы прогнал ребятишек. Оседлал Фомка какого-то парня-верзилу и едет от одного города к другому, и опять с одного маху и одной палкой гонит все чушки с кону, и опять поехала его сторона до другой — побежденной.

Видит Фомка, что больно изнывает девка, и любо ему, что как он ни крут, девка не сдается другим ребятам.

— Побалую,— говорит,— немного: после крепче любить будет!

И решил он опять избегать встреч с Аннушкой, избрав для этой цели ближнее село, где свел еще теснейшую дружбу с писарями, научив некоторых из них своим шуткам. Не умели ученики перенять одной только сороки да как на бабу собаки лают, а петух задался чуть ли не чище Фомкинова.

Но вот стали по деревням кое-какие летние новости проглядывать: у одной глупой коровы, забравшейся в яровое, хвост отрубили. Заходили с задов кожевники и надули баб, скупили овечьи шкурки дешевле пареной репы,— серчали мужья и перебранили всех баб одну за другой. Рекрутов провели, и песни рекрута пели, и в бабки играли,— поговаривали по деревне, что последняя-де партия провалила. Рожь на низких местах завязалась, и отцвела земляника: стала она в ягоду наливаться.

«Вот,— думает Аннушка,— ягоды пойдут, возьму чашку и пойду за земляникой. Попадется Фомка, скажу ему напрямки, что, коли-де не возьмешь меня замуж, и не люби лучше, а то вот писарям хвастался, что изо всей-де деревни я лучше всех».

Нехитро было Аннушке надумать это, недолго привелось и земляники дожидаться; взяла она чашку деревянную и встретила Фомку в лесу.

— Что, аль и ты за земляникой вышла? — начал Фомка говорить ей и посмотрел своим нахальным взглядом.

Забыла Аннушка, что хотела сказать ему и о чем целое утро продумала, не сумела даже и ответа прибрать. Присела она на лужочек, который весь был усыпан спелыми красными ягодками, словно платок набойчатый цветочками. Сел и Фомка рядом с ней; оторвет ягодку и бросит ей в чашечку, другую оторвет и опять швырнет туда же.

— Ты,— говорит,— не сердись на меня; я тебя никому не дам в обиду. Писаря говорят, побей, коли надоедать станет. Нет, говорю, братцы, не трону, во... не трону!

— А зачем ты все туда ходишь? — осилив наконец свою робость, проговорила девушка.

— Оттого, что мне лучше там; ведь и тебя же не прихвостнем таскать за собой.

Промолчала девушка, но видел Фомка, как подернулись ее губы легкой судорогой, пробежали две морщинки на щечках, сдвинулись ее

ресницы и крупная слезинка капнула на ягоду. Ответил ей Фомка своим бойким смехом, встал на ноги и закачал головой.

— Кислая ты девка, Анютка, плакса бестолковая! Ишь полюбила!.. больно, вишь, тоскует!.. очень мне тебя нужно! Вон, скажут, Фомка с плаксой связался, и говорить, скажут, она не умеет. Убирайся ты от меня, и без тебя много!.. — сказал и, плюнув, пошел Фомка наперекостки через поляну, в знакомое село, покурить картузного у приятелей.

С тех пор, что ни утро, Фомка торчит на скамейке у писарской избы; целые дни проводил в селе, случалось, что ночи заночевывал, а на Аннушку и глядеть не хотел. Говорили в деревне, что писаря совсем приворожили парня: вместе хмельным занимаются с ним и на балалайках вместе играют. Фомка петухом кричит, сороку передразнивает. Еще, говорят, новый молодец приехал вместо того, что прогнал становой; в какой-то куцей одежде по утрам ходит, а к вечеру халат надевает пестрый. Говорили еще, что у молодца и чубук длинный, и играет он на гитаре; хочет Фомку учить. Во всем, говорили, новый молодец лучше двоих: и с девками сельскими бойко играет, и деревенские песни как-то по-своему перекладывает.

Наконец и Аннушка увидела хваленого молодца уже в то время, как после бойких дождей проглянуло солнышко и высунули масляники свои слизистые головки; показались и рыжички на зеленых полянах.

Шел новый писарь, как и говорили, в пестром халате, но только трубки не курил, а пел какую-то песню. Поравнявшись с Аннушкой, которая шла за грибами, краснощекий писарь переменил напев и запел другую песню, ловко прищелкнув над самым ухом девушки и откинув ногу.

— Должно быть, эту Фомка-то любил и про нее, знать, рассказывал; да ведь дурова же голова, сорока проклятая! Не умел девки любить — и словно сельская Матрена лучше ее!

— Мужик-то мужик и есть, мужик — деревня, голова тетерья, ноги куричьи,— проговорил писарь, и с тех пор каждый вечер приходил по близости в Фомкину деревню, словно тот нарочно посылал его наместо себя.

Узнал пестрый халат, где живет Аннушка, и все ходит около ее избы и напевает громогласно: «Кончен, кончен дальний путь!» или «Ударим во струны, ударим!»

Улыбалась Аннушка и при встрече с писарем била его по руке, когда начинал он заигрывать. Не приняла сначала его первого подарка, платка с картинками, но пестрый, краснощекий писарь сам повязал ей на шею. Сбросить его постыдилась девушка, тем более что Фомка, кроме лишнего пряника на чужом девишнике, ничего не дарил ей. В другой раз писарь подъехал с орехами — и тут не дал маху: краснела Аннушка, увертывалась, соблазнилась-таки на орехи, тем более что они были грецкие, хоть и наполовину с гнилью внутри,— и не отказалась от фунта конфект крупитчатых, которыми разразился волокита в последнем подарке.

Между тем начали слухи носиться, что грузди пошли, и уж два

воза повез сельский грибовник на соседний бор. Пошла и Аннушка за груздями, да все набирала одни *свинари;* вот ей и груздочки стали попадаться, сначала большие, а вон и маленький проточил головку из-под кучки сосновых иголок; за ним другой, третий... успевай только брать,— откуда берутся грибы. Не успела она и дно лукошка завалить порядочно, как зашелестели листья и откуда ни взялся пестрый халат писаря и его длинная трубка.

Слово за словом, подсел писарь тут же и стал помогать девушке. Долго сидели они и о чем-то толковали, вовсе не подозревая, что подвигалась к ним буря,— и сам Фомка как вылил тут.

— Ты это зачем в чужой-то огород залез? — крикнул он на писаря и в сердцах схватился за палку.

— Бахваль сколько хочешь на гитаре своей, а наших не трогай; на меня вот целую неделю дуешься. Почище тебя ваши ребята, да и с теми в миру живем. Ишь, говорит, мы их чище; мы, говорит, не напиваемся допьяну, и на балалайке не любит играть; гармония, говорит, скверный струмент. Девки все скверные... а в нашу деревню для прогулки ходишь? — кричал Фомка, передразнивая писаря, и расставил ноги, ожидая нападения.

— Я вот ввалю тебе свойских-то, штук со сто, так и будешь ты ходить по жердочке, чернила ты этакие, бумага проклятая! — выкрикивал Фомка, выжидая ответа, которым не замедлил писарь и высчитывал ему полновесными дулями.

Фомка как ни ловчился, но принужден был уступить сильному писарю и лечь на землю, может быть, и по своей воле, а вернее всего — поневоле.

Так как подобные оказии бывают нечасто и притом же всегда занимательны, то и драка двух приятелей не прошла втихомолку, а огласилась на целый лес. Долго ли собраться грибовникам, долго ли смекнуть им, в чем тут дело и что Фомка повинен в начине, если лежит на земле.

— Встань,— ободряли его ребята,— да мазурни его! Али сердце отшиб? Изловчись, Фомка, полно валяться-то! Ты ведь у нас завсегда бахвалист был! Эх, укатал, брат, тебя писарь: вон и кровь потекла... Что, брат Фомка, кусаться начал? — дай ему еще! еще... лихо!.. лихо! — травили Фомку ребята и заухали, когда избитый дружка наконец был оставлен писарем и, встряхнувшись, встал на ноги.

— Под силки взял да угодил подножку,— оправдывался Фомка,— а то бы и не свалил. Пойдемте, братцы, пора коров заставать!

После этого замечательного события Фомка совсем позабыл об Аннушке, стыдился даже встречи с нею, да раз толкнул ее ни с чего, когда встретился на задах, и обругал обидным словом.

— Пусть его ругается! — говорила Аннушка своим подругам.— Лишь бы только не дрался: а то толкнул так, что насилу духу набралась,— прямо против сердца угодил.

— Нешто ты совсем его разлюбила? — допытывались любопытные подруги, но Аннушка покраснела только и ничего не отвечала.

VII

Прошло наконец наше северное неустойчивое лето. Было сухо: долгое ведро тянулось. Пошел раз дождик, припрыснул слегка, и заволокло широкое небо серыми тучами вплоть до самого Покрова. Что ни утро, то и грянет назойливый ливень, и мутит целые сутки.

Наконец пришлось мужичкам порадоваться: проглянуло солнышко, но узнать его нельзя: совсем стало не летнее. Да и на том спасибо, что хоть опять установилось ведро и дало время поубраться, а то хоть зубы клади на полку: к ниве просто-напросто приступу не было; все залило водой; все отсырело.

Повелись опять работы обыденные: что ни день, то зарево, сначала словно свечка вдали, шире да гуще — и размалюет на половину неба кровяным цветом. Резко обозначался этот цвет при густой темноте осенних вечеров, и понеслись обычные слухи, что в одном месте овин сгорел со всем добром; оставили ребятишек сторожить, а сами завалились на полати. Ребятишки — глупый народец — вздумали в яме репу печь; да стрекнул уголек некстати и попал в недоброе место: прямо между колосницами [6]. Затлелся уже высохший сноп, обхватил его огонек синей змейкой — и долго ли до греха: пошло крутить и по соседним снопам. Занялся овин и скоро запылил, запыхал; только успели ребятишки выбежать. Хорошо еще, что дело обошлось одним овином: растаскали его по бревнышку. По соседству же совсем лихая беда приключилась: пронесло огонь из конца в конец деревни — живого места не осталось; торчат одни обугленные вереи, а печей и места не знать. Один исход такой беде — целая вереница погорелых, с замаранными лицами, пошла по соседям: «Подайте, говорят, на погорелое место!»

Но вот и первоснежье наступило: пошла бездорожица, настали метели да вьюги, и — обелилась земля, замерзла она вершка на два. Завалились старики на печь; сел большак за лапоть, большуха за стрижку *бяшек,* а молодое племя ссыпки *затеяло,* и начались заветные *супрядки.* Коренной и неизменный их посетитель, Фомка как будто и не жил в своей деревне, забыл об них вовсе и не ходил смотреть на ребяцкие игры. Где он и что? — никто не заботился. Знали только одно, что Анютка сговорена за писаря Егора Степаныча, который летом в пестром халате ходил, а к зиме надел синий овечий тулуп.

Ходит писарь каждый день в Фомкину деревню и все у невесты сидит, принесет гитару и бренчит на ней вплоть до третьих петухов. Веселее были супрядки эти, чем прошлогодние; где они ни затеются, везде сидит писарь с невестой: он на гитаре играет, она прядет и песни поет, да как-то совсем неохотно.

— Не то она, братцы, Фомку крепко любила, не то... что...

— А лихо его писарь поломал! Совсем, братцы, опешил наш парень; говорят, из батраков-то он на Волгу пробираться хочет,— толковали промеж собой ребята, но ошибались немного, потому что, лишь только прошли святки, Фомка как снег на голову.

— Здорово, ребята, чай, и в живых не чаяли? — далеко, братцы, был... куды далеко! — приветствовал он своих старых друзей.—

Да не уладил ли кто из вас дела полюбовного? так берите в дружки: не бойтесь! — уважим по-прежнему.

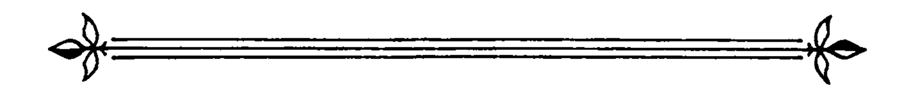
Одному только удивились ребята, что Фомка не спросил ничего об Аннушке, а у них уж и ответ готов был, и только заикнись тот — целый бы короб вывалили, что вот-де в будущее воскресенье свадьба у писаря, у невесты сарафан новый в подарок от жениха; сам становой посаженым отцом вызвался, и жена его приезжала на тройке рыжих вяток; Матюха кривой кучером был в новом армяке и в кушаке золотом; кузнец Кузьма дружкой от невесты, писарь Изоська дружка с жениховой стороны; да у земского буренка поколела.

— Сам,— решили ребята,— проведает обо всем. А что-то будет? пропустит ли это дело так, а не таковский бы парень.

Фомка же, как ни в чем не бывало, с Анюткой ни слова, с Егором Степановичем и не поклонился. Прорвался было в самый день свадьбы (сказалось ретивое) : подучал ребят горшки бить да запастись дехтярницами, но опомнился: догадался, что шкура на спине своя — не прокатная, и махнул рукой.

Сыграна была наконец и свадьба писаря, на славу и всеобщее удовольствие. Только, говорят, куды громко вопила невеста, набирала таких приговоров и так громко выкрикивала, что и Глыздиха молодая позавидовала бы в прошедшую зиму. Подруги говорили, что голосила по Фомке, но большаки решили правдивее:

— По своем девичестве сокрушалась. Молодец-от этот показистее Фомки будет: грамотку ли разобрать из Питера, другую ли смастерить туда «с родительским благословением навеки нерушимым», по деревне ли пройтись осанисто,— всем взял парень и хмелем не зашибается, и становой крепко любит. А Фомка что? — шалопай, бахвал, и ничего больше! Ему-то бы в мутной воде и рыбу ловить: девка любила, родители не косились; жил бы на тестевы деньги. Вон и теперь тесть пять возов отправил в Питер с грибами солеными и сушеными; да и в сундуке нет ли побольше тысячи залежалыми. А век дружкой ходить — приестся, да и хорошего мало. Может, и женится парень, спроста, так того и гляди, что как на льду обломится, и себе на невзгоду да и жене на маету. Жил бы, жил, дурак, в теплом месте за пазухой у тестя богатого: и лапотки бы не плел, все бы в сапогах со скрипом щеголял. То-то ведь дураково поле! А что тесть мужик умный и тороватый — так весь околодок присягу примет, да не даст солгать. И богат, а не рогат.



ПИТЕРЩИК

(Похождения Кулачка)

I

РАССТАВАНЬЕ

В крайней избе деревни Судомойки, у хозяина Артемья — небывалое горе, которое подкралось к нему незаметно и подняло его жену Матрену еще далеко до первых петухов. Старуха завозилась около печи и изредка глубоко и тяжело вздыхала. Вздохи эти, сопровождаемые какими-то однозвучными восклицаниями, незаметно учащались, и когда старуха вышла из-за переборки, с лучиной в руках, легко было заметить, что глаза ее опухли и покраснели, а на ресницах висели не первые свежие слезы. Вставивши лучину в светец, старуха осторожно подошла к лавке, во всю длину которой вытянулась фигура, накрытая овчинным полушубком. Старуха осторожно потолкала эту фигуру, подперлась локотком и тем жалобным, робким голосом, который так живо вспоминается всякому при первой мысли о давно минувшем младенчестве, шептала, сквозь слезы, спящему:

— Петрованушко!.. разумник!.. очнись-ко, желанный мой! Никак светать скоро станет, радость!..

Спящий перевернулся, но с полатей раздался другой голос, несколько строгий и неприветливый:

— Эку рань тебя, старую, нелегкая подняла: не замай!.. отстань!.. Дай хоть напоследях парню-то покуражиться. Никак еще и первые кочетье не пели: ложись-ко!..

— Нет, уж не засну, не засну!.. Всю ноченьку мутило, и призабыться не удалось! — было ответом.

Опять раздался в избе тот же урывистый шепот, который так назойлив и неприятен просыпающемуся в самую лучшую, сладкую пору ночи.

Не хитрил и тот, чей голос оговорил сердобольную старуху-будильщицу, потому что вскоре показались его босые ноги на приступках, и наконец вся фигура самого хозяина Артемья пробралась с полатей в кут, в то время когда спящий поднялся на лавке и лениво потягивался.

Артемий молчал, продолжая одеваться, молчал и сын его Петрованушко — виновник настоящего семейного горя.

В избе было по-прежнему тихо, как бывает тихо в любой крестьянской избе в раннюю пору утра, когда можно слышать и шипенье в лохани стрекнувшего уголька от лучины, и корову, лениво пережевывающую жвачку в подызбице, и треск над голбцем сверчка — этого незваного и досадного гостя всякого теплого места в деревне.

В избе Артемья на эту пору тишина нарушалась еще вздохами его жены, которые вскоре превратились в всхлипыванья, неблагоприятно подействовавшие на обоих мужчин: сам Артемий упорно молчал и покрякивал. Сын его вышел на крылец и задумался.

Вот где-то вдали выкрикнул первый голосистый петух-запевало; ему ответил другой, третий еще голосистее — и вскоре началась задорная чередовая перекличка досужих соседей, по пению которых деревенский человек узнает время ночи.

Привычная перекличка петухов, проходившая незаметно для парня в былую пору, на этот раз увлекла его и навела на продолжительное раздумье: голос одного петуха, бойко начавшего выкрик, прорвался на самой середине, и петух не дотянул полной трели.

«Надо быть, крепко начал, покачнулся на шесте и слетел вниз!» — думал парень, и в воображении его уже рисовался содом и неугомонное кудахтанье, которое подняли напуганные, всполохнутые куры.

«И ничем не уймешь их до самого рассвета, народ такой! А вот Скворчихин петух совсем стар стал, и поет сипло, и скоро кончает. Не спуста: пятую зиму живет...»

Парень еще долго стоял и вслушивался; но, видно, как ни отгонял тоску, накипавшую на сердце, придется опять за нее взяться, когда войдет он в избу и увидит, как тоскливо смотрит ему в лицо мать-старуха и сам отец, подсевши к столу, разбитым, не менее тоскливым голосом говорит ему:

— Не отринь, Петрованушко, стариковскую молитву: не забудь на чужой стороне!.. Пошли тебе Никола Чудотворец да казанская богородица таланту да счастья!.. Нас-то не забудь только!..

— Зачем забыть?.. не для чего забывать!.. Вы-то...— мог только ответить парень, но упорно сдерживал накипавшие слезы.

— Ой, отцы мои родные! кормилицы мои! — завопила старуха и пала на плечо сына.— Под сердечушком-то своим я тебя выносила; выкормили-то мы тебя, выпоили, а пришла неминуча напасть на чужую сторонушку снаряжать! Помрешь — не увидимся!.. Ой, батюшки, ой, родители мои! Ой, ой, ой!..

Градом полились у старухи слезы, Артемий вылез из-за стола, махнул рукой и побрел под полати.

— Спи, Ондрюнька! спи, шустрый! Рано!.. — говорил он одному из ребятишек (вразброску валявшихся на полу под шубенками).

Этот парнишко, приподнявшись на постели, пугливо озирался, вероятно разбуженный громкими причитываньями большухи. Плачу этому не мешал старик Артемий и даже, видимо, сочувствовал, потому что продолжал по-прежнему покрякивать и откашливаться.

Немного оправившись, он опять подошел к столу и опять заговорил с сыном:

— Дорога-то дальняя, туды-то обрядим! А там все от тебя, Петрованушко, да от Семена Торинского! Коли не он — так и надежи никакой нет, да, я чай, не отринет — в сватовстве ведь — свои... Поклонись ему, попроси!..

— Знамо, надо поклониться! — отвечал парень.

— Ну, и наши питерщики, чай, покажут: свои ведь, соседские!..

— Знамо, покажут!.. Ондрюха покажет!.. Матюха!..

— Жениться, Петрованушко, надумаешь — домой приезжай!..

— Куды, как не домой,— знамо!..

— На вот от трудов своих, Петрованушко! возьми... десять рублевых, чай, хватит.

— Как не хватит — хватит!.. останется!..

— Дал бы и больше, радельник, да невмоготу: сам знаешь!.. Вон и то Лысуньюшку продали и сено все сгребли с повети!.. Тулуп-то свой лонишной [1] тоже!.. сам знаешь: из каких достатков?..

В ответ на это парень только сильно безнадежно махнул рукой и опустил голову.

— Все на тебе, разумник! От твоей милости!.. не отринь!

И старик уже не вылезал из-за стола, а тут же, при всех вытирал обильные слезы. Одному только парню почему-то хотелось удерживаться от них, и он ушел за переборку и долго бессознательно рассматривал, как густой дым валил из печи и сильно лез к потолку и по лицам.

— Вставайте, робятки! Матвеюшко, вставай! — будил он потом маленьких племянников — сыновей покойного брата.

Потом прилег было к ним, хотел поиграть — и не нашелся. Встал опять и опять начал выговаривать.

Из-под полушубка показалось одно раскрасневшееся личико, а вот и другое — и оба, спросонков, тупо смотрели на дядю, не понимая, в чем дело.

— В Питер сегодня еду, вставайте,— чуть не вскричал парень тем безнадежным голосом, после которого едва ли кто удерживался от слез.

В избу вошел дядя Петр, старший брат старика Артемья, человек, живший в Петербурге долго, разбогатевший там, а теперь уважаемый всею деревнею за ум и опытность.

Старик пришел поделиться, по-родственному, с парнем своим толком и опытностью и говорил:

— Беги кабаков — главное! Вот отец-то не приучил тебя к водке, и там остерегайся. Водка — огонь: многих сожгла. В харчевне — ничего, чайку попить, и то смотри не часто — ожжет... Больно-то с шустрыми да бойкими не дружись: народ там прожженный...

— Ой, поучи-ко, поучи! Больно ты толков, брат!.. родной!.. Сам-то я и придумать ничего не мог, а хотел, больно хотел, да не знаю как.

— Ну, где тебе знать: свету-то и видел, что в окне-то своем: домосед ведь...

— Домосед, брат, домосед, родной!.. Поучи-ко, поучи — кровный ведь, свой...

— Идешь-то ты в толковое ремесло плотницкое. Артели у них крепкие, только держись за них, да тут смотри с толком. Ведь и у них всякой бывает, что рубль-от зарабатывает в неделю почесть, а выпьет, так и в грош не ставит. Пуще бегай полпивных [2], там в игры всякие играют, втянешься — водой не отольешь. Присмотру-то там да уроков

ни от кого не жди, всяк живет по себе, и тебе доведется так же.

— Спасибо, дядюшка, кормилец! так-то вот словно и выучился. Все-то так запомнилось ловко...

— Не на чем, племянник дорогой, Петр Артемьич! Ведь с отцом-то твоим мы не чужие — одна полоса мясу: родные братья.

— Да, поучи ты, поучи, брат!.. еще.

— Будет с него пока. Всего-то не втолкуешь; свой на то разум имеет. Отца-то не забывай, не зазнавайся очень-то.

— Да, уж не забывай, Петрованушко, не забывай!..

— Ну, и меня: дядя ведь тебе. А вот тебе и мое благословение и деньжоночек, сколько мог: не обессудь! Становись же на колени; благословляй, брат, коли не благословлял еще, да и с миром.

Отец благословил сына створчатым медным образом и запихнул ему этот образ за пазуху. Старуха передала ему мешок с подорожниками и низко поклонилась; невестка присоединила свои рыданья к причитаньям старухи. А вот, когда совсем рассвело, отворилась дверь, и из рассеявшегося густого пару, мгновенно ворвавшегося с ветру, показались фигуры питерщиков — Ондрюхи и Матюхи, которые взяли новобранца на свой страх и согласились доехать вместе с ним до Питера.

— Не оставьте, ребята, парня! вразумите, коли в чем не дойдет своим-то толком! Не отриньте, по знати!.. свои ведь: во какими запомню! — попросил Артемий питерщиков и, вероятно для большего убеждения их, намекнул на свою старость и односелье с ними.

— Не проси, что просить? Знаем! — ответил Ондрюха.

— Сам себя должон смотреть, а мы, значит, люди натуральные: все можем предоставить. На то, примерно, в столице... разных господ, выходит, знаем, а опять-таки и хозяев разных. Радение его будет какое, значит... а мы... вот, это в каком сложении понимать надо... настояще так! — говорил другой питерщик, Матюха и, как видно, что называется, зарапортовался вследствие столичной заносчивости, которая, видимо, немало усилилась и деревенскими крепительными средствами, которыми любит заручиться простой человек в привычную дорогу.

Как ни бестолковы были последние речи, старик Артемий понял их по-своему и низко кланялся. Кланялся и сын его, Петр.

— Пособи, братцы! народ вы доточной, не впервые в Питер-то ездите.

— Приобыкли, молодец, приобыкли! — заметил Матюха с тем важным тоном, которым любят важничать заезжие на родину питерщики.

— Грамотный ведь он у меня: и церковное читает, и гражданскую печать маракует. Не обидел бог, неча говорить, может, пригодится и в этом досужестве.

— Завсегда в избе у дьячка, перед обедней, Жития читает! — сочла за нужное прибавить мать и не нашлась больше; а только низко-низко поклонилась и опять принялась за слезы.

— Не просите: не обижайте, значит! — говорил первый питерщик.

Но вот наступила и минута разлуки, которую обставляет русский человек, по старому завету отцов и дедов, везде одинаково: когда дорожный человек оделся потеплее и туго-натуго подпоясался кушаком, все находившиеся в избе присели. Недолго длилось молчание: все, вставши с мест, молились на тябло, по примеру большака избы, который, кончив молитву, обратился к сыну:

— Ну, прости, Петрованушко! прости, родимый! благослови тебя господи. Не забывай... Жениться-то, мол, домой приезжай, да скорее!.. Хвор стал: не в силу подчас. Прости, петой!.. Да дядины-то слова пуще помни: они ведь неспроста.

Дальше он не мог говорить и передал сына матери, где ожидали его безнадежно-судорожные объятия и рыдания; старуха повалилась ему на плечи и не смогла ничего выговорить. За нее причитывали другие — бабы-помощницы, в объятиях которых также предстояло Петровану испытать, как тяжело ложится на сердце бремя разлуки, от которой и отказаться бы даже так впору.

Дядя простился хладнокровнее всех.

Между тем изба Артемья густо набилась соседками, которых привлекло сюда сколько любопытство и досужество, столько же и обычное сострадание ко всем неутешно рыдающим. Прощание с ними было гораздо короче. Учащеннее слышались только разные искренние пожелания во все время, пока парень подошел к ребятенкам-племянникам.

Ребята спохватились, что дело идет не на шутку, когда все в избе голосят, и что, знать, скоро некому будет снаряжать им тележки, носить шляки и лодышки. Ребята растрогали своими слезами дядю до того, что он поспешил за дверь, на крылец, к роковым саням и концу расставанья...

— Прости, родимой... сердце!.. не забудь да отпиши попервоначалу... как там... Пошли тебе казанская!.. ой!.. ох!..

— Прощайте, родные, прости, Гриша!.. Дядя Михей, прости, родимой!

— Не поминайте лихом! А в чем не разобидел ли кого? Простите, желанные,— слышалось с обеих сторон.

— Трогай; да легче сначала: сани разойдутся! — раздался другой голос, усиливший рыдания баб.

Старик Артемий только махал рукой и низко кланялся во все время, пока пошевни питерщиков были в виду.

Но вот они обогнули околицу, скрылись за банями, опять стали видны и спустились под гору, за лес, все дальше и дальше...

Старуха мать давно уже лежала на лавке чуть не в беспамятстве. Над ней выли золовки и невестки. Артемий ушел на поветь и долго-долго возился там с колесами; потом накинул полушубок, надел шапку и ушел под знакомую елку, откуда поздно вернулся домой, залез на полати, постонал, поворочался и замолк, может быть, только до первых петухов...

На другой день, когда путешественники будут далеко, старик опомнится и крепко погорюет. Бабы еще долго будут хныкать, а старуха мать — при первом воспоминании о сыне.

Пройдет неделя, и дальше, по непреложному закону природы, все пойдет своим чередом: домашние оглядятся — и попривыкнут, устремив все желания свои к тому, чтобы дождаться из Питера первой грамотки, над которой опять целой семьей плачут, и опять все пойдет старым, заведенным порядком.

II

ДОРОГА

Привыкшие к расставаньям и дальнему пути, спутники Петра всю дорогу спали невозмутимым сном, просыпаясь только там, где останавливались привычные лошади извозчиков: был ли это серенький гнилой домишко, с елкой и выбитыми стеклами, или большая изба с длинным-предлинным навесом над двором, где путешественники пили и ели до устали, и ничто не возмущало их. Дивился Петр Артемьев хладнокровию земляков и не мог вполне понять и совсем подчиниться их обычаям.

Прижавшись к бочку саней, чтоб не потревожить спавших товарищей, он невольно должен был страдать под обаянием воспоминаний, обильный наплыв которых и ласкал его, и уносил, против воли, в далекое прошедшее.

Там привелось ему встретить так много отрадного, что недавняя разлука с домашними еще глубже западала ему в сердце, и щемила его, и выжимала не обильные, но все-таки горькие и неутешные слезы.

Сначала он прибегал к хитростям, чтобы отдалить гнетущие воспоминания, и занимался дорогой делом отчасти привычным, но прошедшее — такое светлое и отрадное — опять брало свое место в воображении и опять сжимало ноющее сердце.

Дорога, выбираясь из сырых полусгнивших деревень, шла обширными полями, как белым саваном, покрытыми снегом. Вдали чернелся березняк, с сухими остовами своих деревьев, и густо сплачивался вечно юный еловый и сосновый лес на бору. От деревни к лесу, по снежному полю, прихотливо вилась узенькая полоса проселка, обозначенная по полям спасительными во время вьюги и метели елками, наставленными кое-где догадливыми мужичками. Дорога — гладкая и светлая — врезалась в лес и пошла переходить от одной стороны просеки до другой, увеличивая расстояния, но спасая путешественников от толчков в ухабах и других неприятностей.

Парень, повернувшись на бок, глядел на дорогу: вот чей-то след потянулся из лесу прямо на колеи, рядом с ним другой, третий, и чуть не до сотни насчитал их наблюдатель.

«Надо быть, волки выходили сюда! — решил он, немного подумав.— Может, за волчицей гнались, а может, и на проезжих напасть хотели. А вот этот след уголком вышел: стало, сидел волк на дороге и спугнула их проезжая почта. Отскочил волк — посторонился, чтоб не задели, а проехала почта — опять на дорогу вышел, и сел опять, и взвыл, больно страшно взвыл, по-волчьи... ух!..»

И можно было заметить, как парень покрутил при этом пле-

чами, вспомнив знакомые завывания вора-зверя, хитрого и смелого.

«А оттого, что охотников нет в наших сторонах; избаловался зверь и не боится тебя, а еще и бежит за твоими санями, пока не устанет да не покажешь ему длинного хвоста гусевой плети... избаловался зверь... Да и человек так, только ты дай ему повадку — избалуется...»

И вслед за тем длинный ряд живых воспоминаний увлек наблюдателя и перенес его к дальнему прошедшему.

Вот он семилетний парнишко — смирный, нешаловливый,— любимец семьи, и в особенности баловника — старого дедушки. Дедушко указку из лучинки сделал, азбуку изорванную с полицы [3] достал и желтые большие очки надел на нос. А нос такой большой был, а борода такая желтая, длинная и широкая. У дедушки мало и зубов уже осталось во рту, и старик ел только кисель с сулоем, да горох, да изредка кашу; к мясу по праздникам и не приступался: «Не доймут зубы! — говорит,— ешьте одни; а я, мол, киселька с молочком потреплю; и вдосталь мне будет!..» Сделал дедушко указку, книгу достал (а было дело вечером, лучина трещала; отец под хомут войлок пришивал: старый-то поизмызгался).

— Ну-ко! — говорит дедушко,— подь-ко ко мне, Петряюшко: залезай под тябло. Начнем-ко, с божьим благословением!— И прочитал дедушко «Начальное учение человеком».

— «Во имя отца и сына и святаго духа; аминь. Боже, в помощь мою вонми и вразуми мя во учение сие!..»

— Читай,— говорит,— за мной, Петряюшко, да перекрестись: всякое дело с молитвой надо,— вот так!..

И зарябили у парня в уме все буквы церковные и гражданские по порядку, за ним «слози имен», все эти: аз — ангел, ангельский, архангел, архангельский... Вот и числа пришли на память от аза до і с елочкой, а за ним и заветное написание: «По сему же и прочая разумевай!» А вот и имена просодиям [4], которые любил парнишко читать в старину всякому встречному сверстнику и даже давать им по этим просодиям прозвища, и теперь не утерпел он, чтобы не повторить их сызнова. Твердо остались в памяти его эти: оксия, исо, вария, камора, краткая, звательцо, титла, словотитла, апостроф, кавыка, ерок, запятая, двоеточие, точка, вопросительная, удивительная, вместительная...

А вот перешел с ним дедушка к кратким нравоучениям. Перепутались они в голове парня еще хуже просодий, но помнит он и бойко так пробегает в уме все нравоучения: и «буди благочестив, уповай на бога и люби его всем сердцем», и «в несчастии не унывай, в счастье не расслабевай, а скудость почитай материю осторожныя жизни», и «счастье есть непостоянно, причиняет различные случаи, часто печальные, что терпеливый сносит, о том малодушный воздыхает, плачет, воет», и «будь к низшим приветлив, встречающихся приветствуй, приветствующих восприветствуй взаимно, невежу наставь, говори всегда правду, никогда не лги. Сия храни и будеши благополучен».

— Так смотри всегда поступай! — говорил старик дедушка.—

А это все выучи на память, да потверже, чтобы слово в слово выходило, как дьячки «Помилуй мя, боже» читают.

До сокращенного катехизиса дедушка не доходил, а выучил только молитвам. Достал в волостном правлении синей бумаги и довел вскоре до того, что парень стал писать с любой церковной книги. Вперемежку учили псалмы наизусть по старенькой псалтыри, которую выпросил дедушка у отца дьякона Никанора.

Петр Артемьев повернулся на другой бок, взглянул на спутников: те все еще спали невозмутимо-сладким сном, в ожидании остановки.

Он опять увлекся воспоминаниями и припомнил живо простую домашнюю сцену, опять из времен далекого детства.

В избе кончилось сумерничанье; домашние принялись за обычную работу: мать сидела перед ткацким станком, ткала синюю серпянку отцу и дедушке на рубахи, и однозвучно раздавалось хлопанье бердом и жужжанье челнока между натянутой основой и утоком. Старшая тетка пахтала сметану; другая на дворе заставала скотину. В куту на конике отец дотачивал лапоть, а подле него старший братишко Ванюшка вил оборы [5] и гудел в лад отцу, себе под нос, ту же самую песню. Старик дедушка сидел за столом и, опершись руками, читал вслух толстую книгу, Минею. Дедушка хвор уже был, совсем разваливался и киселя мало ел; все лежал либо на печи, либо на полатях, а вечером только слезал вниз и садился за стол под тябло.

Ясно, необыкновенно ясно вспоминается Петру Артемьеву то, как он расчепил лучину, вложил в расчеп небольшой кусочек и, нажавши снизу, выстрелил в маленькую сестру, которая тут же, у светца, возилась с куском пирога и котенком. Помнится ему, как шибко опрокинулась назад сестренка и залилась слезами, как бойко прыгнул тощий котенок с лавки на переборку, как рассердилась мать и встала из-за станка, желая отомстить обидчику, и как вмешался в эту расправу добрый старик дедушка, который ухватил за руку парня, притянул к себе и оговорил невестку:

— Не замай, не дам!.. Забьете вы у меня парня, что Ванюшку, старшего. Побаловал немного; ну, что беды? — на то молод еще. Ведь глазу не выкувырнул, синяка не налепил — пройдет, заживет до свадьбы!..

— Ты завсегда, батюшко, потатчик: твое дитя — не замаем! — заметила было обидчиво невестка, но прикрикнула на парня, пригрозив кулаком и промолвив: — Ужо, я тебе!.. дедушка спать только ляжет! — нахлопаю так, что небу жарко будет!

— А ты меня, Петряюшко, разбуди,— поругаемся!— ответил дедушка и оставил книгу.

— Ты сестренку-то не бей только, а поиграть можно, на то ведь вы у нас ребята малые. Расскажи-ко мне лучше, баловник, про вчерашное: как это будет по твоему по разуму, коли муж с женой, брат с сестрой, шурин с зятем. Сколько народу ехало?

Старик улыбнулся, весело смотрел в глаза своего баловника, который, помня вчерашнее толкованье, не замедлил ответом, что было не шестеро, а всего только трое.

— Ну, а как же, коли так?

На минуту было задумался мальчик, но тотчас спохватился: глазенки запрыгали, голосок зазвучал громче обыкновенного. Заметно ребенок спешил ответом, чтоб угодить дедушке, спешил до того, что дыханье захватывало, шейка вытянулась, и толково ответил, на радость старику и на улыбку матери, у которой отошло уже сердце — она не сердилась.

— Да вот коли тятька, да мамка, да дядя Матвей, что в Осеново уехал — так и стало ровно трое.

— А ну-ко, молодец, отгани теперь новенькую: шурина племянник — как зятю родня?

Мальчик крепко задумался, и губки надул, и глаза нахмурил, почесываться начал, вскинулся на стол локтями: видно, крепко хотелось опять угодить старику, потешить его своей доморощенной сметкой.

Бабы оставили на время работу и смотрели, как мучился и хитрил парнишко, а дедушка молчит и прикрикнул на ту из них, которая, не выдержав, хотела было надоумить парня.

— Еще бы тебе-то, мать, не знать эку хитрость: пусть молодяк сам своим толком дойдет! Он ведь у меня вишь какой разумный. Ну-ко, ну-ко, Петрованушко, понатужься да поразмысли: кого, мол, дедушко-то зятем зовет в избе, да и шурин-то, мол, кто. Понатужься-ко: смекни, Петрованушко, смекни — не обидь меня!..

Бойкая, живая улыбка показалась на лице отгадчика; он хотел было уже говорить, но схватился скоро, и голосок порвался. Дедушка ободрял его:

— Не робей! скажешь. Знаю — скажешь! Ну-ко, ну-ну́!.. вздынься, Петрованушко!

— Да вон дядя Матвей ину пору тятьку шурином зовет за глаза, стало, сам-от он дяде Матвею зятем будет. Ну... а я-то... коли дяде племянник, отцу-то сын.

— Эку толковость послал нам, господи, эку благодать. А вы еще, бабы, бить парня добираетесь. Да экаго разумника хоть сейчас во священники — не опрокинется. Во как! Ай да петой, ай да сердце! На́-ко, на́ тебе!

И старик крепко поцеловал внука в голову и дал ему пряничного коня с золотой гривой да обещался еще из села каленых орехов принести.

«Добродетель был старик! да помер, прибрал господь его святую душеньку,— давно уж, больно все ревели!» — думал парень, и многие горячие слезы покатились одна за другой по его лицу.

Парень спохватился: не увидели бы эти слезы его спутники и опять бы не обозвали его бабой, теленком-сосунчиком, но все еще крепко, невозмутимо крепко, тесно прижавшись один к другому, спали привычные к дорожному делу питерщики. Один обмахнул рукой лицо свое и откинул эту руку прямо на лицо соседа; тот только вздрогнул, но не отвел руки, которая так и осталась тут, медленно спускаясь по бороде на грудь соседа, который, задыхаясь от наслаждения, щелкал губами и раз даже зубами скрипнул.

Все это почему-то рассеяло тяжелые мысли Петра Артемьева:

он улыбнулся сначала слегка, а потом и совсем вслух. Но некому было оговорить его в этом движении; даже ямщик, свалившись с облучка в кузов, забил свою лохматую голову под седоковы ноги и, как казалось, упорно старался хранить свое сонно-ленивое молчание.

Теперь почему-то наплывавшие воспоминания становились веселее, хотя и не менее оживленными. У мечтателя даже приятно защекотало сердце: воображению его рисовались последние сцены, ближайшие к настоящему времени, и именно к той поре, когда подростки-ребята начинают на девок поглядывать, бычком задевать при первой встрече и заигрывать с ними щипками и щекотками. Девки хохочут, ругаются, бьют ребят по рукам и, проходя мимо, хотя и закрываются рукавом, но все-таки задевают ребят сами. А кто из ребят побойчее, то любая оржануха [6] не постыдится сама затронуть его, что есть силы ударив вдоль спины мясистой ладонью. Ожжет у парня это место удар, и побежит он за девкой словно угорелый, поймает и вдоволь, до сверхсыта, нащекотится, нащиплется.

К охоте подобного рода отчего-то не лежало у Петрухи сердце, ребята его оговаривали — стыдили:

— Что не затронешь? — ишь озорницы какие! А лихо, Петруха,— ей-богу, лихо!.. Так — нали самому щекотно станет. Ты только начни; начни: не отстанешь ни в жисть, больно полюбится. Ишь я как!..

И парень, для примера Петрухе, свернувши голову набок, стрелой ринулся в кучу девок, искоса поглядывавших на них во все время беседы.

Бойкое движение парня немедленно сопровождалось визгом, тем несносным визгом, от которого долго потом шумело у Петрухи в ушах, и учащенными ударами, которые бесят храбреца-парня, и он начинает рушить и опрокидывать все окружающее, изредка поправляя длинные волосы, падающие на глаза. Громче и чаще раздается визг, и учащеннее сыплются удары, и щекотнее становится самому парню.

— Во как по-нашему, по-заморскому! — хвастался парень Петрухе, вырвавшись из кучи девок и едва переводя дыхание от усталости.— Ужо, девки, хуже будет, и не выходите лучше: всех обломаю, право слово! да еще Гришуху подговорю — только пух полетит. Вот, мое слово крепко! Особо тебя, Параха, до смерти защекочу...

— Мы тебе бельмы-то повыцарапаем — сунься только! — пригрозились девки издали (но не испугают парня: не таковский).

— Что ж Петруха-то нас не затронет, что быком-то глядит, словно сыч уставился? Поиграй, Петрован! Толкни его к нам, Гаранька, что он словно медведь?

— И впрямь, пра, Петруха! Поди-ко к нам, ишь какие зубастые, а лихо: ты только попробуй!.. Завсегда сам начинать будешь!.. нали знобит!

Гаранька, покрутив плечами, толкнул было приятеля, но тот уперся и устоял на своем.

— Боязно, Гаранька! Не замай: дерутся-то больно,— зря, во

что ни попало! Нет, уж лучше так погляжу, да и тятька узнает — ругаться станет.

Как говорил и думал Петруха, так старался и делать. Девки щипали его, но не получали в ответ щекоток. Парень увертывался, отбивал щипки и ругался, на досаду девок, вызывая их на возможные насмешки и оговариванья.

Так тянулось дело все лето и зиму. Девки отступились от него и не затрагивали больше. Только одна из них больше других обращала внимание на робкого парня, который даже и в песнях не участвовал, а у хороводов и на посидках стоял столб столбом. Изредка только, и то насильно, успевали ребята втащить его в круг и заставляли медленным, медвежьим шагом, против воли, ходить в нем. Но как только доходил до Петрухи черед гореть на камушке, парень вырывался, опускал оба платка, державшие его в круге, и опрометью бежал вон из избы или из хоровода. Все это почему-то нравилось той девке, которая не оставила его без привета и внимания, хотя тоже была охотница до щипков и щекоток и едва ли была не побойчее всех остальных. Нельзя сказать, чтобы особенно нравилась она и Петрухе, хотя и казалась сноснее других; по крайней мере не надоедала ему, не приставала лишний раз, без пути и толку. Лицо ее тоже не представляло ничего особенного, что могло бы привлечь парня: по обыкновению, оно выпеклось блином, немного пригорелым, румяным; круглилось, лоснилось так же, как блин, но блин плохо испеченный, и потому все в нем слилось и заплыло жиром.

Раз подошла эта девка к Петрухе и пожалела, что у него не растет борода.

— Погоди, вырастет! — бухнул Петруха.

— У тебя черная будет, а вон у Гараньки, так у того рыжая пошла, такая-то... клочьями.

— Такой, стало, надо быть! — ответил парень.

— У тебя черная будет,— опять приставала девка.

— Вестимо, черная, коли волоса задались такие.

— Тебе она пристанет: ты не скоблись.

— Для ча скоблиться, пусть сама растет: не стану скоблиться.

— То-то, ты, Петряюшко, пусти ее: она тебе пристанет. У тебя и волоса-то кужлеватые.

Петруха не нашелся, что отвечать ей на это, и промолчал, уперши глаза в землю и боясь поднять глаза на шуструю, бойкую девку. Изругал бы он ее, да зачем, подумал, когда такие речи говорит? Но не смекнул парень, не дошел до того, чтобы догадаться, к чему и отчего говорила девка такие речи.

Другой раз подъехала она к нему с упреками.

— Что это ты, Петруха, со мной не играешь? Гляди, у всех девок по парню, а меня на тебя наущают девки, да и ребята ваши тоже: тебе, слышь, Петруха достался.

— Для ча достался, зачем достался? я не деленый! — был ответ Петрухи, который опять потупился и опять хотел было изругаться, но одумался: «За что ругаться,— пристает, меня не убудет»,— решил он и опять замолчал.

Но не отставала девка:

— Ты хоть бы в горелки играл, коли на камушке-то гореть стыдишься...

— Глянь-ко, сапоги-то какие, вон они!

И Петруха показал девке свои чудовищные отцовские сапоги.

— Не запутаешься, не упадешь.

— Нет, упаду; я бегать не шустрый: все ребята скажут.

— Сними их, легче будет!

— А ногу занозишь?

— Эка, паря, ногу занозишь! — впервые, что ли?

— А то нет, не впервые.

— Ишь ведь, ты словно барин у меня какой.

— Слышь, Матренка, отстань! — не ругайся, пошла прочь. Слышь, дура: не щекоти, черт! Не дури: я не обхватан!..

Довольно спустя после этих объяснений девка явилась к Петрухе уже с более решительными и простосердечными объяснениями.

Она начала стороной.

— Ты мне, Петруха, сегодня во сне привиделся: словно бы ты медведь, а я медведица и мы вместе бы с тобой у твоих в избе кашу грешневую с молоком ели; а ты бы все урчишь, а я бы все говорю да рукой бы тебя эдак... да рукой бы по морде-то...

— Не тронь, что ты дерешься-то, не дури, щекотно! — бухнул Петруха.

— Я тебе только сон-то рассказываю, а не дерусь; что ты огрызаешься-то? Ишь, словно и впрямь медведь! Ты, Петрованушко, не ругайся, я ведь любя.

— Что мне ругаться? ты только не замай.

— А что, Петрованушко, тяжело у вас бабам-то, много работы, поди? Мать-то измывается?..

— Мать смирная — никого не замает. А бабам только и дела, что мозоли на глазах насыпать. К одной вон, к Лукерье-то, куричья слепота, бают, привязалась за то.

— Коли б я за тебя пошла да полюбилась — не бил бы ты меня? — вкрадчиво-льстивым голосом спросила девка.

— На што бить? я не драчлив, я смирен.

— А полюбил бы ты меня?

Девка помолчала, выжидая отзыва; но парень упорно не давал ответа и швырнул сапогом попавшийся ему под ногу камень, который далеко пролетел, звонко ударился в валявшееся на дороге худое лукошко.

Парень усмехнулся; поднял глаза на девку, вспыхнул и опять потупился.

— Полюбил бы ты меня? — продолжала, приставая, девка.— А ты изо всех ребят полюбовнее пришелся: вон и во сне уж начала тебя видеть...

У девки уже начало захватывать дыхание. Последние слова она сказала отрывисто и даже, как показалось парню, плаксиво.

Он опять робко поднял глаза и, убедившись в истине своего предположения, снова потупился.

— Как бы не на улице, я бы тебя, Петруша, поцеловала, мне что?..

— Отстань!.. отступись! — мог только крикнуть Петруха и, отчаянно махнув рукой, повернул к избе, но оглянулся:

Девка стоит на прежнем месте, и ее, сколько он мог заметить, начинает подергивать.

«Вот,— думает Петруха,— сейчас обольется».

— Слышь-ко, Паранька! Ты на улице-то не приставай, а то бабы наши заприметят — проходу покорами не дадут. Не плачь,— слышь! Вон Ключариха идет — увидит. Отстань, я тебе говорю!..

При следующей встрече глаз на глаз опять Паранька остановила Петруху:

— Ты что это все словно бык, алибо медведь?.. черт чертом! Ишь курчавой одмен! [7] — говорила она, однако тем ласково-бранным тоном, который только и можно подметить в ласках простых русских людей.

Петруха улыбнулся и нашелся:

— Я, брат, что? Я не сердит, я ласков! Вон и бабы наши обозвали раздевульем: ни на парня, мол, я не похож, ни на девку.

— А что же завсегда огрызаешься, коли не начну с тобой говорить?

— А что ты при людях-то пристаешь? Осудят! Ишь ведь у нас народ-то какой, особо бабы-то.

— Все такие! что народ? небось другие-то ребята не по-твоему — им трава не расти, и знать не знают, и ведать не ведают.

— Те ребята шустрей меня — сам знаю, они мне не указ.

— Да ты хоть не ругай меня, не лайся. Что все лаешься-то?

Девка хоть бы опять в слезы.

— Ну, ладно, ну, не стану, нишкни только!

Последнее объяснение приятно подействовало на парня. Он круто повернул дело и вот как рассуждает теперь об этом переломе.

— На село пришел к обедне. Народу гибель... ярманка стояла. Лавки открыты. В кармане двугривенный был, куплю, мол, ярмолию али платок, мол, Параньке. И то, мол, платок. А ярмолию-то, мол, и у Гараньки можно выпросить, коли надо будет. Взял да и купил платок, пятак еще сдачи дали. Баской платок купил. Когда отдал, обещала поцеловать за него, коли, мол, на задах встренемся да никто не увидит. И что это сталось такое? Совсем ведь девка-то на сердце увязалась; вовсе краше всех; а в платке-то бы и еще лучше себя-то самой. «Я, говорит, только по праздникам стану его надевать, а скажу, что сама купила». Во сне увидел Параньку: и шел бы я к ним в избу благословенья просить; ожениться, мол, захотел. Сто рублев давай, говорят, выводного: девка-то больно хороша, меньше-де взять нельзя. А где взять эки деньги; прошу посбавить: «Нет, говорят, и не ломайся,— мы не навязывали, сам пришел». Я так и так! — в слезы, да ручьем, да ручьем и заливаюсь. Опомнился — водой отливают, совсем одурел... Господи, прости, мол, великие мои прегрешения! Поутру встал да и рассказал матери. «Так, слышь, либо-де дождь, либо горе какое». А невестки-таки стоят на своем: «Недаром-де Па-

ранька раза по три забегает к нам, не спуста же девка все про Петрована проведывает; а прежь и глаз, бывало, не казала в избу. А тут вон и платок приносила показывать да хвалилась. И платок-то этот, смотри, не спроста...»

И подробно рисуются ему остальные сцены.

— Не ты ли, соколик, купил ей платок-от? — спрашивала мать.

— Пошто я ей куплю, сестра, что ли?..

— А на селе был, куды двугривенный-то дел: баял, гармонию купишь, а запрежь и все орехов приносил? с пустыми-то руками и домой не ходил,— подхватила старшая невестка.

— Двугривенный-то этот на дороге обронил, в орлянку играли, так и обронил,— хитрил было парень, но спохватился: — Да тебе что больно до моих-то денег заботы? знала бы лаялась с Матреной-то вот, а то, вишь, везде поспела. Что я тебе — сказывать, что ли, стану, куда деньги-то свои деваю, дожидай, как же!..

— Да что вы и впрямь, бабы, пристали к нему? — заговорил отец.— Благослови его, господи, коли стал входить в толк. Пора. На десяток-то восьмой никак годок доходить стал; так ли я говорю?

— Считай сам, батько: накануне вешнего Егорья родился, а теперь вон и Евдокеи на двор,— толковала мать.

— А вот что, Петрованушко! — заговорил отец снова и, пригорюнившись, пытливо глядел в лицо сына.— Семья у нас и без того большая; старуха хвора, да и сам-от я похилел, немогота одолела... Землицей нас мир обидел — сам ведаешь: отрезали почесть все песок для пожни-то, да и луга-то углом на свателовское болото вышли [8]. Хоть волком вой; говядинки-то вот с Рождества не видали. Ох, тяжело, Петрованушко, больно тяжело! И никак ты тут не приспособишься.

Старик, махнув рукой, приумолк.

— Как не тяжело? что и говорить, батько,— брат-то в осенях помер — одним радельником меньше стало. Лен не родился, и бабам нечего делать. Матушка все на лихоманку клеплет, и сам-от ты... как не тяжело! Накачались печали — видимо.

Старик отец, во все время речи сына, молчал и только подмахивал, как бы в такт, рукой и глубоко и тяжело вздыхал.

— Я, батюшко, хоть лоб ты взрежь, не приложу разуму, как бы нам тут изловчиться.

— Вот как смекаю, кормилец! По-моему, вот это как выходит. Начать с того, что брат Елисей, дядя, жил он в Питере долго. Я оженился на то время, ребят возвел, а он все жил... да стосковался, знать, по родине — приехал, да ведь и живет теперь, что твой господин али бы там бурмистр: все есть, все, что захочешь. Без самовара не встает и спать не ложится; шуба-то на нем не овчинная, а волчья. А и в купцы, бает, записаться можно, слышь, да не хочет. Опять же теперича, Петрованушко, и весь-то народ наш деревенский, все ведь в Питер потянулся. Поди-ко и ты — право! Что мы эдак-то будем?

— Коли твое благословенье, батюшко, будет — ладно: перечить не стану.

— Не неволю я тебя, Петрованушко. Подумай сам, своим толком размысли: плотницкая тебе работа, алибо что, не чужая какая. За то-

пор-то тебе браться — не учиться стать. Там есть наши ребята в подрядчиках... не откажут. Вон хоть бы взять Семена Торинского.

— Ладно, кормилец, смекаю, да и наших ребят-питерщиков поспрошу, как это у них там ведется.

И с этих пор носился он с мыслью о Питере, на который соблазнили его заезжие гости обилием работы во всякое время, а главное — хорошей платой и дешевизной в паю с ними. Задумываться тут было не над чем. Если все идут в столицу, то и Петруха не лыком шит.

Парень совсем согласился на дальнюю дорогу и сказал об этом отцу твердо и решительно. Отец сначала было начал колебаться,— и одобрял выбор нынешней же зимы, и именно ближние недели великого поста, и нет: советовал отправиться будущей зимою. Колебался старик между выбором и решил, по-сыновнему, не откладывать дела дальше поста — к тому же и попутчики под руками, а на будущую зиму будет ли еще кто из них, бог весть. С своей стороны, и парень остался тверд в исполнении намерения и только раз как будто поколебался немного, когда за несколько дней до отъезда встретил Параньку и увидал на глазах у ней слезы.

— О чем рюмишь, али кто разобидел?

— Нет, кому обидеть? Ты-то вот... слышала... ваша старшая невестка сама забегала... в Питер...

Она не могла говорить дальше, глотая слова и слезы.

— Ну, так что, что в Питер? приеду, небось не съедят там.

— Да ждать-то придется — может, и невесть что.

— Подождешь!.. это дело твое. И то дело — опять особое. То перво-наперво надо... а хныкать станешь, уйду. Сказал — терпеть не люблю ефтих слез самых.

Петруха последние слова выкрикнул громко, в сердцах.

— Не стану! вот те Христос, не стану! — могла только скоро проговорить девка и угодить парню.

— Ты уже не выдешь ли к кузницам? — робко спросила она его, немного помолчав.

— Пошто к кузницам?

— Выйдешь — так ладно, а не выйдешь — так как хошь, не неволю.

— Ладно, выйду. Да смотри опять невестка бы не заприметила.

— А ты будто топор понес показать, заклепку, мол, сделать.

— Ну, да ладно — ступай!

Вечером, во время деревенского сумерничанья, Петруха действительно был за кузницами и, конечно, нашел уже там Параньку. Она подала ему медное колечко и просила выслать из Питера другое, хоть такое же.

— На што мне колечко?

— Да возьми, дурашной, на память возьми. Там ведь, чай, всех поприЗабудешь — и меня...

— Опять реветь! сказал — уйду: слушайся!

— Как не реветь-то, Петрованушко?

— Не завтра еду, через неделю еду. Колечко-то на вот, возьми назад.

— Да, дурашной,— помнить станешь. Вот и Лукерья с кузнецовским Ондрюхой — так же; а приехал домой — оженились.

— Я жениться не хочу, возьми колечко-то!..

— Да что-то это, батюшки, родители мои! И не баженник [9] бы ты, а такой дурашной. Наши девки все ведь так, другие ребята запрежь покупают колечко-то; поносят с неделю и поменяются.

— Ладно, ну, давай сюда! Только мотри никому не сказывай, а то вон с платком-то пришла к нам в избу да и расчуфырилась, эка невидаль.

— Не скажу, Петруня, не скажу,— знай это. С камнем в воду кинут, гробовой доской накроют — не скажу, помру — не скажу...

— Что ты орешь-то, дура, услышат... Я пойду...

— Погоди! — поцелуемся!..

— Я, брат, боюсь с чужими-то целоваться, сейчас губы опрыснет, после и присекай кремнем. Я только со своими целуюсь, и то только в христов день... Погоди, может, под венец пойдем — тогда уж.

— А под венец-то пойдешь ты со мной?

— Что Питер скажет,— туда допрежь надо. А то батюшко благословенье обещал, да свадьбу играть нечем; погоди, разживусь через год... Ты смотри у меня, Параныка, молись за меня, я тебе бусы пришлю.

— Да поцелуемся, желанный, дорогой мой, поцелуемся, хоть раз-от. До свадьбы-то долго ждать.

— Отстань ты! сказал, не стану,— опрыснет, после присекать надо. Невестка заприметит — оговорит. Ты смотри у меня, с ней не водись, как волка бегай; язык у этой ехидной бабы острый, настоящее, значит, как бритва. От нее дальше — и меня не ссорь. Я смирен — боюсь осерчать...

— Повременил бы ты, Петрованушко, ехать-то, что зря-то?.. скоро больно. Только было начали мы с тобой женихаться — таково ладно: ты-то не серчал и я бы уж попривыкла.

— Нельзя временить. Ондрюха да Матюха торопят: «Собирай, слышь, всю путину; да скорей, ждать, мол, не станем; наше-де дело такое». Повременил бы. Нельзя! — И парень махнул рукой безнадежно.— Коли делать, по мне, так делать; а стал клянчить да ломаться — все из рук поплывет.

— Да что тебе больно Ондрюха-то да Матвей-от дались? Будто уж на них-то и мир клином сошелся.

— Как порешили — так, стало, и будет. Одно надо понимать: кабы вмоготу, и один бы, вестимо, доехал.

И он опять безнадежно махнул рукой.

— Ты, Петрованушко, хоть бы в экую пору выходил бы сюда, нагляделась бы я на тебя вдосталь, налюбовалась бы.

И сдерживаемые насильно слезы, найдя свободный доступ теперь, полились обильно и опять рассердили парня.

— Я, брат, плакать не стану по-твоему, а коли станешь эдак... и ходить сюда не буду... Прости, пора никак. Наши, чай, поднялись — ждут. Сумку шью.

«В избу пришел,— думал парень,— и никто не узнал; батюшко

только спросил: что, мол, совсем-де поладил с ребятами-то? Совсем-де, батюшко. А остаться не думал, наглядеться-то на тебя подольше не соблаговолишь? Эх, пропадай, мол, моя голова! куды кривая не вывезет. Совсем, мол, батюшко, порешил ехать, вот те грудь и сердце: благослови!»

— Что ты, парень, толкаешься-то? да под самое сердце попал, насилу отдышался. Аль заснился Петруха, а Петруха?.. бредил словно бы... Петруха, слышь!.. — раздался неожиданный голос над ухом, разогнавший все мечты и думы парня, потому что этот голос был голос одного из его дорожных спутников.

Парень не заметил за собой, как последние слова безнадежной решимости произнес он вслух и, увлекшись недавней живой картиной, махал даже руками, и в последний раз так сильно, что задел за спавшего спутника.

Этот последний, проснувшись, будил товарища, на том основании, что впереди на дороге виднелись уже черные, старые избы, скучившиеся в одно место, и между ними белелась большая каменная церковь. За церковью ряд черных изб потянулся вдоль на целую версту; сперва перед въездом виднелись кресты кладбищенские, далеко влево бежала в село почтовая столбовая дорога. Начались бани, за ними избушки и избы: одна совсем развалившаяся, другие новые и большие. Одна совсем покривилась и чуть не вросла в землю со своим сгнившим крылечком, которое вело к загрязненной, захватанной двери. Над дверью красовалась высохшая елка, а внизу известная надпись гражданскими буквами для грамотных.

— Тпру! — закричал тот, который прежде других проснулся, и растолкал товарища и ямщика, напомнив обоим, что приехали в Вожерово.

— Тпру! — кричал он и ухватился за вожжи.

— Проехать эко место!.. аль не привычны? Надо же ведь отвальную-то запить — иззябли совсем...

Путешественники полезли из саней.

— А что ж ты-то, Петруха, пойдем! — посогреемся.

— Спасибо, неохота!..

— Аль не пьешь?

— Не начинал еще, братцы: претит.

— В Питере, брат, научишься; там без того нельзя — да и на такой же промысел едешь. Хоть пивка али медку? небось, заплатим.

— И не просите,— не стану!.. негожó.

— Твоя воля, как сам знаешь, не неволим! Была бы честь приложена, а от убытков бог избави.

— Губа толще — брюхо тоньше! — приговаривали товарищи Петрухи, направляясь в заветную дверь, у которой и бог весть сколько раз переменялись петли.

Домишко этот совсем развалится; откуп живо — в неделю — выстроит новый на том же самом месте, и мужичок останется верен до гробовой доски и новому питейному, как был верен старому. Идет он в него по-прежнему, так же охотно, сохраняя в уме то убеждение и род поверья, что «как кабаку ни гнить, как ни гореть: от ови-

нов ли или от какой другой беды,— а стоять ему скоро опять на старом месте. Словно место это клятое! А из старого леса только и можно жечь, что в одном кабаке, в другой избе нельзя, не ладно».

Путники наши медленно, мучительно медленно подвигались вперед, благодаря разбитым ногам рабочих кляч, которых нанимали они под себя за баснословно дешевую цену.

Вот они в Москве — пришли на чугунку, которая возит рабочих людей за три рубля в двое суток. Здесь новичок получил от бывалых людей, спутников, кой-какие наставления, вроде следующих:

— Вынь пачпорт и держи в руках! Становись за рогатку гуськом и жди череду! Деньги тоже в руки возьми; здесь — деньги вперед берут. Да смотри крепче держи деньги-то — народ здесь столичной: зазеваешься — не дадут маху. А подошел к окну: «В Петенбург, мол,— вот пачпорт и деньги!» Возьмешь билет и ступай в сторонку и жди нас — подойдем, покажем дальше.

— Здесь ведь во всем порядки. Зевать учнешь — отяпают так, что и жизни не рад будешь. Ну, с богом!..

— Упрись же, Петруха, упрись покрепче, придерживай-ко вперед, к окну-то поближе, а то ночевать придется! Понатужься, Петруха, посильней, вот так!.. упрись еще, упрись...— поощрял наставник новичка, который рад был, при таком удобном случае, порасправить косточки и показать свою доморощенную силку.

Рогатка затрещала. Напиравший народ волной повалился к стене, волнение замечено солдатом-жандармом.

— Ты что это, капусная борода, лезешь-то? черед на то есть! Что толкаешь-то?

— А не мы, ваше благородье, сзади прут! — оправдывался ловкий питерщик и перестал напирать.

— То-то — не мы! Что толкаетесь-то, вы, сиволапые! — обратился солдат уже к задним, но оттуда слышались голоса:

— Да ты бы наперед-то смотрел; ведь это вон тот-то, что на нас указал, он подущает. Вон смотри, как впереди земляк-от его месит.

И в самую живую, задорную минуту своей разгулявшейся храбрости новичок Петруха получил приличное награждение; но билет взял-таки и сидел вскоре в вагоне, который перед отъездом затворили огромными дверьми и засунули тяжелым засовом. Сделался мрак; слабый свет проникал только сверху. Чтобы добиться вперед, нужно было сзади лезть через ноги и головы, через ряд многих скамеек, ежеминутно оступаясь и получая пинки и ругательства. Но Петруха добился, несмотря ни на что, и смотрел не насматривался на медную силу, которая волокла их паром до Питера. К услугам его предлагались сбитень, квас, пироги с творогом, выносимые из ближних деревень, но Петруха купил — и закаялся: на все стоят дорогие цены, каких он не слыхивал и даже во сне не видывал.

Машина стучала, визжала. Вагон мгновенно наполнялся теплотой, когда его запирали засовами, и мгновенно выветривался, до морозной температуры окрестного поля, когда засов вынимали и отворя-

ли двери на станции. Петруха забился под лавку на пол (на лавке спать нет никакой возможности),— и спал мертвым сном до самого почти Петербурга.

Не удивил Петербург своим чудным видом с дороги этот товарный поезд. Живым существам, находящимся на нем, суждено было любоваться в последний раз спинами своих соседей, которые, может быть, уже и порядочно надоели друг другу, и только слышать, как машина яростно и пронзительно завыла, перестала на время, опять завыла, опять перестала. В вагоне сделалось темно, машина крикнула раза три, и так безнадежно, что на лица всех пассажиров нагнала веселую улыбку. Посыпались кое-какие остроты, вроде известных: «Устала кормилка — оттого и взвыла»; «Скоро кормить станут, а потом попоят, да и опять...»; «Тпру!».

Но вот машина пошла все тише и тише; загремели цепи, поезд бесцеремонно и сильно дернуло назад. Пассажиры покачнулись и чуть устояли на ногах. Загремел засов, заскрипели двери — и «милости просим, дорогие гости, полюбоваться на красавец Питер, с его широкими прямыми улицами, страшно высокими домами, которые изумляют даже москвича и приводят в ужас и благоговение деревенского жителя!».

Что станется с Петрухой дальше, а пока на сердце у него накипело много: и сомнение, и безнадежность, и маленькая искра надежды — все это перепуталось вместе с дорожной ломкой, и все это до того отуманило его, что он разинул рот и совсем растерялся.

— Ступай спрашивать Сенную, там большой, в четыре этажа, дом угловой (хозяина забыл). Спрашивай плотников, там и своих галицких найдешь. В одном доме с ними и Семен Торинской живет... Ступай теперь все прямо, все прямо... там налево и опять все прямо... там спросишь — укажут. Спрашивай только Сенную, а пока прости,— толковали новичку его недавние спутники.

— Да коли надумаешь к нам, спроси — там наши знают, заходи,— говорили они ему уже взад.

Нетрудно узнать заезжего молодца, который брошен в огромный город — Петербург, без указателей и проводника: он робок, взгляд его не может остановиться на одном предмете и бросается с одного края улицы на другой. Он часто останавливается перед громадным зданием и один, молча, про себя, дивится им и любуется иногда подолгу. И если проходящий шутник толкнет его, он не ответит грубостью, он боится даже обидеться, думая, что так, стало, нужно, и пугливым взглядом проводит обидчика. Идет новичок тихо, улицы перейти боится и, часто перебегая, приноравливает прямо на лошадь. Он изумлен, озадачен донельзя невиданными диковинками, какие попадаются ему на каждом шагу: тут все ново, и решительно ничего, ни капли нет похожего на родную деревню, даже на ближний уездный город, даже на губернию. Плетется он медленно, вперевалку, за всякого задевает и всякого толкает. Перед иными останавливается и раскрывает рот, чтоб спросить: где живет Семен Торинской и это ли Сенная? Пока он приготовляется — все бежит мимо и не обращает на него ни малейшего внимания. Досужие саешники, даже и те

отвечают ему грубо и не удовлетворяют его. Везде так неприветливо, все несловоохотны, заняты делом. Вспоминается ему тут же, как ему самому удавалось удовлетворять любопытству и прохожих, и проезжих и даже высчитать число гон, или верст, от деревни до деревни, и рад он был с досужим человеком целый день прокалякать. Не может понять новичок, отчего его не хотят не только слушать, но даже и говорить с ним.

Опять он медленно подвигается вперед своим развалистым шагом, в своей синей суконной шапке, до последнего нельзя набитой пухом, в своих измызганных лаптишках, со своей кожаной котомкой и лыковой плетушкой за плечами, и опять он толкает всякого встречного и толкают его самого. Плаксиво и робко смотрит он на всех, как бы стыдится и боится за себя, что осмелился попасть в такой важный город. Уже на ночлеге ему живо и ясно припомнится родная деревня и он горько-горько, хоть и украдкой, всплачет об ней, но покорится злой участи.

Теперь же он идет все прямо, по указанию какого-то доброго человека, которого он готов уважать в эту минуту не меньше отца родного.

— Ну, спасибо, пошли тебе господи милость божию! а то хоть живой зарывайся — совсем запутаешься. Эка деревня, господи, и не видывал!

III

АРТЕЛЬ

Семен Торинский — в настоящее время вся надежда Петрухи и семьи его — принадлежал к числу тех людей, которые из бедного простого мужика-наемщика, благодаря своей русской сметке и толковитости, мало-помалу переходят в завидное положение хозяина, когда они раздают уже милости и ставят других, себе подобных, в безусловную зависимость и подчинение. Пришел он (давно когда-то) в Петербург таким же, как Петруха, и с тою же положительною целью — попытаться добиться в столице счастья. Счастье это сначала не находило его, и Семен Торинский был простым плотником. Толк его вскоре замечен был хозяином-подрядчиком, и приезжий плотник назначен уставщиком, и в то же время, по общему согласию артели, выбран был в артельные, и на честность его положились все сотоварищи. Топор, с этих пор, он уже редко брал в руки: его заменил аршин и кулечек, в который укладывалась артельная провизия. Семен имел дело с мелочными торговцами и приблизился в сношениях своих к подрядчику. Подрядчик делал распоряжения, Семен спешил приводить их в исполнение, имея, таким образом, ежедневный, едва ли не ежечасный, случай угодить хозяину, потрафить на его милость, говоря их же собственным выражением. От хозяина-подрядчика зависит многое в судьбе его подчиненных, и особенно в судьбе артельного. Счастье последнего, если он попадет к богатому, доверенному подрядчику, который снимает подрядов много. Не удивительно,

что один из таких подрядов (поменьше и не так выгодный) он легко может передать своему честному помощнику-артельному и уполномочить его на все доходы и остатки. От уменья, сметки и сноровки молодого подрядчика зависит пробить себе трудную дорогу к доверию и будущим работам на себя, независимо. И вот почему всякий молодой подрядчик льстив, угодлив до последней степени, низкопоклонен, даже велеречив и остроумен по-своему. Таких людей любят строители, и постоянное сниманье шапки чистенько одетого человека при всех, на улице, считают они за вежливость, должное уважение к своей личности и всегда помнят о них при начале новых построек, приглашают их и во всем на них полагаются. От такого рода подрядчика зависит только спешить обставить себя поприличнее: бросить мужицкие деревенские привычки и помаленьку привыкать к обычаям торговцев средней руки, чтоб и самому в некотором роде разыгрывать роль купца с капитальцем. Тогда со стороны подчиненных, по непреложному закону природы, и доверия к ним, и уважения оказывается гораздо больше и к имени его, вместо прозвища по деревне или по какому-либо физическому недостатку, присоединяется, с должным уважением, величанье по батюшке.

То же самое случилось и с Семеном Торинским — толковым, сметливым, угодливым.

Он превратился в Семена Ивановича, сшил себе до пят синюю суконную сибирку, завел пестрый бархатный жилет, шляпу, хотя и порыжелую, но все-таки пуховую и круглую, часы серебряные луковицей, при длинной бисерной цепочке; на руки счел за нужное натягивать перчатки, сначала нитяные, а потом и замшевые. Бороду он оставил в прежнем виде и только круглил ее, подстригая снизу; волоса носил также по-русски и до конца жизни решился быть верным старым обычаям.

Квартиру из трех комнат снял он прямо от домового хозяина и убрал приличною и прочною мебелью и вслед же за этим имел удовольствие принимать в новой квартире свою сожительницу, которую поспешил выписать из деревни. Не без особенной досады и неудовольствия увидел он, что хозяйка его совсем *болезная* деревенская баба, которая далеко не умела соображаться со столичными обычаями, была болтлива, бестолкова, любила сбирать в лавочке все квартирные дрязги и приносить ему, несмотря на строгий приказ оставлять про себя и не беспокоить его. Вследствие недовольства женой и отчасти самим собой, Семен Иванович рассчитал кухарку, которую приналял было для того, чтобы сожительница понежилась вдоволь и отдохнула бы от деревенских работ, как подрядчица. Разузнавши же теперь, что она не рождена для столицы, низвел едва ли не до простого звания кухарки, подчинив ее досужеству всю кухню: ухват и веник, горшок и ведра. Заклявшись держать ее вне своих интересов, он не делился с нею никакими секретными планами и предположениями. Только по праздникам наряжал он ее в немецкое платье, с трудом отучив от сарафана и повойника. Последний заменила баба шелковою зеленою косынкою, которая обматывалась кругом головы, наподобие колпака, и на самом лбу завязывалась маленьким узелком, из которого торчали

коротенькие кончики. В ушах у ней всегда были серьги, по праздникам с жемчужными подвесками; на руках серебряные кольца, которых у самого Семена Ивановича было на пальцах едва ли не больше десятка.

Вырядившись чистенько и прилично, подрядчик с подрядчицею любил пройтись в церковь, оттуда зайти к доброму земляку одинакового с ним веса и значения, где неимоверно много выпивалось кофею, еще больше того решалось коммерческих вопросов. Составлялась закуска, приносился праздничный пирог, даже кильки и бутылка дешевенького шиттовского хересу. Любил тем же поклониться и поважить земляка и сам Семен Иванович в другое время, на следующий праздник, и на самом деле приводил в исполнение известную поговорку: «костромици, в куцу, галицане, в куцу, ярославцы, проць!» На основании этого правила и Петруха отыскивал его, и отыскали и не ошиблись, еще прежде Петрухи, не один десяток земляков Семена Ивановича, Герасима Степаныча, Ивана Парамоныча. Здесь всегда рука руку моет — и в трактире, где если один романовец, то уже и все романовцы, в колбасной лавке хозяин из Углича, то и повар его, и приказчики, и мальчишки углицкие. В галицкой же плотничьей артели перепутались и галицкие, и костромские, и кологривские, и чухломские, и галицкая эта артель потому только, что галицких плотников больше числом.

Семен Иванович сидел и писал обглоданным пером из заплесневелой чернильницы на клочке порядочно засаленной бумаги (будучи плохим грамотеем, чуть ли даже не самоучкой, он любил и обстановку подобного же рода и некоторую чистоту и опрятность не считал делом важным, имеющим какой-либо смысл и значение). Комната, в которой сидел Семен Иванович и которая на языке его жены имела название «хозяйской» в отличие от другой, отделенной перегородкой и называвшейся просто спальней, вся до последнего нельзя набита мебелью, сделанной хотя и аляповато, но прочно и плотно. Подушки на диване и стульях были набиты едва ли не булыжником и обтянуты клеенкой, во многих местах уже обтершейся. Над диваном висели два портрета, писанные масляными красками и принадлежавшие к числу тех портретов, которые имеют поползновение быть решительно не похожими на тех, кого хотел изобразить самоучка-маляр чухломец. По обилию перстней на руках, по сибирке и пестрому жилету, наконец, по бороде еще можно было заподозрить, что один портрет был писан с Семена Ивановича и другой с жены его, на котором торчало кривоготое, кривоглазое лицо без малейшего намека на что-либо человеческое, увенчанное косынкой с заветным узелком на лбу. У Семена Ивановича в руках был розан, жена его просто подобрала свои руки, сложила их на грудь и съежила губы, как бы давая зарок хранить вечное гробовое молчание.

Остальная комнатная мебель была обыкновенная: зеркало, втрое и в ширину увеличивающее лицо, высокий комод, бедно покрашенный красной краской, сложенный ломберный стол с выгнившим сукном и покоробившейся половинкой крышки и с поломанными двумя задними ножками. Вообще комнату подрядчика с первого раза

можно было назвать квартирою какого-нибудь переписчика-труженика, по двугривенному за лист перебеляющего всякое писанье, самое неразборчивое и самое безграмотное, переписчика, просиживающего за своей работой всегда далеко за полночь, робкого, стыдливого и почти всегда презираемого своим *давальщиком;* наконец, даже можно назвать квартирою старого, опытного, закаленного в своем деле журнального корректора, сквозь голову которого прошла бездна живых, свежих мыслей, не оставивших ни малейшего следа, кроме твердого машинального знания корректурных знаков и привычки сейчас же приниматься за корректурный лист и кончать и отсылать его в типографию. Только рубанок под диваном, пила и даже, может быть, топор обличают в хозяине скромной, но чистенькой квартирки плотничьего подрядчика, который — надо сказать кстати и к чести его — не брезгает и умственными занятиями: под резною позлащенною киотою с образом Воскресения и другими, маленькими, на маленьком круглом столе, рядом с вербой, лежат три-четыре книги духовного содержания в кожаном переплете и в папке — толстые московские святцы с историею об Артамоне Сергеевиче Матвееве [10] и описаниями всех всероссийских монастырей и пустынь. На комоде валялась даже «светская книга»: «Похождения прекрасной Анжелики с двумя удальцами, перевод с французского».

Семен Иванович сидел за счетами в халате, с дешевенькой сигаркой во рту, сигаркой сомнительного цвета и удушающего запаха (а нельзя подрядчику без сигарки — таков закон и обычай), когда в комнату вошла его жена, сейчас только бросившая стряпню.

— Сколько раз я вам говорил, Окулина Артамоновна, чтобы обряжались вы по-христиански; фартук бы надели, а то что, с позволения сказать, этаким-то неряшеством украшаешься?..

— Ну, вот, батько, опять облаял, и забыла, зачем пришла-то: словно пришиб кто, запамятовала.

— Да вы бы лучше мне в таком разрушении и не казались. Ведь здесь, мать моя, столиция, государство,— не деревня какая.

— Ладно — ну ладно, батько, который раз слышу?.. а зачем пришла-то — забыла: убей — не вспомню.

— Ступай опомнись: приди в забвение.

И Семен Иванович, тем досадно-насмешливым взглядом, которым только и смотрят взад человека неприятного, посмотрел на удалявшуюся в кухню сожительницу.

Кстати сказать, что Семен Иванович, как обжившийся питерщик и к тому же ломавший из себя купца, любил ввернуть в обыденную, простую речь книжные и даже иностранные слова, вовсе не понимая их настоящего смысла, но самодовольно гордясь завидным преимуществом столичного человека и притом грамотного. До изумительного правдоподобия справедлив тот анекдот, в котором пьяного «кавалера службы военной», выпившего на счет гулявших в трактире и за спасибо ударившего, без видимой причины, по лицу одного из них, хозяева просили «отставить эфти куплеты и быть без консисторий». Особенно резко щеголяют этим недостатком петербургские

люди средней руки, вроде Семенов Ивановичей — подрядчиков, мелочных лавочников, апраксинцев, артельщиков и проч.

Хозяйка Семена Ивановича не оставила-таки его в покое и вошла опять, но все же, по-прежнему, без фартука и в том же растрепанном виде.

— Что еще? — спросил он ее.

— Да вспомнила, батько! переварки-то у меня готовы — велишь, что ли, кофею-то засыпать?

— Законное дело! а сливок-то приобрела?

— Ну, батько, когда еще? Не успела сбегать. Даве ходила два раза — запамятовала... Да там тебя какой-то молодец еще спрашивает.

— Какой такой?

— Сказывает: с письмом; из деревни, мол,— из соседских.

— Позови сюда, что ему надо? Да там есть ли обо что обтереть ему ноги-то, а то нагрязнит — а на тебя плохая надежда, все в беспамятстве. Есть ли рогожка-то?

— С коих пор лежит, как не быть? — и не трогивала, целехонька.

— Ну, позови. Да спроси, как зовут.

Вскоре затем тихонько отворилась дверь в «хозяйскую» Семена Ивановича и из кухни вылез в нее Петруха, который, робко взглянув на подрядчика, низко, в пояс, поклонился ему.

— Здорово, молодец! — сказал Семен Иванович.

Парень подвинулся было вперед, вероятно, с намерением поцеловаться, но хозяин сделал движение рукой, примолвил: «Не надо!.. и так хороши!»

Парень остался на прежнем месте и опять робко, но все-таки в пояс поклонился.

— Ты от кого? — неласково спросил опять подрядчик.

— Да все из ваших же, из галицких... из Судомойки. Коли знал Артемья — Совой зовут,— сынок я его, дядя Семен!

— Что ж тебе надо?

— Письмо тебе привез от ваших; крепко-накрепко наказывали самому тебе отдать в руки: вишь, ты им вольную обещал справить, ждут, так...

— Ну, хорошо, хорошо, знаем! — перебил Семен Иванович парня.

Но тот, видимо собравшись с духом и сделавшись похрабрее и пооглядевшись, продолжал передавать наказы:

— Домашние тебе поклон велели низкой справить. Да тетка Лукерья попенять велела, что ты с лета ни единого письма не написал. Больно, вишь, они маются-то.

— Знаю, знаю! — перебивал было Семен Иванович, но парень стоял на своем:

— Вишь, овин новый к лету-то ставить хотят; навес на дворе перестилают; полы, слышь, погнили; да и избу-то, мол, новую зауряд перестроить: ты, слышь, подрядчик.

— Все это так, братец ты мой! — опять перебил его подрядчик.— Что же тебе-то надо?

— Да, вишь, поклон велели справить, письмо тебе крепко-накрепко в руки отдать — да поклониться: не надобен ли?

Малому поперхнулось, он закашлял в рукав и в то же время неловко, но опять поклонился в пояс.

Хозяин в это время кликнул жену; спросил, готово ли у ней все, и велел тотчас же накормить парня, а сам занялся в это время чтением письма и соображениями.

— Поешь-ко вот, кормилец, похлебочки-то: вечор с говядиной была. Сам-от велит супом звать, а по мне — похлебка она, так похлебка и есть. Да как тебя звать-то? что-то я тебя ровно бы совсем не знаю...

— Петром зовут, да как, чай, не знать, тетка Онисья? судомойковские ведь... Есть ли, полно, до вашей-то версты четыре?

— Чей же ты — судомойковской?

— А Сычов.

— Ну, да как, батько, не знать? С матерью-то твоей в сватовстве еще, по покойнику, по Демиду Калистратычу. Он-то ведь мне деверь был, а у матери-то твоей сватом шел, за батькой-то за твоим. Артемьем, кажись, и звать батьку-то твоего.

Петруха ожил. Словно в деревенскую семью попал. Он и ел, против ожидания, с охотой, и словоохотливо удовлетворял вопросам тетки Онисьи:

— Все ли здоровы наши-то, Петрованушко? Чай, бабушка Федосья куды плоха стала?

— Одно только толокно и ест и с печи не слезает.

— Так, батюшко, так; завсегда хворая и запрежь была. Овин-то новый у них?

— Все тот же. Наказывали дяде-то Семену поклониться — не пришлет ли, мол, пособьица?

— Ну, от него не дождешься, батько! Такой-то стал крутой! — И все лается ни зря ни походя! Совсем стал чуфарой [11].

Это немного озадачило парня.

— Да ты зачем к нему-то, места, что ли, просишь?

— Это бы дело-то, правду сказать, да не знаю, возьмет ли? Вишь, он...

— Возьмет, батько, для ча не взять? Наших, галицких, пытает ходить к нему: всех берет.

— То-то, кабы взял, я бы за него вечно бога молил.

— Возьмет, для ча?..

— Войди, молодец! — раздался хозяйский голос из соседней комнаты.— Вот, вишь, парень, какая канитель идет: пишут взять тебя...

— Возьми, дядя Семен, яви божескую милость...

— Так опять-таки обряды-то наши такие: местов-то, молодец, нет.

— Найди, дядя Семен, яви ты... Христа ради!..

Парень хоть бы в ноги готов был поклониться: у него уже опять заскребло на сердце и опять увязалось чувство безнадежности.

— Народу-то, вишь, молодец, нашло много, а работа-то наша,

плотницкая, совсем плоха: дома-то, вишь, все каменные — так только полы да потолки и настилаем нынешним временем. Вон одна у меня артель забор около казенного дома ушла строить, а другая на Неве сваи вколачивает,— там и я в паю, не один.

Петруха не нашелся, что отвечать на это, и только бессознательно поклонился.

Хозяин опять начал:

— Да тебе во вразумление ли эта работа-то? не зря ли пришел, как много ваших ходит? Умеешь ли ты плотничать-то?

— Как не уметь, дядя Семен: не пришел бы.

— А строил ли что?

— Ну, да как не строить: в Вихляеве три овина сколотили, баню вашему — торинскому — соцкому. Хотел к твоим подрядиться — и брали, да, вишь, ждут твоей милости.

— В чьей же ты артели ходил?

— Да с Максимом Матвеевским: зимусь с ним у испидитора целый дом и со службами поставили. Славной такой дом-от вышел: лес хрушкой, не нахвалится.

— Твоя-то работа какая же была?

— Да всякая, какую укажут. Я, признательно сказать, все больше коло косяков да дверей; и рамы сколачивал, и чисто производил...

— Здесь, брат, и двери, и косяки все столярной работы; наша плотничья совсем, говорю тебе, плохо идет.

— Так! — только и нашелся ответить Петруха.

Хозяин подумал немного, пристально посмотрев на парня:

— Ладно! — говорит.— Зайди завтра эдак в вечерни... али поутру пораньше — тогда уж и порешим. Я похлопочу, постараюсь, сделаю, что во власти.

— Как тебе не во власти, дядя Семен? яви ты божескую милость! Не в деревню же опять, христовым именем. Я тебе по гроб плательщик.

По уходе земляка и соседа, которого и узнал Семен Иванович, но почему-то не соблаговолил признаться и приласкать его, он в тот же вечер, однако, собрался и ушел куда-то надолго. Чаю он дома не пил, а пил его в одном из множества столичных «заведений», с двумя другими подрядчиками.

Началось дело с того, что потребовали газету, потолковали, но Семен Иванович, разливавший чай, как хозяин и пригласивший других, мало вмешивался в разговор и отвечал односложно и не с такою толковистостью, как всегда делал прежде. Один из гостей начал было интересный рассказ, чтобы поддержать беседу:

— Теперича будем говорить вот какими резонами: сколько, значит, раз Касьян в году бывает, по святцам?

Ответу на вопрос, несколько щекотливый, со стороны двух других собеседников не последовало. За них ответил сам спрашивающий:

— Касьян этот самый бывает, через три года на четвертый, один раз. И этот самый год теперича, Касьянов, бывает что ни есть самый тяжелый: на хлеб червь нападает; этот теперича самый червь и деревья гложет, и весь лист точит. На скотину идет божие попущение —

падеж, выходит. На небеси знамения: это Каин и Авель. И каково есть большая эта самая планида луна, то вся она обливается кровью. Леса горят, бури это...

Разговор на том и кончился и привел Семена Ивановича к тому заключению, что пора уже и приступить к делу: он налил пустые чашечки чаем; опять потребовал меду и изюму (подрядчики не пьют с сахаром в великий пост); крякнул Семен Иванович, оправился и начал без обиняков, прямо:

— Не надо ли, братцы, молодца кому? А у меня есть важный и к плотницкому делу приспособлен — соседский еще вдобавок, и деревни наши почесть с поля на поле. Чистую работу знает. Пришел ко мне прямо и всплакался: «Помоги-де!» Ну, отчего, мол, не помочь? Ступай, мол, молись богу, а я скажу благоприятелям, припрошу их за тебя. Тебе, Евдоким Спиридоныч?

— Песок пересыпать,— у меня больше работ в навидности никаких нет, да и та поденная.

— Зачем, опять же, поденная? Этому парню такую не надо, такая-то и у меня есть — в пильщиках, да что?.. это не такой: свои просили, ну, и сам такой толковитый. Прямо, братец, ко мне пришел.

— Нет, благодарим, Семен Иваныч, и рад бы, не надо.

— А тебе, Трифон Еремеич?

— Да молодой?

— Слышь — только в силу вошел: укладистый такой, на вот! сыромятный ремень перервет, кажись.

— Так. Холостой али женатой?

— Тебе-то больно что — не все-то едино?

— Ну, да как тебе сказать, Семен Иваныч, не все-то едино, что хлеб, что мякина. Женатой-то, не что холостой,— дороже стоит.

— Я это, Трифон Еремеич, не рассуждаю.

— Надо. И тут имей, значит, сообразность, а потому и для тебя резонов из того выходит больше.

— Воля твоя... — Семен Иваныч при этом покрутил головой,— а я этого самого не понимаю.

— Надо. И малая рыбка завсегда лучше большого таракана — не нами сказано. Ты, коли норовишь по закону, ты и должен брать больше всех. Так ли небось?

— Это не в сумнении; это сущее, значит, обстоятельство...

— То-то. Так женатой?

— Нет, холостой.

— Что же, ты-то входил уж с ним в уряд: уступочка мне будет?

— В уряд-то я не входил, а расспросил только...

— Так, стало, мне придется? Дело! Что ж, он к тебе зайдет, что ли?

— К себе велел.

— Присылай! Работнику рады... ну, да нет: я лучше забреду к тебе сам. В вечерни, что ли?

— Может, утром...

— Ну, да ладно; как сам знаешь, так и делай,— присылай, присылай.

Трифон Еремеич нетерпеливо заворочался на стуле, выглядывая глазами полового.

— Молодец, ты, почтенный! как тебя звать-то?

— Васильем.

— Так, брат ты мой, Василий, вели селяночки рыбной, с осетринкой.

— Слушаю-с.

— Да постой, постой!

— Еще что не прикажете ли?

— Дай горькой графинчик, да побольше; закусочки — сухариков али — уж что тут! — давай пирогов маленьких.

Как бы то ни было, но участь Петра Артемьева решена; он не уйдет обратно в деревню. Завтра же его запишут в артель, отберут паспорт для прописки в квартале, дадут топор, долото, сапоги, если захочет,— все на артельные деньги, которые вычтутся при месячной уплате. Если у него остались деньги от дороги, то он обязан отдать их в артельную если не все, то возможную часть, потому что артель будет кормить его завтраком, обедом и ужином на другой же день.

Артель для него теперь заменяет родную деревню и напоминает ее живо, потому что в это общество не заползают столичные обычаи. По-деревенскому: артель спит немного, но зато крепко и в сытость; артель ест часто и много и — нужно отдать ей справедливость — всегда хорошо и чисто приготовленное: говядина у ней недавнего боя, пшено не затхлое, хлеб от хлебника по заказу, и, следовательно, всегда из свежей муки. Артель дружна и крепка: обидеть одного — заставить мстить всех; тайн здесь ни у кого нет — все по-деревенски, попросту, нараспашку: домашние письма читаются вслух, при всех, и желающие могут приходить, слушать, давать советы. Захворает кто — артельный объявляет хозяину, и артель везет больного на общие деньги в больницу; умрет больной — и в могилу провожают его на артельные же деньги, и на них же один раз совершают панихиду. В большие праздники, а нередко и по воскресеньям у порядочной артели на столе — ведро или полведра вина, смотря по количеству паевщиков. В некоторых даже бывали трубки артельные, но всегда и во всех собака и кот, вечно сытые и раскормленные до последних пределов.

С ранним светом дня, с топорами за поясом, пилами, рубанками, скребками, бурачками, плотники плетутся на урок. При спешной работе завтракают там, но всегда обедают на квартире в ранний полдень. Шабашное время отдыха у них коротко, плотник отдыхает на переходах; вечерняя работа продолжается до сумерек, когда всякий петербургский житель может встретить около Сенной (плотники почему-то особенно полюбили это место) целую ораву таких молодцов, крайне разговорчивых на своем так называемом суздальском наречии (плотник из губернии к югу от Москвы замечательная редкость). У всех под мышками щепы: у одних побольше, у других поменьше; бойкий и загребистый не прочь захватить целый кряж, если только под силу дотащить его до квартиры. Щепы эти важны в домашней экономии плотничьей артели, которая никогда не покупает дров.

Щепами отопляет она квартиру, на щепах же готовится артельная пища, для чего всегда бывает нанята кухарка на артельные деньги. На обязанности дневального — чередового — сходить в лавочку за квасом, зайти по пути к хлебопеку; потому-то дневальный в свой день не берет топора в руки, прибирая квартиру, нары и проч. Он же носит и завтрак на работу, когда потребуют того обстоятельства.

Работают плотники весело, посреди шуток и доморощенных острот, вроде следующих:

— Кто это косяки-то прилаживал? — спросил один.

— Кологривских два парня! — отвечают.

— То-то, гляжу, работа дворянская — завсегда поправлять после них надо.

— Ты что это больно распелся, парень?

— Да, вишь, бабушка померла, так выть до смерти наказала ему.

— Петруха, подпояшься, а то, вишь, и рубанок что-то не скоро ходит.

— Эх, кабы сковороду яишницы мне теперь да водки, выпил бы и закусил.

— Ну, выпей кваску да закуси бородой! — и т. д. и т. п.

А между тем работа подвигается вперед. Приносят завтрак, и за завтраком те же остроты и прибаутки, до тех пор, пока не крикнет урядник:

— Ну, баста!.. Будет с семиовчинным-то возиться, пора и за работу приниматься!..

Опять начинается стук топора, свист пилы, визг рубанка вперемежку с песней, затянутой где-нибудь вверху, на стропилах, и подхваченной и под полом, и во всех четырех углах нового дома.

Артельный — атаман, глава артели, выборный по общему согласию, он на работе уставщик и указчик, дома — эконом, закупающий провизию, следовательно, ему за топор и рубанок браться уже решительно некогда, если только не приспичит задор и похвальба перед насмешками бойких паевщиков. Он ставит треугольник, прилаживает равновесок — гирьку, щелкает намеленной ниткой и отвечает перед подрядчиком за всякий кривой косяк, за всякую выпятившуюся половицу, за неровный бут и настилку. В праздник плотники, сверх артельной водки, любят побаловать себя и наверхсыта: день гулевой и залишние деньги случаются, а добрый благоприятель под рукой. Плотники никогда не напиваются в одиночку, но опять-таки всегда артелью, хотя иногда меньшей числом и объемом. И потому куча пьяных, ругающихся перед кабаком мужиков всегда и непременно из одной какой-нибудь ближней артели плотников. Они всегда толкутся и считаются между собой, упрекая себя только в том разве, что один отказался раз распить с ним косушку, другой — хотел его обидеть, но когда и за что? — неизвестно.

От них не услышите брани на хозяев, без чего ни за что не обойдется пьяный маляр, портной, сапожник... Эти не прочь задеть и обидеть встречного; плотник никогда не решится на это: он или орет в полпивной, или, налаживая нескладную песню, ковыляет по панели

на свои нары — и, таким образом, спит всегда дома и никогда не ночует в части. Если бы и случился такой грех, что один, отшатнувшись от компании, попал в ночлег на съезжую, то артель не замедлит отрядить на хлопоты... Артель этого не терпит, в артели каждый работник дорог и в рабочую пору ежечасно нужен.

Каждый почти год артель принимает новых паевщиков, отпускает старых, но всегда, верная старине, живет одним толком, тесно и неразрывно. Нередко случались такие годы, что подрядчики не нуждались в целой артели и хотели брать поодиночке, артель не соглашалась, приходила на биржу, решаясь даже на поденную, ломовую работу, но и тут: «бери их всех, порознь не пойдут — не рука!» Бывало и так, что целая артель сговаривалась, садилась на чугунку и брела в разные стороны, на родные полати и в закутье, если не спорилась им работа в столице целой артелью. Одним словом, артель крепко держится и старается быть верною родным, заветным поговоркам, что «один и в доме бедует, а семеро и в поле воюют», «две головни и в поле курятся, а одна и на шестке гаснет», — да, вероятно, и сами поговорки эти родились в артели, хотя, может статься, и не плотничьей.

Петра Артемьева, записавшегося в галицкую артель, теперь уже трудно отличить в ряду остальных рабочих: он или засел внутри дома на потолочный брус и, мурлыкая себе под нос деревенскую песню, тяпает топором по брусу, или прилаживает доску к забору и сглаживает ее рубанком, если доска эта приходится клином и забор просвечивает. Петр Артемьев еще добросовестен в работе, по деревенским обычаям, где любят тепло и плотно, и не привык (но скоро привыкнет, по неизменным законам природы) к петербургским работам на «авось, небось да как-нибудь». Может быть, даже он послан подрядчиком и на Неву — сваи вбивать, и все-таки его трудно отличить в той толпе, которую не в редкость видеть петербургскому жителю, гуляющему по набережным.

Толпа этих рабочих-мужиков ухватилась дружно за длинные концы веревок, привязанных к огромному рычагу. Толпа эта несколько времени стоит молча, как бы собираясь с духом и выжидая сигнала,— и вот из средины ее раздался бойкий звонкий голос запевалы, и вся рабочая сила, дружно подхватив на первом же почти слове следующий громкий припевок, оглашает широкую, черную поверхность Невы:

Что-то свая наша стала?
— Закоперщика не стало.
Эх, ребята, собирайся,
За веревочку хватайся!
Ой, дубинушка, ухнем!
Ой, зеленая сама пойдет,
Ухнем!!!
Ух! ух! ух!

Немедленно вслед за песней раздается звяканье толстой цепи, и огромный молот падает несколько раз на сваю, далеко углубляя ее в рыхлую болотистую землю.

Стоит только прислушаться к переливам этой песни, чтоб безошибочно решить, что песня эта принесена сюда с Волги, что она сродни с «Вниз по матушке по Волге», но далеко не имеет ничего общего с плаксивой петербургской песней:

Как на матушке, на Неве-реке,
На Васильевском славном острове,
и проч.

Особенно доказывают это смелые переливы песни, рассчитывающие на громкое вторенье эха, которым так богаты гористые берега реки-кормилицы. Наконец, наглядное доказательство тут же, налицо: стоит только выждать, когда заговорят между собою работники, наречие которых любит букву *о*, переходящую даже на букву *у*, и, наконец, эта певучесть со странным переносом ударений всегда ясно отличает говор костромича от говора других соотечественников. При том же костромич несловоохотен, как будто груб в ответах с первого взгляда, но затронутый — разговорчив и откровенен. В этом он далеко перещеголяет белотельца-ярославца.

* * *

Несколько исключительное значение Петра Артемьева в артели объяснилось вскоре. Случай к тому был весьма прост и немногосложен: одному плотнику понадобилось написать письмо в деревню, а идти в полпивную, где уже почти всегда сидел присяжный писака, не хотелось.

— Да и рожон бы ему острый! — говорит плотник,— без пары пива не садится, да еще гривенник дай, а то не запечатает и не напишет, куды письму идти следно.

Петр Артемьев вызвался помочь горю.

— И впрямь, Петруха, садись-ко! Эдак-то мы к тому чихирнику-то и ходить не станем. Садись: я тебе пятачок дам.

— За что пятачок? — я и так, даром.

— За что даром: даром-то, сам, брат Петруха, знаешь,— и чирей, слышь, не садится.

Представилось маленькое затруднение: у писца не было ни чернил, ни пера, ни бумаги, но проситель нашелся лучше его: доставши шапку, он пошел по всем собирать на артельные чернила и чернильницу, перья и бумагу. Складчина по копейке серебром с брата — материал готов, и к тому же артельный.

С этих пор у Петрухи нежданно-негаданно явилась другая работа и лишняя копейка, которою он успел рассчитаться начисто с долгами артельными. Все потянулись к нему с просьбами, до бесконечности разнообразными и оригинальными.

Один пришел к нему и бойко начал:

— Ну-ко, Петруха, садись! и напиши ты мне, братец ты мой, такую грамотку, чтобы затылки все в кровь расчесали...

— Что же так больно страшно?

— А вот видишь ты, разумный человек: хозяйка у меня молодая,

дома-то две зимы не был — обрадовалась, и дошли до меня, к примеру, эти самые слухи, что она, примерно, баловать стала. Накажи, Петруха, обругай ее, я, мол, крепко серчаю, и так, мол, что приду на зиму — дом верх ногами поставлю. Вишь, там на станциях нынче писарей завели, а дорога-то по нашей деревне напрорез пошла, а ребята-то все холостежь,— что волки, значит.

Петруха, сколько мог, удовлетворил желанию.

— Да ты бы завертки-то покрепче... эдак, чтобы жарко было, чтобы так всех в слезы и положить: пусть измываются.

— Нельзя же ведь так в письме-то, как говоришь: так ведь не напишешь, не выйдет...

— Ну, ты лучше знаешь: твое дело грамотное, а мы вахлаки — всяко-то по-твоему не разумеем. Слышь!.. хошь, напою пивом, алибо водки куплю?

— Нет, спасибо: знаешь — не принимаю.

— То-то, паря, дуришь! Не по-нашему, не подходяще ты делаешь. Ну, так считай за мной гривенник: грамотку-то ловко настрочил. Молодец ты, брат, у нас, Петруха! золото, серебро. Братцы, кто хочет письма писать, ступайте: Петруха с пером сидит.

— И впрямь, Петруха, напиши-ко зауряд уж и мне.

— Сказывай, как надо.

Петруха, при последних словах, обыкновенно настороживал уши, выслушивал бестолковую, отрывистую болтовню, из которой привык составлять нечто толковое, знакомясь таким образом с семейными тайнами каждого товарища, у которых не было на это завету.

— Пиши попервоначалу поклоны: батюшке, матери, дяде Демиду, тетке Офимье, ребятенкам: Гришутке, Параньке...

— Ну, да как следует, ведь уж знамо. Сказывай имена-то только да какая родня кто, потому и писать станем: коли, теперича, отец либо брат, то низкие поклоны с почтением, а ребятенкам и жене родительское благословение навеки нерушимо, и опять — низко кланяюсь.

— Ну, ну, ну так так! Экой, свет, толковый! А потом пиши, братец ты мой, что вот, мол, посылаю деньги, мол, посылаю... на оброшное. А останки поделите: рубль жене на платки да батюшке с матушкой; а повремените маленько время спустя — еще вышлю.

Петруха уже давно писал, до подробности зная остальную историю на подобные письма. У него в голове давно уже сложилась форма, и не осмелится он изменить ее до конца жизни, как не изменили и прежде бывшие писцы, от которых досталась она ему по наследству, вместе с грамотностью. Несколько затрудняли его на первых порах неожиданности вроде первой, но и к тем он привык, стараясь передавать их прямо целиком, со слов, для большего вразумления домашним.

Скоро по всему дому разнесся слух, что в плотницкой артели завелся писарь, что всякие письма пишет и дешево берет, а в добрый час попадешь — и даром настрочит. К Петрухе с просьбами о письмах стали ходить и посторонние лица. Приходила кухарка:

— Пиши в деревню, к моему соколу ясному Кузе, что, мол,

крепко люблю и обнимаю и по гроб в верности нелицемерной пребуду, а мне здесь по тебе больно тошно. Да пожалосней, голубчик, напиши.

И кухарка пропела ему последнюю фразу. Но не угодил писец заказчице, прочитавши своим обыкновенным тоном...

— Пожалосней бы ты: эдак неладно! — толковала бестолковая баба.— Пожалосней-то, как я говорила...

— Ну, да так и выйдет! инако нельзя... пером-то...— вразумлял он бестолковую.

— Ладно, уж коли и так запечатай. А я тебе ужо пирог занесу.

Приходила и горничная,— и, стыдясь компании, закрывалась рукавом под градом доморощенных острот, и убегала, и опять приходила, чтоб вызвать грамотея на лестницу.

— Ваши-то улягутся, напиши мне, да не смейся, не стыди при всех, не показывай.

— Вам как, по-какому?

— Да по-такому, что... да ты смеяться будешь, я убегу!

— Зачем бежать? сказывайте — всяко, значится, можем.

— Мне вот как... Да нет, не скажу: смеяться станете — стыдно! Я уж из полпивной вызову: тот мне всегда писал — знает.

— Сказывайте, как надо, по тому и напишем, а зачем смеяться? — не краденые с вами. А наши ребята так только... с полудурья. Вишь, делать-то нечего — ну, и ржут.

— Вы напишите, что так как, мол, киятр сегодня, представления, то господа едут, а мы дома с Глашей. Выходите — под воротами будем в ожидании зрения; ну, как там, сам знаешь.

— Тоись это приходи, значит, а мы тут. Так, ничего, могим!.. а как зовут?

— Нет, уж этого не скажу.

— Да ведь так-то нельзя. Кому пишешь — не знаешь. Эдак не толк: без имени, по-нашему, по-деревенскому, и овца баран.

— Я сама знаю, и там знают. Отдадим.

— Ну, ладно,— пожалуй, и без имя.

— Я через часок зайду, постучу в дверь, а вы и выходите.

— Да коли услышу. Вы уж так бы вошли: ребята наши смирные — ничего... ладно, приходи!

Петруха сел к столу и принялся за писанье.

— Что, али востроглазой-то той строчишь? Что велела?

— Приходи, слышь, под ворота. А кому писать — не сказала.

— Ишь ты! ну, да не сказала — тебя испугалась.

— Чего меня пугаться-то?

— Ну, чего: может, прибить захочешь того-то?

— За что прибить? — не за что.

— Ну, да ведь, брат, девка-то и!.. огонь! Эких-то, брат, в нашем доме мало. Холостой ведь ты, черт! что козлы-то ставишь, без пути-то?

— Я не такой: я смирной.

— Ну да, ври, ври: пальца-то не клади тебе в рот. Знаем ведь, как ты козыряешь.

— Нету, я смирной.

— Как, паря, не смирной! Пиши-ко, пиши: зайдет, ведь поцелует.

Действительно, вместо поцелуя, Петруха получил какую-то серебряную монету, которую не разглядел впотьмах. При расплате девушка прибавила, однако: «Примите от моих трудов, сколько могу». Петруха отвалил грубое, неизменное «спасибо» своим резким, топорным голосом, который был везде кстати, но тут — что тупой звук в пустой бочке.

Между тем новое ремесло его получало широкие размеры и дальнейший ход, породив даже некоторое количество врагов, в лице домового лавочника и завсегдатая полпивной.

Лавочник, впрочем, скоро успокоился, утешив себя тем, что не всегда имел для того свободное время, но завсегдатай — сказывали плотники, наведывавшиеся в полпивную,— хотел поколотить Петруху и только откладывал: из боязни ли мщения артели, или выжидал явления врага в месте его ежедневных заседаний, где предоставлялось более удобств. Но, к несчастию его, Петр Артемьев еще долго не ходил в полпивную, не ходил до тех пор, пока в жизни его не совершился крутой и неожиданный переворот.

IV

СТОЛИЦА

Петруха по праздникам писал письма; по будням ходил на работы тяпать топором и строгать рубанком; в свободные минуты выходил зевать на диковинный город, присоединяя свои остроты к замечаниям других зевак. Товарищи его, верные зароку и нелюбознательные, выходили только в ближайший питейный. Все, одним словом, шло тем же порядком, как и прежде, в течение всего лета. Наступала осень: Петрухе мечталась уже родная деревня, куда он въедет питерщиком. с громом бубенцов и с неистовыми криками Никиты, присяжного ямщика ближнего села, который уже всегда принимал пеших питерщиков на свою тройку и бойко разносил их по окрестным деревням.

Мечталась Петрухе радость болезной матери, оханье и хлопанье по бедрам обрадованного старика отца: молчаливого, тихого, но сильно чувствующего и всеми помыслами привязанного к родной семье.

Петруха снимает бараний тулуп, синюю праздничную сибирку, которую только что сшил перед отъездом, и очутился в красной рубахе, астраханке, и плисовых шароварах. Родные охают, бабы начинают ощупывать и смекать доброту и плиса, и астраханки.

Петруха торжествует, весело ухмыляется и отставляет ногу. Отец гладит его вдоль спины и называет кормильцем, радельником, сердцем. Питерщику любо, так любо, как еще никогда в жизни не удавалось испытывать. По сердцу масло плывет, тело щекотят мурашки; глаза чуть не под лоб закатываются. Он не знает, кого обнять прежде, кого приласкать: отца или мать. И медлит, и все ухмыляется.

Полез он за пазуху — и медленно вынимает оттуда новый кожаный кошелек с изображением, которое объясняется нижнею подписью

так: «Наварицкая огненная баталия, и корабли горят». Петруха развязывает кошелек, при общем молчании подхватившихся локотком баб и отца, и вынимает оттуда ровно две красненьких, которые уберег посреди всех соблазнов столичной жизни. Вручает их отцу молча, с низким поклоном: «Тут,— говорит,— и оброшное, и государево, за вас и за тебя... и за всех!..» — и видит опять слезы, и слышит оханье, и опять его гладят и вдоль спины, и по голове, и по плечам.

— Спасибо,— говорят родные,— спасибо, радельник! отец ты наш родной. По твоей милости и на твои кровные денежки мы и баню новую выстроили, и на повете накат новой настлали, и за твое доброе здоровьице два молебна, кормилец наш Петрушенька, отпели.

— Вам спасибо! — говорит Петруха,— а я ведь сын.

— Да уж и сын-то какой, кормилец ты наш, на редкость. Экова-то у нас и отродясь не бывало. Пошли-ко тебе, господи, милости божьей, да казанская матушка.

Парень кланяется в пояс и садится за стол, с приговорами матери:

— Не ждали мы экой радости сегодня, не чаяли. Ты уж, серцонько, не обессудь: мы тебе и не состряпали ничего: почечек-то твоих любимых. Яишеньку-глазунью — коли хошь — так сейчас бабы справят.

— Благодарим на угощенье, благодарим! Признательно, и еда-то в голову нейдет — ни к чему бы и не прикладывался: больно, вишь, радостно, любо таково!

— Ну, да как, петушок ты наш, не радостно: ведь отца с матерью увидал.

Петруха стал подарки раздавать: отцу — шапку теплую; матери — платок шелковый; бабам — которой колечко, которой бусы. Не забыл даже и племянников: и им привез по свистульке.

— Ну, а Паранюшке привез ли что? — спрашивала мать.

— Кажинный день, кормилец мой, шастает в избу. Когда, слышь, ваш-от приедет, обручельник-то мой, и колечко твое показывала, что из Питера-то ей выслал.

— Не высылал я ей никакого колечка из Питера.

— Ну, да что маяться-то, Петрованушко? — заговорил сам отец,— коли есть любовь — так по миру да по согласию, с богом да со Христом. Я сам, коли хошь, и сватом пойду; дядю в отцы посаженые попросим.

— Хорошо, батюшко, хорошо. Ладно бы, больно бы ладно: затем почесть и приехал-то.

В воображении Петра Артемьева сначала все перепуталось, но опять замелькали новые образы с другой обстановкой:

Стоит он середи избы; мать с гребнем стоит подле; а обоих их обступили девки и поют знакомую песню: «Как Петруне мати голову чесала, под венец свово милова снаряжала». Одевает его дружка в ту же сибирку, какую привез из Питера, и творит приговоры по-своему. Снарядивши парня, благословляют его образом и сажают в сани; отец и мать остаются дома; с женихом едут отец и мать посаженые, и едут прямо в село, и шибко едут: колокольцы и шоркунцы стон

поднимают. Сторонятся прохожие и кланяются,— желают: «Счастливого пути, законного брака!» Дружка творит свое дело: останавливает поезд чуть не на каждом перекрестке: то у него постромки оборвались, гужи перетерло, связать надо. И поит всех поезжан вином, и глумится над женихом, что и близок-де локоть, да не укусишь! — и несет чарку мимо, другим поезжанам. То у дружки под ложечкой закололо — смазать надо, то у одного из поезжан бородища с чего-то загорелась — тушить надо, то между встречными прохожими колдун идет и оговоры нашептывает, а тогда совсем будет худо: и вместо лошадей на медведях поедут, да и не на село, а в лес, и изба повернется задом — ворот не найдешь, и вместо яств всяких одни черепья да уголья каленые будут: опять надо остановить поезд и кланяться встречным, потчевать их вином, чтобы не кляли поезд, а желали бы молодым миру да согласья.

Но вот Петруха в церкви, рядом с молодой, вырядившейся в штофную, на заячьем меху, душегрейку с синим платком, вышитым золотом, что привез он ей из Питера. Петруха с Паранькой уже за столом сидят, как бы и муж с женой, новобрачные, и подслащивают своими частыми поцелуями горечь водки.

Дружке в складных приговорах горло захватывает, сваха так и носится с подносом и сшибает с ног всякого встречного: свадьба идет на славу. Поезжане не нахвалятся и угощением, и вином, и молодыми. Все идет по чину, весело, шумно...

Молодых выводят из-за стола и велят по три раза кланяться в ноги родителям, просить их благословения на начин, а поезжан велят благодарить за почет, за внимание. Сваха ухватила молодых под руки, поместившись сама в серединку, и повела их в клеть... Петрухе любо...

— Ты, что ли, Петр Артемьев Сычов? Эй! — раздался над ухом мечтателя резкий и грубый голос.

Петруха опомнился. Перед ним человек в светлом колпаке и с сумкой на боку, а сам он в нарах, в артельной, и начал было призабываться, дремать.

С трудом он оправился, протер глаза: опять взглянул на почтальона — и увидал усы, колпак, сумку, письмо.

Почтальон повторил вопрос.

— Я Петр Артемьев Сычов! — отозвался Петруха.

— Тебе письмо из деревни, давай скорей три копейки; мне ведь тут растабарывать-то некогда.

Петруха поспешил исполнить приказание.

Почтальон обратился уже не прямо к нему, а ко всей артели:

— Вашего брата плотника всего хуже отыскивать: в одном доме живет три артели. Пришел в одну: «Здесь, мол, Петр Артемьев Сычов?» — «Нет, говорят, не слыхать такого. У нас, говорят, тверская артель; вон не в той ли?» И в ту пришел — так нет, вишь: мышкинская, ярославская. И тут нет, кого мне надо, насилу добрался...

— Наша костромская, галицкая...

— Теперь-то знаю, буду помнить: я ведь недавно еще в ваших местах.

— Так. Приходи, приноси прямо! Мы все здесь костромские,— других не пущаем.

— Да и адрес-то пишут грамотеи ваши.

— Захотел ты от наших грамотеев!

— Разбираешь-разбираешь, не найдешь толку, так и бросаешь.

— Зачем бросать, не надо бросать!.. для ча бросать?..

Во время этих растабарываний Петр Артемьев успел осмотреть письмо со всех сторон и нашел в нем все в порядке: по обыкновению всех деревенских писем, оно было страшно засалено; адрес написан слепо: «Отдать сие письмо в Сан-Питербух галецкому плотнику Петру Артемьичу по батюшкину отзыву Сычову; весьма нужное из деревни Судомойки». Запечатано было письмо, также по обыкновению, кабацким сургучом, который отстал в некоторых местах и вообще плохо прилип к бумаге. Вместо печати оттиснут был медный грош орлом.

Петр Артемьев открыл, начал читать, по обыкновению, вслух, потому что нашлось несколько слушателей, и все нашел, по обыкновению, исправно: письмо начиналось поклонами от родных. Отец только не посылал своего родительского благословения навеки нерушимого.

— Опять, стало, дьячок Изосим писал: завсегда, шальной, кого-нибудь пропустит. Така шабала! — решил Петруха и продолжал читать дальше.

На целом полулисте рябили имена и низкие, земные поклоны с почтением и желанием на многие лета здравствовать. Но вот пошла настоящая суть: «При сем письме уведомляю я тебя, сын мой, любезный Петрованушко, что горе у нас в семье: родитель ваш на Оспожин день приказал долго жить, а мы и ума не приложим. Ходил по реке да в прорубь провалился во хмелю, и изломало всего, а перед смертью тебе родительское благословение свое навеки нерушимое посылал и домой велел идти, а мне, сироте, даром по крестьянству жить несходно, а с бабами не сладишь, и вы домой приезжайте. А по сие письмо остаемся» — и проч.

— Эх, брат Петруха, не было печали, да, знать, черти накачали!

— Худо дело по крестьянству, коли бабы домом править учнут...

— Иди домой, Петруха: одна дорога!

— Вот поди ты тут: живешь — и ничего, а придет эко место, что с дубу...

— Бабы весь дом разнесут, по ветру развеют.

— Иди, Петруха, домой: артельный пособит.

— Иди домой, не откладывай! — сыпались советы на оторопевшего, обезумевшего парня.

— А стар отец-от был? Петруха, а Петруха! стар батько-то был?

— Какое стар? Пожил бы, кабы божья власть.

— Эка, братцы мои, причина.

— Петруха, слышь-ко! а братья-то есть у тебя?

— Какое братья? Один как перст.

— Эка, братцы мои, какое попущение! Эка, братцы мои, какое горе!

— Господские али государственные?

— Господские!.. барина Бардадымова.

— Эка, братцы мои, горе: не слыхали бы уши!..

— Деньги-то есть у тебя зарушные-то: не давали вперед-от?

— Кажись, ровно бы есть...

— А колькой тебе год?

— Жена-то есть али холостяга?

— Ребятишек-то возвел али еще не успел?

— Отстаньте, ребята, тошно: не слыхал бы! Такая дурь в голову полезла — утопился бы! — мог только вскричать Петруха тем отчаянным голосом, который озадачивает толпу, приводит ее в содрогание, жалость и мгновенно разгоняет по сторонам.

Это — крик безнадежно утопающего в самой глубине омута, когда несчастный в последний раз высовывается из воды, собирая оставшиеся силы, как бы для того только, чтобы крикнуть и замолчать навеки. Крик этот заставит дрогнуть мимо идущего путника, перекреститься,— и невольно толкает его в воду за дорогой, родной душой человека.

Крик, подобный этому, слышится и на тех несчастных пожарищах, где горят доспавшиеся до роковой минуты погибели. Опомнившись, с ужасом видят они реки пламени: и нет другого выхода, кроме огня, кругом огня. Кричат несчастные, оторопелые, растерявшиеся — и благоговейно крестятся все живые, слышавшие этот крик, и едва ли не у всех проступают слезы, и едва ли не все бессознательно, как был толкнутые кем-то сзади, бегут ближе к пламени. Но в это время рушатся обгорелые стропила, за ними потолок и крыша, а с ними и все надежды на спасение. Толпа отскакивает назад, сторонится, как бы еще выжидая в среду себя погоревших. Некоторые бросаются к воде, другие снимают армяки и держат их наготове,— но нет несчастной жертвы — она сгорела!

— Господи!.. святые отцы!.. мать пресвятая богородица!.. упокой их в царствии своем!..

— Кузнецова старуха — болезная, хворая — семой десяток доживала...

— Кричите соцкого!.. бегите к становому!..— раздаются новые крики, но имеющие уже не тот смысл и силу, как прежний.

* * *

Не спит человек, отбивается от еды, от работы, от веселого ласкового слова при подобных известиях, и сам не свой, и люди не те, и все как будто новое: такое спокойное, безмятежное, на пущую горесть и даже досаду.

Петр Артемьев и письма отказался писать, и перестал шутить (даже говорил редко). Работу обязательную и подневольную исполнял вовсе вяло, и заметили это товарищи:

— Ишь, маешься-то, полно, брось! Ложись-ко вот тут в уголок,

я тебе армяк подстелю, а свой-то в голову положи. Сосни, часом,— полегчает. Полно!

— А шел бы ты, Петруха, по мне, в деревню: все бы, кажись, лучше.

— Что мне деревня? — думал и говорил Петруха товарищам.— Не пойду в деревню: незачем. Мать в горе, невестка — чужой человек, с ветру; дядя толковым таким смотрит — не уважит... Не пойду я в деревню! да и с чем? — деньги-то все выбрал да домой переслал, а на пятачки-то с писем не разгуляешься — дорога дюже далека: не осилишь сиротством-то. Не пойду в деревню, хоть колья берите.

— Да больно ведь тебя, парень, перекосило-то: на себя-то ведь ты, Петруха, не похож.

— Поглядится — пройдет! И все ведь так поначалу-то; я знаю... Эдак-то тоже у меня отец-от помер; и на глазах еще, братцы! Ну, и давай с бабами зауряд реветь. А на другой день встал: «Да что, мол, это я: подряд, что ли, снял? почем, мол, с пуда... слезы-то? борода-то, мол, с ворота, а ума с накопыльник не вынесла!» Право, братцы, так: застыдился и перестал реветь. Заберет эдак при бабах-то — и побежишь на повить, алибо в сени, и ничего — и опять в избу лезешь. А там гроб стал сколачивать, на саван холста отмерил и в гроб уложил, и омыли, а не ревел — право слово! Да вот уж когда больно жутко подошло: как спустили мы это гроб с батюшкой; поп Иван с дьячком землицы кинули, и я сгреб в кулак... Тут перво-наперво защемило. Ухватил я лопату-то (сам и могилу, братцы, копал): дай-ко, мол, загребать стану. Тут вдругоряд, братцы, защемило, и таково-то больно: так кровью и обдаст и обольет разом да опять — слышите — да опять, знаешь, обольет... сердце-то: «Отца ведь, мол, родного засыпаешь, родимого; вспоил он тебя, вскормил, на разум направил...» А сердце-то так обольет, так и ошпарит горячим.— Держусь, креплюсь: голова в круги пошла, а тут как звякнут бабы, да всем миром, да всей деревней, да на унос, да на разные лады... и, господи!.. Как стоял: бросил лопату да за бабами в слезы, ручьем. Пришла было блажь: дай-ко, мол, лягу наземь да покатаюсь; народ подсобит — подымет. И хотел было; да нет, мол, осмеют холостые ребята: скажут после, что Мартын-де — словно жеребец: сначала ржал-ржал да как хватится оземь, и учал кататься, и учал... и ногами дрягает... Так и не лег, а проплакался, да и с кону долой! Вот я как! Да и на глазах помер отец-то, а то за глазами!.. Да за глазами-то бы я, кажись, не то что,— а...

— Ну, не говори, Мартын, что дурости-то плетешь? не путем. Не как ты... смехом, ведь... сын да отец — одна полоса мяса. Что бога-то гневить? сам ведь сказывал, что ревел, ну? Эка, ведь у нас язык-то мелет, что не разумеет; а замков-то не догадались привесить. Отстань!.. Не люблю я тебя за это. Шутил бы ты знал другие какие шутки, да не такие...

К зиме — поздней осенью — галицкая артель вся разбрелась по домам, чтобы к весне опять сойтись вместе на летних работах.

Петр Артемьев не пошел в свою деревню, как ни уговаривали

товарищи. Домашним наказал сказать, «что не пошел-де оттого, что не на что: деньги все повысылал в деревню, а ищет места теперь — и, если поправится,— прийти не преминет: ждали бы».

Оставшись без артели, Петр Артемьев окончательно упал духом; у него еще больше захолонуло сердце: как быть и чем жить?— брюхо-злодей старого добра не помнит, а Петербург такой город, где не дадут даром куска хлеба. Всюду народ трудящийся, всюду зашибающий копейку, и весь город, кажется, на том стоит, чтобы зашибать эту трудовую копейку, проживать ее и с усиленным трудом сберегать на черный день одни только остатки, поскорбыши. Рабочего народа много в столице, так много, что и приткнуться негде, особенно отбившегося от своего ремесла и отыскивающего такого, где бы не много нужно было толку: было бы только терпение и маленькая сноровка. Таких мест и для простого человека много найдется в столице, но везде и всегда — неизбежно нужны знакомства, своего рода протекция и покровительство, а где найти последние Петру Артемьеву — плотнику, для которого до сих пор весь мир сходился клином в его артельной квартире и на работе. Раньше позаботиться пристроить себя он, по общему русскому толку, не догадался. Хлопал себя по бокам и крутил головою в безнадежности, уже в то время когда бедность, вопиющая бедность повисла на вороту и грозила еще горшим горем.

Сунулся бы он и к тому и другому, ухватился бы и за несподручное ремесло, но кругом холодно, неприветливо, тоска и опять безнадежность. А между тем деревенские сцены, одна другой сумрачнее и неутешительнее, мелькали в его воображении, не давая почти покою: мать его бранит, корят невестки, одна чуть не кидается драться... Племянники — мелкота, неразумны, баловливы, сердят бабушку, и та встает поутру, обливаясь слезами, и ложится спать с теми же горькими рыданиями, которые так знакомы и так давно возмущают сына. А там подходит подушное, оброк, починки, перестройки... Денег нет, а матери хочется и крестов на средокрестной неделе напечь, и жаворонков, из теста же, поесть в день Сорока мучеников.

Следом уже за этими воспоминаниями проходят такие минуты, когда Петр Артемьев бежал бы, летел бы по ветру на родные места и выплакал бы там свое горе; но минуты эти разлетались быстро перед сухой, голой действительностью. У Петра Артемьева в кармане остался один какой-нибудь полтинник, но нужда уж и его высасывала по копейкам.

Во всяком деле важен случай, этот толчок, который иногда бывает спасителен; случайно попадаются в беду — случаем же и искупаются от нее. Между тем, давно уже ходят по свету две пословки, едва ли не более всех других разумные и справедливые: по одной, утешаются горемыки тем, что мир не без добрых людей, а по другой, не было примеру, чтоб на нашей земле кто-либо умирал с голоду.

Дворник того дома, где жила галицкая артель,— и которого Петр Артемьев раз одолжал письмецом, однажды как-то к слову и без умыслу сообщил интересную новость, что вчера вечером дворники

соседнего дома сотворили такой запой на целый день, что все квартиры оставили без дров и воды.

— Управляющий сбеленился (прибавил дворник), пытал ругать,— отобрал хозяйские сапоги и рукавицы у всех и велел приискивать новое место.

«Не пойти ли мне?» — думал Петруха.

— Рукавицы-то да сапоги я, пожалуй, и свои буду носить! — сказал он и сделал.

Его приняли и через неделю дали подручного, самого его назвав старшим дворником, потому что был грамотный и на первых же порах показал изумительное прилежание: в конуру свою заходил только спать. На лестницах подымал пыль столбом и не только обметал тротуары, но даже и улицу каждый день раза по три.

Старание его обратило даже на себя внимание местного городового, который вытребовал к себе Петра Артемьева, похвалил, узнал его имя, число лет и попросил понюхать табачку. Одним словом, дела нового дворника шли блистательно: он раза по четыре на день надоедал переехавшему жильцу, требуя контрамарки и говоря, что господину ничего, но что он один за это ответчик.

Отпирая ворота ночью жильцам, приходившим поздно, он не ругался, не ворчал им вслед, даже не просил на другой день на водку и только, побрякивая и гремя ключами, смирно пробирался в конуру свою, где снова ложился на нару и засыпал в ту же минуту до нового звонка. Жильцы уже никогда не оставались без дров и воды. Еще с самого раннего утра он начинал лазить по черным лестницам, громко стучал в дверь и бешено звонил в колокольчики, на досаду кухарок и горничных, которые не упускали в другой раз случая отомстить ему, заставляя дожидаться. Но неугомонный дворник звонил и стучал опять, и гораздо сильнее прежнего; кухарки бранили его в глаза чертом, мужиком, прорвой. Дворник слушал и с ужасным громом валил на пол охапку дров, стучал ведром об ведро; получал за это уже толчки в бок и все-таки оставался верен своему долгу, который, считал, прежде всего. Самых сердитых кухарок он, в свою очередь, наказывал тем, что лазил и стучал к ним прежде всех,— и все шло своим чередом. Петр Артемьев, казалось даже, и душевно успокоился: он шутил, острил, калякал с новыми знакомыми, круг которых с каждым днем расширялся все больше и больше. С одним из соседних дворников у него даже завелись интимные отношения, нечто похожее на дружбу; приятели сходились в своих конурах. Другой дворник закуривал трубочку, которая вскоре соблазнила и Петруху. Он сначала попросил дать попробовать, закашлялся, назвал зельем, потом попросил другой раз попробовать и вскоре сам завелся этим инструментом и угощал приятеля уже своим табаком. К услугам последнего была во всякое время готова балалайка, слабость и пристрастие к которой Петруха привез еще из деревни и лелеял ее даже в плотничьей артели. Приятели сходились каждый день раза по два, по три; наслаждались поочередно трубочкой, тринкали на балалайке, кое о чем молчали и расходились до нового и скорого свидания.

Петруха раз попробовал сообщить приятелю о своем несчастии —

и нашел в последнем человека не только понимающего это, но готового страдать вместе с ним: приятель даже, во время этих разговоров, и за балалайку не брался, а с каким-то остервенением начинал курить табак, так что сам же спешил встать и отворить дверь в подворота.

По праздникам случалось так, что приятели складывались по четыре копейки и шли в ближайшую белую харчевню чай пить, иногда покупали при этом у входа сайку и ели ее, размявши на блюдечке в тюрю.

Дружба обоих соседей скреплялась все более и более и стала заметна глазам посторонних, которые часто выговаривали им таким образом:

— Эка, посмотреть, у вас сожительство какое, словно собаки... алибо братья-двойни: завсегда вместе, ровно колдун вас какой обошел наговорами.

Петр Артемьев был прав в этом деле: ему нужно было такого слушателя, которому он бы мог выплакивать свое горе и безделье, а тот, вероятно, любил послушать, уважал компанство и сам был не прочь тоже поплакаться на свое горе.

Без горя русский человек не обходится, он редко когда-либо чем бывает доволен. Так и у этих друзей: то собаку из дворецкой сманили и убили фурманщики [12], то топор соскочил с топорища, и хорошо еще, что не попал по ноге, то одно ведро расплескалось до половины на самом верхнем, пятом, этаже,— то вот табаку бы купить надо, так, вишь, посулил жилец на водку, да не дал, а напомнить не соберешься с духом, и проч., и проч.

Раз толковали таким образом приятели в Петровой конурке, по обыкновению скромно, изредка потрынкивая на балалайке. Отворилась дверь. В нее быстро прорвался дым табачный и духота, из мрака которых на лесенке показалась неуклюжая фигура деревенского парня. Петр Артемьев быстро спохватился с своего места и по долгу спросил:

— Кого надо?

— Али не признал, Петруха; вглядись-ко!..

— Батюшки! Луканька Кузнецов... Здоров ли?

Земляки крепко и радушно поцеловались.

— А я, Петруха, от твоих, по наказу: велели кланяться...

— Спасибо, родной, спасибо. Садись-ко!..

Петруха засуетился; рад был земляку и соседу по избам.

— На-ко, поешь пирога,— даве управляющего кухарка, Орина, дала. Сам-то уж я и не пеку: она завсегда все дает... Ну, что, родной, как там мои-то?

— Ничего — живут!— отвечал приезжий, с жадностью глотая пирог.

— Мать-то что?

— Да по миру хотела идти и избу надумала запереть: у батьки замок просила — дал. Невестки-то больно измывались над ней, да обе и ушли в одно утро, и ребятенков забрали своих, племянников-то твоих.

— Так, родной, так и ждал!

Петруха всплеснул руками; сел рядом с земляком на лавку, покраснев до ушей, чувствовал, что опять все тело наполнилось жаром, который был знаком ему с рокового письма о смерти родителя.

Словоохотливый приезжий продолжал рассказы:

— Вот как это оставили бабы те, матка-то твоя к дяде: «Живи (говорит тот-от) у меня!» И жила, да, знать, надоело, что ли? — кто ее знает: ушла опять в свою избу. А как стали меня обряжать-то путиной — пришла к нам да и выпросила замок: «Иду,— говорит,— на все четыре стороны» — и взвыла. К дяде-то твоему и не ходила, а пытали наши посылать: наведайся, мол, мужик хороший, на чести... Стало, на другой-то день, как я уехал, и матка-то твоя ушла в побирайство, не то молиться в Тотьму алибо что... Прошли слухи, что дядя на тебя, мол, серчал: зачем не пришел с питерщиками, и крепко, слышь, ругался...

— Да за что, Луканюшка, скажи мне, за что?..

— Знамо, не за что.

— Пошел бы, кабы деньги были.

— Знамо бы, пошел.

— Вот и теперь пошел бы, да нельзя...

— Вижу, что нельзя, сам вижу. Да ты бы, Петруха, денег-то послал.

— Да каких, Луканюшка, откуда деньги-то: из богу, што ли, вырезать?

— Знамо, не из богу. Ишь ты, братец мой!..

Приезжий соболезновал сильно: крутил головой, жал плечами, разводил руками, чмокал языком...

— А ты-то в какие сюда пришел? — счел за нужное спросить и нарушить воцарившееся молчание приятель Петрухи.

— Да мы по письму; завтра приходить велели совсем: мы печники.

— Петрухе-то родня али нет?

— Нет, не родня, а из одной деревни: и избы-то наискось.

— Эка, неладное дело какое, будь оно пусто! — рассудил вслух Петруха, при общем молчании и довольно тихо, как бы в бреду.— Шубенку продать — не дадут много; управляющий не уделит вперед — намнясь отказал. Эка, неладное дело какое! Не красть же, не воровать. Грех воровать, лучше так обойдусь. Эка, неладно это все как пошло — словно ждали, словно нельзя лучше-то! Хоть бы не сказывал!..

— Да уж это дело такое, Петруха!— утешал его приятель.— Накрыло тебя это горе самое шапкой, что ли, и пошло жать, шапку-то на плечи надвигать. Так все к одному и пойдет. И пойдет это горе-то самое, и начнет нажимать шапкой-то...

Приятель, при этом, счел за нужное для большего вразумления нажимать кулак и стучать им по столу.

— Завсегда так! — и от себя прибавил приезжий.

— Да не надо! — закричал Петруха.— Не надо нажимать-то: больно ведь. И так больно от прежнего осталось. Ишь ты, неладное

дело какое! Хоть лоб ты взрежь, ничего не придумаю — и таков-то... Эко божие попущение какое! смерть...

— И то тебе сказать, Петруха,— начал опять утешитель.— Сказано: тугой поля не изъездишь — нудой моря не переплывешь,— сколько раз говорил: «Выпей!»

— Отстань ты — «выпей»!.. С чего стану — ни разу не пил, не знаю, как и приступиться-то.

— Да ты только попробуй! Эдак-то и я — затащили: пей; поморщился: горько, а другую-то и сам попросил. В водке-то ведь скус: легко таково. Ругай тебя — и не сердишься; еще сам норовишь кого бы облаять. Выпей!..

— Горько, черт! как выпьешь-то: ни разу не пил.

— Выпей и есть, Петруха!— с своей стороны присоединил приезжий.— Что ломаться-то? хуже ведь будет, все хуже; а выпьешь — лучше...

— Нет, не лучше: и так горько, а тут еще горечь.

— Сладко будет, Петруха, говорил ведь. Попробуй!

— Отстаньте, братцы, не стану.

Петр Артемьев повалился на постель и не послушался на этот раз приятелей; все же мысль о вине, облегчающем горе, запала ему в голову и навела на раздумье и постепенно наталкивала на решимость.

Он уже вскоре рассуждал так:

— А что и есть,— отчего не попробовать? не сдуру же говорят ребята. Не какой грех вино — пьют же всяко и все. Вон и в артели все пьют. Дома только не надо пить, а в Питере можно — отчего нельзя? При отце нельзя да при дяде, а тут можно — не кой грех; не сдуру же пристали ребята. Все пьют. Только пьяным не напивайся, а ломовому человеку, говорят, на здоровье: кровь крепит, сон слаще.

Петруха припоминал все, что когда-либо удавалось ему слыхать в пользу вина, и сильно поколебался в своих убеждениях: он даже сосчитал свои наличные деньги, припомнил, что водки можно купить порядочное количество на трехгривенный с пятаком, а на два двугривенных и с закуской даже. Он даже улыбнулся, проверив свои деньги и найдя количество их удовлетворительно достаточным, а когда увидел приятеля, то сам уже с ним и начал разговор:

— О вине ты вечор толковал; да боюсь — горько, опешит.

— Кое опешит? попробуй: на первую пору только горчит, а там войдешь во скус.

— Эка, неладное дело какое! — продолжал между тем опять рассуждать про себя Петр Артемьев.— Спишь — сны страшенные грезятся, одолели! Мать нищенкой ходит; батюшка помер... опять же дядя. Пойдем, паря, поучи,— выпьем! — вскричал он, схватившись с места, и в минуту собрался, так что едва успел опомниться его приятель-наставник, который мог только сказать от себя одно:

— Что дело, то дело; люблю за это!

Он едва поспевал за Петрухой.

Перед дверями питейного последний опять было поколебался:

— Али уж оставить? Неладно, кажись, не так.

— Ну, толковать еще стал.

Приятель ухватил его под руки в намерении тащить в дверь...

— Ступайте, братцы, ступайте: внидите и угобзитесь: там благо! Да скорее ступайте — не теряйте златого времени! — Заметил им оборванный господин, отправлявшийся по тому же направлению.

Приятель Петрухи еще сильнее уцепился за друга и еще сильнее потянул его к двери.

— Не так ли, полно? — продолжал все-таки рассуждать Петр Артемьев, упираясь в землю изо всех своих сил.— Нет, брат, так лучше пройдет! пойди ты лучше выпей: на вот!

Но последние слова Петр Артемьев произнес уже в питейном — приятель его действовал решительно, и блок с визгом захлопнул за ними захватанную дверь кабака.

Петруха и там было вздумал оказывать некоторое сопротивление, но, убежденный просьбами и чуть не мольбами благоприятеля, отчаянно махнул рукой, толкнул кого-то под руку (его обругали и даже ударили) и, подойдя к стойке, громко потребовал себе полштофа. Ему не отвечали. Петруха изумился и повторил вопрос.

— Порядков не знаешь! — грубо оборвал его неприветливый рязанец и повернулся спиной.

— Каких порядков? — спросил недоумевающий парень.

Не знал об них, или, лучше, не смекнул, и его приятель.

— Деньги вперед! — опять глухо и отрывисто отозвался целовальник.

Тогда-то только нашелся благоприятель и заметил Петрухе:

— Здесь завсегда вперед; без того и распечатывать не станут...

Дедновский Макар сосчитал деньги, звякнул громко сдачей, снял с полки требуемую посудину, сорвал крючком пробку набок, взболтнул полуштоф, нагнавши наверх быстро мелькнувшую пену, и поднес, чуть не толкнувши в самый нос Петрухи, посуду; поставил ее на стол; полез под стойку и так же ловко вышвырнул два стаканчика, как ловко делал все предшествовавшее. Петруха следил за всем этим и дивился порядкам.

— Наливай! — подсказал приятель.

— Пей! — просил Петруха.

— И ты пей, без тебя не стану.

Петруха с замиранием сердца выпил одну рюмку, ухнул, плюнул, покрутил головой; потом другую, третью и т. д. Вскоре благоприятель вел его под руку; Петруха говорил громко и все почти одно и то же:

— А мне черт ли... лешой... все ровно!.. в деревне ли, в Питере ли. Мне черт ли...— пфу!.. друг!.. друг!.. поцелуемся! Не ругай ты меня!.. сделай божескую милость, не ругай,— и, не... бей... не бей!

— Да я тебя не ругаю. За что ругать? и не бью...

— Не ругай ты меня!.. не ругай!.. не бей! — вот что бредил Петруха и упирался в землю, опустивши вниз голову, над которой постоянно махал правой рукой: левая висела как плеть; приятель держал его поперек.

Вино Петрухе понравилось: парень учащал пробы. Вскоре даже

сам назвался на угощение, взаимно угостил, опять просил угощения и опять пил... пил... пил — и запил. Такова деревенская натура — ничего пресного она не любит, меры она не знает, о толке и слышать не хочет, а указания, наставления считает за упреки, брань, оскорбления.

Мельничная плотина держится, крепится все лето, а раз подточило ее порядочно — и скоро пойдет вода рвать все, разрушать, подмывать, и трудно, даже почти невозможно бывает остановить ее на пути разгула. Оборвался раз русский человек, живущий по себе и своим умом, и пойдет крутить, и нет для него уже ничего заветного: и армяк новый долой, и недавно купленная шапка нипочем, и рукавицы прочь, и сапоги крепкие долой — можно и в стареньком щеголять, что тут ломаться, чваниться? что за щегольство! что за бахвальство! Куды тут лезть с суконным рылом да в посконный ряд?.. мимо, все мимо, все долой и прочь! Пей, душа,— веселись! Да балалаек давайте больше, да гармоний, да песен, рому, коньяку попробуем, и что в хересе за скус? и херес попробуем и... девок давай. Приходите, гости, да больше: на всех хватит, всем будет что выпить и где улечься, милости просим: у нас и двери всегда настежь и званым, и незваным. Пейте все и наше, и ваше здоровье. Не сердитесь только: у нас все друзья и приятели; душа нараспашку и сердце за поясом! Вали, народ,— будет и на похмелье!

Похмелье идет тем же порядком: гудят по-прежнему песни, идет топанье на целый дом, внизу штукатурка с потолка валится, и не уймет никто и ничем разгулявшихся кутил... Все прочь, все мимо, знать никого не хотим!.. сами большие, и больше нас нет! А там еще горе незваное накачалось — долой и его: топи его глубже, на самом донушке, и донушко опрокинь на лоб! Давайте же песен, песен больше, да веселых, да громких, да красавиц.

Петр Артемьев сначала, как новичок и непривычный, выпивал немного и был уже пьян. Он учащал для того только, чтобы поддаваться обаянию той веселости, которая поразила его и привязала к себе на первом еще дне запоя, и нечаянно дошел до того, что выпивал прежнюю порцию и был только, что называется, на кураже, когда все так отрадно и весело, сам он в задоре и готов спешно и толково сделать все, что укажут.

Прежнее дело дворницкое спорилось удачно; сам он, однако, изменился, как изменился наружный вид его конуры, которая украсилась лишней мебелью, в виде стеклянных посудин, начиная от маленькой и постепенно доходя до большой бутыли. Его теперь не удивишь полштофом, а к стклянкам маленького объема он прибегал только в крайней бедности, при безденежье. Привычка брала верх и сильно укрепила в начинаниях. Сделать самое трудное дело для него было нипочем, лишь бы только обещана была дача «на выпивку». По будням он чуть не с утра был навеселе,— по праздникам непременно пьян, а к позднему вечеру — мертвецки. Он готов даже быть таким и в будни, если бы больше имел тороватых и денежных приятелей, а сам не был дворником, у которого лишняя копейка — изумительная редкость. Петруха и тут изловчался, стараясь придумывать разные

хитрости, до которых достиг своими непокупными толком и сметкой.

Особенно помогало ему в этом замечательное знание всего дома, сверху донизу, всех квартир с их жильцами, всех жильцов с их характеристикой, и физической, и нравственной. Конечно, все это у Петра Артемьева делалось на мах — спроста, но тем не менее всегда почти верно и толково. Изо всего этого он успел приучить себя извлекать личную пользу и не задумывался заходить в 40-й номер к чиновникам, которые, по его наблюдениям, всегда собирались по субботам играть в карты. От его внимания не ускользала их кухарка, чаще обыкновенного забегавшая в лавочку за миногами, капустой, огурцами и проч. Случалось, что она проносила бутылки из погреба, и всегда непременно имела в руках четвертную бутыль, которую привозила на извозчике. Петр Артемьев запирал с первым признаком ночи ворота, подпоясывал полушубок и отправлялся в 40-й номер. Здесь он просил кухарку вызвать жильца-хозяина:

— Дворник, мол, пришел, видеть желает.

Хозяин выходил, дворник кланялся и говорил:

— Ворота запер; спать сейчас лягу.

— Так мне-то что за дело? зачем ты лазишь без спросу?

Дворник при этом указывал одной рукой на кухарку, как бы давая знать, что ей приказывал докладывать о себе и не лезть без спросу; а другую руку засовывал в волоса на затылке и ухмылялся:

— Гости-то у вас долго будут сидеть?

Если хозяин догадывался, к чему ведет свою речь дворник, то спешил дать ему на водку и наперед задобрить его. Если же нет,— дворник, почесываясь, начинал опять приставать:

— Коли долго — так уйду: дома-то не буду ночевать сегодня; а хозяин велит запирать ворота на ночь и ключ с собой брать.

— Во всяком случае, ты должен оставить кого-нибудь вместо себя?

— Кого оставишь? оставить некого. Надо ему на водку дать, кого оставишь-то: так-то не остаются, а нам поздно не велят сидеть.

— Кто это мне не велит? — спрашивает рассерженный жилец.

— Хозяин домовый не велит,— спешит перебить его дворник.— Нам он говорит: как-де ты, Петр, сделал все, до одиннадцати часов калитку не запирай, а после запри и ложись спать, долго-то не сиди.

Чиновник только при этом догадывался о том, отчего дворник не хочет ночевать дома, запирает ворота и ключи уносит с собой,— он называл дворника мошенником, плутом, но все-таки давал ему гривенник или просто выносил водки и давал рюмку.

Петруха кланялся, благодарил и почесывался:

— Лестница-то высока, вишь,— не захромать бы, ваша милость?

Получал ли, не получал ли Петруха второй рюмки, он все-таки оставался доволен и собой, и жильцом 40-го номера, и его гостями, которых выпускал со двора сам и не ворчал.

Если же жилец, по собственному выражению дворника, не уважал его и не смотрел ни на какие резоны, т. е. не подносил рюмки

водки, не давал гривенника, Петруха на другой же день останавливал его под воротами, снимал шапку и кланялся:

— А я, вашей милости, услужил вчера: гостей выпустил. Двое совсем растянулись под воротами. Я поднял и извозчика живой рукой отыскал. Сегодня вашей милости прежде всех воды натаскал: поутру, мол, проснетесь — чайку напиться захотите. Я в ваш нумер всегда захожу раньше, прежде управляющего. Сегодня праздник: поздравить не мешает вашу милость!

Вообще почему-то с чиновниками Петр Артемьев вел себя осторожно, при встрече с офицерами всегда почтительно снимал шапку и ни в грош не ставил тех сердобольных вдов, которые живут квартирами и у которых жильцы целый день не бывают дома, по обыкновению почти всей петербургской молодежи. От этих вдов он редко получал «на водку» и потому, не имея средств мстить открыто, старался вредить им втайне, срывая с ворот безграмотные билетики их, которыми извещается искатель, что здесь «одаеца комната состолом, смебелю и сприслугой у вдовы для холостых спросить дворника» или «в таком-то номере». Дворник может ответить, что в таком-то номере отдана квартира, хотя она еще до сих пор пустая, что в таком-то и есть свободная, да ребят много, беспокойства будут,— в ней и не живут жильцы подолгу.

— А вот есть в одиннадцатом способная для вашей милости, и мебель дает кому надо, и с кушаньем берет, и барыня важная завсегда при жильцах. Эта комната опросталась оттого, что жилец помер, а то у ней завсегда живут и всегда довольны остаются.

Во всей болтовне часто нет ни малейшей правды: нанимающий видит комнатку маленькую, тесную, мебель поломанную и порванную, даже плесень от сырости во всех четырех углах, и сама хозяйка не столько барыня важная, сколько бойкая, и досадует искатель квартиры на себя, что поднимался так высоко и остался внакладе. Не оставался внакладе один только дворник: он выпивал рюмку водки или получал пятачок от своей важной барыни до тех пор, пока не приводил в 11-й номер охотника до сырой комнаты, высокого и грязного хода.

Петр Артемьев обставил себя наконец так, что имел номеров десяток таких, где ему каждый праздник подносили по рюмке водки, и был одним из счастливейших петербургских дворников, потому что в его доме, в одной из квартир, поселилась целая ватага молодых людей, у которых дня не проходило без кутежа и скандала.

Петр Артемьев не замедлил скоро познакомить и себя с ними и тут также придумал хитрость. Он явился с искренним советом быть потише и присовокупил прямо от себя, но с привычною смелостью и решительностью:

— Нижние жильцы к хозяину приходили жаловаться, что всю штукатурку на потолке отбили... над самой, вишь, спальней пляшете! Хозяин прислал сказать, чтоб не плясали.

— Пошел, дурак! скажи хозяину, что мы его знать не хотим. Мы от себя наняли квартиру и деньги вперед отдали! — кричал один из более бойких гостей и кинулся было на дворника.

Тот немного попятился; он мог бы, заручившись таким важным

поручением, хотя и им же самим сочиненным, нагрубить, но счел за нужное выдерживать привычную роль:

— Коли, говорит, не уймутся, вели квартиру очищать; пусть-де новую приискивают.

— Молчи, дурак! — не сегодня же ночью отыскивать? Пошел, скажи хозяину, что вы оба дураки, невежи.

И пьяный гость опять было задорно кинулся на дворника, но его опять удержали товарищи. Дворник все-таки стоял на своем:

— Мне, говорит, эких жильцов не надо: они у меня изо всех квартир повыгонят и дом останется пустой.

— Я тебе всю бороду выщиплю.

— Зачем бороду? борода дорога; она долго растет. В бороде вся сила. Вон у вашей милости и нет ее.

Пьяный гость выходил из себя; его успокаивали товарищи; но дворник продолжал быть верен себе и во все время оставался спокойным; он рассуждал:

— Наше дело подневольное: что велят делать, то исполняем; таково дело, не сами. Что бородой-то стращать? — лучше бы, барин, водочки поднести велели дворнику-то.

Один, догадливый, исполнил его желание, и даже, против ожидания, удовлетворительно: Петр Артемьев успокоился. Сходя с лестницы, почувствовал то знакомое ему приятное наслаждение, какое испытывал после первой рюмки, потом у него закружило в голове, и, когда Петр Артемьев улегся, голова его пошла в круги и сон был невозмутимо крепок.

Когда ушел дворник, конечно, начались толки о недавнем событии, и более рассудительные решили это дело таким образом: дворника всегда не мешает задобривать, дворник человек нужный; он многое может сделать. Он для дома важнее хозяина; его и за водкой можно послать, если некого; он и в глухую полночь достанет ее, потому что имеет огромное знакомство и опытность, и проч., и проч.

С тех пор Петруха не встречал уже неприятностей и не придумывал с своей стороны хитростей, а просто тихонько отворял дверь и только выставлял свою бороду. К бороде этой привыкли кутилы, и лишь покажется она, приятели спешили потчевать ее водкой до того, чтобы она решительно не способна была беспокоить их в другой раз и нагонять темную тучку на их светлую и беззаботную радость. Некоторые даже заговаривали с этой бородой (до того она сделалась нестрашна и пригляделась).

— Ну, а что хозяин?

— Спать лег! — чуть не шепотом отвечал дворник.

— Не сердится, не ругается? не велит искать квартиры?

— Отошел!.. забыл!.. Добряк ведь! — шептал Петруха.

— Ну, а нижние-то жильцы не жалуются?

— Перестали! Да ну их!..

Петруха при этом махал рукой и даже на лице старался изобразить возможно презрительную мину. Он заключал всегда почти одинаково:

— Пейте, господа, знайте! Не бойтесь, постоим. Скажу, что

свадьба у вас — и все! Есть ли водка-то у вас? а то схожу, пожалуй: в погребке можно достучаться: такая форточка завсегда отперта. В кабаке только трудно, а пожалуй,— и т. д.

При таких соблазнах и благополучном начине Петруха шел все в гору да в гору: его уже, что называется, чарка бьет. В надворном хозяйстве стали обнаруживаться кое-какие беспорядки и упущения: лестницы были грязны и едва удобопроходимы, двор почти никогда не просыхал; городовой заглядывал в его конурку чаще и более для того, чтобы выгнать его на тротуар. Петруха и здесь прибегал к некоторой хитрости: он отгонял от своих тумб извозчиков и позволял тут останавливаться только тем, которые помогали ему подметать панель, красить тумбы, не сорили сеном и проч.

При заметных деньгах у Петрухи водились даже некоторое время так называемые чередовые выставки, которые так обыкновенны и пагубны в столице у мастеровых и рабочих, не имеющих работы постоянной и усидчивой, держащей на одном месте: на верстаке, у наковальни, у стамески... Особенно эти чередовые выставки часто заводятся компанией дворников, водовозов, носильщиков мебели и всякого рода поденщиков.

У Петра Артемьева эти чередовые выставки прекратились как раз около того времени, когда приближалось время его именин. Молодец уже, что называется, разлакомился, расходился, а товарищи и приятели подзадоривают:

— Скоро ты именинник будешь, Петруха,— угощение нужно предоставить — знаешь какое... ждем! Придем, брат, и незваные: не думай ты этого.

— Штоф с косушкой куплю,— отвечал Петруха.

— Этакое-то угощение для именин и звания не стоит; это и губ не помочит: вон ты толковал из плотников своих кого позвать, то народ петой, ну, да и мы не прочь почтение тебе сделать по-расейски. Тут не то бы что, а полведром только-только удовлетворишь.

— Полведра много, лопнешь.

— Эй, гляди, паря, только подрумянишь.

— Да вон подожди — посмекаю: хватит ли еще капиталу-то на это? — обещал Петруха и смекнул по-своему.

За два дня еще до именин он уже шастал по квартирам, вызывал хозяев и прямо просил о пособии.

У одних говорил с тою привычною смелостью, которая чуть не приучила его самого верить сочиненному:

— В деревню иду: пачпорт надо выправить, а денег нет, хозяин заперся — не дает, обижает, и в квартал ходил жаловаться, да не слушают; совсем хозяин обижает, — пособите, ваше сиятельство! Вот в десятом номере полтинник дали, в пятом рубль серебра посулили,— врал Петруха и кое-где выманивал, уходя от других с более или менее надежным посулом.

В смежном номере он уже говорил почему-то новое и путал себя до того, что решился говорить остальным одно:

— Мир в деревню требует[13] — оброки тяжелые; одеться не на что; ехать надо — пить-есть дорогой, дома пособие требуется; хозяин

обижает; пять целковых пособрал: еще не хватает трех либо четырех...

При последних словах Петруха низко кланяется: благодарит за выдачу и внимание, и раза по три в день надоедал посуливишим, засылая кухарок, которые все-таки состояли в некоторой зависимости от него и боялись даже его присмотру, справедливого и всегда необузданного гнева.

Вследствие ли собственной назойливости или некоторого даже предстательства и влияния кухарок, но только Петр Артемьев собрал столько денег, что в день именин из конуры его то и дело вылезали четвероногие, которые долго бранились под воротами и некоторые доходили до дома, другие валялись на тротуарах (догадливые и толковые выбирали места поглуше), а некоторые подбирались в часть.

Однако сам именинник, по русскому обыкновению напившийся прежде и больше всех других, еще до конца заветного полуведра улегся спать, и никакие силы не могли поднять его с места: он как будто опился и замер.

Поутру Петруха опохмелился, и так крепко и задорно, что, когда позван был к управляющему для объяснения по некоторым беспорядкам, замеченным в прошедший вечер и ночь, он разговорился и, против воли, рассердил управляющего.

— Отчего трудовому человеку на день ангела не выпить? — один раз в году бывает — надо выпить покрепче. Вот от вашей милости завсегда пьяных провожал с лестницы. Сами вы, Иван Тимофеич, в контору посылаете и пьете: раз и вашу милость на лестницу волок,— рассуждал Петруха и не чуял грозы.

Управляющий вспылил, сочтя все его заключения за обиду, и закричал:

— Да тебя, чухну полосатую, кто об этом спрашивал?

— Вы спрашивали.

— Да ты пьян, дурак! еще не проспался.

— Вы, что ли, напоили? а я не дурак да и не спал.

— Ты еще поговори со мной, погруби! — кричал управляющий и ругался.

— Я не грублю, Иван Тимофеич!

— А зачем вчера сбирал по квартирам деньги?

— Я не сбирал никаких денег по квартирам, что вы бога-то гневите, Иван Тимофеич?

— Зачем врал, что в деревню идешь и хозяин обижает, и на меня пожаловался везде, как будто подослал кто?!

— Я ничего не говорил и по квартирам не ходил,— стоял на своем Петруха.— Не обижайте, Иван Тимофеич: обидеть нашего брата легко — да душе каково.

— Ты вот мне еще душу-то трогай, дурак!

— Я не дурак! еще меня никто так-то не называл... Не знаю, кто из нас дурак! — бухнул сдуру Петруха и повернулся, чтоб идти к дверям.

Но управляющий дома уже совсем обиделся: он топал ногами,

кричал, бранился чаще и сильнее прежнего и наконец назвал его даже запойным пьяницей.

Последнее слово почему-то особенно не нравилось Петру Артемьеву. Он повернулся назад и подхватился фертом:

— Коли не угоден чем, Иван Тимофеич, так лучше пачпорт и расчет пожалуйте: мы других местов поищем.

— Да я и без твоей просьбы это же бы сделал — не думай ты!

— А старались угодить и все, значит, рачение, к примеру, клали: на, мол, что можем!.. а не то что... А выпил наша милость и не угодил вашей милости! Обидеть легко,— нашего брата легко обидеть,— продолжал рассуждать Петр Артемьев и вывел из терпения слушателя.

— Ступай же вон, вон скорей!

— Уйдем, Иван Тимофеич, будьте не в сумлении, и в деревню уйдем, коли надо будет. Вот что, Иван Тимофеич! Прощения просим, пошли вам господи всего хорошего! — бормотал Петруха тем жалобным голосом, которым любят говорить притворяющиеся обиженными и как бы желая этим тронуть и смягчить взволнованное сердце мнимо обидевшего.

В конуре дворницкой Петруху уже ожидали некоторые из товарищей, желающие и надеющиеся опохмелиться.

Петруха, войдя к ним, махнул только рукой и сказал коротко:

— Надо места нового искать: обижают!

— Что так, Петруха?

— Жисть не мила. Ничем не угодишь: все не по них.

— Али гонят?.. хозяин, что ли?

— Сам пачпорт попросил — и расчет: никто не гонит. Меня не прогонишь, коли сам не захочу — не таковский. Местов мне будет всяких, не то что эка дрянь, невидаль!

— Надо искать, Петруха! Когда, завтра, что ли, выгонят-то?

— Меня не погонят! я сам погоню. Давай лучше выпьем, братцы: три рубля еще осталось.

Петруха на этот раз не врал только в последнем случае, потому что вечером был опять в омертвелом состоянии, как и накануне, а в тот же день не прогнали его со двора потому только, что не могли не только добудиться, но даже и вытащить из дворницкой.

Поутру, на другой день, он был уже без места, и оставался в таком положении целый год. Чем он существовал во все это время — решить трудно.

Видали его земляки и на Сенной, подле воза с поросятами и мерзлою дичью, иногда с кулечком, другой раз с другим каким-нибудь узелком под полой; видали его и на толкучем Щукина двора и Апраксина переулка с старой шпагой, мундиром, сюртуком, книгами, сибиркой, бритвами, палочками сургучу. То он вдруг появится у ящика, в котором за стеклом лежало много всяких мелочей, то вдруг пропадет и ходит снова — с парой сапог и калошами, то он башмаки по дворам разносит, то вдруг выводят его из полпивной или кабака и перемещают из одной *сибирки*[14] в другую на веревочке, то он в новом полушубке попадался, то опять в рваном, то в шляпе пуховой, то опять в картузе

с разодранным козырьком. Наконец совсем пропал он и с Сенной, и с дворов, и с толкучек.

Земляки решили тем, что, должно быть, Петр Артемьев совсем промахнулся и подъели его безнадежно все досужества, все перекупки, перепродажи и т. п.

— Не спуста же парень заходил в артель да все плакался, что в Питере совсем жить нельзя, как-де ни ладить (думали земляки).

— Сказывал — дорога-де мне дальняя, тяжелая, невольная лежит — долго, мол, братцы, не увидимся. И таково-то говорил жалостно, и руками подпирал голову, и волоса на лицо спускал. Звали выпить — «нет,— говорил,— не начинал в артели и кончать не стану»,— какого-то Мартына обругал и Луканьку нашего прихватил... Стал ходить вдоль избы и все что-то урчал, и все ругался, а руками махал, а тут и пошел со всеми целоваться. «Простите,— говорил,— не ругай меня, артель, не бранил-де я вас, а не сжилось в ней — стрясся такой-де грех: сам причина. Лежит мне теперь путь и тяжело будет!» Ушел от нас, да вот уж не видали почесть две недели (а то чуть не каждый день заходил); а узнать, где, мол, и как,— ума не приложим. Знать, ушел в какое неладное место! — решили его бывшие сотоварищи и сокашники и пожалели душевно, однако напрасно.

Петруха в долг да впоколоть пробирался в деревню, и действительно, дорога эта была ему и трудна, и решительно несподручна. Долго — втрое дольше прежнего — был он в дороге и едва-едва достиг до того, что увидел и село с погостом, на котором похоронил когда-то старика дедушку и старшего брата и на котором также, вероятно, похоронили без него и старика отца. Увидел и знакомый бор, на котором сбирал он грибы и ягоды, и речонку, в которой купался и купал сивка и буланого, и Бараново в стороне, в котором — когда-то давно — мужики поймали баловливую попову кобылу и, привязавши к хвосту длинный шест, пустили передом в овин; билась лошадь вперед, и не пустила палка, а назад попятиться не догадалась скотина до той поры, пока не привели самого хозяина. В воображении Петра Артемьева рисовались и отрубленные хвосты бодливым коровам, и материны рыданья при прощанье, и толстый бурмистр, запарившийся в бане, и дедушкины похороны, и высокая шапка, свихнутая набок, и сладкая кутья из яшного пшена с медом, и жаркая черная баня, в которой так хорошо париться, и дядины наказы, и его толковитость, и то уважение, с каким обращалась к нему вся окольность...

«Идти ли, полно, к нему навязываться? — думал Петр Артемьев.— Облает, обессудит: крутой обычаем... Али пойти? доводилось же так и в Питере: придешь — думаешь, ругаться станут, а ничего — словно и не виноват, почтение отдадут, словно и не знают твоих провинностей и ровно бы не ты их сделал».

С такими рассуждениями он подвигался все дальше вперед — ближе к родной деревне, которая казалась ему сначала вдали одним черным, большим домом, который несколько раз скрывался то за го-

рой, то за лесом и наконец выставился совсем на глаза рядом изб, над которыми различил он и скворешницы, а подле деревни — бани, овины, кузницу, сотского изба с краю, напротив их домишко, дальше дядин...

У Петра Артемьева защемило сердце.

V

ДЕРЕВНЯ

— Здорово, батюшко Петр Артемьич, здорово! — говорил дядя, вытащившись из-за стола и сухо обнимая племянника, который мгновенно приободрился и начал уже спокойнее и радостнее глядеть на свет божий.

— Ну, что? как там Питер-от ваш — богатый город? — продолжал спрашивать дядя, видимо любопытствуя знать о столице и желая приласкать гостя.

Так, по крайней мере, подумал и решил Петр Артемьев.

— Не говори ты мне о эком городе, не вспоминай его — глаза бы не глядели!

Племянник махнул рукой.

— Что, брат, больно рассерчал на него? али и у тебя тоже, как и у других наших ребят, что в осенях вернулись. Пришли, братец ты мой,— и начали загибать тут бабам-то да мужикам-домоседам: мы-ста и на свет-то глядим инако, и денег берем много. Наши-то домовики слушали да ахали, а денег-то ребята им не давали: жизнь, мол, дорога́ там. Сталось на моем, что в Питере, мол, живал, на полу сыпал и тут не упал... Так ли небось, племянник дорогой?

— Что тебе, дядя, врать спуста-то: всю перед тобой, значит, правду скажу. Одно, стало быть, горе было: хозяин, дядя, невзлюбил.

— Знаю, племянник дорогой! Знаю так, что, коли хочешь, все расскажу тебе — все как по пальцам размажу: перво-наперво, видишь, ты у одного жил, и ладно бы жил — толково жил, пока не надоскучило. Что-де, думаешь,— все ребята как есть вольные, куда надумал, туда и пошел. Чем же, мол, я-то матери пасынок? Немцев-хозяев, вишь, хвалят молодцы: пойду-де к ним. На то моя добрая воля — никто не указ. Ну, вздумал, да и пошел, и принял немец, и живешь у него. Да чистоту, вишь, немцы-то любят; а где тут за собой на всяком шагу смотреть, да на всякий-то, мол, день и мыла не напасешься. А шут, думаешь, с ним! ребятам русские хозяева по полтиннику, где и по целковому дают на гулянку, а тут тебе немец отвалит двугривенный — и раскутись на него, как знаешь! Не так ли я говорю, Петр Артемьич. племянник дорогой?

— Чтобы тебе молвить — не соврать: не живал, дядя, у немцев. Хоть наших ребят спроси — и не думал.

— Ну, да ладно, пожалуй: я ведь и в долг поверю. Не живал ты у немцев, так, чай, к нашему какому нанимался?

— К Трифону Еремеичу ходил и жил у него: не стану врать, дядя.

— Ну, да хоть и... к Михею бы какому Савичу. Что же, поди, прогульные дни вычитал? Коли выбрал ты все деньги свои, не давал вперед на гулянки?

— Раз дал, дядя, да после, вишь, другие-то ребята сбили, из-за них и мне не давал, а то завсегда на почете был.

— Ну, а те, стало быть, на тебя клеплют, что из-за тебя-де хозяин отказывать стал: у вас и идет круговая! Вот ты и стал стонать да охать: и этот-де хозяин обижает,— надо другого приискать. Тут, мол, тебе не токма-де чаю в харчевне, и водка-то на диво станет. Заходили, поди, к тебе земляки, так и угостить их нечем было: посидели с тобой, помолчали: один, поди, на балалайке тряхнул. Али гармонию держишь?

— Балалайки, дядюшка, придерживался: не солгу ни в чем. Кори ты сколько хошь, сколько душе твоей надо: все буду слушать; обидного тебе слова не молвлю.

— Корить тебя что мне? А обидного слова от экого наянливого человека мне не на диво слушать. Отступись ты, провались совсем!!

И старик дядя, махнув рукой, замолчал.

Молчание это коротко было знакомо семье (которую — надо признаться — держал старик, что называется, в ежовых рукавицах), понятно было молчание это и для племянника. Старик, видимо, шибко сердился, и только непонятным казалось одно, что он не топнул ногой, не кричал до перхоты и кашля.

Он медленно вытащился из-за стола, сильно и громко крякнул и медленно пополз на полати.

Все это делал он при общем гробовом молчании. Гораздо после нарушилось это молчание им же самим. Старик говорил:

— Дали бы вы ему, бабы, поесть, что ли? — авось дядиным-то хлебом-солью не поперхнется...

Но Петру Артемьеву, кажется, совсем не до еды было: горячим варом обдавало его лицо, и горело оно словно на ветру, после жаркой бани. Неловко ему как-то и стоять у стола: рук и ног девать некуда и бороду бы спрятал... А тут еще дядя с полатей уставился на него своим строго-насмешливым взглядом, и концы бороды подбирал в рот и обгрызывал их, и все смотрел пристально на нежданного гостя.

«Не с того дядя начал! — думал этот.— Сначала-то бы и ладно, и по мне бы, а тут круто, круто пошел. Кажись бы, лучше, кабы лаской-то донял. А то тут тебе и слов не приберешь — все одно да одно. Ну, знамо, худо дело: сам вижу. Кабы знал я это, в Соснине бы лучше остался, в работники бы, что ли, какие нанялся...»

— Не проси, тетушка! — говорил уже вслух Петр Артемьев, бессознательно усаживаясь за стол,— сыт еще от соснинских.

— Да не гневайся, Петрованушко! — не гляди ты на него, знаешь ведь: завсегда крутой был, а теперь совсем стал грублив, и не приступайся. Все не по нем,— шептала старуха тетка.— Как ты ушел в Питер, так словно кто его пополам переломил: такой-то стал неповадный, все урчит, все не по нем. Ох!.. крут на старости стал, больно крут!..

— Проси его, старуха, проси — кланяйся! — заговорил дядя с полатей.— Столичный народ любит повадку, шибко любит: на то

ведь и жил там ровно четыре года, а нас, стариков, и в грош не ставил, и за родню кровную не считал, потому что сам лучше. Всех мой племянник лучше, и меня лучше.

— Ох, не казни ты его, Селифонтыч, не казни своей немилостью: вишь, на парне и лица-то не знать стало. Брось ты покоры-то эти! — не слыхали бы мои уши, не видала бы лучше срамоты на нем. Родной ведь — племянник по тебе...

Старуха давно уже заливалась слезами. Сочувствуя ей, нелегко было удержаться от того же и другим бабам; крепился еще виновник печали да дядя его, немедленно приказавший быть слезам за переборкой, на своем месте. Он не любил шутить и стал действительно крут и сварлив, вздорен, капризен, как все старики, умудрившиеся опытом жизни и совершенно забывшие об увлечениях своей и чужой молодости, ища всюду только одного почтения к себе и беспрекословной полной подчиненности. Они как мухи, которые сильнее брюзжат и более кусаются перед скорой зимней спячкой. Законно ли это и разумно — семья старика рассуждать не смела и не находилась; а племяннику и подавно не было до этого дела. К тому же он совершенно был убит и озадачен.

В избе опять все замолчали, кроме лучины, которая продолжала шипеть, трещать и стрекать угольком в воду лоханки.

Петр Артемьев к расставленным яствам и не притрагивался, а сидел, потупив голову, ворочая ложкой, чашкой, сукроем хлеба. Дядя начал первым, после долгого неприятного, убийственного затишья, и опять не так, как бы желал и смел ожидать племянник.

Дядя говорил, как будто про себя и ни для кого другого:

— У нас на днях свадьба наладилась: Паранька Стрекачиха за Пузанова старшего парня выходит, и знатная парочка — баран да ярочка. Михайло-то Пузанова славный вышел: у отца в лавке правая рука. На Макарьевскую батько посылал — так сам, слышь, сказывал, так бы не съездил: подобрал таких красных да пестрых товаров, что целую округу собери мужиков да баб наших — лучше б не выбрали. Ну, и невеста — коли в хорошие руки попадет — бабенка с обхождением будет: порукой семья неопозоренная.

— Да тут в осенях вот еще что было,— продолжал дядя несколько погромче и уже прямо обращаясь к Петру Артемьеву.— На братниной могиле крест поставил: совсем, вишь, без него стояла, да и дождями-то, знать, поразмыло ее: насилу распознал. Вот обо всем попечение имеем, мы-то, мужики деревенские, а и детки бы есть, да вишь: деткам-то некогда, что ли?..

За этими словами из-за перегородки послышался новый вой и новые всхлипыванья, которые перестали было, пока старик говорил вначале.

Не обратив на это особенного внимания, он призамолк ненадолго, дал угомониться причитальщикам и начал снова, все-таки прямо обращаясь к Петру Артемьеву:

— Мать твоя по миру было побираться стала и совсем в это дело втянулась. Я и так и сяк ладил: и к себе в избу брал, и других просил. Вразумлял всяко: нет, говорит, никого собой тяготить не хочу,— луч-

ше сама, говорит. Тоже, знать, и на ее дурость закон не писан, и ей никто не указ, в сына, надо быть, вышла.

При этих словах Петр Артемьев уже не мог выдержать вынужденного упорства в молчании.

— Где же теперича матушка-то? — робко спросил он у дяди, но получил ответ от старухи тетки, выскочившей из-за перегородки в сопровождении остальных баб.

Тетка, сквозь слезы и рыдания, успела проговорить немногое:

— В Овсяниках, у Матрены... гостить пошла... на неделю, мол... а там опять к попадье.

— Сходил бы, добро, повидался: всего-то никак версты три! — опять заговорил дядя тем же полусердитым тоном, хотя уже и заметно помягче.

— Сегодня-то переночуй у меня: милости просим! Только извини ты меня: на щите придется; пуховиков-то не держу и не привыкал к ним. А то, коли хошь, на полати взлезай: у меня полушубков много. Собирайте, бабы, ужинать: пора!

Сказав это, старик слез вниз, сел к столу, задумался и не говорил больше до тех пор, пока не было все готово.

— Водку-то пьешь? — спросил он племянника.— Иные, вишь, для задору, как к ложке, так и за рюмку: спорчей, слышь, яства-то!

— Нет, спасибо, дядюшка, не хочу: совсем отвалило; не стану теперича... и опосля не стану.

— Ну, да чего — нет? держу ведь: есть про всякий случай. Наша водка дешевле питерской, похуже, может, только — не так шибко разбирает. И опохмеляются-то от нее квасом; а другие так прямо берутся за работу и все рукой вымашут, весь хмель этот. У нас ведь нет этих запоев, чтоб года-то по три... таких нет!

В половине ужина, начатом при прежнем всеобщем молчании, старик как бы поразвеселился; пошутил даже один раз с любимой невесткой и тем ободрил и племянника, и плаксивых баб. Все заметно повеселело.

В конце ужина он опять заговорил с Петром:

— Ты на меня не сердись, Петр Артемьич.

— За что стану сердиться? — на разум ведь...

— Я тебе родной, дядей зовусь. Коли что и не по мне, и за сердце хватает, так опять-таки оттого, что ты племянник мне доводишься. Вот тут и пошло опять такое...

— Знаю, дядюшка, как не знать? Знаю: все это на душу принял.

— И дело — и баста! Сегодня уж и толковать перестанем, а завтра все и порешим, и к матери сходишь, и к брату на могилку вместе заберемся, вон и баб прихватим. Да нет! — лучше без них, путем, а то голосить начнут — и не удержишь.

Под влиянием последних дядиных ласк свидание Петра Артемьева с матерью было скорее трогательное, чем безнадежное и тяжелое.

Старуха, по обыкновению, жаловалась на бездолье, на дядю и его семью, хвалила Матрену, попадью и других добрых людей, бранила своих баб, с которыми, говорила, и не видается; скорбела, что не может приласкать внуков; плакала при этом и обнимала сына.

Про отца и его кончину Петр Артемьев не мог узнать от матери: она отвечала слезами, и одними только слезами с присоединением однообразных и отрывочных ласкательных слов, которые могли столько же относиться и к покойнику мужу, сколько и к вернувшемуся с чужой стороны сыну. Старуха не жаловалась на него и даже пеняла дяде за то, что тот называл Петруху пьяницей.

— Ну, как тебе не пить? — говорила она.— Большой ведь стал. Кто нынче не пьет: вон наши деревенские свахи еще оговаривают за женихов, когда спросят, не пьет ли де парень? Кто, мол, нынче толкует этак; спрашивали бы лучше: во хмелю-то каков? А то пьют,— все пьют. Один только дядя не пьет, и то потому, что крут, неповадлив, да и у того завсегда есть водка в ставце,— и проч.

Старуха рассказывала долго и много: и о том, как в Тотьму ходила, и о том, как поповы ребята хорошо священное поют, и как у господ о святой и о святках речи сказывают и получают за то где гривенничек, а где и двугривенный, и о том, как у Матрены ребята вечор поссорились да чуть не перекололи себе глаз веретенами, как об них мать целый голик истрепала, и проч., и проч.

Петр Артемьев слушал, все слушал с большим вниманием, и от этих рассказов у него на душе становилось почему-то легче. Он успокаивался и предлагал матери вернуться к дяде, но получил решительный отказ. Старуха соглашалась вернуться в свою избу и жить по-старому, но Петр Артемьев решительно не мог служить ей этим и отклонить мать от побирайства: она привыкла и слышать не хотела об иной жизни, тем более зависимой и подневольной. С своей стороны, мать советовала было сыну наняться к кому-нибудь из овсяниковских, чтобы быть ближе к ней, но Петр Артемьев обещался во всем подчиниться и слушаться дяди. Вместе сходили они на погост, на могилу большака. Здесь старуха выла и жалобно причитывала.

— Каждую сорочинку так-то вот все делаю,— присовокупила она в назидание сыну.— Как бы ни забрела далеко, и уж знаю время и приду повыть, и в Митриевскую, и в его день ангела-то, и в свой, и в обе сорочинки... Крестик-то был,— врезать велела. Хотела было попросить молитву прописать, да некого было. Ну, уж, мол, думаю, Петрованушки подожду: он ведь грамотей, напишет. Что, мол, я к чужим-то приставать стану.

Старуха не забыла вспомнить и о Параньке, хотя самому Петру Артемьеву и в голову не пришло спросить про нее.

— Паранька-то твоя сговоренкой ходит; за смиренство, слышь, берут. Об тебе-то, моем ясном соколе, и забыли. Пузанов берет за сына, за Михайлу.

— Сказывал дядя; мне-то что?

— Как что, разумник: разве уж и напостылела?

— А зачем выходит, что не ждала?

— Ну, как тебя, батько, ждать? девичье дело. Четыре зимы ведь не был, где тут и ей-то?

— Кабы захотела — дождалась бы, ни на весть какой долгий век, не умер.

— Знамо, не умер, да поди ты — сладь с девками! Михайло-то, бают, ей больно полюбился.

— Не драться же и мне с ним: пущай! — решил Петруха и слова не говорил больше о Параньке со своей матерью.

Встретив сговоренку с ведрами на возвратном пути к дяде, он как бы не узнал ее и прошел было мимо. Но Паранька сама остановила его вопросом:

— Никак ты, Петруха?

— А то нет: вглядись, коли не ослепла.

— Давно ли из Питера-то пришел?

— Тебе-то, вишь, больно нужно знать: не скажу!

— Давно я тебя не видала, и весточки не присылал о себе напоследях. Пытала выспрашивать, словно в воду канул.

— Небось не помер — жив! На вот колечко-то, что поменялись, и мое-то отдай!

— Не надо мне своего, и твоего не отдам: потеряла.

— А это что на мизинце-то?

— Это не твое: твое-то потеряла.

— Ну, смотри, прибьет Мишутка — станешь знать.

— А пущай бьет, что мне?

— Отступись ты, чертовка! не глядел бы я на тебя. Ишь какая корявая стала, словно на роже-то черти горох молотили!

С последними словами Петруха оставил девку и всеми мерами старался не встречаться с нею, хотя это и трудно было, потому что один раз Паранька пригласила его в поезжане с своей стороны, а в другой подослала просить его в дружки.

— Он ведь грамотный! приговоры-то славно скажет. Питерщики завсегда хорошо это делают.

Но Петруха не соблазнился на лестные предложения в дружки, не хотел даже быть ни поезжанином, ни поддружьем. Когда ему поставили на вид, что отказаться от приглашения на свадьбу — все равно что обругать и кровно обидеть пригласивших, он обещался прийти горшки бить и оконные стекла. Намекнул даже, что и дегтю прихватит с собой ворота мазать. Но его отговорили, и с величайшим, впрочем, трудом сделали это знакомые ребята.

Между тем Петр Артемьев продолжал жить у дяди, исполняя по дому кое-какие подручные и легкие работы, потому что для остальных старик всегда держал батрака, которого выкупал, за свои деньги, в трудные времена рекрутства и обязывал за это жить у себя зимой, отпуская летом для летних потреб.

Летние работы старик исполнял разом — помочами и, таким образом, не обременял ни домашних, ни чужих, ни себя самого. Племянник в его хозяйстве был почти лишним, хотя и не отягощающим нахлебником. К тому же он старался показать все свое рвение и как будто скучал неимением работ и, следовательно, средств угодить и отблагодарить дядю за теплый приют и кусок хлеба. Старику это нравилось, и он радовался и был доволен сколько самим собой, столько и плодами его влияния на исправление питерщика, свильнувшего с большой на проселочную.

Часто, очень даже часто старик крепко задумывался, глядя пристально на племянника, и как будто придумывал что-то важное и разумное. Наконец однажды вечерком, при полном сборе семьи, при матери племянника, он сказал последнему:

— Надо бы тебе, парень, о себе-то подумать хорошенько: у меня жить — не кручинну быть, не объешь — не обопьешь, не отяготишь. У меня не только про тебя, да и на твою старуху хватит. Достатками своими не хвастаюсь; а не обидел бог: сам видишь и знаешь. Да за тебя-то боязно: облежишься, обленишься, хуже тряпицы рваной станешь. Попридумал бы, попригадал сам. Я-то смекнул и так, и эдак.

— Надо, дядя, подумать. Что говорить — надо.

— По мне,— надумал я,— в плотники тебе идти в артели; так, вишь, не умеешь ты этого делать. Опять, гляди,— сблагуешь по-старому.

— То-то, дядя, опять не сблаговать бы и есть!

— Вот видишь — и за себя мы не стоим, и надежи не кладем на себя, а где уж другому-то за тебя ручаться?

— Где другому ручаться? — никто не поручится: всяк по себе.

— И я так-то думал да мудрил — и ничего не выходит. А уж это дело законом идет испокон века, ты еще и на свет-то не казался, да и дедушка-то твой, да и дедушки-то твоего дедушка.

— Да так, так, дядя! Святые твои речи — никто не посмеет спорить.

— Вот ты и разумно бы говоришь, а придумать не придумал сам. Я-то опасался, признаться, маленько. Скажут, мол, что дядя гонит тебя, скупой стал; седина-де в бороду увязалась, и бес в ребро влялся. Так и не начинал говорить, да и это по любви, от сердца. Все, думаю, не в мать же парень, не станет ругать да корить меня по перекресткам, а толково рассудит. По мне — живи у меня хоть до смерти.

— Зачем жить до смерти? Работать надо: на то руки, ноги даны. Научи! Приставь голову к плечам!..

Петр Артемьев встал и пал дяде в ноги.

— Наставь на правду-то... плательщик ведь по гроб,— говорил он и опять пал в ноги.

— Вставай-ко, вставай — и так, просто потолкуем. Эдак-то больно дорого платишь за советы мои, я ведь и даром. Грамоте-то не забыл?

— Где забыть? и письму знаю, и книгу какую хошь прочту.

— Ну, лишь этим обрадовал. Хоть это-то не пропил. С этим можно уладить, а то и не думалось, и не разгадывал толком,— твердил дядя про себя и задумался надолго. Соображал, соображал и наконец решил он таким образом:

— Ребят рожают много; в Питер уходят, и повестить некому, некому и письма написать. Брат так и умер темным и окроме кута своего да голбца ничего не знал; хоть ладно батюшку покойного бог надоумил еще тебя-то выучить и ты-то не забыл. Вот я как надумал, и, кажись, ладно: надо тебе избу-то свою поправить, на это я тебе дам лесу, да-

ром: у меня много. Вот и батраку велю пособить; сам ты тоже это дело знаешь — не учиться. Мать-то возьми, не шлялась бы по подоконьям-то: только срамоты набирается и на свою, и на мою, да и на твою голову. Не пускай ее в побирайство: неладно это!.. Сама-то она и рассудить не хочет; в глаза я ей это говорю, и все говорят. Избу-то отделаешь, мы и дадим знать и на сходках мирских, и так по селу, на торгах. Хоть, пожалуй, и шапку на палку повесишь и пойдешь вдоль базара между народом и станешь кричать: «Не хотите ли де, православные, ребят отдавать грамоте учиться: приводите на зиму!» А чтобы не трогали тебя сотские, я берусь и исправника, и станового попросить и денег на книги дам. Подумай-ко, да и принимайся за дело, с молитвой. Так ли?

— Чего, дядя, лучше! отчего не так? Ишь как ты ловко надумал; мне бы во сто лет не пришло так-то. Палата же у тебя ума-то, дядя, эка палата!..

— Ну, да что хвалить-то, что? не годится хвалить своего, осудят сторонние! — мог только сказать старик, но видимо был доволен и похвалами племянника, и собственной выдумкой, и толком, каким наградила его природа и долгая безупречная жизнь.

По совету и при помощи дяди, изба поправлена, сделалась по-прежнему годною для жилья. Приблизилось желанное время ярмарки, собиравшейся в ближнем посаде [15]. Понесся оттуда на всю окрестность громкий гул и бестолковый говор съехавшегося народа с телятами, мукой, медом, поросятами, всякого рода дичью, бураками, ведерками, хомутами, шлеями и пряниками, и проч., и проч. Подторжье было людно и шумно; ярмарка и шумнее, и люднее, особенно после той поры, как прошли образа, утих колокольный звон, и начался самый важный развал и разгар ярмарки.

В эту пору над головами базара выставилась на палке косматая шапка-треух, которая медленно подвигалась вперед. Ближайшим кучам базарного народа слышался из-под этой шапки громкий разносистый припевок, обращавший на себя общее внимание. Некоторые спешили остановить и расспросить кричавшего. Другие сторонились и опять принимались кричать и громко спорить между собою.

— Что, Петруха, зеваешь? али корова либо лошадь пропала? какой шерсти-то? уж не буренка ли дядина? али буланый? — сыпались вопросы со всех сторон на кричавшего, ставив его в необходимость повторять свои предложения всякому порознь.

Одни молчали на это, нетолково придакивая, другие извещали его, что детей не давал бог, не упуская при этом случая подшутить над молодухами. Иные отвечали короче:

— Ладно, молодец, будем знать! — ступай, сказывай дальше!..

Снова сторонился народ, снова поднимался над головами и массой базарного народа косматый треух и выкрикивал громко и нараспев голос Петра Артемьева свой длинный припевок:

— Не надо ли кому ребят учить: читать, писать и по-гражданскому, и по-церковному? Приводите в деревню Судомойку на зиму. Дешево берем!

VI

УЧИТЕЛЬ

Базарный выкрик Петра Артемьева не пропал даром; по деревням понеслись лестные для него слухи, что, дескать, в Судомойке один молодец из питерщиков грамотой маклачить хочет и избу на то построил новую, и ребят учит, и письма пишет кому надо. За науку всем берет: и мукой, и пшеном, и капустой, и солью, и маслом. Лен — так и тот берет: сырьем и в нитках. Судомойковским барин крепко-накрепко наказал всех ребят отдавать к нему: за тем и бурмистру велел смотреть, и сотского по избам гоняют. У учителя полна изба всяким народом: и девчонок даже берет — есть и такие.

Подобные слухи, переходя из избы в избу, из уст в уста, поднимали, шевелили домоседство и закоснелость деревенского, соседнего Судомойке, православного люда.

Поднималась и приходила к учителю вдова-старуха, которой спалось и грезилось видеть своего Андрюшку грамотным — таким, чтобы он читал в поученье мирянам и часы [16] перед обедней, и Жития у дьячка в избе по воскресным утрам и чтобы истово и громко носился его голос по избе, услаждая и вразумляя слушателей, и плакала бы, горько и слезно плакала бы при этом она, сердобольная мать такого толкового, разумного и грамотного парня.

Приходила она в избу учителя, и кланялась за парня, и его толкала вперед:

— Вразуми! возьми ты моего болезного-то на ученье. Толков ведь, больно толков: сам змейки делает, балалайку, разумник, сладил из писарских подтяжек, из ниточек медных.

— Давай! Берем всяких.

— А почем тебе дать за науку-то? — робко спрашивала мать у учителя и слезливо смотрела ему в глаза.

— Всяко берем: и деньгами, и житом. Да где, чай, у тебя деньги? — спрашивал учитель.

— Какие, кормилец, деньги? Как ни помер покойник, почитай, и на глаза не видывала денег-то ни копейки.

— Ну, так житом давай, коли денег нет,— и жито пригодится: овса, муки...

— Будет, батько, будет; занесу утре. Не бей ты только парня-то, не хлещи до слез. Боязкой ведь, храненой! Не напужай: обольется!...

Учитель уговаривался, брал парня и принимал других просителей.

Приводил и сотский многих ребят, в сопровождении ругавшихся и неутешно плакавших матерей; и грозил им сотский своей палкой, и про березовые веники напоминал, и про станового. Еще больше и сильнее плакали и бранились бабы, хватаясь за ребят; еще громче и сильнее стучал сотский своим падогом, но все-таки

устаивал на своем и исполнял начальничий и помещичий приказ.

Приходил к Петру Артемьеву и несчастный отец баловников-ребят, отбившихся от рук своими шалостями, которые особенно участились в последнее время. Жалобы на шалунов слышались чаще, приносились со всех сторон. То ребята в овинах затеяли картофель печь — того гляди, подожгут не только овин, но и деревню. То на рога коровам пустые лукошки привязывают; то длинные шесты к хвостам; то вилашки у баловливых свиней поснимали и до упаду ездят на них, гоняют по полю. То кошек чуть ли не всех побросали в пруд; синяков девчонкам наделали. Все одни и те же ребята начинают, все дети того же несчастного отца, который и к розгам прибегал, и словами донимал, и все-таки не видал толку и исправления; ребята, как на зло, еще хуже дурили: стали на старух наскакивать и шлыки [17] сбивать — сбили шлык и у бурмистровой матери. Тут уже не вытерпел отец: развел руками, посек ребят; побранил, сколько мог, крепко и решил отдать их в науку, авось, дескать, там поотвыкнут, а то, того гляди, своей спиной придется скоро разделываться, отвечать за ребят.

Велел он им скорее одеться и повел из избы; замерли у ребят сердца, словно перед страшной, но неизбавной бедой, до того, что не раз на пути порывались наутек, за спиной отца, опять к другим деревенским ребятам в компанию. Отец переловил их и все-таки устоял на своем и привел к знакомой для деревенских мальчишек судомойковской избе учителя, откуда неслось на всю деревню нескладное завыванье десятка детских голосов, накрываемое густым напевом руководителя.

Одни голоса побойче, словно трещотки, тянули скоро и опережали остальных и даже самого учителя, густой голос которого сопровождался ударами по столу.

Он сидел в переднем углу, косматый, с толстой линейкой в руках, которой, может быть, сейчас только нахлопал на баловливой ладони десяток, а то и, гляди, дюжину горячих, невыносимых от боли паль, которые так и жгли всю руку и заплечья провинившегося. По обеим сторонам учителя, вдоль стола, уткнув головы в раскрытые, изорванные и до неопрятности засаленные книжки, скучившись, сидели невольные жертвы — мученики. У средних торчали указки из лучины с острым концом и широким, красиво зазубренным верхом. Трое стояли на коленях в углу, подле печи: один из наказанных таскал из-под себя горох и украдкой просовывал в рот. Другому, более виноватому, досталась горшая участь: он поставлен был на дресву, которая больно впивалась в коленки, и виновный, тоже украдкой, разгребал ее по сторонкам. Над третьим виноватым подшутил учитель, поставив его лицом в угол и запретивши оглядываться! В противном случае его ожидали земные поклоны, от которых потом могла пойти кровь носом и головная неутешная боль.

Такова была ежедневная картина избы Петра Артемьева, крайне обрадовавшая несчастного отца и запугавшая и опечалившая его баловников-ребятишек.

Учитель призамолк; мгновенно затихли и певчие его, воспользовавшиеся отдыхом, чтобы пощипать и пощекотать друг друга и в свою очередь поместиться к печи, на дресву и горох.

Отец баловников говорил учителю:

— Вот еще тебе три парня в науку: совсем одолели. Пошугай их вволю, дери сколько знаешь и сколько хошь — перечить на стану: и веников навяжу, если велишь, даром, и дресвы наколочу, и гороху нагребу. Дери знай вволю, да шибче, хоть три шкуры спускай,— совсем одолели: вечор лошковской корове ни за што отрубили хвост. Уйму нет!.. А ну-ко, ну! поставь-ко и моих-то на дресву попервоначалу: я посмотрю!

Учитель рад был исполнить волю родителя, хотя и с большим трудом сделал это: новички еще не привыкли сразу повиноваться ему и спешить тотчас же подчиняться наказанию, как в воду — в омут — кидаться, в полной безнадежности и не видя другого исходу ни назади себя, ни впереди.

Отец полюбовался потехой и заговорил об условиях:

— Чай, ведь не даром берешь?

— Вестимо, не даром.

— Какое же тебе спасибо-то надо? я не постою. Отучи только ребят от баловства.

— Да вот барин за наших велел полтину давать в зиму и эти за полтину идут! — толковал учитель, стараясь вразумить отца, что берем-де и житом, а все бы лучше, если б деньгами уговориться. К тому же тут три парня и поторговаться можно.

— Деньгами, по мне, не за что платить тут. Ты вон, слыхал я, больше житом берешь, и с меня бери житом. У меня, вишь, ржи залишней много осталось, поделился бы, и не в тягость бы мне было. А деньгами тут не за что платить.

— С тебя надо деньги: мужик ты с достатком, с другого кого беру и не деньгами, а с тебя неподходяще.

— По гривеннику ведь тебе положить за парня, чай, мало будет?

— Это только на книгу хватит. А труды-то во што ставишь?

— Ну, еще кладу по пятачку на парня! так и выйдет по пятиалтыннику.

— Нет, эдак-то несходно; эдак-то ты сам лучше учи, а мне не надо: и этих ребят будет с меня.

— Постой, да ты постой, поторгуемся. Ну! по двугривенному за голову, и книги куплю сам!

Отец уже протянул пятерню, чтобы ударить по рукам и решить дело окончательно. Но учитель знал норов и упрямство соседних богателей и не подавался назад от назначенной цены в начале до конца сделки.

Мужик ломался, хитрил, сколько мог, придумывая придирчивые и несходные условия,— и не устоял, встречая, с одной стороны, устойчивость и упорство учителя, а с другой — вспоминая прежние и воображая себе будущие шалости ребятишек, за которые мог бур-

мистр рассердиться и ребяцкое дело отдать на мирской суд и расправу.

— Ну, ладно,— быть по тебе. Не стою! Только больнее хлещи ребят — не жалей шкуры! Мои ведь, доморощенные.

* * *

Окруженный голосистыми и шаловливыми учениками, Петр Артемьев мало-помалу привыкал к скучному и однообразному занятию учителя: целую неделю по утрам выпевал с ними букварь и псалтырь, терпеливо повторяя зады и медленно подвигаясь вперед. Зато, с другой стороны, он был обеспечен совершенно; для обихода у него на все был запас даровой, не купленный. Старухе его было легче справляться со стряпней: ребятишки-ученики, по очереди, и дрова кололи, и воду таскали в избу, считая даже эту работу за особенную милость, за награду, на перерыв, с неизбежной дракой, хватались и за топор, и за ведра. На праздник уходили дальние по домам, ближние расходились каждый вечер.

Так тянулась зима до той весенней поры, когда в деревнях начинаются работы трудовые, тяжелые, где и помощь ребятишек приносит свою очевидную пользу. Петр Артемьев, вследствие этих обстоятельств, на все лето прекращал ученье и начинал его снова поздней осенью, когда прогорят овины, затеются супрядки — засидки — по вечерам, катанья по праздникам (с 24 ноября) и незаметно подойдет 1-е декабря — пророк Наум, который, по крестьянскому присловью, наставляет на ум. В это день, по принятому и укоренившемуся обычаю, ученики и родители их обдаривают, чем могут, учителя.

Не удивительно, если на учителе к празднику появится: и армяк синий решемской, и полушубок из романовских ярок, платок на шее и рубашка из ивановского ситца, шапка новая теплая с выхухолевой опушкой галицкой (шокшинской) выделки и валяные сапоги макарьевские. Учитель, вследствие подобного обстоятельства, спешит освободить учеников до Николина дня от ученья. А там опять голосит с ними на всю деревню в целую зиму, до Пасхи, и, видимо, доволен собой,— и успокоился.

Летом у него другая работа, и вследствие тех благоприятных случайностей, что родина его поместилась как раз в той стороне, откуда выбирается народ на заработки в Питер, где и живет все лето, высылая к ярмаркам и базарам в семью посильные денежные пособия. К тому же и деревня Судомойка лежала недалеко от того заветного места, где выдавался этот «присыл» и которое простым народом, по старому обыкновению, до сих еще пор называется «испидиторской», редко «канторой» и почти никогда с прибавлением главного отличительного эпитета — «почтовой». Сюда-то ежедневно летом (особенно в праздники) целые кучи баб, урываясь от спешных полевых работ, приходят послушать, как читает испидитор, т. е. перечисляет деревни, осчастливленные присылом, при общем гробовом молчании всей массы слушателей.

Однозвучно слышатся бестолковые и толковые, забавные и остро-

умные названия деревень и погостов. починков и ямов, погорелок и сел, выселков и городищ, усадеб и займищ, поселений и сельбищ *, и проч. Следом за названиями деревень общая тишина нарушается выкриком однозвучным и коротким: «Кому?»

Следует ответ, и за ним или молчок, или простое: «Скажем!». или же веселое и радостное, с особенным выкриком: «Здесь — отложите!»

Счастливые выдвигаются вперед и должны расписаться; но как? грамоте научиться им и в ум никогда не приходило, а ребят за себя поставить — так еще когда-то приготовит таких грамотеев Петр Артемьев? Зато он сам всегда тут налицо, и в этом случае человек неоцененный, дорогой. Без него баба хоть целый день бегай — не нашла бы поручителя и расписчика. Петр Артемьев, за десять копеек медью, готов на услугу и распишется, и баба останется при деньгах, и он сам, писец, не внакладе. Из этих десяти копеек, в спешное время, перед ярмарками, у него легко составляется капитал до того значительный, что дает ему средства безбедно просуществовать лето и оставить залишнюю копейку для угощения того доброжелателя и благотворителя, который указал ему на этот род промысла и помог легко и просто, но выгодно пристроиться.

Счастье, видимо, улыбалось Петру Артемьеву, и даже присыл заметно ослабевал и чуть не прекращался зимой, когда питерщики самолично приходят в семьи, как бы нарочно около той поры, как учитель начинает заседки и ученье, которые только в праздник позволяют ему наведываться в почтовую контору для расписок: «по неумению грамоте и личному прошению» получателя.

В праздники любил Петр Артемьев забираться на клирос, откуда слышался мирянам его густой (по их выражению — *толстый*) голос учителя, носившийся под церковными сводами затейливыми, смелыми переливами. Этот же голос слышался прихожанами и среди церкви в Шестопсалмии и чтении Апостола и до обедни во время часов, и начинал гудеть истово и речисто во время раздачи кусочков просфоры перед концом обедни.

Петр Артемьев и уголья носил в алтарь, и воду горячую, и кадило подавал, исполняя церковные требы, и во всем помогал приятелю-дьячку. Пономарь-старик, терявший голос, не сходил с колокольни и только иногда носил подсвечник и тушил догоравшие свечи.

Во время храмовых праздников и в первые дни Рождества и

---

* Деревня — общее название всякого крестьянского жилья без церкви — видоизменяет, как известно, свои названия: называется *починком*, если перестроена на старом месте, по новому плану, после пожара; *погостом* — если имеет церковь или часовню, на задах огороженное место для усопших (далеко от сел); главное население составляют священно- и церковнослужители, а при них кое-какие избы сельчан; *выселком*, если деревня выстроена недавно, поблизости другой деревни, выехавшими обитателями последней; *городищем*, когда служит остатком и как бы памятником стоявшего когда-то на этом месте села, монастыря, даже города; *займищем* и *сельбищем*, когда было здесь в старину сходбище (поляна или площадь) для торгов, место, впоследствии застроенное жилыми избами; *ямом*, где жили в старину те обыватели, в повинностях которых состояла казенная гоньба,— и проч., и проч.

Пасхи Петр Артемьев ходил вместе со священником *со славой;* прибирал ржаные караваи и яйца и таскал их мешками и лукошками в телегу, на которой вечером развозил священство по домам. Он уже знал напевы всех восьми гласов и знаменной, и киевской, и троицкой распевы;[18] умел объяснять и значение слов: паралеклисиарх, эксапостилларий, сикилларий, ирмос, тропарь, кондак[19],— и толковал доказательно все Жития святых, которые, по старому заведенному обычаю, читались степенным мужикам перед каждой обедней в избе дьячка или дьякона. В Лазареву субботу[20] рубил он вербу, в светлое воскресенье[21] распоряжался расстановкой куличей и пасок; перед Троицыным днем[22] запасал березки для церкви и щипал целый ворох черемушного цвету. В день первого Спаса непременно приносил в церковь яблоки и смородину. Одним словом, от Петра Артемьева можно было выспрашивать и получать толкования на все церковные обряды и обычаи, и не ошибаться; твердо знал он, в какую службу стоять со свечами и когда совершаются коленопреклонения. Сказывал верно, какая служба длиннее и короче; в какой день какому святому празднуют; когда дается разрешение на вино и елей и когда благословляется всеястие или только одна рыба и елей. Не затруднялся он в объяснении пасхалии зрячей[23] и по пяти пальцам собственной руки сказать число месяца и даже день, в какой придется отправление подвижных праздников[24]. К общему удивлению и вразумлению — знал он потом всех святых и все дни, посвященные их памяти, так что все миряне решили в один голос, что Петр Артемьев обогнал дьячка и знает больше его, уступая в этом одному только батюшке да отцу дьякону.

Петр Артемьев вел себя солидно и важно, не засиживаясь на завалинках, и не любил сплетен, толкуя одни Жития тем умилительным и высокопарным книжным языком, какой только и можно слышать от странников и баженников и какой всегда удивляет простого человека.

— Ишь ты: говорит словно по печатному, как в книге, и в толк все возьмешь. Башка, доточник, на том стоит!

Однако же тем не менее Петр Артемьев поспешил обзавестись берестяной, ветлужского производства, тавлинкой, с фольгой и ремешком, и стал нюхать чумаковский табак-зеленчак, с забавными приговорками — насмешками над курящими. Борода у него выросла в лопату, на голове стала просвечивать и пробиваться лысинка. На затылке он нередко собирал и завязывал косичку; носил длинные белые рубахи; часто оглашал избу церковным пением; писал полууставом[25] и разрисовывал сандалом и охрой поминальники; даже раз переплел вновь старую триодь[26] и срисовал вид какого-то монастыря...

Одним словом, о петербургской жизни забыл Петр Артемьев, как забыл и дядя-старик, который не мог нарадоваться плодами своего влияния, руководств и советов. Все пошло как нельзя лучше, к общему — племянника и дяди — удовольствию, но надолго ли? Этого не могли сказать ни тот, ни другой. Сказало время и случай.

VII

КУЛАЧОК

Петр Артемьев в теплой избе лежит на полатях и нежится; старуха мать забралась на невыносимо жарко натопленную печь, творит молитвы и охает.

— Спишь, матушка, али нету? — окликнул ее голос сына.

— Где уж тут спать: к вечеру-то опять косточки по всем суставчикам заныли, головушку-то словно свинцом налило: шабала шабалой.

— А слышишь, все слышишь, что толковать стану?

— Ну, да как, кормилец, не слышать: на левое-то чутка. Правое-то ровно куделей завалило, и ходит там такой-то гром...

Старуха снова заохала и снова творила молитвы.

В избе опять наступило прежнее затишье, которое мгновенно погружает в крепкий сон всякого трудового — рабочего человека. Спит в это время и кот в печурке, и овцы лезут по углам, и корова щурит глаза в подызбице. Не спали только обитатели учителевой избы, потому что сам он вскоре опять нарушил молчание.

— Матушка, а матушка?

— Асенько? — было ответом.

— Вот что! — начал опять Петр Артемьев, — ладно бы зыбку навязать, и тебе бы забавно было.

— Да на што зыбку-то, про чьих это?

— На што?! — ребенка положить.

— Да чьего ребенка-то, чьего?

— Своего ребенка, не чужого положить, хоть бы и моего ребенка положить.

— Да нешто ты, разумник мой, красавец, надумал ожениться?

— Отчего же не ожениться, отчего же не вступить в супружество, что не совокупиться узами-то брачными?

— Давно, батько, давно я тебе толковала; не слушал ведь меня, знать не хотел! Покачала бы, мол, я внучат своих, крошечек, порадовалась бы я на них, поплакала бы на внучат-то своих! Господи, мол, батюшко, внуши ты Петровану-то моему мысль экую. Я бы и глаза-то закрыла покойнее, и в сырую-то бы землю легла, господи мой батюшко!..

— Ну, да ладно! благо надумал, теперь не отстану! сказывай только, какую хочешь и какие там невесты-то есть.

— Мало ли, батько, невест; сам, чай, видал: вон Полесной один семерых девок возвел.

— Полесного девок даром не надо; и не вспоминай об них другой раз — злющие, всего изломают, я смирен. Сказывай про других.

— Лукерью Трепачиху бери: девка — гладь, писаная красота; сам, чай, видал. Изо всей деревни краше всех; вся в мать, как окапанная.

— А не станет по грибы у соседских ребят проситься с собой понять?

— Ну, да што ты, батько, больно вяжешься-то? то — дело девье, а бабий шлык наденет — другая станет.

— То-то я и сам так смекал... на нее!..

— Благослови тебя господи, вразуми он тебя! Покачала бы я зыбку-то, посмотрела бы хоть одним глазком на внучат-то своих.

— Пищать, чай, станут — одолят.

— Не чужие, батько, свое порождение! и крик-от не тем сдается, свой крик. Ты не сердись, пущай их кричат, и сам ведь кричал, и батько...

— Подлинное дело, что кричал; ну, а коли жена-то согрубления станет делать да взвожжает тебя?— волком взвоешь?

— Твое ведь дело — большаково. На то и пословка сложилась старыми людьми: «муж жену бьет — под свой норов ведет».

— Я бить не стану: я смирен!..

— Ну, да как, батько, не бить; все ведь так-то; оттого и согласие! Шубу бей — теплее; жену бей — милее.

— Я не стану бить: я питерской! Не велят там — ругают. Да опять-таки и дядю нужно об этом спросить: голова ведь — скажет.

Петр Артемьевич в тот же день был у дяди.

Пришел в избу, по обычаю, помолился на тябло и роздал поясные поклоны: сначала хозяину, а потом и остальным домочадцам; сел к столу, ближе к дяде, и замолчал, понурив голову. Дядя заметил это и начал первым:

— Али что неладное у тебя? давно не бывал, а пришел — и словом подарить не хочет. Сказывай: что за притча прилучилась?

— Нет, так,— никакой притчи не прилучилось.

— Что ж волком-то смотришь: рассердил, что ли, кто?

— Никто не сердил. За что меня станут сердить?

— То-то, кажись, не за что. Что ж больно невесел?

— Вели, дядя, бабам не слушать, одному скажу: после все узнают. Ожениться, дядя, захотел: ей-богу, таково-то скоро захотел. Благослови!

— Поздненько надумал... Ну да что ж?— Холостой-то, сказано, умрет — собака не взвоет.

— То-то больно, вишь, хорошо: ребят миру поставишь; опять же и себя облегчишь. Мать тоже стара стала: всю ломает.

— По охоте ли только решился? не так ли, смотри,— сразу взгрептелось: бывает ведь эдак-то...

— У меня — по охоте! Вот взял бы я бабу-то какую да и жил-был бы с ней, коли бы не злющая только попалась; все бы целовались.

— Ну, да хоть и не все бы целовались; а в миру с женой жить — чего лучше! Жена, сказано в Писании, великое дело.

— То-то, дядя, смекаю: великое. Муж с женой — это чета... человек да не разлучает! — сказано.

— Так, братец, так — и не инако. Жена — это теперича такое дело, что она завсегда у мужа под началом должна быть. Она — как

на избе труба, а ты — как на церкви глава. Надо тебе жениться — что говорить?! надо хозяйку молодую — хозяйкой дом стоит; опять же и семейная каша погуще кипит.

— Вишь ведь ты, дядя, как толково знаешь это: сказывай-ко дальше, сказывай.

— Выбирай только по сердцу, и живите вволю, а там деритесь, бранитесь — да не расходитесь только.

— Я драться не стану: не такой! Вон и мать тоже наказывала, да не дело наказывала.

— Ну, да оно почитай что и дело. Недаром ведь толкуют, что жене спускать — в чужих людях ее искать; а кто жены не бьет — тот и мил не живет. Женской быт — всегда он бит.

— Нешто ты сам-то бил, дядя, тетку-то?

— Бывалое дело,— не без того же. Дрались-бранились, а под одну шубу-то ложились. Свой ведь суд короче; на то у нас в дому и согласье стояло. Где грозно — там и честно.

— Да вот опять дело какое, дядя: ребята пойдут — за их ответу много.

— Ну, еще до этого далеко — до ребят далеко. А ты бы смекал пока девку да и за дело бы брался, не откладывал. Нашел ли невесту-то?

— Ну, да как не найти: вон Параньку-то тогда ладил, а теперь и пригодилась бы. Параньку-то и по любви бы можно, а ушло такое время: не вернешь. Параньку-то больно бы ладно.

— Что бредишь-то? что не дело-то разводишь? Чужая, брат, жена — что у волка в зубах: не вырвешь, сказано: не твоя — и воздержись!.. и мимо, дальше проходи... кража ведь это, грабеж, братец ты мой!.. А есть непутные-то такие.— На чужой каравай рта не разевай, а своим-то запасцем жить станешь — и мир не осудит, и на сердце у самого легче, и...

— Я тебе, дядя, не про то... не так бы тебе сказать-то надо... Девку-то я, Лукерью, наметил.

— Трепачиху-то! смотри не ожгись: огонь-девка! Не взяла бы она тебя за нос да не водила бы вдоль избы-то из угла в угол...

— То-то, дядя, не водила бы, не смущала.

— А что же я-то со старости, что с дурости: надо бы мне так тебе сказать, что умей дать жене ход, не пущай вожжей, что лошади, и брыкаться не станет; а не стегай по щекотливому-то месту — и норову не покажет, и повезет тебя ходко, и на бок, в колею какую, не свалит. Вот ведь оно как по-моему; так бы надо говорить!

— Да так и есть и вправду, коли по-твоему эдак! — решил Петр Артемьев.

По совету дяди, сам лично отправился он уторговывать невесту, прихватив кстати и выводное на всякий случай. Дело это ему было нанове, и потому когда он отворил дверь в невестину избу, то и смешался, и растерял все, что успел придумать для разговоров с отцом и матерью и самой невестой.

Стал он у двери, как громом пришибенный, кланялся и махал без толку шапкой.

— Что не сядешь-то: садись! не впервые знаемся. Петр Артемьич! садись — гость будешь,— выручил его из неприятного положения хозяин.

Петр Артемьев помнил наставление матери и продолжал стоять у дверей.

— Я ведь не сирота! — заговорил он наконец.— Я купцом пришел. У тебя товар... и я купцом пришел.

Петр Артемьев еще больше смешался и перепугался.

«Эка притча! — думал он про себя,— угораздило самому прилезть, а и не мое дело-то это. И мать говорила. Сунуло голову в овин, хоть уйти до другого разу — так впору... горю со стыда!»

— Чем же торговать-то надумал? — спрашивал между тем отец невесты.

— Чем надумать-то? торговать!..

И в голове жениха заворочались кое-какие мысли о том, что бы соврать и даже какой товар придумать для торгу. Но отец невесты смекнул, в чем дело:

— Да ты не сватом ли за кого пришел? Товарец-от эдакой, признаться, есть у меня, есть; что греха таить — есть.

— Знаю, что есть; затем и пришел сватом.

— Так садись, дорогой человек: садись в большое место. Сказывай, за кого пришел сватом, по тому тебя и чествовать станем.

— За кого пришел? ни за кого не пришел, сам за себя,— продолжал рассуждать вслух Петр Артемьев и оправился:

— Лукерья твоя мне по мысли: по ее пришел. Отдай в жены, у меня и выводное с собой, поторгуемся!

— Так надо по обычаю делать, Петр Артемьич, не разгневайся! Ты мне зять сподручный, да уж коли сам пришел сватом за себя, так надо и девку спрашивать, по мысли ли ты-то ей? Такое дело ведется у всех,— вон и баб спроси, да и сам ведь, чай, знаешь?

— Знать-то не знаю, а слышал. Спрашивай девку — по мне, все едино! — решил Петр Артемьев спроста; но ошибся в предположениях.

Девка отказалась наотрез и пустилась в слезы. Если бы Петр Артемьев оставался в избе подольше, не уходил бы вскоре, он мог бы в причитываньях Лукерьи слышать обзыванья себя «постылым, бесталанным, неладным», даже намеки прямые на лысину и старость, поклепы на Параньку, на учительство, на горох, розги, дресву и проч. Устояла на своем бойкая девка и не пела на сговоре, при прощанье с родителями, хоть и кстати была бы теперь эта песня:

Я еще у вас, родители,
Я просить буду, кланяться:
Не оставьте, родители,
Моего да прошеньица:
Не возил бы меня чуж-чуженин
Во чужую во сторонушку,
Ко чужому сыну отецкому,
Не пасся бы он, не готовился,

На меня бы не надеялся.
У меня ль, у молодешенькой,
Еще есть три разны болести:
Я головонькой угарчива,
Ретивым сердцем прихватчива,
Своим свойством неуступчива.

— Заварил Петруха пиво, да сталось нетека! [27] — решили на том мужики-соседи — и только.

— А все оттого, что сам ходил сватом. Ну, мужчинское ли это дело? — толковали бабы.

— Нешто деревня-то клином сошлась? нашлись бы сватьи-то, и я бы сходила!

— Да и я бы, мать, не прочь: и дешевле бы твоего взялась, из одних бы почестей пошла, не токма что...

— Мать бы спосылал, и все бы лучше, гляди.

— Дядя бы сходил — мужик на почете, а то смотри срамоты какой натерпелся: сама Лукерья отказала, сама девка, — да слыхивано ли эдак? Я бы на месте его не отстала.

— Смирен ведь, больно смирен, словно баженник. Только вот с ребятами воевать умеет, и то, слышь, самих сечь-то заставляет: сам не сечет. Смирен!

— Чего, мать, смирен? да экое попущение терпит: девка обошла!

— Сам, сказывали, отец-от ломался; он, мать, всему вина. Он бает: отчего-де дядю не подослал, а сам пришел. И без выводного бы тогда, бает, отдал. — Сам отец не отдал за Петруху, сам...

— Ну уж, поймала бы я на задах Лукерью, вдосталь бы я натрепала да нахлопала ее на Петровом месте — знай!..

— Смирен ведь: воды не замутит.

— Коли уж больно жениться-то приспичило — девок и в соседстве много.

— Да здесь-то срамота; по деревне-то своей срамота. Девок-то наших калачом теперь за него не заманишь...

— Что говорить, дева, что говорить: оплеванной.

— Эко зелье — девка Лукерья-то! Смотри ты, какая шустрая, какую волю взяла: ей бы, вишь, Мишку, почтового ямщика, что высвистывает ее на бору, а уж натрепала бы я ее на Петрухином месте, вдосталь бы нахлопала.

— Ну, да ведь и Петр-от Артемьев стар стал, — сунуло же его без пути-то, без толку, с большой бородой.

— Чего, мать, стар, не старе тебя.

— Небось года ты мои считала, — свои бы лучше смекнула!

— Смекать-то я и свои, и твои смекала, да все, гляжу, — не ровня мы с тобой.

— Ну, где ровня? У тебя-то и курицы-то петухами поют. Бурмистр сватывался, да отказала, за солдата пошла.

— А ты-то за разношерстного попала, прорва экая, — невидаль. Все бы она на облай да на облай шла, ненасытная!

Бабы пойдут дальше на крик и громкую брань; но Петру Артемьеву от этого не станет легче. Он сильно озадачен и как

будто провинился в чем: бранил и себя, и Параньку, и Лукерью; но все-таки пришел к тому заключенью, что в настоящем случае ему не нужно было бы самому ходить сватом, а в другой раз не следует и других засылать с тем же делом. Во всяком случае, отказ Лукерьи он почел за неудачу, за одно из несчастий житейских, которые ложатся на сердце тяжелым гнетом и нередко забываются вскоре, если не проточится на сердце новая ранка, которая, растравляя первую, еще не зажившую, сама в то же время болит и ноет.

Так случилось и с Петром Артемьевым. Опять-таки *горе не живет одно* — по смыслу одной из правдивейших русских пословиц.

Петр Артемьев заметно тосковал, но не жаловался, не надоедал никому своим горем, тосковал молча, про себя, и между тем старательно подчинялся заведенному порядку своей обыденной жизни: по-прежнему ходил с церковными требами по следам дьякона и священника; по-прежнему был в приятельских отношениях с дьячком, во всем посильно помогая ему.

В одну из таких треб — слав по случаю храмового сельского праздника — случилось ему возвращаться в поздний час глубокой, темной зимней ночи, в страшную пургу-метелицу, когда так любят кучиться волки и ходят на промысел толковые и сметливые, но боязливые воры. Снег хлопьями клубился и снизу, и сверху, и со всех четырех сторон, разоряя старые и сметая новые сугробы сначала на одном месте, потом на другом, дальнем. Ветер неистово свистел в сельских трубах и хлопал волоковыми окошками, разметая солому с крыш и раскачивая плохо сплоченное дранье тех же крыш на избах более достаточных обывателей. Злополучный ездок сбивался с торной дороги и не находил заветных вех, вплотную засыпанных снегом; лошаденка его фыркала, пряла ушами и безнадежно хлопала хвостом, боясь и не находя достаточных сил идти дальше. Ни говора, ни крика, ни спасительного огонька вдали, кроме свиста ветра и шороха по оледенелому насту нашей северной бестолковой вьюги.

Блуждали долго и ездок, и путник — Петр Артемьев, пробиравшийся в то время из села в родную Судомойку. Судомойки нет и в помине; а село далеко ушло или взад, или вправо, или влево... нога Петра глубоко вязнет в рыхлый наносный снег и с трудом поднимается для нового шагу. Он утомлен, заметно весел впрочем, и, вследствие последнего обстоятельства, свалился в овраг судомойковский и лежит в нем и спит, крепко спит до другого утра.

Вьюга утихла; наступило заветное затишье и успокоительная теплынь. Она вскоре сменилась тем страшным морозом, который кует в сплошную и твердую массу вчерашние сугробы, леденит все сподручное, обындевает густые бороды обозников. Он мгновенно будит и ставит на ноги спавшего в овраге Петра Артемьева.

Он едва держится на ногах, едва бредет до деревни, с трудом добирается до своей избы, бросается на лавку, плачет навзрыд, как ребенок, и показывает оторопелой, растерявшейся матери свои отмороженные руки. Приходит бабушка-лекарка — дождевик лицом.

Знахарка шепчет над ковшом, прыскает через уголь — больной стонет сильнее, и мечется, и плачет неутешно, как малый баловник-ребенок, у которого отняла блудливая кошка сусленик или кусок пирога — загибеньки. Лекарка добывает гусиного жира и обкладывает им и травой подорожником отмороженные руки, но Петр Артемьев все мечет долой и бредит Лукерьей, миром, стыдом, метелью.

Лекарка утешается сама и утешает других только тем, что у больного хоть ноги-то остались целы, натертые сначала муравьиным спиртом, а потом дегтем, и что руки его, бог даст, пройдут, и натирает их кое-как добытыми и разведенными в холодной воде квасцами. Больной приутих — и заснул.

На другой день опять он горько всплакал; но опять натерли ему руки квасцами. На неделе приехал уездный лекарь, проездом на следствие,— больной понаведался, поплакался своей болезнью приезжему и показал руки. Лекарь поморщился, позвал подлекаря, велел больному зажмурить глаза, смотреть в сторону, не оборачиваться и — в десять приемов отрезал пальцы по вторые суставы. Петр Артемьев опять кричал, но, по отъезде своего спасителя, строго исполнял его приказания — и смело и вовремя сбросил тряпки. Взялся потом за перо — пишет, хоть и не бойко; взялся за ложку деревянную — держится, хоть и не крепко; приложил пальцы к ладони и засмеялся — вышел не кулак, а кулачок.

Пошел он с тех пор зваться Кулачком не только в своей деревне, но и во всей окольности, где только знали его и звали прежде Петром Артемьевым, по отцу — Сычовым. А русский человек — как давно и всякому известно — без прозвища не живет; злит и бесит это меткое прозвище родоначальника его, и слегка привыкают к нему его потомки, считая праотцево прозвище чем-то законным и ненарушимым,— и не сердятся, не смеются даже, как бы нелепо и забавно ни было это прозвище.

Вместе с прозвищем Кулачка по соседству проносились про Петра Артемьева и другие слухи, может быть, даже и пустые сплетни. Одни говорили, что он был шибко пьян, когда ночевал в овраге, и что чуть не целый уповод перед горем прощался с дьячком, и целовался с ним часто, и песни пел; другие, что одолела его пурга и, сваливши с ног, унесла ветром, против воли, в овраг и убаюкала свистом, что колыбельной бабушкиной песней. Третьи, наконец, толковали совсем другое: что будто бы Петр Артемьев, с отказа Лукерьи, на все махнул рукой, жил спустя рукава, даже ребят реже сек, и что будто бы, назло Лукерьину батьке, сам забрел в овраг и растянулся в нем, и что будто бы еще с вечера печалился дьячку на свое бездолье, кровные обиды в отказе Лукерьи ее отца, толковал об утонувших в полыньях и проталинах и о другом прочем.

Все это были, может быть, бабьи сплетни; а бабий язык, что мельница ветряная: пустил в ход — и пойдет писать; все метет, крушит и кружит, до тех пор пока не дунет противный и сильный ветер.

«Тонут люди, до смерти мерзнут и горят в пожары до самых костей; а вышла мне нелегкая доля уродом стать!» — думал Петр Артемьев о своем горе.

— Мир глаза колет, особо парни да девки проходу не дают, и ребятенки малые глаз не спускают, хоть и в привычку бы им мои кулаки. А и дядя бы сам — важный человек, да и тот подчас глумится: «Зачем-де, слышь, не нос отморозил». Ладил и на улицу не ходить — да вышло неспорное дело. На ребят больших сотскому жаловался и до старосты доходил — еще хуже стали, чуть не до грязи доходило дело; а и летами бы дошел, и досужество бы такое, что у всего миру надо быть на почете. Нету проходу!

— Да ты бы сам-от не трогал: пущай лают — отстанут. Эдак-то бы лучше! Вот и собаки тоже... — советовали Кулачку доброжелатели.

Но он при этом махал только рукой и снова перебранивался с досаждавшими, поджигая их — по общему закону природы — на большие и сильнейшие насмешки.

Действительно, не было ему проходу. Почему-то любили соседи — русские люди — трунить над учителем всегда одними и теми же насмешками, следовательно, еще более досадными и неприятными.

— Что, Петруха, али коготки-то об ребятишек обломал? — приставал обыкновенно какой-нибудь парень-подросток и готов был схватить руки Кулачка, чтобы показать их миру, но Кулачок тщательно прятал коготки по карманам своей длиннополой сибирки.

Остряк не унимался: садился подле Петра Артемьева, клал ему руки на плечо и начинал посвистывать. Кулачок обыкновенно сбрасывал руки и упорно молчал. Пример начинщика увлекал других, и вскоре Кулачка окружала целая ватага, которая скалила зубы и бестолково и без видимой причины начинала гоготать и ухать. Кулачок или вставал и бежал, разбивая стену ребят,— но тогда его хватали и теребили за что ни попало, или оставался в кругу и продолжал упорно молчать.

Ребята не унимались.

— Вечор Лукешка ребятам сказывала, что, коли бы де у Петрухи руки были целы, без выводного бы, мол, пошла, а то так-то, слышь, коли на нас падет некрутчина, сама уйдешь за него,— говорил прежний остряк-зачинщик.

Ребята, обступавшие Кулачка, начинали смеяться сначала тихо, но постепенно приходя в азарт, наступали на него и теребили за рукава и полы. Кулачок только отвертывался, кричал: «Отстаньте!» — и все еще выдерживал роль.

Но остряки не отставали.

— Дьячок Изосим опять засылал за ним: выходил бы де опять в овраг волков пугать. Я, мол, и рукавицы принес. Слышь, Петруха, слышь: сказать наказывал крепко-накрепко! — говорил один и теребил Петруху, который, видимо, начинал сердиться, потому что спешил схватиться за близлежащую палку. Палку вырвали; к первому остряку приставал другой:

— А Петрухе, братцы, совсем на руку волков-то пугать... ишь борода-то: хоть корчаги мой, заместо отымалки может...

— А на голове-то гляди, какие проталины, а по бокам-то все клочья?— приставал третий и мгновенно схватывал с головы Кулачка его городской картуз с светлым козырьком и бросался из толпы.

Кулачок кидался следом за ним, бранился громко и сильно, и вся окружавшая его прежде толпа металась туда же, вслед за первыми, хватая на пути палки, щепки и проч. Все это бросалось в Кулачка.

Толпа становилась гуще. Кулачок рвался в свою избу; но на него продолжали наскакивать, подставляя ноги; он падал, мгновенно поднимался, хватал с земли и бросал в ребят грязью, если только какой-нибудь ловчак не садился на него и не начинал теребить за бороду. Кулачок выходил из себя; ребята хохотали, кричали, прыгали и увлекали своим весельем степенных мужиков, любивших выходить на завалинки и любоваться дешевой потехой.

— Да ты бы, Петруха, сам на подножку ладил, а не то бы палку взял,— советовали последние Кулачку, который измученным, едва переводя дыхание, наконец вырывался из толпы и брел в свою избу.

— Я бы на твоем месте сам их задирал — не приставали бы; вот Мишутка-то на левый бок щекотлив, Мосейка старостин не любит, коли обзовешь его, что лукошком месяц в реке ловил; а бабушка вон этого на дединой голове блины с творогом пекла... Дразнил бы ты их, не приставали. Али смирен, по отцу пошел? Тот тоже никого не пугал.

— Эка, Петруха! дело-то твое спорное, а ребята-то все головорезы, шустрые; на язык-то охулки не кладут. Гляди — какие гладыши: отцовы дети. А право бы лучше, коли сам бы ты их ругал!

Но на эти советы Кулачок отчаянно махал рукой и говорил всегда одно и то же:

— Не надо было в овраг ходить, и на улицу выходить не надо. А я смирен — мне не сладить. Пущай лаются — меня не убудет.

На другой раз он так же терпеливо молчал в начале и кидался за толпой в конце; уставал так же, задыхался, бежал в свою избу: ложился на полати и, привыкая спать крепко, привык мало-помалу и к своей роли деревенского потешника, к которой он незаметно и против воли, конечно, приготовил себя, и, смирный человек,— подчинился. Даже сам толковый дядя не мог придумать средств избавить племянника от посмеянья толпы; а сам виновник насмешек, при первом напоре их, терялся вовсе и не находился. Пример подан, а начало выдержано — и ребята не переставали. Привычка — вторая натура, и Кулачок отшучивался и незаметно падал в глазах соседей и мало-помалу упал в собственных глазах.

«Стало, так надо»,— думал он про себя.

— Отстаньте, черти, не то палку возьму! — продолжал он говорить другим и бегал за ними, оправдывая себя тем, что играет же взрослый народ в городки и ездит же друг на друге, как малые ребятенки, отчего и ему не поломаться, не пораспрявить косточек:

на то даны сила, досуг и свободный час и ретивая стая ребят-зачинщиков. Иной раз не чувствовал он задору и охоты на шутки и, вследствие того, мог бы превращать — против воли — игру ребят уже в простую драку, платясь собственными боками и спиною,— тогда Кулачку вспоминалась петербургская жизнь, которая подбивала его и брала верх над рассудком.

— Как это ты бога да честных людей не боишься, Петр Артемьич: опять взялся за старое! — говорил ему немного спустя дядя при всякой встрече и качал головой и охал.

Но Кулачок придумал отпор и отвечал, хладнокровно улыбаясь и махнув рукой, и всегда одно и то же:

— Ох, дядя! Одну выпьешь — боишься; другую выпьешь — боишься, а как третью выпьешь — и не боишься. Нет, уж теперь, что хошь,— ухватился опять за чарку: хоть на цепь сажай — не отстану.

— Да, чадо, глупое детище, пропащим сделаешься!

— Знаю, дядя; не я первой... хмель — продажная дурь, кому надо, тот и покупает. Горю, дядя, народ почету не дает: все глумовством отдает тебе — не приспособишься инако; а так-то легче, совсем легче, и пляшешь... На-ко, какие я песни начал складывать!.. Горе, дядя!..

— Без вина одно, а с вином новых два: и пьян, и бит. Сказывано: одну чарку пей, да к другой не тянись, от третьей беги — не оглядывайся.

— Слыхал, дядя, и эдак. Знаю и так, что взялся за гуж — не толкуй, что не дюж, а по мне, коли пить — так пить, а не пить — так и не начинай вовсе. Такое дело. Отстань — не ругайся! Делал до этого по-твоему, теперь по себе стану! Гляди-ко, какие знатные песни в питейном бурлаки поют да какие и я сам подбирать стал.

— Не надо, не пой у меня,— не такое место. И не ходи ты ко мне, на глаза не кажись.

Дядя топал ногой и не на шутку сердился.

Кулачок умилялся, по-видимому, и говорил сладеньким, обиженным голосом, вздыхая глубоко и как будто искренно:

— Не трогал я тебя,— почитал... и как есть, значит, холил, уважал, и не заслужил я экой брани. Христос с тобой! Ты первый обидел — ты и ответ дашь. И у всех на обиды один я: шутом стал.

— Дуй все горой; сторонись, душа,— оболью! — кричал он, опрокидывая шкалики в питейном, где играл потом на балалайке, стлался вприсядку и с большим искусством и толком, чем прежде, отличался.

Вскоре ему нипочем было задирать самому и, по свойству разгулявшейся русской натуры, придираться и обижать всякого встречного. Только перед старостой и сотским снимал он шапку и просил извинения и прощения. Перед всеми другими он останавливался и делал возможные упреки, всегда щекотливые и, следовательно, справедливые. Одни из соседей говорили, что он наянлив стал и подучен кем-нибудь; другие, что он парень себе на уме и не так прост, как казался; третьи, наконец, что он просто дурит и додурится

до того, что иной рассердится и наломает шею так, что не вспомнится после никакая заноза. Случались с Кулачком и подобные происшествия, но они еще более раздражали его, и он оставался верен своей задаче: для него ничего не стоило разбить стекла у богателя, выпустить у торговцев деготь из бочки, расколотить стеклянную посуду в питейном и сделать другие, еще сильнейшие неистовства. Мир терпел, потому что не было другого исхода. Кулачок плясал и гудел своим разбитым и охриплым голосенком веселые песни на всяком перекрестке и опять по-прежнему продолжал придираться ко всякому встречному, исключая, может быть, одних только собутыльников, но и тех собиралось около него немного.

Озадачивая соседей-мужичков резким покором, Кулачок сделался вскоре, по заслугам и по всем правам, общим посмешищем. Уличные мальчишки встречали его, при первом появлении на селе, радостным криком:

— Кулачок пришел, братцы, вот лихо!

— Кулачок идет с бочонком, песни станет петь — пойдем ускать, пропляшет!

— Дядя Петр, дядя Кулачок! пропой ономняшную-то!

Кулачок ставил бочонок на землю, ловил и щипал ребятишек и — видимо, с большим увлечением — шутил и играл с ними. Переловивши ребятишек, он ставил их в круг, строго приказывал молчать и слушать и гудел любимую песенку: «Ах, в середу было на масленице, у соборной было дьяконицы, девки пьяны напивалися»,— и проч.

При этом он подергивал плечами и повертывал бочонком. На красном лоснящемся лице его, обросшем до густоты новой овчины бородою, прыгала та задушевная и веселая улыбка, от которой до последнего нельзя весело было ребятишкам, хватавшим Кулачка за полы его коротенького кафтанишки.

Наполнивши бочонок вином по заказу соседа, приготовлявшегося к своему храмовому празднику, Кулачок опять встречался с ватагой мальчишек и опять беспрестанно отмахивался от щипков и щекоток, приговаривая:

— Не нужно вас, пострелят, баловать, не нужно! Стегать вас нужно, плетью хлестать. Стыдно старику с младенцами сниматься; прочь, поползни! Прочь, пострелята!

— Ах, в середу было на масленице...— и прежняя песня при прежнем раскатистом хохоте сельских ребятишек раздавалась потом у сельских бань, резко отзывалась с переливами за крайним овином и наконец глухо замирала во ржи, которая желтым полотном облегала село.

* * *

В деревне Судомойке время брало свое: старые лица сменялись новыми.Тот, кто прежде торговал кнутами и дегтем, выехал в село и обзавелся там лавкой красных товаров. Ребята-подростки стали мужиками и обзаводились семьей и хозяйством; выстроилась новая

мельница и две-три избы, тоже новых. Тот, кто прежде любил поломаться в чехарду,— важно сидел теперь на завалинке и толковал о разных знамениях; у кого не было и признаков бороды — теперь она выросла с лопату; ребятишки-школьники, валявшиеся прежде на поседках по полатям,— толкались теперь внизу и впереди всех других; кое-кто из них успел заслать сваху, а другие и совсем оженились. Одним словом, перемен в Судомойке произошло много; все они попеременно обращали на себя общее внимание и прошли незамеченными только мимо Кулачка, не затронувши и не задевши его. Для него существовали свои новости, более живые и современные: твердо знал он, что после Матюшки Пегого в сельском питейном пятого целовальника откуп сменил: поверенные обсчитали; уважал более других Матюшку Пегого и до сих пор питал к нему полное уважение и преданность и не любил последнего целовальника.

— Матюшка всем брал: и крупой, и солью. А этот косоглазый черт, кроме одежи, ничего не берет, да и то давай поруку, что твоя-де одежа не краденая!

Знал он также, что если станового детям принести кипу гороху, нащипанного по пути на горошицах, то дадут одну рюмку водки; а если к почтмейстеру принести то же, то можно получить две рюмки водки и пятачок денег в придачу. За репу давал и тот, и другой порцию вдвое; а если спеть детям песенку и проплясать, то и обедом на кухне накормят, и чаю, пожалуй, дадут.

Вследствие подобного рода сделок Кулачок почти совсем переселился было в село, таскаясь из дому в дом, со двора на двор. Только смерть дяди, оставившего некоторую часть наследства в пользу племянника, заставила Петра Артемьева вернуться в родную деревню, которая окончательно привязала его к себе с тех достопамятных пор, когда питейный откуп счел за нужное открыть новый кабак. Выбор, по счастию, пал на Судомойку, и Кулачок на другой же день по открытии поспешил познакомиться с новым лицом и тогда же посоветовал ему завести гармонию и балалайку.

С этих пор ничто уже не в состоянии было разлучить Кулачка с его новым знакомым. Благодаря достаточному наследству дяди, он аккуратно четыре раза в день навещал новое место,— таким образом, что по этим посещениям судомойковские мужики и бабы верно рассчитали время завтрака, обеда, полдника и ужина. Идет Кулачок в кабак — бабы собирали на стол чашки и ложки, мужики спешили шабашить, ребятенки забирались с улицы в избу и садились за стол. Путешествия Кулачка до того приучили соседей, что они не находили в них ничего необыкновенного и вовсе не думали доискиваться причины; только в последнее время перед его злополучной смертью заметили соседи некоторую особенность. Совершая свои заветные прогулки прежде молча, Кулачок в последнее время рассуждал во всю дорогу сам с собой, стараясь изменять голос при вопросах и ответах. Говорил же он всегда почти одно и то же.

Выходя из дому, он обыкновенно обращался к самому себе с таким вопросом:

— Ты куда лыжи-то навострил?

И тотчас же спешил ответить сам себе, вслух:

— В кабак.

— Зачем это тебя нелегкая-то туда несет?

— Обедать хочу; так для-ради подкрепления...

— Не дело ты, Петр Артемьич, затеял, право не дело. Неладно ты себя приучил: ел бы и так...

— Ну, так-то, пожалуй, не съешь: в горло не пойдет.

— Эй, не ходи, вернись назад!.. Ну, назад, назад, назад!..

Кулачок, при последних словах, несколько пятился назад, но тотчас же опять пошатывался вперед и опять начинал разговор:

— Пусти, больше не стану ходить.

— Знаю, как ты не станешь ходить: по четыре, а не то по пяти раз на день.

— Слышь, пусти, в последний раз.

— Нет, не пущу — назад, бери назад, назад!..

Кулачок опять пятился, но уже в виду заветного места — цели прогулок.

— Гляди, дрянь какая домишко-то! Водку откуп скверную стал давать, целовальник больше деньгами берет, а не то давай, слышь, сапожным товаром.

— Да что толковать-то? всяк о себе радеет. Сказано: никто себе враг. Пусти!..

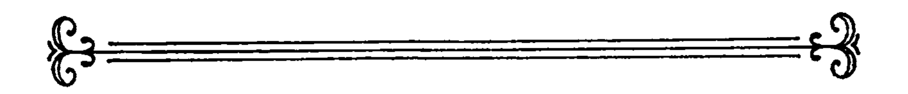
— Слышь, не ходи, ступай лучше домой! не трать деньги. Дожди всю избенку загноили, набок свалило. Ветер всю солому поснимал, углы раскачало; течет ведь потолок-от. Порадей о себе!

— Чего радеть-то? нечего радеть... нечем. Я лучше туда пойду — была не была.

— Ну, как знаешь; коли идти — ступай, да скорей только.

Со всех ног перебегал Кулачок остававшееся пространство. Вслед за тем раздавался сильный визг блока и — захватанная дверь, громко хлопнув, скрывала Кулачка от глаз любопытных.

ИЗ КНИГИ „КУЛЬ ХЛЕБА И ЕГО ПОХОЖДЕНИЯ"



ГЛАВА I

(Предисловие)

ХЛЕБ – НАША РУССКАЯ ПИЩА

— Хлеб да соль! — говорит коренной русский человек, приветствуя всех, кого найдет за столом и за едой.

— Хлеба кушать! — непременно отвечают ему в смысле: «Милости просим, садись с нами и ешь». Этим приглашением доказывается наше особенное русское свойство гостеприимства, которое по этой причине и называется чаще хлебосольством. Давно уже нами выговорено: «брось хлеб-соль на́ лес, пойдешь — на́йдешь», т. е. накорми первого встречного и незнакомого, но голодного, потому что, если и тебе самому захочется и приведется попросить есть, никто тебе в том не откажет. Хлеб-соль — заемное дело; хлеб хлебу брат, т. е. за угощение — ответ, за любовь — отплата.

Хлебом и солью *встречают* и *провожают* русские люди всякого желанного заезжего гостя и *подносят* хлеб-соль дорогому, любимому человеку, которому желают доказать почтение и покорность.

— Хлеб да вода — солдатская еда! — хвастаются храбрые русские воины.

— Хлеб — всему голова! — уверяют трудолюбивые крестьяне, которые всех ближе и вернее могут судить об этом деле: крестьянин землю пашет, хлеб сеет, собирает и продает; ел бы богач деньги, кабы убогий не кормил его хлебом. Ни о чем так сильно не хлопочут, ни о чем так усердно не молятся богу простые русские люди, как о росте посеянного хлеба. Без хлеба — не крестьянин. Хлеб на стол — и стол престол, а хлеба ни куска — и стол доска. Без хлеба несытно, без него и у воды худо жить, без хлеба — смерть; хлеб — дар божий, батюшка-кормилец.

Вот что выговорил русский народ про́ те колосовые растения с мучнистыми зернами, которыми он питается охотнее и больше съедает всех других народов целого света. Вот какое уважение оказывают русские люди этим злакам, которых посев и жатва составляют основу всей нашей русской жизни. Давно всеми признано и доказано, что страна наша преимущественно земледельческая, а потому и самых крестьян, или мужиков, всего умнее и справедливее привыкли называть хлебопашцами. И в самом деле, нам указана для жизни на земле такая страна, где родятся все роды хлебов: ячмень, рожь, овес, пшеница, гречиха, просо, рис и кукуруза. Поэтому, где только поселились русские люди, всегда там засеваются хлебные растения.

Господь, распределяя свои дары по земле, русской земле уделил самую разнообразную почву и все климаты Европы. Нашлось на ней место всем хлебным злакам, которых семя, или зерно, употребляется человеком в пищу. Там, где обильно родится виноград, где снег выпадает только раза два-три в год и все разы лишь на несколько часов,— за Кавказом, сеют рис, т. е. самое нежное и прихотливое хлебное растение. Стоя почти все время жизни своей под самую верхушку в воде, вырастает это растение, известное у нас под именем сарачинского пшена и способное водиться только в самых теплых южных странах. Чтобы вырастить его, делают искусственные болота, так как рис любит лишь влажную и сырую землю, и для того подле рисовых полей, или чалтыков, всегда наготове целая сеть канав, приводящих воду. Испарения застоявшейся и загнившей воды в тех местах заражают воздух и производят тяжелые смертельные лихорадки, но зато рис людей тех нездоровых стран спасает от другой, более лютой, смерти — от голода. Пилав, или плов,— вареный рис с разными прибавками, сорты которых считаются там десятками, избавляет от смерти всю азиатскую бедность, а в том числе и нашу закавказскую. Здесь эти пловы играют в людской жизни столь же важную роль в питании, как в среде петербургской бедности картофель, селедки и цикорный кофе. По сю сторону Кавказа рис исчезает. У берегов Черного моря, где бывают уже холода, хотя и не продолжительные, и выпадают снега, но не глубокие, рис пропадает. Наместо его могут возделывать всегдашнего его соседа, не столь, правда, нежного и капризного,— кукурузу, или маис. Там, где зреет виноград на открытом воздухе, красуются охотно на чрезвычайно длинных столбиках почковидные шишки — зерновки этого растения, расположенные на мясистой оси в 8 рядов. В юго-западном углу нашей России, а в особенности в Бессарабии, кукуруза опять выходит на выручку тамошней бедности, в виде дешевого и сытного блюда, так называемой мамалыги — круто затертой и заваренной каши из кукурузной муки. Местные бедняки ничего там больше уже и не едят. Кукуруза, или белоярая пшеница, которою кормили богатырских коней, но только в сказках, как пища не соблазнительна, а потому в тех же странах предпочитают сеять настоящую пшеницу. Пшеница — здесь полный властелин и хозяин. В тех местах, где климат умеренный, т. е. зима не сурова и теплое время стоит более полугода, пшеница составляет один из главных предметов земледелия. С нею рядом засевают и полбу, ее близкого родича, и просо. Народ не ест другого хлеба, кроме пшеничного, и ржаной хлеб — большая редкость и лакомство для приезжих с севера. Нередко в тех местах ржаной хлеб можно достать только у солдат и матросов в казармах: лавки им не торгуют. Растет пшеница только в южных губерниях, и пределы роста поставлены в строго определенных природою размерах. У нас грань эта не доходит до истоков тех рек, которые текут с юга на север, и если некоторые сорта пшеницы растут еще и за этой границей, то лишь как дорогие гостьи, на долговременное пребывание которых рассчитывать невозможно. Там, где обманывались этим и сеяли одну

пшеницу, часто платились неурожаями и голодовками, из которых не так давно всем памятна в Самарской губернии и в смежных с нею уездах Оренбургской губернии. Здесь указана природой полоса ржи. Но там, где царство пшеницы, например в Малороссии, из пшена приготовляется также дешевое кушанье для всеобщего народного потребления. Это — кулеш, т. е. кашица вроде похлебки, в скоромные дни со свиным салом или бараниной, а в постные — с конопляным и подсолнечным маслом и рыбой таранью. Пшено отличается споростью, т. е. сильнее увеличивается в размерах при кипячении в горячей воде, а потому можно класть его меньше, чем других круп.

Там, где зима побеждает лето и холод стоит дольше тепла, т. е. ближе к северным морозным странам, пшеница не устаивает, часто мерзнет и обманывает надежды. Господство ее ослабевает, начинает царствовать матушка-рожь, батюшка-овес и гречиха — самые любимые хлебные злаки русского народа. Область гречихи и овса короче; царство ржи тянется далеко, даже и по таким землям, над которыми трещат морозы и семь месяцев в году лежат глубокие снега. Рожь всех менее боится морозов; во время молодости переносит довольно значительный холод и прежде всех созревает. Она господствует еще там, где ячмень, наиболее способный переносить суровый климат, употребляется только на пиво, но рожь сохраняет свое место и там, где начинается полное царство ячменя. Граница аржаного царства доходит у нас до Архангельска, где на полях сеют $^{2}/_{3}$ ячменя и $^{1}/_{3}$ ржи: рожь, стало быть, еще в почете. Если во всем аржаном царстве пшеничный хлеб и пироги потребляются народом только по большим праздникам, как конфетка или пряник, то на северных пределах его та же честь воздается ржаному хлебу; его едят после обеда, как пирожное, и то не каждый день, а когда имеют купленные запасы муки. В обыкновенном потреблении ячменный хлеб годен только в тот день, когда испечен, и превращается на другой день в сухой, твердый и невкусный комок, который и нож не берет. С таким хлебом, без рыбы и овощей, в тех местах беда была бы великая; да и теперь сплошь и рядом обедают там совсем без хлеба, особенно рыбаки наши на Белом море и океане. Поберегают там и ячную муку и крупу, потому что ячмень, как ни терпелив, но слишком жестокого и сухого мороза боится, и хотя сеют его прежде ржи в холодной почве, но стараются на полях оставлять земляные глыбы, для защиты семян. На Кольском полуострове и яшное царство кончается: здесь положена самая крайняя грань, вместе с ним, всем хлебным злакам.

Согласно этому природному делению нашей родины на три царства: пшеничное, ржаное и яшное,— народ наш из всякого зернового немолотого хлеба называет *житом*, как главным жизненным подспорьем, пшеницу в пшеничной стране, на юге, рожь в аржаной, на востоке, и ячмень по всему северному краю России. Дальше тех пределов, на которых перестает подниматься и вызревать ячмень, не растет уже ни одного хлебного злака: прозябают только мхи и лишаи и от лютых морозов трескаются и рассыпаются гранитные

скалы. Не растет хлебных растений здесь, где кочуют дикие народы, которые вовсе не имеют понятия о хлебе и питаются кое-чем, а всего больше жиром морских зверей и тухлой вяленой рыбой, без соли. Да в теплой полосе, в южных степях, попадаются места, пропитанные солью, наполненные солончаками, каковые почти вовсе неудобны для разведения хлебов. Однако и здесь русские люди, исконные земледельцы, пробуют в поте лица сеять хлеб по святой божией заповеди, сказанной праотцу нашему Адаму.

Вот об этом-то хлебе и об этом народе, возделывающем хлебные растения и употребляющем преимущественно мучную, хлебную, крахмалистую пищу, я хочу рассказать и прошу моих рассказов послушать. Как, по пословице, от хлеба-соли никогда не отказываются, так и я кладу крепкую надежду, что вы не откажетесь дослушать до конца эти рассказы о хлебе, или, лучше, *историю о куле с хлебом.* Всякая погудка ко хлебу добра — говорит наш народ, да и моя — старая, на новый лишь лад. Почему я начал говорить именно о хлебе — сейчас объясню.

Отправимся прямо в деревню.

Деревушка, как все, раскинулась по полю, подле лесу, либо на берегу речки, либо, на худой конец, подле стоячего пруда, и не всегда около воды. Кто ее не видал — немного потерял: красоты никакой, а бедности и нужды столько, что и не видать бы лучше. Издали деревушка кажется темными кучками, разбросанными кое-как в беспорядке; вблизи распознаем в ней улицу, по сторонам ее стоят избы, в конце — часовенка; кое-где колодцы; по середине, обыкновенно, чтобы были всегда на глазах,— амбарушки или клети с хлебом и другим домашним добром. В глухих местах их даже не запирают. Избы, конечно, бревенчатые, от времени почернелые, внутренним устройством очень схожие, наружным видом каждая силится отличиться. У домовитого вычинена, старается казаться опрятною; большая часть — запущенные, обломанные и неряшливые, у самых бедных ушли в землю и похожи либо на хлевы, либо на собачьи конуры. Трубы деревянные, обгрызанные и закопченные; окошки покривились, двери на боку и отворенные наружу, того и гляди, стукнут в спину входящего. Крыши местами сползли, местами провалились, особенно крытые так называемою дранью [1]. Дрань на дождях и снегах имеет дурное обыкновение скоро сгнивать. Вместе с нею сгнивают и те упорки и перекладины, которые прилаживаются на крыше, чтобы сдерживать дрань. На беду, упорки по низу крыши должны быть с желобом, на котором постоянно застаивается вода, не имеющая стока. Ближние соседи разладились и расползлись в разные стороны, всякая туда, где ей показалось удобнее, а перекрыть лень либо недосуг. По скорости, подправляют крыши соломой, а тогда еще обидней: где чернеет дрань, где торчит нестрижеными хохлами солома, прикрепленная жердочками. Ветер подсмеивается, потряхивая клочками соломы, и шалит, сбрасывая ее пучками на такого же горемыку соседа. А солома ползет да ползет долой, а дождь ломит прямо в потолок и через него на нос беспечных хозяев,— конечно, всем им за то, что, по привычке русского человека, не обращают

они внимания на домашние удобства, называемые комфортом. Не знают они прелести в светлой, чистой и хорошо освеженной воздухом избе, а ищут в жилье только теплоты и любят печь, нагревая ее до того, что в избе и душно, и нестерпимо жарко, и у жильцов, по их же собственному выражению, ребро за ребро задевает.

Большая часть изб прямо крыта тем материалом, на который в деревнях и цены нет и за который только в городах дают кое-какие деньги. Материал этот — солома, пустые внутри стебли злаковых растений, остатки после обмолоченного хлеба, о которых и речь наша. На крышах солома — ржаная: другие сорты сюда не годятся. Овсяная или яровая солома, мелко изрубленная в сечку, идет на корм скоту; гречишная солома годится только на поташ, а матушка-рожь дает, во-первых, столько соломы, как уже никакое другое хлебное растение, а во-вторых, такую, что ее можно бы назвать нетленною, если бы что-нибудь было вечно под луною. Однако ржаная солома служит кровлей не один год, а до тех пор, пока не растаскают ее ветры. А растаскать ее очень легко: набрасывают солому снопиками и, плотно складывая их один подле другого,— соломою же привязывают к жердинкам, очень тонким. Жердинка только и нагнетает солому, а перевязь, в которой должна заключаться главная сила, как бы хитро ни делалась, всегда непрочна.

— Отчего не делаете ее прочнее?

— Нам супротив соседей идти невозможно, потому — обижаться будут. Станут спрашивать, откуда такую моду взял. Станут говорить, что над ними и над отцами и дедами смеяться выдумал.

Если же расчесать солому и помакать в жидкую глину да смазать сверху густой глиной, такая соломенная крыша, выкрытая, что называется, под щетку, ни ветров, ни дождей не боится. Она служит хозяину своему, прикрывая его убожество и сказывая про его большую нищету, целые десятки лет (лет сорок). Из-за соломы крестьянину не надо покупать ни железа, которое у нас очень дорого, ни досок, ни драни, каковые в безлесных местах немногим дешевле железа.

Пойдем под эту соломенную кровлю посмотреть поближе на крестьянское житье. Путь идет через двор, выстланный той же соломой, которая на этот раз заменяет и булыжную городскую мостовую и слеживается потом в то вещество, на котором родится в поле хлеб и которое называется навозом и наземом. У хорошего хозяина солома и на крылечке насыпана, и тогда служит она ковром и половиком — обтирать грязные ноги.

И в избу войдем — от соломы не отделаемся: в теплом уголку у печки лежит соломенник, т. е. набитый соломой тюфяк. Молодые спят на соломницах — на простых соломенных рогожках, сшитых веревками; соломницами завешивают окна зимою, и подстилают их же под захожего гостя, укладывая его спать. К Покрову старую годовалую солому сжигают и заменяют ее свежею и новою, когда обмолочен хлеб и начинаются холода и длинные зимние ночи. На соломе коренной русский человек родится, на ней и помирает. Умрет он — солому, на которой лежал, выносят за ворота и сжигают.

Но до смерти еще далеко; мы вошли в избу, когда там родилась новая живая душа, крестьянский сын, будущий поилец-кормилец семьи, вечный труженик, и непременно хлебопашец. В избу то и дело заходят соседки понаведаться, подсобить матери-роженице, а пожалуй, и помешать, полюбопытствовать, чтобы было о чем порассказать и посудачить. В деревне скучно, и в глухую осеннюю пору деться некуда, пока не наладились осенние домашние работы; всякая новость занимает всех. Рождение мальчика почитается счастием и божиим благословением. Об этом говорят, этому или радуются, или завидуют: лишний тяглец на дому и верный помощник. Он не уйдет в чужой дом, как уходят дочери-невесты жить и работать на мужа и его семью.

«Родись на Руси человек — и краюшка хлеба готова» — так говорит старинная народная пословица, которая только у нас свята и нерушима. В России всякий имеет право получить клочок земли для своего прокормления, а крестьяне получают лишние против других полосы земли на каждую мужскую душу. Родился новый мальчик — у отца лишняя прирезка и на этого сына пахотной и сенокосной земли. Во всех других государствах этого обычая давно уже нет; у нас еще очень много лежит такой земли, которая сотворена на службу человека, но ждет его труда и еще никем не возделана. При очередном переделе деревенской земли миром, т. е. всем обществом нашей деревни, вспомнят про нашего новорожденного, выделят землю и на его пай, на его маленький желудок, на большой рост и здоровье. А вот в углу, под образами, и знамение будущих его крестьянских занятий: дожинный сноп [2] с колосьями и зернами, подпоясанный той же соломой. Сноп этот последний из поля, когда оно все сжато и убрано. С песнями сопровождали его жнецы в избу хозяина; самая красивая девушка несла торжественно на руках этот сноп-дожинок, украшенный лентами и цветками, голубенькими васильками. Наш ребенок еще очень мал и ничего не понимает: кричит, когда есть захочет; кричит, когда озябнет. На другой, на третий день его поспешат окрестить и для этого *непременно* свезут в село и св. таинство крещения совершат над ним *непременно* в церкви (крестить на дому у крестьян не принято и считается делом незаконным). При крещении он получит на всю свою жизнь имя, которое и будет состоять за ним, по его крестьянскому праву, без отчества. Имя дадут в честь того святого, чью память празднует церковь в тот день, когда мальчик родился. Дадут другое, более ходячее, любимое или желаемое, в том только случае, когда выпадет имя греческого святого, которое мужичьему языку мудрено выговорить.

В этот день домашнего счастья в доме родителей в честь малютки, на его имя,— в первый раз первое обрядное блюдо. Это блюдо, заветное крестильное,— из тех же хлебных растений, которых обработка будет для него обязательна, именно из зерен или крупы, не смолотых в муку, но сваренных в воде в их настоящем, не измененном виде; это — крестильная *каша,* либо яшная из ячменя, либо пшенная из пшеницы. Бабка, принимавшая ребенка, ходит с этой

кашей по всем званым гостям: кто хочет кашу есть, тот должен выкупить ложку, т. е. положить грош; по поверью, за кашу грош отдать — младенец жить будет. Отцу дают кашу круто посоленную, с перцем. Каша, сваренная на воде или на молоке, так называемая размазня, будет выручать мать на то время, когда окажется мало ее собственного молока, а ребенок будет просить кушать. Крутая каша пойдет потом выручать на всю жизнь русского человека, на несчастный случай проголодки и настоящего голода. Каша — мать наша, выговорили русские люди, потому что это блюдо у них ежедневное. На нем целая половина обеда и последняя сыть: кашицей начинает, кашей кончает обед свой даже бедняк. Чем она хуже других блюд — и сказать трудно, а в виде крупеника, т. е. запеченная на молоке и яйцах, составляет лакомое блюдо, вроде наших сладких пирожных. Немудреное она кушанье, по пословице: «и дурень сварит — была бы крупица да водица». Затем русская каша везде поспела и всюду пригодилась: она и на крестинах новорожденного, и на свадьбе взрослого, при почине нового хозяйства. Она и на своем празднике в день Акулины (13 июня), который потому и зовется праздником каш, что тогда обыкновенно угощают всякую нищую братию. Каша и в складчине по обету, накануне Ивана Купалы (23 июня); она и на второй день Рождества для баб — бабья каша; она и на угощенье молотильщикам: из свежего зерна осенью. Без каши и обед не в обед. Русского мужика, говорят, без каши и не накормишь.

Стоит остановиться здесь, чтобы мимоходом поговорить о каше; сколь стара Русь, столь несомненно то, что она — первое кушанье, приготовленное земледельческим народом, когда он еще не знал ни жерновов, ни мельниц. Зерен не надо обдирать, молоть, делать из них муку, месить хлеб и т. п.— стоит лишь подлить водицы и поставить на огонь. А кто из нас, людей русских, тотчас вслед за материнским молоком, не начинал жизнь с жиденькой молочной каши, в достаточных семействах и в городах — с каши манной?

Кашу варят изо всех хлебных растений, и реже только из одной ржи, и то недозрелой (эта *зеленая* каша составляет кое-где купеческую прихоть). Бывают каши: яшная, гречневая, пшенная, овсяная, полбяная [3], кукурузная (мамалыга) и картофельная,— все сорты во всеобщем народном потреблении. Известна еще и такая, которую умеют варить только лучшие повара для самых записных и самых богатых лакомок: гурьевская каша, названная фамилией богача министра Дм. Ал. Гурьева, знаменитого великолепными обедами. Это каша большой цены, целых рублей, в лучших столичных ресторанах приготовляется с различными дорогими фруктами; не только попробовать, но и посмотреть на нее — надо заплатить деньги. Говорить о ней мы больше не станем. Яшную (из ячменной крупы) кашу Петр I признал самою спорою и вкусною, хоть гречневая (из гречихи) — самая любимая и употребительная во всем Русском царстве, т. е. по всем трем царствам его хлебных злаков. Ячмень кладут в ступу и бьют пестом, потом промывают; шелуха, не варимая желудком, отлетает: стала яшная крупа. Высушенная особым способом, она получает название толстой крупы; очищенная самым лучшим

способом и тщательным образом, яшная каша получает имя перловой, перловки, так как зерна ее начинают походить на перлы, или жемчуг. Яшную кашу, как и все другие каши, едят тотчас из печи, горячею — остывшая теряет вкус и становится тяжелою для желудка. Гречневая каша потому и распространена так сильно, что гречки у нас родится очень много, и в северных губерниях сеют ее потому, что растение поспевает очень скоро (через два месяца после посева). Шелуха, или лузга, отбитая от зерна в крупорушнях, в тех безлесных местах заменяет даже дрова, составляя превосходное и дешевое топливо. За великую пользу гречихи для человека русским народом придумана такая поэтическая легенда:

«*Крупеничка,* дочь королевская, была красоты неописанной. Она веровала богам русским, искони добрым и справедливым. Старые и малые, бедные и богатые, свои и чужие — все любили Крупеничку. Но, увы! грозная туча постигла землю белую. Сизый ворон промахнул ясного сокола, а дочь королевская досталась в руки злым и безбожным татарам! Что же тут делать бедной, горемычной Крупеничке? Красоте ее цены нет: ни злато, ни сребро, ни каменья самоцветные,— ничто не могло искупить ее из неволи, и она погибла бы безвозвратно, да вдруг *ни оттуда, ни отсюда* является перед грустною Крупеничкою какой-то добрый человек. Он обращает Крупеничку в гречневое зернышко и приносит ее на святую Русь, бросает на землю несеяную, и диво: Крупеничка опять принимает человеческий образ, а шелуха зерна, откинутая с превращенной, развела у нас до сей поры *добрую, душистую и цветущую гречку*».

За большую услугу, приносимую гречишным зерном, превращенным в крупу, перед посевом гречихи у крестьянских окон поется весной такая песенка:

> Кормилица ты наша, радость, сердце;
> Цвети, расцветай, молодейся,
> Мудрее, кудрявей завивайся,
> Будь добрым всем людям на угоду!

Для каши зерна кладут под жернова, которые освобождают их от шелухи, сыплют под струю воздуха, направляемую веялкой, и делают таким образом крупу. Если зерна отобрать и тщательно отсеять, можно получить крупу поменьше величиной, но приятнее на вкус; такая крупа называется *смоленской.* Если же отборное, спелое и полновесное зерно обварить кипятком, шелуха сама отстанет: а если его затем высушить, насыпать в мешки и в них, взявшись крепко за углы, сильно вытрясти и отвеять, получиться *ядрица.* Каша из нее — для любителей. Для общего потребления гречневая крупа идет с крупорушек не обдирная, но зато гречневая каша тем лучше других сортов, что ее можно есть не только горячею, но и холодною с молоком, с конопляным соком и даже с квасом. Перед гречневой кашей отстают все другие, и ни одна в народе не пользуется таким почетом: ни полбяная, из пшена, которая, впрочем, известна только в Малороссии, где из нее варят кашицу, называемую кулешом, ни мамалыга, кашица из кукурузы, к которой русские люди, вообще

невзыскательные в пище, не скоро привыкают, ни овсяная каша, к которой русский народ чувствует даже отвращение, так как она напоминает ему больницу и габер-суп. Крупа, приготовленная из пшеницы, называется манною, крупа из картофеля — иноземным словом *саго*, но та и другая народу мало известны, так как трудное приготовление делает их дорогими, как ядрицу и смоленскую крупу. Каши из этих круп едят только в средних достаточных классах, и изобретены они, конечно, богатыми людьми с избалованным вкусом и в то время, когда у них в распоряжении было много дешевых рук крепостных людей. И дешевые крупы делают свое дело, а простые зерна (например, ржи и пшеницы) приносят человеку еще бóльшую пользу, чем изысканные.

Человек живет, движется и работает, стало быть, изнашивает себя, тратит тело и все то, что его составляет. Когда не возвращаются телу утраты, человека постигает смерть. Пища поддерживает жизнь именно потому, что с нею возвращаются те частицы, которыми питается тело, и потом расходуются и уничтожаются в нем с каждым мгновением глаза. Нужны телу вода, известь, крахмал, жир, соль, сахар и т. д.— все те вещества, которые не только образуют мясо и кости, но и поддерживают в теле жизненную теплоту. Хлебные зерна тем и благодетельны для человеческого тела, что в испеченном хлебе и сваренной каше дают все это вместе, хотя одни зерна больше, другие меньше. Черный хлеб из ржаной муки и пшеничный из низших сортов пшеницы дают самый питательный хлеб. Ржаной, приготовленный из мало просеянной муки, каким довольствуются наши деревни, еще питательнее и требует лишь привычного и сильного желудка. Пшеничный, или белый, хлеб из высших сортов пшеницы полагается также самым питательным веществом, которое еще усиливается в нем в наших булочных примесью молока и яиц. Вот почему как каши из зерен, так и булки и хлебы из муки хлебных зерен составляют драгоценный питательный материал для человеческого тела, а потому хлеб в особенности сильно распространен в классе рабочих, где всего больше и скорее тратятся частицы тела. Кто видал, как много потребляют рабочие хлеба, хотя бы на столичных улицах, на петербургских барках, тому разъяснять больше нечего. Оставив кашу, пойдем опять в деревню и в крестьянские избы.

Таким образом, почин в жизни русского совершается хлебным, мучнистым и крахмалистым приношением — кашей. Мать дальше не всегда угождает материнским молоком, которое считается самою здоровою, на первых порах единственно полезною и позволительною пищею. На женщине в деревнях весь дом стоит: она и у печки глядит, чтобы щи не ушли через край, и скатерть на стол кладет, и кошку гонит, чтобы не слизывала с молока детских сливок, и опять к столу, и опять к печке. А там раскудахтались куры, разворчался хозяин, соседка пришла соли попросить — и наш ребенок, ее детище, в зыбке заплакал. Надо покачать, чтобы унялся, горшок щей выхватить из печки ухватом, всем угодить, а самой хоть сквозь землю провалиться. Голова идет кругом, и ног под собой не слышит наша терпеливая труженица, неустанная работница, честная жена крестьянская.

Чем угомонить ребенка, когда он раскричится? Покормить грудью или закачать до обморока — времени нет. Придумано давно, как русский свет стоит, напихать в рот ребенку жвачку из ржаного хлеба или каши, от всех бед прибежища, будет сосать и замолчит. Станет помалчивать — значит, стал набираться крестьянской рабочей силы. От жвачки начнут развиваться у ребенка в желудке кислоты, появится резь; от болей он начнет реветь на всю избу. Мать скажет себе, что кто-нибудь взглянул на ее сына черным глазом, сглазил, и успокоится, пока ребенок ревом своим не велит, как говорится, выносить святых вон из избы. А тут отец постарается пособить беде: привезет от купца с базара или ярмарки пряник-сусленик, опять-таки мучное, да еще с медом; зык и рев — еще пуще. Усмиряет мать плаксу песней, да и эта песня, конечно, на ту же стать.

Вот хоть такая:

Баю-баюшки-баю,
Живет барин на краю,
Он ни скуден, ни богат,
У него много ребят,
Все по лавочкам сидят,
Кашу маслену едят,
Каша масленая,
Ложки крашеные,
Ложка гнется, сердце бьется,
Душа радуется.

Или на такой склад:

У котика-кота
Была мачеха лиха.
Она била кота
Поперек живота,
А кот с горюшка,
Кот с кручинушки,
Кот на печку пошел,
Горшок каши нашел,
На печи калачи,
Как огонь, горячи,
Пряники пекутся,
Коту в лапки не даются.

А про сорокину кашу кто же из нас в детстве не слыхивал?

Стал ребенок подрастать: сначала выучился на дыбки становиться, потом ползать по полу, ходить, хватаясь за лавку. Сотни раз падал и больно ушибался: то синяк высветлеет на личике под глазом, то шишка на лбу или на головке вскочит. Наревелся он не только на свою избу, но и на целую деревню. Наконец он стал держаться на своих ногах без помощи материных рук, стал ходить вперевалку. До году крестьянский сын всегда начинает ходить.

Как исполнился год жизни и наступил первый день его именин, мать спешит почествовать сына вторым в честь его блюдом, и опять хлебным,— пирогом именинным. На этот раз кусочек пирога перепадет и на долю именинника, а затем пирог и пойдет ему на всю долгую или короткую жизнь как непременная именинная принадлежность. Впрочем, как все мы хорошо знаем, звать на пирог и не для

одних крестьян значит звать на именины; без пирога редко кто на святой Руси именинник; без пирога именинника старые люди под стол сажали.

Попались мы теперь на такое кушанье, которому у нас износу не будет и счет сортам подвести невозможно. Назову главные сорта их. Пирог защипанный глухой, с какой-нибудь начинкой, называется собственно пирогом и, судя по начинке, бывает: гороховик, крупеник (с кашей), грибник (с грибами). Если начинка мясная или рыбная, пирог уже называется кулебякой. Пирог незащипанный зовется расстегаем, вздутый из кислого теста — подóвым, из пряженого теста с маслом — сдобным. Пироги бывают долгие, круглые (с курицей, курники), треухи, т. е. трехугольные и сладкие, начиненные сластями,— они же и торты. Бывают ватрушки с творогом — кто их не знает? Бывают пироги защипанные, но без начинки, пустые, называемые пирогами «с аминем». Едал я самые вкусные сибирские пироги, каких редко кому доведется есть в России. В России славились некогда пироги арзамасские с рыбой астраханской. На начинку в пирог пирожницы наши не спесивы: в пирог все годится, все завернешь, говорят они, но на приготовление вкусного между ними мастериц не много. Где такая заведется, там ее почитают и, когда нужна ее услуга, зовут с честью и поклонами. Она вынет пирог из печи, поставит на стол, да и остановится, подхватясь локотком, что скажут: дошел или перешел, упрела ли капуста, похвалят ли? Едят пироги до обеда, но не крестьяне. Хотя, по пословице, пирог — обеду ворог, пироги у крестьян подают после обеда на заедку и не глядят на то, сладкий ли он или просто с крутым горохом, который, как известно, не всякие зубы и перемять могут. При этом пироги не пшеничные, не крупитчатые, какие мы все привыкли есть и видеть; наш новорожденный будет есть аржаные и только по большим годовым праздникам пшеничные, но опять-таки не белые крупитчатые. Эти попадут ему в рот разве на тот случай, когда выпишется он в купцы, начнет торговать и наживать лишние деньги на сладкие дворянские и купеческие кушанья. Так, впрочем, и сказано: матушка-рожь кормит всех сплошь, а пшеничка — по выбору.

Между пирогами есть обетные, которые пекутся по обещанию. Так, например, на Ивана Купалу (24 июня) пекут их на угощение странников и нищих; на зимнего Николу опять-таки и тот же нищий без пирога за стол не садится. Вообще можем сказать с пословицей: «Изба красна углами, а обед — пирогами».

В старину, в пользу сборщиков государевых податей, с народа собиралась пошлина, которая и называлась «пироговою». Цари своим близким людям посылали в их именины пироги. Пирогами в наши времена дарят священников, когда они жалуют в избы со святом: с крестом и молитвой в великие церковные праздники и в особые деревенские. Словом, пускаясь дальше, из русских пирогов можно совсем не выбраться. Ешь пироги,— говорит старая пословица,— а хлеб вперед береги, а так как о хлебе и хлебенном и мне доводится много говорить впереди, то и постараюсь поступить так, как подсказывает пословица.

Подрастает наш молодец по неделям и месяцам, от праздника до праздника. Ему не помнить бы их, если бы родители не отмечали праздничные дни добавочными блюдами, и притом так, что почти на каждый праздник особое блюдо — и уже если и в самом деле особое, то опять-таки непременно хлебное или мучное. Вот на самый большой зимний праздник, накануне великого дня Рождества Христова, в сочельник,— «кутья». До появления первой звезды на небе не едят в этот день, в память явления звезды на востоке, возвестившей восточным мудрецам о явлении Спасителя мира, божественного сеятеля, который выходил сеять семя слова божия, чтобы вырастить хлеб небесный. После звезды выносят эту кутью, или жидкую кашу, сваренную из обдирного ячменя, пшеницы, толстой крупы в воде, наслащенной медом и называемой сытою, очень вкусную и сладкую. Ставят ее на стол, покрытый соломой и скатертью. Из-под скатерти отец семейства вынимает соломинку и по ней гадает; вынулась длинная — будет урожай на хлеб, попалась короткая — надо опасаться хлебного недорода. Под Новый год опять кутья, под Крещенье, во второй сочельник — третья кутья. Эта кутья называется богатой, рождественская — постной, новогодняя — голодной. Сочельник, или сочевник, оттого так и называется, что едят в эти дни это сочиво, т. е. наслащенную кашу без скоромной приправы.

С первого дня Рождества, как известно, начинаются святки. В ночь на Рождество, после заутрени, малые ребята ходят кучками «со славой», т. е. поют праздничные стихиры [4], иногда носят с собою вертепы [5] или звезду, получают за то деньги, подарки и опять-таки пшеничные пироги. Для взрослых наступило время веселья, пиров, и второй день святок издавна слывет в народе под именем бабьих каш. На Васильев вечер, или под Новый год, опять каши и обсыпанье большаков в семье зерном, в виде гаданья на хлебный урожай [6].

Опять малым ребятам удовольствие ходить по чужим избам, распевать хоть бы такую песню (и получать то, чего просят):

Пышка-лепешка
В печи сидела,
На нас глядела,
В рот захотела.
Дайте нам ломоть пирога
Во все коровьи рога;
Не дадите лепешки —
Закидаем все окошки,
Не дадите пирога —
Закидаем ворота.

Или:

Кто не даст пирога,
Сведем корову за рога,
Не дадите ножку —
Мы свинью об сошку.

Накануне крещенского сочельника святкам конец: нельзя сбираться по избам, петь песен, плясать, надевать харю или маски на лица и шубы навыворот. Нельзя и малым деревенским ребятишкам шататься по домам и стоять толпой под полатями у входных дверей,

смотреть на забавы и игры старших, толкаться и щипаться промеж себя, и проч. За святками опять побегут дни за днями, неделя за неделей — и все эти дни называются свадебными, потому что в это время преимущественно устраиваются крестьянские свадьбы. Одна из этих недель сплошная, на которой можно есть скоромное каждый день; и пекут и едят особое хлебенное: хворосты, хворостень, тонкие и хрупкие пряженые лепешки, сдобное тесто полосками, лентами, пряженное на масле печенье. За сплошной, или всеядной,— неделя пестрая, которая названа так потому, что один день у ней скоромный, а другой — постный. А вот за пестрой неделей прикатила и честная, широкая масленица — всемирный праздник, самый веселый изо всех: «на горах покататься, в блинах поваляться».

Блины — пшеничные, яшные, овсяные, гречневые, из пресного и кислого теста, из манной крупы, из творогу, блины с луком, с яйцами, со снетками, с маслом, со сметаной и т. д. в бесконечность. Не станем уже говорить об оладьях и пышках, которые в достаточных семьях заменяют блины и помогают им, как разнообразие; где оладьи, тут и ладно, где блины, там и мы,— говорит поговорка. Без пирога не именинник, без блинов не маслена. Блинами поминают и покойника, и празднуют свадьбу, но с той разницей, что на поминках их подают наперед всего, а на свадьбах — после всего. На масленой же блины всякий день: и утром, и в полдень, а у доброй хозяйки и вечером, хотя бы и холодные, да лишь бы с маслом, блины во всю длину целой недели. Наедаются блинами до отвалу, оттого и масленица неспроста называется объедухой. И поделом ей за ее обжорство и шалости; на другой день — заговенье на хрен, на редьку да на белую капусту. С первого же дня православная тюря — оржаной хлеб с луком, круто размоченный квасом,— да какую хочешь кашу, да какой выберешь кисель — опять мучнистое в виде студня, на опаре и закваске: овсяной, оржаной,— пшеничный, или пресный, и самый любимый — гороховый. Киселем брюха не испортишь, для него всегда место, и самый большой почет ему — именно в постах и на похоронах. На выручку киселю саламата и кулага — болтушка, сваренная из любой муки, какая попала под руку, жидкий киселек, мучная кашица с солью и маслом. Ливенцы орловские этой саламатой даже мост обломили, когда по горшку со двора вывезли навстречу новому воеводе. Так подсмеиваются над ними соседи.

Постов у нас очень много, и в постном нет недостатка. Назову главнейшее: за всем не угоняешься. На выручку к саламате — толокно, толченая немолотая овсяная мука с водой либо квасом и солью, от всех бед прибежище, любимая еда и в дальних дорогах спасенье. Кушанье скорое: замеси да и в рот понеси. Некоторые простаки в реках замешивали, реку Каму прудили,— подсмеиваются соседи. Однако толокно сухим не проглотишь: толоконной мукой поперхнешься на первой щепотке. Чтобы съесть, надо смочить, разболтать его в жидкости. В молоке? — нельзя: пост, да и еще великий. Водой? — дело хорошее, особенно если круто присыпать солью. Да такой способ позволителен только в дороге, в чужих людях, по скудости и скорости. В своем дому дозволяется это лишь крайней бед-

ности; дома за толокно с водой просмеют. Худо дело, если в какой крестьянской избе нет — да и в какой же нет? — квасу. Квас, впрочем, такой и напиток древний, что как прознали люди про предков наших славян, так и рассказали про квас и про бани: «Возьмут-де листья, начнут хлестать себя ими так, что сделаются мертвыми, а потом обольются питейным квасом — и оживут». Квас и теперь ни в одной избе со стола не снимается; стоит он тут в деревянном жбане и ждет заезжего или прохожего, чтобы подсвежить их, особенно в летнюю пору. В деревнях по святой Руси за квас никто еще не плачивал денег, торгуют квасом только в городах. В старинных он до сих пор играет видную роль на купеческих свадьбах: на богатых полагается девять квасов, т. е. девять кушаний с непременным квасным подливом. Да и квасы бывают разные: не только обыкновенный сыровец из квашеной ржаной муки или из печеного хлеба с солодом, но и лакомый: медовый на меду, клюковный, яблочный, грушевый, даже можжевеловый на вкус волжских бурлаков. Чтобы не заговориться о квасах, довольно сказать коротко, что этот напиток — наш коренной русский, национальный. Другие народы про него не знают. Вместе с хлебом он выручает из опасностей голодной смерти самую голую бедность. Ешь щи с мясом, а нет, так хлеб с квасом — повелевает, зло подсмеиваясь, русская поговорка. В посты квасу особенный почет, да без него ни один работник в работу не нанимается, желая пить его, когда вздумается. В помощь толокну, замешивают на кипятке ржаную муку и солод и упаривают в корчагах на вольном духу эту смесь, в виде квасной гущи. Затем студят на холоде; выходит кулага — самое лакомое постное блюдо. Если не выручат щи, на что честнее и вкуснее лапши, которую нередко топором крошат, чтобы было этого хлебенного больше и сварилось оно круче? Для вкуса в посту грибков прикрошат, в скоромные дни подпускают сала. На киселе и толокне и с постом разлучаются. Однако среди поста, на средокрестной неделе, для разнообразия лакомятся крестами [7] — пекут их из кислого теста; в один запекают деревянный крестик. Кому таковой достанется, на счастье того засевают хлеб будущей весной, или тот же самый счастливец бросает в землю первые зерна. И еще в посту хлебенное лакомство, в день Сорока мучеников, 9 марта. Тогда пекут из хлеба колобки в виде птичек, которые и называются жаворонками [8], потому что, по поверью, на этот день будто бы прилетает сорок птиц, и между ними жаворонки самыми первыми и главными.

Зима кончается, весна начинается. Наступает праздников праздник, светлое Христово воскресение, и с ним или вскоре за ним пробуждение всей природы от зимнего сна — Пасха Христова — первый весенний праздник. Пасху Христову чествуют особенным хлебенным, которое называется в одних местах «пасхой», в других — «куличом», его пекут на дрожжах и сдобным, с миндалем и изюмом. Сама православная церковь на святой неделе освящает свое святое хлебенное, называемое «артосом». А в субботу на святой, иногда на Фоминой неделе причты церковные угощают своих прихожан другим хлебенным блюдом — лапшой. Оттого и день такой называется лап-

шаным. В больших городах, с примера Польши, к отечественному хлебенному, то есть куличу, прибавили еще так называемые сдобные и сладкие бабы или бабки, пончки и т. п. В Вознесеньев день пекут суеверные люди лесенки, в память восшествия господня на небеса. Наиболее суеверные люди (например, в Орловской губернии) пекут такую же лесенку на 40-й день по кончине кого-либо из своих. Лесенку эту смазывают медом для того, чтобы была слаще, и выносят торжественно на двор, чтобы поставить ее душе покойника для восхождения от земли. Попоют, помолятся и разделят лесенку на столько кусков, сколько человек в семействе, и каждый обязан тут же съесть свою часть. На них, кажется, и конец всем обязательным праздничным печеньям целого церковного года.

Столько хлебного для праздников и по праздникам, на рост и здоровье русского человека, чуть не с первого года по его рождении! А так как ребенок чем скорее растет, тем сильнее и есть просит, то аржаного хлеба перепадает на его долю больше, чем, например, каши. Сверх того, сердобольная мать, неподкупный друг своего детища, чтобы не плакало оно и не ныло, охотясь больно и прося неотступно есть, ставит где-нибудь в укромном месте маленький коробок. Приходи к нему когда вздумается, бери сколько хочешь и ешь сколько влезет. В коробке — колобки, о которых с такой любовью рассказывается в детских сказках: «Я, колобок, по сусекам метен, в сыром масле пряжен» и т. д. Колобки — небольшие круглые хлебцы или толстые лепешки; их обыкновенно пекут из остатков муки от пирога или хлебов. Материнская нежность прибавляет туда масла, чтобы сделать сдобными, смазывает сметаной или размешивает на молоке, чтобы стали послаще,— кушанья вкусные и ребятами любимые. Сшалят они, провинятся — отказом в колобке деревенских детей наказывают. А так как матери любят баловать деток, то и колобкам много названий и много сортов: есть кокурки, колобаны, клецки, лепешки, кольца, крендели, витушки, каравайцы, сушки, бублики, пряженцы, толченики, папошники, булочки, баранки. При этом всякий из них печется на свою стать, особым образом.

На материнских колобках да на улице, то есть при достаточной пище и на свежем воздухе, при постоянной беготне и движении, крестьянский сын вырастает скорее и спорее детей городских. Одна разница: деревенским ребятам не проходит даром то, что они поедают так много хлебенного, мучного. У них вырастают большие животы, каких не бывает у детей, питающихся бульонами, супами и вообще мясною пищею. Мясо, или говядина, попадает в деревенские щи очень редко — в самые большие праздники, и то не во все, и то не у всякого. В замену мяса идут овощи: луку очень много, еще более капусты, редька, морковь, картофель.

Беда от большого живота со временем проходит, с летами исчезает, остается только способность есть много, так как мучная пища тогда только напитывает, когда потреблена в большом количестве. Тогда и в теле теплота, и в душе довольство и спокойствие. На теплом Кавказе с трех-четырех лепешек, называемых чурехами, бывают сыты. Попадется работник на улице с куском черного хлеба

больше своей головы — это он про одного себя купил и ни с кем делиться не будет.

Наедается мальчик, чтобы быть сытым и набраться сил. Набирается он силами для того, чтобы хватило их ему на домашнюю помощь. В деревнях детей не нежат, долго не балуют. Поднялся ребенок на ноги, стал твердо ходить и толково все понимать — его сейчас за работу. За грамоту не сажают, а начинают приучать к хозяйству. Сначала работы полегче: лошадку напоить, пособить запрячь ее, в поле угнать, там посторожить ночью, днем домой привести. Потом работы потруднее и настоящие. Отец пройдет с тяжелой сохой по полю, приготовляя из земли твердой годную под посев; мальчик на той же хохлатой лошадке проедет по тому же полю с легонькой бороной и деревянными зубьями ее разобьет комья земли в мягкий пух, где потом будет так хорошо лежать хлебному зерну, расти на теплых дождях и зреть и спеть на пригреве жаркого солнышка.

Прибавится хлебному едоку от ржаного хлеба новой силы, выучится он ладить с тяжелым хомутом и упругой дугой, научится запрягать лошадей, есть за троих — от бороны переводят его к сохе и к молотьбе хлеба. Дадут ему в руки косу, траву косить, или грабли, метать стога, приставят и к тяжелым работам. В крестьянской семье будь хоть четверо сыновей — всем будет дело, и всякий нужен, и сидеть без работы каждому будет грешно и совестно. Крестьянская жизнь бедная, тяжелая, день полежать — три потерять. Только тот, кто поработал, имеет право поесть. Кто не трудится, а только ест, тот заедает чужой хлеб, тот семье своей, отцу и матери, братьям и сестрам, не друг, а злой враг. Во всякой семье приятен работник, а в крестьянской для трутней и лежней и места нет. Насколько крестьяне дорожат лишним работником, видно из того, что деревенских ребят женят очень рано. Как только подойдут законные года — ему отыскивают невесту, чужого человека работницей в свой дом.

Вырос наш молодец, накопил денег, высмотрел себе невесту, накупил подарков, посватался и получил согласие. В день этого согласия, который называется сговором и помолвкой, всех гостей угощают лапшой, т. е. такой похлебкой, в которой сварено накрошенное рубезками тесто. Три «лапшеи»-женщины подносят лапшу мужчинам, а мужья потчуют той же лапшой женщин. Вот и свадьба; жениха и невесту, каждого в своем дому, собственные родители благословляют караваем ржаного хлеба, со вделанной в верхнюю корку солонкой с солью, три раза. Эту хлеб-соль возят и в церковь. На свадебном каравае мы обязаны остановиться вот по какому поводу.

В старинных, самых древних и первых по времени землях русских, каковы Малороссия и Белоруссия, до сих пор сохраняется и справляется особый обряд *каравая*. Вот как делают в Белоруссии, где такой обряд называется *расчиненьем* (раствореньем) *каравая*.

В доме жениха собираются мужчины. Женщины из кислого теста замешивают каравай и поют в это время свадебные песни. Изготовив, заставляют мужчину вымести веником печь и сажать каравай, т. е. делать бабье дело. Сами поют в это время другие песни. Тот, кто сажал

каравай, поднимает правую ногу и бьет сапогом три раза в край печи, чтобы понудить ее испечь хорошенько,— иначе нехорошо будет молодым. Когда учат печь, женщины подхватывают и поднимают дежу (т. е. квашню, в которой размешивали хлеб) к самому потолку. Затем того же мужика повязывают утиральником, чтобы походил на бабу и обманул печь, и сажают его в задний угол, чтобы каравай не разошелся. Но вот и поспел каравай. Молодой берет его, садится на лошадь верхом; сват с белою перевязью через плечо едет впереди. Жених отправился за невестой. Каравай лежит на веке, т. е. на круглой доске, которою покрывают квашню. Молодого встречает мать невесты (теща) в полушубке наизнанку (шерстью вверх) и с ковшом в руках. Молодой льет воду и бросает ковш через голову; сходит с лошади и подает каравай. Каравай этот всякий обязан поднять и сказать: «Наше выше». Молодая тут же, и также в шубе наизнанку. Молодым соединяют руки и вместе поворачивают их три раза; затем вводят в избу и сажают. Девичий косник снимают с головы и дают в руки черную барашковую шапку, которую молодая, два раза бросив на пол, надевает. Женщины голосят. Наконец молодых выводят, сажают на телегу и покрывают обоих полушубком, опять шерстью вверх. Молодая, выезжая из отцовского дома, бросает через голову пирог, и, поднятый, пирог этот, подъезжая к женихову дому, бросает через голову уже вперед себя, в знак того, что о старом доме будет хранить память и любовь, а здесь думает заводить любовь вновь. В воротах молодых ждут зажженная солома и мать жениха, также одетая чучелой, в шубу навыворот. Она подает невестке руку; молодая должна ступить на квашню, с квашни на холст, по которому и входит в избу, где снимает шапку и повязывает бабий убор, называемый наметкой. Молодой на другой день идет к тестю звать его *делить каравай*. Когда каравай делят, новобрачных ведут к колодцу и обливают водой их ноги. Суденки эти берет молодой и передает жене, которая обязана налить воды, принести ее в избу и вылить на руки тестю и теще, затем подать им полотенце, а остальную воду вылить на скамейку и вытереть. Все это знаки покорности и готовности к будущим занятиям в доме слугой, и эти — лишь первые. Первый хлеб из новой ржи печет молодая. Приготовив тесто, она кладет на крышку квашни пирог и деньги. Пирог и деньги оставляет она и у того колодца, где ей для честного житья вымыли ноги [9].

Без этих длинных обрядов и свадьба не в свадьбу. Все это делается после венца, когда молодые выйдут из церкви и разъедутся по своим домам с этого окончательного домашнего обряда. Обряд этот сохранился с древнейших времен, и кто поручится за то, что это не тот свадебный обряд, который справляли наши предки-славяне в старину, когда еще не были христианами и не подчинялись обычаям православной церкви?

Мы рассказывали про белорусскую свадьбу. Малорусская очень похожа, да и в Великороссии свадьба — тоже языческое игрище с такими сложными обрядами, которые знают и которыми руководят особые бабы — свахи, на этот раз как бы языческие жрицы. Кстати сказать, что с тех же давних времен седой старины сохранились

все обряды около хлеба, о которых я рассказал и вперед буду рассказывать.

Молодые съездили в церковь с колокольчиками и бубенчиками, повенчались. Повенчались — приехали из церкви; в дверях избы их осыпали зерном, или ячменем, либо рожью, в знак того, чтобы жили богато, ибо хлеб считается знаком божьей благодати, сытости, здоровья, а стало быть, и счастья. Вошли в избу — новый обряд, также самого древнего происхождения, исполняемый одинаково в целой России. Молодой и молодая целуют наперед икону, потом отца и мать, а там опять-таки хлеб и соль. Одна соль — худо (просыпать ее — беда), а соль с хлебом не попустит врага сотворить зло на честной крестьянской свадьбе. На другой день у молодого, а в первое воскресенье у родителей молодой — два пира, которые зовутся пирожными днями, пирожным столом. Молодая сама потчует всех пирогами, напрашиваясь на новое пожелание счастья.

Крестьянское счастье не так давно заключалось отчасти в том, что сыновья жили при отцах, воевали с нуждой целыми семьями и совокупными силами, и говорили: один и дома бедует, а семеро в поле воюют. Теперь забыли, что две головни и в поле курятся, а одна и на шестке гаснет; теперь по деревням каждому захотелось жить своим домом: начали делиться, т. е. маленький достаток еще больше дробить, чтобы уже совсем ничего не было. Разделиться немудрено с согласия деревенского общества, немудрено и новую избу поставить — очень мудрено в четыре руки делать те же дела, на которые тянулись прежде 10—12 рук. «Что будет, то будет, а будет, что бог даст»,— станем делиться и строиться.

Деревенский мир дозволил нарубить бревешек в мирском лесу, выпросив себе за это четверть водки, хотя, по старинному праву, этого делать не следовало бы. Деревенский лес пообщипан: худое лесное хозяйство сделало из лесу рощу, перелесок; не только хороших, но и средней доброты бревен теперь не выберешь: нарубливаются не бревна, а только бревешки тонкие и кривые. Зимой по снегу, по нашей русской почтенной дорожке, на санях, деревья вывезены и сложены подле того места, где хочется встать избой. Возить помогают соседи помочью из-за угощения и не отстанут до тех пор от работы, пока не привезут сотни бревен, непременно сотни. Проходящие пильщики, которые промышляют тем, что ходят по дальним деревням с пилами и ищут и спрашивают: нет ли где работы? — пильщики распилили бревешки на горбыли (с краю) и на доски (из середины). Ходила пила сквозь сосновое дерево, взвизгивала и позванивала, наскакивая на сучки; хахали пильщики, подвязав ситцевым платком лбы, чтобы не летели опилки в глаза и не застилали прямой линии, той наглазной линии, по которой пила ходить любит (возьмет вбок — не выдерешь ее, а сломаешь — и купить негде, да и инструмент большой и дорогой). Так или нет — мужик с горбылями для крыши и пола, с досками для потолка, лавок и перегородки. Ушли пильщики, можно поискать плотника, у которого глаз хоть и не изощрялся на рисовке геометрических фигур, но, по долгому опыту, очень остер и сметлив. Для топора он не мелит мелом и не

размеряет циркулем; прямой глаз и привычная и верная рука делают все дело, которое у иных искусников доходит до высокой степени совершенства: можно залюбоваться. Топор русский такие вырубает фигуры в досках, что можно подумать на долото, ножи и разные столярные инструменты. По крышам богатых изб развешаны так называемые полотенца, т. е. доски, прибитые и разукрашенные вроде полотенец с кистями и прорезанными фигурами,— все это мастерит немудреный топор.

С плотником сладились. А так как дело к спеху и скоро надобно, то подговорил он товарищей. Ударили по рукам, богу помолились. Стали рыть ямы. Стали ладить из бревен потолще короткие бревна, кряжи (напиленные пильщиками), т. е. обожгли их, обуглили с одного конца. Этим концом встанут кряжи или сваи в ямы, в сырость; обугленные труднее и дольше будут гнить. Это — стулья (8 или 12), вместо каменного фундамента столичных домов. Суеверные люди, заставливая (начиная) избу, в передний угол кладут три вещи: деньги для богатства, ладан для святости, шерсть овечью для тепла. На стульях первые бревна, связками четырех вместе, называются — первый венец. На углах в нижних бревнах выемки, чтобы свободно ложились в них обтесанные верхние венцы или бревна. Нижние, т. е. первые, бревна подобраны потолще — им больше терпеть. После второго венца и на него кладут три или четыре переводины для мощения на них пола, а затем опять венцы (три или четыре), длинные бревна, во всю ширину и длину избы. В правом углу закладывают поперечные, обтесанные на четыре угла кряжи, или косяки, на красное окно, и еще отступя — косяки на другое. Между косяками закладывают пространство короткими кряжами; над ними опять венцы (пять, шесть и семь). В левом углу в одном бревне прорубают глубокую щель на волоковое окно, которое непременно должно быть против печи, чтобы была в нее отсюда тяга воздуха и не дымила бы печь, когда не надобно. Когда накладены верхние и передние венцы, на них кладут поперечные балки, или брусья, для накатки, или настилки, потолка, и между балками поперек всей избы — матку, или матицу. Изба вчерне готова, самое главное пройдено. Теперь следует подымать и обсевать матицу. Хозяйка варит кашу; хозяин кутает горшок в полушубок, идет в свой сруб и подвешивает горшок к новой балке — матице. Один плотник влезает на верх, обходит последний венец и по пути сеет хмель и хлебные зерна, на счастье и благополучие. Проходя затем по поперечному брусу, или матице, на которой висит горшок с кашей, перерубает он топором веревку. Горшок каши ставят в круг, садятся, едят и запивают вином и пивом. Это угощение, называемое маточным, идет сверх ряды за сруб избы, конец которого теперь недалеко.

Выше потолка венцы кладут все короче и короче, в виде конуса, треугольником. Эти венцы заменяют стропила, потому на них кладут, на аршин одну от другой, толстые жердины, укрепляя концы их на венцах. Когда положена жердина на самый верх — изба вчерне готова и поглотила столько материалу, сколько понадобится теперь на внутреннее убранство и отделку. Всего дороже честь сытая да

изба крытая. Надо, стало быть, торопиться крыть крышу; изба без крыши — что простоволосая баба, да и опасаться надо, чтобы дожди не испортили углов и они не трещали, подобно ружейным выстрелам, когда изба будет садиться. Крышу настилают либо из драни, либо из соломы, либо, на лучший случай, из тесу, т. е. пиленых досок. В лесной глуши кроют, впрочем, тесинами, т. е. досками, обтесанными топором, которые прочнее пиленых (пиленые доски обыкновенно тоньше вершка, и потому сильнее коробит их). Кровельные доски прибивают на самом верху, запуская их под опрокинутый желоб, называемый шеломом. На желобе этом, или избяном шлеме, ставится резной гребень с петухами по концам: это уже для красоты и сверхсыта.

Сталась изба четырехстенная, а может она быть и пятистенная, если разгородить ее рубленой бревенчатой стеной. В первой прилаживаются сени с одного боку, во второй сени посередине и две избы: теплая и холодная. В той и другой четыре угла: налево — бабий кут, у печки впереди, иногда за дощатой перегородкой. Направо, в ближнем углу, кут хозяйский, или коник, где и ларь приделывается для поклажи сбруи и подручных принадлежностей большака семьи. Наискось от печи, направо, прямо против хозяйского кута,— красный кут, большой, самый главный; здесь в углу приставляется стол, а в самом углу прилаживается треугольник, или тябло, для святых икон — божьего милосердия. Сюда всякий входящий молится. Молятся сначала те, которые приходят сюда, когда внесено божие милосердие, променянное (а не купленное, однако ж) у проезжего торговца,— приходят поздравлять с новосельем и приносят опять-таки и непременно хлеб-соль на благополучие.

Изба совсем готова, когда встала в углу печь — мать родная, либо битая из глины, либо складенная из кирпичей. Глину мешают с песком и уколачивают: это основание, или опечье, иногда на деревянном срубе; под ним пустое место — подпечье, в котором любят спать кошки. Затем сама печь на своде, с передним выступом — шестом, или очагом, с челом, или устьем, полукруглым отверстием, которое прямо ведет в самую печь. Печь варит и жарит, греет и парит, да уж и дымит по утрам так, что у всех болят глаза. На печи между потолком оставляется место лежать старикам и приделываются сбоку приступки, а подле них голбец, чуланчик, из которого ход в подызбицу, или погреб, а в голбце полки для подручной посуды и кушанья. От него, на половину длины избы у входа и на половину вышины ее к потолку, на бревне или брусе, настилаются полати, где общая хозяйская спальная, род иностранных антресолей. Изба теперь совсем готова: полы настланы, потолок накатан. Само собой, кругом всех стен приделаны для сиденья лавки и даже сделаны подвижные лавочки на ножках, вместо стульев; куплены ухваты для горшков и сами горшки, ложки, чашки и плошки; метлы вырублены, лопаты выделаны, ведра сбиты прохожим бондарем, и кадка для воды готова, и т. п.

Теперь уже совсем все готово, а что позабыто, о том можно вспомнить после, а своя избушка — свой простор. Суеверная баба

может, пожалуй, и домового перезвать из старого дома, чтобы в новом не прокудил, не шалил, и ставит ему угощенье. Лохматый домовой — мужик добрый: это не то что леший, который ломает мельницы. Домовой если полюбит, нет того лучше: лошадям заплетает гривы, по спине хозяев гладит; если во сне начнет давить — значит, предупреждает о каком-нибудь несчастии. Впрочем, бабьих глупостей не переслушаешь и всех их суеверных обычаев не перескажешь. Теперь мы с избой и с хорошим концом на дальний путь наш, за хлебом и хлебенным: есть где печь — было бы что есть. Вскоре и тараканы переползли, и клоп завелся, и сверчок затрещал за печкой.

Счастье не дается даром, попадет не на всякого. Нашего крестьянина счастливым назвать нельзя. Дома у него так много нужды и бед, что про счастье он только в сказках слышит. Однако пробует искать счастья и дома. Дома счастья не находит: земля плоха и неблагодарна, с трудом прокармливает только своих хозяев. На той земле, где подолгу стоит зима и, вместо чернозема, любимого хлебом, лежит холодная глина, земледельцем не выстоишь, круглым пахарем не сделаешься, не будешь богат, будешь горбат. Пшеничного хлеба не поешь, а в иных местах и аржаной в большую честь, да и тот с мякиной или тем хлебным колосом, от которого отвеяно зерно. Есть на Руси и такие страны, где вместо мякины прибавляют в хлеб траву — лебеду, сосновую кору — мезгу и иную негодную помесь, так что и распознавать бывает трудно: хлеб ли это или высохший комок грязи. В таких местах говорят и веруют, что меж сохи и бороны не ухоронишься, а потому от деревенской земли не бывают сыты и ищут счастья, удачи и хлеба на чужой стороне, в чужих людях и работах. Надо выдумывать промысел и уходить либо с топором в плотники, каменщики, в бурлаки на Волгу, в Петербург в маляры и лавочники, в Москву по торговой части, в трактирные половые и т. д.

Если хочешь пшеничное есть, ступай на низ, — говорят крестьяне наших северных губерний. Да так и делают. Одни уходят из своей стороны на зиму только, летом возвращаются домой; другие оставляют родную семью и деревню на год, на два и более. В Петербурге и Москве изо всех жителей таких деревенских выходцев больше половины.

На святой Руси для рабочих людей дорога широкая, для каждого найдется путь и пропитание; иди куда хочешь, в какую угодно сторону; везде в искусных рабочих нуждаются.

Здесь замечательно то, что, куда бы мы ни пошли, в любую сторону и город, найдем, что русский человек себе верен. Не выдумал он разносолов, разных вкусных яств, ни французских соусов и паштетов, ни английских ростбифов и бифштексов, но по части хлебенных, мучнистых кушаний превзошел даже себя. Мудрено представить себе такой город, который бы не прославился вкусным хлебным печеньем. Кто не знает Москвы с ее пшеничными калачами из жидкого теста и сайками из теста крутого? А с московскими калачами спорят еще муромские заварные, подсыпанные отрубями.

Для примера пойдем из Петербурга на Волгу; вот, например,

новгородский городок Валдай, который звонит на Московской железной дороге колокольчиками, в нем — знаменитые баранки, обварные крендельки, или хлебные кольца, но только мелкие, не те, которые зовутся сушками и какими славится местечко Мир в Минской губернии и Филиппов с Борисовым в Петербурге. В Валдае девушки с ног сшибают, предлагая хлебный товар свой, приговаривая: «Молодец, купи баранок, да хороших каких!» Вот и сам город Новгород, жителей которого давно уже зовут гущеедами: «Хороши-де пироги,— говорят они,— а гуще и пуще». Вот и Волга; в городе Кашине, около нее, выпекают особые булки «калитовки» — четырехугольные, в виде ватрушек с кашей, со сметаной и творогом. Еще дальше по Волге, в Твери — пряники, в Калязине живут толоконники; в уезде этого города, в Семендяевской волости, сплошь булочник да колбасник, прянишник да пирожник, все отхожие люди, досужие на эти мастерства в Москве и Петербурге. Под Нижним село Городец печет пряники, о которых слава идет далеко; они уступают только вяземским, которые привозят сюда, но чаще выпекают здесь на тот же манер и с таким же безграмотным надписанием «коврышка вяземска»; городецкие испечены на меду и сохраняются долго.

Повернувши с Волги на Москву, у Троицы-Сергия, подле монастырских стен, в балаганах, круглый год угощают блинами, о которых знает также вся богомольная Россия. Мимо московских калачей мы в одну сторону можем попасть через Вязьму на Смоленск, прославившийся крупой, и на Калугу, где знаменитое тесто, т. е. та же мука, густо замешенная на воде и соложеная — тесто сладкое, тягучее, которое, говорят, меряют аршинами и в котором смоляки будто бы целого козла утопили. В другую сторону попадаем мы на Рязань, про которую говорят, что там блинами острог конопатили. Рязанцам велено было проконопатить мохом деревянную их крепость; они все ленились, откладывали дело. Подошла масленица, их приструнили, моху не запасено, а блинов сколько хочешь,— они и проконопатили свою крепость блинами.

Калуга и Рязань привели нас в ту сторону за рекой Окой, где пошли черноземные земли, где хорошо родится пшеница, и лежат наши степные губернии, и между ними Малороссия, справедливо прозванная за свое хлебородие счастливым, благословенным краем. Здесь уже очень неохотно едят аржаной хлеб, сменив его пшеничным, здесь выдуманы и затирки, и галушки — самое простое хлебное кушанье, род клецок, сваренных в воде, к борщу, иногда замешенных на молоке или затертых на свином сале,— самое любимое и общее блюдо для целого малороссийского края. Здесь выдуманы и всем известные отварные треугольные пирожки с творогом из пресного теста, называемые варениками, распространившиеся теперь по целой России. Выдуманы и другие хлебные яства, как паленицы и т. д., которым можно и счет не свести. Не отстала от Малороссии и бедная малохлебная русская страна — Белоруссия, придумавшая все-таки свое хлебенное, так называемые колдуны, такие же вареники, но с мясом.

Несмотря на то, что белорус с примерным усердием сеет хлеб

и настойчиво пашет свою неблагодарную, мокрую, болотистую землю, она ему служит плохо. Несмотря на то, что им давно выговорено, что хоть и умирать собираешься, а хлеб сей,— хлеб, однако, его плохо выручает. Вычислено, что собственного сбора хлеба хватает тамошнему крестьянину на $^3/_4$ года: то недород, то хитрый и плутоватый корчмарь соблазнил на водку и взял хлебом, то сам добровольно хлебом выплатил долг. Конец один: надо сделать так, чтобы хлеба, оставшегося лишь на 9 месяцев, хватило на 12. Такая нужда и беда выучили и приучили растягивать наличное количество муки на целый год, но уже, конечно, с примесью посторонних веществ: семян различных трав, мякины, в особенности — сушеной и истолченной в порошок древесной коры. Хлеб этот непривычный и в рот не возьмет, а не видавший его примет скорее за комок грязи или навоза, чем за людскую пищу. Редкий крестьянин сверх того не прикупит у купца от 2 до 6 четвертей, если семья человек в 10—12, и при этом купит вдвое дороже тот же хлеб, который сам продал. Затем уже нигде так не развита болезнь бесхлебья, которое и сказывается тем, что белорусы, как скряги серебро и золото, хлеб прячут, зарывают в землю и ежегодно с этим запасом ждут голодовок. И придет голодовка — они не едят хорошего хлеба. От этих ям самый лучший, беспримесный хлеб у достаточных крестьян пахнет затхлостью и всегда неприятен на вкус. Нужда же заставляет есть и такой хлеб, о котором в Великой России не слыхивали: хлеб «суборный», или смешанный, из ячменя, ржи, гречихи, других зерен, которых удастся нагрести кое-как и кое-где по углам и щелям. Несогласную смесь эту, вместе с шелухой и соломой, растирают дома, на скверных жерновах, в муку и пекут хлебы — суборы.

Этим субором засыпают они также след покойника, вынесенного из избы на кладбище, чтобы умерший работник не уносил из дому свою рабочую силу. В первый день Рождества садятся на палатный столб в черной рубахе и едят колбасу, чтобы уродилась греча; в рождественский сочельник кладут на избяную стреху под кровлей блины и краюшку хлеба для будущего урожая. На щедрый вечер (под Новый год) с теми же блинами тамошние девушки ходят завораживаться. Летом, в урочные дни, вертят из домашнего воску свечу и пекут каравай — один на всю деревню. Святой каравай этот переносят от избы к избе и, придя, обносят вокруг стола, выставленного против ворот каждой избы. И все это с хлебом, и все это в видах урожая его, и все это сплошь и рядом понапрасну. Не дается белорусам пшеничный хлеб малорусов и разносортные пироги Великой России.

Несмотря, однако, на это, и у белорусов в особые праздники свое хлебенное: весной девичий праздник — пекут ладки, сдобные булочки, и зовут молодых парней на угощение. В третью субботу после Покрова у всех семей праздник Дзяды и Прадзяды, день воспоминания о родителях, дедах. Хозяин отправляется в баню, хозяйка тем временем печет блины и расставляет их кругом стола, по краям, столбушками. Хозяин садится, самый старший в избе говорит: «Святые радзицели! просим вечеряць з нами!» Покойники будто бы приходят питаться от блинов паром; блины же съедают

живые. Кто хочет видеть этих мертвецов, становись в сени и смотри в избу (однако никто не смотрит, потому что может сам в тот год умереть). На следующий день, т. е. в воскресенье, опять садятся за стол и за блины и опять зазывают тех, которые вчера не слыхали зову или опоздали и не пришли.

На могилках поминают родителей опять блинами и рассыпают в то же время кашу. По большим праздникам и на большую радость угощаются сырниками, колдунами с творогом. Едят панцак и груцу, суп из толченных в ступке яшных круп; едят пироги, да называют их то булками, то калачами; знают про оладьи под названием ладок, про грибок, т. е. драчону, про налесники, пресные булочки, и т. д. Хлебенного и у белорусов довольно, тем более что и они по преимуществу возделыватели хлебных зерен, коренные и исконные хлебопашцы. Никаких ремесл они не знают, ни к каким сторонним промыслам не привычны; жалкий, бедный народ! Оставим их, пойдем дальше, хоть на север — в бесхлебную страну Архангельской и других губерний.

Проходя всею Русью, видим, что, по сортам потребляемого хлеба, она делится на три части. В теплой России, в Малороссии, неохотно едят аржаной хлеб, в средней и северной России в аржаном хлебе все спасенье, пшеничные только по праздникам; в самой северной, холодной России — аржаной хлеб как лакомство, а в замену его яшный — из ячменя, каковой годится в пищу только на тот день, когда испечен: на другой превращается он в такой крепкий комок, что надо рубить топором и жевать невозможно. Ячменю приходится дозревать в то время, когда солнце хотя светит и греет, но потеряло много силы и земли не прогревает. Ячмень снимают с поля недозрелым и для того ставят стойком колья с поперечинами, в виде лесенок, называемые пряслами, и подвешивают снопы. На ленивом солнышке и на ветрах ячмень дозревает, т. е. вянет, сохнет, а то и просто солодеет: зерно делается сладковатым. Тем не менее и в этом краю, где рожь плохо родится и ячмень не дозревает, выдуманы очень вкусные лепешки и булочки, называемые шанежками. Архангельцев за то и зовут шанежниками и дразнят прозвищем «шаньга кислая». До того шаньги вкусны, что об них стосковались голландцы, прибывшие, по зову Петра Великого, на своих кораблях в новую столицу Петербург, вместо Архангельска.

Царь Петр встретил на прогулке по Неве голландца и спросил его:

— Не лучше ли сюда приходить поближе, чем в дальний Архангельск?

— Нет, не лучше.

— Как так?

— Да в Архангельске про нас всегда готовы были оладьи, а здесь их что-то не видать.

— Если так,— сказал царь,— то этому горю пособить можно. Приходи завтра со всеми земляками своими ко мне во дворец в гости, я вас попотчую этими оладьями.

Архангельск привел нас на край России. Можно бы пойти в

Сибирь и наткнуться там на новое сибирское мучнистое кушанье с мясом или рыбой — на «пельмени», т. е. крупитчатые пирожки вроде вареников. Без них в тех местах никто не пускается в дальнюю дорогу; напекают их мешками, замораживают и, когда надо есть, разваривают в кипятке: разом и суп, и пирожки с мясом. Пельменями всякий сибиряк считает обязанностью заготовляться на каждый пост. Можно думать, что без теплой избы да уменья строить обыденки (в один день), бревенчатые избы, да без запасных пельменей мы бы и Сибири не завоевали.

Но о хлебном довольно; довольно, чтобы видеть, насколько этот вид пищи важен для русского человека, т. е. не менее, как мясо для англичан, салат и другая огородная зелень для француза, фрукты (как пища) для жителей жарких стран. За местами же, куда ходит русский человек на промысел, не угоняешься. Трудно перечислить те способы, которыми он промышляет себе хлеб, изнашивает свои силы, стареется, теряет зубы, чтобы засесть на печи в деревне и приняться за кисель, легкое стариковское кушанье, на которое и зубов не требуется. Обо всем этом скажу дальше.

С изломанною натруженною грудью, с изношенным по чужим людям здоровьем русский человек лесных, малохлебородных губерний идет, если только удастся, умирать в родную сторону, в отцовскую деревню. Здесь желает он и кости сложить, потому что здесь привелось ему впервые увидеть свет божий. Запасается он свежим и новым холстом, бабы шьют из холста этого саван, и, когда умрет этот честный труженик, завернут его в этот саван, положат в гроб, сколоченный из сосновых досок, свезут на погост и опустят в сырую землю, которую он считал и называл своей кормилицей. На могиле помянут его кутьей и последним хлебенным в его честь и память — блинами. Блинами же будут поминать его честное имя и потом ежегодно, в родительские поминальные дни: весною на Красную горку, т. е. на Фоминой неделе в понедельник, осенью — на Дмитриеву субботу, последнюю перед днем памяти св. Дмитрия Мироточивого (26 октября), и т. д. В первый день Пасхи, после заутрени, придут похристосоваться и зароют яичко в могилу самые близкие родные: жена и дети. Впрочем, для них дорога могила и не в указанные и урочные дни.

Придет, хоронясь ото всех, на могилу жена и так будет плакать по муже надрывным и жалобным голосом:

Моя ты законная милость-державушка!
Уж я как-то, кручинная головушка, буду жить без тебя?
Вкруг меня-то, кручинной головушки,
Веют ветрушки с западками —
Говорят многие добры людюшки с прибавками.

Как жила я при тебе, моя законная милость-державушка,
Было мне сладкое словечушко приятное,
Была легкая переменушка
И довольно было хлебушки!
Не огрублена я была грубым бранным словечушком
И не ударена побоями тяжелыми,
Тяжелыми, неспосными

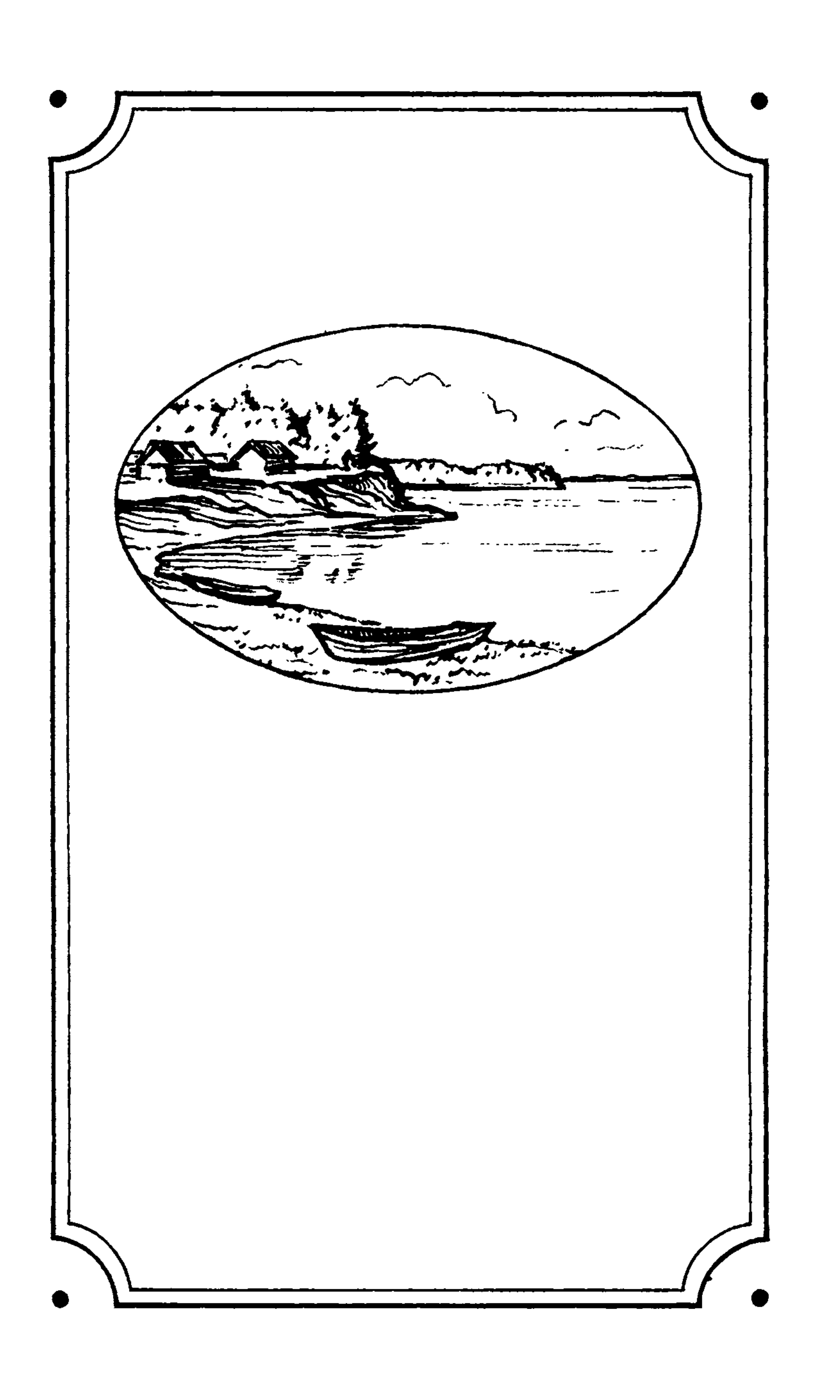
Ты придай-ка ума-разума
Во младую во головушку,—
Ты, законная милость-державушка!
Как мне будет жить после твоего бываньица?..

Буду вольная вдова да самовольная,
Буду я жена да безнарядная
И вдова да безначальная.

Придут на могилку дети (особенно дочери) и запоют в память родителя свои печальные *плачки*.

Кто бывал на сельских кладбищах и прислушивался к тону этих песен-плачек, тот мог в напеве их прослышать всю горечь разлуки и всю тяжесть потери столь дорогого семье человека; лучше уйти скорее прочь, чтобы не слышать их вовсе! Плакать и поминать будут покойника до тех пор, пока не затрут его памяти и места погребения другие позднейшие покойники, такие же, как он, пахотники и лапотники, черносошные [10] и чернорабочие русские люди.

ИЗ КНИГИ „БРОДЯЧАЯ РУСЬ”



ПОБИРУШКИ И ПОГОРЕЛЬЦЫ

> Не родом нищие ведутся, а кому бог даст.
> И церковь не строй, а сиротство прикрой да нищету пристрой.
>
> *Народные пословицы*

I

На дворе осень. Однако еще не та пора ее, когда неустанные дожди распускают невылазную грязь и холодную, пронизывающую до костей сырость, когда исчезает спокойное настроение духа и серенькая природа кажется еще сумрачнее.

Осень была в начале. Листья деревьев изменили цвет: шершавая осиновая роща из долговязых деревьев окрасилась в светло-желтый, как охра; вишневые приземистые кусты ярко покраснели — листья на них стали как кармин, но дубовый пожелтелый лист еще не перешел в грязный и мрачный бурый цвет. Лиственные леса начали уже навевать грусть и усиливать осеннюю тоску, и только березовые перелески по низинам отливали совсем лимонной окраской умиравшей листвы и приятно для глаз вырезались на темном фоне хвойных лесов, оживляя и скрашивая их мертвенную, несменяемую одежду.

Утренники с холодком уже давно начались, и холодная роса усердно выгоняла на солнечную дневную пригреву сочные и маслянистые головки грибов — остаточные признаки растительной силы, несомненно истощенной и значительно ослабевшей. Свежий и сухой холодок днем, задерживавший высыхание всего намоченного росой и дождем, давал чувствовать в теле ту бодрость и силу, которые делают приятным труд и оживляют работы в той мере, в какой умеют ценить это всего больше в деревнях и всего чаще на полях и гумнах.

Я вспоминаю теперь одну такую осень на Клязьме, во Владимирской губернии, когда, потаскавшись пешком в тех местах и натолкавшись между офенями, возвращался я от богомазов навстречу новых впечатлений, которые на тот выход были тоже остаточными.

В самом деле, стояла пора хлопотливой деревенской осени, в самом серьезном ее величии, когда идет строгая поверка и оценка сельских работ и земледельческих знаний. Не богата такими впечатлениями промысловая Владимирская губерния, однако кое-что дает,

потому что и на Клязьме крестьяне стараются еще сохранять старинный и заветный характер земледельческого народа.

— Где ни бегают: кто с лучком [1], кто с иглой, а кто, как и наш брат, с коробочком,— где ни бегают, а к осени домой гоношат,— подсказывает мой товарищ по телеге, красноглаголивый говорун — офеня.

— После Покрова [2] опять все на все четыре разойдутся. Так ли я говорю?

Вопрос относился к третьему из нас, сидевшему на облучке и имевшему за эту работу получить от нас, по доставлении на условленное место, «чалковый рупь».

Угрюмо отвечал он в поучительном солидном тоне:

— Мы тоже. По берегам-то Клязьмы, в поймах, корье дерем.

— Ивовое?

— С черноталу (с ивы). Выждем вот ненастную погоду — и пойдем драть.

— Не от вас ли это колодцы-то копать ходят?

Не дождавшись ответа, мой спутник обратился ко мне:

— Только одним ремеслом и занимаются и на него простираются. Не надо колодцев — и они без дела. Какова промышленность?

— А ты не зубоскаль. Закопаешь, брат, когда что ни посей — ничего не взойдет. У нас вон и на попе кругом поля-то объезжали бабы, да и тут ничего не выдрали.

Разговор продолжался все в таком роде: с насмешливыми, бойкими заметками с одной стороны, в самом простодушном и откровенном тоне — с другой.

Эта другая сторона любопытна была для меня тем, что разговор ее был резко отличен от обыкновенного и не всегда понятен по множеству новых слов. Наш товарищ успел наговорить их довольно даже за коротеньким обедом, за который сели мы по приезде с ним на место. (Я их записал тогда и теперь помню.)

Он, постучавшись в окно знакомой избы, попросил высокую кичку, высунувшуюся в окно, «припоромить» (приютить). Войдя в избу, тотчас же принялся пить, оправдавшись тем, что он сильно «бажает» (жаждет), и кружку с квасом назвал «ручкой».

— Покормись, заведай (покушай, отведай)!— говорил он, предлагая мне своего домашнего пирога из-за пазухи, и, когда пирог мне не понравился, посоветовал, указывая на деревянный ящик с прорезной высокой спинкой и приподнятой крышечкой: — Трухни солью-то!

Худенького хозяйского ребенка назвал «непыратым», а себя, после того как приласкал эту девочку, выхвастал «незагнойчивым», что, после хлопотливых допросов и догадок с нашей стороны, оказалось в значении человека «ласкового».

Описывая деревенское хозяйство, он как-то кстати упомянул: «Баран-де пудок» (робок). На вопрос мой: «Знаешь ли ты, что значит слово «робкий»? — отвечал: «Не веду».

Это был один из судогорских лесовиков, которые и пастбища до сих пор зовут «пажитями» и вместо «посетить» говорят «назрить»,

вместо «толстый» — «дебелый», вместо «горячий» — «ярый»,— словом, еще продовольствуются многими старинными оборотами и словами из глубокой древности.

Наслушались мы, наелись и поехали с новым цокуном опять на одной лошадке в телеге дальше.

Но и дальше видим все те же суетливые и торопливые приготовления к годичному испытанию. Куда ни посмотришь — везде хлопотливый спех и видимые следы усиленных и чрезмерных забот и трудов. Ни днем, ни ночью следы эти не исчезают, и если не слышно лихорадочного базарного крика, толкотни и суетни толпящегося народа, зато и в глубокую полночь видно и слышно, что наглазное спокойствие только кажущееся.

На белесоватом безоблачном просвете ночного голубого неба вырезаются обглоданные крылья ветряной мельницы, сменяясь одно другим: совсем обломанное — заплатанным и починенным, и оба то исчезнут во мраке, густо задернувшем землю, то выплывут одно после другого на густую темную синеву неба. Немазаное колесо так и скрипит, и слышно, как срываются кулаки с зубьев, а песты толчеи так и колотят, словно и они тоже побаиваются и торопятся.

Из того же неодолимого глазом мрака не медлит дать знать о себе шумом и стуком водяная мельница, где в перебой и перегонку за струями воды, сплескиваемой с колеса в омут, торопливо стучит шестерня. Мигает в маленьком оконце огонек: знать, полусонный мельник зажег его, чтобы смазать вал или заправить мельничную снасть. Пусть быстрее трясется корытце и спорнее стряхивает готовую горячую муку в подставной сусек: одолели мужики заказами. Всем надобно скоро, и всем зараз.

Поворчал он, присел на порог, прислонился к косяку, захотел подремать, а спать нельзя, такова уж эта осень перед Покровом.

И солнышко давно закатилось, и заря прогорела, а в деревнях не до сна: играют огоньки, и спят только малые ребятишки. Долго еще не подниматься на небе солнцу, белеет небо предрассветным блеском еще до зари, а в разных местах спопутного проснувшегося селения уже взлетают на воздух невысокие столбы густой пыли. Это веют обмолоченный хлеб, и гремят ускоренно цепом на гуменниках торопливые хозяева.

У неосторожных стали вспыхивать овины. Всего один вечер ехали мы, а не одну такую беду видели: первую прямо, вторую налево.

Вспыхивало вдали, как порох; свечка на наших глазах превращалась в пламя и разливала свет от него по темному небу коротким заревом. Упало вскоре зарево, погасла и свечка, предварительно выбросив из себя облачко ярких искр и густого черного дыма, который мы не видали только потому, что мешала вечерняя мгла и даль. Стало быть, сбежались вовремя мужики, растаскали горевшие бревна, залили водой головешки, затоптали лаптишками затлевшуюся солому, накиданную по гуменнику.

Второе зарево держалось дольше; оно все искрилось и очень скоро встало в ночном мраке и на темном небе огненной полосой

несомненного пожара. Так понимают и спутники, и в одно слово со вздохом говорят оба:

— Деревня занялась.

— Упаси бог ветра!

— Клетищи, кажись, горят: словно бы в ихней стороне, али Объедово?

— Видал ты Объедово-то в этой стороне! Разве я не знаю, где Объедово-то? Вон оно как будет, Объедово-то твое!

Рукой мой офеня — проходимец своей и чужой земли — указал прямо.

— Ну, так либо Жуковица, либо Шпариха. Шпариха, надо быть,— она самая! — соглашался наш проводник. Но после долгого раздумья он опять отказывался, иногда, для очистки совести, немного поспорив.

Спор, однако, не выяснял места, деревня не отгадывалась: на ночное время нужна особая сноровка, которой не всякий владеет.

В этом согласились и спорщики:

— Угадай ты ночью-то!

— А не угадаешь.

— Дорога-то тебя как водит? Как она тебя водит? Ты думаешь — все прямо едешь, а она тебя задом поставила да повернула направо совсем. А там ты за поворотом опять влеве очутился. Угадай тут!

— А можно. Дедушка! (проходящему старику) где горит?

— Пропастищи горят.

— Совсем, значит, искали не в той стороне, попали пальцем в небо; вот какое дело.

— От овинов, надо быть, дедушка?

— От чего больше? — От них: от овинов.

Дул ветер в лазейку овина, на яму, где горят сухие дрова, выбивал из них и крутил наверх крупные искры. Одна крупная пролетела сквозь решетины потолка, на которых разостлан сухой хлеб,— зажгла солому. В плохо притворенное окно «садила» опять влетел ветер и раздул тлевшее место — занялся и хлеб, и решетины.

Перепуганные мужики не сладили с огнем и ветром: вырвал ветер головёшку и вонзил в первую соломенную крышу жилья, да так, что никто того не приметил,— слизнул огненным языком эту избу. А там загорелась и соседняя, и еще третья в другом порядке, да так вся деревня подряд. Кричат на пожаре все что есть мочи. Бегают от избы к избе, словно опоенные, наталкиваются, сшибают с ног ребят и баб, обходящих избы с обра́зом «Неопалимой купины» [3], который на такие случаи имеется во всякой деревне.

— А все пострелята-ребята. Их сторожить оставили да глядеть, а они спать завалились: пригревает теплом-то овинным! — толковал мой спутник, всматриваясь в пожарище.

— Не ребятки тут виноваты,— замечал ямщик,— запа́жины в этом деле беда. На них зерна заваливаются, попадают в зерна искры — искра в сухом зерне лютый зверь. Ты ее затаптываешь, а она тебе лапоть прожигает. Гляди, еще и унесешь его с искрой-то

в какое недоброе место: залезет в прошву, не скоро из нее искру-то выколотишь.

— Построить бы мужику овин-от каменный, да железную крышу сделать, да пожарную трубу выдвинуть. Эдакие-то я во Владимире видал. Вот оно и не было бы беды,— заметил офеня и засмеялся.

— Оставь, парень, шутки-то; завтра, чай, сбирать пойдут?

— Что им делать-то осталось?

— До единого человека на сбор выйдут.

Разговор продолжался все на ту же тему, а тем временем взошло солнышко, засиял светленький денек. Осветилась дорога и на ней большая толпа задымленных, немытых, в рваных армяках погорельцев.

— Какие такие?

— Из Дубков.

— Когда погорели-то?

— Да вот третий день ходим.

— Примите, Христа ради, от нас!

— Спаси тебя бог на святой твоей милостынке!

Подали и мы этим людям, этим осенним встречным спутникам, в том убеждении, что уж если они случайно погорели, то у них сгорело все, что было из спасенного и копленного: дома у них ничего не осталось. Иной без шапки выскочил и второпях не успел захватить армячишка — так и остался. Другой в лаптях на одной ноге, а ребята все в одних рубашонках. Сколько ни было в деревне жителей, все вот они налицо. Все вышли на большую дорогу.

— Не осталось ли кого?

— Да дядя Митрий, ветхий человек. Искали его — не нашли.

— Глухой он был и на ногах нетвердый: сгорел.

— Еще кого не забыли ли?

— Антон не пошел, у него зять богатый, Федосей, приютил. Сам мужик денежный: пошел, к кому вздумал. А остальные все здесь в куче, все здесь.

Один время от времени в подробных и охотливых рассказах о пожаре схватывается за ухо.

— Что у тебя?

— Сжег ухо-то. Спал я; проснулся — горим. Спасибо еще, что запалил ухо-то, а то бы и не проснуться. Надо быть, огня в нутро-то попало, и спалило там. Так и закатывает,— места не нахожу. Еле-еле успел выскочить.

В самом деле, идет он без армяка и без шапки, лишь подвязался синим платком, выпрошенным в спопутной деревне у встречной бабы.

Это темное пятно, вырезавшееся на светлой веселой картине честного осеннего труда, отодвинулось от нас на дорогу и задний план и исчезло в соседней деревне. Появлялось оно потом еще несколько дней на околицах ближних селений и на проселках унылых заклязьменских мест.

Пятна эти, впрочем, скоро исчезнут. Появление погорельцев в осеннее время — явление сколько неизбежное и почти обязательное,

столько же и скоропреходящее. Глубоко сознавая нужду, нарождающую подлинную голь, просвечивающую до белого тела, погорельцам охотно помогают все те, которые счастливее работали, давно уже выучились разуметь, что попасть в беду можно от одного сгоревшего овина, от одной желтенькой копеечной свечки, как говорит и ясно доказывает город Москва [4]. В сущности, погорели случайно, несчастье выбрало их на этот год по капризу, но не отказывалось посетить на будущий других очередных.

Погорельцы — нищие временные, а потому не тяготят и не докучают: им бы обогреться да прокормиться на время несчастного случая,— беда избывная. Дать им прийти в себя, приласкать их, чтобы не отчаивались,— и воровать, и грабить они не пойдут. Иной хоть и не говорит о подаче милостыни в ссуду с возвращением при первой поправке, да так думает и так сделает. Не в состоянии сделать этого один, может быть, только тот, у которого огонь спалил животину и лопотину. Остаться без лошади, когда негде взять ссуды, потерять овец и корову, когда на базарах приведется потом покупать их на чистые деньги: вот где для совершенного обнищанья действительные и сильные причины. А так как все эти беды сплошь и рядом валятся разом на одну и ту же горемычную голову, то не удивительно, что не бывает таких деревенских пожаров, после которых не оставался бы хотя один несчастный в совершенном нищенстве, без надежды поправления, с полным правом идти на все четыре стороны. Если у него не хватит находчивости и уменья поступить так, то, пристроившись к родному пепелищу, он не во многом выгадает. По́мочь за угощение вином и едой ему не под силу и не по средствам, та по́мочь, которая другим людям, подостаточнее и находчивее его, в один день и луга косит, и поля убирает, и избы на пожарищах выстраивает в две-три недели. Для вдов, для солдаток, для сирот и малосильных семей пожар — истинное несчастье.

Из этого несчастного разряда деревенских жильцов выделяется на погорелое место та неимущая братия, которая весь век потом бродит по избам и стучится по подоконьям. Селится она на родном пожарище, на старом месте, в чьей-нибудь бане, которая уцелела от огня и от которой отступился хозяин. Он подарил ее жалкому бедному человеку, прорубил, глядя на его немочь, пошире окна и переделал банный полок на избяные полати, каменку на белую печь. Приютившаяся тут бедность с того и жизнь начинает, что ходит по новым строениям и сбирает про себя, в замену дров, щепу и стружки.

Если положить по одному такому горемыке на любой пожар и на каждую деревню и если, поверив официальной цифре, свидетельствующей, что на каждый месяц выпадает во всей России тысяча пожаров (а на осенние месяцы в три раза больше), сообразить общее число погорельцев, превращающихся в полных нищих, можно глубоко призадуматься. Для размышлений и дум здесь простор в обе стороны: и в ту, где скопляется неотразимо и неустанно каждый день совершенно беспомощная нищета, бессильная для себя, бесполезная для других, и в ту сторону, соседнюю с первой и ближнюю к ней, где

живет и действует благодеющая сила, которая сдерживает зло нищеты, умеет сокрушать его вовремя и не дает разыграться.

Нищета ходит большими шагами,— да и взаимная помощь, соседское сердоболье за ней поспевают. Погорельцы действуют с открытым лицом и со спокойной совестью, для городов умывают даже лица, одеваются в лучшие платья, заручаются открытыми форменными свидетельствами,— и во всяком случае, на сборе, в качестве нищей братии и попрошаек, ходят недолго.

Кто следил за деревенскою осенью на самых местах, тот видел это чудо воочию: погорельцы бродят недолго; раз прошли, другой раз этих в одном месте в нищей братии не увидишь: хожеными путями они не пользуются. На зиму соседское сердоболье их присадит где-нибудь по сватовству и кумовству, а с ранней весны осенние погорельцы уже рубят свои новые избы после посева яровых и в ожидании озимей. Помогают им все беззаветно, уготовывают милостынькой и себе путь поглаже: авось, того и гляди, и самим не сегодня завтра приведется по этой дорожке прогуляться.

Людская слабость — лень, семейное бессилие да власть божья, сказывающаяся неурожаем, плодят и множат неимущую братию и в малохлебных местах вырождают невеселые правила. Пропустил два-три дня горячей рабочей поры — значит, наверно потерял если не все, то очень много. Когда своевременно не высохнет хлеб на корню, когда высохший не уберется вовремя с поля,— зерно наполовину утечет (обсыплется), а затем позобает перелетная птица то, что не успеют вколотить в землю и загноить там сильные проливные дожди. Нищий готов.

Удивляться тут, собственно, нечему: деревенская жизнь в крестьянском тягловом положении что переход через речку по жердочке: и жердочка тонка, и речка глубока. Сорваться можно каждый день — стоит только чуть-чуть позазеваться, а завязнуть затем в тине (и, конечно, по горло) — неотразимая неизбежность. Вот, между прочим, почему во всегдашнем страхе подобных опасностей хлопотлива и суетлива в работах деревенская осень даже и там, где земля давно отказывается кормить и где не прекращают с ней знакомства и дружбы только по старой памяти, как на этот раз в той местности, куда привел я читателя.

В подобных местностях малохлебной полосы лесных губерний если выпал на несчастную долю земледельцев неурожай, то он сейчас же и скажется прямо: в городах — наплывом нищих, тех самых хозяев, которые все лето питались надеждами, а в начале осени торопливо работали, на что-то рассчитывали; в деревнях — докучливым криком малых ребят и стуканьем палкой в подоконницу стариков и старух. Те и другие, ввиду голодовки, по исконному деревенскому обычаю забываются дома и предоставляются самим себе.

А в счастливое урожайное время?

И в такое редкое счастливое время с умного лица русского деревенского человека не сходит невеселая сосредоточенная задумчивость; морщины не сглаживаются; улыбка бывает, но смехом лицо не оживляется, и глаза редко блещут веселостью.

— Зачем умолот считать? К чему себя поверять? Дело известное: не хватает.

— Что бог даст — все в закромах будет, а нам его, батюшку, поверять не приходится. На божью власть не пойдешь с жалобой к мировому.

— Грех умолот считать; чего тут считать? И сосчитаешь когда лишний овин, все на то же выйдет; чего тут считать?

И не поверяют себя. Верного ответа на то, каков приполон (прирост), никто сказать не решается и всякий боится; и узнать о том в тех местах от самих хозяев совсем невозможно. В самом деле, труд учета излишний: даже полный урожай круглый год не прокормит; без прикупки чужого хлеба не обойдешься. А так как хлебная торговля всегда идет на чистые деньги, то и надо промышлять эти ходячие и разменные деньги там, где они водятся.

Во Владимирской губернии, давно истребившей леса, это лучше всего понимают: давно,— по пословице,— обжегшись на молоке, дуют и на воду. С незапамятной старины в тех местах приобрели промысловый навык и хорошо знают даже про самые отдаленные места, где дают деньги и хорошо кормят.

II

Недолог осенний день. Скоро набегают сумерки, когда легко смешать встречного прохожего безразлично с вором и волком. Неохотно везут лошади и то и дело срываются ногами в неожиданные мокрые колдобины или скользят по налощенному дождями глиннику и падают. Любя животинку, проводники из крестьянской бедности, занимающейся извозом по великой нужде и на досуге, осенними вечерами ездить не любят. Нас остановили в первой встречной деревне и высадили в первую случайную избу, лишь только представилась к тому возможность.

Изба, приютившая нас, как и все тысячи прежних, дававших приют и угреву с дорожного холоду и сырости, сразу понравилась и успокоила нас. Большая печь дышала теплом. От нее, с придатком участия наполнявших избу хозяев, было и жарко, и душно. Дедушка, лежавший на полатях, метался и поскрипывал полатными брусьями, а с печи, которою завладевают старухи, доносился почти непрерывный стон; даже малые ребятки, свернувшиеся на грязном полу под материнским полушубком, разметались, переплелись ручонками и уткнулись головками самым неудобным способом.

Покормили нас, заезжих людей, чем удалось, однако не дальше неизменного молока и яичницы, которая за похвальный обычай являться всегда к услугам называется, между прочим, скородумкой. Надо спать. По-видимому, легкое занятие сидеть в телеге и ехать, но на осеннее время по грязным проселкам в этом большой труд и великое испытание: устанешь до тоски и истомы. Крестьянская изба, награждающая теплом, особенного ночного спокойствия не дает, но кое-какой получить можно, приноровясь по навыку и приспособясь по опыту.

На печь и на полати не лезешь: там и дышать нечем, да и привычные к ним старики не один раз за ночь слезают оттуда и уходят в сени освежить себя и очнуться. На полу дует, по тяге из дверных щелей и из голбчика над подызбицей в неплотные окна без двойных рам и в волоковое окно, которое и прорубается, как известно, для этой тяги прямо против печи. Свернулись мы в кутном хозяйском углу, в котором не прорубают окон; свернулись мы тут в верном расчете на посещение тех докучливых хозяев, которые зарождаются во мху в стенах и любят, по обычаю житья на чужой счет, выходить на разбой темною ночью, когда уже в светце и последний уголек на лучине перестал чадить и стрекать. Усталость взяла свое. Клопов мы как будто не слыхали: крепкий, здоровый молодой сон посетил нас с товарищем в качестве истинного покровителя и услужливого благодетеля.

Проснулись мы, по обыкновению, довольно рано, немного позднее самих хозяев. Проснулись от того холоду, который, по обыкновению, напустила хозяйка, затопившая печь и отворившая дверь в сени настежь. Свежая лучина в светце трещала, и угольки, стрекавшие в подставленную лоханку, шипели, опрокидываясь в воду, и немедленно всплывали на поверхность ее. Дедко сполз с полатей и очень усердно мыл из рукомойника морщинистые и мозолистые руки, много потрудившиеся, а теперь безнадежные. Сквозь полумрак освещения лучиной и насколько позволяла напряженность глаз, можно было высмотреть и другие подробности проснувшейся избы,— все, впрочем, как бы заказные для наших деревенских изб и семей без изъятия, однообразные и достаточно невеселые.

Шевелятся на полу проснувшиеся детки в ветхих рубашонках, свалившихся с плеч. Один испуганно-любопытными глазками посматривал в наш угол, как бы дивясь новому пятну на однообразной и приглядевшейся картине и в одно и то же время радуясь, что пятно это появилось; что оно значит и зачем тут зачернело? Ребятам дают понежиться, побаловаться: никто их не будит и не торопит вставать.

Со вздохами по временам шепчет молитву хозяин, стоя против переднего угла, в котором, среди непроглядного мрака, затонуло тябло с образами, почернелыми и источенными тараканами, охотливыми до дешевых икон, писанных в Хо́луе [5] красками на яичном желтке. Молящаяся фигура хозяина то взмахнет головой, порывисто и круто откинет со лба назад волосы, свалившиеся на лицо во время поклонов, то почешет под мышками, то слазит рукой за спину и не перестает шептать молитвы. Время от времени он прекращает поклоны, обдергивает рубаху и поправляет подпояску. Встал на молитву и дед впереди сына.

Хозяйка прежде других поднялась и прежде всех помолилась за перегородкой; теперь она возится с горшками, перетирает их и постукивает. Видно там, как широким огненным языком зализывает печное пламя черное чело печи; слава богу, печь с трубой, изба не курная и, стало быть, на но́чной холод не выгонит. Можно продолжать осматриваться, хотя, собственно, смотреть нечего. Можно высмотреть одну лишь неизбывную бедность, которою — по деревенской пословице —

изувешены шесты. На стенах ничего не видно, кроме сбруи в нашем углу и над нашими головами; не видать даже и заветных лубочных картинок. Иконы и в самом деле крепко попорчены, и хотя села Хо́луй и По́лех [6] мы оставили всего лишь третьеводни, а вот эти иконы и подменить на новые, видно, нечем. На хозяйке сарафан в заплатах, на плечах молодухи ситцевая рубаха только и есть, что видно: под сарафаном — нижний стан весь из домотканого толстого холста. На обоих хозяевах порты и рубахи тоже из домашней пестряди; видно, и при дешевизне фабричного миткаля, который под боком запасают на всю Россию и Азию, выгоднее обойтись без него, потому что на всякий день не закупишь. Полушубков без заплат мы и не видим, а непришитые и торчащие дырьями овчинные лоскутья для каждого полушубка словно заказаны были нарочно.

Невеселый вид; невеселая картина!

Все мы это видим и разглядываем и обдумываем вот уже целый час, а еще никто не проронил словечка. Все очень мрачно настроены; все высматривают исподлобья и не взглядывают друг на друга, словно взаимно надоели и с вечера ложились, побранившись и передравшись. А ничего и похожего не было.

Нам почуялись за все это время какие-то глухие звуки человеческого голоса, да и тем доверяться не решаемся, и они едва ли не создались в воображении нашем. Угрюмо глядит изба; угрюмо смотрят и жители ее. Молодуха, например, как только встала, так и уселась, минуты не медля, за работу. Она подхватила под себя донце прялки и пощипывала торопливыми руками новую льняную бороду, надетую на гребень. Большуха как перетерла горшки, так и полезла за квашней на припечек и с таким усердием начала месить и катать хлебы, что мы не знали, чему подивиться: ее ли торопливости в работе, ее ли способности всюду поспеть и, по возможности, как можно больше и скорее все переделать.

Еще немного спустя времени и остальные все очутились за работой.

Стали и ребяток подымать с полу на дело. Оживилась изба первым говором, живым словом и опять смолкла и задумалась; над чем? Над тем ли, что вот опять новый день коротать надо: пришел он без твоей воли, но с твоей заботой, длинный день и хлопотливый. Вчерашний изжили кое-как, а кто его знает, чем этот новый день подарит. Не от воспоминаний ли о вчерашнем, когда ничего веселого в подспорье не выдумалось, не от дум ли при взгляде в непроглядную темень, предшествующем сегодняшнему, стало всем так боязно и у всех проявилось невеселое, задумчивое настроение духа. И народилось оно так вот вдруг, без видимых причин. На беду, и ум отдохнул, и память посвежела; неужели они представляют себе и оценивают только невеселые картины?

Должно быть, так.

Заплетая вчера новый лыковый лапоть и думая про кожаные сапоги с голенищами, смекал хозяин про умолот хлеба: «Хорош был, не в пример лучше прошлогоднего. А давай бог, если своего нового хлеба хватит от Покрова до зимнего Николы [7]. Да нет; и примеру

того не было, чтобы даже до Веденья[8] доставало. И до Веденья не протянешь, и надо со своих харчей уходить, оставлять дома только баб со стариками и ребятами — им до Николы хлеба достанет. На Никольских торгах могут прикупить чужого хлеба, а на это надо денег добыть, таких денег, которые можно бы было разменять на мелочь».

И мужик проковырял такую большую дыру кочедыком в лапте, что и лапоть испортил. Отбросив его на лавку, мужик огрызнулся на липовые лыки и стал распутывать новую связку из целой сотни свежих покупных лык. С вечера они отмокли в корыте с горячей водой и расправились, сделались широкими лентами. Чернота и неровности соскоблены ножом. Взято 20 лык рядом в руку. Стал кочедык — кривое шило — выплетать сначала подошву, затем подъем на колодке и в конце концов пятку.

Хорошо бы тут песню приладить: сама она просится на уста, а где ее взять? На голодный живот и песня не поется.

Пахтая сметану на масло для продажи на сельском базаре, и хозяйка вздумала свое: «Вот уйдут сами за промыслом, как колотиться? Не уторгует ли опять барынька-становиха на масле по две копейки с фунта, не выпросит ли опять матушка-попадья фунтик в придачу на духовное свое звание, да еще на своем безмене вешать будет? — Сохрани бог!»

Вздумала так, да и вздрогнула.

Маленький баловник надел горшок на голову, да не сдержал его маленькими ручонками: сорвался горшок на пол и разбился.

Бросилась мать за перегородку к печи, нахлопала там сына досыта и сама накричалась до слез:

— Где я теперь горшок-от возьму? В чем я кашу варить буду? Не по соседям же за горшком-то ходить да выпрашивать: ведь и не даст никто да всяк и пристыдит тебя. Что ты, постреленок, разбойник экой, наделал? Вот и глиняный бы горшок, а сколь дорог!

Долго кричала и еще дольше потом ворчала баба, грозясь на сына, и взглядывала на деда — потатчика ребячьим шалостям и заступника за внуков.

Но и дед не вступился, и дед смолчал: видно, дело говорила баба и велику беду напрокудил внук.

Свесив голову и седую бороду с полатей, старый дед — ежовые в семье рукавицы — думал свою думу, смотря на спину и голову сына, который тачал в куту под полатями новый лапоть.

«Пойди, кормилушко, на старое дело выходи, голубчик, за новыми денежками; ох-охо-хо-хо! Не пора ли уж? — Вот и осенины вглубь пошли: к Покрову подваливают. Хлеб теперь по всему свету сжали, серпы иступили и воткнули их в стену в холодной светелке: тебя серпы эти ждут. Сам я за ними с покойничком батюшкой хаживал, и сам, один собирал, и тебя выучил: передал тебе те места, где меня знали и почитали; ты сотен по двенадцати приносил, а велика ли корысть?»

Старик углубился в расчеты: «Тупой серп надо выправить, отточить и вызубрить; на то и зубрильщики в соседях живут. Ему за сотню надо дать полтора, а не то и два целковых. Себе серп обойдется

в две копейки — дадут четыре, пять копеек. За зиму надают рублей до ста, да шестьдесят проездишь, проешь: тридцать рублев дома останутся на ков, на соль, на государеву подать [9]. А еще завидуют добрые люди, сказывают, что наш-де промысел — самый барышный. А не пойти попробовать?»

Немедленно за этим вопросом у деда мелькнул в голове холщовый мешок через правое плечо к левому боку, высокая черемуховая палка, да паперть церковная, да базарная площадка со старцами-слепцами и калеками.

Он дальше не думал и на сына перестал смотреть. Повернулся он на полатях на спину и с тяжелыми вздохами поглядывал на осевшую и покривившуюся матицу задымленного и почернелого потолка.

Все это было вчера, а не то ли же и сегодня, когда в торжественном молчании начался божий день. Заходили ноги тотчас, как только были спущены с постели на пол, и засуетились руки, лишь только удалось всполоснуть их холодной колодезной водой. Злоба дневи довлеет: вон и под окошком заныли зяблые детские голоса. Истово и настойчиво выпрашивают они подаяние «Христа ради».

— Чьи детки?

— Солдаткины. Солдатка у нас тут на задах живет, Христовым именем бродит.

Опять стук с улицы в подоконницу, на этот раз молчаливый, без приговоров.

— Матренушка, надо быть.

— Она и есть! — отвечает хозяйка, подавая в волоковое окно кусочек обглоданного хлебца.

— Вдова суседская. На краю живет. После мужа в сиротах занищала. Убило его в лесу лесиной, так и не раздышался: помер.

Новый стук, и опять без приговоров.

— Старик Мартын; этот к нам с чужины пришел. У нас на деревне пристал. Живет который уж год!

И этому подали.

— Сами-то вот собирать не выходим, так к нам идут,— объяснял старик дед мудреную истину простым, немудрым и охотливым словом для нас лично.

Больше стуку мы не слыхали: значит, все прошли. И всех оделили.

— У нас их всего трое,— объяснил дед своим хладнокровным, спокойным тоном.— В соседней деревне их пятеро: тем тяжелее нашего. В богатых селах десятками убогие водятся.

И стал рассуждать, отчего это так.

— Богателей ли там завелось много, и много они едят, и все они пожирают: ничего другим не остается,— как судить?

Думал я и так: на богатого, мол, бедность веру кладет и к нему подселяется, и выходит: чем больше, тем хуже. Промеж себя бедность не сговорится, наберется ее много — со всеми-то и не сладят, всех-то их и не прокормить.

Думал я, вот видишь, и на хорошее, а никак в разум свой взять не могу, отчего это в больших селах и городах всякой нищей братии

много? Каких хочешь, тех там и просишь: и слепых, и зрячих, и хромых, и безногих. Одного парнишечко за руку водит, иного товарищ возит на тележке — такую маленькую приладили. Во Мстере видал такого, что на одних локотках ходит и не говорит, а мычит, словно теленок.

На что только произволение божие не простирается за грехи наши? И хоть весь ты свет обойди, а во всякой деревне на убогого человека попадешь, а нет — так и по три, по четыре ведется. На всяком вот православном селенье экая повинность лежит — надо так говорить. Никто ее в счет не кладет, а всякий платит с смирением по божьему указу — вон как и наши же бабы даве. Как вот это дело теперь рассудить? Ну-ко, братцы, подумайте!

III

В бесчисленном и несоследимом сонмище, вдоль и поперек бороздящем всю Русь, с самого его основания, под разными видами неимущего лица и под общим названием «нищей братии», так же, как и между просителями на построение церквей, играют на две руки.

Одни в самом деле *нищают*, придя по силе обстоятельств в крайнюю бедность и, при недостатке сил или энергии, ноют под чужими окнами и вымаливают себе насущную помощь. Другие, с примера и в подражание этим, *нищатся*, как верно выражаются в деревнях, т. е. притворяются нищими и побираются именем Христовым без нужды.

Все они одной масти даже и по мундиру, но при внимательном взгляде на внутренние качества не только подлинные нищие и притворные побирухи, или, как тот же народ называет их, *нищеброды*, не походят друг на друга, но и в каждой из двух родовых категорий встречаются по нескольку видовых подразделений.

Об них-то и пойдет настоящий рассказ наш в продолжение прежних о ходоках и шатунах, разгуливающих по белому свету и действующих Христовым именем и Христа ради [10].

«Христа ради», как уже не нами сказано, бывает разное, хотя не только нет города, но и какой-нибудь деревушки на Руси, где бы этих невеселых слов не было слышно одновременно в противоположных краях селения, по неотложному наряду, ежедневно. В деревнях каждым ранним утром, чуть забрезжит свет, когда крестьянская бедность, способная работать, надеется и еще не отчаивается, потягивается и позевывает, приготовляясь топить печи, и вскоре захочет есть. В городах, где толсто звонят, да тонко едят и где живет изверившаяся до отчаяния мещанская голь, неизбывное «Христа ради», вытягиваемое зяблыми и надтреснутыми голосами, слышится без разбору круглый день, с утра до вечера, пока сияет свет и пока непроглядная темнота не распугает всегда робкую и запуганную честную бедность.

Деревенское подоконное «Христа ради», по домашнему положению и взаимному договору, бесхитростная, прямодушная и грубо откровенная голь из самого ближнего соседства, «двор о двор» —

одной деревни и много «с поля на поле» — соседней. Голь, впрочем, настоящая: сгорбленная и оборванная, очень растрепанная и неумытая, с робким запуганным видом и голосом, с длинной черемуховой палкой в руках и перекинутым через плечо к левому боку на бедро холщовым мешком.

В нем вся цель жизни и ее секрет, для него все хлопоты и мольбы, и на этот раз уже только об малых остатках и объедках, что уберeглось за ночь от тараканов и завалялось на столе после ребят.

Эти и не всегда поют под окном, ограничиваясь стуком черемухового падога в дощатый подоконник, и молчаливо выпрашивают обычную и неизбывную подать, давно заусловленную и всегда обязательную.

«Тук-тук!» — слышим и разумеем. Разумеем так, что подать сейчас надо. Вчера не выходил и не сбирал: значит, доедал сборное третьеводни. А сбор, надо быть, задался хороший: на два дня, вишь, хватило.

Принялся стучать в другой раз — значит, больно есть захотел.

— На вот, прими, Христа ради! Держи полу, лови обглоданный ломоть черного хлеба либо кусок пирога с кашей, также черного и недоеденного, а то — на большое счастье — и оба вместе. Прими — не прогневайся!

— Чего гневаться? Голодному кусок за целый ломоток; вон уж от голоду-то и живот подвело, и заикалось.

А то и так (что все равно): поискала баба на столе, пошарила в столе и под стол заглянула, хоть шаром кати.

— Нету, Мартынушко, у самих, родимый человек, нету. Приходи в другой раз. Либо ребятки подобрали, либо телка стащила, ни кусочка нет. Не прогневись, Христа ради.

— Кому гневаться-то велишь? Кому ты так сказываешь? Тот ли я человек, чтобы губы надувать? У тебя не нашел, может, Василиса выбросит. У Маланьи вчера блины по покойничке по ихнем пекли: туда пойду. Свой ведь я человек-от. Со своей нуждой никак не слажу, а про вашу нужду тоже доподлинно знаю. Ну-ко, полно,— Христос с тобой! — чего мне на тебя гневаться? Другой раз и впрямь подашь. Сколько уж я у тебя перебрал, а и ну, поди, много! Свои люди, суседские люди!

В самом деле, свои: убогий идет прямо-таки из той склонившейся набок, худо выкрытой избы, но еще не обессилевшей по углам до того состояния, чтобы не сдерживать тепла, прямо-таки из той самой избы, которая еще не превратилась в баню, однако вытеснилась из ряда прочих изб на край, на самую околицу селения. Выделилась же она туда по тому же необъяснимому и повсюдному закону, по какому и в церквах та же неимущая братия протискивается к самым дверям церковных выходов и не дерзает подвигаться близко к середине, а тем больше к иконостасу.

Да и эта изба не своя, а пригрел в ней также бедный, но сердобольный человек на таких коммерческих условиях:

— Места не пролежишь; бери его под себя. А насчет пищи — сама в мир хожу, чужие окна грызу,— пищу сам себе промышляй,

как умеешь. Если хворосту в печь насбираешь, водицы из колодца выходишь,— на что лучше! Мне такие-то и во снах все виделись. На них и свечки к образам ставливала. Разболокайся да живи с богом, со Христом!

Да еще сверх того и пошутила:

— Разживайся, с легкой руки, угольком да глинкою из пустой моей печи.

Не только раздетую деревенскую бедность, но и одетую для сбора подаяний и, стало быть, для показа в людях во все свое лучшее и нарядное хоть и не оглядывай тот, у кого чувствительное и впечатлительное сердце: нагота и рвань бьют в глаза и могут вызвать из них непрошеные слезы. Лучше, прибодрившись и вооружась терпением, послушаем, что всегда неохотно рассказывает эта бедность, на громадное большинство случаев совсем молчаливая. Да бывают подходящие случаи — можно иногда добиться до откровенности. К тому же теперь нам это сделать легко: их всего двое.

Один занищал во вдовстве и сиротстве от недостатка посторонней помощи и в том возрасте, когда еще есть очень хочется. Другой ниспустился до беспокойного положения нищего от совершенного одиночества в свете. Сходство между обоими можно наследить простым глазом, а до неизбежного различия между ними и случайных особенностей можно дойти расспросами. Занищавшее вдовство болтливо: у него на вопросы — целые повести, где граница между житейской правдой и доморощенными выдумками давно уже стушевалась. Надо было вызывать сострадание, стало быть, подкрашивать беды. Сначала самому не верилось, потом привычка взяла верх и пришлось укрепиться на вымысле, как бы подлинной истине и бывальщине.

Однако, очистив налеты фантазии, можно получить самую нехитрую повесть, завязка которой сведется всегда на одно.

Покойничек зашибал с горя; перед смертью всего пуще. Век проживал он сиротой и в малом достатке. Маялся с нуждой и старался одолеть ее трудом. Работа не вывезла и сломила: весь словно развинченный стал. Как не зашибать! Думал все худое, все походя проклинал, а сам перестал беречься. Хоть бы сдохнуть-де поскорей. А там все равно: на руле ли, плывя на барке, не усноровил и ударило этим бревном так, что, мало сказать, дух на месте вышибло да еще и в воду выкинуло. С овина ли сорвался со всего маху грудью на бревно. Дерево ли в лесу рубил и надрубил его, и трещит оно — и покачнулось, отскочить в сторону хотел, да не усноровил; словно подпихнул кто под лесину: раздавила она всю грудь в доску. Подобрали холодное тело товарищи, притащили к избе, сказали жене:

— Прибирай-ко!

Всплеснула она руками, бросилась на холодное тело и завыла, сперва нескладно, что пришло на ум, а потом опамятовалась и наладилась. А так как выла она целые сутки недаровым матом, не переставая, на всю деревню, то все соседи один за другим переслушали ее, а бабы даже и переплакались все. Досужие подвывали.

На этот случай давняя практика с отдаленной старины приготовила для них складные причитанья — плаксы, которыми можно

и себя высказать, и других вызвать на сострадание и участие *.

Потом по пословице: на вдовий двор хоть щепку брось; с мужем была нужда, без мужа и того хуже; а вдовой и сиротой — хоть волком вой.

Вдова в крестьянстве нищает первою.

Занищала и пошла по дворам: в первое время горе выплакивать, утешение получить, а потом уже окончательно с одною целью: с горем мыкаться и жалобиться.

Да и соседки зовут:

— Сегодня пироги я пекла — заходи-ко отведать!

— Вот ты все в избе-то своей воем воешь; перестань-ко! Приходи в нашу на досужий час посудачить.

— Мужняя-то душенька теперь налетает в избу тосковать по своем; одной-то тебе не страшно ли там?

— Весельем нашим не похвалимся, а тепла у нас про тебя хватит.

— Тяжело твое дело, по сказанному: вели бог подать, не вели бог просить. Как теперь тебе с этим приведется ладить?

Таких ласковых слов довольно. Довольно их для обедневшего и убогого человека; он не заставит просить, самому надо где-нибудь преклонять головушку. В своей избе теперь не сидится, в чужой — словно бы рай божий. В своей избе — вон стол в парадном переднем углу, на нем еда лежала, а теперь сам кормилец лег: синий весь, лицо такое-то черное, что и признать его нельзя.

Вон и кутной угол хозяйский: сиживал в нем, покойничек, и все молча копошился, а в разговор когда вступал, хороших слов, как

---

* Одну такую «плаксу», подслушанную мною в Олонецкой губернии (прославленной в последнее время в качестве местности, умевшей цельнее сохранить в себе всякую старину), привожу в том самом виде, как вылетела она из уст вдовы-плакальщицы (олончанки).

Моя ты законная милосць-державушка!
Уж я как-то стану жиць без тебя, круцинная головушка!
Круг меня-то, круцинной головушки,
Виют витрушки с западками —
Говорят-то многи добрые людюшки с прибавками!
Как жила я при тоби, моя законная милосць-державушка,
Было мни гладкое словецюшко приятное,
Была лёкка переминушка
И довольны были хлебушки!
Не огрублена я была грубым бранным словецюшком
И не ударена побоямы цяжелыма,
Цяжелыма — несносныма!
Ты придай-ка ума-разума
Во младую во головушку,
Ты, законная милосць-державушка:
Мни-ка, как буде жиць посли тво́его бываньиця?
Буду вольная вдова да самовольная,
Буду я жона да безнарядная
И вдова да безнацяльная!..
Не по силушки наложат работушку,
Не по ро́змыслам — в головушку заботушку!..
И усё буду боятьця, круцинная головушка, теперюшко,
Цьтобы витрушки меня не обвияли,
Цьтобы людюшки не обаяли!..

замуж за него вышла, не слыхивала: все говорил про великую нужду да про разные печали. В кут, по смерти его, и взглянуть страшно. Нужда теперь и без него изо всех углов кричит, а того пуще — из переднего, левого, угла бабьего: как вернулась с погоста, так и печь не тапливала.

— И хорошо это: взглянешь когда ночью на покинутое место, так и толкнет в сердце, и замрет оно; и горло схватит, и слезы подступят. Хорошо еще, когда голосить захочется: в причитаньях одних только и спасенье. А вот в чужой соседской избе про все это и забудешь, оттого туда так и хочется.

Стыдно калике в мир идти, а попустится на такое дело — не попомнит, стыд совсем забудет.

Входя в чужую избу вдовьим обычаем, по сиротству, порядок соблюдать немудрено (этому делу и не учат, само дается). Отворила дверь, вошла, помолилась в передний угол; но, и поздоровавшись, не пойдешь туда, а сядешь тут же, где стоишь, у самой двери. Передний правый угол затем и зовется большим, что сажают туда только дорогих гостей: попа-батюшку, своих да богоданных родителей, кумовьев да сватьев (и чем крупнее человек, тем глубже под самые образа). В левый передний, отведенный обычаем бабам для их стряпни и работ, тоже сироте не двинуться без зову и позволения: не всякая любит, чтобы в ее горшки заглядывали да плошки обнюхивали. Такое же святое это место, как правый задний угол — хозяйский кут.

Вот это место подле него, на кончике лавки и у самого косяка входной двери — самое подходящее, сиротское. Конечно, по знакомству и соседству долго на этом месте сидеть не приведется, а все-таки присесть надо уже потому, что всякий это ценит.

После того, как ясно покажешь, во что теперь себя во вдовстве ставишь, хорошо бывает: почитают. И почтение это, конечно, выходит из сердобольного левого кута, куда, после приглашения, хоть и за самую перегородку ступай: значит, подлинным гостем сделалась.

Однако не гостить пришла; и сама это твердо знает, и другие понимают. В хлебе-соли не отказывают. Иная за большой стол не сажает, а куском не обходит, привыкши обычаем кормить голодных соседок тут же за перегородкой, у печи. При этом, конечно, поесть раз и два чужого — не велика хозяевам убыль. Вот в третий раз зайти — не так-то легко придумать, как это складнее сделать, не всегда войдешь сразу. А ну — оговорят? Бабы не оговорят (разве какая уж злая), у баб мягкое сердце, а вот — мужики...

Мужики страшны: супротивное и сердитое слово у них спроста сказывается, на оговор слово скоро покупается и не за большую цену. Мужиков надо обойти так, чтобы не казаться им лишним гостем, объедалой да опивалой.

А чем заслужить? Мудрено ли: под праздник можно напроситься столы поскоблить, лавки помыть, а под большие праздники и стены с дресвой прочистить, и полы ножом оскоблить и отымалкой вымыть.

Про помощь бабам и сказывать нечего: там всякая в угоду, так как на них лежит вся домашняя обуза по самое горло; немножко,

на соломинку малую подмогу сделать, им уж и легче, они уже и чувствуют это, и благодарят. Помочь постирать, баньку истопить, пошить, попрясть, поткать,— столько работ, что и не пересчитаешь, столько случаев угодить, что на каждый день набрать можно, была бы охота.

Да когда и работ нет — угодить бабам нетрудно по той общей женской слабости, для которой в деревнях и в ближнем соседстве пищи более, чем даже где-либо.

— Вот ты по домам-то ходишь, не слыхала ли чего, не порасскажешь ли?

— Не токмо, мать моя, слышала, а вот — надобно побожась сказать — сама все видела. Вот этими самыми глазыньками, что и на тебя же гляжу, все, боярынька моя, видела. Расскажу тебе так, как уж и никому не рассказать. Вот прислушай-ко.

И дух захватило, и даже в горле щелкнуло — так опрометью и накинулась она с разговором:

— Вот сидим мы это, матыньки мои: так вот я, так-то она. Сидим это на лавке-то... котенок под боком мурлычет. И котеночка этого я им принесла, выпросила: отдайте-ко, мол, котеночка-то, такой уж у вас пригожий вылизался. Бери, говорит, неси, говорит, не жаль, говорит: у нас, слышь, опять кошка-то сукотной ходит. Вот мурлычет это котенок-от: «Вилы-грабли стог метали»,— так-то истово выпевает. Сидим это — гуторим, разносчик-то этот кудреватый и входит. Входит он это, сударыни мои...

И пошла, как вода сквозь прорванную плотину на мельнице. Хоть бревна и валежник закатывай — не поможет.

Задумчиво стояла вода в омуте, повиновалась и не шелохнулась, пока не было выхода, а прорвалась, нашла выход — молитесь богу: сама она теперь все свое возьмет, вырвется на свободу. Подхватило — и понесло.

Нищенке того и надо было, да и бабам того же самого.

Осенние вечера длинные, а зимние еще того длиннее; временем подремлется, временем веретеном посучишь. Чтобы не очень смаривало, достанешь с печи сухое березовое полено, лучины нащиплешь. Больше, пожалуй, ничего и не придумаешь. А так как таких будничных вечеров впереди целая сотня, то и велика бывает радость, когда доведется хоть один такой вечер провести не похоже на прежние.

Запрос с одной стороны вызвал предложение услуг с другой — наладился взаимный обмен. За товаром ездить недалеко, сам напрашивается на руки. Как приобретение его из первых рук, так и сбыт его в качестве ходового и всем нужного производится обыкновенно самыми простыми способами.

Деревенский быт не умеет разнообразить сорты его, а обмен основывается на двух лишь способах: на требованиях со стороны потребителей, а при отсутствии его охотливым предложением самого производителя — первых рук в этом живом деле. Зато они и становятся очень хлопотливыми, не зевают и не дремлют; непоседливо стараясь о запасах и новых приобретениях, не особенно хлопочут о фальшивом и подлинном товаре. Главная забота заключается лишь в том, чтобы тот или другой имелся всегда налицо и в готовности. Пришел

производитель со свежим товаром в избу покупателя и стал товар свой раскладывать и показывать, между прочим, такого, например, сорта и достоинств:

— Ушли, желанная моя, солдаты-то. И сама так-то я рада, что и сказать тебе не могу. Курочка-то у меня хохлушка была, знаешь ее,— ведь один пострел поймал и головку отвернул таково-то скоро. Я глазом мигнуть не успела, а он ее и за пазуху спрятал.

А у шабра-то [11], желанная моя, молоко все выпили: и свежее, и кислое. И творог поели,— идут да только усы обтирают.

С мужиками-то в кабаке водку пили. Из кабака и в дорогу ушли. И тот-от, что отставал от них,— и тот убежал догонять, и так-то он перебирал ногами-то по дороге. Надо быть, строго у них это. Бесстыжая-то девка ведь за деревню выбегала, провожала его.

— По матери, сударыня, по матери по своей. Сама ведь ты помнишь покойницу-то.

— Хорошим словом не помяну. Как солдаты-то летом стояли, видал ли ее кто за работой — всё с ними. Провожать-то их куды ходила! Пять недель в деревню-то не показывалась, а пришла вся избитая, в синяках, а левый-от глаз так ей разворотили, что я как увидела, так и ахнула.

— Не похвалю я, мать, соседушек наших,— нечем. Поглядела я на них в то время. Да и все-то наши бабыньки — не тем их помянуть.

— Да вот, желанная моя, взять бы теперь, к примеру, эту...

Нищенка показывала рукой на соседнюю избу и взяла в пример ее, взяла другую, представила третью. Про всех и каждую она знала больше других — и теперь уже не столько по любви к искусству, сколько уже по прямой своей обязанности. Не смотрит она на то, что этот товар старый и залежалый,— найдется у нее по первому же спросу и требованию свежий и новый.

— Попы-то со святом ездили — ведь дьякон опять крест обронил. Проезжие мужики нашли уж и принесли ему, а он третий день и глаз не открывал: все спал, сказывала дьяконица. Проснется когда, попросит кваску испить, да и опять спать. Уж и попы наши!..

— Что говорить?!

— Не то со святом, не то за сбором. Я с петухами поднялась, усноровлю, думаю, к обедне. Пошла на село, а там, слышь, четвертое воскресенье не звонили. Дьячок навстречу попался, телку свою искал; что, мол, Изотыч, будет обедня-то? — Большой, слышь, не будет, а я маленькую без звону разогрел да сам и сладил, а ты-де, говорит, опоздала.

— Уж и поповны у них!

— Есть ли уж другие экие глаза завидущие? Все-то бы она у тебя взяла, что видит. Все-то бы она выклянчила — и всего еще ей мало. А ведь грех сказать, чтобы нужда их больно велика была: такие, знать, урождаются.

— Станем, к примеру, говорить хотя бы про протопопицу... алибо дьяконицу...

А станет говорить — все знает; нуждается только в одном

подговоре. Поддержи, подскажи, подмажь машину, подсыпь зерна — жернова молоть не перестанут, и целые годы они не перетираются.

— И какие у вас, у чертей, у нищенок, языки длинные! — в удивлении и с досадой скажет мужик.

— С моей бабой вас на одну осину вешать.

— Кто бабьим сварам заводчик? — они,— подскажет другой недовольный.

— Скажи на милость: сидят бабы по избам шелковые, как овцы смирные,— пиши ты их на икону — совсем святые. А побывай одна такая-то, словно она в баб-то зелья какого насыплет; откуда у них разговор возьмется: и повеселеют, и загудят, что рой пчелиный, и на месте не посидят — всю-то избу выстудят!

— У меня все переругались. Большуха которую-то сноху приколотила даже. А все нищенка чего-то ей нашептала.

— Я вот диву даюсь: все-то они, брат, знают.

— Мудреное ли дело? Ты вон по двору-то ходишь, навоз, чай, к лаптям пристает, много его за день-то в избу натаскаешь. Пройдись-ка по двору-то другой раз, что у тебя на лаптях-то будет? Как им не знать, шлюхам!

— Я, брат ты мой, одной такой-то до Дмитриевой субботы [12] и глаз к себе не велел казать.

— Уж очень смущают, хуже солдат; надо говорить правду.

Говоря правду, нельзя умолчать о таких особенностях, какие представляют собою эти люди, неизбежные для каждой православной деревни.

Вот они, за поголовным безграмотством сельского люда, живые ходячие газеты с внутренними известиями из самого ближнего соседства; толковые из них даже с курсами и биржевыми ценами, установившимися на известный продукт также на ближнем базаре, и всегда с обличениями самого сердитого свойства. Разница в том, что опровержения на них считаются ненужными:

— Что ты возьмешь с убогого человека — тем ведь кормится.

Однако от их ока, не дремлющего и от старости, и по обязанности, шаловливая молодежь хоронится в овинах и за гуменниками, а старческий грех уходит даже в дальние деревни. Нравов они не исправляют, а в понуждениях к укрывательству греха и порока оказывают некоторую долю участия. Деревенские драмы, супружеские измены, любовные связи молодых пар без них не узнают, а с ними, искусившимися в наблюдениях и опытными при частых рассказах, охотливый садись, слушай и составляй руководящие правила из того материала, что ласкает суеверное воображение, и из другого, пригодного для житейского руководства супругов и родителей. Для тех и других они неподкупные блюстители и даровые приставники.

— И парня-то, как через тын перелезал, хоть и в спину видела, а по кушаку да по сапогам признала. Ее-то, срамотницу, так в бесстыжую-то рожу и разглядела, как в зеркальце: она, мол, самая потаскушка экая!

— Покупал, мать, твой-от на базаре в городу морковь и снес сударушке-то своей: и как морковь-то грызла, видела, и обглоданный-

то хвостик под окном на завалинке валялся — видела. Меня не проведут. Мне бы вот к ней в деревню-то только зайти — обоих бы на чистую воду вывела.

А пойду: мне, мать, больно щец с убоинкой поесть захотелось, а там обещались. Так мне щец захотелось, что и рассказать не смогу. Яичек я, матынька моя, ни печеных, ни вареных и не помню, когда отведывала. И каковы они на скус-от, забыла совсем. Даже вот сплюнуть теперь захотелось. Прости-ко ты меня на этом, не гневайся!

— Хотела я у тебя попросить...

И вкрадчивым голосом попросит и выпросит. Заручившись даянием, она обяжется новым поручением, примет на себя другую роль и выполнит волю пославшей так, как будто получала годовое денежное обеспечение.

На нищей братии и кроме этих случайных и экстренных надобностей лежат другие обязанности и службы, сделавшие их неизбежными в деревенском быту по прадедовским преданиям и по вековой деревенской вере.

Надо сварить овсяной крупы, припустить туда немножко меду и идти в село помянуть родителей на Радунице (во вторник на Фоминой неделе) [13] и на Дмитриеву субботу (осенью),— кто лучше помянет? Чья слеза и молитва скорей и легче дойдут и до родителей-покойничков и до самого бога?

Конечно, нищей братии, которая тут на погостах про эти случаи собралась вся и готова к услугам.

К кому может обратиться за помощью тот, у кого родятся дети, да не живут?

К нищей братии: отдай ребенка в окно первому убогому человеку, который придет за милостынькой. Он примет дитя, поласкает его на улице, обнесет кругом дома и отдаст в двери — будет жить. Убожья рука счастливая.

Печет боязливая баба по обету на весеннего Богослова (8 мая память евангелиста Иоанна Богослова), чтобы урожай был на яровое, которое с этого дня кое-где и посеют,— кого теми обетными пирогами будет она угощать, задобривая на молитву? Опять-таки нищих и странников. Это — их праздник с пирогами, весенний.

Летом варят для них мирскую кашу, тоже в качестве угощения, на приметный в крестьянстве день Акулины (13 июня), который зовется и «гречишником» (за неделю до него или неделю после сеют гречу), и «задери хвосты» (потому что на скот в поле начинает нападать мошка).

Зимой нищей братии опять почет на Никольщину, когда все варят пиво и все перегостят друг у друга.

— Всего припасено, будь добрым соседом, не мысля зла, будь молельщиком, вспоминая про живых и умерших; все милости просим брагу пить!

В той же Владимирской губернии соблюдается очень древний обычай (и в особенности твердо около Шуи, Мстеры и т. д.), оставшийся, впрочем, только у староверов. Этот обычай — тайная милостыня всем беднякам (и прежде других, конечно, нищим) от тех,

у кого окажется в доме опасный больной или налетит на семью и дела поветрие бед и напастей.

В милостыню полагается: гречневая крупа, пшено, мука, печеный хлеб и, в особенности, белый, в роде баранок, восковые свечи и деньги. Разносит тайную милостыню избранный человек, ночью, самым осторожным способом, чтобы не открыть и не указать на того, кто послал. Выбирают обыкновенно женщин и девок, которые кладут милостыню, как в Шуе и около, на окно или отдают, как во Мстере, на руки кого-либо из домашних, вызванного легоньким стуком в подоконницу. В последнем случае тот, кто подает, закутывается и обвязывает все лицо платком, кроме глаз. Нашедший неожиданное подаяние обязан помолиться, а такая молитва, думают, очень верно и скоро избавляет от всяких бед и напастей.

Словом, в течение всего круглого года для убогих людей готовая помощь и пища с древнейших времен, как только спознала Русь христианство. А сколько во все это время, для пущего укрепления в народе высокого значения милостыни, наговорено было в церквах проповедей на легкую тему псаломского стиха: «Кто убожит и богатит, смиряет и высит, восставляет от земли убога и от гноища воздвизает нища» — или на столь любимый ленивыми попами и молодыми семинаристами текст для проповеди: «Милуйя нища, взаим дает богу».

Короче сказать, для нищего на Руси, на проторенных дорогах, мягкие пуховики и горячие яства у того самого люда, который давно сказал себе в поучение и правило для жизни: «в окно подать — богу подать». Или: «подай в окно — бог подаст в подворотню», т. е. незримо, и неожиданно, и много.

Вот те неиссякаемые источники, из которых берет себе неисчерпаемое количество пищи наше стоголовое и пестрое чудовище — нищенство.

IV

Ежедневно прокармливаясь от деревенских соседей по их непривычке к отказу, имея даже свои праздники и обетные дни, по древним народным законам, с тех давних времен, когда у московских царей при дворе содержались даже придворные «штатные» нищие на случай известных церковных обрядов (вроде омовения ног),— деревенское нищенство далеко от опасностей голодной смерти, но не чуждо некоторых продовольственных кризисов. Выпадают на хлеб недороды, когда нищают самые деревни. Выпадают на самих убогих такие недуги, что нельзя подняться с места и выйти за сбором; в свободное время еще могут вспомнить, что давно-де не стучал под окном, и проведают; но в рабочую пору, когда по целым дням все на работе, кроме старых да малых, можно заболеть и помереть так, что никто не спохватится.

Во избежание таких-то случайностей, убогие люди стараются жить в товариществе, на крайний случай вдвоем. Этот способ еще и

тем хорош и удобен, что занищавшего до ходьбы по подоконьям совесть зазрит просить у соседей словно бы по наряду, а чужой, пришлый в товарищи, этому стыду не причастен. Из своей деревни легче сходить за сбором в чужую, приятнее постоять на сельской паперти; по соседским избам удобнее походить гостем, с вестями, как будто бы за нуждой и по приглашению (хотя бы и со сплетнями). Чужому человеку этого всего соблюдать не надо: с него и не спросят. Пришлому чужому легче и сподручнее устроить наряд ежедневный и стучать падогом в подоконную дощечку, пока не обругают, не выбранят за докучливость и навязчивость: у нищего на вороту брань не виснет. А сбирать в две руки в одно место — двоякая выгода: и больше будет, и в запас остается. Нахвалят бывалые люди какое-нибудь бойкое торговое сборище, прослышишь от других про иное святое место, куда собирается народ тысячами помолиться о хлебе насущном и об избавлении от всякого зла и от лукавого, захочется тут и там попытать,— вдвоем легче и любовнее и место найти, и там не затеряться. Одинокие убогие так и стараются всегда жить вдвоем; иначе их представить себе трудно.

Вот вдвоем же поселились и эти наши знакомые. Вся трудность для них в согласном, небранчивом и недрачливом сожитии.

— А легко ли это? — спросим у соседей.

— Ну, да сами не видывали, не слыхивали ни брани, ни перекоров; а, поди, и у них со всячиной.

— Народ-от они собрался разной,— подсказывает дед и смеется.

— Матрена-то «собери домок», скупердяга, а товарищ-от ее — распустеня: огонь, стало быть, да масло. Собрались они тут как-то к Угоднику помолиться да посбирать. Огурцы у нас по осеням-то дешевы бывают, огурцов-то этих им много дали на дорогу. Станут есть огурцы-то даровые, Матрена делит. Делит и меряет: и тут глядит, как бы товарищу огурчик покороче да потоньше выбрать. Мартын этот вернулся с богомолья-то и пожаловался. Слеза у него даже пробивалась. Сказывал: «Я-де вот до соленого охотлив»; без соли ему, слышь, и хлеб — трава. Соленого, говорит, судачка поесть — мне, слышь, и раю этого не надо, про который слепые старцы поют. Знают и наши про экую сласть его и когда сукрой [14] хлебца подают — круто солят. Он эту соль сгребает, сушит и пасет про тот случай, когда чрево-то его соли попросит. Накопил он ее в достатке и на богомолье с ней пошел. Жаждущие-то Матренины глаза соль высмотрели, и она ее выпросила: все-де равно мне ее в одной котомке с огурцами нести. А этот простота ей отдал. Запросит — не дает или даст с эстолько, что он заругается. «Измучила,— говорит,— она меня совсем, с голоду морить хотела, и злом,— говорит,— она на меня стала пыхать, что змея: извести-де мѐня хочет». А сам плачет. Ну, да и как не плакать такому горю?

Дедко опять рассмеялся.

— Нищие что ребята малые. Куда у них этот разум девается? Под окнами они его затаскивают, что ли, алибо уж это убожество-то поедает его — никак я домекнуть не могу, сколько ни перебирал в уме своем. А и мал младенец-несмышленочек, хоть бы и седой,

Мартын этот. Сказывает про него эта самая баба — товарка его: «Выходит когда этот убогий человек деньги; убогому человеку все надобно, потому у него ничего нет, а на деньги купить бы можно. Что ж, ты думаешь, он покупает?» Да вот легка на помине; она тебе сама все расскажет.

— Расскажи-ка, Матренушка, что твой старик-то делает, когда деньги промыслит? Ну-ко!

Просьба эта относилась к маленькой, сухонькой старушоночке, плотно укутанной в дырявый полушубок, из-под которого выглядывал обмызганный подол крашенинного сарафана. Старушоночка как будто иззябла вся и никак ей не согреться: так и съежилась она в комок, как и морщинистое маленькое лицо ее,— вся сгорбилась и ссутулилась. А довольно бойкая, с привычными смелыми манерами своего человека в доме, на что мы никак уже рассчитывать не могли: забитого, мол, человека увидим.

— Зашла я к вам поведать,— начала она, правда, надтреснутым старушечьим дрожащим голосом мужского тона, баском,— шерстобиты через деревню-то нашу прошли, и лучки торчат за плечами...

— Ну, и пущай проходят: пропусти ты их! — все еще подсмеиваясь, перебил ее дед.— Матренушка! скоро и мы сами уйдем.

— В добрый час.

— На этом спасибо, а ты все-таки расскажи нам, куда твой товарищ деньги тратил. Мы ведь тебя не на глум поднимать хотим, не опасайся ты этого. Нам вот это к слову пришлось; ну-ко, ну!

Старушка поломалась немного, отказывалась, однако вскоре уселась на лавку и головой закачала.

— Непутный ведь он, пропащий человек! сами знаете. Эдакого-то — весь свет изойди — нигде не сыщешь. Сижу вот я после ярмарки-то в своем бабьем углу, а он в своем кутном: на своем, значит, месте. Мне что-то потемило в глазах, я и вздремнула маленько. Слышу, в его-то углу ляскает что-то: кабыть чавкает. Схватилась я, открыла глаза-те, глянула на него, а он что-то и спрятал. Что, мол, спрятал? покажи! Ин не показывает. Ну, да ладно, мол. Заснул он, я и обыскала. Да так и обмерла на месте. Накупил он себе на базаре-то пряников, вишь, да рожков. Ими-то он и забавлялся. Наутро, как проснулся, принялась гвоздить. Какой богач завелся! Да сиротское ли наше дело! Да как не облопался! И, надо быть, то не в первый раз.

— Тебе ведь он деньги-то, сколько промыслит, отдавать должон? Такой у вас с ним и уговор был? — объяснил нам дед, не скрывая по-прежнему веселой улыбки.

— Уговору такого я ему не давала. Сам он его выговорил безо всякого понуждения. А вот, говорит, примай выхоженное, кабыть за тепловое. Другой работы я с него не спрашиваю, да и не возьмешь с него: негодящий он человек доподлинно. Дров он тебе не нарубит, щепы не натаскает или наворочает ину пору того и этого с эстолько, что и складывать некуда. Его самого тогда уж просить надо: положил бы топор под лавку, перестал бы рубить.

— А то вон вечор,— тараторила Матрена,— лаптишко заплел и ушел далеко, стал уж оплетать пятку, бросил его в сторону на лавку

да и забыл, словно и не он делал. И сегодня забыл, и завтра не вспомнит. Парнишко ему тут полюбился — игрушку ему мастерить вместо лаптя выдумал. Ну, да думаю, слава тебе, создателю,— и то дело: все не сложа руки сидит.

А то примется сказки сказывать, песню себе под нос загудит. А не то ляжет и лежит пластом, да не день, а по неделям. Ему и за милостынькой-то сходить на то время лень. Просишь-просишь, да уж и пригрозишь пустыми щами. Раз, каюсь я вам, согрешила: плеснула ему в бороду из чашки. Не любит он запасу, ничего у него нет: с чем ко мне пришел, с тем и теперь остается. Только крест на груди да из носильного, что на плечах.

Кошевочку-ту для сбора ему по дороге какой-то пастух смастерил да даром дал. Кошель ему тоже чужие сшили: теперь ему и не сказать, где взял и кто дал. Провались вот над ним потолок-от — он и рук своих не поднимет и не отпихнется. Такой окаянный, такой несуразный! Не вспоминайте-ко лучше мне про него!

Старушонка рассердилась и сплюнула.

— Ну да ладно, Матренушка, и он про тебя какие дела сказывает, послушала бы! — подзадоривал нищенку дед.

— Ну да, батюшко, на бедного — сам ведь знаешь — везде каплет. А ему нечего про меня говорить...— нерешительным голосом возразила было старуха.

— Сказывает, что ты деньги копить стала и много-де уж сотен наберегла.

Старуха так и подскочила на месте, робко озираясь и не зная, куда глаза спрятать.

— Все врет, все врет, потому мою хлеб-соль он понимать не умеет. Я уж сколько раз его прогоняла: уходи, мол, ты, враг, супостат мой, с глаз моих долой, напостылел ты мне. Нейдет, вишь.

— И не пойдет,— шутил дед.— Я, говорит, знаю, говорит, куда она и деньги прятать ходит. Мне бы, говорит, только самое место признать: в чем-де и как...

Старуха, как на иглах, еще больше засуетилась на месте.

— Я, говорит, и лесок этот заприметил, и дерево распознал. Теперь, говорит, спознать бы только: в горшке, мол, али в бураке, алибо, говорит, в ящике, что попадья подарила, не вижу-де его что-то в избе-то...

Старуху еще больше взмыло: так и задрожала она. Дед, видимо, решился сказнить ее на свидетелях вдосталь:

— Мне бы, говорит, только глазом взять, а руками я ее деньги раскопаю. Деньги себе возьму.— Да что, мол, ты, дурашный, делать-то на них станешь? — А я, говорит, в кабак на вино снесу.

Тут старуха не выдержала: поднялась было с лавки, да и опять опустилась. Видно было, как пугливо бегали глаза ее и суетливо выставлялся из-под набойчатого синего платка ее востренький носик.

Не было для нас сомнения в том, что в дедкиных словах была большая доля правды. Не нравилось что-то, беспокоило что-то старуху. Так бы ей и пропасть на этом месте. Да вышла на выручку старшая баба.

— Перестань-ко ты, батюшко, с чужой болтовни свои слова кидать: какие у нищенок деньги? Много ли они их соберут? Да и у кого возьмут, когда всяк сам норовит это сделать,— и т. д.

Но дед и без того замолчал, удовлетворившись забавой над скупым и скрытным человеком.

Старуха недолго с нами сидела и вскоре ушла.

Словоохотливый, веселый старик опять развязал язык и опять насчет ушедшей.

— Вот придет домой, прибранит лежня — и за дело; к тому я и разговор с ней завел. Ей слова мои ни во что, а ему покоры ее на пользу.

— Гляди, прогонит его она,— заметила большуха.— Что ты наделал?

— И она не прогонит, и сам он не уйдет. Место-то он належал: ему с него теперь как подняться-то? Ни за что ему, лежню, с этого места не встать. Он вон у ней в передний-от угол глядит, святые лики там видит и думает, что «хранители вы мои и заступники», как он их покинет и без них останется? Убогому человеку этого нельзя делать; у него вся тут и надежда. Других-то искать будешь, каких еще найдешь, а молитвами этих который он год со старухой-то злой спасается! Нищих бог любит — в Писании сказано.

Дед замолчал.

— Нищие бога боятся и почитают истинно! — с глубоким вздохом и серьезною уверенностью добавил он потом и даже привстал с лавки и обдернул рубаху.

И опять продолжал:

— Не сживаются вместе, когда один похож на другого и оба к одному руку протягивают. По старым нашим приметам: когда одного к своему толкает, а другого к другому ведет, там ссоре и перекорам быть нельзя. Зачем они это делать будут, когда друг дружке не мешают? Не след тому быть. Вот и живут они оба который год вместе! А сколько раз на одном дне повздорят? Считали ли вы, а я верно смекаю, потому у других видывал. Баба — та деньги копит; замечаю я, что она чем старей, тем больше от скряжничества стала сохнуть. Гляди-ко, нос-от у ней завострился и глаза упали. А тот грузнеет да брюзгнет и словно бы даже веселее стал. Птица он небесная, на крыльях живет. А это — крыса: ворует и про запас кладет. Неспуста она его тем попрекнула; слышали? Я ведь с ним толковал и его расспрашивал. Что он мне говорил, знаете ли? А я вам скажу, так и быть.

Приезжал в наше село купец из Москвы. Пришел прямо в церковь. Шуба на нем богатая. Позвал батюшку, на кладбище они пошли. Тут похоронен его родитель. Отпели панихиду. Матрена-то тут и подвернулась.

— На-ко,— говорит,— старуха! помолись о рабах божьих о таких-то,— и имена сказал. И дал он ей деньги. Пошла она к церковному старосте показать и спросить, что купец-от дал: десять рублей дал он ей, красненькую, значит. Пришла она домой-то и пристала к товарищу: скажи-де ей, сколько копеечек дадут за эту бумажку. Стали считать — поссорились и поругались. Денег-то всех, однако,

не сосчитали. Не сам я это выдумал, а говорю так, как мне товарищ ее рассказал. Сам все рассказывал.

С этой поры взбеленилась старуха, словно купец-от в нее яду какого влил. На сборные копеечки прежде свечки ставила богу — теперь перестала. Стала копеечки алтынным гвоздем прибивать. Которая попадется в руки, зажмет ее и только думает об одном: как бы копеечку-то из рук не выпустить. Что ей в руки попало, то и пропало.

Сказывал товарищ-от: сидят когда вдвоем, молчат-молчат, она и спросит: к пяти-то десяткам копеечек сколько-де до рубля-то еще не хватает? Так он и смекал, что старуха недаром на паперти ходила: вон и отчет отдает, сама того не желая. Стала она на него еще больше серчать: хлеб ли он не доест да кусочек на столе оставит. Раз, говорит, и на то осерчала, что варева попросил: дня два над ним измывалась. Одежью так изветошилась, что хоть огня присекай. Дома и печь перестала топить; что поест в людях, тем и сыта. Сыта-то сыта, а сам я видал не один раз: поест у тебя, а кусочек чего-нибудь еще с собой возьмет, оглядится кругом — не видят ли — и спрячет. Стала грешным делом утаивать, по чужом тужить, завидовать. Старец-от ее говорил, что и дома диво: утаенное бережет, сама не ест и ему не дает; как почала жить с зажимкой, то и стали вороха в углу лежать и плесень на них нарастать; мышей наплодила.

Смеется старец-то: у обедни, говорит, когда стоит и люди собираются молебен петь, сем-ка, думает, и я пристану, дай-ка и я помолюсь даром. Совсем извелась баба, засел в нее черт, теперь его не выгребешь: это дело такое. Нет греха хуже бедности.

Дальше, конечно, старая и известная повесть.

Накопит старуха денег. Корысть к ним дойдет у ней до чудовищных размеров; заболеет она серьезной и опасной болезнью помешательства. В убожестве одна нужда гнела, а теперь обе вместе: и бедность, и скупость. Хоть иглой в глаза — ничего у нее теперь не выщербить. В страхе за деньги и с мыслью о них старуха и на смертный одр ляжет. И здесь не скажет она, куда их спрятала, даже и тому товарищу-горемыке, убожество которого каждый день видела перед собою и достаточно в нем убедилась. Кому удастся подсмотреть, тот деньги выкрадет, дом выстроит, выпишется, как говорят в наших деревнях, в купцы.

Впрочем, большею частью случается так, что бумажные деньги сгнивают в земле, а металлические через десятки и сотни лет, отрытые косулей, или сохой, в поле, делаются достоянием либо жидов, либо археологов.

В мире почившее крепостное право владело секретом выводить нищенские деньги наружу, и то лишь в тех случаях, когда у нищенок оказывались в господских дворнях дочери, родные племянницы и помещики соглашались отпускать их на волю за приличное вознаграждение. Немало известно примеров, что на такие случаи отыскивались у нищенок сотни рублей. Тысячи рублей случайными способами находили по смерти у тех из них, которые казались при жизни убоже всех и в очевидных условиях несомненно безвыходного

положения. Газеты наши не скупятся время от времени заявлениями о таких необычайных казусах, что после умерших нищих оставались солидные капиталы, и на самом деле, на сбережения этих скряг немало настроено на Руси церквей, немало устроилось солидных промышленных и торговых предприятий в руках купеческих фамилий: Подходяшиных, Побирухиных и т. п.

В деревенской глуши, где не умеют и не привыкли считать деньги и в редких случаях знают им настоящую цену, чтобы по ней давать им надлежащий ход и применение, сиротские, крохами собранные деньги исчезают без всякого употребления зарытыми в подызбицах, на овинах, в лесах и в других, наименее подозрительных, наиболее укрытых и потаенных местах.

В городах, среди мещанской голи, где вечно колотятся из-за денег и глубже деревенского поняли их силу, нищенским сбережениям указывают путь прямо: та же Матренушка неизбежно превратилась бы в ростовщицу. У нищенок берут взаймы деньги, и часто случается, что не отдают обратно, очищая совесть под шумок тем оправданием, что невелик грех задержать неправедное стяжание. Тем не менее нищенские деньги выходят из рук и под верные заклады, и за такие проценты, которым и жиды могли бы позавидовать.

Нельзя не прибавить к этому и того обстоятельства, что скряжничество, при постоянном и бесконечном напряжении всех умственных сил на одном приобретении и сбережении, овладевает секретом самые пустые, ничего не стоящие предметы обращать в ценность и в деньги: голь хитра и догадлива, голь на выдумки горазда. При скупости она и с камня лыко дерет, шилом горох хлебает, да и то отряхивает. Не удивительно, что если при этом обнаруживаются чудеса — лишь кажущиеся, на самом же деле превращающиеся на глазах ближе присмотревшихся к делу в самое простое и заурядное явление. Необъясненным тут может показаться лишь то, что скряжничество и изумительное скопидомство постигает наичаще женщин и богатство в нищей братии скопляется в руках старух тем вернее, чем они старее и дряхлее. Пущай стращают досужие люди, что на том свете за ростовщичество придется считать каленые пятаки голыми руками, женское сиротство хорошо смекает и то, что для бабьей круглой бедности совсем не бывает никакого выхода. Намечется она из угла в угол, настрадается с утра до вечера каждый день, и если попадет на тропу свою, то уж уколачивать начнет ее без отдыха и без перерывов. Деньги в рост отдает и заклады охраняет, а христарадить не перестает, т. е. опять беспрерывно и ежедневно прикапливает до тех пор, пока не подточит силы и не свалит на стол навзничь свой доморощенный злодей — скряжничество в товарищах с голодом — или чужой злодей с завистливым оком и в товарищах с острым ножом.

На Волге один отставной солдат Гаврило Кирилов чутьем выучился узнавать денежных побирушек, пригревал их у себя в домишке, потом изводил их, а наконец сам выстроил в Симбирске два больших каменных дома, стал торговать и сотнями рублей отдавал под заклады деньги.

V

Видели мы и старухина товарища и с ним поговорили и про него послушали.

Родился он, как говорится, на камушке, т. е. в круглой нищете. Вытащила его мать на свет вольный за пазухой, когда сама вышла «грызть окна», т. е. просить Христа ради подаяния. Когда он стал подрастать и сделался тяжелее, перекинула она его за спину и усадила там в корзинку-пещур, сплетенный ножом из бересты досужим пастухом на пастбище и ей подаренный мимоходом. Чтобы ребенок не вываливался и ближе вглядывался в материнское ремесло и занятия, она привязала к спине кушаком и увязала в пещуре веревкой. Протягивалась и его маленькая ручонка рядом с загрубелой рукой матери, принимавшей или просящей подаяние святой милостыньки. Стали перепадать лишние гроши матери и на его имя и звание, по силе исконного и повсюдного обычая русского народа подавать лишнее тому, кто ходит с ребенком.

Еще подрос он: стал тяжел, встал на свои ноги — мать выпустила его из корзинки и указала уже новые средства прохождения по жизненному пути из-под окон одного селения на церковную паперть ближнего села. Шагает мать, привычным делом, охотливо и поспешно, маленькие ножки не поспевают, спотыкаются, особенно зимой скоро бессилеют. За рев и жалобы — первые уроки житейской мудрости: пинки, толчки и трясоволочки от рук матери, редко успевающей выходить из всегдашнего злобного и неутолимого раздражения. Когда побитые места перестанут болеть, тогда и горе забудется; стал привыкать, выучился забывать, принимать наказание за должное и неизбывное, стал даже этим хвастаться.

Вывела мать сына на улицу и на базар, на легкое и соблазнительное житье попрошайством, по нужде, да там его и оставила, также не по своей воле, набираться уличной премудрости, просвещаться базарной наукой. Наука эта не головоломная. Учит она всего только одному правилу: надеяться на чужую помощь и искать ее,— но так скоро и твердо напечатлевает его в сознании, что при встрече с бедой и нуждой своих сил и взять негде. А на хорошее время и подают хорошо и неразборчиво: в худой день хлебом меньше фунта, деньгами меньше двух копеек. На копеечку можно толокна купить и полакомиться; мать на нее с овсяной крупой варит щи. Хоть зерно в них за капустным листом с плетью гоняется, но хорошо и так, потому что других, лучших, не пробовали, оттого и это полагается за роскошное богачово кушанье. Копеечку, впрочем, можно обменять и на бабки и второпях, на ходу, за овинным углом с чужими ребятами срезаться и обыграть их. А когда и совсем подрастешь и войдешь в большой разум, можно копеечку эту и в орлянку проиграть с другими нищими-ребятами уже не на костяки, а на деньги. При этой неизбежной встрече, мимо которой и на кривых оглоблях не проехать, опять наука. Мудрость этой заключается в том, чтобы не всю ее понять, не домекнуть ее до того места, на котором еще до совершеннолетия попадают в темную за пьянство и в острог за воровство и тому подобные

художества. Особенно в городах на такие дела большая повадка и потачка.

Там одного безногого видели беспомощным: приехал на коленках, и пустые саночки вперед себя поталкивал, и на базаре собирал подаяния, а вечером за городом чуть-чуть признали его и диву дались: идет на твердых и живых ногах и саночки за собой везет с грузом: тут хлеб, зерно и куделя.

Приходил на базар степенный человек, звал ребяток-нищих сад подметать, полоть гряды, приглашал старух белье стирать, подмывать полы, стариков — мести сор, деньги давал, обещался обедом накормить и сулил щи с убоиной — никто не пошел. Пока толковал степенный человек, все воздерживались, как ушел — на смех его подняли, а малые ребята так и залились хохотом, даже страшно стало.

Надо под одну мерку вставать, другим подражать, чтобы не попрекали и не били. Старался он, и выходило что-то, да далеко не все: вышел он, как говорится, в поле обсевок. В дележе обмеряют, обделят и обвешают; при нем шепчутся и сторонятся, а нищие-ребятки запой когда делали — ни разу с собой его не позвали.

Задумался он. Немножко приободрился. Вон и пропасть видит под ногами — скользить бы туда по покатости, а он устоял. Как это с ним случилось, сколько вот он ни думает, отчету себе в том дать не может до сего времени, когда спознал его наш дед на харчах у Матрены.

Рассказывал наш дед и про него:

— Люблю я и не люблю этого Мартына. Не люблю я его за то, что пустяка в нем сидит много: старухе отгребает гроши без пути. Та их прячет. Утаит когда что — пряники покупает. Ну, да это пущай, затем что малых ребяток он больно любит: которого ни встретит, того и приласкает. Бабы-то наши шаловливых ребят нищими стращают: нищему-де тебя отдам, коли баловать не перестанешь, а его вот, Мартына-то, не боятся.

Этого вот я никак в толк не возьму, ни за какую он работу уцепиться не может. Не бывает у него так, что принялся да и доделал. Правду я тебе даве сказал: совсем птица небесная.

— А может быть, дед, он и пробовал раньше, да у него не выходит. Поживешь середь базарной голи, многому разучишься. Не оттуда ли все это идет?

— Нет, ты вот что послушай. Пробовал он, как ты говоришь, точно пробовал: из-за хлеба очищал зимой проруби на реке; толку-то у него в этом не бывает. Нанимался он и в дома в работники,— да как? Меня, говорит, хоть и не корми, а давай водки. Мужик нанял его богатый, давал ему водки каждый день, и впрямь он сыт был и к обеду не ходил — диву даже дались. Житье ему было красное, однако не уцепился, опять ушел под окна и опять к своей старухе под крыло. Хвастывал он мне, что и на землю пробовал садиться; тоже поля пахал. Что же, мол, за чем дело стало? А опоздаю, говорит, всегда опоздаю и вспахать, и посеять. Не умею я вовремя поспевать: вон и к обедне когда за милостинкой выхожу, смотрю: старуха моя давно глаза скосила и ругательски шипит; за самое начало не

угодил, вишь. «Ты, мол, и на свет-то божий родиться запоздал! Кажись, таких, как ты, теперь не надо!» А может, впрочем, господу и эдаких зачем-нибудь надо, как ты думаешь?

— Без таких-то, дед, ведь и на свете скучно было бы жить: кто бы, например, ребятишек приласкал, когда они у всех на тычках да на колотушках. Хорошо ли бы было жить с одними Матренами? Ведь он не родился таким: его таким на базаре, в нищей артели, сделали. Потерял силу, потерял любовь к труду.

— А может, и правда твоя. Я думаю своим деревенским разумом так: у нас кто сиротой сделался, тот сейчас нищим станет. Вот как бы и Матрена. Сироте достается одно — идти просить, сбирать. Ленивому мужику и гриб поклона не стоит: не сорвет его. Лень мужика не кормит. Пожалуй, Мартын оттого и нищим стал. Правда твоя, что и от лени много народу в нищие идет. Ну, а вот, постой-ка, отчего ленивого на работу не позывает и отчего Мартын со всякой работы уходит?

— Я, дед, думаю, что и работать мы спешим для того, чтобы потом самим ничего не делать. Хлопочем мы, суетимся, а все поглядываем, нельзя ли как чужим трудом пожить, на чужой спине поездить: эдак-то как будто легче и приятнее. Все больше об этом заботятся.

Задумался дед.

— Да может, это у вас там, в городах, так-то?

— А у вас в деревнях? Может быть, поменьше и гораздо поменьше, а доводится такой случай — разве зевают, разве не так же сделают?

Опять дед задумался, опять опустил голову.

— И верно твое слово, милый человек, делают и у нас, ей-богу, делают. А нехорошо это. Ведь вот мне и в голову того не приходило. Сказал ты мне верно. Значит, больно-то на Мартына и сердиться не приходится.

— Да уж это как ты хочешь, а он не во всем виноват.

— А я тебе вот что промолвить хочу к твоим словам, по-твоему. Оттого Мартыну своя работа и на ум не идет, что спознал он другую, полегче. Чего легче: слез с печи, вышел на село, встал в церкви, протянул руку — вот и рукомесло. Самое оно легкое. И заманчиво гораздо. Остановился на одном месте,— ворчливо повторял дедушка,— скинул шапку, протянул руку — вот тебе и все. Мудрено ли, в самом деле?

А слыхали вы про Адовщину: места у нас такие живут, Адовщиной слывут? Вот будет Брыкино село, Мильнево, Смолино, Раставица... Тут пойдут... Вот и забыл, какие тут в Адовщине деревни-то еще, бабы?

— Крутово, Саранча будет, Каркмазово, опять Маринино, а там и Павловское. Вот, кажись, и все; все это Адовщиной прозывается, а когда и Черным углом. Под Адоевскими господами те селения состояли, оттого и прозвались так. Теперь удельные. Князьями эти Адоевские-то были.

Ну, так вот тут весь народ сплошь, и старый и малый, и сильный и немогутный,— все нищие. И нищенствуют они не от нужды,

а ради промысла. Промышляют они этим делом, выдают себя за погорельцев. Слыхали ли вы про экие дела?

Мы про это слыхали, затем в эту сторону повернули. Деду в том не открылись.

Попрощались мы с ним и направились по грязной осенней дороге в эту «черную сторону» (в северную оконечность Судогодского уезда) — к этому «черному народу», который попрошайством кормится и нищенством промышляет.

— Слышал я в людях: худой солдат не надеется быть янаралом,— говорил, между прочим, проводник наш, когда опять захлюстала по грязи мокрая и растрепанная лошаденка и мы, хватаясь за края телеги, очень усердно хлопотали о том, чтобы не перелететь через грядку и не сломать себе шеи.

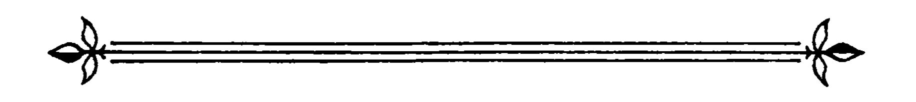
— А ведь солдат в нашей земле и в самом деле может сделаться генералом,— поддерживали мы его словоохотливость.— Бывали примеры.

— Я не знаю. Я не к тому молвил. Вот что я тебе сказать хочу. Видел ты офеней,— а знаешь ли, ведь худой из них не делается купцом, а хорошие строят в Москве каменные дома и торгуют в большом Гостином дворе.

— Знаю и видывал. Знаю, например, я так, что как бы ни был мал городишко, в нем есть купец, который торгует красътоваром [15]. Все это — офени.

— Другие, которые от них в маркитанты ходят,— те ста по четыре, по пяти наживают в год и приносят домой чистоганом. Значит, милость божья вся с ними. А отчего вот эти, куда ты едешь, что промышляют Христовым именем и собирают много денег,— плохо живут? Что ни стоит божий свет, из них еще ни один в купцы не выписался? У них, надо так сказывать, чего ни спроси — всего ни крохи. Слыхивал я, что у богатого мужика борода растет помелом, а у них, что вот я ни глядел — у всех она выросла клином. Кажись, всех нищих-то перещеголяли. Отчего это?

— Я вот, милый человек, затем туда и еду, чтобы узнать про то, о чем ты надумал и сказал. Что увижу и услышу там, расскажу на досуге.



КАЛИКИ ПЕРЕХОЖИЕ

...когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На все минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.

Пушкин[1]

Всякая слепая себя смекает.

Пословица

I

Наступала весна. Торопливые ручейки, сдерживаясь в кропотливой и настойчивой суетне своей только лишь ночным холодком и утренниками, за день и на глазах совершали видимые чудеса. Быстро превращались белые, как лебяжий пух, снеговые поляны в синевато-мертвенные. Подточенный и подмытый, снег оседал, превращаясь в пену в тех местах, где, весело резвясь на веселой солнечной пригреве, шаловливые потоки сбегались вместе, и становились еще говорливее, и торопились по обнаженным покатостям на крутые берега широкой реки.

Под речной лед давно уже и неустанно днем спрыгивают по крутоярам эти докучливые резвуны, успевающие соединяться в сердитые ручьи. От их усилий береговые припаи успели уже оторваться от закреп и обнажить живую воду. Лед также мертвенно засинел и потрескался.

Как ни хлопотали по ночам свежие холода приковывать к береговым зацепам отстававший лед, малая, но дружная сила брала свое. Ледяной покров двинулся с места. По трещинам обнажились полосы черневшей воды. Грязная, старая зимняя дорога, утыканная вехами и лежавшая всю зиму кривулями, совсем выпрямилась и легла вдоль русла. Проруби также переменили место и стали едва приметны.

Река, как говорят, задумалась и приготовилась к неизбежному перевороту.

Тихо зашевелилось все ледяное поле и сперва, как полусонное, стало лениво подвигаться на береговые завороты, огибало мысы и наталкивалось надломанными боками на камни и скалы. Поверхность

реки очень скоро приняла оживленный, веселый и игривый вид. Льдины поскрипывали, слегка покачивались и поталкивались ребрами и плыли врассыпную: мелкие и задние нагоняли большие и передние и либо лезли на них и становились ребром, либо подбирались снизу и надламывали те из них, которые тяжело шли и сильно изныли на припеке весеннего солнца.

Обрадовалось теплому дню и пленилось веселой картиной ледохода все население небольшого, но старинного городка и собралось смотреть на родную реку, от мала до велика. На берегу ее все налицо: с черемуховыми и камышовыми палками степенные граждане молчаливо сидели на завалинках у домов и на скамейках набережной. Менее пожилые разместились на накатах сосновых бревен. Малые ребята все у воды, где уже успели намокнуть и продрогнуть. Зажившая река увлекла всех своим веселым видом и только раз в году повторяющеюся картиною, которая навевает столь приятное и спокойное раздумье.

Только когда передняя масса шевелившегося льда вновь забелела и ближние льдины начали набегать одна на другую, а число коловоротов стало увеличиваться — пришло в движение и засуетилось все, что было на берегу. Молодежь побежала вдоль по реке; поднялись с места старые и степенные люди: от сильного напора набегавших волн на крутом повороте реки произошел затор.

Лед остановился, и, по-видимому, на долгое время.

Гулко зазвонил соборный колокол ко всенощной. Можно бы уже и расходиться по домам или в церковь: завтра — большой праздник; или еще поглядеть на реку?

С противоположного берега на лед спрыгнули две живые человеческие фигуры и побрели одна за другою.

Нельзя теперь не остаться на берегу, чтобы с замиранием сердца не посмотреть на то, как люди эти начнут доходить до середины реки, чтобы на все голоса закричать им требование возвратиться туда, откуда сошли и где, между старыми амбарушками и сараями, сиротливо чернеет едва живая сторожка перевозчиков, теперь пустая, но казавшаяся на этот раз такою приветливою и гостеприимною. В крике с городского берега помянули и ее, и амбарушки, и всякого лысого беса, и всех родителей.

Путники не внимали советам и застращиваньям, но поторапливались, особенно передний, который смело и уверенно шел вперед, перепрыгивая через стоявшие ребром льдины. Только раз остановил он шаги, чтобы поднять заднего, который запнулся за стамуху [2], упал и закричал недаровым матом. На берегу, ввиду этого казуса, даже ахнули тем могучим вздохом богатырской груди, который может вылететь лишь из огромной толпы, настроенной одним чувством и одновременно пораженной внезапным ужасом.

Путники определились и отделились: передний был мальчик с длинной палкой, за которую ухватился обеими руками старик. Стало удобным определеннее ругаться и увереннее кричать.

— Проломанные головы эти «крапивники»! Нет у них страха божия! — слышалось от одних.

— Потонет бесшабашный — не жалко! За что старик пропадет? — вторили другие.

— Назад, окаянный! Пихай старика в спину. Пропади ты совсем! — желали третьи, и, как ни отмахивали руками от своего берега путников, они были под самым городским взвозом.

Как ни усердствовали десятские, где-нигде заручившиеся длинными и толстыми палками — осязательным знаком своего полицейского достоинства,— чтобы не пускать нищих на городской берег, оба последние советов и угроз не слушались. Ловко вспрыгнул на песчаный откос мальчик, но старик опять запнулся, упал и перемочился.

Вскоре оба виноватые были налицо и стояли под самыми неприятельскими выстрелами с поличным: старик — с широким холщовым мешком, подвязанным через правое плечо к левому боку ниже колена. Мальчик — с длинным черемуховым падогом, за конец которого крепко ухватился сзади его слепой старец. Он, как вошел в грязь, натасканную зимой на спуск лошадьми и возами, так и перестал нерешительно и торопливо семенить худыми ногами. Он уставил их тут, как пеньё, вкопанными и еще больше сгорбился, словно ждал, что вот его опять обольют холодной, ледяной водой и теперь не с ног и боков, а прямо с головы, сквозь надвинутую на глаза лоскутную и рваную овечью шапку. В неподвижных чертах изрытого оспой лица его неприятно вырезались белки глаз, казавшиеся необыкновенными и огромными. На этот раз еще к тому же глаза эти мигали, торопливо и судорожно бегая из одного угла глазной впадины в другой. Свежее, молодое, но истомленное и тоже болезненное лицо его проводника смело смотрело на всех, и в живых выразительных серых глазах не заметно было испуга. Напротив, виделось насмешливое и хвастливое выражение, как будто говорившее: «Вот и на омутах по реке не боялся, вот и теперь на берегу не боюсь никого. Ну, бейте меня. Ну, что вы скажете?»

— Две головы-то у тебя, постреленок? — кричал один под самое ухо и кулак показал.

«И впрямь две (подумал, но не сказал словом, а выразил смелым взглядом) — непременно две: моя да дедкина».

Он даже оглянулся кругом, выискивая в обступившей их толпе десятских с орясинами и выжидая, кто и скоро ли бить будет (один из последних успел-таки натолкать ему спину и надавить и настукать плечи).

— Эки они озорники, поводари эти! Эки ребятки головорезы! — замечал первый и тот же.

— А все вот экие! И где эти старцы набирают таких? — вопрошал новый (и этот свой кулак сложил).

— Ну, да вот обойди ты деревни. Спроси: возьмет ли кто этих головорезов в работники, когда от старцев отойдут?

— Никто не берет,— следовал ответ,— кому этих сорвиголов надо?

— В Сибирь их много идет, страсть много! Туда их, слышь, надо: на цепь! — подтвердил третий.

— Ведь он, крыса, нос тебе откусит. Вскочит на плечи тебе и откусит, выгрызет тебе нос!

Сказавший, четвертый, в самом деле покрутил плечом и показал на нем мещанскую заплату.

— Ты, старче, что его слушал? Зачем шел?

Старик молчал, опершись на длинную палку и насторожив уши, но отвечал за него поводырь:

— Он сам велел. Он сам толкал: иди, говорит, веди меня, говорит.

— У, стрелья тебе в бок, окаянный! — сказал десятский и в самом деле очень больно толкнул его в бок.

— Ведь река-то шла, вы! Слепой да молодой! — вступился и говорил скромным и медленным голосом степенный и седой как лунь гражданин.

— Ведь лед-от только остановился: река-то пошла бы. Ведь понесло бы вас, и вы потонули бы. Али смерть красна? Река-то сейчас опять пойдет: она не знает ведь, что вас ей пережидать надо. Вон, глядите-ко: опять тронулась!..

— Гляди-ко, и впрямь, дедко! — сострил поводырь, толкнув старика в бок, и вместе с другими стал всматриваться в реку.

Лед прорвало. Он поплыл дальше со скрипом, превратившимся вскоре в сплошной и гулкий шум.

Только вблизи, у самых берегов, шум этот изменялся в ясно слышный шелест мелких льдин, пробегавших по песчаным, покрытым крупною дресвою оплечьям берегов. И еще чутко давал себя знать толпившимся у воды ребятишкам приятный и легкий звон в тех местах, где подмоченные и подогретые ледяные ребра осыпались светлыми и острыми иглами, в которых бойкому весеннему солнышку удавалось мимоходом поиграть всеми прелестными и дорого покупаемыми цветами драгоценных и самоцветных камней.

II

Пока зрячие граждане маленького старинного городка всматривались в свою вновь тронувшуюся реку, слепого старика проводник успел увести из толпы на городскую гору.

По обычаю, смиренно и молча пробирались они сторонкой, возле самых заборов, которые бесконечно тянулись от желтого дома до зеленого, оберегая и загораживая неприглядные огороды, изрытые оврагами и густо зарастающие летом репейником и крапивой, а теперь заваленные оседавшим синим снегом.

У товарищей разговор.

— А ведь я, Гриша, чуял, как разверзалось-то на реке! — заговорил наконец все время до сих пор упорно молчавший старик слепец.

— Вот, мол, дитятко, перехожу я моря-то Чермного пучину невлажными стопами, яко Израиль, а она разверзается. Да господь мой ударил по пучине — и совокупи! Чул ведь я, чул это.

— Рассказывай, дедко, другим, а мы знаем, чем ты чуешь. Вон косолапой-от хоть и говорит, что ты слышать можешь, как трава растет и цвет распускается, а я тому не поверю, я слых-от твой разумею. Где девки сидят — ты это нанюхаешь, а где надо самому сидеть, ты: «Иди,— говоришь,— вперед!» Хоть бы и теперь. Отстань!

Старец замолчал и не проронил слова, пока тянулся забор купеческого дома, окрашенный в серую краску и утыканный сверху гвоздями против непрошеных воров и баловливых соседских ребят.

— Где идем, сказывай! Не слышит ли кто нас?

— Иди знай! — отвечал зрячий проводник тем тоном, из которого привычным ухом слепец легко уразумел, что говорить можно все, что думается.

— Ты пошто это даве снялся огрызаться-то?

— А ты молчал бы.

— Сколько я тебе говорил — не сниматься с такими: убогие ведь мы. Под самым забором ходить надо, чтобы кого не задеть и не обидеть, а не лезть на головы.

— Я, дедко, уведу тебя отсюда. Не останемся: что тут делать? Еще прибьют. Засадят меня в темную — на кого тебя покину?

— Ой, глупенькой ты, ой, неразумненькой ты, Гриша! Как уходить? Зачем и шли? Ведь к здешнему празднику торопились. Вот я и измочился весь, чтобы у собора посидеть да чтобы добрые люди обсушили. Сделай ты мне милость: не уводи ты меня, голубчик ты мой!

Мальчик молчал.

— Уведешь ты меня — реветь буду. Всю дорогу так и буду волком реветь! Пусть всякий знает, сколь ты меня мучаешь и сколь мне с тобой жить тяжело. Прошу я тебя, желанный ты мой. Сечь будут — молить буду. Высекут — слушай, как просил, так и сделаю. Возьми, что желал: возьми твои два двугривенных и ступай, куда хотел.

— Так ты их и дал: жила ведь ты!

— Ей-богу, не жила, а слепому без того нельзя, сам суди! Возьми свои и ступай — сказано. Ты уйдешь, а я лягу, где положишь. Где прикажешь, там и лягу — и лежать буду кряжом: никто меня на том месте не увидит и не услышит, и звать тебя не стану, и жаловаться не буду. Погуляй вот, погуляй во всю душу: завтра — праздник. Большой у господа праздник завтра.

Проводник по-прежнему молчал. Круто повертывал он палку на углах улиц и, упирая ее на грудь слепого, сворачивал и направлял его нетвердые, все что-то нащупывающие шаги.

Слепой продолжал:

— Вернешься с праздника, из гулянки какой,— корить не стану.

— Станешь! — вырвался наконец ответ в самом твердом и уверенном тоне.

— Вот, ей-богу, не стану: глаза мои лопни!

— Да ведь лопнули.

— Ну, помни ты, озорник, это слово.

— Как не помнить? Ты сам не дашь забыть — припомнишь.

— Слушай, Гришанушко: коли корить буду — веди в крапиву, веди. Сам пойду.

Проходившая баба могла бы видеть, как после этих слов на лице мальчика взыграла веселая улыбка; но мещанка торопилась в церковь и потому, может быть, ничего не могла заметить.

Мальчику вспомнилось о том обычном приеме его товарищей по ремеслу и занятию — приеме, к какому прибегают они, когда выйдут из терпения от капризов старцев и пожелают им отомстить. Ворчливая старость и без того докучна, а слепая к тому же еще очень зла. А так как слепая старость ходит на худой конец и при большой скудости с одним провожатым и притом слепые старики любят сбиваться в артели, то и зрячим ребятам хоть и еще накладней терпеть ото всех, то зато и повадней также своей артелью и складчиною выдумывать и платиться всем одним разом.

Давно прилажено так: захотят отомстить и наказать полегче — передние ребятки кричат: «Вода! По реке бресть надо».

Задние этот крик понимают, подхватывают и повторяют на том месте, где никакой реки не протекает, а, напротив, навалились кучи сухого гнилья от покинутого и заброшенного дома. Сам хозяин ушел в солдаты или без вести пропал, разыскивая какой-нибудь город Адест [3], хозяйка, если не увязалась за ним, ушла в нищенство и там замоталась. Дом рассыпался. По гнилью двора и гуменника выросла крапива, да такая густая, что и не пролезешь. Ранней весной дает она о себе знать сильным запахом; во всякое другое время и чуткий нос слепых того не распознает.

В эту жгучую воду, в крапиву стрекучую и ведут капризных и злых слепцов, по крику ребят приготовиться идти вброд, чтобы не измочить и последних останков.

Или наоборот: не пожалеют со зла ребятки и старческого облачения, и стариковских кошелей, и подмочат в них и пироги с кашей, и сгибни «с аминем» — у реки скажут: «Сухо».

Захотят эти поводыри отомстить поехидней и наказать дедов посильней — скажут, идучи полем, что подходят к деревне: запоют старцы жалобные божественные песни о том, как Лазарь лежал на земле во гноище, а в раю на лоне Авраамовом или как Алексей, человек божий, жил у отца на задворьях. Поют старцы впусте, устанут. Надоедят жалобные надоскучившие песни, захотят спеть веселенькое.

— Можно? — спрашивают.

— Пойте: полем идем. Кругом обложило лесом, а деревень и зги не видать.

Дивятся православные затее слепцов, глядя в окошки, и, конечно, не двигаются за подаянием.

— Знать, старцы пьяны, коли мирские содомские песни поют. А от божественного мы послушали бы!

Ничего так не любит деревенский народ, как слушать эти жалобные сказания о людской нужде и благочестивых, богу угодных подвигах сирых и неимущих. Так они толковы, понятны и образны, что и слова прямо в душу просятся, и напев хватает за сердце. Так, по этой причине, всегда много народа около поющих слепцов,

где бы то ни было, на каком бы бойком месте они ни сгрудились! Сквозь толпу умиленных и слушающих не продерешься и не протолкаешься. Любят женщины, любят и дети, кругом обступая и облепляя старцев.

Старец с проводником стоял уже в церкви, у входных дверей, в то время, когда проходили мимо задержавшиеся на ледоходе и запоздалые горожане. Соборный голосистый дьякон, стоя в притворе, впереди свечи на высоком подсвечнике, речисто перебирал уже прошение о помиловании от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобные брррани (охотливо ударяя на это слово для любителей из купечества, как на удобное и подходящее для хвастовства зычным голосом).

Еще темно было в церкви, еще подслепые городские нищенки не разглядели из-за тусклого света желтых восковых свеч в приделах и не оттерли непрошеных пришельцев.

Все это случилось потом, когда кончилась всенощная, когда кое-кто из двинувшегося по домам народа успел сунуть в руку слепца копеечки, когда, наконец, оба, и старик, и мальчик, могли постучаться на краю города в лачужке и попросить ночлега у такого же непокрытого бедняка:

— Не примешь ли нас ночевать?

— Войдите, Христа ради.

— Спаси тебя господи!

III

Добрый человек гостей своих не спрашивал, как зовут и откуда пришли, а накрошил в чашку ржаного хлеба и доверху налил туда молока.

Присадил он их к столу: ешьте с дорожки во славу божию!

Спрашивать нечего: дело, понятное тому, кто вкусил мещанского счастья, кидаясь, как угорелый, от одной работы к другой, и не удержался ни на какой подходящей. То на пристань бегал суда грузить, то в огородах нанимался копать гряды. Пробовал в своей реке и чужих озерах ловить рыбу, когда она шла в ходовое время. Косой помахивал на чужих лугах, в ямщиках пожил, а вот теперь незавидная тихая пристань — засел сапоги тачать. Заказал купец в каблуки новые гвозди вбить и заплатки приладить, велел принести после ранних обеден, обещал гривенник дать и винца стаканчик. Надо поторапливаться, чтобы к этой ранней обедне самому попасть и по́здней не прозевать: стал неудачливый работник, горемычный мещанин от великих бед и напастей очень богомольным. Без крестов и поклонов ни одной часовни он не пропустит, любит говорить про божественное, дома поет церковные песни и достиг рачением и старанием до того, что стал неизбежным человеком на церковном клиросе.

Прибежал он с церковного клироса от всенощной — за свой стол-престол и вот стучит-гремит, вбивая в чужие сапоги покупные

гвозди, привздохнет и споет про пучину моря житейского, воздвигаемого напастей бурею.

Про тихое пристанище спел он и про своих гостей вспомнил, спросил к слову:

— Давно ли, миленький старчик, не видишь ты божьего-то свету?

— С роду, христолюбивый, родители таким на свет божий выпустили. Был, говорят, зрячим, да в малых летах. Не помню.

— Стало, так и в понятие об нем не берешь, о белом-то нашем свете?

— С чужих слов, родимый мой, про него пою, что и белый-то он, и вольный свет. И про звезды частые, и про красное солнушко — все из чужих слов. Вот ты мне молочка-то похлебать дал: вкусное оно, сладкое; поел его — сыт стал, а какое оно — тоже не ведаю. Говорят — белое.— А какое, мол, белое?— Да как гусь, слышь.— А какой, мол, гусь-от живет? Так вот во тьме и живу. Что скажут — тому верю,— говорил старец тем обычным манером нараспев и протяжно, к какому приучают нищую братию пение духовных стихов и одна неизменная с раннего утра до позднего вечера песня: «Сотворите слепому-убогому святую милостынку, Христа ради».

— Поглядел бы я на белый-от вольный свет!

— А вон у нас в городу говорят: и не глядел бы лучше на белый-от свет. И много таких: великое число. Нешто ты и во сне-то ничего не видишь?

— Вижу то, что наговорят люди да про что сам пою.

— Богатырей, поди, много видишь?

— Вижу, добрый человек, часто вижу. Все меня попрекают; вот и Иванушко мой попрекает: все-де тебе огромным кажет. Малое за великое понимаю; от слепоты моей, знать, дело такое.

— Во сне он больно пужается, зычно кричит! — подтвердил старца проводник.— Иной раз как полоумный вскочишь от его крику.

— Оттого и кричу, Иванушко, что большое да страшное вижу. А ты, добрый человек, не пужайся: нынче не пел и кричать не стану.

— Кричат по ночам наши старцы,— вмешался проводник,— когда подолгу на дороге сидят да поют много. Послушал бы ты, чего не придумали они сослепа-то. Вон, когда про себя запоют, что у них выходит?

Закричали калики зычным голосом,
И толь легко закричали,
Что окольни с теремов рассыпалися,
Маковки с церквей повалилися.

А на сам деле — рази когда собаки пристанут, и взвоют. А хвалят люди.

— Меня больно хвалят. У меня память хлеская. Я дошел! — хвастался слепой.

— Такая память — не приведи бог! — подтвердил проводник.

— Ты мне только скажи какую ни на есть старину говорком да спой ее вдругорядь,— я ее всю на память приму и вовек не забуду.

— Словно ее кто ему гвоздем приколотит,— пояснял товарищ.

— Я пою, а в нутре как бы не то делается, когда молчу либо сижу. Подымается во мне словно дух какой и ходит по нутру-то моему. Одни слова пропою, а перед духом-то моим новые выстают и как-то тянут вперед, и так-то дрожь во мне во всем делается. Лют я петь, лют тогда бываю: запою — и по-другому заживу, и ничего больше не чую. И благодаришь бога за то, что не забыл он и про тебя, не покинул, а дал тебе такой вольный дух и память.

— Памятью не обижен — зла не забывает! — подтверждал проводник, видимо привычный и в беседах, как и на ходу, поддерживать и помогать старцу.

— У них глаза-те в концах перстов засели. Раз церковную книгу нащупал и за сапожное голенище принял; я ему дал листы перебирать, стал он потом разуметь, что такое книга и которая церковная.

— У меня на зто большая сила в перстах! — продолжал хвастаться разговорившийся и обогретый приветливым словом доброго человека слепой старик.— И ухо у меня сильное.

— Вот какое ухо,— подтверждал мальчик,— дай ты ему палку в его руки, постучит он ей и тотчас чует, травой ли идет, по грязи ли, на дом наткнулся али на изгородь попал.

— С палкой всякий слепец силен. Сам господь палку слепцу заместо глаз дал и поставил ему в провожатые. От нее у слепца и ноги есть, и пищу достает.

— А ребятки-провожатые?

— Не всегда при себе: отпущаем. Молодое дело: баловаться хочет. От себя они по миру бродят, не всегда тебе принесут.

— Мой Иванушко добрый: мне он приносит и делится со мной,— спохватился старик и стал шарить около себя.

Нащупал плечо мальчика, поднял свою руку к нему на голову и погладил по лохматым густым волосам своего Иванушки.

— Кормители они наши, поители: в них и разум наш, и око наше.

— У дедушки Матвея нос еще больно чуток: где-где деревню-то он почует. У нас вон и глаза вострые, а за ним не поспеешь. Нам и волков по колкам-то так не спознать супротив него. Сколько раз его за то, когда артелей ходим, благодарили, что от экой беды отводил,— где-где волчий вой услышит.

— Вон язык свой не похвалю: мягонькое распознать могу, а чего другого не понять мне.

— Медовый пряник за щепу не сочтет. Есть любит, чтобы сколь больше да повкуснее.

— Старческий грех — надо каяться.

— И винцо, поди, любишь?

— Как жрет-то!

— А ведет ли тебя на прочие-то мирские какие соблазны? — спрашивал благотворитель, окончив работу и прибираясь спать.

— А чего не видал — как того желать? Куда тянуться и чего хотеть? — беседовал дедушка Матвей.

— Он тебе этого в жизнь не скажет. На это у них у всех большой зарок положен. Слушай ты его; он и врать мастер, а в эких делах первый заторщик.

— Нехорошее вы время-то для себя теперь выбрали! — перебил хозяин, позевывая и поскрипывая полатями, на которые забрался спать.

— Время, добрый человек, всякое нам хорошо! — продолжал старик, не оставляя прежнего певучего и мягкого тона в голосе.

— Люди все одни и те же: все — благодетели, милосливцы и кормители. Их милосливого сердца остудить не можно,— договаривал слепец уже засыпавшему милостивцу и страннoприимцу.

В самом деле, весна в крестьянской, а тем более в городской жизни — не такое время, которое было бы богато избытками, стало быть, удобно для подаяний. Даже на черноземных местах в средине января половина своего хлеба съедена (Петр-полукорм 16-го, Аксинья-полухлебница 24 числа этого же месяца). В лесных губерниях эта тяжелая пора начинается гораздо раньше, и покупной хлеб начинает выручать с самых святок. Весна встречается всегда натощак, и Егорий (23 апреля) называется в том же народном календаре уже прямо «голодным». Истребляется даже запас квашеных овощей, которые с теплыми днями начинают загнивать и прорастать, а потому-то и день Марии Египетской (1-го апреля) называется «пустые щи» [4].

На ледоход крестьянская и мещанская нужда начинает обнаруживаться совсем наголо и впроголодь. Лишние работники, которые на зиму покидали семьи и ходили искать денег в сторонних заработках, где ни приведется и что ни подойдет к рукам,— теперь все сбежались домой с разных сторон, чтобы подпереть плечом расшатавшуюся домовую храмину. Все до́ма и все в перепуге и страхе за себя и своих, ждут не дождутся того времени, когда весенняя пора обеспечит надеждами и обяжет работами. Из ушедших в промысел за разменными и ходячими деньгами запоздали только немногие, и лишь те, у которых утрачена всякая надежда приобретения нужного, на обмен своего, и которым требуются деньги на все, даже на хлеб. Но скоро прибегут и эти.

Ранней весною все будут дома, потому что, как бы ни был изобретателен их ум на подспорные промыслы, на землю у них все-таки не утеряна надежда: земледелие — основа и корень крестьянской жизни. С приходом этих умолкает нужда только на короткое время, а в самом деле и над ними нависла та же черная туча, которая тяготела и над оставшимися дома.

Оставшиеся дома переколачивались изо дня в день, через два в третий затопляя печи, чтобы покормиться чем-нибудь горяченьким. В самом деле, один только бог знает, чем и как в это весеннее время питаются люди! Свежая трава — истинный праздник и для отощалого домашнего скота, и для унылого и полуголодного люда. Ходят и ребята по озимым полям, с которых снята была рожь и на которых вырастают песты (хвощи, дикая спаржа); ходят и взрослые по лесным опушкам и, выбирая молодые сосны, режут из-под коры длинными лентами молодую древесную заболонь (луб). Песты и древесный сок идут в подспорье пищи и заменяют ее: чем бы ни напиться, лишь бы сытым быть. Теперь не до нищих.

Нищие в самом деле весеннее время хорошо понимают и заметно

пропадают. Те из них, которые нищенством промышляют, вовсе скрываются, отходят в свою сторону. Ближние и домашние утрачивают смелость и назойливость, начинают понимать стыд и припоминать совесть. Последнее даяние бывает им на Красной горке [5], на могилах родителей. Затем о них на все лето все забывают.

Только одним слепцам указала судьба вечную и бесконечную дорогу и никем не оспариваемое право ходить круглый год и, бродя неустанно и непоседливо, нащупывать уже положительно одни только завалявшиеся крохи. Зимой счастливым из них на известное время удается пристраиваться к чужой теплой избе, где часто пахнет свежим печеным хлебом и щами и где благотворительная рука приучила себя давать калекам поддержку. Зимой слепцы успевают пожить в одном дому и, когда надоедят и заслышат сердитую воркотню, переходят в другой дом, где также принимают их и обогревают. Зимой калики перехожие, на всю свою жизнь обреченные на скитание, ищут в чужих людях потерянного счастия с переходами и остановками. С ранней весной и им приходится уходить на свежий и вольный воздух, на тяжелый и трудный заработок.

К весне слепец подыскивает поводыря, которые на зиму уходят к своим в отпуск. К ледоходу лишних ребят в семьях накопляется очень много, и нанять их, числом сколько угодно, не только легко, но и очень сподручно и выгодно, даже и из таких, которые слепых еще не важивали, но живут круглыми, а стало быть, и бездомными сиротами. Этим «сиротам» даже и ходу другого не бывает по той же причине и по тому же закону, по какому и слепой, как только лишился глаз, так и встал обеими ногами на ту дорогу, которая идет во все стороны и бесконечно и заманчиво вьется кругом.

Круг этот заколдован, и попавший в него, как обойденный в лесу лешим, со слепыми глазами своими еще никогда и ни разу не выходил вон. Особенно соблазнительно вьются эти дорожные круги на теплое время, начиная с ранней весны и вплоть до крепких заморозков.

Сидел такой слепой нищий в зимнюю морозную пору в худой избенке, в чужой избе и лапотки плел. Мастер он на всякое ручное дело, которое не требует большого труда и вымыслов и дается на ощупь. Сидел он в теплом куту, в темном месте. Обложили его готовыми лыками, кочедык — кривое и толстое шило — у него в руках, и неуклюжая деревянная колодка под боком.

Покупали эти лыки сами хозяева на базаре, вязку во сто лент за 7 копеек, дома в корыте обливали кипятком, расправляли в широкие ленты, черноту и неровности соскабливали ножом.

Отбирал слепой дед 20 лык в ряд, пересчитывал, брал их в одну руку, в другую — тупое короткое шило и заплетал подошву. Скоро подошва спорилась. Нащупывал он колодку, клал ее на подошву и плел сначала верх, а потом и пятку. Поворачивал кочедык деревянной ручкой — пристукивал новый лапоть,— выходил он гладким и таким крепким, что дивились все, как умудрил господь слепого человека-то разуметь, и так, что и свету не надо жечь про такого рабочего мастера.

Уплачивал дедушка добрым людям лапотками за тепло и пищу во всю зиму там, где не откажут ему пожить и погреться.

Пахнуло теплом на дворе — стал он в избе лишним. Закон этот знает не хуже других и привык ко времени применяться, смекая, что на тощее весеннее время начнет народ не столько благотворить, сколько оборонять, и примется теперь крепко и усердно молиться богу. Помиловал бы бог животы, дал бы бог ко времени вспахать и посеять, не обидел бы крестьянскую нужду всходами и урожаями.

— Вот и пойдут теперь летней порой «богородицы» по всем деревням, городам и селам. Разным «царицам небесным» начнутся праздники и молебствия, особенно по честным монастырям: Владимирской-матушке два раза в лето, Тифинской, Смоленской, Троеручице и разным многим [6]. Разного народу начнет много сбираться в одно место, станут все со всяким усердием молебны заказывать. И нас, немощных нищих, в молитвах своих не забудут, и мы со своими к ним пристанем. Ведь нашу молитву — в писаниях сказывают — любит бог.

Вот и дедушка Матвей, вместе с другими, почуял весеннее тепло, когда можно и на полях спать, и в лесу ухорониться. Нащупал и он первые следы и тропу на длинную летнюю дорогу и кинулся вдаль и на прогулку с таким усердием, что и ледоходу не побоялся и даже жизнью рисковал на широкой и глубокой городской реке.

Что его так сильно манило?

Конечно, не соборная паперть полуголодного мещанского городка, с которой могли и имели право оттереть и прогнать свои, домашние, насидевшие место, городские нищие (случалось, что при этом и до крови колачивали).

IV

Шел дедушка Матвей в слепую артель наниматься.

Прослышал он, что не в дальних местах живет такой человек, который нищую братию договаривает за известное количество денег и задатки дает вперед. Прознал и про него тот промышленный человек, которому наговорили знакомые слепцы, что вот-де знают (вместе с чашечкой сиживали) и сами слыхали, что слепой Матвей так твердо всякий стих помнит до последнего слова и так много этих стихов знает, что для больших ярмарок нет лучше вожака, заводчика и запевалы.

— И покладист. И голос жалобный, дрожит. На миру весь век живет. И к артелям слепым приставал и в них хаживал, а живал не сутяжливее, не драчливее других. И непросыпным пьяницей назвать грешно, а если на деньги и жаден, то не больше прочих. Ходит со своим поводырем и от подставных и лишних не отказывался. С виду мужик настоящий — и по годам старец, и слепым мать родила. Не только работник подходящий, но и сокровище.

Промышленный человек радости своей при таких вестях не скрывал даже, настойчиво наказывая всем тем, кто Матвея встретит

зимой, сказать и просить наведаться ранней весной, как только вскроются реки.

— Поторапливался бы, помня сам, как дорого это время.

Поспешал и дедушка Матвей, потому что успел узнать много приятного и подходящего.

Узнал, что промышленный человек в нищей братии давно состоит и ходил в артелях чуть не до самого города Еросалима. И так он изловчился на нищем промысле, что начал сам собирать и водить артели.

— Теперь страшенным богачом сделался, тысячником: набирает по три, по четыре артели, пускает их в разные стороны по большим ярмаркам. Сам стал ходить только на самую большую, а на другие ищет верных и надежных людей, которых мог бы ставить за себя и на них во всем полагаться. Старик Матвей тем-де ему и на руку, что человек свежий; ходил до сих пор только в своих местах и не испортился — клад человек!

Промышленный человек — зовут Лукьяном — был тоже убогий, но только зрячий. Судьба велела ему пахать землю и в крестьянстве жить, называться мужиком. Ходил и он около жеребьевых полос пашни [7], холил землю, доглядывал за посевом, ответа ждал. Ответ, как и для прочих, всякий год выходил один: не надейся, уходи лучше прочь, смекай на другое. Смекал он на один промысел, пробовал на другой — возвращался домой.

Видели соседи, что Лукьяну и избы починить не на что — надо бы лесу прикупить. Была изба в две связи с переходами; Лукьян сперва переходы сломал и здоровыми бревнами из нее же самой починил главную. Когда же перекосило и эту, он из другой половины выбрал хорошие бревна; стала у него из избы лачужка. Давал за нее в кабаке охотливый человек два рубля деньгами да штоф водки. И совсем бы лачуга эта развалилась, да с одного бока подпирал ее сосед. Облокотилась она на чужую избу и поджидала всякую зиму своего хозяина: с чем придет и что принесет.

Раз вернулся так, что и ног не принес: привезли добрые люди убогим, безногим. Влез он по лесенке в свою избу на руках, с костыльками, подшитыми кожей, а ноги проволочил сзади, словно напрокат взял чужие.

Сказывал Лукьян, не тратя слез и не скупясь словами, что потерял ноги на речном весеннем сплаве. Поговаривали другие, что он от худого промысла ходил на недобрый: переломали ему ноги самосудом, когда ломал чужую клеть и недоглядел, что посторонние люди это видят.

Домой он привез с собой чужого парня: из-за хлеба взял на прокорм, в провожатые. С ним вместе смастерил он дома тележку на двух колесах, сел в нее и поехал в мир, на мирское даяние для пропитания. Ничего ему больше не оставалось делать и придумать было невозможно. Выдумалось же так потому хорошо, что невдолге завелась клячонка, которая и стала помогать парню возить убогого безногого по таким местам, где нищую братию любят и к ней жалостливы.

Стали соседи толковать, что у Лукьяна оттого завелась лошадь,

что он у слепых был вожаком — правил целою артелью, сам деньги обирал и дележ делал самый неправильный. Не дрожала у него рука и сверх уговора из чашек по лишней монете снимать, особенно у тех слепых, которые были настоящие и при частых и больших подачах не успевали нащупывать всех денег.

— А не то и застращивал,— рассказывал проводник.— Отдай-де копейку, а не отдашь — больше украду из твоей чашки.

Рука у Лукьяна ловкая, а слепых мудрено ли обидеть? Слепые люди тем просты, что на прощупанную деньгу они жадны и сосчитанную у них колом не выбьешь, а за другим им не углядеть.

Рассказывал проводник, что большие вороха съедобного и всякого припаса нищая братия собирает на ярмарках,— этого даяния и сосчитать нельзя и никак слепым всего не запомнить. Если и спорят когда о недоборах и недочетах, то больше со зла или спуста — на одну очистку совести. Надо же поспорить и поругаться; без того слепое житье — самое скучное.

Весь съестной сбор поручался на совесть зрячего Лукьяна: он его считал и продавал. На нищенский сбор очень лакомы и наперебой охотливы в кабаках сидельцы: дешевая и хорошая закуска — такой дома не сделаешь. Попадаются яйца, колобки, пироги со всякой начинкой, ватрушки, и всего не сосчитаешь. За такой товар в кабаках слепой братии даже большой почет оказывается.

Лукьян это лучше всех знает да так и поступает: выговорит денег, сколько требуется, да умеет заговорить сверх того про всякого слепого товарища такой крепкой и сильной водки, какую продают только торговым мужикам. Таким зельем он и горластым, и капризным слепым рот затыкает и при этом остается больше всех в барышах.

— Еще и к «достойнам» в церкве не ударят, а его раза три к кабаку-то подвезешь,— пояснил его проводник.

— Я для своих артелей большие порядки завел; со мной ходить любят,— хвастался он слепому Матвею, которого принял любовно и весело.— Я уж всю землю произошел; всякий монастырь и всякую ярмарку понимаю.

— А насчет харча как у тебя?

— Харч у моих слепцов архиерейский. Я люблю сыто кормить и водкой пою, чтобы сидели подолгу и пели густо. Где больше одного дня сидеть не доводится, там уж, известно, не расхарчишься, едят, что подают. Остатки меняю на вино. У меня про слепых — что ни кабак, то и закадычный друг: везде дома. Я и тут лажу, чтобы ребята мои ушки похлебали: подвозят меня к рыбным возам — выпрашиваю.

— Я к тому спросил, как, мол, у тебя там, где долго жить доводится: по ярмаркам, что ли?

— Там, друг сердечный, ни одного дня без варева не живем. Матку нанимаю. Живет она при артели.

— Баба-то?

— А тебе небось девку? У меня одна такая-то с ребенком ходит. И не зазрится. Было раз дело в Лаврентьевом монастыре, да с рук сошло. Один такой-то шустрый человек-богомолец спрашивал там: «Чей-де ребенок?» — «А крапивник, мол: в крапиве нашли».—

«Отчего-де, слышь, не живете в законе?» — «Да ведь слепых, мол, не венчают: законом заказано». Отстал. Пытали молодцы-то смеяться: «Пущай-де он на отца-то бы указал, может, и нас надоумил бы. А то, слышь, никак не разберемся который уж год». Матка есть у нас, матка, как и у плотников: она и щи знает стряпать, и баранину не пережигает. Насчет харча не сумлевайся. Об этом у меня первая забота. Толкуй дальше!

— По-какому у тебя дуван [8] бывает?

— А вот я еще тебя не слыхивал, как поешь, рано ли встаешь и много ли знаешь. Хвалили тебя, да я не ведаю. Поживи у меня, попытаю.

Пожил Матвей не одни сутки, попел не один десяток «былин» и «сказаний», еще больше того говорком насказал.

Приступили опять к покинутому разговору. Голос также понравился.

— Не бурчишь. Голосом под хорошего дьякона подошел. Дьячишь важно, не скрою.

— Повыдь-ко, паренек, из избы-то!

Проводник Матвея послушался — скрылся.

Лукьян говорил, подмигивая на дверь:

— Один такой-то на слепца рассердился: завел его в дремучий лес зимней порой. Там и замерз старец. Наши деревенские ходили откапывать. Это я к слову: не о том сказать-то хотел. Что молодцу-то своему платишь?

— Деньгами в дом, от святой недели до осенних заговен шесть с полтиной выклянчили на нонешнее лето.

— За экие деньги я тебе в наших местах целое стадо сгоню на выбор.

— Не всякое место такое.

— А по-моему, все по тому же. Умей высмотреть да сумей подойти. А к весне чего же легче! Вот я договорил нонче тридцать ребят: люблю, чтобы за слепым, как следует за дитей, попечение было настоящее. Я всех этих ребят всего к семи старикам поставлю, ты — осьмой. Который слаб — того водят по трое: один ноги учит переставлять, двое пьяного носят. Иной доглядывает, а другому еще учиться надо.

Вот, слушай-ко, всех ребят заговорил на год. Одну дальнюю артель они сводят, я их к другой приставлю, к ближней. Двум парням положил по десяти, девять пойдут за восемь рублей с полтиной, а одному твоя же цена — шесть рублей с гривной. Один шустрый, уховертый парень за двадцать рублев слажен, потому — ходит на десятый год и мне словно сын родной. И не сирота, а уходит своей волей от отца с матерью. Лучше его нашего ремесла никому так не спознать: на печатную сажень сквозь землю видит. Дешевые ребята — дурашные; зато им и цена такая.

Одного такого-то барин один в Тифине-городе спрашивает: «Нешто,— говорит,— тебе со слепыми-то лучше ходить, чем дома жить у родителев?» — «Лучше»,— сказывает. «А чем лучше?» — «Здесь баранок много».

А другой такой же раз всю артель зарезал; под Москвой было. Архимандрит [9] шел. Остановился. Подозвал его. Он у него милостынки сейчас же попросил. А тот положил ему так-то руку на голову и спрашивает: «На чье ты имя подаяние просишь?» А наш тут и рот разинул — молчит. «Кого ради милостыню просишь?» — «А про старичков»,— слышь. «А ты,— говорит,— какие слова мне сказал, когда у меня подаяния попросил?» — «А Христа ради»,— говорит. «Кто же Христос был?» — «Не знаю»,— слышь. Он и другого, и третьего — один ответ. Начал он нас, архимандрит, стыдить, да при всем-то при народе, да слова-то жалостливые, да говорит-то так мягко и вразумительно, что у меня аж борода зачесалась. Уж и колотил я ребят-то после того, потому так и сказал архимандрит-от: «Я-де вас запомнил, и другой раз придете к нам, да таких ребят приведете, да узнаю я их да и в ограду, слышь, не пущу». А монастырь, свята-то Троица, много народу собирает. Кто их, пострелят, учить-то станет? У нас и мастеров таких нет. Не каждый и слепец про то ведает. Ты-то, Матвей, знаешь ли?

— Мне один богомолец толковал. Да я и «Сон богородицы» знаю и пою, когда кто пожелает. Я и про Голубиную книгу знаю, а это не всякий может.

— Вот и послушай теперь. Смекни-ко, сколько я на ребят извожу денег?

— Я смекнул: сто тридцать рублев.

— С рублем, по-моему. Вот ты теперь меня и не прижимай. Не запрашивай много денег, а спроси так, чтобы нам не разойтись,— сказал Лукьян, и глаза его впились в лицо слепого Матвея.

Хотел он в них читать и ничего не видел: видно одно рябое лицо.

«Оспа избила»,— подумал безногий.

Видны две глазные щели и морщинки на веках, и лоб ниспустился, словно стянуло его туда, в это самое приметное на лице место.

«Вправду слепой, верно сказывали,— опять подумал.— Это — не то что чертовик-солдат безрукий. Как обошел он меня! Вовек не забыть!»

Привел он себе на память одного старого товарища и спутника.

«Как на мир выходит, так и начнет иглой глаза стрекать. На тот конец и вершок зеркальца носил при себе. Поставит против себя зеркальце, сядет. Вынет иглу, поднимет одну веку, поднимет другую — и начнет иглой стрекать. И сведет ему веки — и сидит над чашечкой, как и впрямь слепой. Хотел я у него из чашечки гривенник серебряный, что офицер ему положил, себе взять, а он и сгреб меня за руку».

— Положи противу шустрого-то парня вчетверо: не будет много,— перебил думы надумавшийся Матвей ответом.

— Голосисто, дед, поёшь, где-то сядешь?

— А я, добрый человек, не в запрос, а как сам скажешь.

— Может, ты пошутил, так я опять с тобой начну разговор. Прислушайся-ко!

Варева твое брюхо выпросило — это первый мой сказ. Второе, к твоей слепоте, по моему положению, надо трех ребят поставить

сверх твоего. Пойдешь ты с артелью в самые места настоящие, хорошие. Не к тому я это говорю, чтобы ты больше запрашивал, а надо тебе знать, у каждого монастыря не по пяти кабаков живет, а по ярмарочным местам мы их десятками считаем.

Посмотрел он на Матвея: слепой даже облизнулся и круто пошевелился на месте.

— Знаем такие кабаки, где как ты хочешь — хоть пляши, хоть скоромные песни пой: молодые парни даже заказывают такие — и водку подносят от себя для угощения.

Матвей даже крякнул. «Значит,— смекает про себя Лукьян,— стало его крепко сдавать назад».

— Прими тоже в расчет: баба с вами, баба хожалая, выученная. Парня твоего кормить надо; я ему лапотки свои кладу, армячишко дам. Пиво пить разрешаю, а который до чаю охоч — у меня чай по ярмаркам-то идет без запрету.

— Это у тебя хорошо,— похвалил Матвей.

— Да так хорошо, что кто от меня летось ходил, недавно опять здесь был и наймовался. От меня самая дальная артель ушла уж. Я ведь тебе всю правду сказываю. Харчи мои. Что своим умом упромыслишь — все твое.

— Я вот про это тоже хотел спросить...

— А я все по откровенности, все по правде. Рассчитывай: на новое место придешь, пачпорт покажи, а в артели-то попадают со слепыми пачпортами.

— У меня настоящий: вот гляди на него.

— Да ведь другой слепой человек со слепым-то пачпортом дороже зрячего: мне-ка за него платить. Опять же говорить буду про монастыри. В хорошем — за всякое место «власти» деньги берут: большие — если у паперти сесть хочешь; поменьше — у святых ворот; за воротами — еще меньше. А все деньги подай, все староста-то мой поставит мне на счет!

А про ярмарку-то что ты думаешь? На всякую хорошую ярмарку полагается особливое начальство. Оно так и почитает, что ярмарка-де вся его, всякое место ему принадлежит. Затем-де его сюда и определили. А ты ему за то место, на котором хочешь сидеть, заплати. Да он еще разбирает: это-де захотел, хорошее,— значит, давай больше, а не то, слышь, отдам другим. У меня-де это место другие слепцы приторговывали. Ты это сочти, Матвеюшко, добрый старец!

— Считаю. Смекаю. Говори дальше.

— Теперь вот я и твое класть стану. Голос хорош, а нам такой надо, чтобы, когда чужая артель на монастыре поет, наша была бы слышнее. Чтобы, когда гудит колокол на выход из церкви, наших слепых не забивал бы: хрип не хрип, а чтобы рев и гул был внятен. Люблю я это, и народ это любит. Твой голос подойдет. А я вон тому человеку, что, как коростель во ржи, скрипит носом-то, больше не даю, как и шустрому поводырю: двадцать рублев за все лето. Тридцать рублев тебе за голос кладу, потому голос твой толстый. А ты мне скажи, который мужик, что за промыслом с наше ходит, больше тридцати рублей домой приносит? Я не слыхивал.

— Да ведь наше дело — не стать тому! Бывает, что и больше приносят,— возразил было Матвей, но Лукьян перебил его не совсем ласково.

— Я слыхал, что под Нижним на Волге такой мастер завелся, что слепых в ремесло нанимает, и ходит к нему вашего брата довольно. Один год и нанимать их мне было трудно. Тянет купец проволоку, а из нее ситы плетет. Надо ему тонкую и толстую, да такую, чтобы ровная была. Глазом того не возьмешь, а ваш брат, слышь, перстом нащупывает, как велика тонина и ровна ли. Не хочешь ли? Он кладет за все лето пятнадцать рублей и харчи свои: попытал бы.

— Куда слепой пойдет? Некуда. Я к этому непривычен. Я вон лапотки по зимам плету, и от них у меня голова болит. Сказывал бы подходящее.

— Я не все сказал. Одежей тебя не наделять; новой чашки мне не покупать про тебя. Со своим, значит, богачеством ходишь.

— А я стихов-то сколько знаю!

— Вот это в счет кладу, и по нонешним временам за это даю тебе цену. Не так давно об этом и разговаривать бы не стал: самое было пустяшное дело. Давай Лазаря да Алексея, человека божья,— больше и не надо было. Ты вот про богатырев поешь — за это ноне деньги дают. Стали навертываться чудные охочие люди, что слова твои пишут в книжку и по гривеннику, по двугривенному платят за стих. Сам я своими глазами видел, как одному такому-то какой-то стих так полюбился, что он дал бумажный рубль. А слепой-от и разобрать не сумел, что, слышь, на руке шуршит,— не поминанье ли кто вместе с семиткой-то сунул? Не поверил — диву дался.

Опять же ты экого-то жди, а артели-то в том какова корысть? Когда еще он придет к тебе, а придет — твоя выгода: ты, чай, на артель-то делить не станешь, а зажмешь в своем кулаке. А кулак-от у тебя вон какой! Ты меня спросил, а я тебе отвечу: может, ты всю артель выучишь тем стихам? Может, ты и стихи эти положишь в мою пользу, а мой парень, что за меня с вами пойдет, может отбирать у тебя эти деньги?

Матвей на вопрос не ответил.

— Значит, дед, ты со своим стихом про богатырев на себя ходи. Мне-ка не надо. А тебя, который пожелает того, у меня в артели можно достать: ему этак-то и легче. Надо бы, значит, еще с тебя получать. Ну, да ладно: к тридцати я еще десять на тебя накидываю. И давай по рукам. Может, другим-третьим стихом ты и артель обучишь: все же прибыль!

«Ну, да и плут же ты, мужик! — подумал про себя Матвей, но сказать вслух не решился,— из-за стихов меня вызывал, а теперь они и не годятся».

— То мне в тебе полюбилось, что свежий ты человек и нет в тебе экого, что в других разбойниках. У иного и голос короток, и памятью слаб, а лезет пуще всех, выше всех себя полагает. С другим расчет-от в неделю не сведешь: он тебе то в счет ставить начнет, что не придет тебе и в голову. А в артели-то наозорничает, срамоты наведет на нее — не продохнешь. Слепой солдат всех тут хуже. Выдумает немым

прикидываться: ладно, мол, другие к немым более жалостливей, чем ко слепому. Молчи, коли тебе того захотелось: ходи немым. Он ходит и мычит. Он свое знает: в артели-то иной раз слова от него не добьются, словно в столбняке живет. Привыкают молчать-то. А хитрый человек раз и подошел. Приласкал он — вот как приласкал:

— Болезные,— говорит,— вы мои! И как мне вас жалко, до слез всех жалко, никаких денег для вас не пожалею, скорбные вы люди! А господь вас слышит и понимает! А скажите-тко вы мне, дедушки, давно ли вы онемели?

— А уж будет,— говорят,— года с три.

И вздохнули. Да и вздох тут не помог: прогнали их в шею, и другим то место заказали.

Я все это к тому говорю, что за артель отвечать — не мутовку лизать... Вот что было: ходила артель. Всякий в ней был: и хромой, и слепой, и убогий, что и у меня же. Ходила артель хорошая: набрался и нанялся всякий, а кто его разберет, из каких он? Идут зря — зря их и принимаешь. Хорошо, мол, так то, что все налицо, кто кому потребуется.

Ходила эта артель с барышом и села на ярмарке. А и ярмарка-то была ледащая и хороша-то была только тем, что лежала на дороге. Сидит артель и поет, а у ней убогонький паренек. Одна баба и признала его за сына, да и заголосила. Собрался народ. Она начала жаловаться: вон-де как изуродовали! Народ на самосуд пошел, стал старцев пощипывать. Один и взмолил сослепу: «Говорил-де я вам, чтобы вы глаза-те ему тогда выкололи, не послушали меня!» Народ так остервенился, что слепых избили всех, несколько человек до самой смерти.

С той поры вышел закон, чтобы за нищей братьей глядеть да смотреть. Стало с тех пор больно строго. Пойми ты меня! Я еще от себя трехрублевую прибавлю тебе. Прибавлю за то, что ты совсем слеп человек: тебя обидеть способно. Другой хоть и слеп, да все мало-мало видит: этот в обиду и сам не поддастся. Прими прибавок и давай по рукам ударим и вином запьем.

По рукам ударили и вином запили.

Перед тем, как в дорогу идти,— сели. Сели-посидели, богу помолились. Матвей задаток получил и вышел из избы.

Остался в избе сам хозяин и «шустрый» парень-староста.

— А артель-то ладненька сбилась: всякий мастер есть, по любой части! — говорил Лукьян, потирая дюжие руки.

— Свора полная: чужому да лишному и пристать негде! — отвечал «шустрый» староста и вскоре догонял вприпрыжку ковылявшего слепца Матвея с ребятами-поводырями и с Иванушкой.

V

Когда налажен был путь и пустились в дорогу, слепые хотя и не видели, но понимали, сколько привычки и сноровки требовалось от приставного старосты и сколько был ловок и умел тот, которого

отпустил с ними Лукьян. Возымел Лукьян к нему доверие и стал пускать его за себя, как свой глаз-алмаз, с тех самых пор, когда удалось «шустрому» показать большую находчивость.

Пели его слепцы на одном монастырском дворе, и хорошо пели. Вблизи их сидели три артели чужих, и числом меньше, и голосами слабее, да повернуло к ним счастье, а Лукьянова артель целый день пела на ветер. Надо бы домой уходить: понятное дело — ничего не выворчишь. Другой так бы и сделал, а «шустрой» человек понял слепых за товар ходовой, отыскал к нему охотника из таких же подрядчиков нищих и сдал ему артель с большим барышом. Перепродажей слепого товара Лукьян остался вполне доволен и приказчика стал понимать выше облака ходячего: ловкий человек!

Немудреное дело забрать по пути заговоренных и получивших задатки — хитрое дело с места поднять и свести в кучу. Сведя в толпу, надо с ней толково и кротко, с великим терпением вести дело: народ все больной, обиженный природой и обездоленный, стало быть, и без причины обидчив, и без пути и меры капризен.

Как вышли, так и стали ругать хозяина, «безногого черта», и толковать про него всякое худое и мыслить злое. Бывалые ломались всех больше. Где бы в сторонку свернуть, с поля на поле ходя, чтобы забрать нового товарища, артель не согласна и не хочет шагу сделать. Умел староста присноровиться так, что сам побежит за этим, а слепых и убогих выведет на село и к церкви поставит. Поют они там и сбирают. Он этот сбор и в счет не кладет: невелика корысть, немного дают в бедных спопутных приходах. Сам он целый день пробегает и другого дня прихватит, догонит артель и покручинится чуть не со слезами.

— Этот и с печи не лезет; продешевил, говорит, и с твоим хозяином. Про задаток не хочет и помнить, словно не брал. Родные за него вступаются и знать того не хотят, что не мое это дело, а если и мое, то подначальное. Штоф вина выпросили — поставил.

Тот из дому ушел; вчера хотел быть, да, знать, задержали-де реки, а может, и в грязях завяз. Да он и дома нужен. У нас,— сказывали мне,— нынче мережи плести дают большие деньги; что ему баловаться с вами? Станет бродить дома рыбу; хоть и слеп, а раков ловить ловок. Надо старшине кланяться, писаря дарить, чтобы гнали этого.

В том и беда, труд и хлопоты, что приводится применять их в местах промысловых, где всякий выходы из нужды знает и себя умеет беречь.

В глухих земледельческих местах, где, обжегшись на земле, не умеют от нее отбиваться, то же самое дело сделать проще. Там, за 3—4 дня до сборного народного дня, все калеки сами лезут напоказ на привычное место. Соберутся и сядут: выбирай кулак-нищий любого. Иной сам сторговывается; за другого говорит вожак. 3, 4, 5, 8, иногда 10 рублей решают дело в сутки.

Затем — как хочешь: перепродай с хорошим барышом артель свою другому или сам иди с ними. Тогда умей только откупить место у привратника-монаха или у церковного сторожа.

В таких местах, где нищенство давно собой промышляет и народу божьему больше жить нечем, подрядчики калек выучились ходить и на хитрость. Отбирают они остаточных, не столь изуродованных и подходящих (которые зато, как оборыш, и ходят за подходящую дешевую цену), покупают в лавках медный купорос и другое разъедающее снадобье и расписывают этим лица. Выходит так, что еще и лучше бывает: образ и подобие божие так изуродуется, что на всех одинаковый наводит страх и сострадание: весь в крови, веки выворочены и т. п. Конечно, здесь живется гораздо потруднее.

Да и сбитых в кучу надо направлять так, чтобы артель разбивалась на многие части, не казалась бы толпой, не оговаривали бы люди, что вот-де их сколько пошло торговать, и не останавливало бы проезжее начальство: у всех ли де есть законные виды? Большое искусство и главная забота прилагались к тому, чтобы в пешей артели казался всяк по себе и приходящему из святых монастырских ворот богомольцу ясно и вразумительно было одно, что собрались эти люди с разных сторон, пришли из разных мест, где встала великая нужда и общая печаль разлилась.

Только умудренному опытом человеку можно разбившуюся артель вновь собрать и поставить на одну тропу. Только такому удается провести, не делая крюков, по базарным местам и довести в дальное и злачное место. А сколько возни с «погиблым народом», поводырями-ребятами, в которых и молодость кипит ключом и бьет наружу, и баловство с артельной порчей путается сверх того и подмешивается! Сечь и бить не велят; да и сами они либо отомстят, либо разбегутся.

Из полной груди, радостным вздохом облегчил себя староста, когда завидел на горе белую ограду и за ней белые церкви святой златоглавой обители, раскинувшейся по склону высокой горы и затонувшей в зелени старых берез и столетних кедров. Пешая братия, один за другим, теперь сядет на места и примется за дело.

Теперь станет легче; надо смотреть, чтобы из проводников который-нибудь не утаил подаяния: и без того ужо пойдут споры да крики о том же. Ни один слепой не верит, чтобы у него не украли подаяния.

Вот и уселись. И «дьячить» стали под благовест большого колокола, который, по случаю праздничного монастырского дня, гудит ровно полчаса.

Стукнула в Матвееву чашечку первая копеечка.

— Благослови бог!

А вот и другая.

— Спаси тебя господи!

Перестали звонить — перестали и старцы петь. Стали сидеть молча.

Думает слепой: «Дай пощупаю, сосчитаюсь. Вот и трешник. Где же копеечка? — вот и она! А это семитка... Нет! не семитка, а, надо быть, грош. Нонешние деньги пожиже стали, никак не разберешь сразу, словно бы насечка помельче у этих. Так оно, так: это — семитка из новеньких».

Чья-то рука опять дотронулась до пальцев: яичко скользнуло и взыграло на деньгах по чашечке.

— Прими, Христа ради!

— Дай тебе господи много лет... Бабенка дала. Ну, да ладно: все к рукам, в одно место.

И еще яичко и колоб.

Одно яичко в чашке оставил, другое с колобком спустил в мешок, что сбоку крепко привязан.

«Знал Лукьян, куда привести и где посадить; неспуста хвастлив — хорошее место. Другим-то дают ли? Али с краю сижу? Словно бы слева никто не сопит и не дышит. Прислушаюсь: ишь, чертов сын, на вонную сторону приладил. А из церкви пойдут — как мне быть? Не попроситься ли пересесть. А как услышат? Помолчу лучше. Ближние-то к воротам мухоморы больше соберут.

Вон идет кто-то, шелестит по плите. Кабы лапоть — так ляскал бы; знать, башмаки: взвизгивают. Надо быть — горожанка идет: эта подаст».

— Слепому-убогому святую милостынку! — пропето вслух, а потом подумалось про себя: «Мимо прошла — скаредная. Дай опять посчитаюсь: в чашке яичко; вон оно кругленькое: надо быть, молодка снесла. Вон она давешняя семитка, две копеечки, трешник. Где другой трешник самый?»

Зашевелилась рука, судорожно заходили пальцы по краям чашки, а самый вопрос выскочил вслух.

Проводник, стоя сзади, осерчал и проворчал:

— Щупай лучше! Возьми бельма-то в зубы!

Пощупал и успокоился: трешник дома, лежал под яичком. Опять старец голову вниз опустил и глаза уставил над чашечкой.

Сапоги застукали и заскрипели, и запахло дегтем. Слепой и чашечку вперед выдвинул, да тотчас же и опять к себе потянул.

— Надо быть, монах прошел: сами взять норовят; а быть может, и купец, да скупец.

— Дай тебе господи милости божией! — опять пропел вслух и опять стал про себя думать: «Вот и еще копеечку дали, а у меня еще и нога не затекала: дача, надо быть, будет хорошая. Много подавать станут, когда ужо пойдут от службы. Духом чую я это. Да нет, постой! чего я считаю? ведь не мои. Ведь отберет эти деньги «шустрый»! Он глаз теперь не спускает с них. Скареды!

Твердо Лукьян знает места: словно в рай привел... Сколько их тут проходит, ногами дробит... А вот и опять подавать перестали... Слава богу, что перестали. А как не расплатится Лукьян? Печеным хлебом пахнет — знать, только наша нищая братия осталась тут... Не сгрести ли про себя в кулак? Увидят — отнимут. Пожалуй, раздеться велят; станут осматривать, щупать. И понес меня черт! Да ведь местов не знаю. Они знают. На будущий год один сюда приду. А кто доведет? Посадят. Скажут, тут сидишь, ан не тут — эко дело проклятое!..»

— Закусывайте, старцы! — послышался голос старосты.— Здесь обедню три часа служат. Да не чавкайте, ешьте тише!

— А где наши ребятки?

— Ищи за селом. Поди, в свайку играют.

— А может, и пряники подбираются воровать в лавках.

— Скоро ли к «достойням» ударят?

— А ты подожди.

— Да и помолчи. Иные соскучатся, из церкви-то выходить начнут, услышат. Закусывай знай!

— Когда петь-то?

— А там вон теперь за тебя монахи поют. Твоему петуху рано.

— Запоешь — монахи тебе так-то рот замажут. Не любят они нас, знай ты это.

— Прячь колобки! — опять команда старосты.

Вскоре затем опять дробь шагов прямо и сзади.

Снова про себя думы: «Опять клюет. Ишь чикает: развяжи мошны. Сем-ко прислушаюсь: не чикнет ли? — Вот опять».

Старец даже икнул и вздумал на всякий чик кланяться, а поет благодарность без умолку.

— Вот привести угодили! Вот сладко! Все бы сидел да пел.

Между тем опять все примолкло. Монастырский колокол ударил к «Достойно». Снова забродили шаги взад и вперед. Стали в чашечки постукивать время от времени новые деньги, стали почаще просовывать в руку мягкое из съестного и печеного.

А там и команда:

— Запевайте-ко, старцы! Не торопитесь только!

Во славном было во граде во Риме,
При царе было при Онуре,
Жил себе славен Ефимьян-князь.
Не было у князя отро́ду:
Не было ни сына, ни дочери.
Взмо́лится князь Ефимьянин,
Взмо́лится господу со слезами:
«Господи, творец милосердый!
Взо́зри ты на наше на моленье,
Создай, господь, единое нам детище,
Создай, господь, сы́на либо до́чи!
При младости князю на потеху,
При старости князю на замену,
При смерти — души на поминанье!»

Потянулись стих за стихом из любимого старческого и народного сказания про Алексея — божьего человека: как он «на возрости скоро к писанию научился, как прибирали ему обручную княгиню и они божий закон принимали. Да Алексей, сидя за свадебной трапезой, хлеба и соли не вкушает, ме́двяна питья не спивает, а уливается горючими слезами».

Обедня уже отошла, когда старцы успели пропеть о том, как божий человек ушел из родительского дома в Ефес-град, «приходил ко соборныя церкви, становился у церкви во паперти, по правую сторону притвору» и как его искали посланные отцом, нашли и не узнали: «нишшой каликой называли, милостыню ему подавали, Олексея-света поминали, а он у них принимает, по нищей по братии разделяет, господа бога прославляет».

Останавливались проходящие и прислушивались к стихам о том, как Алексей 17 лет господу молился и услышал глас божией матери, повелевшей ему идти в дом родителей, и о том, как он домой возвратился, встал на паперти божьей церкви, где отец его не узнал и подал милостыню, как убогому незнаемому человеку. Как наконец родитель велел его, нищего, взять в палату, приказал «накормить его хлебом-солью, построил убогому келью, нищего-убогого сберегати».

Которую князь ества воскушает,
Тою ко убогому отсылает,—

ведут старцы разбитыми, дрожащими и шепелявыми голосами.

Один только тоскливый скрип слышен, да еще Матвей возносил надо всеми свой густой и сильный голос и очень истово, ясно и для всех слышно и вразумительно отчеканивал:

Да злы были у князя рабы его:
Ничего к нему ествы не доносили,
Блюдья-посуду обмывали,
Помои на келью возливали.

— Ой, батюшки, слепцы праведные! — воздыхала старушка и клала из-за пазухи колобок и яичко.

Уже густая стена обступила кружок слепых, когда они кончали последние стихи «Человека божья»:

С радостию Олексий нужду принимает,
Сам господа бога прославляет.
Трудился он господу, молился
Тридцать лет да все и четыре.

Толпа слушателей была уже так велика, что шаловливым мальчишкам доводилось втискиваться головами и плечами и получать за то сверху нахлобучки.

До того народ был прислушлив, что не терпел никаких посторонних звуков и на замечания молодого парня с гармоникой, что «эти-де хлеще поют, чем те, которые сидят у колокольны», — отвечал ворчливым гулом.

Кто ни подошел к кругу старцев, тот и остался тут неподвижным.

Такая же бессменная, но нарастающая толпа окружила и тех слепцов, которые пели у колокольни, и другой круг слепых и калек, поместившихся за святыми воротами у колодчика, ископанного руками святого угодника.

— Умиление! — замечал сдержанным голосом седой человек после тяжелого, протяжного вздоха.

— Умудрил господь старцев! — вторил ему другой растроганный голос, когда кончали слепцы один «стихарь» и немедленно заводили другой; некогда было и деньги нащупывать, и думать о мирском и постороннем.

Надо было от слов не отставать и за другими тянуться.

Праведное сонце
В раю просветилося,—

заводил Матвей трескучим басом любимую песню калек «Про падение Адама» и плач его о прекрасном рае:

Расплачется Адам,
Перед раем стоячи:
«Ай, раю мой, раю,
Прекрасный мой раю!» —

вторили ему всякие голоса товарищей-калек в то время, когда издали доносилось про Лазаря, а на другом конце монастырского двора заводили «Человека божья».

Все о нищете и убожестве богом любимых и ему угодных, все о нужде и страданиях, которые каждый на себе испытал, и тоску, согласную с напевом и складом, носит в душе своей, да не умеет выразить. Вызвались старцы за мир постонать, выделились на видное место за всех поплакать и вслух рассказать про людскую скорбь и напасти. Теперь они — выборные от всего мира ходатаи и жалобники.

Не велел господь нам жити
Во прекрасном раю,
Сослал нас господь бог
На трудную землю.
Ой, раю мой, раю,
Прекрасный мой раю!
Век правдой жити —
Нам зла не творити;
От праведных трудов,
От потного лица
Пищи соискати!..

— Воистину сердечное умиление!— повторял седой человек.

— Ой, болезненькие! Миляги несчастные. Ох, сердечные, богом обиженные! — вторили женские голоса.

И, глотая обильные слезы, женщины утирали их рукавами, не двигаясь с места и готовясь слушать до самого вечера.

«Вот опять зазвякало,— подумалось старцам,— что дождь! Капля за каплей. А все, поди, ближним больше сыплют. А «шустрый» это в счет будет класть: такой уговор. Кому больше насуют, тому больше водки, а может, еще и пивом попотчует. Как узнать? Как сосчитать, когда поешь и слова припоминаешь и подгоняешь всякое слово одно к другому. Как совладать? А как спорил! Как я просил круг делать, плетешком сидеть: всем бы досталось поровну, а вот теперь и сиди, словно при дороге».

Проводник больно толкнул старца в бок: опять велят начинать. Староста давно уже сердито крутит головой и глазами подмигивает.

Проходящие люди из равнодушных, отходя от одной поющей толпы, попадали тотчас же в струю тех тоскливых звуков и до томительного однообразия схожих мотивов. Не успевали остыть в ушах и забыться эти вторые, встречает на новом месте третий гул и стон, стараясь отделиться, но невольно сливаясь с задними.

— И это — после церковной-то службы! — замечала местная власть, обращаясь к товарищу.— Слуга покорный: мои нервы — тоже не веревки, как им выдерживать? Как дерет этот рябой! Понимаю я, почему и черствые, деревянные мужичьи души трогаются и

волнуются. Очень ведь много денег набрасывают, нигде столько! Посмотрите: серебряные монеты лежат в чашках. Ужасно любит народ слушать этих слепых горланов, и не знаю, любит ли он еще что-нибудь больше. Смотрите, так и облепили, так и лезут в самый рот к старцам.

— Это пение,— ответил товарищ,— умиляет душу и освежает нравственное чувство простолюдина, уча в то же время терпеливо переносить превратности жизни. Здесь он желает видеть выражение своих лучших и задушевных мыслей и чувств. Поднявши это свое же измышление и порождение на высоту нравственного идеала, народ любуется и красуется им с честною и чистою младенческою наивностию и откровенностию. Они поют для денег — он этого понимать не хочет и думает, что слепцы священнодействуют. Он очень искренно требует и приличной обстановки, и своего рода торжественности, и смирения во взорах и в голосе. Пусть они обманывают, пусть ужо ночью пропьют все собранные здесь деньги в кабаке — что ему за дело? Ему и в голову не приходит ничего, кроме той мысли и представления, что перед ним творится священная служба, совершается умилительное таинство. Ведь и священник всегда ли приходит к алтарю готовым и чистым, как ему в уставе указано? Конечно, лучше обмануться, чем терять верования в свои вековечные помыслы. Пусть же слепой старец навсегда остается при божьем храме, как его дополнение. Оттого-то и сами слепцы признают над собою власть духовных лиц и священникам во всем готовно покоряются.

В этих монастырских картинах нельзя не видеть глубокого морализующего начала, помимо того, что всякий здесь слышит свою заветную мысль, складно и гласно высказанную: дума в думу и слово в слово. Физический недостаток лишил созерцания внешнего мира, освободил от напряжений разуметь в нем суть, не поддающуюся первобытным дешевым приемам, но зато углубил в созерцание внутреннего мира и пространно развернул ничем не стесняемому теперь воображению широкое поле фантастических чудес и красот. Творчеству слепцов мы обязаны этими смелыми поэтическими образами, которыми переполнены наши былины о богатырях, где все так громадно и могуче, хотя и написано грубою кистью. Памяти слепцов мы должны быть благодарны за то, что она сохранила нам большие сотни поэм самого разнообразного вида и смысла, где всякая старая память отказалась бы и когда десятки рук не успели еще до сих пор записать всего, что сказывается и поется слепцами про родное былое.

Опять проходящие, и опять разговоры:

— Во всех кругах всё слепые поют; ребята только подпевают, и то кое-как и нехотя. Ни один из них не умеет сказать целой «старины», полной «былины». И между стариками настоящие стали пропадать, изводиться: на исторические сказания надо искать знатоков днем с огнем. Мудреное дело — уберечься, хотя сам народ бережет, хоронит и любит, да прошла какая-то моровая язва, запечатавшая язык и затемнившая память (и это не в очень давнее время).

Зато остальное остается по-прежнему: немудрено и теперь, как

и встарь было, навек сделаться слепым. Семь-восемь месяцев житья в темной избе и крутые переходы из нее на белы снеги. Зимой в избе лучина светит, дымит и чадит и едкой струей горячего дыма прямо бьет в глаза, наклоненные над мелкой работой, чтобы ближе и светлее видеть. Летом можно бревна пилить: опилками глаза порошить. Нет-нет да и перепадет малая крупица в больной глаз, а не удастся — можно и у овина набежать на беду, когда веют обмолоченное зерно от острой и крепкой шелухи. Больной глаз вытирают грязной холщовой тряпкой, какая первою попадется под руку, а водой мыть нельзя: хуже прикинется. Знающему лекарю из ученых показать — тоже нельзя: хуже будет. Подает совет знахарь темными непонятными нашептами и велит искать сухой дождевик и пылить в открытые глаза коричневой мелкой пылью его. Хорошо еще, если посоветуют мочить какой-нибудь звериной кровью, прикажут живого крота достать и задавить его своими руками. А дождевик растет только летом, кроты роют землю также в теплое время: жди этого последнего средства с его призрачным спасением, когда земля отойдет и соберется родить поганый гриб или начнут кроты обратное свое переселение с изрытых и объеденных мест на свежие и сытые. Тем временем оба глаза закрылись и белый свет совсем потемнел. Где не пропадало у темного и бедного русского человека! Таков ему и закон на роду написан! А выход один: на монастырский двор да на базарную и ярмарочную площади.

Попробуем найти утешение хоть в этой картине, которую рисует теперь монастырский двор с кругами распевающих слепых под колокольный звон и под говор намолившегося народа, который тут же кстати продает и покупает.

Этот большой колокол, на котором вычеканено имя Бориса Годунова, эти стрельчатые окна и кое-где сохранившаяся в них слюда, эти бойницы и стены с длинными и узкими отверстиями, выстроенными в те времена, когда еще стреляли из пищалей и обливали врагов кипятком и варом,— все это так согласно отвечало и напеву, и самым словам стихарей слепцов, так пристало и так вместе с ними красиво и понятно!

На базарных площадях те же слепые кажутся заурядными промышленными людьми, которые потому и поют усердно, что хотят получить за это деньги. Под монастырскими стенами эта же слепая нищая братия кажется чем-то священным и, во всяком случае, как бы продолжением и дополнением того, что навеяно церковною службою под тяжелыми громадными сводами, перед высочайшим иконостасом. Ватага слепых — остаток самой отдаленной старины, когда не только не умели класть каменных стен и стрелять из пищалей, но и деревянные стены рубили тупым топором, а про монастыри и божии церкви совсем не слыхали. Ватаги слепцов — явление на Руси самое древнее, и притом такое, которое народ бережно уберег про себя до наших дней во всей неприкосновенности, чистоте и цельности.

С самых языческих времен лучше и удобнее пристроить их не успели и не умели. Прадедовское наследство безраздельно остается на общем мирском попечении.

VI

Еще в высоком тереме ласкового князя Владимира появлялись за один раз сорок калик со каликою и на почетных пирах получали большое место.

Все это знают и могут услышать от наших слепцов, распевающих про своих древних братий, что они

> Становились все во единой круг,
> Клюки-посохи в землю потыкали,
> А и сумочки исповесили.
> Закричали калики зычным голосом.

Можно услышать, что могучие богатыри каличьим промыслом и нарядом не гнушалися, одеваясь, как щеголь и волокита Алеша Попович, в лапотки семи шелков, подковырянные чистым серебром, надевали подсумок черна бархата, на головушку — шапку земли греческой, на плечи — шубу соболиную долгополую. И не только не гнушались, но и за великую честь ставили под видом калики выходить на великие богатырские подвиги, как Михаил Поток Иванович и матерый мужик Илья Муромец, когда шел из Мурома в Киев по такой дороге, по которой никто не прохаживал и не проезживал. Только шел-прошел калика прохожая, прохожая калика волочальная: муница на нем сарачинская, шляпа земли греческой.

Не одними рассказами о своих молодецких похождениях киевского князя они тешили, а утешали его и богатырскими подвигами. Каликой сходил Илья Муромец в самый Царьград, когда прознал, что князя цареградского поганый Издольня в полон взял, Царьград и золотую казну опечатал. Сдынул Муромец шалыгу в девяносто пуд, щелкнул Издольну меж уши, взял его за резвы ноги и зачал помахивать: куда махнет — туда улочки, куда примахнет — переулочки.

Не отошла каличья честь, когда и Христова вера завелась на святой Руси: взяла она убогих и странных под свою крепкую защиту и сказала определительно и твердо, что это — первые и ближние друзья Христовы. В их пользу установились новые обычаи, но прежнего смысла и значения.

Из нищей братии отбирали самых убогих двенадцать человек. Водили их в те же терема княженецкие в великий четверг. Умывал их натруженные походные ноги сам князь стольнокиевский, сажал их за столы дубовые и за скатерти браные, сам кормил их и потчевал.

Та же честь не покинула слепых-убогих, когда русская слава из Киева перешла в Москву и перевелась с великих князей на белых царей. Любили калик перехожих чествовать по христианским обычаям; любили слушать их песни и сказания и в Москве, как и в Киеве, по народным примерам и обычаям.

В Москве дошло даже до того, что про старых калик перехожих, потерявших вслед за глазами и ноги, строились особые палаты и убогие принимались в придворный штат и назывались «верховыми богомольцами». Их звали в зимние вечера в государеву комнату рассказывать про все, что они знали или от других слыхали про давно

минувшие времена, про подвиги благочестивых людей, от бедного Лазаря и прекрасного Иосифа до Иоасафа — индейского царевича. Старцы эти и духовные стихи певали, и сказки сказывали, а за все это были у царей в великом почете и милости. У царя Алексея Михайловича они жили даже подле самых царских хором, и, когда один из таких (Венедикт Тимофеев) умер в 1699 году, 9-го апреля, его отпевали два патриарха, два архимандрита, десять священников, двенадцать дьяконов и без счету певчих и причетников. Сам царь был на погребении и раздавал щедрую милостыню нищим и колодникам в этот день, потом — в третины, девятины, полусорочины и сорочины. Щедро жаловал царь и все отпевавшее духовенство. В верховых нищих не обделял он своею милостию, содержанием и попечением и юродивых, и «слепцов-домрачеев» (умевших в те времена подыгрывать пению былин и старин на струнной гитаре или домре).

Во всяком богатом доме в таких же пристройках в одно, в два оконца со стеклянными оконницами и железными затворами живали те же слепцы-сказочники, за разговорчивость и болтливость свою прозванные особым именем «бахарей» (краснобаев, рассказчиков).

Богачи и белая кость пробавлялись домашними певцами и уберегали, свято храня и холя, наемных слепых и убогих; крестьянская бедность, черносошный люд с тою же любовью и вниманием относился к проходящим и гулящим базарным старцам. Точно так же бережно сохранили и их через многие века до наших дней и, с тем вместе, сберегли ту же в них веру.

Пропитывая и обогревая при жизни, простой и бедный русский народ не забывал их и по смерти. Для этого также с древнейших времен существовали в городах божедомки, в деревнях на полях — курганы. Здесь хоронили умерших странных людей и в семик пели общие и общественные панихиды на мирской счет.

Не подать слепому нищему — тяжкий грех, да и не безопасно: не проклял бы он со зла. А проклятие в известное время (бывает такое в году не один раз) может действовать, имеет силу.

Пробовал бродячих нищих и слепых старцев великий хозяин земли своей, Петр Первый, пристроивать к местам, чтобы не толкались, не мешали и не напоминали бы царю про старые, немилые ему времена: приказывал монастырям строить богадельни, велел ловить и вязать всякую без разбора нищую братию, писал строгие указы, не один раз их напоминал и повторял — убогим удалось-таки пережить и это самое тяжелое для них время. Унесли их осторожные ноги: к монастырским стенам их не приковали, а остались они на прежнем положении. Пугливые ушли в раскольничьи скиты еще на пущий почет и на большее обеспечение и безопасность.

Завелись и в раскольничьих местах свои слепцы-певцы, и между ними громче всех прославились тихвинские, которых в Юрьевом монастыре (в Новгороде) любил дарить и слушать сам строгий, знаменитый архимандрит Фотий [10] при государе Александре благословенном [11].

И нигде их столько не набирается, как в глухих лесных местах по ярмаркам: в вологодском, в олонецком краях. В село Шунгу

(Повенецкого уезда), вблизи выгорецких скитов, сходилось их на рыбную Благовещенскую и Никольскую ярмарки до десятка артелей: певали и в одиночку и парами, певали втроем и целыми десятками. Зато уже из этого места, как и из всего олонецкого края, вывозились самые длинные, старинные и лучшие былины. В Шунге и новики-нищие учились, как в академии, и промышленные архангельские люди-поморы вывезли в свои места много редкостных сказаний (и нам, во время поездки на Белое море, охотно пели и сказывали эти словоохотливые люди).

Свято место не осталось пусто: число слепых не умалилось; уменьшилось количество знатоков былин. Стали об этом неспуста тужить и жаловаться; приходится уже разыскивать — стали, по этой причине, поторапливаться. Все же прочее стоит по-старому и обстоит, как говорят, благополучно.

Для примера и доказательств заглянем в разные углы богомольной и сердобольной России.

По Малороссии дід (дідун, старец) ходит. Во всякую он хату заходит без спросу, когда в ней и нет никого. Берет, что ему попало на глаза, и уходит. Вернется ужо жинка с поля, оглядится, заметит пропажу, скажет: «Певне тут дід був» — и положит на дверь засов от діда. Имеет дед право входить, да и умел во зло употребить доверие, родившееся от старого и доброго обычая.

Умели и в Малороссии деды-жебраки выделить артели слепых, которых и зовут «лирниками»: играют на лире и поют божественные песни. Без лиры они и в народ не ходят, и для этого самые молодые, чтобы иметь право называться дедом, отпускают бороду вопреки общим народным обычаям.

Входя в дом, двери которого для них всегда открыты, чтобы сразу признали, они запевают молитву «Отче наш». А затем, так же как тихвинские и олонецкие калики, повертывают на веселое и смешное, по желанию девчат, и на плясовую и скоромную, по требованию насмешливой молодежи, пока не закричит какой-нибудь шутник:

— Дидуня, пип иде!

Перейдем в Белоруссию, столь же древнюю и неподвижную.

Здесь певцы духовных стихов по образу жизни называются *волочебниками* и, сообразно занятиям, *лалынщиками* и ходят всегда артелями человек в 8—10 и более, с дудой и скрипкой *.

---

* Лалынь — песня, которую, как уверяют они, начали петь с тех времен, как сменилась вера. А так как в Белоруссии менялась вера три раза (с языческой на православную, с этой на униатскую и затем на католическую), то и не совсем можно догадаться, когда это случилось. Вернее думать, что сталось так в первом случае. Классическая же дуда, национальная особенность и принадлежность белорусского племени,— не что иное, как самая первобытная дудка из тростника, бузины или камыша, а того проще — из молодой ивовой коры, снятой ранней весной. При ней надутый воздухом кожаный мешок. В Белоруссии это любимый инструмент: «гудок да дуда собери наши дома», — говорят в насмешку над тамошними горемыками. Жилейка (так красиво и характерно прозванная) — родная сестра первому инструменту, только еще попроще и пищит посмешнее в устах ребят, пастухов и нищих (она без мешка).

«Под дуду не пойду, под скрипицу не хочу, под жилейку помаленьку»,— шутливо говорят в тех странах эти нужные люди, которые затем и берут с собой сопелку, что также приходится им петь веселые и загульные песни по заказу. Собственно надо петь духовные и следует видеть в том религиозную обязанность и святое дело.

И здесь певцы, исполняя обет, священнодействуют. Подходя к избе, становятся под окнами полукружьем; впереди и в середине мужик средних лет — «починальщик» — с дудой. Боковые «подхватники» поют, а во время припевка хлопают в ладоши.

Не гуси летят, не лебеди,—

заводит починальник.

Христос воскрес, на весь свет,—

вторят голосами и хлопают ладонями помощники.

Идут, бредут волочебнички,
Волочебнички, полуночнички,
Челом здоров, хозяинушка!
Чи спишь-ляжишь, чи споциваешь?
Коли ж ты спишь, то бог с тобой!
Коли ж не спишь, говори ты с нам!
Не хошь говорить, хадзи ты с нам!
Хадзи ты с нам, с волочебничкам,
С волочебничкам, с полуночничкам,
По темной ноци грязи толоци,
Собак дразнить, людей смешить,
Не хошь хадзиц, дари ж ты нас *.

Подарки выговариваются:

«Починальщику яичек, да денег, да горелки, помощникам сыр на тарелке, мехоноше (заднему сборщику подаяний) пирог с ношу, дударини хоть солонины: дуду помазать, струны погладзить, чтобы играла, не залегала. А за то, хозяинушко, живи здорово, живи богато! Дай тебе боже пиво варить, сынов женить, горелку гнать, дочек отдавать!»

Жертва обязательно передается из каждого окна и всегда в приметно достаточном количестве. Где крепко спят, там громко стучат и укоряют. Где упираются по бедности или по неохоте, там опять певцы становятся в круг и поют ругательный стих, припасенный на такой случай.

Такова обязательность пения и такова сила в появлении волочебников, что если поют они в то время, когда на дворе тихо, нет дождя, ночь ясная и звездистая,— значит, весь год будет урожайный и в особенности хорошо яровым посевам. Очень худо, если поют певцы в дождливую и сырую погоду; волочебники того не разбирают и неустанно поют, чтобы обязательно обойти всех. В Витебской губернии не лишают такой чести даже (издавна поселившихся там) великороссов-раскольников: посещают и этих. Дележ

---

* Волочебники ходят обыкновенно с первого дня Пасхи и непременно к ночи. Переходя по порядку к каждой избе и не пропуская ни одной, бродят по деревне всю ночь, несмотря ни на какую погоду.

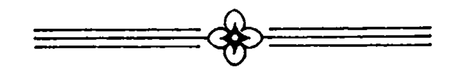
сбора производится не без ссор и драк, но всем поровну: часть для дому, другая половина — жиду в шинок.

Если мы вернемся в Великороссию, то едва ли найдем что-нибудь особенное, что можно добавить к рассказу. Не за большим приходится возвращаться.

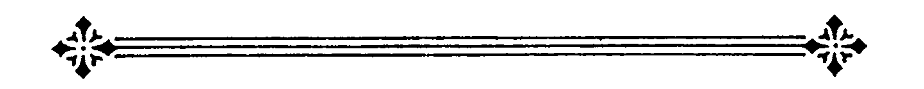
Нижегородские промышленные мужики доморощенным опытом дошли до того, что приладили способности слепцов к железному производству — тянуть проволоку. Да верно говорят и убедительно доказывают, что промысел этот, без внимания и поддержки, стал упадать с каждым годом все больше и скорее, отпуская и своих обученных слепых на нижегородские ярмарочные площадки и под утлые стены сползающего к воде с волжской горы Печерского монастыря.

Городская филантропия завела институт для избранных петербургских слепых и выучила читать и считать по выпуклым знакам, да, конечно, согласно и хором играть пьесы итальянской и немецкой музыки, что доставляет удовольствие, возбуждает общее удивление и вызывает достойную и приличную похвалу руководителям. Концерты слепые дают, в газетах пишут об этом и печатают полные и обстоятельные годовые отчеты.

Многие тысячи слепых продолжают бродить по всему обширному лицу земли русского царства. Не сговариваясь между собою, но по ходу вещей и силою обстоятельств они разделили всю Русь на участки, поставив в центре бойкие места народных сходбищ. Тяготея к ним десятками промысловых артелей, они друг с другом не путаются и взаимно одна артель другой не мешает, все дружно прокармливаются около полуголодного крестьянского люда, обогреваются кое-как под пошатнувшейся и разметанной кровлей и на разные тоскливые голоса распевают вековечную песню...



КОММЕНТАРИИ



ГОД НА СЕВЕРЕ

Часть третья

(с. 5—208)

[1] *Виллоуби* (Уиллоби) Хью (?— 1554) — английский мореплаватель; в 1553 г. принял участие в экспедиции Ченслера и Дерфорта, предпринятой английской купеческой компанией для отыскания северного пути в Китай. В Северном Ледовитом океане Виллоуби и Дерфорт потеряли Ченслера из виду, а затем льды и холод заставили их спуститься к юго-западу, и 18 сентября они высадились около Кегорской бухты в Лапландии, где погибли вместе со всем экипажем от голода. Корабли их и журналы были найдены в 1554 г. русскими поморами. Экспедиции *Барроу* и *Джакмана* тоже не увенчались успехом.

[2] *Гудзон* Генри (ок. 1550—1611) — знаменитый английский мореплаватель. Предпринял по частному поручению английских купцов в 1607—1608 гг. экспедиции для отыскания северо-восточного пути в Китай и открыл восточный берег Гренландии. В 1609 г. Гудзон достиг Новой Земли, повернул на запад и у берегов Америки открыл реку, названную затем его именем. В 1610 г. прошел через пролив (будущий Гудзонов) в залив (впоследствии Гудзонов), на берегах которого он зазимовал. На обратном пути экипаж Гудзона взбунтовался, и капитан вместе с сыном и 8 преданными моряками был брошен на шлюпке среди океана и пропал без вести.

[3] *Вуд* Джон — английский моряк, участник двух экспедиций: в 1669 г. — капитана Марльборо для изучения южной оконечности Америки и в 1676 г.— с целью найти северо-восточный проход в Китай через Ледовитый океан. Вуд опубликовал в Лондоне подробное описание этой экспедиции.

[4] *Баренц* Вильгельм (ок. 1550—1597) — голландский мореплаватель. Отплыв на двух кораблях из Амстердама в 1594 г., открыл Новую Землю. После попытки проникнуть в Югорский пролив вновь повернул к Новой Земле и достиг в 1596 г. ее северной оконечности, названной им Желанным мысом. Не сумев пройти из-за льдов в Карское море, зимовал у южного берега Новой Земли. В 1597 г. экипаж Баренца, видя невозможность выбиться из затерших корабль льдов, поплыл на двух шлюпках вокруг Желанного мыса к Печоре. Пять человек не вынесли лишений, в том числе и Баренц — он был похоронен на берегу Новой Земли. В 1871 г. норвежский капитан Карлсен нашел зимовье Баренца, хорошо сохранившееся в течение 300 лет пребывания во льду, с многочисленной утварью, книгами, документами. В Гааге был основан музей Баренца — точная копия его зимовья.

[5] *Лазарев* Андрей Петрович (1787—1849) — вице-адмирал, плавал в эскадре адмирала Д. Н. Сенявина; в 1819 г. совершил путешествие к Новой Земле; опубликовал труды: «Плавание брига «Новая Земля» (Кронштадт, 1820) и «Плавание вокруг света на шлюпе «Ладога» (СПб., 1832).

[6] *Литке* Федор Петрович (1797—1882) — адмирал, участвовал в русской кругосветной экспедиции В. М. Головнина в 1817—1819 гг. В 1821—1824 гг. ему были поручены исследования русских арктических морей, берегов Новой Земли и Камчатки. Описание издано в Берлине в 1835 г. на немецком языке.

[7] *Пахтусов* Петр Кузьмич (1800—1835) — известный русский мореплаватель, воспитанник Архангельского военно-сиротского и Кронштадтского штурманского училищ. В 1820 г. начал службу помощником штурмана в Архангельске. В 1821—1826 гг. занимался географическим описанием Печоры и берегов Ледовитого океана. В 1827—1830 гг. производил промеры в Белом море, а в 1829 г. составил проект описи берегов Новой Земли. В 1831 г. в составе экспедиции из двух судов Пахтусов отправился к Новой Земле, где работал над описанием берегов до 1835 г. Составил карту восточных берегов Новой Земли до острова Пахтусова.

[8] *Циволька* Август Карлович (?—1839) — прапорщик корпуса флотских штурманов, участвовал в экспедиции П. К Пахтусова на Новую Землю. В 1837 г. по поручению Академии наук продолжал географические описания и естественноисторические исследования Новой Земли, собрал богатые, ценные материалы. В 1838 г., уже по поручению морского министерства, был назначен начальником экспедиции для описания северного и северо-восточного берегов Новой Земли, но успел выполнить только часть работы.

[9] *Бэр* Карл Максимович (1792—1876) — знаменитый натуралист и путешественник, академик. Побывал в Лапландии, на Новой Земле. Занимался изучением рыболовства в Балтийском и Каспийском морях.

[10] *Иславин* Владимир — этнограф 1840-х гг. Министерство государственных имуществ поручило ему исследовать нужды русского Севера в 1844 г. Результатом этого исследования явилась книга Иславина «Самоеды в домашнем и общественном быту» (СПб., 1847), содержащая ценный этнографический материал.

[11] *Вениамин* (Василий Смирнов; 1782—1848) — миссионер и писатель, воспитанник Архангельской семинарии, распространял христианство среди мезенских саамов. Составил для них грамматику и словарь, перевел Евангелие, Апостол, Послания.

[12] *Моисей* — в библейской мифологии предводитель израильских племен, которому на горе Синае бог дал скрижали с десятью заповедями.

[13] *Солон* (между 640 и 635 — ок. 559 гг. до н. э.) — афинский архонт с 594 г. до н. э. Провел реформы и утвердил законы, способствовавшие ликвидации пережитков родового строя.

[14] *Гезиод* (Гесиод; 8—7 вв. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор эпических поэм «Труды и дни» и «Теогония».

[15] *Сивиллы* (сибиллы) — легендарные прорицательницы в античной мифологии. Из 12-ти сивилл наиболее известна Кумская сивилла, которой приписываются «Сивиллины книги» — сборник изречений и предсказаний, служивший для официальных гаданий в Древнем Риме.

[16] *Птолемей* II Филадельф (285—246 гг. до н. э.) — македонско-греческий правитель Египта, основатель знаменитой Александрийской библиотеки.

[17] *Евмен* II — царь пергамский с 197 по 159 гг. до н. э., основатель Пергамской библиотеки.

[18] *Монтезума* (1466—1520) — предпоследний властелин Мексиканского царства, завоеванного испанцами; допустил испанцев высадиться в 1519 г. в Веракрусе, считая их посланцами богов, и затем с почестями и подарками встретил их в своей стране.

[19] *Сергий Радонежский* (ок. 1321—1391) — основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря. Активно поддерживал объединительную и национально-освободительную политику князя Дмитрия Донского, к которому был лично близок. Князь перед Куликовской битвой ездил к Сергию, чтобы получить от него благословение на ратный подвиг. Сергий отпустил при этом в войско князя двух своих иноков — богатырей Пересвета и Ослябю. Сергий Радонежский причислен к лику святых русской православной церкви.

[20] *Курганов* Николай Гаврилович (1725 (?) —1796) — русский просветитель, педагог, издатель. Его «Российская универсальная грамматика» (1769; в последующих изданиях — «Письмовник»), выдержавшая много изданий, была адресована демократическим слоям русского общества и вплоть до второй половины XIX в. играла роль своеобразной энциклопедии.

[21] *Ермак* Тимофеевич (?—1585) — казачий атаман. Около 1581 г. походом начал освоение Сибири русским государством. Погиб в бою с отрядом хана Кучума. Герой народных песен.

[22] *Белый царь* — название, которое давали восточные народы русским царям начиная с Василия III. Вероятно, Белый царь значит — свободный, независимый, никому не платящий дани.

[23] *Василий* IV Шуйский (1552—1612) — русский царь с 1606 по 1610 гг.

[24] *Исидор* — митрополит новгородский в начале XVII в. В 1608 г. усмирил бунт новгородцев, задумавших перейти на сторону Лжедмитрия II. Когда по Столбовскому миру Новгород был окончательно возвращен московскому государству (1617), Исидор активно поддерживал политику царя Михаила.

[25] *Шах Аббас I* (1571—1629) — персидский шах. Умело устранив вассалов и реорганизовав войска, отвоевал у турок провинции Азербайджан, Ширван, Грузию, а в 1623 г. завоевал Багдад.

[26] *Филарет* (Федор Никитич Романов; ок. 1554/55—1633) — русский патриарх (1608—1610 и с 1619), отец царя Михаила Федоровича. При Борисе Годунове — в опале, пострижен в монахи. При Лжедмитрии I — ростовский митрополит. В 1610 г. возглавлял «великое посольство» к Сигизмунду III и был задержан в польском плену. С 1619 г.— фактический правитель страны.

[27] *Киприан* (?—1635) — первый архиепископ сибирский и тобольский, посвященный в этот сан в 1620 г., затем — митрополит новгородский.

[28] См. т. 1 наст. изд., примеч. 40 ко второй части «Года на Севере».

[29] *Софья Алексеевна* (1657—1704) — русская царевна, правительница государства в 1682—1689 гг. при двух царях, ее малолетних братьях Ива-

не V и Петре I. К власти пришла с помощью В. В. Голицына. Была свергнута Петром I и заключена в Новодевичий монастырь.

[30] *Воздухи* — покровы для святых даров в православной церкви.

[31] *Бранд* Вильгельм (1778—1832) — архангельский купец; на свой счет отправил экспедицию для исследования Новой Земли.

[32] *Дрягиль* — носильщик-крючник на торговой пристани. *Шкивадор* — так назывался в Архангельской губернии артельщик, занимающийся укладкой груза на кораблях.

[33] *Апраксин* Федор Матвеевич (1661—1728) — архангельский воевода с 1692 г. Построил первый купеческий корабль и отправил с товарами в море; вместе с Петром I в 1693—1694 гг. плавал по Белому морю. В Амстердаме изучал морское дело. Затем держал главный надзор за строительством флота в Воронеже. В 1707 г. назначен адмиралом и президентом адмиралтейства. В 1708 г. одержал победу над шведами под Петербургом и был возведен в графское достоинство, получив чин действительного статского советника.

[34] *Крестинин* Василий Васильевич (1729—1795) — русский писатель, всю жизнь занимавшийся изучением истории Севера, основатель исторического общества в Архангельске. За свои труды избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук (1786). Автор работ: «О древних обителях архангельских» (СПб., 1783), «Исторические начатки о Двинском народе древних, средних и новейших времен по 1726 г.» (СПб., 1784), «Исторический опыт о сельском старинном домостроительстве Двинского народа на севере России» (СПб., 1785), «Начертание истории г. Холмогор» (СПб., 1790), «Краткая история о г. Архангельске» (СПб., 1792).

[35] *Анна Леопольдовна* (1718—1746) — принцесса, дочь герцога мекленбург-шверинского Карла-Леопольда и царевны Екатерины Ивановны. Со вступлением на престол Анны Ивановны (1730), тетки принцессы, она была взята ко двору. Анна Леопольдовна вышла замуж за принца браун-швейгского *Антона-Ульриха*, и в 1740 г. у нее родился сын Иван, вскоре объявленный наследником русского престола. Но под влиянием временщика Э. Бирона Анна Ивановна охладела к племяннице и не хотела назначить Анну Леопольдовну правительницей на время малолетства Ивана. Регентом был назначен Бирон, который совершенно устранил Анну Леопольдовну и Антона-Ульриха от всех дел. Когда принц Антон-Ульрих стал открыто выражать недовольство, Бирон принудил его подать в отставку и стал угрожать высылкой из России. Анна Леопольдовна обратилась за поддержкой к фельдмаршалу Миниху, который предложил ей сместить регента. В ночь с 8 на 9 ноября 1740 г. Миних арестовал Бирона, и Анна Леопольдовна была провозглашена великой княгиней и правительницей государства. Но главную роль в управлении страной теперь стал играть Миних, а потом Остерман. В ночь с 24 на 25 ноября 1741 г. был совершен новый переворот, и на престол взошла Елизавета. Анна Леопольдовна, ее семья и приближенные были арестованы и сосланы.

[36] *Бантыш-Каменский* Дмитрий Николаевич (1788—1850) — русский и украинский историк, археограф, сын историка Н. Н. Бантыш-Каменского, автор трудов по истории Украины и «Словаря достопамятных людей русской земли» (т. 1—8, СПб., 1836—1847).

[37] *Никита* Константинович Добрынин (по прозванию «Пустосвят»; ?— 1682) — расколоучитель и священник в Суздале, ярый противник церковных новшеств патриарха Никона. В 1659 г. отрешен от священнического места и отдан «под запрещение». В 1665 г. составил «Челобитную царю Алексею Михайловичу на книгу Скрижаль и на новоисправленные книги», в которой дал полное и подробное изложение раскольнических протестов против господствующей церкви. Челобитная получила широкую огласку в народе, был дан приказ ее конфисковать. Автор челобитной был отлучен от церкви и заточен в темницу Угрешского монастыря. Отсюда он прислал Собору покаянное послание и после неоднократных просьб о прощении был снова принят в церковную общину, но без восстановления в священническом сане. Это покаяние, по его собственному признанию, было сделано притворно, чтобы избежать неминуемой казни. В 1682 г. Никита Пустосвят стал одним из руководителей восстания стрельцов на защиту старой веры и яростным оратором на диспуте в Грановитой палате между православными и раскольниками в присутствии царевны Софьи. Раскольники во главе с Никитой, выходя из палаты, объявили народу о своей победе над «никонианцами». На следующий день после бунта Никита был схвачен и казнен на Лобном месте в Москве отсечением головы.

[38] *Головин* Евсей — резчик по кости во второй половине XVIII в., зять М. В. Ломоносова. Работал в селе Верхние Матигоры, близ Холмогор. Известна исполненная им кружка с барельефной композицией. Организовал обучение резьбе по кости.

[39] *Шубин* Федот Иванович (1740—1805) — русский скульптор. Пешком пришел в столицу из деревни Тючковской Архангельской губернии. При содействии Ломоносова принят в Академию художеств. Впоследствии профессор и ректор Академии.

[40] *Свиньин* Павел Петрович (1787—1839) — русский писатель, издатель и путешественник. Получил образование в пансионе при Московском университете, затем служил в министерстве иностранных дел и путешествовал по Европе и Америке. Впечатления от этих путешествий нашли отражение в книгах: «Опыт живописного путешествия по Северной Америке» (СПб., 1815), «Ежедневные записки в Лондоне» (СПб., 1813), «Воспоминания на флоте» (СПб., 1818). Занимался изучением русской истории и археологии, составил целый музей по этой части («Краткое описание музея», СПб., 1829), продал его с аукциона в 1834 г. Написал исторические труды: «Достопамятности Петербурга и его окрестностей» (т. 1—6, СПб., 1816—1828), «Археологическое путешествие по России в 1825 году» («Труды Московского общества истории и древностей», т. III). Автор исторических романов «Ермак, или Покорение Сибири» и «Шемякин суд». В 1812—1823 гг. издавал журнал «Отечественные записки», где помещал много статей по истории, археологии, этнографии и географии России, библиографические сведения о разных русских замечательных людях. После смерти его вышла книга «Картины России и быт ее разноплеменных народов» (СПб., 1839).

[41] См. т. 1 наст. изд., примеч. 18 ко второй части «Года на Севере».

[42] Очевидно, имеется в виду *Василий* I Дмитриевич (1371—1425), великий князь московский с 1389 г., старший сын Дмитрия Донского.

Продолжал объединение русских земель: в 1392 г. присоединил Нижегородское и Муромское княжества, в 1397—1398 гг.— Бежецкий Верх, Вологду, Устюг и земли коми.

[43] *Априкос* (искаж. греч. апракос или апраксос, апрактос — воскресный) — название некоторых старинных славянских изданий Апостола и Евангелия.

[44] См. примеч. 26.

[45] *Антифоны* (от греч. «противогласник») — церковные песнопения, попеременно поющиеся на обоих клиросах.

[46] *Параман* — четырехугольный плат, носится крестообразно на груди, плечах и спине монахами малой и великой схимы (посвященные в схиму монахи дают обеты выполнения монашеских правил, делящихся в зависимости от трудностей исполнения на великую схиму и малую).

[47] *Бельский* Богдан Яковлевич (?—1611) — воевода, приближенный Ивана Грозного, один из главных советников царя. В начале царствования Федора Ивановича вел интриги в пользу царевича Дмитрия, чем восстановил против себя многих бояр. Федор сослал его в Нижний Новгород. В период правления Бориса Годунова пользовался поддержкой оппозиционно настроенных бояр и народа. Борис приказал вырвать ему бороду и сослать в один из отдаленных городов. Возвратился из ссылки после смерти Годунова. В царствование Василия Шуйского был опять сослан в Казань, где и убит за отказ вместе с жителями Казани дать присягу Тушинскому вору Лжедмитрию II.

[48] Ср.: «По окончании следствия князя Ивана Петровича Шуйского сослали в отчину его, село Лопатино, с приставом, из Лопатина отправили на Белоозеро и там удавили; князя Андрея Ивановича Шуйского сослали в село Воскресенское, оттуда в Каргополь и там удавили» (Соловьев С. М. История России с древнейших времен. В 15-ти книгах, кн. IV. М., 1960, с. 196).

[49] *Болотников* Иван Исаевич (?—1608) — предводитель крупного антифеодального восстания крестьян и холопов в России. После поражения восстания вместе с сообщниками, в числе которых был и *Федор Нагиба,* отправлен в Каргополь и там в 1608 г. был сначала ослеплен, а затем утоплен.

[50] Имеется в виду известная ода Г. Р. Державина «Водопад» (1798), в которой описан водопад Кивач на порогах реки Суны, где Державин побывал во время своего губернаторства в Олонецкой губернии (см. т. 1 наст. изд., примеч. 10 ко второй части «Года на Севере»).

ИЗ КНИГИ «ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ»

Впервые отдельным изданием — Лесная глушь. Картины народного быта из воспоминаний и путевых заметок С. Максимова. В 2-х томах. СПб., 1871. Некоторые очерки, вошедшие в эту книгу, печатались в журналах «Библиотека для чтения» и «Сын отечества» за 1854—1857 годы.

Текст печатается по изданию: Собрание сочинений С. В. Максимова в 20-ти томах, т. 13—14. СПб., 1908 (с проверкой по прижизненным публикациям).

ШВЕЦЫ

(с. 211—233)

Впервые — Библиотека для чтения, 1854, т. 125, кн. 6, отд. VII, с. 126—152.

[1] *Молвитино* — ныне село Сусанино, центр Сусанинского района Костромской области.

[2] *Уклеин* Семен Матвеевич — основатель религиозной секты молокан в конце 60-х годов XVIII в. Свое учение молокане называли «чистым молоком духовным». Они отрицали православную церковную иерархию, монашество, иконы, мощи святых. Единственным источником истины считали Библию, звали к установлению на земле «царства божия», основанного на равенстве людей и общности имуществ. Молоканская вера явилась одной из форм антицерковного движения крестьян эпохи кризиса феодально-крепостнической системы. Подвергалась преследованиям со стороны царского правительства.

[3] *Духоборы* — сектанты крайнего протестантского толка. Учение их сложилось под влиянием одной из протестантских сект — квакеров. Духоборы полагали, что в мире извечно происходит борьба духовного начала (его носители — последователи Авеля) с плотским (последователи Каина — царские власти, неправедные судьи, богачи). Духоборы считали себя избранным народом, а руководителя своего — Христом во плоти, который сам избирал себе преемника. Они отрицали официальную церковь и ее обряды. Преследовались царским правительством.

[4] *Субботники* («иудействующие») — одна из религиозных сект, близкая к секте молокан, получившая распространение в конце XVII — начале XVIII в. среди помещичьих крестьян. Отвергала православную церковь и христианское вероучение. Священной книгой считала Ветхий завет. Подобно иудеям, они праздновали субботу, а не воскресенье, давали своим детям еврейские имена.

[5] *Большухой* называлась в крестьянской семье старшая в доме хозяйка, обычно жена хозяина дома.

[6] *Грохот* — большое крупное решето из проволоки или большая корзина из лубка.

[7] *Волнотеп* — устройство для распушения шерсти. *Мочки* — нить, волокно, прядь, пучок.

[8] *После Кузьмы-Демьяна* — т. е. после 1 ноября.

[9] *Баско* (диалект.) — красиво, хорошо.

[10] *Сермяга* — суконный кафтан из грубого некрашеного крестьянского сукна.

[11] *Переборка* — деревянная перегородка, отделяющая кухню — «бабий угол» — от остальной избы.

[12] *Копыл* — донце, в которое пряхи вставляли гребень.

[13] *Галицкий ерш.* — Галич Костромской губернии славился ершами в озере. Галичан же прозвали ершами за колючий нрав, неуступчивость, бойкость, умение постоять за себя.

[14] *Светец* — подставка для лучины, освещающей жилье, а также старинное осветительное устройство из подставки и укрепленной в ней лучины.

[15] *Хрушко* (диалект.) — крупно, сильно.

[16] *Рыбное* — город Рыбинск (в наст. время — Андропов).

[17] *Никола зимний* — 6 декабря.

[18] *Осенняя Казанская* — 22 октября.

БУЛЫНЯ

(с. 234—250)

Впервые — Библиотека для чтения, 1855, т. 134, кн. 12, отд. I, с. 183—203.

[1] *Штофная душегрейка* — душегрейка из штофной — шерстяной или шелковой плотной ткани с разводами.

[2] *Биржа* — торговая пристань. *Буян* — торговая площадь, рынок, базар.

[3] *День Петра Афонского* — 12 июня.

[4] *Петров день* — 29 июня.

[5] Здесь имеется в виду *Юрий* зимний — 26 ноября, когда оканчивалась крестьянская страда и наступала пора расчета с долгами.

[6] *Иванов день* — 24 июня, последний праздничный день перед началом сенокосной поры.

[7] *Целовальник* — продавец вина в питейном заведении. *Торбан* — музыкальный инструмент, напоминаюший бандуру, но не имеющий ладов.

[8] *Верезги* (диалект.) — крикливые певцы или певуньи.

[9] *Гон* — полоса земли, засеянная какой-либо одной культурой.

[10] *Кортомить* — брать землю в кортому — в аренду.

[11] *Шофа* — сарай, амбар, где бракуются лен и пенька.

[12] *Подушный оклад* — подушная подать в пользу государства. *Оброчная статья* — денежный или натуральный оброк в пользу помещика.

[13] *Волчий зуб* — болезнь зубов у домашнего скота. *Чемер* — падучая болезнь у лошадей.

[14] *Бучить* — вымачивать и выбеливать ткань в кипящем щелоке — настое кипятку на печной золе.

[15] *Шугай* — ситцевая, шелковая или суконная короткополая кофта с рукавами, круглым отложным воротником, застежками, с перехватом и с ленточной оторочкой.

[16] *Вытный приказчик* — раскладчик податей, избираемый крестьянами частным путем; артельщик, который занимается браковкой и очисткой кож; старшина артели.

МАЛЯР

(с. 251—272)

Впервые — Библиотека для чтения, 1854, т. 127, кн. 9, отд. VII, с. 1—32.

[1] *Калибер* — простые рессорные дрожки.

[2] *Скирка* (кирка) — молоток с поперечным лезвием в оба конца.

[3] *Дедновские макары.* — Жителей села Деднова Рязанской губернии, а вслед за ними и всех рязанцев называли «макарами». По легенде, Петр I

встретил в Деднове трех Макаров сряду и сказал, шутя: «Будьте же вы все Макары!»

[4] *Глыздить* (диалект.) — идти на попятный, струсить.

[5] *Меньшиков* Алексей Сергеевич (1787—1869) — адмирал, в Крымскую войну — главнокомандующий (1853—1855); потерпел поражение при Альме и в Инкерманском сражении.

[6] *Прапорщик Щеголев* — один из героев Крымской войны, так же как матрос Кошка и лейтенант Бирюлев.

[7] *Однотес* — кровельный гвоздь для обшивки крыши кровельным тесом.

[8] *Порука* (диалект.) — подруга, доверенное лицо девушки-невесты.

[9] *Лобанчик* — французский золотой с изображением одного из королей династии Бурбонов.

[10] В старинных крестьянских избах существовали волоковые окна, без стекол, с деревянной задвижкой.

[11] *Соломата* (саламата) — кисель или жидкая каша из муки с салом или маслом.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ В КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

(с. 273—279)

Впервые — Библиотека для чтения, 1854, т. 123, кн. 1, отд. VII, с. 68—76.

[1] *Каганец* — светильник, состоящий из черепка с салом и фитиля.

[2] *Васильев вечер* (щедрый вечер, авсень, таусень) — предновогодний вечер 31 декабря ст. ст.

[3] *Голубец* — народная пляска.

[4] *Нахиряют* (диалект.) — здесь в значении: изобьют, искалечат (хирь — хворь, болезнь, недуг).

[5] *Государственные крестьяне* — см. т. I наст. изд., примеч. 13 к части первой «Года на Севере».

[6] *Хоронить золото* — святочная игра: девушки и парни, сидящие рядом, за спиной передают друг другу кольцо, предоставляя водящему отгадать, в чьей оно руке. Отгадавший меняется с пойманным местами. *Заплетать плетень* — хороводная игра под песню «Заплетися, плетень». *Сеять просо* — хороводная игра, сопровождающаяся песней «А мы просо сеяли».

ДРУЖКА

(с. 280—304)

Впервые — Библиотека для чтения, 1855, т. 129, кн. 2, отд. I, с. 147—186.

[1] *Меледа* — кедровые орешки, которыми крестьянские девушки забавлялись на посиделках.

[2] *Одмен* (диалект.) — напыщенный, гордый, кичливый, спесивый.

[3] *Покоры* — шуточные песни с упреками (покорами) в адрес родни жениха или невесты, поющиеся с целью получения подарков.

[4] *Поезжане* — должностные лица и званые гости свадьбы во время поездки с молодыми в церковь и из церкви.

[5] Старинный обычай, связанный с праславянским культом медведя как всесильного божества, дарующего молодым плодоносящую силу.

[6] *Колосницы* (колосники) — жерди, на которые вешают снопы для просушки, или жердяная настилка в овинах для раскладки сырых снопов.

ПИТЕРЩИК
(Похождения Кулачка)
(с. 305—384)

Впервые под заглавием «Кулачок» — Библиотека для чтения, 1856, т. 138, кн. 7, отд. I, с. 1—110.

[1] *Лонишний* (диалект.) — прошлогодний.

[2] *Полпивная* — заведение, торгующее полпивом (легким пивом) и другими напитками.

[3] *Полица* — круглая полка по верхней части всех стен избы для домашней утвари.

[4] *Просодии* (греч. «слогоударение») — произношение с соблюдением ударений, придающее речи певучесть.

[5] *Вил оборы* — т. е. вил длинные бечевки из лыка для лаптей. Оборами крест-накрест обвивались завернутые в онучи (специальные портянки) ноги до самых колен.

[6] *Оржануха* — девушка, выросшая на ржаном хлебе.

[7] См. примеч. 2 к рассказу «Дружка».

[8] В дореволюционной России земля принадлежала сельскому обществу и периодически делилась «по едокам». В процессе передела отдельные крестьяне нередко оказывались обиженными «миром».

[9] *Баженник* — баловень, изнеженный любимец; здесь — блаженный.

[10] О *Матвееве* Артамоне Сергеевиче см. т. 1 наст. изд., примеч. 42 ко второй части «Года на Севере».

[11] *Чуфарый* (диалект.) — важный, чванливый, щеголеватый.

[12] *Фурманщики* — погонщики, извозчики, перевозящие товары (от нем. die Fuhre, «фура» — воз, подвода).

[13] Крестьянин-отходник находился под властью деревенского «мира», который мог отозвать его из города по мере надобности на основании «мирского приговора» — общего собрания, сходки деревенской общины.

[14] *Сибирка* — здесь в значении арестантской комнаты при полиции.

[15] 25 июля. По народной пословице: «На Макарья Нижегородская ярмарка именинница».

[16] *Часы* — чтение установленных ритуалом богослужения псалмов, стихов, молитв.

[17] *Шлык* (диалект.) — женский головной убор, род повойника.

[18] Разновидности старинных православных культовых напевов.

[19] Различные виды церковных молений.

[20] *Лазарева суббота* — суббота на шестой неделе великого поста.

[21] *Светлое воскресение* — Пасха, церковный праздник в первый воскресный день после весеннего полнолуния. Является одним из «кочующих» христианских праздников.

[22] *Троицын день* — церковный праздник на 50-й день после Пасхи.

[23] *Пасхалия зрячая* — составленные на много лет вперед таблицы дат празднования Пасхи.

[24] *Подвижные праздники* — церковные праздники, зависящие от Пасхи, а потому переходные, бывающие не в одно и то же число.

[25] *Полуустав* — одна из графических разновидностей письма в греческих и славянских рукописях, обеспечивающая бо́льшую скорость начертания, чем при письме уставом — прямыми буквами.

[26] *Триодь* — богослужебная книга.

[27] *Нетёка* — густое, испорченное пиво, не вытекающее после варки из пивной корчаги.

ИЗ КНИГИ «КУЛЬ ХЛЕБА И ЕГО ПОХОЖДЕНИЯ»

(с. 387—412)

Первое отдельное издание — Куль хлеба и его похождения. СПб., 1873. Ему предшествовали публикации в различных журналах, в том числе в журнале «Школьная жизнь» за 1872 год (№ 11, 12, 13) под названием «Происхождение хлебного куля».

В наст. изд. печатается первая глава из этой книги по тексту Собрания сочинений С. В. Максимова в 20-ти томах, т. 7. СПб., 1908 (с проверкой по прижизненным публикациям).

[1] *Дрань* — тонкие сосновые или осиновые доски, изготовляемые из обрубков комлевой части древесных стволов.

[2] *Дожинный сноп.* — Последний сноп при дожинках имел культовый характер, связанный с древнеязыческими поверьями; зерна из этого снопа хранились до весны и подсыпались в семена в надежде на хороший урожай.

[3] *Полбяная каша* — каша из полбы — зернового злака, одного из видов пшеницы.

[4] *Стихира* — церковное песнопение на библейский сюжет.

[5] *Вертеп* — распространенный в старину передвижной кукольный театр для представления пьес религиозного и светского содержания.

[6] Все обряды с рождественского сочельника до Крещения связаны с древним заклинанием урожая. Именно потому печенье на колядки выпекалось в форме коней, птиц или коров. Обильная трапеза в предновогодний «щедрый вечер», по древним поверьям, должна была способствовать плодородию. А святочные игры ряженых, посиделки, гадания были пронизаны свадебными мотивами. «Повсеместное распространение свадебных игр в русском новогоднем обряде свидетельствует об исконности темы брака на святочном игрище и может быть понято как позднее видоизменение обычных в период зимнего солнцеворота эротических игр...» (Чичеров В. И.

Зимний период русского народного зѐмледельческого календаря XVI—XIX веков. М., 1957, с. 193).

[7] Крестам приписывалась магическая сила, оказывающая благотворное влияние на повышение плодородия.

[8] Испеченные «жаворонки» символизировали приход весны. Дети стремились поднять их как можно выше, для чего забирались на крыши сараев и амбаров, влезали на деревья, подбрасывали вверх. Связано это было с языческой обрядовостью — так древние славяне торопили приход долгожданной весны.

[9] Обряд, уходящий в глубокую древность, когда у славян существовал культ озер, рек, студенцов, колодцев и связанных с ними духов воды. Каравай, оставленный у колодца,— отголосок ритуальной жертвы духам воды.

[10] *Черносошные* — крестьяне в России XIV—XVII вв., владевшие общинными землями и зависевшие от феодального государства, а не от частных владельцев. Впоследствии эти крестьяне стали называться «государственными».

ИЗ КНИГИ «БРОДЯЧАЯ РУСЬ»

Впервые — Отечественные записки, 1874, № 9, 10; 1875, № 1; 1876, № 7, 8, 10, 11, 12. Отдельное издание под заглавием «Бродячая Русь, Христа ради» — СПб., 1877.

В наст. изд. включены две главы из третьей части книги — «Побирушки и погорельцы» и «Калики перехожие». Печатаются по изд.: Собрание сочинений С. В. Максимова в 20-ти томах, т. 5. СПб., 1908 (с проверкой по прижизненным изданиям).

ПОБИРУШКИ И ПОГОРЕЛЬЦЫ

(с. 415—446)

Впервые — Отечественные записки, 1875, № 1, отд. I, с. 101—140.

[1] *Лучок* — здесь в значении: «шерстобитный лучок» — шест с тетивою, которою пушат овечью шерсть.

[2] *Покров* — наиболее чтимый церковный праздник, отмечавшийся 1 октября. В крестьянском быту он был праздником окончания полевых работ. В ритуале его сохранились многие дохристианские обычаи: чествование дожинального снопа, выезды на базары. С Покрова начинался период крестьянских свадеб.

[3] *Неопалимая купина* — в библейской мифологии — горящий, но не сгорающий куст терна, из которого якобы раздался голос бога, повелевшего Моисею отправиться в Египет и вывести израильтян из плена в землю обетованную. В крестьянском быту икона «Неопалимая купина» с образом богоматери считалась защитницей от огня и пожара.

[4] Имеется в виду пословица: «От копеечной свечи Москва сгорела».

[5] *Холуй* — слобода Вязниковского уезда Владимирской губернии, получившая известность кустарным производством икон, поставляемых

на всю Россию специальными ходебщиками — «офенями» из той же слободы.

[6] *Полех* — имеется в виду село Палех Вязниковского уезда Владимирской губернии, прославившееся, так же как села Мстера и Холуй, кустарным изготовлением и рисованием икон, а также лубочных картин.

[7] *Никола зимний* — 6 декабря.

[8] Церковный праздник Введения во храм пресвятой богородицы — 21 ноября.

[9] *Государева подать* — подать, которую крестьянин должен был платить в пользу государства (иначе — подушная подать).

[10] В предыдущих главах книги речь шла о «прошаках» — сборщиках подаяний на построение и поновление сельских храмов.

[11] *Шабр* (местн.) — сосед.

[12] Начиная с XIV в. поминовение усопших совершалось в России в Дмитриевскую субботу, перед днем памяти св. Димитрия Солунского — 26 октября. Впервые этот день поминовения введен великим князем Дмитрием Донским, который, разбив монголотатар на Куликовом поле в 1380 г., совершил потом в Троице-Сергиевой лавре общее поминовение воинов, «на брани убиенных», и завещал проводить его ежегодно.

[13] *Фомина неделя* — вторая неделя после Пасхи. Весеннее поминовение усопших совершалось во вторник, носивший название «Радуница».

[14] *Сукрой* — круглый ломоть хлеба во всю ковригу.

[15] То есть красным товаром — тканями, мануфактурой.

КАЛИКИ ПЕРЕХОЖИЕ

(с. 447—478)

Впервые — Отечественные записки, 1876, № 11, отд. I, с. 87—126.

[1] Цитата из стихотворного послания А. С. Пушкина «Козлову» («Когда, певец, перед тобой...»).

[2] *Стамуха* — ставший на мель торос, стоячая ледяная глыба.

[3] *Город Адест* — одна из социально-утопических легенд русского крестьянства о местах и городах, где живется привольно, где нет гонений на веру и где не платят податей. Наряду с легендами о городе Адесте существовали также легенды о стране Беловодье, о городе Игната, городе Анапа и т. п. (см.: Чистов К. Н. Русские народные социально-утопические легенды. М., 1967, с. 237—327).

[4] Так переосмысливало земледельческое миросозерцание народа церковные праздники, приспосабливая их к трудовому циклу сельскохозяйственного крестьянского календаря.

[5] *Красная горка* — первая неделя после Пасхи.

[6] Праздник *Владимирской* богоматери — 23 июня и 26 августа; *Тихвинской* — 26 июня; *Смоленской* — 28 июля; *Троеручицы* — 28 июня и 12 июля.

[7] В дореволюционной России в деревнях происходили периодические переделы земли с целью восстановления крестьянской общиной уравнительного землепользования, постоянно нарушаемого общинниками в свя-

зи с изменением в семейном составе и в численности дворов. Передел проводился с помощью жеребьевки. От частых переделов снижалось плодородие почвы, так как крестьянин не был заинтересован в тщательном уходе за землей, временно находящейся в его собственности до очередного передела.

[8] *Дуван* (устар. и местн.) — сходка для дележа заработков.

[9] *Архимандрит* — высшее звание священника-монаха, обычно настоятеля мужского монастыря.

[10] *Фотий* (до монашества Спасский Петр Никитич; 1792—1838) — русский церковный деятель, с 1822 г. — архимандрит и настоятель Юрьевского монастыря под Новгородом. Имел большое влияние на Александра I. Фанатик и реакционер, он был высмеян в известной эпиграмме, приписываемой А. С. Пушкину — «На Фотия» («Полу-фанатик, полу-плут...»; 1824).

[11] *Александр благословенный.* — Имеется в виду Александр I (1777—1825), российский император с 1801 г., называвшийся в официальной литературе XIX в. «благословенным».

СОДЕРЖАНИЕ

ГОД НА СЕВЕРЕ

Часть третья

ИЗ КНИГИ «ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ»

ИЗ КНИГИ «КУЛЬ ХЛЕБА И ЕГО ПОХОЖДЕНИЯ»

ИЗ КНИГИ «БРОДЯЧАЯ РУСЬ»

Максимов С. В.

М17 Избранные произведения. В 2-х т. Т. 2. Год на Севере: Ч. 3; Из книг: Лесная глушь; Куль хлеба и его похождения; Бродячая Русь / Сост., подгот. текста и коммент. Ю. Лебедева.— М.: Худож. лит., 1987.— 495 с.

В том входит третья часть книги «Год на Севере» и отрывки из книг: «Лесная глушь», «Куль хлеба и его похождения», «Бродячая Русь», которые посвящены русской деревне, суровой жизни трудового народа старой России.

М $\frac{4702010100-113}{028(01)-87}$ 11-87 ББК 84Р1

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАКСИМОВ

Избранные произведения
в двух томах

Том 2

Редакторы *Ч. Залилова, К. Нещименко*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректоры *Н. Замятина, Т. Сидорова.*

ИБ № 3740

Сдано в набор 24.04.86. Подписано в печать 30.01.87. Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,0. Усл. кр.-отт. 31,5. Уч.-изд. л. 35,79. Тираж 100 000 экз. Изд. № 11-1950. Заказ № 6-156.Цена 1 р. 50 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Диапозитивы изготовлены в Ленинградской типографии № 2, головном предприятии ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измаиловский проспект, 29.

Отпечатано на книжной фабрике «Коммунист» Республиканского объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР. Харьков, 12, ул. Энгельса, 11.